

Труба
мфдс

ЗВЕЗДОПАД

Scan Kreyder - 04.07.2018 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ОТИА ИОСЕЛИАНИ

ЗВЕЗДОПАД

РОМАНЫ. РАССКАЗЫ

Перевод с грузинского

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1983

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Ч л е н ы с о в е т а:

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Калещук, Алим Кешоков,
Вадим Ковский, Григорий Корабельников,
Георгий Ломидзе, Андрей Лупан,
Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов,
Иван Шамякин, Константин Щербаков,
Камиль Яшен

Художник В. НИКИТИН



ՀԱՅԿԱԲԵՆԻ
ՄԻՋԵՆԻ



Мой дорогой Виктор Петрович!
В наших беседах ты нередко говорил:

— Вы, грузины, не видели войны.

— Возможно...— соглашался я.—
Не видели.

— Вы, наверное, даже немецкого самолета не видели.

— И то... Я, например, не видел.

Вот уже несколько лет мы не встречались. Я соскучился по твоему раскатистому смеху и открытой, прямой беседе. Дома никого, с кем можно было бы перекинуться словом. За окном прошел дождь, и выходить не стоит. Я сижу один и пишу. Пишу тебе, пишу, что запомнилось мне со времен войны.

С любовью — *Отиа Носелиани*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИГРА В ЧИЖА

В тот день мы не собирались играть в чижа. С вечера был уговор: утром пораньше улизнуть из дому; Гоча попытается стянуть дедовский дробовик, хотя в крайнем случае мы могли обойтись и рогатками. Думали предупредить и Тухию, но тогда за нами увязался бы Буду, приемыш Клементия Цетерадзе, а мы не знали, сколько птенцов окажется в гнезде у вороны.

Гоча должен был заморочить голову своей сестре Гогоне и для отвода глаз пойти к лавкам, оттуда задворками пробежать до самого двора Клементия, проскочить мимо и выйти в поле. А там — я. Дальше вместе — лесом, потом огородами, потом вброд, мимо мостика через речку, и, набив карманы камнями для рогаток,— вверх по склону горы Кехтехия.

...Но у нас ничего не вышло.

Я перемахнул через плетень, зашагал по проселочной и, поравнявшись с домом Гочи, стал насвистывать:

все равно от Гогоня я не спрятался бы даже под землей. Она тут же отозвалась со двора — засвистела, передразнивая меня. Смотрю, шагает на высоких ходулях прямо к калитке.

— Доброе утро, Гогоня! — заискивающе сказал я.

— Здравствуй, здравствуй... — Она подошла к калитке, с высоты ходулей оглядела меня и, переведя взгляд на убегающую за околицу дорогу, понимающе присвистнула.

— Девочка, а свистишь...

— У тебя не спросила! — Она кивнула в сторону околицы. — А вы уж в дорогу собрались!

— В какую дорогу? — Я изобразил на лице удивление.

Гогоня рассмеялась, да так, что выпустила из рук ходулю, и ей пришлось стоять на одной ноге, как аисту; чтобы не упасть, она прислонилась к калитке.

Вдруг она нахмурилась.

— А мне опять одной пасти коров?

Я еще не нашелся, что ответить, как ее лицо опять прояснилось. От дома Гогоня до поля было всего три двора. И вот как раз с крайнего двора вышла женщина. Задержавшись у своей калитки и как бы набираясь смелости, она приосанилась и неторопливо пошла в нашу сторону.

— Кто это? — спросил я, чтобы перевести разговор на другое.

— Будто и не знаешь?

Я, конечно, знал. Три недели назад женился Амиран. В день свадьбы я видел его невесту. Все смотрели, смотрел и я. Неплохую жену выбрал себе Амиран, говорили у нас. Не знаю, что в ней было хорошего, я запомнил только ее большие глаза... С тех пор и не видел ее ни разу.

— Жена Амирана, что ли? — спросил я.

— Ну да, Пати. Вы, дурачки, никого и знать не хотите, кто с вами в чижа не гоняет или в речке не бултыхается. Ты да Гоча оба хороши, ни с кем не водитесь, кроме головастика Тухии да клементьевского пашы.

— Ее Пати зовут?

— Он не знает, как зовут такую хорошую женщину! — с наигранным сожалением в голосе проговорила Гогоня и заулыбалась навстречу приближающейся Пати.

— Откуда мне знать всех взрослых! — буркнул я, собираясь идти своей дорогой. И тут на меня глянули огромные глаза Пати. Она замедлила шаг, точно смутилась, даже покраснела слегка и, наклонив голову, едва слышно сказала:

— Здравствуйте, ребята!

— Здравствуйте, тетя Пати!

— Здравствуйте... — повторил и я вслед за Гогоной, не решаясь назвать ее тетей Пати.

— Как поживаете, тетя Пати? — не унималась Гогона. — Нашли вчера серебряную пудреницу?

— Спасибо, Гогона, все у меня хорошо, и пудреницу я нашла, — ответила Пати и опять покраснела.

— Вы куда идете? Хотите, я вас провожу, — предложила Гогона и, не дожидаясь ответа, прыгнула с ходу на землю.

— А ты проваливай, глаза б мои тебя не видели! — бросила она, проходя мимо меня, и быстро догнала Пати.

Та не стала возражать, что Гогона пошла рядом, и я подумал: «Да, видно, она и вправду неплохая!»

Еще с дороги я увидел далеко в поле белую подвижную точку. «Ага, Тухия уже там!» — подумал я. Где увидишь Толию, белую дворняжку, там ищи и Тухию. Это были неразлучные друзья. Тухия вечно грыз что-нибудь — кусок мчади, кукурузной лепешки с сыром или мясом, — и по-братски делился с собакой.

А я не очень любил Толию. При ней даже в шутку нельзя было побороться с Тухией. Она сразу же начинала отчаянно лаять и кидалась на меня. Она мешала нам даже в чижа играть.

Тухия и Буду всегда играли против меня и Гочи. Если случайно выигрывали они и Тухия садился на меня верхом, собака визжала от радости и, закрутив хвост колесом, носилась вокруг нас. Но Гоча мог обыграть нас всех с закрытыми глазами. И вот как только Тухия подставлял мне спину, я сразу взбирался к нему чуть ли не на плечи, чтобы собака не отгрызла мне ноги. А шерсть на ней вставала дыбом, она рычала, лаяла и, оскалив зубы, кидалась на меня, когда я прыгивал на землю; правда, тут же и отходила, словно поняв, что это всего лишь игра.

Развалившись в траве, Тухия грыз мчади, отламывал куски и бросал то влево, то вправо от себя. Собака без

устали, с веселой готовностью кидалась из стороны в сторону.

Буду, как обычно, упражнялся в игре. Он трусил по лугу со свежееобструганной битой и упрямо колотил по чижу. Раз семь ударит, бедняга, прежде чем удастся подбросить чижа и отбить хотя бы шагов на шесть.

Гочи не было.

Я хотел обойти поляну стороной, но Буду побежал мне навстречу.

— Нет, Гогита, ты от меня не уйдешь!

— Чего тебе?

— Тухия! — завопил Буду.

Тухия, задыхаясь от смеха, отбивался от вцепившейся в штанину собачонки и, должно быть, не слышал Буду.

— Тухия! — крикнул Буду громче. — Оглох, что ли?

Тухия не спеша приподнялся, сел, бросил собаке последний кусок лепешки и сделал вид, что встает. Но снова растянулся на траве, положив ноги на спину Толии.

Со стороны двора Цетерадзе донеслось тихое по-свистывание.

— И Гочу не пущу! — крикнул Буду и кинулся наперерез Гоче.

Гоча, насвистывая песню и покачивая в такт головой, поравнялся с Тухией.

— Чтоб тебя собаки загрызли, Тухия-разиня! — сказал он, проходя мимо.

Тухия приподнял голову:

— Привет! — и снова погрузился в траву.

Все так же насвистывая, Гоча направился ко мне.

— Заткнись! — на ходу бросил он Буду и обернулся ко мне. — Ты хоть понял, чего ему надо?

— Да кто его поймет!

— Не пущу вас, и все! — надрывался Буду. — Давайте играть, а то вчера...

— Что вчера?

— У него со вчерашнего спину ломит, вот что, — объяснил я. — Ну и потаскал он нас!..

— Эй, Тухия! — позвал Гоча.

Тухия приподнялся, но собака опять вцепилась ему в штанину.

— Тухия! — заорал Буду так, что собака невольно разжала зубы.

— Вам что, невтерпеж? — спросил я.

— Сыграем, если хотите! — отозвался Тухия и отпихнул ногой собаку.

— Если вы хотите, а не если я хочу!..

— Да, хотим, хотим. И я хочу, и Тухия! — опять раскричался Буду, нища глазами чижа, валявшийся где-то в траве.

— Кому начинать?

— Бросим жребий.

— Не надо, — возразил Гоча, — пусть начинают, раз они вчера проиграли.

— Мы начинаем, мы начинаем! — обрадовался Буду. — Становитесь, становитесь, только назад, подальше! Эй, Тухия, гляди! Подальше, подальше отходите! Гогита, не становись на черту!

Он вертел в руках белый чиж, замахивался битой, кричал, чтобы мы отошли, снова готовился бить, но, опасаясь, что мы перехватим чижа, опять заставлял нас отступать. Несколько минут топтался он на плешивом пятачке, с которого всегда начиналась игра — потому-то там ни летом, ни зимой не росла трава.

— Да бей ты, размазня! Долго нам тут стоять!

— Пробью, пробью, не торопите под руку! Тухия, а может, ты первый пробьешь?

Тухия с безразличным видом держал за ухо собаку. Буду наконец повернулся к нам и ударил по чижу.

Я вскинул обе руки и подпрыгнул, но чиж упал, проскользнув у меня между пальцев.

Гоча измерил на глаз расстояние от Буду до чижа и сказал:

— Пусть кидает биту.

— Может, допрыгнем? — предложил я. Очень уж близко лежал чиж.

— Пусть кидает, все равно промажет.

— Посмотрим, кто промажет, — замахиваясь битой, кипятился Буду, — посмотрим...

Неловко брошенная бита перевернулась в воздухе, ткнулась одним концом в землю и, не задев чижа, легла рядом.

— Что я говорил! — заметил Гоча.

— Ну, Тухия, теперь ты попробуй! — сказал я и бросил Тухии биту и чижа.

— Этот такой же мазила, — махнул рукой Гоча. — Два сапога...

Тухия подобрал биту; чижа, отлетевшего подальше, ему принесла собака: Толия знала, что, если бита в руках у хозяина, значит, и чижа нужно нести ему. После этого она садилась рядом и следила за каждым его движением. Только Тухия пошлет чижа в воздух, как собака уже смотрит на наши руки: как бы мы не поймали его. Когда же Тухия, отмерив шаги, старался подбросить чижа в воздух, собака уже неслась вдоль по лугу.

Пришла очередь Буду подбадривать Тухию. Он прыгал и кричал:

— Бей, Тухия! Ну-ка, дай им!

Но Гоча на лету перехватил чижа, и Тухия с Буду побрели за черту.

— Чур, я первый бью,— сказал Гоча и стал на вытоптаный пятачок.

Собака тихо отошла подальше от играющих и легла в траве.

— Толия не в духе! — заметил я.

— Знает, как туго придется сейчас хозяину.

— Ничего у вас не выйдет! — буркнул Буду, но не успел он и глазом моргнуть, как чиж промелькнул у него над головой и улетел далеко от плешивой площадки. Не то что в три, а и во все шесть прыжков Буду не допрыгнул бы до него.

— Бросать биту? — спросил Гоча, зная, что, если он не кинет сразу, Буду начнет канючить.

— Бросай! — согласился Тухия.

Буду в сомнении покачал головой.

Гоча умело бросил биту. Как бы скользя по воздуху, она долетела до чижа, плашмя упала на него, подпрыгнула и перевернулась.

— Хорош! — похвалил я.

Гоча подобрал биту и измерил расстояние до чижа.

— Раз, два,— считал Буду, шагая след в след за Гочей,— три, четыре, пять, шесть, семь... и все... восьми нет, восьмой неполный.

— Ладно, пусть будет семь.

Гоча опустил на одно колено. Бита свистнула. Чиж остался на месте, но от сильного удара слетела чашечка лютика.

Гоча еще раз прицелился. Чиж подскочил в воздух, и, когда он стал опускаться, Гоча резким щелчком биты далеко отбросил его.

Мы с криком заложились туда, где он опустил.

Буду трусил следом. Даже Тухия не устоял и пошел за нами. За ним озабоченно семенила Толия.

Гоча еще раз ударил по чижу. Чиж прочертил в воздухе широкую дугу, упал на скатившийся с горы замшелый валун на краю поляны и, отскочив, зарылся под ним в траву.

Мы помчались туда.

Гоча прикидывал, как лучше ударить. Выступ камня не давал замахнуться.

— Нужно подправить,— сказал Гоча.

— Нет уж, бей так. Сейчас увидим, какой ты молодец!

— Ба-алда! — Гоча присел, выбирая удобное положение для удара.

И тут с другого конца поляны донесся пронзительно звенящий крик Гогона.

— Гоча-а-а!

Мы оглянулись. По зеленой траве к нам со всех ног неслась Гогона в ярко-желтом платье.

— Гоча! Гогита!

Она подбежала, задыхаясь, еле переводя дух.

— Гоча, Гогита! Тухия! Ребята!..— Она переводила взгляд с одного на другого и никак не могла отдышаться.

— Что случилось, Гогона? — встревожились мы.

Собака тщательно обнюхивала желтое платье Гогона.

— Ребята, ребя...— Гогона опять задохнулась, не в силах выговорить ни слова. Собака обнюхала ее платье и отошла: видно, ей не понравился запах вестей, принесенных Гогоной.

— Да говори ты, не то...— не выдержал Гоча. Он замахнулся битой и готов был ударить сестру по ногам.

— Война... Война началась...— выдохнула наконец Гогона.

— Война?..

— Война!..

Война... Что-то таинственное, жуткое и грозное слышалось в этом слове, что-то такое, чего никто из нас не знал, но чувствовали все — и я, и Буду, и Тухия, и Гоча. Долго стояли мы как вкопанные, не в силах ни сдвинуться с места, ни сказать что-либо. Наконец Гоча отбросил биту. Белая, свежеебструганная, она крест-накрест легла на чижа, под мшистый валун, у чашечки цветка лютика.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЗАЛИТЫЙ ОЧАГ

Запертые в хлеву быки и корова встретили меня мычанием. От ворот ко мне бросился шестилетний брат Заза.

Он заглянул мне в глаза, потом потупился и сказал:

— Ты знаешь, война началась!

— Ну и что ж, что война?

— Папку убьют.

Я вздрогнул и не нашелся, что ответить. Только тогда мне пришло в голову, что действительно ведь могут убить папу.

Братишка заметил мое смятение. Я, старший брат, который всегда все понимает и знает, вдруг растерялся.

— Убьют... — захныкал Заза.

— Перестань, глупый. — Я погладил брата по голове. — Как это так — убьют...

— Нет, убьют. — Растроганный моей лаской, он заплакал еще горше.

— Почему это его убьют? Нашего папу никто не одолеет.

— Из ружья убьют...

— Из ружья? А ему ведь тоже ружье дадут. Знаешь какое? С большим штыком. У наших у всех ружья будут со штыками. Пусть только попробуют подойти поближе!..

— Со штыком?

— Ну да, с длинным таким штыком... Так что ты не думай...

Я обнял брата за плечи, и мы пошли к дому.

Дверь была заперта. Из кухни, стоявшей в стороне от дома, валил дым и доносился надрывный детский плач. У порога кухни кудахтала наседка. Длиннорылая свинья, повизгивая, бродила вдоль изгороди и пыталась пролезть под ней.

Папа с мамой ушли на митинг в колхозную контору. Бабушка сидела у очага на чурбане. Облокотившись о колени и подперев ладонями голову, она не отрывала глаз от тлеющих угольев. В люльке надрывалась от плача моя маленькая сестренка Татия. Бабушка словно ничего не слышала. Я жестом показал брату, чтобы он покачал люльку. Он не любил возиться с сестренкой, но на этот раз покорно подошел к люльке и, расставив ноги,

начал ее качать — осторожно, стараясь не опрокинуть па неровный земляной пол.

Над очагом курился паром чугунок, и нельзя было разобрать, что там варится. От головешек шел такой чад и белый дым, что перехватывало дыхание. Видно, вода закипела и залила очаг. Головешки шипели и дымились, и только несколько угольков еще тлело под золой.

А бабушка сидела словно оцепенев и, глядя на уга-сающий очаг, изредка тихо вздыхала: «Господи, гос-поди!»

Заза продолжал качать люльку. Но Татия, наверное, хотела молока или просто чувствовала неопытную руку укачивающего ее брата и не унималась.

Я опустил на корточки перед очагом и стал сгр-е-бать в кучу жар.

Взлетевшая на самый порог наседка сзывала цыплят.

В загоне мычала некормленная скотина. Я решил сна-чала разжечь огонь, а потом отвести быков на луг. Правда, Гвиния, рыжий бык с заостренными рогами, бо-дается, — один раз он чуть не вскинул меня на рога, и после этого отец строго-настрого запретил мне даже близко подходить к быкам. Но сегодня отец наверняка придет поздно.

— Господи! — опять вздохнула бабушка.

Наседка все кудахтала. Свинья наконец подрывалась под изгородь; кричали индюки, голодные быки требо-вали корма.

Заза все качал люльку сестры, но она никак не уни-малась.

Я сидел на корточках у очага и старался раздуть жар. Мокрые головешки упрямо не разгорались и только тлели.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЗАВТРА ОН СТАНЕТ СОЛДАТОМ

Назавтра отец должен был уйти в армию. Вечером мы, как обычно, сели ужинать, но бабушке кусок не шел в горло.

Отец настаивал:

— Ешь, мама, ешь!.. — И громко смеялся.

— Кушай на здоровье, сынок, а я и завтра тут буду...

— Конечно, будешь! — И он опять засмеялся.

Меня удивляло, что отец сегодня так часто смеется. Мама готовила отцу еду на дорогу, пекла мчади и не шла к столу.

— Что это с вами сегодня? — спросил ее отец. — И ты не хочешь есть?

— Угли б горячие мне есть! — Мама отвернулась и, подхватив щипцами соскользнувшую с огня кеци¹, поставила ее опять на огонь.

Папа посмотрел на нас.

Заза большими кусками запихивал в рот мчади и сыр.

— А вот Заза за обе щеки уплетает! — И отец опять засмеялся.

Отец так рассмешил брата, что у того выпал изо рта кусок лепешки.

— Не роняй кусок, внучек, не роняй! — проговорила бабушка.

Я заглянул под стол, но было уже поздно — черная кошка подхватила поживу.

После ужина отец зажег коптилку и сказал, что пойдет взглянуть на быков.

Татия спала в люльке у очага.

Я отвел брата в дом, чтобы уложить его спать.

— А папа рад, что ему дадут ружье? — спросил Заза, залезая под одеяло.

— Рад... — проговорил я.

— И штык будет на ружье?

— И штык будет.

Заза высунул голову из-под одеяла и заглянул мне в глаза.

— Гогита!

— Ну тебя, Заза, спи!

— Гогита, а для чего нужен штык?

— Штык? — Я не знал, как объяснить ему, и только рассердился:

— Значит, нужен! Спи давай!

Испуганно косясь, Заза уткнулся в подушку.

— Говорят тебе, Заза, без штыка нельзя, — повторил я. — Раз делают, значит, нужен.

— Просто так, да?

— Да.

Я вышел. Была темная, безлунная, облачная ночь.

¹ Кеци — глиняная сковорода.

В хлеву мерцала коптилка. Я спрыгнул с веранды, тихо пробрался к хлеву и присел на корточки. Папа обматывал новой веревкой рога Гвинии и разговаривал с ним, как с человеком. Я недолюбливал Гвинию, а папа, наоборот, любил его больше другого, черного быка.

— Вижу, вижу,— говорил он,— веревка сдавила тебе рога, но ты сам виноват, ни минуты спокойно не постоишь.

Папа, должно быть, посвободнее обмотал рога новой веревкой, потом надел на руку скребницу и принялся чистить своего любимца.

Бык послушно стоял перед отцом.

— Что, нравится, хитрюга ты этакий? Знаю я тебя, ишь как спину выгнул! И как мне тебя не знать, если ты мне что сын; я тебя выкормил и вырастил. Чуть, бывало, опоздаешь покормить, ревешь на всю околицу. Да сказать по правде, я всегда кормил тебя вдоволь, но и ты ни разу не подвел. Помнишь, как ты тащил арбу из болота, там, под горой Кехтехия? Вот ведь увязла, проклятая! Что и говорить, если хозяин у быка никудышный, так и быку грош цена. Что смыслит в быках хромой Клементий? Ровным счетом ничего. Ты небось зол на его низенького бычка! Если бы не ты, не вытащили бы тогда арбы из топи! Клементий упросил меня, чертов сын! Осклабился: только твоему Гвинии, говорит, под силу, а то пиши пропало. Что было делать? Не хотелось мне толкать тебя в такую грязь — все равно что Гогиту или Зазу. Но у тебя ноги сильные! Помнишь, как целовал тогда тебя в лоб Клементий? Клементий... Зря я ему позволил, дрянной человек. Все аробщики тебя тогда хвалили. А сам-то я как был рад! Честное слово, на голову выше себя почувствовал!

Отец подошел к другому быку и погладил его по шее. Черный бык прошлой осенью натер шею, и с тех пор отец каждый раз смотрел, не болит ли у него шея. И от дождя берег. Как-то весной, возвращаясь с пахоты, они попали под ливень. Отец снял с себя пиджак и укутал шею быка, а сам промок до нитки.

Потом стал осматривать у быка заднюю ногу.

— Ну что, опять обломал копыто? Никак не отразишь, бедняга, чтоб толком подкову закрепить. А я-то сегодня собирался сводить тебя к кузнецу... Гогита! — позвал он.

Я отбежал назад к дому и лишь оттуда откликнулся.

— Поди-ка сюда!

Он протянул мне коптилку, а сам опустился на корточки около быка.

— Сынок...— сказал он и снизу вверх поглядел на меня.

Я удивился. Раньше он всегда звал меня по имени. Было странно, что он так меня называет.

— Сынок,— повторил он,— к этому быку подходи спереди, а то он и лягнуть может. И вот еще что: когда будешь его подковывать, скажи кузнецу, чтобы гвозди вбивал только по краям копыт. У него копыто обломано и, если вбивать в середину, можно ногу испортить. Зато к Гвинии не вздумай заходить спереди (мы подошли к другому быку) — сперва попроси кого-нибудь привязать за рога покороче. И арбу без особой нужды не давай никому. Вдруг впрягут больного быка, наши и заразятся. А плуг...— Видно, он заметил мою растерянность.— Тебе тринадцатый пошел, верно?

— Да...

Он покачал головой:

— Ты ведь ничего еще не умеешь... только чижа гонять.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В ДАЛЕКИЙ ПУТЬ

На следующий день вся деревня собралась у конторы колхоза. Я никогда не видел столько народа и не слышал такой тишины. Разве только изредка кто-нибудь из мужчин, подвыпивший с горя, выругается в сердцах и проклянет кого-то.

Отец стоял во дворе правления, прислонясь к воротам заплечной сумкой, которую мама наскоро сшила ему из синей бязи. В сумке лежали кукурузные лепешки, выпеченные в каштановых листьях, хачапури¹ и вареная курица. Еще мама положила туда несколько стручков красного перца — отец любил острое.

Вот и все, что взял он с собой в тот далекий путь, откуда уже не вернулся.

В углу двора, вокруг разостланной прямо на траве скатерти сидели наши парни и разливали вино по ста-

¹ Х а ч а п у р и — род пирога с сыром.

канам. Пили главным образом молодые ребята: Дато, высокий чубатый парень с густыми бровями и взглядом исподлобья; Сосика, первый борец в нашем селе; Коция, бригадир полеводческой бригады, прозванный еще «собачьей башкой» за то, что до рассвета обегал свою бригаду и поднимал всех на работу. Был тут поджарый и смуглый Симоника, и комсомольский секретарь Ушанги Чхаидзе, и еще много, много других. Они наливали в стаканы вино, приглашали всех, кто проходил мимо, выпить вместе с ними и пили.

Большинство из них не вернулись домой, и, видит бог, не много вина они выпили за свою жизнь...

Я слонялся из угла в угол, не зная, с кем заговорить и о чем.

Одним было не до меня, другие не снисходили до разговоров со мной — ведь я был еще мальчишкой.

— Береги себя! — слышал я то из одной, то из другой группки. — Ты так беспокоило сплшь, то и дело скидываешь одеяло. В прошлом году простудился, помнишь? Береги себя, родной!

— Обязательно, мама! Не волнуйся!

У угла дома, совершенно закрывая собой Пати, стоял Амиран. Он избегал беспомощных, испуганных глаз Пати и молча смотрел вдаль, на вершину горы.

Со склада, надсадно подвывая мотором, поднялся в гору грузовик и подкатил к воротам.

— На машине поедут? — спросил кто-то.

— Да, и машина туда же идет вместе с шофером...

— И председатель уходит...

— И агроном...

— Кто же остается? — спросили в толпе.

Все невольно стали оглядываться вокруг. У забора, опираясь на посох, стоял дедушка Тевдоре. Увидев обращенные к нему лица, он смутился. Почему все смотрят на него? Он потупился, потом поднял голову к небу, и седая борода его задрожала.

— Будь ты проклят!

Я не знал тогда, кого проклинал дедушка Тевдоре.

Из конторы вышел председатель, остановился на верхней ступеньке лестницы и поглядел на свои часы.

— Пора, товарищи!

— Пора? — переспросили в один голос несколько человек.

И сразу взорвалась тишина.

— Пора!..

— Пора!

— Сынок!

— Отец!

— Папочка! Папа!

— Братец, родной мой...

— Бикентий!

— Лексо, Лексо!

— Милый ты мой!

Кто-то громко заплакал. Народ засуетился, загалдел, голоса слились в общий гул, гул нарастал и переходил в стон. Я в страхе кинулся к воротам, хотел спрятаться куда-нибудь подальше, чтобы этот стон не раздавил меня. Но стон нарастал и гнался за мной по пятам. В воротах я налетел на старуху в черном. Она шла, высокая и прямая, подобрав рукой подол длинного платья. Я узнал Элпите, мать Амбако. Как она смогла пройти такой путь от своего дома, зачем пришла сюда, чего она искала?

— Ты Гогита?

— Да, бабушка, Гогита.

— А моего мальчика не видел?

— Амбако?

— Да, моего Амбако!

— Тут трудно кого-нибудь найти, бабушка. Столько народу!

— Как же мне быть?

— Мама, я здесь, мама! — слышался за моей спиной голос Амбако. Видно, он тоже искал свою мать.

— Ты ведь просил, чтобы я пришла...

— Да, мама. Хорошо, что пришла!

Амбако обнял ее и хотел пройти дальше, в глубь двора.

— Я туда не хочу, сынок, там много народу... Значит, уходишь?

— Ухожу, мама, ухожу.

— А ты не удержишься?

— Нет, мама, не задержусь. — Он покачал головой.

— И скоро вернешься?

— Скоро, мама, скоро!

— Если тебя долго не будет, знай, я пойду искать.

— Нет, мама, нет, зачем меня искать? Я скоро вернусь!

— Только смотри не задирай никого, сынок, поскорее возвращайся!

— Поехали, товарищи! — раздался голос председателя. Он стоял на подножке машины вполоборота к жене, с сыном на руках.

Снова наступила тишина. В первое мгновение никто не тронулся с места. Потом ворота правления распахнулись настежь, и народ повалил валом. Машину обступили со всех сторон. Провожающие, родные и близкие тесным кольцом окружили уходящих на фронт. Кто молча припал к родному плечу, кто прижимал к груди ребенка или голову жены. Каждый хотел что-то сказать, посоветовать, напомнить, но времени уже не хватало, а сказать коротко не удавалось.

И только Элпите твердила одно и то же:

— Скоро придешь домой, сынок?

— Скоро, мама, скоро! — отвечал Амбако.

Откуда-то вынырнул Гоча и потянул меня за рукав. Он молчал, а я не спрашивал ни о чем. Мы оказались у машины, рядом с Гогоной. Она взглянула на меня и тоже ничего не сказала.

Она стояла печальная, словно повзрослевшая за день и не отрывала глаз от своего отца.

— Подходи, парень, подходи! — позвал меня отец Гогоны. Я подошел и молча встал перед ним. Он положил руку на плечо моему отцу, внимательно оглядел меня и Гочу, словно сравнивал; я подумал, что до этого дня казался ему старше Гочи.

— Ну, ребята, вы сами все знаете, не подведете... — начал он и умолк, не договорил, не сказал того, что собирался нам наказать, только сокрушенно покачал головой.

Тогда мой отец наклонился к нам и глухо проговорил:

— Да, вы сами знаете...

Вот и все. Больше они ничего не сказали нам, уходя в далекий путь, откуда не вернулся ни тот, ни другой.

Их наказ был скуп, слишком скуп для тринадцатилетних мальчишек.

Председатель передал ребенка жене, открыл дверь кабины и еще раз крикнул:

— Садитесь, товарищи! — На этот раз его голос прозвучал как эхо в надтреснутом кувшине.

Кто-то, решившись, вскочил в кузов первым, и, словно только того и ждали, сразу все полезли в машину. Они стояли все на виду, тесно прижавшись друг к другу. Мой взгляд остановился почему-то на рослом кузнеце, и я тут же вспомнил, что копыто у нашего черного быка разбито и не держит подкову.

— Татию не простудите... За детьми присматривай... — крикнул отец матери, а мать кивнула головой.

— Ну, сынок, смотри там,— говорила женщина рядом со мной.

— Вы тоже нажимайте! — отвечали из машины.

— Послушай...— начала другая и не успела закончить.

В самой гуще сгрудившихся в кузове людей кто-то запел. Странно звучала она, эта песня, все сначала удивились ей. Но подхватил еще один голос. И тогда все вздохнули, словно ждали этой песни, словно сбросили с плеч непомерный груз. Запели все. Пели во весь голос. Пел и мой отец, и Сосика, и долговязый кузнец, и Симоника своим высоким, даже визгливым фальцетом, и отец Гочи глубоким расшатанным басом, пели Амбако и Амиран. Пели все. Мне не запомнился мотив этой песни, у нее не было мотива.

По телу у меня поползли мурашки. Мне стало страшно. Я прижался к маме и заплакал. Гремела песня, а я плакал навзрыд... Да разве я один? Плакала мама, плакали Гоча и Гогона, плакали Гига, сын кузнеца, и старуха, уцепившаяся за борт машины, и старый Тевдоре. И только одна несчастная Элпите не плакала, с удивлением и испугом смотрела она то на поющего сына, то на плачущих людей.

Машина тронулась.

Раскаты песни стали громче. Они заглушили шум мотора.

Я видел, как отец на прощание махал рукой. От песни он покраснелся, жилы на шее вздулись, напряглись; он словно не пел, а звал кого-то, торопливо, не переводя дыхания...

Машина подпрыгнула на повороте, и обращенное к нам лицо и высоко поднятая рука отца скрылись за акацией, росшей у самой околицы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

КЛЕМЕНТИЙ ЦЕТЕРАДЗЕ

Так рано я не просыпался никогда. В комнате был полумрак. В окно заглядывали ветви груши; предрасветный ветер слегка покачивал их. Куры, хлопая крыльями, с бестолковым кудахтаньем слетали с насестов. Я закрыл глаза, и в голове замелькали обрывки мыслей — о курах, о ветках груши, о войне, о подковах, о кузнеце. Но потом, опять открыв глаза, я понял, что не думал ни о чем. Над изголовьем повис на паутине паук. Он висел без движения, как будто спал. Теперь я стал думать о пауке, как он плетет свою паутину в человеческом жилье, на заборах, на деревьях, на виноградных кольях. Утренняя роса бусинками нанизана на паутинки и, только воздух колыхнет ее, переливается разноцветными красками...

У меня в ногах шевельнулся спящий Заза, и мысли мои перенеслись на него.

Стало светлее.

«Пора вставать», — подумал я и поднялся.

Вышел во двор, огляделся.

«С чего же начинать?»

— Чтоб вас холера забрала! Чтоб вас волки задрали! — услышал я голос матери. Голос доносился со стороны хлева.

«Отвести быка подковать», — вспомнил я поручение отца, но тут же мне представился долговязый кузнец с широко открытым ртом, громко певший песню вместе со всеми, кто стоял в кузове отъезжавшей машины. И последние слова отца: «Вы сами знаете...» А я совсем не знал, с чего начинать. Может быть, Гоча знал; но теперь я сомневался и в том, знает ли что-нибудь Гоча.

«Наколю дров!» Я рванулся на веранду, выдернул воткнутый в стену колун и подошел к кучке дров. Взял толстое полено, прислонил к колоде и ударил по нему топором. Из хлева вышла мама с кувшином молока в руке и пристально посмотрела на меня.

— Ты что делаешь? — спросила она холодно.

Я опустил высоко занесенный колун.

— Дрова колю!

— Черта ли дрова колоть летом! Молоко и на хворосте можно вскипятить.

— Конечно. Можно и на хворосте,— согласился я, но она уже скрылась в кухне.

Я бросил колун и пошел к воротам. Они были заперты крепко, но я все же несколько раз подергал их.

«Надо скотину в поле выгнать»,— вспомнил я и направился к загону.

Телка тыкалась мордой в уже пустое вымя коровы. Я оттащил ее и привязал, корове намотал на рога веревку. Потом стал наматывать веревку на рога черного быка. Гвиния мрачно поглядывал в мою сторону, сопел и сердито мотал головой. Отец всегда выпускал его первым, задавал ему корм раньше других, и теперь быку явно хотелось боднуть меня. Я вышел из загона, просунул руку через загородку и отвязал его. Почуввав свободу, он боднул головой воздух, но нас разделяла загородка, и бык вышел через плетеные двери прямо на улицу. Я побежал за ним.

Не прошли мы еще вдоль изгороди нашего двора, как я увидел Клементия Цетерадзе. Он шел навстречу, приволакивая вывихнутую в бедре левую ногу, но вдруг остановился посреди дороги, твердо уперся в нее здоровой ногой и устоял на Гвинию. Бык обошел его стороной. Клементий пропустил его, быстро нагнулся, схватил конец веревки, волочившейся по земле, и с силой дернул, да не так-то легко свернуть с дороги быка с крепкой шеей. Я подумал, что он хочет намотать веревку на рога, чтобы она не трепалась по дороге, и крикнул:

— Пусть болтается, не беспокойтесь!

Клементий выставил здоровую ногу вперед и сильнее потянул веревку. Бык повернул голову.

— Дядя Клементий, не надо накручивать на рога. Мне потом трудно будет размотать, Гвиния к себе не подпустит.

— Не подпустит...— повторил за мной Клементий.— Ишь строптивый какой!..

— Он бодается!

— Ах, бодается...— Клементий взглянул на меня и принялся сматывать веревку.

— Еще как! Однажды чуть не проткнул меня рогами.

— Смотри какой разбойник!— Подбирая на руку веревку, он притянул к себе быка и вдруг хлестнул его по морде.— Вот тебе!

Гвинния вздрогнул от неожиданности и попытался вырваться, но Клементий не выпускал веревку.

— Дядя Клементий, не надо его бить! Отпустите! — закричал я, когда он снова замахнулся.

— Я ему покажу! — И он снова хлестнул быка веревкой.

Гвинния сильно рванулся, протащил Клементия несколько шагов и остановился.

— Я тебе покажу, как мальчонку обижать! Ступай, сынок, за коровой присмотри, а этим я сам займусь. Черного быка тоже на днях передадут кому-нибудь.

Я не сразу понял, куда гнет Клементий.

— Скоро папа вернется, сам все сделает!.. — Я схватился за конец веревки, которую зажал в руке Клементий.

— Да, когда вернется, конечно... — Он как бы невзначай вырвал веревку.

Я опять схватился за нее.

— Ого! — Клементий снова потянул, но на этот раз я ухватился так крепко, что ему не удалось вырвать веревку. Тогда он дернул, да так, что мы столкнулись.

— Отпусти, говорят, не то...

— Не отпущу!.. — Я изо всех сил вцепился в веревку, расставив ноги, уперся в землю.

— Не отпущу. Это наш бык. Папа его вырастил.

— Да милый ты мой, бык-то колхозный, — опять смягчил голос Клементий. — Он не мой и не твоего отца. Он колхозный. И я на колхозном поле работаю, не свой же двор я буду на нем пахать.

— Мой папа тоже в колхозе...

— Когда он вернется, дело другое, но бык нужен колхозу теперь. Война у нас, паренек, с врагом сражаемся, не годится так.

— Только не сегодня. Не сегодня... Оставьте до завтра...

Клементий как-то криво, одним глазом взглянул на небо.

— Дай бог ему воротиться живым и невредимым, только завтра он не вернется. И не послезавтра. — И он снова потянулся за веревкой.

— Завтра... — Я загреб всю веревку, прижал ее к груди. — Папа вернется, вернется! — кричал я.

— Не вернется, сукин ты сын!

Клементий с силой рванул веревку, и я упал на колени.

— Вернется или нет, я... я здесь теперь... я за него! — Я привстал и зубами впился в сжимавший веревку кулак Клементия. Он отдернул руку, отшатнулся, не устоял на больной ноге и упал. Бык почувствовал свободу и, напуганный, пустился неуклюжим галопом. Не выпуская веревки и позабыв, что он может боднуть, я бежал рядом с ним.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГВИНИЯ

За околицей на краю поляны я прислонился к акации. Меня душила злоба. Хотелось плакать, но плакать я не мог. Мне казалось, что Клементий увидит меня. Я повернулся и побрел. Я искал убежища, искал места, где бы меня никто не видел, где мог бы выплакаться. Я бросился к лесу. Я бежал, перескакивая через пни, продираясь сквозь заросли подлеска, раздвигая прутья и ветви. Я не чувствовал, как колючки царапают мне лицо, руки, и бежал все дальше в глубь леса, но мне казалось, что хромой Клементий Цетерадзе гонится за мной, хихикает мне вслед, и я пробежал лес насквозь, выбежал на опушку и, так и не выплакавшись, потащился обратно.

На лугу паслась корова Гочи, золотистая, в белых подпалинах. За коровой брела телка, а за ними в своем платье цвета лютика шла Гогона. Ярость охватила меня. Мне захотелось отколотить ее.

— Я сейчас убью тебя, Гогона, так и знай! — еще издали закричал я и помчался к ней.

Она не обратила никакого внимания на мой крик.

— Изобью до смерти!

Гогона пошла мне навстречу.

— Ты что кричишь, Гогита?

— Я сейчас изобью тебя!

— Изобьешь? — удивилась она, не трогаясь с места.

Я задыхался от злости.

— Почему ты надела это платье? — крикнул я.

— Это платье? — Гогона опустила глаза и стала разглядывать свое платье. — А что это за платье?..

— Ты назло мне надела его.

В этот миг я ненавидел Гогону, ненавидел всей силой

души. На ней было платье цвета лютика, то самое, в котором она тогда, запыхавшись, прибежала к нам. Я ухватился за платье, готовый изорвать его в клочки вместе с Гогоной.

— Гогита, не рви! — попросила она тихо.

Не знаю, как сумела эта глупенькая девочка понять тогда, что меня мучило.

— Не надо! Я перекрашу его в другой цвет.

Я вздрогнул. Значит, и Гогона тоже не любит цвет этого платья. За что же я кричу на нее?

Я пошел прочь, шатаясь, добрал до акации и прислонился к ней. Гогона молча пошла за мной и уселась неподалеку, свесив ноги в овраг. Она сидела спиной ко мне и обеими руками рвала короткую общипанную траву.

Из-за леса выплыло солнце, заглянуло мне прямо в открытые глаза, но я не отвел их. Глаза резало, жгло, но я назло не зажмуривал их. На глазах выступили слезы, потом полились ручьем — я продолжал в упор смотреть на солнце.

— Гогита! — услышал я крик Гогоны; в ее голосе звучала тревога.

Не отзываясь, я стал оглядываться, но ничего не видел.

— Гогита! — снова крикнула она испуганно.

Я таращился изо всех сил. Перед глазами шли пестрые круги. Наконец я разглядел морду Гвинии. Потом смутно — Гогону и опять Гвинию. Выставив вперед рога и мотая головой, бык медленно приближался к сидящей в траве Гогоне.

— Гвиния! — закричал я и вскочил.

Гвиния сверкал белками и рыл копытом землю.

— Гвиния! — Одним прыжком я очутился между Гогоной и быком и замер, глядя в глаза животному. В руках у меня не было даже тоненькой хворостинки. — Гвиния! — закричал я во все горло. — Гвиния! Ну, иди, скотина! Подходи, чего ждешь? Ну, забодай меня! Ну! — Я вытянул вперед обе руки. — Что же ты стоишь? Иди!

Вся горечь и злость, накопившиеся за сегодняшний день, подкатили к горлу, и, не будь даже Гогоны за моей спиной, я все равно не отступил бы.

— Подходи! — твердил я. — Иди, чего ждешь!

Бык, опустив голову и выставив вперед рога, смотрел на меня.

Вдруг я вспомнил, что и в стычке с Клементием, и в моих блужданиях по лесу, и в ссоре с Гогоной — во всех бедах этого дня виноват Гвиния, и я пошел на него.

Видно, Гвинию озадачила моя смелость, он медленно поднял голову.

— Ну, подойди! Давай! Пропори меня, ну!

— Гогита! — Гогона схватила меня за штаны. — Гогита, стой!

— Пусти, Гогона, пусти! Ради него я... Ведь ради него... Ох, чтоб ему!.. — Мне хотелось обломать Гвинии рога, я чуть не плакал. — Пусти, пусти, тебе говорят. Я убью его! — И я бросился на быка.

Гвиния шумно засопел, повернулся и пошел прочь от меня. Я пустился за ним, стал бить кулаками. Гвиния побежал. Я гнался за ним, пинал ногами, коленями, бросился на него грудью. Сначала он убегал трусцой, но потом припустил вовсю, оставив меня позади. Я долго гнался за ним. Мне хотелось выместить на нем злость на себя, на Клементия, на Гогону, на весь мир...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

УПРЯЖКА БЫКОВ

Я не стал привязывать быков, оставил их Гогоне. Медленно перешел поле, потом вдруг заторопился домой. Перескочив через высокий частокол, очутился в нашем дворе. За кухней слышались удары топора. Я обиделся на маму. «Вот мне не дала наколоть дров, а теперь сама...» Я даже подумал, что с тех пор, как папа уехал, она меня уже не так любит, только и знает, что сердится на меня.

Я зашел на кухню. Заза бил колуном по толстому полену.

— Заза! — крикнул я. — Брось колун, по ногехватишь!

Заза от неожиданности выронил колун. Я припомнил, что отец запирает от нас топор и колун.

— Не смей брать его, слышишь, не дотрагивайся! — строго сказал я, пробуя пальцем лезвие.

Так делал отец.

В одном месте оказалась небольшая щербинка. Наверное, Заза ударил колуном о камень. Но я сделал вид, что не заметил этого, и повторил:

— Нельзя его трогать, понял?

Заза кивнул, но взгляд его словно спрашивал: «А тебе-то можно?»

На веранде грелась на солнце бабушка с Татией на коленях. Рядом с ней стояла полная бутылка молока с соской. Я удивился: до сих пор сестренке хватало маминого молока.

— Бабушка!

Бабушка укачивала девочку, но мысли ее, должно быть, были далеко; она не слышала меня.

— Бабушка!

— Что, сынок? — Она очнулась и концом платка протерла глаза.

— Где мама?

— Ушла на плантацию чай собирать. А ты где пропадал весь день?

Второй год, как мама не выходила в поле собирать чай: кормящих матерей освобождали от этой работы.

— Целый день не ел ничего. Иди поешь!

Есть не хотелось, я спустился во двор, подошел к плугу, прислоненному к стволу шелковицы. Бабушка смотрела мне вслед. Длинный грядиль плуга упирался в развилку дерева. Тут же стоял культиватор, на нем лежало ярмо с прилаженной цепью. С ярма почти до земли свисали яремные веревки. На веревках были видны следы от узлов. Я смерил четвертями расстояние от шкворней до этих следов, оказалось две четверти с вершком... «Ага,— подумал я,— значит, узлы надо вязать вот где — чтобы быку не сдавило шею». Яремные веревки пахли бычьей шкурой.

Я потянулся к грядилю, но не смог его удержать, и плуг грохнулся оземь, чуть не задев глазающего на меня брата.

— Ты что здесь торчишь? — прикрикнул я на него.

Заза надулся, отошел и полез под арбу, вздернутую передком на подпорку.

Я опять поставил плуг чапыгой вверх и попробовал рукоять. Она была высокая, почти подпирала мне грудь. Удерживать ее одной рукой и одновременно давить на нее мне было не под силу. Другой рукой мне нужно было подгонять быков. Я повалил плуг на землю. Нет. Одному не справиться!

Как быть?

Я хотел было махнуть на все рукой, но опять подумал, что завтра утром, когда я погоню быков на луг, меня снова встретит хромоногий Клементий, загородит дорогу и, схватив волочащуюся за Гвинией веревку, слащаво заведет:

— Война, паренек, с врагом, понимаешь, сражаемся. Не годится так! — и заодно хлестнет Гвинию по морде.

«Нет, я сам буду пахать! — сказал я себе. — Сам!» — и опять схватился за рукоять. Была бы она хоть на ладонь пониже!..

«А что, если немного укоротить чапыгу? — подумал я. — Продолблю-ка стояк и переставлю рукоять...»

— Заза, тащи сюда пилу!

Заза вылез из-под арбы и побежал на кухню.

Он вытащил пилу, но уронил ее у порога. Она со звоном упала на пол.

— Осторожнее, внучек! — услышал я голос бабушки с веранды. — Не поранься.

Я боялся, а вдруг бабушка заметит, что я собираюсь делать, и запретит мне трогать плуг. Но она, погруженная в свои думы, не обращала на меня внимания.

Заза перескочил через перила, подхватил пилу и бегом пустился ко мне.

Я укоротил чапыгу на пядь, продолбил в ней дырку и вставил рукоять.

Бабушка ничего не сказала. Только, когда я уложил плуг на арбу и подпорка с громким стуком выпала из-под покачнувшейся арбы, она повторила:

— Осторожнее, сынок!

Плужное ярмо я тоже уложил на арбу и пошел к Гоче. Гоча отозвался из виноградника. Между листьями лозы я видел, как он, обливаясь потом, тюкал громадной мотыгой по земле.

— Гоча-а!

— Ну!..

— Выручай, Гоча! Пойдем со мной! А завтра я у тебя в винограднике поработаю... Только скорей!

— Куда?

— Куда-нибудь, все равно... Подальше от деревни... за поле, за лес, за плантации.

— Ты что, спятил!

— Нет, я в своем уме. Если мы с тобой сейчас не пойдем, завтра Клементий Цетерадзе заберет нашего Гвинию.

— Заберет Гвинию? — Гоча перестал работать и облокотился на черенок.

— Конечно, заберет. Бык, говорит, должен быть при работнике! Он прав: уйдем куда-нибудь подальше, Гоча. Ты поведешь быков, а я стану за плугом. А если у нас не получится... Нет, Гоча, если ты поведешь быков, я справлюсь.

— Но ведь Гвиния...

— Кончено с этим, Гвиния больше не бодается. Спроси у Гогоны.

Гоча недоверчиво покачал головой, однако пошел за мной. Мы отправились на выгон за быками.

Гогона почему-то удивилась моему появлению.

Я прямо подошел к Гвинии.

— Гоча, не пускай его! — вскрикнула Гогона, бросаясь к брату. — Не пускай, забодает!

Но я уже подошел к быку и остановился перед ним. Мне еще было страшновато. Наверное, от этого я ткнул его кулаком в морду. Гвиния мотнул головой, засопел, но не пригнул рогов к земле. «Он не должен почувствовать, что я боюсь», — подбадривал я себя, но, когда, взявшись за веревку, повел быка за собой, мне стало не по себе: вдруг Гвиния бросится на меня сзади...

Я связал быков одной веревкой и повел, не оглядываясь. Вместе с Гочей мы пригнали их домой. Впрягли в арбу.

Бабушка между тем уложила Татию в люльку: Татия уже спала, а бабушка все качала и качала люльку.

— Бабушка! — позвал я.

— Что? — отозвалась она, поднимаясь и привычным движением отряхивая подол. — На платье мне напустила, родная моя девочка! — добродушно проговорила она.

— Бабушка, меня не ищите: арбу к бригадиру надо погнать, Гочу вот прислали. Заза! — позвал я брата.

Он вылез из подпола с ржавым обломком косы в руках.

— Не балуйся, понял? — сказал я.

— Понял, — ответил он и посмотрел на упряжку. Я подумал, что сейчас он попросится на арбу, но он кивнул и серьезно повторил:

— Понял, Гогита!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

РАЗОРВАННАЯ СУПОНЬ

Мы остановили быков у ворот и широко распахнули обе створки.

Потом я тихонько тронул быков. У самых ворот Гвиния дернулся в сторону, и ось арбы задела одну из створок. Раздался треск.

— О-о-о-хо-о! — закричал я и стегнул животных. Они попятились назад.

— Куда смотришь?

— Ладно, не учи...

— Поддай еще!

— Да ну тебя!..

Арба въехала обратно во двор, не задев на этот раз за ворота. Тогда я обеими руками ухватился за передок арбы и, не давая быкам свернуть в сторону, вывел их на улицу. Потом вернулся обратно, плотно закрыл ворота и приладил сломанную планку.

Намотав на руку яремную веревку, Гоча осторожно вел арбу.

На проселках и в поле было пустынно. Вдоль опушки леса мы ехали по аробной колее, потом через длинные кукурузные поля, недавно прополотые ровными рядами. Сквозь гущу ольшаника и ивняка посверкивала на солнце река, сильно обмелевшая за лето. Она тихо плескалась на каменистых перекатах. Далеко в лощине виднелась крыша мельницы.

Вот и распутье. Одна дорога сбегает на мельницу, другая через речку забирает вверх-вверх по взгорью, засеянному люцерной. За взгорьем железная дорога. У дороги — чайные плантации.

Гоча придержал быков.

По дороге, ведущей с мельницы, навстречу нам катилась арба.

— Что делать? — спросил Гоча.

— По-моему, лучше свернуть, — ответил я.

— Верно...

Мы спустились под гору, осторожно переехали через речку и стали подниматься по крутому откосу.

— Налегай на передок! — сказал я Гоче: отец всегда делал так, стараясь помочь быкам.

Но быки и без того легко катили в гору порожнюю арбу.

Мы проехали берегом реки в стороне от аробной колен и за покосами, где начинался поросший осокой склон, вывели быков в поле.

Вокруг ни дороги, ни тропинки. Ни души.

— Здесь подходяще! — сказал Гоча и, не дожидаясь моего ответа, остановил быков.

Я принялся развязывать супонь на быках, но оказалось, что сделать это не так-то легко. Отец, бывало, потянет за конец петли, и бык свободен. Мы же так затянули узлы, что теперь они не развязывались.

— Погоди, — сказал я Гоче. — Ты придержи волов, а я попробую зубами.

Я присел на корточки у передних ног Гвинии и стал зубами развязывать узел. Гвиния недовольно мотал головой, но Гоча несколько раз осадил его.

Наконец мы распустили узлы, впрягли животных в плужное ярмо и железной цепью присоединили соху.

— Ну, давай, Гоча, только не слишком быстро, — сказал я, берясь за ручник и стараясь вогнать плуг в землю.

Быки тронулись. Сошник цеплялся за сорняки и корни.

Сбитый целник не поддавался. Я отшвырнул плеть и обеими руками взялся за ручник. Сошник все скреб по земле, плуг подпрыгивал и трясся, подрезая корешки трав и волоча меня за собой.

— Э-э-эй! — зашумел я. — Эй! Останови быков, Гоча! Упаду!

Меня кидало из стороны в сторону, ударяло о чапыгу, но я не выпускал ручник.

Гоча взмахнул плетью, животные остановились.

— Что? Не берет?

— Не берет, и быков никак не сдержим! — крикнул я. — Потихе ведем, что ли.

— Потихе, потихе... так они меня и послушались!

— А не послушаются, бей по морде!

— Ладно, ты лучше пятку плуга прижимай. Земля-то целенькая да и уковалась без дождей.

Я снова изо всех сил налег на ручник и, широко расставив ноги, крикнул:

— А ну, пошел!

Быки медленно тронулись.

Я попробовал левой ногой надавить на пятку плуга, но, когда мне это удалось, я потерял равновесие, плуг накренился и сошник выскочил, выворачивая мелкие комья. Я опять нажал на пятку, отвал с натугой ушел в землю, но тут Гоча, который пятился задом, влез в колючие кусты, и быки стали.

— А, черт подери, заворачивай обратно!

Гоча завернул в сторону черного быка. Я потащил ручник на себя, но на этот раз отвал основательно ушел в землю — засел намертво. Между тем Гвиния заходил все дальше, а черный бык задними ногами упирался в грядиль и выгибал спину. Гвиния лягнул его и отпрянул в сторону.

Дело могло плохо кончиться. Я рванул рукоять. Грядиль накренился, плуг выскочил из земли. Мне показалось, что от натуги у меня затрещал позвонок, и, когда мы встали на новую борозду, меня душила злоба на собственное бессилие.

Теперь черный вол тянул изо всех сил, боясь еще раз зашибить ноги, но разве мог Гвиния выпустить его вперед? Быки почти бежали, а я, ухватившись за ручник плуга, мотался из стороны в сторону и еле удерживался на ногах.

— Эй, потише! Слышишь, потише!

— Не выйдет потише, пока сошник не загонишь!

— Загонишь с таким погонщиком, как же!

— Я-то при чем? Веду как по струнке. Или борозду сломал?

И тут отвал, вывалив большой ком, выскочил из земли, пробежал вхолостую и свернул на сторону. Я споткнулся о вывернутый ком и со всего роста ткнулся носом в землю, даже рук не успел подставить. Сразу вскочил и кинулся за плугом, боясь, как бы Гвиния не порезал ноги о сошник. Но Гоча умудрился остановить быков. Я поднял плуг, чувствуя во рту теплый солоноватый вкус. Облизнул губы — из носа текла кровь.

Гоча молча смотрел на меня.

— Иди! — закричал я. — Чего стал? Иди!

Гоча все смотрел на меня, но быки сами налегли на ярмо.

— Иди! Иди! — Я шатался, падал, поднимался и бежал за плугом. Кровь капала с подбородка. — Иди, не останавливайся! Пошел! Пошел!

Я уже не боялся, что споткнусь, упаду, разобьюсь о камни, не замечал, что из носу на рубаху течет кровь. Мне даже было приятно, что я больно спотыкаюсь об камни и обливаюсь кровью. Я давил на ручник, давил что было сил. Мне опять удалось дотянуться ногой до пятки плуга и нажать на нее. Я ждал, что вот сейчас плуг накренится и меня опять швырнет оземь, вот сейчас... но сошник все глубже уходил в землю и скоро скрылся совсем. Вывернутые комья земли сняли меня с пятки плуга. Я соскочил с нее, как с подножки, и всем весом налег на ручник.

— Давай! — кричал я. — Тяни!

Быки замедлили ход, напружинили шею, но продолжали тянуть. Плотно схваченный травами целик упрямылся, но плуг, подрагивая от напряжения, полз вперед, и борозда делалась глубже. Черный бык стал. Потом опять влег в ярмо. А я все давил и давил на ручник: теперь, когда отвал по самую пятку ушел в землю, он стал мне почти впору.

Черный бык опять остановился.

— Пошел! — заорал я. — Пошел!

Гвиния двинулся один. Съехавшее на сторону ярмо вывернуло черному шею.

— Назад! — завопил я не своим голосом. — Осади Гвинию, он удушит черного!

Гоча вытянул быка плетью.

Гвиния сердито мотнул головой, отпрянул назад, дернул ярмо. Супонь лопнула, шкворни затрещали, Гвиния вырвался из ярма и, храпя, мотая сильной головой, тяжело затрусил в поле.

Я упал на траву и долго не мог поднять головы.

Гоча гонялся за разъяренным Гвинией, наконец пригнал его и, не говоря мне ни слова, впряг в ярмо. Вытащив из земли плуг, он с грехом пополам уложил его на арбу и медленно тронулся к дому.

Я поднялся, когда арба миновала поле люцерны и свернула к реке.

Вымыл в реке разбитую физиономию и пошел к дому.

У кукурузных посевов нагнал арбу. Гоча шагал впереди волов и даже не обернулся. Я молча шел сзади. Когда проходили мимо двора Цетерадзе, со стороны лесной просеки донеслись звуки не то песни, не то козлиного блеяния.

— Кто это поет? — прохрипел я.

Не бывать тому веки
Ни за что и никогда!

Я узнал голос Буду и остановился.

— «Не бывать тому веки! — распевал приемыш Клементия.— Не бывать тому веки!»

Мне показалось, что на меня опрокинули наш церковный колокол, а Буду колотит по нему булыжником.

Не бывать тому веки
Ни за что и никогда...

Я сорвался с места и побежал к лесу.

Мне недолго пришлось бегать: Буду был там, на лесной тропинке. Он пас козу, но я тогда ее не заметил. Я видел перед собой только Буду и бежал прямо на него.

Не бывать тому...

Я подбежал к нему и со всего размаху ударил по лицу. Потом еще!.. Так... Потом головой в грудь. Кубарем в колючий кустарник. Так! Потом ногами...

Буду вопил и просил пощады, а я бил его, бил немилосердно, отчаянно, зло...

На крик прибежал Гоча и с трудом оторвал меня от ревающего Буду.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

НЕЗАЛОЖЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ

— Где ты пропадаешь целый день, сынок? Хоть бы о еде вспомнил! — встретила меня на кухне бабушка.— И мать не показывается, девчонка вся криком изошла.

Я молча стал шарить руками по полкам. От голода кружилась голова, подкашивались ноги, я не мог выдать ни слова. Нашел холодный мчади.

— Ты бы разогрел, Гогита, холодный кусок в горло не полезет.

Я сунул половину лепешки Зазе, другую стал есть сам.

— На, Заза, разогрей, если хочешь! А больше ничего нет? — спросил я.

— Фасоли нет! — пожаловался Заза.

— Матери до сих пор нет, а я с голодным ребенком провозилась. Не могла успокоить — к резиновой соске не приучена,— сказала бабушка.

У меня от удивления кусок застрял в глотке, я поперхнулся и закашлялся.

Бабушка положила в рот Татии свою высохшую грудь, и та ее торопливо сосала.

Во дворе залаяла собака.

Пустая корзина шваркнула об пол балкона, и в дверях появилась мама.

— Мама пришла! — радостно вскрикнул Заза и бросился к ней.

— Наконец-то! — сказала бабушка.

Девочка выплюнула изо рта пустую высохшую грудь и заплакала.

Мама отстранила Зазу и подхватила девочку на руки.

— Гогита! — рывком расстегивая на груди кофту, позвала она и скосила глаза в мою сторону.

Девочка припала к груди и положила на нее обе маленькие ручки.

— Не давай ребенку перегоревшее молоко,— напонила бабушка маме, но девочка уже присосалась, как пиявка.

— Гогита! — повторила мама.

Я исподлобья покосился на мать и опять промолчал — я видел, что она сердится на меня.

— Гогита, чертов мальчишка!

Заза удивленно посмотрел на маму, потом на меня и опять на маму.

— Чего ты от него хочешь? — вступилась за меня бабушка.— Весь день ничего не ел мальчонка, дай хоть кусок проглотить спокойно.

— Ты что молчишь, язык, что ли, проглотил?

— Что тебе надо от меня? — вспыхнул я.— Что?

— Чтоб ты сквозь землю провалился, вот что мне надо! — Девочка не удержала грудь во рту и громко заплакала.— Совсем рехнулся!

— Чтоб его враги, чтоб его враги...— вторила бабушка, отводя от меня проклятия.

— Почему это я рехнулся? — с вызовом спросил я.

— Ты что Клементию Цетерадзе наговорил, а?.. Да как ты смел? Разве ты не знаешь, как со старшими разговаривать!

— Знаю!

— Как же ты посмел ругаться со старым человеком?
— Старым человеком! — машинально повторил я. Но тут мама с ребенком на руках решительно шагнула ко мне.

— Негодный мальчишка! Ты позоришь меня! Пристал к больному! Говори, что тебе от него надо?

— Ничего мне не надо!

— Нет, видали! Как у него еще язык поворачивается! Видали, как распустился!

— Ничего я не распустился...

— Прикуси язык, говорю! Два дня, как отец уехал, а ты... Что же дальше-то будет? — Она повернулась к бабушке.

— Сегодня Клементий Цетерадзе при всем честном народе меня стыдил: я, говорит, Ивдिति, думал, что ты умная женщина, мать, а ты собственного сына воспитать не сумела... Выкормить, мол, мальчика кукурузной лепешкой — не велика заслуга! По-твоему, матери больше и делать нечего. А ваш сын, мол, уродился ни в тебя, ни в Датику. Позорит имя отца, паршивец, чтоб мне похоронить его!..

— Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб его врага! — сразу же встала бабушка. — Но зачем ты с ним связываешься, сынок?

— Ты почему не отдал быка, дурень?

— Не отдал и не отдам!

— Да почему? Почему?

— А потому, — упрямо твердил я. — У Клементия свои воли есть, а Гвинию вырастил папа, и я не дам его Клементию, он загубит его. Своих до того заездил, что и на бойню не принимают. Он не знает, как с ними обращаться.

— А ты знаешь?

— Знаю.

— Быки колхозные, упрямая твоя башка!

— Колхозные, да не Клементьевы.

— Замолчи сейчас же, бандит!

— Не отдам Клементию быков!

— Тебя и не спросят.

— Сам буду пахать, а Клементию не отдам!

— Ну и дурень! Это ты-то собираешься пахать? Да с этими быками и отец твой едва справлялся, чтоб их волки задрали!..

— Отец любит Гвинию.

— Вот он вернется, я тебе тогда...— Голос у мамы сорвался, к глазам подступили слезы.

— Не отдам! — повторил я.

— Гогита!..— Мама, прижав к груди девочку, выхватила из очага головешку. Я не сдвинулся с места.

«Ударит? Ну и пускай. Все равно, с тех пор как папа уехал, она разлюбила меня».

Но мама не тронула меня. Она швырнула головешку обратно в огонь и разрыдалась.

— Как мне быть, мамочка! — бросилась она к бабушке.— Как же мне быть? Ты видишь, какой он!..

Бабушка ничего не ответила, только, как обычно, вздохнула: «Господи Иисусе!..»

Я швырнул кусок мчади об стенку, крикнул с порога:

— Клементию моего Гвинию не отдам! — и хлопнул дверью.

Под ноги подвернулась собака.

Я пнул ее ногой и выбежал во двор.

Было темно и душно. В облаках привидением плыла луна, похожая на стертую бычью подкову.

Я сел в высокую траву перед домом, прислонившись спиной к груше. Не помню, сколько просидел там. И когда вышел за ворота, я не знал, куда иду.

Проходя мимо дома Гочи, заметил в окне огонек.

«А, не стоит!» — подумал я и пошел дальше. Прошел мимо ворот Серапиона. Ничего не видя, не глядя, миновал двор Бикентия, прошел бы мимо следующего двора, если бы за воротами не завизжала свинья. Она бегала вдоль забора и истошно визжала.

С улицы в распахнутые двери был виден огонь в очаге посреди кухни. На огне стоял большой котел; языки пламени лизали его. На веранду, в свете очага, вышел рослый старик. Я узнал Эзику, отца Амирана. Эзика лишился на войне правой ступни и ногу без ступни волочил, как деревянную. Он был злой, нелюдимый человек, часто бранился. Говорили, что во время войны он кого-то убил и с ним лучше не связываться. Эзика сердито бросил деревянное корыто на пол и прикрикнул на визжащую у калитки свинью:

— Покричи еще, волчья сыть!

Пати вынесла во двор котел с похлебкой для свиньи и стала сливать ее в корыто. От горячей похлебки поднялся густой пар и скрыл за собой Пати. Должно быть,

она обожгла руки паром, потому что котел стукнул о перила веранды.

— Эх ты! — крикнул Эзика и сам схватил котел. Потом подхватил корыто с похлебкой и понес к воротам.

Свинья, визжа громче прежнего, бросилась навстречу.

— Чтоб тебя волк сожрал! — еще раз пожелал ей Эзика.

Пати стояла на балконе и то дула на свою руку, то прятала ее под мышку.

Я пошел дальше, вышел в поле.

«Пойду-ка к Тухии!» — решил я, проходя мимо двора Цетерадзе.

Из окна цетерадзевского дома на дорогу падал луч света. Я, зажмурившись, прошел сквозь сноп света, свернул на тропинку, подошел к дому Тухии и встал у ка-литки.

В открытую дверь я видел собачку Тухии: Толия сидела на задних лапах перед огнем. Но ни очага, ни самого Тухии не было видно. Из дома доносился громкий голос Капито. Во дворе у стены белели в темноте доски. Капито все собирался поставить себе новый дом, да так и не собрался до сих пор. У него было шестеро детей, все погодки, мал мала меньше, только Тухия немного постарше. И вот каждый год Капито Бандзеладзе начинал строить себе новый дом. Бывало, зайдет к нам зимним досужим днем, усядется поближе к очагу посреди кухни и, закинув ногу на ногу, заведет беседу с отцом:

— Как думаешь, Датико, какая будет нынче весна?

Отец поглядит в окно на глубокий, по колено снег и ответит:

— Покуда на этот счет ничего не скажешь, Капито!

— Вот, понимаешь ли, какое дело... — продолжает Капито, — хочу дом строить. Летом, сам знаешь, сорвалось у меня, молочный брат помер. Пришлось помочь его семье, тут опять же на свадьбу двоюродного брата позвали, а там, глядишь, на лекарство для малого моего поистратился... Трудный был у меня год...

— Разве у тебя мальчишка болен? — спрашивал отец.

— Лихорадка у него... Ну, а теперь вот думаю: как быть... Дом мне нужен... Не укажешь ли мастера какого получше?

— Ну, мастеров-то хватает. Есть мастера.

— Есть-то есть, но я хочу, чтоб получше. Перед этим был у меня тот, что Габриелу строил.

— Это хороший мастер, ничего не скажешь.

— Мастер-то хороший, да не сошлись мы с ним. Он говорит, что моего материала хватит только на одну комнату, а я ведь хочу дом в три комнаты, сам знаешь.

— Ну, а если и вправду не выйдет?..

— Не верится мне, что не выйдет. У меня уже и другой мастер был, сосед моего свояка, Нико. И с ним я не поладил. А теперь я хочу...

...В проеме двери промелькнул Тухия. Он махнул рукой, собака подпрыгнула, и я услышал, как захрустела кость у нее на зубах.

— Тухия! — тихо позвал я.

Собака бросилась к воротам, но, узнав меня, вернулась к кости.

Тухия шагнул через порог.

— Это ты, Гогита? — Он подошел к плетню и верхом сел на перелаз.

— Я.

— Что ж не заходишь! Заходи.

— Тороплюсь! Ты завтра свободен?

— Завтра,— неопределенно повторил он.— Завтра...

— Ну да, что ты делаешь завтра? — спросил я, задетый его нерешительным тоном.

— Отец...

— Разве твоего отца не забрали в армию?

— Завтра он уходит,— проговорил Тухия, откинув назад свою большую голову, и прислонился к высокому колу в плетне.

Я вспомнил, что не видел отца Тухии в тот день, когда уходил мой отец.

Я ничего не мог сказать ему.

— Завтра он уходит,— повторил Тухия.— Только что вернулся домой. Сегодня вызывали...

— А с кем это он толкует так громко?

Капито всегда так степенно и неторопливо рассказывал о том, какой он собирается построить дом.

— Мастера привел, договаривается о доме.

На этот раз можно было разобрать голос Капито:

— Не сейчас, потом, когда вернусь... Мне, понимаешь, надо заранее знать, у меня ведь свои расчеты...

— Мастер немного глуховат,— заметил Тухия.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПОГОНЩИК БЫКОВ

Эту ночь я спал на арбе. Подложил под себя сено и сверху насыпал целый ворох. Сухие стебли кололи лицо, лезли в уши, нос, шекотали шею. Долго я ворочался, устраивался поудобнее и наконец лег на спину. Сквозь листву шелковицы было видно пасмурное ночное небо. Облака толпились на небе, луны не было видно; из-за облаков изредка выглядывала одинокая звезда, но тут же ее снова закрывало.

Стоило только залаять собаке или стукнуть быку копытом, мама открывала дверь, иногда выходила во двор и смотрела в темноту.

Неподалеку от меня на дереве закричал петух.

«Скоро рассвет»,— подумал я.

Боясь, что утро застанет меня спящим в арбе, я старался не дремать. На небе кучились облака. За облаками прятались бесчисленные звезды. Необъятно огромным было небо. Конечно, я знал, что земля круглая, но этой ночью мне казалось, что она плоская, с горами и холмами, а небо опрокинулось над ней.

Наше село было в самой середине мира, и небо над моей арбой было самое высокое. Луны я сейчас не видел, но она представлялась мне не больше аробного колеса. Конечно, на самом деле она больше, да только кому и на что нужна такая огромная луна. Еще я подумал, что, если в самом деле на небе есть бог,— бабушка ведь все время твердит, что он есть,— почему же началась война и зачем явился на свет Клементий Цетерадзе. Если бы его не было, тогда кто-нибудь другой усыновил бы Буду, и я не стал бы колотить его ни за что.

Хоть и поздно, но я все же уснул. Мне снился Клементий Цетерадзе верхом на Гвинии. Он плыл на нем по мутному морю и орал во все горло песню.

Я проснулся.

Прислушался. Из хлева не доносилось ни звука. Я спрыгнул с арбы, посмотрел на быков. Гвиния спал, положив голову себе на плечо.

Я снова влез в сено, притих, прислушиваясь к утренним звукам; только бы не заснуть.

Свежий предрассветный холодок разбудил меня. Я соскочил с арбы, откинул задвижку, бесшумно вывел

Гвинию, вернулся за другим быком. Но при выходе из хлева он зацепил за косяк, и дверца скрипнула. Я при-таился. Никто не выглянул из дома. Наконец-то мама уснула, хоть перед самым рассветом.

«Сегодня попробую поработать на культиваторе»,— решил я.

Я подошел к культиватору, однако сдвинуть с места машину с девятью лапами было не так-то легко. Я под-ставил плечо под сницу, приподнял и подкатил к арбе. Надо было поднять и поставить на арбу всю эту махину.

Долго ходил я вокруг культиватора, соображая, как бы одному справиться с ним, установить его, да так, что-бы никто не услышал.

«Выкачу-ка его покамест за ворота, на самую дорогу, а там видно будет». И я снова подпер сницу плечом и беззвучно покатил культиватор по мягкой траве. Ко-леса были только что смазаны и не скрипели. Я вернулся к арбе: снял с тычка буйвольный рог, налил в него воды, развел мыло. Этим раствором я смазал ось арбы, чтобы она тоже не скрипела. Шагая на цыпочках, я погнал бы-ков за ворота. Быки шли по двору так бесшумно, словно копыта их были обмотаны войлоком. Мы вышли на улицу.

Я лез из кожи вон, стараясь поставить культиватор на заднюю лапу и рукоять. Потом подтянул к нему пе-редок арбы. Еще немного усилий — и передние лапы с ко-лесами станут на арбу. Но на это моих сил не хватило.

Близился рассвет.

Я привязал быков к верее и побежал за Гочей.

На меня громко залаял пес. Я не обратил на него внимания. Тогда он отвернулся, поскреб под крытой ве-рандой землю и улегся на песок.

Я поднялся по лестнице и подошел к открытому окну, у которого — я это знал — спала Гогона. Заглянул в комнату. Гоча спал в дальнем углу, где еще притаилась темнота.

Я перегнулся через подоконник к самому уху Гогонь и шепнул:

— Гогона!..

Она пошевелилась во сне, отвернулась, и ее теплое дыхание коснулось меня.

— Гогона! — Я осторожно потянул ее за косу.— Гогона, это я, Гогита. Проснись!

Она открыла глаза.

— Гогита?

— Гогита, Гогита, не пугайся. Мне Гочу надо.

— Гочу? Зачем? Он еще спит, вчера с мельницы поздно вернулся.

— Ну, ладно, ладно! — Я отошел от окна.

— Гогита! — позвала меня Гогона, но я не обернулся.

Подойдя к воротам, я услышал за собой ее быстрые шаги.

— Гогита! — Она подбежала ко мне, и на меня опять пахло теплой постелью.

— Мне Гоча нужен, а не ты. От тебя, вертушка, толку мало.

— Ты скажи, зачем тебе Гоча!

— Вот зачем! — Я подвел ее к культиватору.— Надо поднять его на арбу. Сможешь?

— Я помогу тебе, Гогита,— тихо сказала Гогона.— Я ведь видела в то утро...

— В какое еще утро?

— Когда ты с Клементием...

— Становись вон туда,— оборвал я ее и подошел к культиватору. Гогона взялась с другой стороны. Вдвоем мы кое-как оторвали его от земли. Он сопротивлялся, цепляясь лапами, но нам удалось-таки втащить его на арбу.

— Теперь садись, Гогона. Поедем...

Гогона пристроилась на передке.

Когда мы выехали в поле, восток полыхал, как пожар. В небе трещали крыльями жаворонки.

Я придержал арбу.

— Как думаешь,— спросил я Гогону,— где лучше начинать культивацию?

— Лучше на чайном поле. Здесь еще рано, только недавно пропололи.

— Но там же чай собирают.

— Не везде же сейчас собирают. Я слышала, как Эзика с дедушкой разговаривали: «Нужно заняться плантациями, они совсем бесхозные».

— Ладно, в чае и нам полегче будет. На кукурузном

поле искривишь борозду — сроешь кукурузу, а чайный куст повыше, его срыть не так-то легко.

Опершись о дышло, я вскочил на арбу и вытянул животных плетью. Арба с грохотом покатила по дороге. Через реку я сам повел быков, боясь наскочить колесом на камень и опрокинуться.

Солнце еще не взошло, а мы уже были на плантации.

Вокруг ни души. И дорога пуста и безлюдна.

— Гогона! Ты не бойся Гвинии!

И, помахав плетью перед носом быка, я подвел к нему Гогону. Потом столкнул культиватор с арбы, зубами и ногтями развязал яремные веревки, перепряг быков в плужное ярмо и вручил Гогоне повод.

Привязав к передним лапам культиватора булыжники, я поставил упряжку на междурядье. Между ними, на средний ряд, встала Гогона.

— Эгей, пошли! — крикнул я, и быки тронулись.

Культиватор — не плуг: он стоял на девяти расставленных лапах, и если б я даже снял руку с рукояти, то и тогда он не мог накрениться.

Передние лапы глубоко врезались в землю.

— Смотри, Гогона! Смотри! — закричал я от радости.

Однако последняя лапа все еще не брала. Тогда я встал на средний ряд, и все девять лап стали дружно вырывать сорняки, разрыхлять землю в междурядьях, оставляя за собой черные полосы.

— Хорошо, Гогона! Хорошо! — радовался я. — Давай, Гвиния! Тяни!

— Все в порядке, Гогита! — отозвалась Гогона.

Волы степенно шагали в междурядьях, и я погонял их. Я справился с ними.

Дойдя до конца борозды, волы по привычке сами повернули обратно, я подставил плечо под сницу культиватора и тоже повернул его. Машина была тяжелая, поворачивать ее было трудно, но, когда лапы снова дружно ушли в землю, я забыл о ее тяжести и весело гикнул на быков. Ликуя в душе, погонял я их, ликуя, смотрел в сторону села и орал во все горло:

— Нет, Клементий Цетерадзе, не дамся я тебе! Не дождешься ты этого!

Гогона оглянулась на меня, засмеялась и, держась за повод, потянула волов вперед по борозде.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПИСЬМО БЕЗ АДРЕСА

Идет дождь.

Со вчерашнего вечера идет он и всю ночь лил не переставая. Накинув отцовский дождевик, я пробежал в самый отдаленный угол нашего двора, забрался на забор и стал всматриваться, что делается за полями. Река вздулась. Мутная красноватая вода заполнила русло до краев. И на полях местами скопилась вода... Наверно, не везде успели закончить прополку.

На редкость скучный день.

Быки стоят под кухонным навесом. Мычат, топчутся, бьют копытами о землю и разбрызгивают грязь. Мокрые цыплята все время пищат и путаются в ногах у быков. Приткнувшись в углу, за большим глиняным кувшином, кудахчет наседка, сзывая цыплят. Те прячутся у нее под крыльями. Один, тощенький, в редких перьях, уткнулся под крыло вымокшей головкой и икает.

У мамы стирка. Заза понуро бредет то с веранды на кухню, то обратно. Бабушка сидит у люльки, подперев голову рукой. На подоле ее черной длинной юбки мокрое пятно. Видно, Татия снова обмочилась. Девочка все время ворочается, часто всхлипывает. Она проплакала ночь напролет. Бабушка уверяет, что ей повредило материнское перегоревшее молоко. Да, она неохотно берет грудь и хнычет, хнычет не переставая.

Глиняный котелок, накрытый черепком, булькает у очага. В нем варится фасоль.

В дровах я нашел поленца, годные для шкворней, и принялся их обстругивать. Бью по полену топором, бью по несколько раз и чувствую, как быстро устают руки, повисая плетью. Топор тяжелый, топорище плоское, широкое, мои пальцы с трудом обхватывают его. Отдыхаю, опять принимаюсь колоть, стругать. Топорище к тому же слишком длинное, оно поддевает подол моей рубашки, рвет ее. Я часто бью мимо. Никак не могу вытесать шкворни. Кажется, вот еще один легкий удар — и готово... Но я не рассчитываю удара, и тяжелый топор срывает щепу до конца.

Злюсь на самого себя и на топор. Заза несет мне пилу, и я укорачиваю топорище. Обстругиваю его, делаю тоньше и снова принимаюсь тесать шкворни.

Мы с Гогоной выработали четыре трудодня. Не подведи погода, мы и сегодня поехали бы на чайную плантацию. Привязали бы коров к арбе и, оставив их пастись, сами пошли б работать.

Когда солнце поднялось бы на высоту двух мотыжных черенков, появился бы Эзика, волоча, как деревянную, покалеченную ногу. Увидев, сколько мы наработали и удивленно покачав головой, он крикнул бы, кивая на пасущихся коров.

— Чай потопчут, утробы ненасытные!

— Не беспокойтесь, дяденька, не потопчут.

Потом он пошел бы от нас прочь, пытаюсь шагнуть через кусты, занес бы искалеченную ногу, но пошатнулся б и упал за кусты. Смачно выругав неизвестно кого, он с трудом поднялся бы и пошел дальше, в обход чайных кустов.

После такого обхода он появлялся в поле только к вечеру. Ковыляя с двухметровой палкой в руках, он замерял ею обработанную площадь и подзывал меня.

— Помножь-ка эту чертовщину. Что-то никак не разберусь...

Я множил длину на ширину, и Эзика заносил итог в книжку против моей фамилии. Гогоне он записывал полтрудодня. Перед уходом он опять наказывал нам:

— Смотрите, как бы коровы не испортили кусты!

— Да нет,— отвечали мы.

И, ругаясь себе под нос, он уходил.

Мы не знали, бригадир Эзика или нет, да и сам он не знал. Как он мог бригадирствовать, обходить на своей хромой ноге все село по утрам? Но обработанные участки он замерял и, хотя в расчетах был не силен, никто на него не обижался: надо же было кому-то этим заниматься.

Дождь стал стихать. Я сумел обтесать четыре шкворня. Два из них вставил в ярмо, привязал новые веревки.

Вымокший под дождем Заза прилепал домой и протянул маме зажатые в кулачок мокрые деньги.

— Хлеба в лавке нет! — объявил он.

— А будет сегодня? — спросила мать.

— Нет,— мотнул головой Заза и хотел что-то добавить, но мама уже отошла от него, выжимая на ходу мокрую простыню.

Заза подошел ко мне, посмотрел, как я работаю,

потом перешел к бабушке, уставился на нее грустными глазами и нерешительно сказал:

— Есть хочется, бабушка!

— Поешь, сынок, если хочется,— проговорила бабушка, не взглянув на него.

— Хлеба хочу!

— Поешь хлеба!

— Да нет хлеба.

Он скрылся в чулане и вынес оттуда кусок кукурузной лепешки. Выйдя на веранду, он сел на каменный выступ и принялся грызть сухую лепешку.

— Гогита! — позвал меня кто-то с улицы.

У калитки стоял Фома-письмоносец.

— Письмо! — вскрикнул я и сорвался с места.

Промокший до нитки, в грязных по колено сапогах, Фома пошарил рукой в почтовой сумке, поднял на меня веселый взгляд своих косых глаз, прищелкнул языком и протянул сложенное белым треугольником письмо.

— Что мне за это будет, сынок, какой магарыч? Вот и принес вам письмецо! Вот оно! — говорил он весело.

— Заходите к нам! — пригласил я.

— Позавчера не было ничего, да и вчера... А сегодня — вот оно... Про тебя говорят, за работу взялся... быками занялся. Так-то правильнее, сынок. Не подкачай, и я не подведу... На, держи. Мама дома? — спросил он вдруг.

— Дома.

— Да, дождь сегодня... Я тоже думал переждать, пока прояснится, но такое дело... Бабушке не забудь прочитать, — предупредил он. — А я пошел дальше, к другим. Тут еще письмо от Симоники. А вот от Амбако почему-то нет письма. Непонятно... Я и там, на распределителе, спрашивал... и от Коции что-то нет.

Во двор, вытирая руки о фартук, вышла мама, за ней тянулся Заза.

— Зайдите, дяденька Фома! — предложил я еще раз.

— Нет, дружок, зайду потом, когда Датику вернется. — Он крикнул маме: — От мужа твоего письмо, Ивдिति! Хачапури за тобой, так и знай! — и скрылся за поворотом, меся грязь деревенской улицы.

Мы проводили его взглядом, но не успели вернуться в дом, как Фома снова появился из-за поворота и юркнул к нам во двор. Он весь ссутулился, втянул голову

в плечи, отчего шея у него сделалась как у черепахи, и, мокрый, забрызганный грязью, затоптался на месте.

— Заходите, обсохните немного,— пригласила мать.

— Нет, Ивдита, некогда мне. Извини. Такое, понимаешь, дело.— И он показал рукой на улицу.— Там вон у ворот Эка дожидается. И вчера ждала, и позавчера, а письма нет. Я обещал принести сегодня. Проводи-ка меня, сынок, задним двором, чтоб собака не укусила.— И он вошел во двор.— Завтра-то оно будет наверняка, а сегодня, выходит, обманул я старую женщину...

Он шагнул через перелаз, повернулся ко мне и умоляюще заглянул в глаза:

— Не выдавай меня Эке, сынок!

Я бегом пустился домой. Сегодня же напишу папе, что Гвиния больше не кидается на меня, что я заработал четыре трудодня, а что Татия болеет, об этом не напишу.

На письме стояла треугольная печать, химическим карандашом было написано название нашего района, села, а под косой чертой отец написал свою фамилию. Ни улицы, ни города, где он находится и откуда пишет. Даже номера не было никакого.

Отец писал с дороги, он не знал, куда направляется эшелон, где будет остановка, не знал, какой у него будет адрес.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ДОРОГА НА МЕЛЬНИЦУ

Почти целую неделю лил дождь. Наконец прояснилось, но в поле выходить нельзя: всюду стоит вода, непролазная грязь, люди и волы тонут в ней. Все дороги развезло. Накануне Эзика выставил из дому своих свояков — так они улицей не могли пройти, и маме пришлось провести их нашим двором.

Правда, Эзика вместо благодарности стал бранить маму:

— Ни к чему было пускать их во двор. Таким в грязи самое место!

— Что вы такое говорите, сосед! Что о нас люди подумают! — возразила мама, потом осторожно полюбопытствовала: — Чем же они так вас рассердили, эти ваши свояки?

— Рассердили?! Вот подлые души! Зачем девку

замуж отдавали, если она им дома нужна. Силой к ним никто не ломился.

— А что, они хотели Пати забрать?

— Хотеть-то хотели, да не на того нарвались. Сватья-то, сватья: «Ах, как бы дочка моя не пострадала, как бы голубушку не обидели!..»

— Ну, что вы, Эзика, верно, она не в обиду вам так сказала, — попыталась заступиться за женщину, моя мать, — Что ни говорите, каждому свое дитя дорого!

— А мое дитя!.. — взорвался Эзика. Мама даже язык прикусила. — Мой сын! Мой сын мне не дорог? Ох, чтоб им... — Он не закончил фразы и заковылял прочь. — Мой Амиран... Знаю я, какие они есть, эти бабы, не тебе меня учить! — ворчал он. — Вот так же к моей жене пристали, когда я в армии был, и окрутили ее с разносчиком. Только на этот раз не выйдет у них ничего... Не на того нарвались...

Бабушка каждый день просила меня перечитывать папино письмо — два десятка слов, написанных крупными буквами на одной стороне листка. Я уже знал письмо наизусть и раскрывал его только для виду. Когда я доходил до слов «Ваш Дати́ко», бабушка каждый раз спрашивала:

— А дальше что?

— Дальше ничего, бабушка!

— Ничего... Что бы ему еще написать...

— Да вот не написал.

— Как же так... Может, он пишет, прихворнул, мол, я, занемог... Прочитай-ка лучше...

— Да я все уже прочитал! — И я опять сначала повторял письмо. — Вот и все.

Бабушка брала у меня письмо, долго разглядывала его, потом складывала вчетверо, заворачивала в платок и прятала в карман юбки.

— Если увидишь Фому, не отпускай его без меня.

— Я все передам, бабушка, ты только скажи — что.

— Ты, сынок, еще ребенок, с тобой не станут разговаривать. Другое дело, если я его попрошу... Так вот: появится Фома, ты ему скажи...

По утрам она то и дело глядела на дорогу, прислушиваясь ко всем шагам, но Фома не шел.

...Мама подошла с корзиной к груше, подобрала опавшие плоды. Потом обернулась ко мне:



— Гогита! Свези кукурузу на мельницу! — крикнула она. — Слышишь? Все забирай.

Я вынес два мешочка с зерном и уложил их на арбу. Они были легкие — наверное, мама разделила зерно пополам, чтобы мне не тяжело было таскать.

«Неужели это вся наша кукуруза... — подумал я и сам же ответил: — Да, наверное, вся. Ведь в магазине давно нет хлеба, а мы все лето на одном хлебе и жили...»

Я уже запряг быков и хотел двинуться в путь, как меня окликнула бабушка.

— Гогита, поешь чего-нибудь, не уезжай голодный!

— Ладно, бабушка,— отозвался я и забежал на кухню. На кеци лежала половинка мчади, в миске — остатки мхали¹. Пошарил по горшочкам и чугункам — ничего больше не было.

Я положил мхали на лепешку и вдруг вспомнил про Зазу.

— А что будет есть Заза?

Я сложил все обратно в миску, прикрыл тарелкой, чтобы кошка не стащила, и направился к быкам.

— Ты что так скоро, Гогита? — крикнула мне бабушка вдогонку.

— Я поел, бабушка, поел.

— Что ты поел так быстро?

— Все съел, бабушка, все.

— Не мори себя голодом, сынок,— уговаривала меня бабушка, суя свою высохшую грудь в рот Татии.

Быки легко катили пустую арбу, два моих мешка подпрыгивали и перекатывались, я едва удерживал их, а то бы они выскочили. Арба поравнялась со двором Гочи.

— Гоча, Гогона! — окликнул я.— Я везу кукурузу на мельницу, могу и вашу кукурузу отвезти.

— Ладно-о-о! — отозвался из глубины дома голос Гочи.— Сейчас!

Я оставил арбу на дороге и вошел во двор — решил помочь вынести мешки.

Из-за угла выбежала Гогона, посмотрела на меня, скрылась и тут же вернулась с небольшим мешком за спиной.

— А где остальное? — спросил я, засучив рукава.

— Остальное?..— Гогона вспыхнула и сердито посмотрела на меня.— Больше нет ничего!

— Да... И у нас больше нет...

Гогона положила мешок на арбу и, даже не взглянув на меня, ушла.

— К тете Пати заезжай, Гогита! — крикнула она, уже скрывшись за углом.

— Заеду, Гогона, конечно, заеду! На арбе места хватит, и быки не запарятся. А хочешь, и к Серапиону заеду.

¹ М х а л и — салат из свекольной ботвы или крапивы.

Я свернул сначала к Серапиону, взял у него с пуд зерна и подъехал к воротам Эзики.

К калитке вышла Пати.

— Здравствуйте, тетя Пати!

— Здравствуй, Гогита.— Она отвела от меня свои большие глаза — застеснялась. Наверное, вспомнила про вчерашнюю историю с родней.

— Вам не нужно зерно смолоть? Могу заодно взять, на мельницу еду!..

— Нужно-то нужно, да у меня не приготовлено! — огорчилась она.

— А я подожду, мне торопиться некуда. Сейчас воды много — смеют быстро. До вечера управлюсь. А ночь застанет, тоже не страшно...

— Раз так, я живо насыплю мешок.— Она направилась было к дому, но вдруг вернулась обратно.— Господи, как это я оставила тебя дожидаться на дороге! Заходи, Гогита, фруктов отведай, персики-то поспели...

Я удивился. Так говорят только со взрослыми. Раньше мне запросто предлагали: «Ну-ка, полезай, паренек, вон туда, небось любишь фрукты»,— и я лез на первое попавшееся дерево.

— Спасибо, не беспокойтесь,— ответил я, как взрослый мужчина.

— Зашел бы, мне еще зерно провеять надо.

— Раз так, пожалуй, зайду! — Я соскочил с арбы. Пати открыла калитку, и я вошел за ней во двор. Эзики не было видно.

Пати вынесла стул.

— Посиди, пока я персиков нарву.

— Не надо, тетя Пати, я тороплюсь.— И неожиданно для себя я спросил: — Что у вас дома? Все хорошо?

— Спасибо!

— От Амирана письмо получили?

— Как же. Пока пишет: все в порядке.

Нужно было еще о чем-то поговорить. По моим понятиям разговор получился слишком коротким.

— Дожди кончились, но в поле все равно раньше чем через неделю не выйти. А за неделю сорняки поднимутся по колено, не промотыжишь. Неладно получается...

— Да, отец беспокоится, как бы голодать не пришлось.

— А что, и такое может быть,— проговорил я, кивая.— Какой тут будет урожай на непрополотых полях.

Женщины на сборе чая работают, а мы что можем одни?! Вот если бы войны не было...

— Если б не было...— вздохнула она и, глядя мимо меня, словно про себя добавила: — Пойду насыплю зерно.

— Да, да, насыпьте.— Я встал и пошел к персиковым деревьям.

Сорвав с нижних веток несколько персиков, я побрел назад к дому. Пати сидела за домом на корточках и, высоко подбрасывая зерна на круглом деревянном лотке, веяла их. Она не слышала, как я подошел. Уже ссыпая зерно в мешок, она увидела, что я стою рядом, и, вспыхнув, залившись краской, натянула подол на колени.

Я удивился, почему она так стыдится своих коленей, но отошел. Подождал, пока Пати завяжет мешок, и с усилием вскинул его на плечо. Мне было тяжело, но я не подал виду и снес мешок на арбу, стараясь не покачнуться.

— Еще есть? Я могу подождать, мне не к спеху.

— Нет, Гогита. Осталось еще столько же, да отложим до следующего раза. И без того я тебя задержала, поздно будет.

— А я не боюсь,— сказал я, забираясь на арбу.— Даже если ночь застанет, и то не боюсь.

— Неужели и ночью не боишься? — Пати недоверчиво покачала головой.

— Не боюсь, Пати!..— Почему-то я постеснялся называть ее «тетей» и хлестнул быков плетью.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПАСЫ ДЕРЕВНИ

«У Тухин нет быков,— вспомнил я, подъезжая к выгону.— Заеду к нему, заберу зерно, а может быть, он сам захочет съездить на мельницу, так я на арбе подвезу». Я огрел плетью черного быка, свернул на проселок и покотил мимо двора Цетерадзе.

На звук арбы к ограде кинулся свирепый черномордый пес и залаял, хватая зубами колья ограды. Я погрозил ему плетью:

— Чтоб тебе околеть на поминках хозяина!

Пес и вовсе взбесился, шерсть на шее встала дыбом,

он перепробовал клыками все колья до единого и охрип от злости.

На шум из дома вышел Буду. Он смотрел на улицу, точно не веря своим глазам: как это я так спокойно еду мимо их двора и не обращаю на него никакого внимания. Он сбежал по лестнице во двор, отогнал собаку и вышел на улицу.

Я, молча помахивая плетью, продолжал свой путь.

Буду вздумал было зайти вперед, но, покосившись на острые рога Гвинии, не решился.

Я делал вид, что не замечаю его. Он подождал, пока арба поравнялась с ним, и зашагал рядом по грязной проселочной. Но когда его двор остался позади, остановился и с отчаянием в голосе крикнул:

— За что ты меня избил?

Я не отвечал.

— Нет, ты скажи, за что избил?

Я обернулся, но по-прежнему ничего не ответил.

— Ну за что? За что?—Он кинулся наперерез арбе.— Что я тебе сделал? За что?

— Да за то.

— За что «за то»? — не отставал Буду.

— За то самое! — повторил я и вытянул плетью Гвинию.

Бык обиделся и дернул арбу.

Буду отстал. Он то и дело оборачивался, смотрел на свои ворота, как бы не уйти от них слишком далеко.

— Что я тебе сделал? — крикнул он вдогонку.

«То и сделал, что сделал!» — повторил я про себя, потому что сам не смог бы ответить, почему я избил Буду.

Со двора Тухии с лаем выкатилась Толия, но, добежав до середины дороги, остановилась, то ли потому, что узнала меня, то ли лень стало бежать дальше. Она еще раз тявкнула, но без прежнего задора.

— Тухия! — позвал я.

— Здесь я, Гогита! — раздался его голос где-то совсем близко.

— Где это здесь?

— Да вот я!

Но я не видел его.

— Что ты со мной в прятки играешь, дурак! — обозлился я.— Покажись!

— А ты навстречу погляди.

Я поднял голову. Весь измазанный тутовым соком, так что его и узнать-то было трудно, Тухия пристроился на ветке шелковичного дерева почти у меня над головой.

— Тута ведь стошла! — удивился я.

— Это последние ягоды, — объяснил Тухия. — Еще осталось немного.

Он притянул к себе ветку, набрал целую горсть ягод и уже хотел было отправить их в рот, как откуда-то другой голос:

— А мне-е?

— Тебе? Ну, на тебе! — Тухия перегнулся и протянул ягоды пятилетней сестренке, сидевшей на ветке пониже.

Девочка тоже была вся в тутовом соку. Она сидела на корточках, натянув платье до щиколоток, но через дыры торчали голые коленки.

— На, бери! — Тухия высыпал ей в руку ягоды.

— А мне-е-е? — заревел в это время самый маленький, карабкаясь по лестнице, приставленной к стволу дерева. Его короткая рубашка едва прикрывала пупок.

— погоди, сейчас и тебе нарву! — Тухия притянул ветку, но она вырвалась из рук, и ягоды посыпались на мою арбу.

— Э-э-э!.. — заревел малыш.

— Чичия, ты почему его не кормишь? — прикрикнул раздосадованный Тухия на брата, который обирал дерево с другой стороны.

Чичия свесился с дерева, положил несколько ягод в рот малышу, стоящему на лестнице, и тот сразу унялся.

— На мельницу собрался? — спросил меня Тухия.

— Да. Давай вашу кукурузу, — поедem, подвезу.

Тухия помотал головой.

— Почему?

— Мы уже все съели.

Я растерянно взглянул на него.

— А как дальше... — начал было я, но не договорил, стегнул быков и свернул на середину улицы.

— погоди, Гогита! — окликнул меня Тухия. — Заезжай к дедушке Тевдоре. Сегодня он просил меня сходить на мельницу, да мамы дома не было. Прихвати у него кукурузу, сделай доброе дело.

— Ладно, только ты покричи ему оттуда!

— Дедушка Тевдоре! — крикнул с дерева Тухия.

— Эгей, кто там? — отозвался дедушка Тевдоре.

— Гогита захватит на мельницу твоё зерно.

Я остановил арбу у калитки Тевдоре. Долго никто не показывался. Наконец со двора послышалось тяжкое оханье. Я встал на арбу, заглянул через калитку. Опираясь на палку, к калитке тащился дедушка Тевдоре с маленьким мешком под мышкой. Я мигом спрыгнул, подбежал к нему, взял мешок и положил на арбу. Тевдоре расправил спину, оглядел мою упряжку, меня самого, потом перевел взгляд на тутовое дерево у дома Тухии с сидящими на нем детишками и воздел руки к небу:

— Будь ты проклят, злодей!

Едва я проехал два-три двора, как меня нагнала меньшая дочка кузнеца и положила на арбу мешок с кукурузой.

Когда я выехал за околицу, я уже не мог разобрать, где чей мешок.

«Давай и к Элпите заеду,— подумал я.— Бедняжка совсем больная, и от Амбако писем нет...»

Развернув арбу, я покатил под гору вдоль живой изгороди из кустов граната.

Я все смотрел влево, чуть шею не вывернул, хотел разглядеть дом Амбако, но сплошные заросли граната скрывали его.

Только я поравнялся с калиткой, Элпите сама вышла навстречу.

— Здравствуй, тетя Элпите!

— Никак, Гогита?

— Гогита!

— Гогита, а ведь от моего Амбако ничего нет. Отчего бы это?

— Будет письмо, тетя Элпите, обязательно будет.

— Будет?... Ты так думаешь?

— Давайте вашу кукурузу, на мельницу свезу.

— На мельницу?

— Ну да, для этого и заехал.

— Что же мне теперь делать?

— Несите кукурузу, вечером привезу муку.

Подобрав подол длинного платья, она торопливо вошла в дом, вынесла залатанный черными лоскутами мешок и, положив его на арбу, опять спросила:

— Значит, ты ничего не слышал о моем Амбако?

— Да пока что ничего. Но письмо будет, тетя Элпите.

— А ведь обещал скоро вернуться... Просто не знаю, как быть!

Река вздулась от половодья и грозила смыть маленькую мельницу, стоящую в лощине между ивами. Мельник затворил воду в двух желобах и остановил большие жернова. Хрипел только маленький стершийся жернов. На полке, словно запрыгнув туда, притулился единственный мешочек с зерном.

Еще издали завидев меня, мельник отворил оба желоба. Жернова завертелись под ударами воды, в минуту поглотили последние запасы села, но так и не утолили голода.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

УБЕЖИЩЕ

Наконец-то разведрилось.

На пригорках, там, где повыше, можно было приступить к полевым работам. Сроки прополки прошли, сорняки душили посевы. Надо было торопиться. Не хватало рабочих рук.

— Хватит тебе возиться с этой холерой, пропади он пропадом, этот чай! — сказал мне Эзика. — Завтра выходи в поле.

— В поле?! — испуганно переспросил я.

— Да, в поле, а то с голоду передохнем зимой!

— В поле мне с культиватором не справиться! — признался я.

— Не справишься, говоришь? — Эзика смерил меня взглядом с головы до ног... Он пошел прочь, но, пройдя шагов пять, остановился в раздумье. Вдруг он крикнул, не оборачиваясь, словно не мне, а кому-то: — Справишься, не может этого быть!.. Как это ты не справишься!

— Культиватор попортит кукурузу... — испуганно крикнул я.

— Ну и пусть портит! — ответил он, обернувшись. — Непрополотая кукуруза все равно пропадает. Хоть что-нибудь да спасем!..

На следующее утро я уже запряг быков, когда Эзика появился на нашем дворе и сам стал распрягать их. Я не

мог понять, что случилось, куда он теперь хочет меня послать?

— Наступает, гад... Все вперед рвется!

— Кто наступает, дядя Эзика? — спросил я, все еще недоумевая, зачем Эзика выпряг быков.

— Холера! Чтобы мор на него напал, на злодея поганого...

Я все еще не понимал, о ком говорит Эзика. Я чувствовал, что речь идет о враге, но почему он вспоминает о нем сегодня утром, когда тот еще так далеко. Ведь до нас не доносился даже грохот его пушек.

— Зачем тебе посева, милый ты мой, когда он и поле затопчет, и урожай... Идет он, Иуда, подходит к нам, надо убежище строить.

— Убежище. А что это — убежище? — не понял я.

— Убежище! Да черта ли тебе до этого? — крикнул он, ожесточаясь. — Комай яму да лезь под землю, вот тебе и убежище!

— Яму рыть? — повторил я.

— Да, яму, такую вот, в мужской рост, да хватит и твоего роста. — Эзика оглядел наш двор. — Вон у тебя колья лежат для лоз. Выроешь яму, прикроешь кольями поплотнее и засыплешь землей, да щель оставишь, чтобы в яму лезть можно было...

— Но ведь это от виноградника колья!

— Что говорить о винограднике! Комай яму, вечером сам зайду, проверю твою работу, — сурово закончил он.

— А рыть-то где?

— Где рыть? — Эзика огляделся и позвал маму. — Ивдити!

Мама с Татией на руках вышла на веранду.

— Надо сегодня же начать рыть убежище, поближе к дому. Приказ такой вышел.

— Почему поближе к дому?

— Этот проклятый не станет дожидаться, пока ты за село выйдешь. Да у тебя еще и ребенок...

— Что им от ребенка-то нужно? — громко вырвалось у мамы, и она прижала Татию к груди.

— А чего ты от них ждала? Людоеды — людоеды и есть! — Эзика выругался и, насупясь, захромал к воротам.

Из газет я знал, что фашисты рвутся вперед, сжигая и уничтожая все на своем пути. Даже Заза знал, что

надвигается какое-то чудище — дракон или волк, которое пожирает детей. Иногда он вскакивал среди ночи и звал на помощь. Я успокаивал его, говорил, что наш папа там, на фронте: он сражается с чудищем и не подпустит его к нам, а застрелит и заколет штыком.

— Штыком? — переспрашивал Заза.

— Штыком, — повторял я.

Заза ложился. Я задремывал, но вдруг снова слышал:

— Он папу съел! Съел!..

Я будил его.

— Глупый ты, Заза! Как он может съесть папу. На папе железная каска.

— Железная каска? — удивлялся в полусне Заза.

— Да, а на ней звезда.

— Красная звезда... — улыбался Заза.

— Гогита, — просил он погоды. — Можно я лягу с тобой?

— Да ты же со мной лежишь.

— Нет, не в ногах. Можно рядом?

— Ложись...

Заза перетаскивал в темноте подушку, устраивался рядом. ворочался, вздыхал. Потом опять шептал:

— Гогита, а что такое каска?

— Каска... каска — это железная шапка вроде котелка... Спи, завтра я покажу тебе в газете.

Заза ворочался, думал о железной шапке и, наверное, видел ее во сне. Утром он напоминал мне о моем обещании и, сидя в постели, разглядывал нарисованного в газете красноармейца; на рисунке солдат в кирзовых сапогах и в каске до ушей, вытянув вперед автомат, бежал в атаку. На каске у него алела звезда. Заза долго разглядывал солдата и наконец говорил:

— Это не папа.

— Папа тоже такой.

— Такой?.. — Он удивленно трогал пальчиком большие сапоги солдата: наш отец всегда носил мягкие кавказские сапоги.

Я обошел дом, вытащил из-под пола заступ и лопату.

— Куда это ты? — спросила мать.

— Яму рыть.

— Поближе к дому рой. Слышал, что Эзика сказал?

— Я здесь вот, в траве.

— Ладно. Только ты один не справишься.

— Справлюсь как-нибудь.

Я несу лопату и заступ, размеряю и очерчиваю перед домом место для убежища.

«Вот сюда сядет бабушка, здесь — мама. Заза в том углу; посередине надо оставить место для люльки, да побольше, чтобы можно было покачать, а то Татия с перепугу не уймется. А я? Я пристроюсь где-нибудь в изголовье люльки или у входа».

Земля размокла, заступ берет ее легко, но дерн весь схвачен корнями, так что комки приходится отдирать руками и кидать в сторону. Я срыл дерн, окопал наметенное место, теперь землю можно выбирать лопатой. Глинистая земля липнет к лопате, замешивается круто, и отяжелевшая лопата почти не входит в нее. Наваливаюсь на черенок грудью, пру животом. На руках вскакивают волдыри, потом лопаются, и ладони нестерпимо жжет. Теперь мне не удержать ни заступа, ни лопаты. Сажусь на край ямы, в затылок мне печет солнце. И, весь мокрый от пота, я думаю: «Кто только придумал эту войну!»

В яму лезет Заза. Хватается за лопату, потом за заступ, но ему не сладить ни с тем, ни с другим. Тогда он берет комья руками и выбрасывает вверх.

Отверстия, проточенные в земле дождевыми червями, сочатся водой. Я разглядываю края ямы и вижу, как у моих ног из медведкиной норки стекает прозрачная струйка.

А ведь яма еще едва до колен мне. Что же будет, когда я вырою поглубже? Воды натечет до половины. Как же мы будем укрываться в ней? Или куда поставим люльку с Татией? А зимой в слякоть ее и вовсе зальет...

«Нет,— думаю я про себя,— Эзика что-то путает. Как может война добраться до нас, когда здесь топь и все заливают водой. Там, где война, наверное, не бывает столько воды, она не бьет из земли, как только копнешь. Нет, здесь никак нельзя воевать. Бабушка не может долго стоять, а куда ей сесть? В воду? И Заза простудится. Здесь не может быть войны. Нет. Верно, Эзика ошибается».

Зазе наскучило выбрасывать комья из ямы, и, весь перемазанный глиной, он убежал,— наверное, вымыть руки. Немного погодя я опять услышал его голос:

— Вот, бабушка, смотри!

Я поднял голову: надо мной стояла бабушка. Словно не веря своим глазам, она смотрела на яму, вырытую

перед домом в живой, колышущейся травке. И вдруг у нее задрожала беззубая нижняя челюсть, она замахнулась палкой и громко крикнула:

— Ты что же это, безбожник! Могилу мне во дворе роешь?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ТУХИЯ

Всю неделю я копал убежище, вычерпывал воду и опять копал. Чем глубже я погружался, тем больше натекало в яму воды. Я с трудом выбрасывал наверх мокрую землю. Теперь приходилось кидать выше головы, и комья сыпались назад. Иногда мне помогала мама.

Когда наступили сухие дни, убежище было готово. Я прикрыл яму толстыми сучьями, поверх них уложил виноградные колья, потом засыпал землей и утрамбовал.

Каждый день, только засыпала Татия, бабушка выходила посмотреть, как идет работа. Она больше не сердилась на меня, лишь с опаской заглядывала в яму и, крестясь, вздыхала: «Господи боже мой!»

А Заза не отходил от меня ни на шаг. Он приносил мотыгу, лопату, заступ и без конца расспрашивал про железную каску. Бедняга никак не мог представить, как это наш папа надевает на голову шапку, похожую на котелок.

Убежища мы устроили, но упустили срок прополки, — кукуруза зацвела. Что было делать? Решили, что, если у нее хватит сил, она и без прополки выпустит початки; все равно мотыгой ей уже не помочь.

Как-то под вечер к нам забрел Тухия. Он так исхудал, что я не сразу узнал его: большая голова на тонкой шее да глаза в пол-лица. Совсем обессиленный, он сел на насыпь возле убежища — точно ноги еле донесли его сюда, поздоровался со мной и спросил:

— От отца есть письма?

— Нет. А у вас?

— Два письма получили.

— Это хорошо, — сказал я. — Два, это хорошо. Обратный адрес на них есть?

— Есть, номер есть.

— И номер... А на нашем письме ни номера, ничего...

— Если номера нет, то и ответить, значит, некуда... —

Он покачал своей большой головой и попытался меня утешить.— Ничего, напишет еще!

— Не знаю, что-то Фома-почтальон совсем исчез...

— Напишет. Что-нибудь от него будет,— неопределенно повторил он.— А ты, я вижу, убежище устроил.

— Устроил.

Тухия оценивающим взглядом осмотрел яму.

— Пожалуй, поместитесь... Я-то для нас побольше вырыл, досками покрыл, теми, что для дома... Не дай бог, если отец узнает! А что было делать? Виноградных подпорок не нашел, да и земля с досок меньше будет сыпаться. Кончится война, опять положу на место, отец и не узнает.

— Пожалуй, ты прав...

— Завтра-то вроде первое сентября.

— Да, кажется.— И вдруг я вспомнил: — Значит, завтра в школу.

— Ну да, надо идти...— Тухия привстал.— Учебников вот только нет. А где их взять? Учитель говорит, чтоб брали прошлогодние.

— Где?

— У нынешних семиклассников. А наши мы передадим пятиклассникам.

— Гоча знает об этом?

— Сходим к нему,— предложил Тухия, вставая.

Но тут к нам подбежал Заза. Глаза у него блеснули, ему не стоялось на месте.

— Гогита!

— В чем дело? Вот расплясался...

— Мама зовет обедать.

— Обедать? — тихо переспросил Тухия, глядя прямо в рот Зазе. Он собрался было уйти, но нет,— опустился на бугор и сказал: — Обедайте, я тут подожду.

— Пошли с нами,— предложил я.

— С вами? — встрепенулся он и весь обратился в слух, напрягся; он устал, пока я повторил:

— Пойдем, пойдем!

Тухия хотел было опять отказаться, но потом заглянул мне в глаза, погладил Зазу по голове:

— Как ты вырос, Заза,— и осклабился.

Польщенный Заза просиял.

Тухия наклонился к нему, наставительно поднял указательный палец:

— Смотри не балуйся,— и скосил глаза в мою сторону.— Слушайся Гогиту!

Мы сели к столу.

Я заметил, как мама, стоя за спиной Тухии, растерянно вскинула брови и развела руками. Она испекла всего два тоненьких мчади, так что приходилось по пол-лепешки на каждого — на бабушку, маму, Зазу и меня. Мама и бабушка из своей доли обычно подкладывали Зазе. Была еще стручковая фасоль — полчугунка. И все. Покуда мама раздумывала, как поделить лепешки, я сказал, что мне не очень хочется есть.

Мама поставила перед каждым из нас по тарелке фасоли, положила по половинке лепешки, а сама взяла у бабушки Татию и, повязав голову платком, отошла в сторону.

— Кушайте, ребята, у меня что-то голова разболелась, не хочу есть совсем.

Но Тухия уже не слышал ее. Он отломил кусок мчади, загреб им фасоль из миски и одним духом отправил в рот. Не прожевывая, он проглотил все это, широко улыбнулся и похвалил мамину стряпню.

Мама попросила ее извинить: мол, фасоль без орехов, да и соли, кажется, маловато.

Тухия попробовал еще и не смог согласиться с мамой.

— Ешь, сынок, ешь, если нравится,— сказала мама и, повернувшись к нам спиной, сунула девочке грудь.

Тухия быстро проглотил свои пол-лепешки и сообщил — на этот раз бабушке, как вкусно готовит мама. А у бабушки вдруг начались рези в желудке. Она отказалась от еды и свою долю мчади тоже положила Тухии.

— Ешь на здоровье, милый!

Тухия заинтересовался, что же это с бабушкой.

— Давно это у вас? — спросил он.

— Давно... Да нет, не так чтоб уж очень давно, сынок,— отозвалась бабушка.

— А знаете что...— Тухия положил в рот кусок и задумался.— От резей теплое молоко очень хорошо помогает. У Пилипе,— припомнил Тухия,— такие боли были в желудке — прямо помирал человек,— ни лобии есть не мог, ни мчади, только на сухом печенье держался и теплое молоко пил с сахаром. Пил, пил. Долго пил, а теперь поглядишь — ничего, жив-здоров, и ест что угодно, чего коза не ужует. Сам видел!

Тухия увлекся разговором и не заметил, как и я подложил ему половину своей доли.

Заза одним духом справился со своим обедом и теперь с завистью поглядывал на гостя.

После обеда Тухия отказался идти к Гоче.

— Лучше вы ко мне зайдите, а я вас дома подожду.

Я не мог понять, почему он так заторопился домой. Вдруг он как-то скрючился, тут же выпрямился и не к месту виновато засмеялся.

— Я вас дома подожду...— повторил он, кривя в улыбке губы.

Я видел, что ему трудно стоять на месте, он переминался с ноги на ногу, точно ему жала обувь. Но какая у Тухии могла быть обувь — он все лето ходил босиком.

И тут я заметил, что его рубаху, заляпанную тутовым и вишневым соком, что-то распирает. Кусок горячей лепешки, спрятанный под рубаху, жег ему живот.

— Ладно, Тухия, мы зайдем,— поспешно сказал я и повернулся к дому.— Обязательно зайдем.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В ДРУГОЙ ШКОЛЕ

Задребезжал звонок.

«Что за черт! — подумал я.— Со звонком-то что случилось?»

В классе стоял незнакомый запах — сухой спертый запах давно не проветриваемого помещения. Только сев на место и прочитав вырезанную на парте фамилию того, кто сидел здесь в прошлом году, я понял, в чем дело: парты не красили, и в классе не пахло свежей масляной краской.

Доска облупилась и побурела, а в середине сделалась почти белой. Я даже подумал, что на ней нельзя будет писать мелом — все равно ничего не разглядим.

В дверях показался учитель. Он остановился у стола и сказал:

— Здравствуйте, ребята!

Наш ответ прозвучал вяло, вразнобой. Учитель внимательно переводил взгляд с одного на другого. Я приготовился ответить на вопрос о том, как провел лето, но учитель не торопился с вопросами. Потом извлек из кармана роговые очки, те самые, на которых весной во

время экзаменов у него отломилась дужка. Теперь и вторая дужка была сломана. Он нитками закрепил их за ушами, расправил листок бумаги, положил перед собой и стал читать список.

Назовет фамилию, услышит в ответ: «Здесь!» — поднимет голову, посмотрит: вызванный ученик стоит перед ним, глядя на стену, где какой-то оболтус еще в прошлом году нацарапал девочку в платье треугольником и с руками-вениками.

— Садись,— говорит учитель и каким-то странным, недоумевающим голосом называет следующую фамилию.

— Здесь! — раздается опять, и кто-то встает из-за парты.

Учитель внимательно смотрит: по голосу трудно узнать прошлогодних Анзора и Торнике, Русико и Цялу.

— Садись!

— Здесь! — встает кто-то передо мной, потом рядом. Мы внимательно разглядываем друг друга: некоторые из нас сильно изменились, даже Гоча и Тухия показались мне чужими, словно я не знал здесь никого, словно я пришел в чужой класс.

Очередь дошла и до меня. Я поднялся.

— Здесь!

Тридцать четыре пары больших и удивленных глаз смотрели на меня. Я уставился на клочок прошлогоднего расписания, болтающийся у входа на гвоздике.

— Садись!

Список был дочитан до конца. Учитель Платон сложил его, потом снял очки, начал разматывать нитку с одного уха, но очки вдруг выскользнули у него из рук и смешно повисли на другом ухе. Я думал, что в классе поднимется смех, но никто даже не улыбнулся.

Наконец учитель освободился от очков, положил их на лист бумаги перед собой, облокотился о стол и, переведев голову руками, задумался.

— Газеты читаете, наверное? — произнес он наконец, извлекая из кармана сложенную газету. — М-да... враг продвигается... Продвигаться-то продвигается, однако то, на что он рассчитывал, не вышло.

Мы насторожились — никто из нас не знал, на что рассчитывал враг.

— Нет, не вышло,— повторил он, отыскивая сообщение Информбюро. — Наша армия наносит врагу существенный урон. Вот смотрите... — Он опять взял очки, но

не одел их, а только поднес к глазам.— В одном только столкновении враг потерял до двухсот солдат, шесть танков, семь ручных пулеметов, зенитные орудия. Но даже не в этом дело, фашистский план молниеносной войны провалился. Москвы им не видать, там идет нормальная жизнь, даже строительство метро не приостановлено. Мы победим...— Он встал, подошел к окну, потом повернулся и, кивнув нам, убежденно повторил: — Обязательно победим!

Гоча молча обернулся ко мне и кивнул. Я не сразу отыскал глазами Тухию. Он сидел, опершись на руку своей большой головой, и, широко раскрыв глаза, смотрел на учителя.

На перемене я столкнулся во дворе с Буду. Я думал, что он опять бросится ко мне и станет донимать своим «За что?», но он ступешался, испуганно отвел глаза и нырнул в толпу мальчишек.

Я подошел к забору и остановился возле Гиги, долгового сына кузнеца. У Гиги был перевязан большой палец на левой руке.

— Что с тобой? — спросил я.

— А что? — не понял он.

— Что с пальцем?

— Зашиб.

— Тесал что-нибудь?

— Нет. Ковал.

— Ковал? — переспросил я, не понимая. Он, наверное, хотел сказать «подковывал».

— Гвозди ковал для подков,— пояснил Гига.

— Ты сам куешь?

— И кую и подковываю — бык без подков не ходок, сам знаешь.

— А сегодня не смог бы подковать моих?

— Сегодня после уроков будем убежище в школе копать.

— В школе? Нам ничего не говорили.

— Скажут еще.

Зазвонили к уроку.

Двор быстро опустел.

— Гига, когда у тебя найдется время?

— Время? — Он улыбнулся и развел руками.

— Понимаешь, отец поручил мне...— Я умолк на полуслове. При чем тут отец и его наказ. И без того ясно, что быков надо подковать.

— Письма от отца получаете? — спросил вдруг Гига.

— Нет.— Я покачал головой.

— Ни одного не было?

— Было одно. И все... А от твоего отца?

— Приходят пока что.

— Адрес на них есть?

— Какой адрес? — удивился Гига.

— Чтоб ответить можно было.

— А-а, есть: номер полевой почты.

— А на нашем письме и номера нет.

Я увидел, как дверь нашего класса закрылась, и заторопился.

— Ну ладно, Гига, побежал...

— Постой! Приводи быков.

— Чего же их приводить, если ты...

— Придумаем что-нибудь. В конце концов, ночью подкуем.

— Я помогу тебе, Гига. Ты не думай — чем-нибудь да помогу.

— Ладно, ладно...— Он ушел.

Мимо меня пробежала запоздавшая Гогона. На ней было платье, которого я никогда раньше не видел: вроде синее и не синее — какое-то рябое.

— Здравствуй, Гогона! — крикнул я на ходу.— С обновой тебя!

Она оглянулась, обиженно сверкнула на меня глазами, и я догадался: «Перекрасила!» Она перекрасила свое желтое платье.

Я открыл дверь в класс:

— Можно? — и остановился в растерянности: на втором уроке у нас должна была быть математика, но вместо нашего учителя математики у стола сидела незнакомая молодая женщина. «Уж не забежал ли я в другой класс?»

— Входи, входи,— разрешила молодая женщина, не спрашивая причины опоздания.— Как фамилия?

Я назвался.

— Садись.

Я пошел к своей парте и сел, не в силах избавиться от растерянности.

— Учителя математики забрали на фронт,— шепнул мне Гоча.

Я снова окинул взглядом наш класс, долго смотрел

на незнакомую учительницу и на минутку действительно поверил, что попал в чужой класс, больше того — совсем в другую школу.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

КУЗНЕЦ

Ночью при свете аробной плошки мы подковали быков.

Я боялся, справимся ли мы с Гвинией, но все вышло хорошо. Гига крепко обмотал веревкой рога и морду Гвинии, веревку пропустил между задних ног быка и сильно потянул. Гвиния возмутился, замотал головой. Но от каждого движения веревка еще туже затягивала его. Он пошатнулся и упал на передние колени. Попытался встать, но опутанные задние ноги не слушались, вывернутая голова все сильнее прижималась к плечу, еще одно усилие — и он завалился на бок. Гига споро сунул ему под ноги колоды, схватил их веревками, потом подставил под колоды высокие трехногие козлы, и ноги вола оказались задранными вверх.

Я бросился в кузницу, вынес гвозди для подков.

— Вот так держи! — показал мне Гига, потом клещами выдрал из копыта остатки старых подков и выскреб и очистил копыто.

— Подбери там подкову побольше! — Меж пальцев левой руки он зажал гвозди в точности так, как делал это его отец.

Я выбрал самую большую подкову, но и она оказалась маловата для Гвинии.

— Делать нечего, — сказал Гига, — подкуем этим. Подвинь-ка плошку поближе!

— Ладно, подковывай, — согласился я, поднося ему огонь.

Гига направил гвоздь в подкову чуть наискосок, чтобы не вогнать его слишком глубоко, и, подставив под копыто головку клещей, осторожно ударил по гвоздю молотком.

Гвиния рванулся, дернул связанными ногами. Я отскочил в сторону, думал, что Гвиния разнесет колоды, разорвет путы, но Гига не тронулся с места: стоял и ждал.

— Хватит, — сказал он потом. — Молодец, хватит.

Наконец бык уgomонился, и Гига снова взялся за работу. Он легонько стучал по гвоздю до тех пор, пока не вогнал его почти по шляпку, и тогда еще раз два ударил посильней. Острый конец гвоздя вылез сбоку из копыта, и, когда Гига умело загнул его клещами и молотком плотно прижал к копыту, я удивленно заметил:

— Прямо как настоящий кузнец!

Гвиния сопел, дрыгал ногами, но Гига продолжал свое дело спокойно, как его отец.

Когда Гига принялся за второго быка, я напомнил про его больное копыто.

— Посмотрим,— ответил он, опутывая быку ноги.

— Не заходи сзади, Гига, он лягается! — предупредил я.

— Ничего, быки почти все бодаются или лягаются! — Он взял у меня копилку и стал осматривать больное копыто.

— Удержит гвоздь-то?

— Кто его знает! Но без подковы хуже. Надо попробовать.

Когда Гига приступил к работе, копилка вдруг стала гаснуть.

— Что с ней?

— Не знаю.— Я взболтнул копилку. В ней не было керосина.— Керосин кончился.

— Вытяни фитиль, может, успеем подковать.

Фитиль скоро догорел, опять пришлось выковыривать его гвоздем.

Пламя вспыхнуло ярче, и я заметил за собой чью-то тень. Я обернулся и вздрогнул: рядом со мной стоял Клементий Цетерадзе. Встретив мой взгляд, он заулыбался.

— Молодцы, ребята, право слово, молодцы!

Теперь и Гига оглянулся на голос.

— Вот что значит настоящие парни. Хорошего быка по походке видать, а птицу, как говорится, по полету узнаешь. Из вас настоящие люди вырастут, факт!

Копилка совсем погасла, фитиль сухо тлел без огня.

— Керосину бы не мешало подбавить, ребятки.

— Где его возьмешь,— проворчал Гига, бросил на пол клещи и молоток и вошел в кузницу.

Не глядя на Клементия, я опять принялся вытягивать фитиль.

— Брось копилку! — сказал Гига.— Я резину зажгу.

— Ай да молодец! — опять восхитился Клементий. — Вот уж молодец так молодец: и керосина нет, а он что придумал. Ну и ребята!

Гига подпалил старую рваную галошу, сунул ее мне в руки и снова принялся за работу.

Галоша горела с треском и воняла.

— Золото, а не ребята, ей-богу! — не унимался Клементий. — Мой малый вон вам ровесник, а ни на что, кроме как пожрать, не годится. Сам я больной человек, пешком ходить не могу, разве что на арбе, а Буду хоть бы что! Не помощник он, нет.

Пока Клементий жаловался на пасынка, Гига загнал гвоздь быку в больное копыто; бык чуть не обезумел, забился, дергая ногами, застонал утробно.

— Ты смотри! — возмутился Клементий. — Тебя ж подковывают, дурень ты здоровый, ведь не режут.

Бык все дергал ногами и пытался встать. Пришлось вытащить гвоздь клещами. Но и с этим Гига скоро справился. А Клементий опять свое гнул:

— Вот ведь какое дело. Сам я ходить не могу, бык у меня не подкован. Так что кругом порядок!.. На что я теперь гожусь?

Гига молчал.

Клементий тоже немного помолчал, с интересом следя за нашей работой.

Едва мы выпростили ноги быку и он поднялся, Клементий подошел к Гиге и, заискивающе посмеиваясь, спросил:

— Моих-то быков когда пригнать? А, сынок?

— Каких еще быков? — Гига поглядел на Клементия, словно только сейчас его увидел.

Клементий опять засмеялся и подмигнул Гиге: понял, мол, твою шутку.

— Быков, милый, моих быков. Месяца полтора, как ты сам их подковывал. Неужели забыл?

— И двух недель не прошло, — поправил Гига.

— О-о, помнишь, значит, дай бог тебе здоровья!

Гига собирал инструменты, гвозди, подковы.

Клементий тоже присел на корточки и принялся старательно помогать ему.

— Ты смотри, погнутый гвоздь торчит, не ровен час, завалишь быка, напорется брюхом, кто будет отвечать? Кузнец. А при чем тут кузнец, скажи на милость, он один на всех. Гогита, посвети-ка сюда! Во, видал!.. —

Он подобрал старую подкову.— Ну-ка, дай-ка еще огоньку...

Гига сложил инструменты в ящик, занес в кузницу, погасил огонь и вышел с замком в руках.

Клементий встретил его у дверей.

— Так как ты сказал: когда мне быков-то пригнать?

— Каких быков? — по-прежнему не поддавался Гига.

— Хе-хе-хе-хе, ну и хитрец ты, Гига! Шутник, не хуже отца. Он тоже такие шутки любил. Значит, завтра, сынок. Приготовь подковы получше, а я тебе керосин принесу. Бутылки две у меня еще найдется.

— Не надо керосину! — мотнул головой Гига.

— Как так? Днем, что ли, зайти?

— Нет, днем я занят, не могу.

— Знаю! Знаю, что занят,— почти радостно подхватил Клементий.— Потому-то и предлагаю керосин, ночью пригодится...

— Ночью мне надо уроки готовить...

— Раз так, принесу сразу три бутылки, хватит и на уроки.

— Твоих быков я недавно подковал.

— Слетели, миленький, сбились подковы, а то разве пристал бы к тебе.

— На шоссе подковы быстро сбиваются.

— Мне-то и по шоссе ездить и по пашням; что поде-лаешь, ноги не носят.

— Водил бы быков на пашню, два месяца не сбились бы.

— Твоя правда, но я ж по делу... Без дела старый человек не попрет в город.

— Если сразу после уроков выкрою полчаса... — начал Гига.

— Значит, пригнать? — прервал его Клементий на полуслове и хлопнул по плечу.

— Если выкрою время,— твердо повторил Гига.— На очереди двадцать быков, да и страда на носу.

Я увидел, что мои быки бредут к дому, и пошел за ними.

— Я хорошо заплачу,— зашептал Клементий, как только я отошел подальше.

— Зачем? Мне трудодни начисляют.

— Хе-хе-хе, трудодни, сказал тоже! Много ты на них получишь, на эти трудодни. Кукуруза вон какая хилая! Возьми пока это, остальное за мной. Ну...

Клементий стал совать деньги в карман Гиге.

— Не надо! — громко сказал Гига и отвел его руку.

— Черт бы тебя побрал, мне на базар надо в воскресенье. Бери, тебе говорят!

— Нет! — крикнул Гига и позвал меня. — Гогита, погожди, я тоже иду!

— Вот тебе и на... — Клементий остался ни с чем.

Гига быстро догнал меня. Шли молча. Потом Гига посмотрел на хромящего быка и сокрушенно сказал:

— Похромяет, наверное. Если что, приведешь, я кровь пушу.

— Может опухнуть? — спросил я.

— Не знаю. Ты думаешь, я уже все знаю... Может, само пройдет.

— А хоть и опухнет, все равно... получу от отца письмо с адресом — не напишу, что бык хромяет...

— Нет, нет, не пиши! — поддержал Гига и, попрощавшись со мной, пошел своей дорогой.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ХРОМОЙ ВОЛ

Пятый, шестой и седьмой классы на целую неделю освободили от занятий. Наступила страда. Хоть кукуруза уродилась плохо, руки требовались повсюду. Снимать ли ядреные, налитые початки размером в локоть или хилые недомерки — все равно: каждый початок нужно снять: срезашь ли на солому сочный рослый стебель в полторы сажени или похожую на чабер коротышку, а срезать надо каждый отдельно.

Нога у черного быка опухла. Он хромял.

Корова почти не доила, в конце февраля она должна была отелиться. Мама едва надаивала от нее по стакану молока для сестренки. Раньше, когда удои уменьшались до трех стаканов, корову оставляли в покое. Теперь Заза обходился молодыми початками и недозрелой тыквой. Но Татия без молока не могла. А у мамы от ежедневной работы на плантациях пропало молоко.

— Что же мне делать, мама? Что делать? — в отчаянии ломая руки, спрашивала она.

Бабушка вздыхала в ответ:

— Господи, господи! — и совала в рот девочке свою увядшую грудь.

Я натянул полотнище вдоль грядок арбы, подготовил ее для перевозки початков. Запряг быков. Черный бык с трудом ступал на больную ногу. Отец ни за что не стал бы впрягать в ярмо хромую скотину, скорее на себе потащил бы груз, но тогда кроме арб были еще и грузовики. У меня же не было выхода.

Я стегнул быков и медленно двинулся со двора.

В поле уже маячил пес Толия.

Из ворот дома Эзики вышла Пати. Она удивилась, что я иду за арбой пешком.

— Бык у меня захромал,— объяснил я.

— Как же он потянет груженую арбу.

— Что подделаешь, не оставлять же урожай в поле.

И без того не густо.

— Бедняга! — посочувствовала Пати.— Пойду початков наломаю, пока вы подъедете.— И она быстро пошла вперед.

Арба выкатилась на луг.

Кто-то валялся в траве и грыз мчади. Мне показалось, что это Тухия. Его собака Толия нюхала траву на опушке леса.

— Тухия! — позвал я и подхлестнул быков. — Оглох, что ли, Тухия! Куда девался Гоча?

— А я и есть Гоча! — не переставая жевать, отозвался Гоча, которого я принимал за Тухию.

— Обознался... Что ты развалился?

— Устал что-то.

— А где Тухия?

— Вон он.

Тухия вылез из леса и, на ходу застегивая штаны, шагал к нам. За ним плелась его собачонка. У Толии обвисли уши; мне показалось, что у нее увеличилась голова и глаза стали больше: ни дать ни взять Тухия.

— В поле идете? — спросил я.

— Идем.

— Сегодня на арбу не сядете, заранее предупреждаю.

— Почему?

— Потому! Сам пешком иду.

— А в чем дело?

— Бык захромал.

— Пешком в такую даль! — Тухия сокрушенно покачал головой.

— И не говори! — присвистнул Гоча.

— Ладно, не скулите, видите, бык еле ногу ставит.

Делать было нечего — пешком так пешком! И мы пошли. За нами, понуро опустив хвост, увязалась собака.

В поле вышли работать все: мужчины и женщины, старые и малые. Ломали початки и кидали их в кучу. Кукуруза в этот год не очень-то пошла в рост. Особенно тянуться не приходилось. Да и жиденькие початки легко отламывались. Зато на радостях вымахали непрополотые сорняки — неловко брошенные початки терялись в траве.

Шуршала сухая кукурузная солома, трескали початки, и, когда с них снимали шелуху и кидали в кучу, они золотисто вспыхивали на солнце.

Тут и там в зелени кукурузы двигались женщины с подоткнутыми подолами. У края поля на костре дымился большой медный котел: в нем варились молодые молочные початки.

...Все было, как бывало в страду все прошлые годы, но чего-то недоставало, чего-то главного. Раньше я часто ходил с отцом в поле во время сбора урожая. Тогда я слышал не только шуршание сухих стеблей и треск ломаемых початков.

Да нет, их-то я и не слышал. Словно и не ломали початки, а просто собирались лучшие парни нашего села и на своих сильных плечах проносили доверху наполненные широкие плетенки и опорожняли их прямо за грядки арб; пели, неумолчно гудели надури¹, тарахтели грузовики, кривлялся и гримасничал известный на селе весельчак и балагур Сосика. В высоких зарослях кукурузы звенел женский смех, слышался мужской гогот и веселый испуганный визг в ответ на проделки парней.

— Ишь разыгрались! — с добродушным любопытством вытягивая шею, замечал кто-нибудь.

И опять в зарослях звенел смех и слышался мужской гогот.

Бывало, какой-нибудь паренек проведет рукой по жидким еще усам и споет частушку о девушке, которая тянется за початком, и вгонит ее в краску. Но девушка отломит початок, кинет его в кучу и, не оглядываясь, ответит парню такой же бедовой частушкой. И тогда он залется краской до ушей. И пойдет по кукурузным полям прысканье и шушуканье.

Парень подхватит наполненную корзину и, крикнув

¹ На дури — урожайные песни.

под ее тяжестью, смелее ответит девушке, девушку поддерживает бойкая подружка, а парня его дружок, и целыми днями не прекращаются в кукурузной чаще проделки, шутки и смех.

Звучат песни, а арбы незаметно, исподволь наполняются отборными золотистыми початками. И никто не замечает усталости и не спешит домой; все задерживаются в поле допоздна, а потом идут к селу группами, с песнями, шутками, частушками. Со скрипом трогаются тяжело нагруженные арбы, и в небо выкатывается полная, румяная луна.

Какой-то юноша отстал от товарищей и клянется девушке в любви, призывая в свидетели луну и мерцающие в вышине звезды...

Так было в прошлом году и в позапрошлом.

А сегодня словно никто никогда и не пел, не смеялся и не балагурил.

Обламывают початки и кидают их в кучу, обламывают и кидают молча.

У арбы работаем Гоча, Тухия и я. Наполним плетенку до половины и с трудом волочим ее к арбе. Там я влезаю на колесо арбы, а Гоча и Тухия поднимают плетенку. Она тяжелая, мотает ребят, кидает на арбу; я прихожу на помощь, тяну изо всех сил. Наконец плетенка опрокинута и початки, шурша, сыплются в арбу. После каждой корзины мы нетерпеливо заглядываем за обтянутые полотнищем грядки: много ли еще таскать.

Тухия раньше всех теряет терпение.

— Скоро половина, что ли? — спрашивает он.

— Где там!

— Рано заскучал.

Снова, кряхтя, подтаскиваем корзину, и едва успеваем опрокинуть ее, как Тухия опять тянется заглянуть.

— Ну что?

— И не спрашивай.

— Дна и то не закрыли.

— Много еще таскать?

— По полкорзины таскаем. Таких и тридцати не хватит.

— Мамочки! — ужасается Тухия.

До обеда мы едва успеваем нагрузить одну арбу, и я гоню быков к ссыпному пункту.

Черный бык хромает, но я стегаю его плетью, и он, сопя и укоризненно мотая головой, тянет ярмо.

Со склада я захожу домой, хватаю мчади, испеченный из муки нового урожая, положив на него вареной свекольной ботвы, спешу за порожней арбой: до вечера надо нагрузить хотя бы еще одну арбу.

Початки уже собраны в кучи. Мы накладываем их в корзины, подтаскиваем к арбе и ссыпаем. Потом переходим к следующей куче. Я вскакиваю на колесо арбы, ребята с грехом пополам подают мне корзину, и Тухля начинается:

— Много еще?

— Все впереди.

Иногда откуда-то появляется Эзика, помогает поднять корзину.

— Тяжелая, вред ей в корень! — кричит он и, пугаясь ногами в высокой, по колено, траве, спотыкаясь, ворчит. — Попробуй распахни ее теперь, треклятую, на будущий год!

Старики и женщины продолжают обламывать початки, но почти никого не видно, разве что мелькнет чья-то косынка или вспыхнет рубашка в желтеющей зелени. И ни звука. Только нескончаемый треск да шелест, словно ветер шастает по кукурузным полям и заламывает высохшие листья.

Несколько стариков серпами срезают обобранные стебли, расчищают дорогу для арбы.

Солнце склонилось к закату.

Тухля изнемог и улизнул от нас.

Теперь мы засыпаем корзину только на одну треть, но и это не помогает. Мы как-то сразу выбились из сил. А арба все еще не нагружена.

Выкатилась огромная луна.

Мы опять беремся за корзину — нельзя же оставлять в поле снятые початки!

Накидываем треть корзины, и я говорю:

— Хватит, больше не осилим.

— Давай и эти! — Гоча подбирает последние початки из кучи.

Корзина сразу тяжелеет. Мы еле доволакиваем ее до арбы.

— Хоть засыплем по частям.

— Давай уж как-нибудь сразу, — не соглашается Гоча.

— Хорошо бы, да пупок развяжется.

Мне и самому лень отсыпать половину. Хватаемся за корзину, но не можем поднять ее даже до колен.

Я злюсь, кричу:

— Ну-у! Поднимай!

— Сам поднимай!

— Я поднимаю!

— И я поднимаю.

— Говорил я — давай по частям.

— Ну и сыпал бы... хоть по одной...

— Молчи уж. Ну!.. Еще, еще чуток! Держи теперь!

Гоча напрягает все силы. Я вскакиваю на колесо. Но ему одному не удержать корзину, он падает под ее тяжестью, падает на стерню и взывает от боли. Початки сыплются на него.

Я спрыгиваю вниз и кричу:

— Что я говорил!

Гоча молча, с остервенением поднимается и убегает в кукурузные заросли.

Я на корточках собираю рассыпанные початки.

— Тухия!

Никто не отзывается.

— Тухия-а-а! — зову я громче и вдруг слышу за спиной:

— Кого это ты зовешь?

Оглядываюсь: надо мной стоит Пати.

Я берусь за корзину.

— Постой, Гогита, я помогу тебе!

Мы вместе поднимаем корзину.

— Держи! — Я вскакиваю на колесо, хватаюсь за край, Пати подталкивает корзину снизу. Кукуруза сыплется за грядку, но один маленький початок скатывается вниз и попадает Пати за вырез платья.

Я опорожнил корзину и обернулся: Пати достала из-за пазухи початок и при свете луны так смотрела на меня, что я оторопел. Потом она бросила початок на землю, отвернулась молча и ушла.

— Что с ней? — удивился я. — Гоча всю корзину на себя опрокинул, и то ничего.

Вдруг до меня донесся чей-то вопль:

— А-ай, ма-а-ма!

Я сначала не понял, кто это, но тут залаяла собака.

Я спрыгнул с арбы и побежал на голос.

— Тухия, где ты? Что случилось?

— Убивают! — кричал Тухия. — Ай! Ай-а-а-а!

Не переводя дыхания, я добежал до края кукурузного поля. У большого медного котла, в котором варились молочные початки, Гоча избивал Тухию, подмяв его под себя. Ощетинившаяся Толия бросилась на дерущихся, стараясь оторвать Гочу от Тухии, лаяла и рвала зубами штанину Гочи.

— Вы что? — Я с трудом разнял их.— Спятили?

Гоча молча подвернул разодранную штанину, пнул ногой собаку и ушел.

Тухия сжимал в кулаке наполовину обгрызенный початок и, всхлипывая, скулил:

— За что он меня? Что я ему сделал?

— Почему я знаю!..

— Разве я не работал? За что?

Я вернулся к своим быкам. Наголодавшийся за день Гвиния подобрался к соевым посевам. Я вырвал у него из зубов недоеденный пучок, огрел: «Еще чего, сою жрать!» — и вывел арбу на дорогу к селу.

Черный бык хромал. Он с трудом тянул ярмо, иногда как бы взбрыкивал, приподняв больную ногу, и все норовил остановиться, передохнуть.

Но я стегал его плетью, и ему ничего не оставалось, как тащиться дальше.

Со скрипом катилась арба.

Где-то полем, всхлипывая, брел Тухия.

В небе, совсем как в прошлом году, сияла полная луна, но никто не клялся в любви, никто не тревожил ни луну, ни звезды.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

чудо

Был белый облачный день. Шел снег.

Всю осень лили долгие осенние дожди, и вот выпал снег. На холмы и взгорья он лег белой пеленой, а в низинах и лощинах покрыл все изжелта-грязным месивом.

Я вернулся из школы мокрый до колен. Ботинки опять порвались, и надо было их зашивать.

Заза сидел под навесом перед кухней и смотрел на воробьев, которые стаей слетелись на выкинутый из хлева навоз.

— Сидел бы у огня! — заметил я.

— А мне не холодно, на мне новый носок.— И он вытянул вперед ногу.

— А другая нога мерзнет?

— Мама сейчас довяжет.

— Ступай на кухню, простудишься.

— Там дымно...

В очаге и в самом деле дымились две сырые головешки. Бабушка примостилась у огня, накинув на плечи полушалок. На коленях у нее сидела Татия. Мне показалось, что бабушка обрадовалась моему приходу.

— Пришел, сынок?

— Пришел, бабуса!

Мама довязывала носок для Зазы, повернувшись лицом к открытой двери, чтобы дым не так ел глаза.

Татия хныкала. Наверное, ее простудили тут у полупотухшего очага.

Бабушка перевернула девочку на бочок, освободила правую руку и стала шарить в кармане.

— Фому-почтальона не видел?

— Нет, а что?

— Правда, не видел? — Она испытующе заглянула мне в глаза.

— Правда. Да я уже давно его не видел.

— Ну, почитай тогда хоть это! — Она протянула мне старое письмо отца.

Я посмотрел на затухающий очаг.

— Погоди, сначала огонь раздую, а то очень уж чадит.

— Подложи чурку, внучек! — посоветовала бабушка.— Без дров огня не будет.

Я притащил намокший ясеновый чурбан и подложил его под камень очага. Потом пошел за дровами. Но оказалось, что от запаса, сделанного отцом, осталось каких-нибудь два-три кругляка.

«Как же в такой снег рубить дрова в лесу?»

Я вытащил один кругляк и принялся колоть его. Граб был сухой, суковатый и твердый, как кость. Заза стоял рядом и ждал. Едва я откалывал щепу, он подхватывал ее и бежал подкладывать в огонь, чтобы дым не ел глаза и не мешал маме довязать носок. Когда огонь разгорелся, Заза повернулся к Татии:

— Смотри... огонь! — Он пытался развеселить квелиую сестренку.

Я взял иглу, нитки и уселся поближе к свету чинить свои башмаки.

— Заза!

Он сразу догадался, чего мне надо, и, вытянув ногу в новом носке, покачал головой: дескать, и не думай посылать меня за шилом.

Видно, придется идти самому.

Я знал, что дядя Серапион мне не откажет, но неловко было обращаться к нему вот уже в пятый или шестой раз. Серапион раньше только чинил обувь, теперь же он был первым сапожником на селе — ставил всем подошвы из толстых резиновых покрышек, и у него у самого два раза на дню ломалось шило.

Трудно было, отогревшись и разомлев у огня, пуститься в рваных башмаках по раскисшей дороге. Я старался держаться обочин, где не так грязно, ступал на пятки, цеплялся за плетни и перепрыгивал через лужи.

— Заходи, милый, заходи! — заметив меня, крикнул с веранды Серапион. Он сидел там на низеньком стульчике и стругал на чурбаке какой-то брусок.

— Иди, милый, иди! — повторил он, пока я счищал с башмаков налипшую грязь.

— Чертов мужик! — донесся в это время из-за стены сварливый голос его жены. — И для чего только ты на свете живешь! Тут мир рушится, а он, бесстыжая рожа, сидит, греется у очага, лучше б уж сгорел на этом огне!

Серапион продолжал степенно работать, не обращая внимания на ругань жены.

— Хотела бы я знать, что ты сй сегодня наврешь? — шумела она. — И когда в тебе совесть проснется? Когда?

Серапион приставил к обструганному бруску пожевку и стал отпиливать конец примерно на ширину ладони.

— Он еще дрыхнул вчера! Уснул! Да как ты смел глаза закрыть, чтоб тебе смерть их закрыла! Как смел храпока давать, если просьбу человека не выполнил! Никогда работу в срок не кончишь. Был бы у бедного ребенка отец дома, стали б ее обувать в твои опорки. Вчера подвел женщину, сегодня — опять! Как только тебя земля носит! — ругалась тетя Соня.

Отпиленный кусок бруска Серапион обстругал сапожным ножом, закруглил и вбил в него старый, ржавый

гвоздь — смастерил шило. Отпилив напильником шляпку, он принялся затачивать гвоздь.

— И не стыдно тебе, старый, до седых волос дожил... Мои мальчики где-то гибнуть должны, а он в постели валяется! Как ты еще можешь спать, чтоб тебе навеки уснуть в земле! — не унималась хозяйка.

Серапион сделал одно шило и принялся изготавливать другое. Я молча наблюдал за его работой.

— Да будь у тебя сердце, ты б не пережил, ты б за ними вдогонку отправился или помер бы с горя. Э-эх!..

Серапион покосился на мои башмаки, разинувшие пасть, как собаки в жару, и покачал головой.

— Опять расползлись?

— Расползлись.

— Кожа гнилая, не держит нитку. Соня! — позвал он.

— Ну чего тебе, изверг?

— Выглянь-ка на минутку.

Соня чуть приоткрыла дверь и выставила в щель сухое лицо с заостренным носом.

— Сделай доброе дело: на чердаке где-то телячья шкура валяется, ты бы поискала ее, что ли?

Соня хлопнула дверью.

Серапион обстругал и второй брусок, потом снова стал отпиливать конец.

Скрипнула дверь, и Соня швырнула Серапиону сухую шкуру.

— Чтоб башка твоя вот так высохла! — бросила она вдогонку.

Серапион расчертил угольком шкуру по внутренней стороне и протянул мне.

— Вот, милый, разрежешь в аккурат по этой линии. Знаешь, как счищать шерсть с кожи? Насыпь на нее золы, а потом три концом топорща.

— Я знаю, — сказал я.

— Аккуратно режь, сынок, толково! — еще раз предупредил Серапион, заточил напильником острие шила и вручил мне.

Я сунул под мышку задубевшую телячью шкуру, зажал в руке новое шило и бегом пустился домой. Теперь я не обходил ни луж, ни снега.

Пробегая мимо калитки Гочи, я почему-то позвал Гогону; наверно, потому, что Гоча пока что донашивал старые отцовские сапоги и кое-как обходился.

— Гогона, выглянь на минутку!

Гогона высунула голову из-за двери.

— Выходи, Гогона! Иди сюда!

Гогона скрылась и через секунду появилась снова. Она шла по двору так, словно несла на ногах по мельничному жернову.

— Ты что кричишь? — спросила она, едва переставляя ноги в огромных галошах.

— Вот! — просиял я и ударил кулаком по жесткой коже. — Хочешь получить постолы? Идем со мной.

— Не надо... — нетвердо отказалась Гогона, поглядывая на свои ноги: дескать, выйду на улицу, потоплю галоши в грязи.

— Идем, идем! По-твоему, лучше уроки пропускать?

— Я дома занимаюсь...

— Как ты занимаешься, когда и половины учебников нет... Пошли!

Опасения Гогоны оправдались: ее огромные, как лодки, галоши вязли в грязи; едва она вытаскивала одну ногу, как увязала другая. Вот она неосторожно ступила в присыпанную снегом лужу, галоша наполнилась водой; Гогона обмерла, округлив глаза, пошатнулась и — бух в лужу второй ногой!

Я подошел, подставил ей спину.

— Обхвати меня за шею!

Не говоря ни слова, она обняла меня за шею. Я попытался выпрямиться, но не смог.

— Вынь ноги из галош!

Только она высвободила ноги из галош, я подбросил ее на спину повыше и сунул ей в руки телячью кожу. Когда я нагнулся за галошами, Гогона чуть не перекувырнулась через меня. Но я вытащил-таки галоши из грязи и, держа их в замерзших руках, зашагал к дому.

Я опустил Гогону только под навесом у нашей кухни и весело позвал брата.

— Заза!

— Чего, Гогита?

— Хочешь постолы?

— Постолы?

— Ага, новые, кожаные, чтобы носки твои не промокли.

— Хочу, хочу, хочу! — заплясал от радости Заза.

— Тогда помоги!

Мы вошли в кухню.

— Садись, Гогона, согрейся!

При виде дрожащей от холода Гогоны мама всплеснула руками.

— Боже мой! Что с тобой, детка! — и усадила ее у самого очага на трехногий табурет.

Я подложил Гогоне под ноги полено, чтоб она могла высушить носки, не пачкая их золой, и раздул огонь. Бабушка не сразу заметила появление Гогоны, а заметив, пригляделась:

— Никак, Гогона пришла?

— Да, бабушка, это я.

Бабушка покосилась на повалившийся от ее носков пар.

— Может, хоть ты видела Фому-почтальона?..

Мы с Зазой насыпали горячей золы на шкуру и стали соскребать шерсть. Заза удивлялся, что округлый конец топорщица снимает волос, как бритва.

Очищенную кожу я нарезал на постолы. Сначала вырезал для себя, потом выкроил по ноге Зазе. Очередь дошла и до Гогоны.

К остатку кожи я приложил мою заготовку и обвел углем; самую малость не хватило для четвертой пары.

— Ничего, это пойдет для Тухии! — сказал я и бросил заготовки в воду — отмокать.

Я пристроился у очага, скрутил несколько ниток, навошил их и достал из кармана новое шило. Мама сидела лицом к двери и довязывала второй носок для Зазы. Бабушка, как всегда, подперев голову руками, бездумно смотрела в огонь. Гогона почему-то чувствовала себя неловко и улыбалась Татии какой-то напряженной улыбкой. А Татия, озабоченно сдвинув едва очерченные бровки, присосалась к высохшей груди бабки.

— Агу! — позвала ее Гогона. — Агу! — Она пошарила в карманах, не нашла ничего, чем бы позабавить девочку, и, вырвав у меня из рук шило, завертела им перед глазами девочки. Татия не улыбнулась, но все же оторвалась от бабкиной груди и потянулась ручонками за сверкающим шилом.

— Гогита! — испуганно прошептала Гогона — глаза у нее чуть не вылезли на лоб.

— Что с тобой? Ноги обожгла?

— Гогита! — опять прошептала она и показала пальцем на губы девочки.

Я не поверил своим глазам. Взглянул на Гогону — она утвердительно кивнула.

— Бабушка! — вскрикнул я громко.

— Что, сынок? — обернулась бабушка.

— Ты что орешь? — Мама не подняла головы от вязания.

Даже Заза шагнул ко мне и посмотрел, не проколол ли я палец шилом.

— Бабушка! — крикнул я опять, все еще не решаясь спросить о том, что видел своими глазами.

На губах у сестренки белело молоко. От моего крика девочка встрепенулась, снова схватилась за бабушкину грудь и живо принялась сосать.

— У бабушки молоко, — проговорил я наконец.

— Что говоришь, у меня?

— Чтоб тебя!.. — возмутилась мама. — Совсем рехнулся парень...

— Молоко у бабушки! — повторил я громко.

Бабушке часто приходилось совать Татии свою иссохшую грудь, чтобы успокоить голодную девочку; она и сама не заметила, когда у нее появилось молоко.

— Чудо! — угрюмо сказала мама.

— Господи, велика премудрость твоя! — перекрестилась бабушка.

Заза смотрел на всех широко раскрытыми глазами. И только на Татию чудо не произвело никакого впечатления.

— Что же это делается? — Мама обхватила голову руками, в которых держала недовязанный носок, и зарыдала. — До чего мы дожили, за какие грехи карает нас бог! — причитала она. — Что же это?.. Боже мой, боже мой!..

— Бог творит чудо... — качая головой, шептала бабушка. — Только бы Фома-почтальон появился...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

И ВСЕ ЖЕ ПРИШЛА ВЕСНА

— Москва по-прежнему наша! — говорил нам каждое утро учитель Платон, разворачивая желтовато-серую газету. — Наступление врага остановлено.

Потом он подносил к глазам очки и читал вслух сообщения Информбюро. В них не перечислялись остав-

ленные нами населенные пункты, не говорилось, за какой город ведется сейчас борьба, но часто исчезало одно направление и появлялось другое. И мы догадывались, что нашим приходится тяжело. А учитель читал о том, какие потери несет враг, какие испытывает затруднения.

А за окном шел снег, снег, снег... Зима была снежная, холодная, дрова для школы рубили в лесу мы сами, и учитель Платон помогал нам, неловко орудуя секачом, плохо насаженным на топорике.

Наши постолы быстро изнашивались. Я вывернул их наизнанку, но и так они продержались недолго. Телячья кожа оказалась очень непрочной, совсем не то, что бычья... Дольше всех постолы держались у Гогоны, потому что она носила их только в школу, а дома сбрасывала и таскала все те же огромные галоши, тяжелые, как мельничные жернова.

В селе появились раненые с фронта. Первым вернулся сын лесника. Опираясь на костыли, привез единственную ногу и резкий госпитальный запах. Вторым был Бидзина, двоюродный брат моего отца. Он был призван в армию еще до войны и уже должен был вернуться домой, когда вдруг началась война. Он вернулся с раздробленными пальцами на правой руке, без трех ребер, удаленных во время операции, и с неизвлеченным осколком снаряда.

Все жители села бросились к ним. Каждый расспрашивал о своих: о муже, сыне, брате, — но они ничего не могли сказать. Сын лесника, правда, рассказал, что ехал с Амбако, сыном Элпите, но потом их разделили — Амбако направили куда-то к Черному морю, а его в Ленинград; тем дело и кончилось. Элпите не стали говорить об этом. Впрочем, Элпите и не хотела знать, куда именно уехал ее сын; она спрашивала об одном — когда он вернется, и твердила, что вот, мол, обещал скоро быть, а до сих пор нет...

Скоро появился и третий — отец нашего пятиклассника Гито. Он был при руках и ногах, только голова у него была забинтована. Скоро отец Гито снял бинты, но сказал, что у него «контузия». Снаружи никак не видно было, что это за контузия, лишь время от времени он испуганно поводил глазами. Потом стали поговаривать втихомолку, что он мочится через резиновую кишку, и женщины жалели его и сокрушенно хлопали себя по щекам.

Контуженый путано и невнятно рассказывал про Амирана, сына Эзика: они, дескать, вместе шли в атаку, его сбило взрывной волной и засыпало, а что было потом, он просто не помнит.

Эзика все надеялся, что к отцу Гито вернется память и он расскажет об Амиране. Но добился Эзика только одного: контуженый вспомнил, что после той атаки не многие вернулись в окопы. Вот и все, чего добился Эзика.

А между тем надвигалась весна.

Председателем колхоза к нам прислали одного инструктора из райкома — он был совсем слаб здоровьем. Однако, когда и райкомовцев призвали в армию, инструктора забрали обратно в район. Какое-то время мы оставались без председателя. И вот, не обращая внимания на то, что у Бидзины одна рука была как деревянная, не хватало трех ребер и в животе сидел осколок снаряда, его выбрали председателем, — что там ни говори, голова-то у него цела. Первую и третью бригады составили из одних женщин, а в нашей второй бригаде бригадиром остался Эзика.

Эзика артачился:

— Совсем хотите загубить колхоз! Какой я к лешему бригадир!..

Но его уговорили согласиться хотя бы на время.

— Кто-нибудь еще появится...

И снова Эзика заковылял на хромой ноге по колхозным полям.

Нам было трудно, но весна была неумолима.

Весна заставила нас налаживать плуги и культиваторы, заржавевшие за зиму, мы тесали и прилаживали к ярму новые шкворни, набивали на руках мозоли — но сделали так, как она хотела.

От бескормицы быки отощали за зиму. Целыми днями они мычали у пустых яслей. Гвиния рвался из хлева: знал, что все занесено снегом, но на воле ему было лучше — добредет до леса и хоть тонких ветвей пожует у опушки. У черного быка всю зиму болела нога, и он не мог ходить так далеко: выйдет за калитку, попьет талой воды из лужи и мычит, просится обратно, полежать в тепле. Он словно чуял, что волки обнаглели и с больной ногой от них не уйдешь. Случалось, если корова отставала от стада, утром ее кости находили у лесной опушки.

В конце февраля отелилась наша корова. Родился теленок, похожий на бугая с колхозной фермы: такой же длинноногий и мастью точь-в-точь — красный.

«Хороший будет бык», — подумал я.

Мы надеялись, что и молока теперь будет вдоволь.

Но много ли могло быть молока с полпучка сухой соломы? Едва хватало для Татии.

Мама тщательно смывала остатки пищи из кастрюль и с тарелок, с тех самых тарелок, которые Заза дочиста вылизывал языком, из тех кастрюль, которые он выскребал ножом, — того гляди, дно проскребет! — и собирала пойло для коровы. Она махнула рукой на теленка, стала кормить молоком девочку. И еще до того, как появилась первая весенняя трава, теленок протянул свои длинные ножки и мы с Зазой со слезами на глазах свеживали его и сушили кожу на постолы.

А весна все-таки пришла.

Полопались почки на деревьях. С высоты Кехтехии опять можно было пересчитать, сколько слив цветет в нашем селе. Трактор, стоящий возле склада, покрылся ржавчиной толщиной в палец. На его будке всю зиму без устали чирикали воробьи. Но с весной у них прибавилось хлопот, и они покинули насиженное место. И только дед Тевдоре, работавший теперь сторожем на складе, кряхтя и охая, подходил иногда к трактору, разглядывал его, опираясь о посох, качал головой и, воздев руки к небу, слал кому-то проклятия.

Но весна ни во что не ставила ни проклятия деда Тевдоре, ни мычание голодных быков, ни хромоту Эзики. Она в срок растопила снег, согнала ручейки в овраг, подсушила лицо земли и засмеялась нам бело-розовыми цветами алычи.

Земля ждала семян.

...Голос Эзики поднял меня до рассвета.

— Гогита, никак, спишь, малый?!

Я в нижней рубахе вскочил с постели и вышел на веранду.

— Доброе утро! — Он устало опустил на холодную каменную ступеньку лестницы.

— Здравствуйте. — Я тоже присел на корточки.

— Ну, что, с чего будем начинать? — спросил он, заметив, что я дрожу от колючего утреннего холода.

— Вы о чем, дядя Эзика?

— Да все о том же, о пахоте.

— Что надо делать?

— Ты с утра в школе, верно?

— Могу работать после школы.

— Много наработаешь после уроков!

— Как же быть?

— А вот как быть.— Эзика отвел глаза в сторону: — С утра...— И вдруг, напрягая шею, закричал: — Ты хоть на полдня одолжи одного быка Клементию!

— Гвинию?!

— А что делать? — понизил голос Эзика.

— А куда он своего быка дел?

— Мы же сами его на бойню сдали, треклятого!

— Небось околевал...

Эзика кивнул в знак согласия.

— Значит, теперь Гвинию хотите на бойню сдать?

— Как же быть? Одну упряжку волки зимой задрали, сам знаешь...

— А вот как быть: пусть Клементий сам купит другого быка.

— Да не он один виноват. Мы не смогли дать кормов достаточно. Не обеспечили...

— Мне вы тоже не давали кормов.

— Ну, тогда впрягите меня вместо быка и пашите!

— Клементия надо впрячь, чтоб не шлялся каждое воскресенье на базар и не торговал там краденым лесом.

— Да пропади он пропадом, совсем не в нем дело! — И, переходя на деловой тон, Эзика сказал: — Значит, так: после школы будешь сам пахать, а с утра...

— Клементию быка я не дам, так и знайте! — упрямо повторил я.

— Да почему, черт побери? Почему? — выходя из себя, гаркнул Эзика.

На его крик из дома вышла мама и остановилась в дверях.

— С чем я отца встречу...— буркнул я, глядя ему под ноги.

Эзика сорвался с места, в досаде махнул рукой и, даже не поздоровавшись с мамой, сердито заковылял прочь.

Я прошел мимо мамы, тоже не обмолвившись ни словом. Быстро оделся и спустился во двор. Вывел быков

из загона, запряг в арбу, взвалил на арбу плуг и — в поле.

Там еще не было ни души. Я остановил арбу. Быки тут же принялись щипать прошлогоднюю прелую травку.

«Наверно, уже был первый звонок!» — подумал я и поставил быков в борозду.

Крупными пластами отвалилась прошенная корнями сорняков земля.

Отощавшие быки то с трудом влегали в ярмо, то тянулись за травой и ломали борозду. Я стегал их плетью, бранился, орал до хрипоты, поминая недобрым словом свою судьбу, своих быков, и плуг, и ярмо, и эту землю, и эту весну, и Клементия Цетерадзе.

Теперь я с утра до вечера ходил за плугом. По долетающим издали школьным звонкам я подсчитывал, сколько борозд пройдено и сколько еще успею пройти до вечера.

Наши обеды и ужины опять свелись к половинке мчади, а Тухия со своими братьями и сестрами обосновался на раскидистых ветках тутового дерева. Опять трудно было отличить Гочу от Тухии, а Тухию от его собаки Толии.

Теперь я пахал один, без напарника; Гогона прибегала в поле после уроков и бросала семена в распаханые борозды.

Женщины работали на плантациях. Чай обрабатывался кое-как, ростки были слабые, блеклые и не такие сочные, как прежде.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

ВОРИШКА

Настало лето. Лето 1942 года.

Снова фашисты начали наступление. Города переходили из рук в руки. Враг истекал кровью, но двигался вперед. Он подходил к Кавказским горам. Со страхом и тоской поглядывали мы на снежные вершины, на клубившиеся над ними облака.

Бывало, хромой Клементий придет в поле, окинет взглядом чахлые бледно-зеленые всходы, ткнет раза два мотыгой и скажет:

— К чему нам все это, зря надрываемся, скажу я вам. Третьего дня был в городе, видел целый эшелон

беженцев. Прямо на крышах сидели, бедолаги. Гибнет страна, разваливается!.. Пропадает все!

Тюкнет еще разок-другой и продолжает про себя:

— Знать бы хоть, куда нас отвезут в этих эшелонах... С одной стороны море, с другой море, а там турок точит на нас ятаганы...

— Разве турок тоже собрался воевать? — опершись на черенок мотыги, спросит кто-нибудь из крестьян.

— А чего ж ему не собираться? — вскидывает брови Клементий и качает головой. — Видит, плохи наши дела, вот и хочет руки погреть на чужой беде. Ему что...

Клементия обступает народ. Я придерживаю быков, прислушиваюсь. А Клементий продолжает:

— Германия ведь что говорит: «Не нужна нам ваша Москва, оставайтесь в ней сколько угодно, а мы займем себе Кавказ да оттуда в обнимку с турком и двинемся дальше. А тут Япония подойдет через Китай, мы и расцелуемся с ней в самой Индии». «Леменц», он хитрый, своего добьется... — глубокомысленно заключал Клементий. — Думаете, не добьется?

Потом поглядит на нас, ребят, и сокрушенно покачает головой:

— Говорят, деток малых на мыло перетапливает, зверь эдакий, а землю пеплом человеческим удобряет и цветы на ней сеет...

— А ну, заткнись! — гремит вдруг откуда-то голос Эзика. — Цыц у меня, Клементий Цстерадзе, чтоб глаза мои тебя не видели!

Народ медленно расходится, нехотя берется за работу. Я подаю знак Гогоне, чтобы она трогала быков. Тяжело, со скрипом ползет культиватор.

— Арестую болтуна, в тюрьме сгною! — свирепея, шумит Эзика. — Что ты знаешь про войну? Ты и не бывал на ней, нога у тебя с рожденья сломана... Какая повитуха такого на свет выволокла! Тьфу на нее!

Клементий поджимает плечи, прислоняет черенок мотыги к груди и разводит руками:

— Эзика, дорогой, о войне я, конечно, мало знаю, но земля слухом полнится. За что купил, за то и продаю. Сам понимаешь, тянет с людьми поделиться... Беда-то общая...

— Поделиться его тянет! Ты лучше закрой рот и зашей, чтоб ядом с людьми не делиться! А то я проучу тебя, сучье мясо!..

После таких угроз Клементий молча брал свою мытыгу, принимался усердно работать и, как бы Эзика ни бранил и ни честил его, молчал, точно воды в рот набрал.

Я же, наслушавшись невеселых разговоров, целыми днями ломал голову: что, если нас и вправду посадят в эшелон? Куда податься? На кого оставить быков?..

По ночам меня варили в котле, резали огромным ножом на квадратные куски, снова кидали в котел и варили.

А Клементий опять исчезал, через неделю объявлялся со свежими новостями и, когда поблизости не было Эзики или Бидзины, нашептывал что-то людям. Я ненавидел его, как гадюку. При одном взгляде на Клементия я весь покрывался гусиной кожей, как при ознобе. Я обходил его двор за версту.

Но Клементий не обошел нас. Он забрал у нас двухлетнюю нетель в обмен на пуд кукурузы. Потом пошел к матери Тухии, и доски, которые Капито заготовил для своего нового дома, тоже перекочевали во двор Клементия. За каждую доску он отсчитывал кукурузу по зернышку. Бедняге Капито осталось с десяток досок, которыми Тухия перекрыл убежище.

Весь август мы сидели только на кукурузе, взятой в обмен на нетель,— варили повидло из яблок или груш, заправляя его горстью муки. Иногда по утрам варили жиденькую кашу на сыворотке, оставшейся после закваски сыра.

Однажды утром мы сварили такую кашу, а головку сыра отложили на ужин.

Вечером, когда мы с мамой вернулись с работы, сыра на месте не оказалось.

Мать, недоумевая, бросилась к бабушке:

— Мама, где сыр?

— А куда ты его спрятала? — в свою очередь удивилась бабушка.

— Как всегда, на полку, под тарелкой.

— Не знаю, дочка! Я весь день с девочкой возилась.

— Чудеса...

— А где Заза? — спросил я и позвал: — Заза!

Никто не отозвался.

Я вышел во двор.

— Заза!

Зазы нигде не было.

Он явился поздно вечером. Тихонько прошмыгнул в дом и сразу ушел в угол подальше, куда почти не достигал свет очага.

— Где ты бродишь весь день? — спросил я.

— Играл! — беспечно ответил Заза. — Ух, устал как! — добавил он и только собрался растянуться на тахте, как я схватил его за ухо.

— А, может быть, ты знаешь?..

— Не знаю...

— Постой.— Я заглянул ему в глаза.— Выходит, ты знаешь, о чем я спрашиваю.

— Нет, не знаю.

— Тогда чего же ты не знаешь?

— Ничего не знаю. Меня целый день дома не было...

— Где сыр?

— Небось кошка съела!

— Ах, кошка! — Я отпустил его ухо.

— Кошка,— повторил он.— Я видел, как она сидела на полке. Большая, рыжая. А потом во дворе... Я в нее камнем, Гогита...

— Ладно! — прервал я. — Хватит. Кошка так кошка.

— Такая большая, рыжая... Это не Гочи и не тети Эки... Верно, Клементиева была кошка.

— Перестань болтать! — оборвал я его. Я хотел заставить его поклясться именем отца, но не решился: вдруг он соврет.

На следующее утро я сказал маме, чтобы она не прятала сыр, а положила на прежнее место.

— Если только это он,— наказала перед уходом мама,— вздуй так, чтоб на всю жизнь запомнил.

— Ладно, мама,— сказал я и пошел к арбе.

Я запряг быков в ярмо, громко покрикивая на них, выехал за ворота, но, дойдя до дома Гочи, остановился. Там я привязал быков к пряслу, перелез через плетень и пошел назад. Обойдя кухню с задворок, я прислушался. Было тихо. Я заглянул в щель. Никого. Обошел дом. На веранде бабушка качала люльку. Я приоткрыл дверь на кухню — сыр лежал на месте. Но только я собрался уходить, как послышались чьи-то осторожные шаги. Я отскочил за дверь и замер. На пороге, почему-то пятясь задом, показался Заза. Он следил за бабуш-

кой. Все время пятясь, он шагнул внутрь. Мяукнула кошка.

— Тшш! — зашипел Заза, видно, зажимая в ладонь кошачью морду. Было слышно, как она скреблась когтями о его рубашку.

Заза повернулся, зашвырнул кошку на полку, где стояла миска, схватил сыр, отломил кошке кусочек, а сам набил полный рот и выскочил вон. Я вышел из засады и увидел, как он скрылся за углом. Я пустился вдогонку.обежал вокруг дома, заглянул в подпол, кинулся к воротам, потом к перелазу через забор. Обыскал весь двор, но его и след простыл.

Растерянно озираясь, я подошел к убежищу посреди двора; спустился на несколько ступенек и заглянул. Наши глаза встретились. Я только и сумел разглядеть в темноте глаза да белый сыр. Заза торопливо запихнул в рот большой кусок, разжевал и проглотил с трудом.

— А ну, вылезай!

Он опять откусил сыр, но с места не сдвинулся.

— Оглох, что ли? Вылезай, говорят!

Он запихал в рот остаток головки, давась и вытягивая шею, протолкнул его в глотку и только тогда вылез из ямы. Я думал, что он пустится наутек и уж тут-то я схвачу его, но он покорно остановился передо мной.

Я задыхался от злости. Наверное, мне надо было что-то сказать, объяснить, поругать, но, когда я занес руку для удара, Заза опередил меня и сказал:

— На, бей...

Рука моя застыла, словно одеревенев.

— Бей! — повторил он.

— Не бить, а убить тебя надо! — закричал я и снова замахнулся, но его острые скулы были так обтянуты, что я не мог его ударить.

— Заза! — заорал я.

— Почему не бьешь? — спросил он и подвинулся ко мне.

Я не мог ударить. Не мог. Меня душили слезы.

— Убирайся! — закричал я.

— Никуда я не пойду.

— Что?!

— Вчера тоже я съел сыр.

— Ты?.. Ну почему, почему ты?.. — Я уронил руки и заплакал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ВЕРНЫЙ ПЕС

Летом работать стало еще труднее. Невыкорчеванные в прошлом году сорняки буйно пошли в рост и стали одолевать кукурузу.

Колчерукий председатель призвал колченогого Эзика — поднимай тревогу!

Гоча и Тухия целый день правили мотыги, а я стругал аробные шкворни. Культиватор я отвез в кузницу: Гига подтянул на нем разболтавшиеся винты и сменил разбитую щербатую лапу. Новая лапа была пригнана неважно, но я все равно предпочел ее старой.

В воскресенье рано утром я поставил в сумку кувшинчик с водой, положил пол-лепешки мчади, мама завернула в инжировый лист кусок сыра. Тут и Тухия подошел к нашей калитке, окликнул меня. И мы отправились в поле.

По пути к нам присоединился Гоча.

Гогона собиралась на чайные плантации, но я не надеялся один прополоть кукурузу и уговорил ее пойти с нами.

За Тухией плелась его голодная собачка Толия. Всю дорогу она не отрывала глаз от узелка с куском мчади, болтающегося на конце хозяйской мотыги. Когда прошли мимо дома Гочи, нас остановил Серапион с большой мотыгой через плечо. Старый сапожник, привыкший к сидячей работе, еле волочил ноги. Он закрыл калитку, накинул на столбы витой кружок из веток азалии и обратился ко мне:

— Может, подвезешь на арбе, сынок?

Сам я не садился на арбу, чтоб не утруждать быков, но Серапиону я не мог отказать. Он закинул мотыгу за грядку, кое-как влез на арбу и с узелком в руках уселся сзади. Я предложил ему перебраться вперед.

— Нет, сынок, быки и без того еле тянут,— сказал он.

Позади Тухиевой собачки шагал Буду. Похоже, он трусил и избегал меня.

«Клементий-то, видно, на базаре,— подумал я,— вот и послал Буду за себя».

Накануне Эзика говорил нам, что надо промотыжить всю кукурузу. Но мы направились туда, где в поле одни-

ноко стоял большой явор — он давал хорошую тень, и в полдень под ним можно будет передохнуть и отдышаться.

Я поставил арбу к самому дереву. Культиватор и мотыги сбросил на землю, взобрался на арбу, притянул ветку и повесил на нее узелок с едой.

Серапион, кряхтя, опустился на травку, достал из кармана точильный камень и принялся править свою мотыгу. Я впряг быков в культиватор. Гогона взялась за повод, привязанный к рогам животных.

— Ну, что, начнем? — спросил я.

— Начнем, — ответил Тухия и, украдкой отломив кусок от своей лепешки, кинул его в рот и проглотил, не прожевывая. Узелок он засунул в дупло явора над самой арбой. Собака облизнулась длинным, как подошва, языком и улеглась под арбой.

— Ну! Ну-у! — крикнул я на быков. — Пошли!

Гогона повела их по заросшим сорняками бороздам.

Когда мы прошли три борозды, ребята тоже начали мотыжить. Серапион еще немного поскреб свою мотыгу камнем и встал в ряд с ними.

На широко раскинувшихся полях тут и там показались упряжки быков и старики с мотыгами.

Солнце жгло немилосердно. С каждой новой бороздой зной усиливался. Культиватор с трудом одолевал сорняки, пустившие глубокие корни; новая лапа почти все время болталась в воздухе, и я всей тяжестью давил на нее. То и дело приходилось повторно проходить борозду, но на долю полольщиков все равно оставалось много работы. Они по двое двигались друг за другом.

Черный бык скоро притомился, на губах у него выступила пена. Я попридержал быков, чтобы дать им отдохнуть. Полольщики едва закончили по одной борозде. Тухия взглянул на солнце: до полудня было далеко. Он тихо, чтобы не слышала Гогона, спросил меня:

— Не пора полдничать-то? А?..

— Ты что, спятил! — крикнул я так громко, чтоб и Гогона услышала, и Гоча, и Серапион, и погнал быков дальше. Дойдя до конца борозды, я оглянулся и увидел, что Тухия стоит в ряду с другими и мотыжит, кивая в такт большой головой, а мотыга в его худых руках кажется большой и тяжелой.

Серапион, широко расставив старческие, привыкшие к покою ноги, делает несколько взмахов, потом плюет

на ладонь и перекладывает мотыгу в другую руку. Гоча шагов на шесть опередил Тухию и Серапиона. Буду перешел через дорогу и пристроился к другой бригаде. Черный бык опять притомился, закинул голову.

— Остановим, Гогита, пусть отдохнут,— сказала Гогона.

— Нет, погоняй! — крикнул я.

— Жалко.

— А нас не жалко? А Тухию не жалко?

Гогона не ответила и стала заворачивать быков. Я подлез плечом под ручник культиватора и перетащил его на новую борозду.

— Ну, чертова скотина! — крикнул я и огрел быков плетью.— Тяни.

Плуги глубоко ушли в землю. Они выворачивали пласты, но живучие сорняки цеплялись каждым корешком, высывались из-под комьев и снова вставали, изо всех сил сопротивляясь пропольщикам.

Солнце припекало все сильнее. Потом откуда-то появилось белое облачко, краешком зацепилось за солнце. Я отчетливо увидел, как скользит по полю его тень. Когда тень накрыла дерево, под которым стояла арба, Тухия выпрямился и с надеждой взглянул на небо. Я помахал ему рукой, чтобы он не бросал работу.

Тень быстро пронеслась над нами. Снова нещадно палило солнце.

Черный бык от усталости вывалил язык, и мы остановились передохнуть.

Гогона наломала ольховых веток, сплела из них шляпу. Такую же шляпу она смастерила и для меня.

Бык за это время малость отдышался. Мы продолжили работу.

Тухия шел по третьей борозде. Он то и дело останавливался, смотрел на небо и удивлялся, что солнце так медленно ползет вверх и никак не настанет спасительный полдень.

С меня градом катил пот, капал с носа и с подбородка.

У Гогоны от зноя покраснели белки глаз, а щеки пылали, как гранатовый цвет.

Ей очень шла шляпа из зеленых листьев.

Гвиния сильнее налег на ярмо, черный бык не поспевал за ним, культиватор опять пошел вкось, одна лапа задела и срыла кукурузу.

— Гогона, тяни левее! — крикнул я. — Левее!

Гогона вцепилась в веревку и осадила Гвинию. И я снова заметил, какая она красивая в шляпе из зеленых листьев.

Тухия отстал от Серапиона. Совершенно обессиленный, он машинально тюкал мотыгой по земле, и голова его моталась на тонкой шее.

Солнце все еще не поднялось в зенит. Самое пекло было впереди. Нам надо было успеть до отдыха сделать как можно больше. После полудня, перекусив и напившись холодной воды, мы разомлеем в тени явора, усталость навалится на нас и работать будет трудно.

Я перетянул цепь на ярме поближе к Гвинии, почти всю упряжку переложил на его шею, чтобы черному было легче.

— Гвиния, Гвиния, терпи, дорогой! — уговаривал я. — Не подведи...

С натугой, но безотказно он тянул ярмо. Недаром отец так любил его.

Я налегал изо всех сил, загоняя лапы культиватора поглубже, чтобы легче было тем, кто работал вручную.

И вдруг раздался такой вопль, что даже изможденные, одуревшие от жары быки прынули в сторону.

— Оо-о-а-ах!!

— Что такое? — Я вскинул голову.

— Не знаю... — Гогона испуганно взглянула на меня, потом отыскала глазами брата.

Гоча и Серапион стояли как вкопанные. А Тухия... Тухия, точно брошенный камень, летел к явору. Я глянул туда и увидел, как Толия, стоя на арбе на задних лапах, дотянулась до дупла и с узелком в зубах прыгнула на землю.

— Толия! — заорал Тухия, когда собака, схватив кусок мчади, несмело затрусила прочь. — Толия! — надрывался Тухия. — Убью!

Собака остановилась в нерешительности, повернулась к хозяину, но не смогла выпустить из зубов лепешку и, поджав хвост, побежала дальше.

— Убью, Толия! — с отчаянием в голосе вопил Тухия.

Собака чуяла, что не к добру хозяин кричит так громко. Она опять остановилась, виновато прижала уши

и зажмурилась. Тут и Тухия набежал и, не удержавшись, проскочил мимо. А Толия — точно оправдываясь тем, что хозяин не вырвал куска у нее из зубов, кинулась в обратную сторону и нырнула под арбу.

— Убью, Толия!..

Не успела она надкусить мчади, как Тухия подбежал к арбе, схватил валявшийся тут же секач, с разбегу поддел собаку ногой и, когда та с лепешкой в зубах вылезла из-под арбы, с такой силой хватил ее по голове, что рассек череп, как головку сыра.

Мы подбежали, но было поздно. Обе половины собачьей головы, казалось, умирали по отдельности. Но обе, жмурясь в последний раз, не отрывали глаз от недоеденной лепешки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

СЫТЫЙ ВОРОН

Государство определило нам денежное пособие. Каждый месяц начальник почты, шевеля длинными усами, трижды пересчитывал деньги, прежде чем вручить их мне. Заставив меня еще раз пересчитать, он старательно засовывал их в мой карман. Потом, глядя в окно и подкручивая ус, спрашивал:

— Хорошо пересчитал?

Когда я расписывался в получении, он наставлял меня:

— Ты малый толковый, не задерживайся нигде, ступай прямо домой и отдай деньги матери.

...Я шел на почту получать деньги. Выйдя из калитки, я невольно оглядел свою одежду. Неловко было идти в таком виде мимо лавок, парикмахерской.

Я старательно соскреб налипшую на залатанную штанину грязь, получше заправил за пояс рваный подол рубахи и все же свернул с дороги и пошел задами. Дошел тропинкой до родника. Где-то в стороне мелькнула фигура Карпе, что жил в верхнем конце деревни. Помню, меня удивило, что пожилой мужчина тоже ходит задворками вроде меня.

Больше я никого не встретил до самой церкви. Но стоило мне свернуть за церковную ограду, как из-за угла с другой стороны вышел наш учитель. «Вот незадача! Что я ему скажу? Он обязательно спросит, почему

я перестал ходить в школу», — пронеслось у меня в голове. Я попятился, прикидывая, куда же мне деться, и, не найдя другого выхода, перемахнул через церковную ограду. «Если он заглянет за ограду, я пропал...» — подумал я, быстро прополз вперед, залег между надгробными камнями и, затаив дыхание, прислушался к шагам учителя.

Под могильной плитой, прямо перед моими глазами, оказалась узенькая щель. На самом краю щели на плите сидел какой-то жук, чуть побольше божьей коровки, но очень плоский, неприятного кирпично-красного цвета, с черными крапинками на спине. Он казался мертвым. Но вот он приподнялся на лапки и медленно пополз. Вяло и безжизненно двигался он вперед.

Я поднял голову.

Задумавшись о чем-то своем, учитель Платон прошел вдоль ограды.

Я присел на плиту. Сразу зазнобило, протертые штаны не защищали от холода. Я встал и, шагая через могилы, пошел мимо старой церкви.

Купол давно обвалился. Сорванная востром и временем, одна створка церковных ворот с большим резным крестом посередине валялась на стертых замшелых ступенях у входа. Другая едва держалась на одной петле.

В сухих зарослях бузины кто-то робко протоптал тропинку. Ни пробежавший ребенок, ни уверенный шаг мужчины не оставляют такой след. Я пошел по нему до церкви и заглянул в нее. И раньше, до войны, я заглядывал сюда, и каждый раз мне делалось боязно. Омытые дождями деревянные стены прогнили и почернели, с мрачных стен глядели потемневшие лики святых, покрытые закопченной потрескавшейся позолотой. Теперь церковный купол обвалился, задавил царские врата. Дожди смыли краску с уцелевших икон, нарядное одеяние святых словно изорвалось, нимбы полиняли и облупились. Из груды развалин торчал железный крест, с двух сторон перехваченный цепями.

Хоть и не испытывая прежнего страха, я все же решил уйти, но, спускаясь по замшелым ступенькам, заметил старые стоптанные чужаки, видно, недавно оставленные кем-то.

Я повернулся и всмотрелся в полумрак. За грудой щебня — остатками обвалившегося купола, перед ико-

ной богоматери, у самых ее ног, горела одинокая свеча, и перед ней распростерлась ниц женщина в черной одежде. Ее босые ноги стыли на серых каменных плитах.

Она замерла, прильнув лбом к холодной каменной плите. Свеча догорела и зачала. Женщина, очнувшись, приподнялась и, сложив руки на груди, зашептала:

— Тебе, пресвятая богородица, вручаю я моих сыновей. Ты мать и поймешь молитву матери, святая дева Мария!

И, как бы в ожидании ответа, она устремила взгляд на икону и замерла.

С голеньким младенцем на руках стояла Мария в храме с сорванными воротами, разрушенным алтарем и обвалившимся куполом. Могла ли она быть чьей-либо заступницей?

Не знаю, почему я стоял и ждал. Наверное, я хотел узнать, дождется ли ответа женщина в запустении этого храма. И вдруг в голых стенах раздалось жуткое, леденящее душу карканье. Старая женщина вздрогнула, подняла глаза и взглянула вверх, на небо. Я тоже глянул на небо.

Светлую синеву не прочерчивали в этот час даже воробьи. Лишь кроны столетних дубов и лип высились над разрушенной стеной.

Опять раздалось карканье. Старуха перекрестилась. Мне стало страшно, как раньше, когда я заглядывал в церковь.

Могильная тишина, женщина, застывшая на коленях перед иконой богоматери, и выцветшие иконы девы Марии, Христа, Георгия Победоносца.

Сиплое карканье раздалось еще ближе, словно потянуло смрадным запахом. Над церковью медленно пронеслась черная птица, как черная зловещая тень.

Старуха перекрестилась еще несколько раз дрожащей рукой и впиалась глазами в бледный лик богоматери. Черная птица продолжала кружить над церковью. Мне показалось, она накрыла своими черными крыльями эту церквушку с провалившимся куполом.

Наконец она опустилась на вершину высокого дуба, на котором когда-то висел церковный колокол.

— Фу ты, ворон! — Я повернулся, решив поскорее уйти. С отвращением посмотрел на вершину дуба, мах-



нул рукой, вспугивая птицу, но ворон сидел, тяжело раскачивая ветку дерева и каркая время от времени.

— Сытый он,— подумал я, хотя и не знал, как отличить сытого ворона от голодного.

В синем небе на фоне Кавказского хребта появилось еще несколько черных точек: и было непонятно, летят ли они к нам или спешат туда, на снежные вершины.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПОВЕРЖЕННОЕ СЕЛО

Не помогли ни увертки Фомы-почтальона, задворками крадущегося по селу, ни покручивание длинных усов начальника почты, ни молитвы женщин перед ликом богородицы, ни вздохи моей бабушки: «Господи боже мой, господи боже мой!» Пришла скорбная весть, и мать заплакала о сыне.

— У Эки сына убили! — закричала бабушка и хватилась себя по щекам. — Ох, сынок! О, мой Датико, жив ли ты еще!

— Горе-то, горе! Несчастливая Эка! — простонала мама, кидаясь за бубушкой к калитке.

— О-о, мой Амиран! Где ты? — точно бык перед закланием, ревел Эзика. — Где ты? Какая беда над тобой!

— Померк, померк свет моих глаз, Серапион! Померк свет моих глаз! — голосила Соня, жена Серапиона, и, распустив седые космы, трусила по проселку.

— Папочка! Па-па-а-а! — дрожа всем телом, всхлипывала Гогона.

Старуха в черном, спотыкаясь, бежала под гору:

— Сынок!.. Сыночек!.. Сынок!.. Сыночек!..

— Мальчик мой, Сосика! — распустив волосы, задыхалась больная мать Сосики. — Мальчик мой!

— Бикентий!

— Алекси, как теперь жить твоей несчастной матери!..

— Пропали! Погас наш очаг! Развалился! — ковыляя на костылях, всхлипывал дед Тевдоре.

— Коция, надежда матери! Коция, родимый мой, единственный! Сыно-о-ок! — рвала на себе волосы Эка.

Двор погибшего Коции заполнили соседи, плакальщицы и плакальщики. Тут была вся деревня. Сотни несчастных матерей и отцов сбежались на крик несчастной матери... Жены и дети, сестры и братья, бабушки и тетки, родные и близкие всех, кто ушел на фронт. Все бежали на крик. Бежали и плакали, рыдали и в кровь царапали лица.

Бежал Тухня, а за ним пять братьев и сестер. Все шестеро гуськом, разинув рты:

— Папка-а, где теперь наш папка-а...

Все шестеро в обносах, висевших, как на палках,— шесть черепов, напаянных на длинные худые шеи, шесть огородных пугал.

Самой последней появилась Элпите. В длинном платье, развевающемся на бегу. Она бежала и выкрикивала:

— Амбако! Мой Амбако!

На нее не обратили внимания.

Тогда, не помня себя от ужаса, она вбежала в дом и завопила так, что умолкла даже Эка:

— Амбако! Где мой Амбако?!

И с новой силой прорвалось горе. В новом приступе отчаяния заголосили жены. Все бросились к Эке, судорожно прижимавшей к груди рубашку убитого сына. Все оплакивали с ней погибшего Коцию, а заодно своих сыновей, мужей, отцов и братьев, всех, кто ушел и не вернулся, канул, погиб, пропал.

По двору метались испуганные дети. Где-то позади всех прятался бледный и потерянный почтальон Фома. В стороне, под шелковицей притулился Клементий Цетерадзе. При виде его кровь бросилась мне в голову. Я решил, что этот пришел потешиться над нашим горем. Я готов был искушать его.

Сжав кулаки в продранных карманах штанов, я спрыгнул с балкона, обошел шелковицу, с ненавистью посмотрел в глаза Клементию и опешил: на глазах у него были слезы... Клементий плакал. Только тогда до меня дошел весь ужас происходящего, и я заревел.

— Па-па! Па-пка-а!..

В углу веранды сбились в кучу девушки, подруги Наны, сестры Коции. Они окружили Нану, жались к ней, прятали лица в распущенных волосах, обливали слезами ее вылинявшее ситцевое платье. Нана исцарапала свои бледные щеки, из ее больших синих глаз катились слезы и розоватыми каплями повисали на заостренном подбородке.

— Коция, братец мой!

— Несчастный!

— Бедняжка!

— Сын мой! Мальчик мой!

— О-о!

Плач и стоны неслись из дома, с веранды, со двора, с улицы, из-за плетня,— отовсюду. Казалось, стонала земля и небо...

Вдруг тревога иного рода пробежала по толпе.

— Воды! — крикнул кто-то в доме.

— Воды! — повторили на веранде.

— Воды! — отозвались во дворе.

Принесли воду, стали отливать кого-то, приводить в чувство.

Вопли и причитания не прекращались по позднего вечера.

К вечеру все устали, охрипли от криков, слезы иссякли. За день каждая оплакала своего сына, мужа, брата, отца, друга и любимого.

Я видел смерть в деревне и до войны, и после нее, но то, что я увидел в тот день, не было похоже на то, что я видел раньше и после. Казалось, в этот день погибли все ушедшие на фронт, даже те, от кого всего неделю назад были письма; матери потеряли сыновей, навсегда высохло молоко в их груди; жены овдовели и покрылись черными платками, дети остались без отцов, и девушки потеряли любимых.

До этого дня враг держал наше село в осаде. Он теснил нас, отнимал у нас хлеб, изнурял непосильным трудом, но село принадлежало нам, мы были живы, стояли неприступной крепостью и с надеждой ждали завтрашнего дня...

А в тот день будто у самых ворот нашей крепости вероломно убили нашего односельчанина, враг ворвался в самое село и разгромил его, не оставил камня на камне. Огнем и мечом прошел он по селу, бросив трупы наших близких на съедение воронью, даже не дав предать их земле.

В тот день враг торжествовал победу.

Поздно вечером расходился народ, оставив двух человек у кровати Коции, на которой была разложена его одежда и фотографии. У кровати, почерневшая от горя, окаменела мать.

Люди шли по домам, и казалось, что у каждого дома лежит свой покойник.

Я и Гоча поддерживали бабушку с двух сторон.

Гогона, Пати и мама шли за нами. Мы шли молча, без слов, то и дело спотыкаясь. Шли потому, что надо



было идти. Мы всегда возвращались этой дорогой и теперь брели друг за другом, как приученная скотина...

Наша калитка оказалась сорванной.

Гоча, Пати и Гогона пошли домой.

Маленькая Татия, брошенная на одного Зазу, спала одетая и зареванная.

Зазу тоже уснул прямо на полу около ее кроватки.

Голодная кошка забралась на шкаф, сбросила стеклянную вазу. Пол был усыпан осколками.

Через сорванную калитку во двор набежала беспризорная скотина. Коровы вытоптали траву, опустошили огород и теперь пожирали посевы кукурузы за домом.

Бабушка ничего этого не заметила. Она пошла прямо в тот угол, где висела одежда отца, и сразу заголосила. Мама, увидав погром, с отчаянья махнула на все рукой: а, пусть хоть потоп!..

Я схватил здоровенный дрын и бросился спасать кукурузу, но стоило мне отогнать несколько коров к калитке — остальные возвращались назад к посевам.

Я метался между коровами, молотя палкой налево и направо, когда в верхней части села вдруг полыхнуло, будто заря занялась. Сначала я не обратил внимания, но когда осипшее от плача село снова закричало и заголосило, я отбросил палку и кинулся к калитке.

Оказалось, что в верхних выселках оставленные без надзора детишки случайно подпалили дом. Детей спасли, а старый деревянный дом горел всю ночь. И всю ночь над селом полыхал огонь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

СЕЛО СНОВА НАШЕ

Когда похоронили одежду погибшего Коции и его фотокарточки, село притихло.

Синюю сатиновую рубашу и брюки-галифе моего отца перевесили в угол на гвоздь.

— Велик господь, может, не отвернулся он еще от нас! — шептала бабушка.

— Грех оплакивать живого! — сказала мама и прикрыла одежду отца старой залатанной простыней.

В ту ночь каждый отыскал в своем сердце искорку надежды и раздул ее. Ложась спать, люди перекинулись скупыми словами, затем натянули на себя старые одеяла и долго еще ворочались без сна. Но искра разгоралась, и, когда наши женщины уснули, они видели во сне своих сыновей, мужей, отцов, говорили с ними и плакали от радости, упрекали за опоздание и распрашивали, как погиб Коция.

Утром, высунувшись из-под одеял, протерев глаза и увидев солнечный свет, они залатали разодранные на груди платья, пришили к платьям пуговицы не в цвет, пригоршнями холодной воды освежили опухшие от слез

глаза, и теплый день снова закурился над домашними очагами.

Появился Эзика и позвал всех на чайные плантации.

И я, как обычно, запряг быков, крепко стянул проволокой расколотое пополам ярмо, просунул в дышло новые шкворни и вывел арбу со двора. У дома Гочи я остановился и окликнул Гогону, потом поздоровался с Серапионом, который суетился у перелаза, перекинулся двумя словами с Пати, шедшей на сбор чая, и заметил, как она, должно быть, спешила, что вышла из дому, не зашив прореху под мышкой на рукаве.

...На плантацию вышли всем селом. Склонившись над кустами, сборщицы сначала вяло, кое-как срывали по два-три листочка, но припекло солнце, и привычные руки заработали быстрее, стали проворнее тянуться от стебля к стеблю, от листа к листу. К полдню плетеный кузов, до краев наполненный чаем, стоял на моей арбе, и я кратчайшим путем гнал быков на фабрику.

А к вечеру, возвращаясь домой, женщины оживленно разговаривали между собой, горячо рассказывали что-то, без конца поправляли и перебивали друг друга.

— Ну, а потом? Что потом? — спрашивала Эдуки, сдвигая на сторону платок, закрывавший ей уши.

— А потом, милые вы мои, он взял да и приехал к себе домой.

— Так вот и приехал? — подвигается Эдуки поближе к рассказнице.

— Так вот и приехал!

— С ума сойти!

— Это еще что! — вступила в разговор Писти, высокая, сутулая в плечах женщина. — Я вам лучше скажу.

— Что?

— Что еще?

— Не тани, рассказывай! — Женщины обступают высокую Писти и снизу вверх, как молельщицы, смотрят на нее широко открытыми глазами.

— Помните сапожника из Корети, который племянницу Иполите тайком увез?

— Какого Иполите? — нетерпеливо перебивает одна.

— Нашего, какого еще. Да знаешь ты, знаешь. Того самого, который повыше горбатого Беко живет.

— Как же, как же...

— Иполите Карцивадзе, — пояснила одна из женщин.

— Ну и что с ним приключилось, с этим Иполите?

— А вот что. Помните, как его племянницу увез коретский сапожник?

Одни помнили эту историю, другие нет, все это не имело никакого отношения к рассказу, но Писти для большей достоверности рассказала все в подробностях: и о похищении, о том, как сапожника взяли на фронт и как он будто бы погиб — родня его получила извещение. В этом месте Писти задержала дыхание и обвела всех таким многозначительным взглядом, что у женщин захватило дух.

— И вот этот самый сапожник, которого давно оплакали, по которому и поминки справили, в один прекрасный день взял да и явился к своей родной матери.

— С ума сойти! — опять воскликнула Эдуки.

— Кто же этому поверит! — развела руками моя мать.

— Не верь, если не хочешь. Только тот человек и сегодня здравствует и живет себе в Корети, словно и не уезжал никуда.

— Ах, Писти, родная ты моя!

— Что ни слово, то золото!

— Твоими устами да мед пить!

— Вот утешила!..

— Но ведь говорят... — нерешительно начала было Натела Одикадзе.

— Вот и ты, значит, слышала, награди тебя бог! — подхватила Писти слова Нателы как подтверждение своего рассказа. — Правда, поговаривают, будто он...

— Ну, что, что еще?

— Говорят, будто он обзавелся в России другой женой.

— Ой, врут, наверно! — не поверила мама.

— Другой женой, говоришь? А вот еще родственник Татуши нашей... Татуша, ты где прячешься? Кем он тебе приходится? Татуша! — оживленно вмешался в разговор весовщик.

— Да здесь я! — выступила вперед плотная приземистая девушка.

— Ну, так как, правда все это или одни разговоры?

— Правда. — Татуша запнулась и покраснела.

— Подтвердилось, значит?

— Да, мать собиралась съездить к ним.

— Чего же она ждет? Радость такая...

- Да в чем дело, скажите наконец толком!
- У него, понимаешь, точно такая же история.
- У кого?

— Кем же он тебе приходится, этот парень? Запутался я совсем.

— Он, он... — Татуша мялась и озиралась, подыскивая слово. — Он неродной сын моего дяди.

— Пасынок, значит! — подсказал кто-то.

— Ага, — подтвердила Татуша. — Пасынок.

— С фронта, что ли, вернулся?

— Вернулся и привез с собой жену, русскую, да такую красавицу!..

— Надо же!

— Ну и ну!..

— Вот ведь как бывает!

— А она — эта русская, оказывается, знала по-грузински и «гамарджоба» и «генацвале», — с довольной улыбкой вставил весовщик. — Родня мужа души в ней не чает.

— Счастливые...

— Что же наши ребята вестей не подают? — с завистью заметила Эдуки. — Или они хуже других.

— Наши ребята... — робко отозвалась Натела. — Может, кто и убит, только Фома-почтальон...

— Да ну тебя! — тут же оборвали ее. — Разве можно так говорить!

Натела умолкла, виновато отошла и спряталась за спиной подруги.

— Ну, теперь по домам, а то стемнеет скоро. — Эдуки спустила платок на уши. — Сейчас же про этого сапожника несчастной Эке расскажу...

— Да, да, Эдуки, — поддержала ее Писти. — Расскажи. Сердце мне подсказывает, что и наш Коция не совсем погиб.

— Что ты, Писти!

— С ума сойти!

— Я сон видела...

— Детьми тебя заклинаю, Писти, что ты видела?

— Будто бы, ты понимаешь... пошли, дорогой расскажу...

Все двинулись к деревне.

У чайной фабрики я сгрузил корзину с листом и погнал быков к деревне. Покачиваясь на арбе, я слышал иногда отдельные слова из рассказа Писти, восклица-

ния Эдуки, недоверчивые вопросы мамы и подтверждения Татуши, Нателы и других.

Народ возвращался в поверженное неделю назад село и нес с собой новую силу и надежду.

Гогона вскарабкалась на арбу и тихо спросила:

— Как ты думаешь, Гогита, мой папа жив?

— Конечно, жив.

— А твой?

— И мой тоже жив.

Гогона долго молчала, потом снова зашептала у самого моего уха:

— Гогита!

— Да, Гогона.

— Как по-твоему, Гоча теперь дома?

— Дома, где же ему быть...

— И Тухия дома?

— И Тухия дома.

— Гогита, давай соберем подарки для наших. А?

— Но мы не знаем, где они?

— Где ж им быть! На фронте.

— Фронт, Гогона, большой.

— Пусть большой, мы побольше пошлем.

— Куда нам побольше, когда и самим...

— Все равно соберем.

— Собирали уже сколько раз.

— То агитаторы и бригадиры, а то мы сами — я, ты, Гоча, Тухия, все ребята.

— Ладно, Гогона, соберем.

Мы входили в село. Женщины шли впереди, шумные, беспокойные; за ними катилась наша арба. И когда народ, поделившись на группки, растекся по тропинкам, разошелся по домам, я понял, что побежденное неделю назад село восстало из пепла и побороло свое отчаяние.

В тот день победили мы. Село снова было в наших руках.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

ГОГОНА

Побитый на Волге и в предгорьях Кавказа враг отступил, Клементий Цетерадзе повесил на рот замок и стал усердней работать в колхозе.

Время шло. Кровавопролитные бои продолжались, и, как ни прятался Фома-почтальон, нередко в каком-нибудь из домов точно бомба взрывалась — приходила

похоронная на сына, брата, мужа... И будто снова погибали те, кого уже оплакали год или месяц назад, будто снова огнем и мечом проходил враг по нашему селу; снова рвали на себе седины матери, царапали щеки жены и жалостно ревели сироты; и снова село отбрасывало врага назад и восставало из пепла.

Так прожили мы третье лето.

Из своих старых тетрадей я вырвал чистые листы бумаги и сшил тетрадь для брата. Первого сентября мы проводили Зазу в школу.

Сестренке исполнилось два с половиной года, когда она встала на слабенькие ножки. Первые слова, которые она сказала, были: «Господи, господи!», потом «баба» и «мама». Теперь она играла одна и никого к себе не подпускала: укутывала своих тряпичных кукол в пестрые лоскутки, целовала их, баюкала и укладывала спать, кормила лепешками из глины, которые сама месила худенькими пальцами и пекла на круглых камешках.

Не дай бог, если Заза вздумает подойти к ней в это время. Она сердится, кричит, жалуется, что Заза стащил лепешки и ее детям не хватит.

— Ну и жадюга ты, Татия! — листая новую тетрадь, поддразнивал ее брат. — Прямо обжора.

А Татия в ответ:

— А ты сыр таскаешь!

Я не верю своим ушам.

— Что она сказала?

Глаза у Зазы наливаются слезами:

— Что ты сказала? — кричит он. — Да я прибью тебя за это!

— Вор, вор! Ты сыр таскаешь, вор! — упрямо повторяет Татия. Только Заза встает из-за стола, она, взвизгнув, ковыляет к бабушке. Но Заза успевает дать ей подзатыльник.

— Воришка, воришка! — верещит Татия и, не удержавшись на слабеньких ножках, шлепается на пол.

— Изувечил ребенка, изверг! — вступает бабушка. — Изувечил, чтоб тебя разорвало! В кого такие уродились.

— Заза! — вмешиваюсь я.

— Я убью ее! — ревет Заза. — Убью!..

— Заза!

— Уродина безногая!

— Замолчи, тебе говорят!

Я даю ему пинка под зад. Он увертывается, огрызается:

— Теперь ты еще пристал...

— Не трогай маленькую!

— А чего она обзывает!.. — Он не может удержать слез. — Недотрога какая!..

— Не замолчишь? Вот тебе! Вот тебе! — Я колочу его по макушке согнутым пальцем. — Сейчас же замолчи, тебе говорю! Заткнись!

— Ой-о-ой!.. У-у-у!

— Прибью! — распаляясь, ору я и, схватив его за плечо, больно стучаю об стенку.

На шум вбегает мать, ходившая к соседям, и, не разбираясь, набрасывается на меня с проклятиями.

— Чтоб ты околел раньше срока, нет на тебя погребели, разбойник окаянный! Зачем только такого на свет родила! — Взглянув на ревающего Зазу, она еще злее обрушивается на меня.

На крики и шум прибегает соседка, набравшая воды из колодца. Собаки на улице поднимают лай.

Не в силах больше оставаться дома, я ухожу, ухожу, не оглядываясь, в ночь, одинокий, неприкаянный, никому не нужный. Долго брожу я по деревенским проселкам. Мне никуда не хочется идти, я никого не хочу видеть, не любимый никем и противный даже самому себе.

И вдруг мне навстречу попадает Гогона. И Гогона не нужна мне теперь, но она не пускает меня, усаживает рядом с собой на большой камень у калитки, и я начинаю рассказывать ей, что меня никто не любит, и я никого не люблю, и как можно любить моего брата, или сестру, или мою маму, которая только проклиная меня и хочет, чтобы я скорее умер... А папа... Папы, наверное, уже нет в живых, иначе он дал бы знать о себе, прислал бы письмо, пусть даже без обратного адреса.

Гогона слушает внимательно. Гоча никогда не выслушивает меня до конца — оборвет да еще дураком назовет. Гогона слушает, слушает, и ей не странно, что у меня так горько на душе.

Кто-то идет мимо. Но мы сидим так тихо, что прохожий не замечает нас... И я опять рассказываю...

Гогона слушает. Поздно взошедшая луна застает нас все на том же месте; Гогона все слушает. Потом она уговаривает меня пойти домой и лечь спать.

— Куда я пойду? У меня нет дома.
— Хочешь, пойдём к нам.
— Зачем к вам?.. — Я в тоске машу рукой и собираюсь уходить. Но иду я не к дому, а в обратную сторону — к околице.

— Гогита, куда ты? — тянет меня за рукав Гогона. — Лучше посидим еще.

— Чего уж там... Пойду. И ты ступай. Спи...

— Ничего. Еще рано.

— Да у меня дело есть; надо к Тухии зайти.

— Что ты, Гогита! Тухия небось уже третьи сны видит.

Я смотрю на луну, она всползла на макушку дерева. Мы все стоим. Стоим и не уходим.

Где-то кричит петух, на его крик отзывается другой. Гогона не выпускает моей руки.

— Давай я провожу тебя до дому, — тихо говорит она.

— А сама одна вернешься?

— Потом ты меня проводишь.

— А потом?

— Потом я тебя.

— А потом?

— Потом ты...

— А потом? — повторяю я, и мне делается смешно, в самом деле смешно. — Ладно, проводи.

— Я правда тебя провожу... Не веришь?

...И она идет рядом.

Мы идем медленно, очень медленно. До моего дома идти минуты две, не больше, он рядом, мой дом.

...И мы возвращаемся назад. Но до дома Гогоны еще ближе.

— Проводить тебя?

— А потом?

— Потом ты меня проводишь.

Мне опять делается смешно, и я соглашаюсь.

На этот раз мы идем еще медленнее. Но до моего дома совсем близко. До дома Гогоны еще ближе.

— Гогита!

— Да!

— Теперь иди домой!

— Так и быть, пойду... А ты?

— И я пойду.

— Вот и ладно...

- Хочешь, я еще раз провожу тебя?
- Не надо, иди, а завтра опять увидимся.
- Конечно.

Я стою и жду, когда она войдет во двор. Она останавливается у перелаза и спрашивает меня:

- Что ж ты не уходишь?
- Пойду, куда торопиться?..

На этот раз до моего дома гораздо дальше.

Какое-то время я раздумываю, куда идти. Потом влезаю в стог сена и долго-долго не могу уснуть. Я устал, глаза горят, но сон бежит от меня, и я думаю о Гогоне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

НЕНАСТНЫЕ ТУЧИ

С утра мужчины и женщины пошли в поле убирать кукурузную солому. Я предложил сначала сгрести всю срезанную кукурузу и свезти ее на арбе в одно место, но Эзика отсоветовал.

— Увяжем стебли в снопы, будь они неладны. А вечером сразу сложим, наскірдуем разом, никуда они не денутся.

Однако с утра ветер высушил кукурузные стебли, и вязать их было трудно: чуть затянешь связло, они ломаются, крошатся.

Вечером Эзика отдумал скірдовать кукурузу; да и без него было ясно, что пересохшие стебли нельзя утапывать — они искрошатся в пыль. Судя по закату, дождя как будто не предвиделось: солнце было обычного, красновато-желтого цвета, не такое, как перед непогодой, когда оно полыхает алым пламенем, окрашивая весь горизонт в цвет перезревшего кизила.

Но к ночи все переменялось. С запада поползли черные тучи и не было им конца и краю. Кромешная тьма опустилась на землю, не оставалось сомнений — будет дождь, и скоро.

Я вышел во двор, задрал голову, со страхом ожидая первых капель.

— Серапион! Эй, Серапион! — донесся до меня голос Эзика.

— Ну!.. Чего там? — отозвался Серапион.

— Несите фонари, коптилки скорее! Ливень надви-

гается, пропадем совсем. Гоча, беги в поле! Живее, живее... Шевелись!

Я бросился в дом, схватил зажженную коптилку, плеснул керосину в аробную плошку и, пока Эзика доковылял до нашего двора, уже стоял у калитки, готовый бежать в поле.

— Скорее, Гогита, скорее... А где мать?

— Мама?

— Все выходите, все! А ты шуруй сейчас же, ничего не подстилай и кольев не вбивай, прямо на земле скирдуй и утаптывай.

Я понесся по проселку.

— Ивдити! — звал Эзика мою мать. — Эй, Гогита! — кричал он мне вдогонку. — Зайди к Пати, захвати ее с собой, чтоб одна в поле не ходила, дура трусливая.

— Ладно, ладно, — крикнул я, не оборачиваясь, и мигом очутился перед калиткой Гочи.

— Гогона!

— Чего орешь? — отозвался Гоча. Я смутился: может, Гочу задело, что я позвал не его, а Гогону.

— В поле не идешь? — спросил я.

— Иду, иду. Не волнуйся.

В другое время я не заметил бы тона Гочи, схватил бы Гогону за руку и побежал. Но теперь мне почему-то стало неловко. Что подумает Гоча? Что я торчу у калитки, дожидаясь Гогоны? Сбегаю-ка я к Эзике: пока Пати соберется, Гоча с Гогоной меня нагонят. Сразу видно будет — жду, дескать, Пати, а не Гогону.

Я миновал двор Серапиона и вижу: у ворот Эзики огонек мигает.

— Пати, ты? — крикнул я.

— Я.

— Что фонарь горит? Или керосин некуда девать?

— Где уж там!

— Погаси, и так еле чадит.

— Я бы погасила, да темно очень...

— Не бойся, — сказал я и сам прикрутил фитиль в коптилке.

— Пошли? — спросила Пати, когда огонек у нее в руке истаял и погас.

— Го... Гочу подождем, — запнувшись, проговорил я, но в это время холодные капли дождя упали мне за ворот. — Дождь пошел! — вырвалось у меня.

— Идем, чего еще ждать?

— Пошли! — Я сжал в руках аробный светильник и зашагал быстро.

— Гогита! — встревоженно позвала Пати.

— Иди за мной, не бойся.

— Ой, как темно!

— Тут ровно, не споткнешься. Скорее, Пати, скорее!

Она старалась не отставать, но то и дело спотыкалась, а я все торопил:

— Дай копилку! — Я протянул руку. — Без нее быстрее пойдешь.

— Нет, нет, не надо.

Руки у Пати горячие.

Где-то далеко ухал филин.

— Гогита!

— Что, филина не слыхала?

— Слыхала, но... Обожди немного. Не беги так...

Я замедлил шаг. Она догнала, пошла рядом. Накрапывал дождь. Я снова ускорил шаги.

В конце поля, когда мы свернули с аробной дороги к опушке леса и напрямик шли к пашням, филин ухнул так близко, что даже у меня по спине пошли мурашки.

— Гогита, боюсь! — прошептала Пати и остановилась.

— Чего боишься? — Я засмеялся нарочито бодро. — Взрослая женщина, а птичек боишься.

— Я птиц не боюсь, но филин... он как-то так кричит...

Я зацепился за куст ежевики, с трудом удержался на ногах.

— Что с тобой?! — Пати так и обмерла. — Гогита!

— Ничего, в колючки влез.

В чаще сгустившегося леса даже мне, знавшему наизусть каждую пядь, трудно было держаться дороги.

Вот поворот налево. Я свернул и наткнулся на Пати.

— Тут родник сочится, как бы в грязь не угодить. Иди сюда! Осторожнее... Еще... еще шаг. Теперь прыгай!

Пати перепрыгнула и пошла дальше по сухой дороге.

— Там повыше держись, а то слева облепиха разрослась, споткнешься, — предупредил я.

Только и я перепрыгнул через топь у опушки, как вдруг Пати вскрикнула и бросилась назад, ко мне.

— Что с тобой?

— Ой, там страшное что-то!

Я весь обратился в слух.

— Тебе показалось...

И вдруг... у меня язык присох к гортани: из лесу донеслось тяжелое сопение какого-то зверя.

— Оо-ой! — голос у Пати оборвался, она ухватила за меня. Я почувствовал, как колотится ее сердце.

— Э-гей! — гаркнул я самодельным баском.

Никто не отозвался. Снова тяжелый вздох, тишина. Какая-то птичка перелетела с ветки на ветку в поисках ночлега.

— Э-гей!

Опять вздох и пыхтение где-то совсем рядом, у дороги.

— Какой там черт бродит? — закричал я, собрав всю свою отвагу.

Над нами пропищал соенок, послышался треск сучьев.

— Сюда идет? — прошептала Пати и, вся дрожа, крепче прижалась ко мне.

Я шагнул вперед. Я был ее единственной надеждой и должен был защитить.

— Стой! Вот я тебя... Стой, тебе говорят!

Опять затрещали сучья под тяжелыми шагами, что-то запыхтело ужасно. Волосы у меня на голове встали дыбом. И когда раздалось мычание, похожее на рев, я не сразу понял, что это корова. Корова, пасущаяся ночью в лесу.

«Кто спустил скотину, когда солома не убрана?» — возмутился я и вспомнил про Клементия Цетерадзе.

Ветер гнал по небу черные тучи. Накрапывал мелкий дождь.

Мы вышли в поле, зажгли фонарь и плошку и принялись сгребать кукурузные стебли.

В поле замелькали огоньки. Я огляделся: нет ли где Гогоны, но налетел холодный ветер, прижал пламя копилки к фитилю, и фонарь наш подумал, подумал и погас. А дождь полил сильнее.

— Ну, теперь шевелись! — крикнул я и бросился к собранным в кучу кукурузным стеблям. Я втащил один сноп в середину и встал на него.

— Подавай сюда, Пати!

Пати укрепила плошку на торчавшем из земли обрезке стебля, отставила подальше погасший фонарь и стала подавать снопы.

Я принимал их и укладывал в стог, взбираясь все выше и выше.

Ветер сражался с пламенем плошки, трепал и терзал его.

Пати подтаскивала теперь по два снопа. Мы яростно работали под проливным дождем, промокшие до костей от дождя и пота.

Вокруг по всему полю при слабом, пляшущем свете коптилок и нарезанной резины ползали черные тени.

Я взбирался все выше, и подо мной поднимался и рос стог. Середина его вздувалась, точно вспученная, стоять было трудно, того и гляди, соскользнет нога и я полечу вниз.

Дождь лил вовсю. Крупные капли бежали по лицу, стекаясь у подбородка, они уже не были такими холодными.

А ночь все сражалась с пламенем плошки, и новые порывы ветра терзали его.

Солома намокла, отяжелела.

Пати кидает мне сноп, я не успеваю перехватить, и он скатывается пазад. Она снова кидает сноп наверх, на этот раз я кое-как дотягиваюсь, кладу на место и примаинаю ногами.

Еще раз налетает ветер и срывает пламя с нашей плошки.

Я беспомощно оглядываюсь. Ни зги не видать. Не-проглядный мрак и обложной дождь.

Где-то далеко черноту неба распорола молния, глухо заурчал гром. И вдруг сверкнуло совсем близко. Короткая вспышка озарила все кругом. Я зажал руками уши. Женский крик слился с оглушительным треском грома.

— Гогита! — кричала Пати. — Слезай!

Я мигом скатился со стога.

— Что будем делать? — Промокшая насквозь Пати дрожала от холода и страха.

— Ничего, скоро пройдет... — сказал я, хоть видел, что этот дождь не из тех, которые скоро проходят.

— Может, уйдем?

— Куда идти в такой ливень!

Снова сверкнула молния, затрещал и раскатился гром, и столб света поднялся над вершиной горы.

Я бросился к стогу, втиснулся между снопами. Поднапрягся, руками и коленями раздвигая солому. Потом схватил Пати за руку:

— Залезай!

Она молча влезла в стог. Я попытался податься глубже, но от нерассчитанного усилия столкнулся с дрожащей Пати. И так мы и остались, тесно прижатые друг к другу. Я слышал, как Пати стучит зубами. За стогом по полю носился промозглый ветер, и я стискивал зубы, чтобы не дрожать. Двоим в стоге было тесно. Сквозь снопы над нами просочилась вода. Видно, она затекла Пати за спину: Пати вздрогнула и подалась ко мне.

Я хотел заговорить, хотел сказать, что ей, наверное, неловко стоять так, что дождь скоро пройдет, что... Но она была так близко, ее теплое дыхание касалось моего лица, и я не мог выговорить ни слова. А молчать было как-то странно.

Потом я почувствовал тепло с того боку, где стояла Пати.

Мне захотелось оттолкнуть ее и выскочить вон: под ливень, в грязь. Я даже сделал какое-то движение, но снова замер, не смея ни оттолкнуть Пати, ни сильнее прижаться к ее теплой груди. Теперь я боялся даже вздохнуть поглубже. В бедро меня колот острый стебель, но я не решался отвести его. Пати тоже не шелохнулась. От нашего дыхания воздух в стоге потеплел и сгустился, стало душно... Духота и тепло дурманят меня, но я не смею отвернуть голову.

Тепло... я боюсь его, боюсь сквозь нахлынувший дурман, оно не похоже на тепло одеяла, на жар огня. Оно совсем другое... Заза спит со мной в одной постели, но я никогда не чувствовал такого тепла. Опять хочу вырваться, бежать. Мне страшно. Лучше гроза, лучше ветер и дождь... Дрожь пронизывает меня от этого тепла. Так хорошо, так сладко, точно купаешься в сахарной воде или тонешь в теплом-теплом меду и помнишь только одно: у Пати горячая грудь.

Я уже не знаю, что делается за стогом: ветер там или дождь, гремит гром или гроза прошла, и существует ли вообще «снаружи», есть ли мир за этими копнами, вернее, за теплым туманом, поглотившим нас. Не знаю, сколько времени мы здесь: может быть, минуту, может быть, целую ночь.

...И слышу, точно сквозь глубокий сон слышу, меня кто-то зовет.

Зовут меня?

А кто я, разве у меня есть имя?

— Гогита-а-а!

Да, я Гогита.

Значит, меня зовут.

Но кто зовет?

Совсем рядом и очень громко:

— Гогита-а!

Леденящим порывом врывается этот голос в мое сознание, вернее, не в сознание, а в теплый туман, поглотивший меня, и рассеивает его.

— Гогита-а! А-уу!

Туман рассеивается, и я чувствую, что кто-то стоит, прижавшись ко мне, и слышу, как знакомый голос зовет:

— Гогита!

От этого голоса я трезвею, словно облитый холодной водой, и ощущаю, что вокруг кукурузные стебли, а снаружи ветер, и мир, и Гогона, и Эзика с его громким голосом.

— Тьфу, напасть! Куда они провалились, бестолковые!

Теперь я слышу, как прерывисто дышит Пати и как колотится ее сердце.

Эзика совсем рядом, зовет нас, но ни я, ни Пати не смеем подать голос. Я слышу его шаги, он обходит вокруг стога. Потом шаги затихают, он удаляется от нас. Но чем дальше он уходит, тем яснее я слышу его шаги, слышу, как он хлюпает по раскисшей от дождя земле. Знаю, что надо бежать отсюда, но я боюсь шагов, которые удаляются, уходят от нас, а я все слышу их, слышу, хотя они уже не достигают моего слуха... Острая боль в бедре. Провожу рукой по тому месту, куда меня колот стебель; меня толкают в грудь; холод обдаёт плечи и спину.

Какое-то время я один в стоге.

Дождь прошел.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Я НЕ ВИНОВАТ

— Гогона!

Она вздрогнула, взглянула на меня и перешла к обочине.

— Гогона...

Она не отвечала.

— Гогона, я... ведь я...

Она поравнялась со мной, прошла мимо и, не оглядываясь, пошла дальше.

Накануне я до полуночи бродил по всем проулкам, несколько раз проходил мимо двора Гочи, заглядывал туда. Так и не повидал ее. А сегодня с утра ждал, когда она будет возвращаться из школы. И вот Гогона прошла мимо и не сказала мне ни слова.

Я сорвался с места, забежал вперед, загородил ей дорогу.

— Гогона, почему ты молчишь, Гогона!

Она попыталась обойти меня. Я знал, что она еще больше рассердится, но что мне было делать? Я опять загородил ей дорогу.

— В чем дело, Гогона? — Но тут я сам вспомнил позапрошлую ненастную ночь в поле, и у меня сорвался голос.

Гогона стояла передо мной, опустив глаза. Потом скользнула взглядом по моему лицу и, глядя через мое плечо на дорогу, проговорила:

— Дай пройти...

Взгляд у нее был холодный, строгий, а голос мягкий, умоляющий. Я знал, что Гогона должна сердиться на меня, но почему у нее так дрожал голос?

— Дай пройти, Гогита! — повторила она, и в голосе ее была и просьба и упрек.

— Гогона, почему ты так?.. Почему?..

— Не трогай меня, пусти.

И все же она не двинулась с места, ей не хотелось уходить от меня, она не могла уйти, и голосом, в котором не было злости, она только просила:

— Дай пройти, Гогита, пропусти меня.

— Я ведь тогда звал тебя, Гогона...

Она отмахнулась, словно не хотела говорить об этом. И в то же время я чувствовал, что ей хочется, чтобы я оправдался, она ждала этого и не уходила. Я в первый раз увидел Гогону с опущенной головой.

— Я звал тебя, Гогона, и...

— Я знаю, что звал! — перебила она.

Ей не терпелось узнать, почему я оставил ее в тот вечер одну, почему без нее стоговал кукурузу, ту самую, которую мы вместе сеяли, пололи и убирали. Наверное, она хотела узнать и о том, почему я укрылся в стоге

вместе с Пати, почему Эзика не мог найти нас и почему, нагнав его в поле, мы украдкой прошли мимо, будто не узнали, а Пати в страхе бросилась к калитке, вбежала в дом и заперлась в боковушке, пристроенной в свое время для молодых.

Гогона хотела знать почему... Но что я мог ей сказать? Как мог объяснить свою неловкость и смущение там, у ее калитки, когда на мой голос откликнулся Гоча? Или разве я мог сказать Пати: «Подождем Гогону»,— когда дождь уже начался; разве мог не защитить ее, беспомощную, на опушке леса или не укрыть в стогу от грозы и ливня. Ведь тогда Эзика еще ковылял по деревне — собирал людей, и у нее не было защитника, кроме меня...

— А потом?

— Потом?... Не знаю... Ей-богу, не знаю.

— Ты позвал меня,— напомнила Гогона.

— Позвал и... Ну да, позвал.

— Уйди! Лучше уйди от меня! — в сердцах крикнула Гогона и шагнула вперед.

— Гогона! Подожди, Гогона, я все тебе расскажу!

— Не хочу... Я не хочу ничего знать.

— Постой, Гогона!

— Нет... Нет...

— Почему вы не вышли, когда я тебя позвал?

— Не вышли, и все! — не оглядываясь и не замедляя шага, бросила она.

— Но почему, Гогона, почему...

— Потому...

— Ну, все-таки?

— Заняты были, резину резали, керосина не было.

— И потом не догнали нас...

— Не догнали, и все...

— Да вы просто не хотели догонять...

Мы подошли к дому Гогоны.

Я заглянул во двор, не видно ли Гочи, и, забежав вперед, преградил дорогу к калитке.

— Я не пущу тебя, Гогона!

— Пусти.

— Ты знаешь, я бы подождал тебя, конечно, подождал бы, но Гоча...

С минуту она, насупив брови, думала над моими словами.

— Я постеснялся Гочи... Раньше все было по-другому. Ну и... И тогда... тогда я решил подождать тебя за деревней.

Гогона очнулась.

— А потом?

— Потом...

Гогона посмотрела на меня в упор. Я не выдержал ее взгляда. Она вздрогнула, увидела что-то в моих глазах и отступила на шаг, не спуская с меня глаз. Она что-то видела и самой себе не верила, чувствовала, что произошло что-то ужасно-непоправимое, и робко ждала чуда. И когда я уронил голову на грудь, она испуганно вскрикнула:

— Гогита!

Я не поднял головы, не сказал ни слова. Беспомощная, испуганная, она бросилась прочь от меня, хотела убежать, потом вспомнила, что ее дом рядом. Кинулась вперед, протиснулась к перелазу за моей спиной. Она уже перенесла через него ногу, когда я обернулся, охваченный отчаянием. Неужели Гогона не будет больше говорить со мной, не будет ходить в поле и плести мне шапку из зеленых веток — защиту от солнца, неужели не будет, встретив меня ночью на проселочной, утешать, успокаивать и провожать до дому? Неужели я теряю Гогону? Теряю Гогону, когда у меня нет на свете никого, кроме нее...

— Гогона! — крикнул я. Я уже не мог загородить ей дорогу, не мог дотянуться до нее через перелаз. И тогда я схватил ее за ногу и, обеими руками прижав к груди, сказал: — Я не виноват, Гогона, видит бог, не виноват!..

— Пусти! — Она оттолкнула мои руки. — Уходи, или я позову Гочу!

— Нет, Гогона, нет. Я, я... — Я прижался головой к ее колену и заплакал. — Я не виноват, Гогона...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

БЕССОННЫЕ НОЧИ

Оказалось, что в ту проклятую ночь Гогона искала меня под проливным дождем. Искала сначала вдвоем с Гочей, потом в темноте потеряла Гочу и одна обошла

все скирды, прибежала назад в село, звала меня у дома Эзики,— потом опять на кукурузные поля. По дороге встретила Эзику, спросила у него, где Пати, и, узнав что она тоже пропала, опять кинулась в темноту. Поздно ночью, когда Гоча уже спал, она, крадучись пробралась к себе. Весь следующий день не выходила из дому, не пила и не ела. Дома перепугались: решили, что она простудилась в дождь и заболела.

Я тоже не спал всю ночь и весь день и следующую ночь бродил по деревне, искал Гогону — а она в это время лежала ничком на постели, уткнувшись лицом в подушку. Наутро, чуть свет, Гогона пошла в школу, за все пять уроков не сказала и пяти слов; Тухия рассказал мне, что на перемене он зашел в седьмой класс, а Гогона сидит, обхватив голову руками, и, когда он попросил у нее листок бумаги из тетради, даже головы не подняла.

И вот я встретил ее по дороге из школы... Она бросила меня, плачущего, у перелаза и убежала в слезах. На веранду вышел Гоча, я повернулся и пошел. Один, совсем один.

С того дня я все вечера шатался по улицам и проулкам, но ни разу не встретил Гогону. Разве что днем, когда она возвращалась из школы; но она молча проходила мимо, не взглянув на меня. Да и мне нечего было сказать ей. Я смотрел вслед, пока она не скрывалась за поворотом, и шептал:

— Гогона, Гогона, почему вы не пошли со мной сразу, когда я позвал... Я не виноват, Гогона...

А время шло, равнодушное к войне и кровопролитиям, к моим бессонным ночам и к слезам Гогонь. Ему не было дела ни до хромоты Эзики, ни до страхов Пати, ни до черных платков матерей, ни до голода Тухии и его братишек, ни до Фомы-почтальона и Клементия Цетерадзе, ни до несчастной Элпите, совсем почти обезумевшей в ожидании сына.

Когда мы очистили от врага пол-Украины и гнали его по лесам и болотам Белоруссии, по деревне прошел слух, что в окрестных лесах укрываются не то десантники, не то вражеские разведчики.

Одни говорили, что враг не мог забраться так далеко, так что, скорее всего, в лесу укрываются бандиты; другие уверяли, что это сбежавшие из лагеря пленные немцы. Клементий утверждал, что с моря прилетели турец-

кие самолеты и что в нашем лесу парашютистов, как грибов. Говорили разное, но все боялись выходить из дому. У живущего на другом краю села Исидора Керкадзе свели козу со двора и прямо с ветки стащили ночью кукарекающего петуха. У другого закололи полутороговалую нетель, хотя в это время зять его спал на веранде.

Дважды пожаловали и к Эзике, но Эзика заметил их и до самого леса проводил отборным матом.

С тех пор, как началась война, воровство и грабежи участились, но мы никак не могли напасть на след бандитов, а кто не пойман, тот не вор.

Как-то поутру Карпе Капанадзе-заика из верхней части села подсушил у очага две щепотки отсыревшего пороху, потом зарядил ржавый самопал осколками чугуна и по первому снегу подался в горы, в надежде подстрелить какого-нибудь полуслепозого зайца и побаловать мясцом своих ребят.

К полудню он как ошалелый вбежал в контору, ворвался к председателю и, особенно сильно заикаясь от волнения, целый час не мог ничего объяснить.

— Че-че-че-че! — Он тыкал в лицо Бидзине рукой с загнутым большим пальцем. — Че-че-четыре, своими глазами видел. — И испуганно озирался. Из его слов Бидзина все-таки понял, что Карпе видел в лесу четырех человек, вооруженных короткоствольными дисковыми карабинами; у одного из них за спиной висел чемодан; все четверо грелись у костра...

Бидзина не посмел пойти на вооруженных до зубов «леших» с ржавым Капанадзевым самопалом и бросился в район.

К вечеру все мужчины в селе были наготове, ждали милицию; в сумерки лесом подошла милиция, за ней взвод солдат и расположились за селом.

Было время позднего ужина, когда в нашем дворе залаяла собака.

— К нам кто-то... — насторожилась мама.

— Позовет, если к нам.

Собака опять залилась лаем.

Я выглянул за дверь.

— Эй!..

— Поди-ка сюда, Гогита!

Я узнал голос Эзики. Вышел. Он стоял передо мной с ружьем через плечо.

— В чем дело, дядя Эзика? — удивился я.

— Вот куда забрались, сволочи! Оказывается, у нас под боком сидят, в нашем лесу. Только ты дома не проболтайся.

— А что, секрет?

— Секрет. Зачем зря баб пугать? Хотел ружье тайком вынести, да здоровое оно, не спрячешь. Углядела, сукина дочь, обмерла — душа в пятки...

— Кто?

— Да Пати...

— Пати... — повторил я, похолодев.

— Ну, да. Свихнется, трусиха, пока я вернусь. А если выстрел услышит?.. И то сказать: дом на отшибе стоит, возле леса.

— Вам придется стрелять?

— Как знать? Живьем не дадутся, погань этакая.

— Что же делать?

— Пошел бы ты к нам, Гогита. Раза два я их выпроводил; грубо, понимаешь, получилось. Как бы в третий раз не пожаловали. Брать-то у меня нечего, да девка помрет от страха. Хочешь, зайди по пути к Гоче, возьми у него отцовский дробовик. Я тебе порошу отсыплю на один выстрел.

— К вам? — Я невольно отступил на шаг.

— Да, к нам. Я, верно, до утра проплутаю, пропади они пропадом... А ты ступай, только ей ни слова.

Я молчал.

Эзика отвернул полу ватника, засунул руку поглубже в карман, вытащил горсть пороха, перемешанного с дробью, и высыпал мне на ладонь! Потом с трудом повернулся на одной ноге и заковылял к воротам.

Я стоял, держа на протянутой ладони горстку свинца и пороха, пока не услышал голос Зазы:

— Гогита!

Я насыпал заряд в подол рубахи, затянул его узлом и запихал в брюки.

— Не задерживайся долго, не простудись, сынок! — наказывала бабушка, когда я выходил из дому.

— Ты куда так поздно? — сердито спросила мать.

— Дело есть!

— Смотрите какой! И не скажет, что за дело. Язык, что ли, у тебя отсохнет?

— Не могу, мама.

— Ты бы лучше спать лег, а с утра и пойдешь,— посоветовала бабушка.

Небо было безоблачное. Под ногами похрустывал снег. Дорогу тоже подморозило, но ноги слегка вязли в незатвердевшей грязи.

Долго я стоял у калитки Гочи. Наконец нерешительно вошел во двор. Залаяла собака, но я промолчал, чтобы Гогона не услышала меня.

Потом скрипнула дверь.

— Кто?!

— Гоча, выйди-ка сюда!

Собака узнала меня и затихла.

— Сам иди сюда!

В дверях мелькнула Гогона.

— Кто там?

— Кажется, Гогита,— ответил брат.

Она скрылась за дверью.

Гоча вразвалку вышел ко мне на подмороженный снег.

— Ты что не войдешь? Торчишь посреди двора! — недружесливо проговорил он.

— Дело у меня к тебе. — Я посмотрел на дверь. Гогона, наверное, стояла поблизости и слышала нас.

— Ну что...

— Понимаешь, какое дело... — Я опять покосился на дверь.

— Да что ты не разродишься никак?

— Одолжи мне ружье,— выпалил наконец я.

— Какое еще ружье? С ума ты, что ли, сошел?

— Дедушкино ружье.

— Оно же ржавое.

— Все равно какое, одолжи. Эзика меня при-
слал.

— Эзике, что ли, нужно ружье?

— Нет... Но Эзика просил...

— Где мне сейчас его искать? Зашел бы утром.

— Утром я назад принесу.

— Хоть не приноси. На черта оно мне!

Гоча пошел к дому.

— Только не говори Гогоне,— предупредил я.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

РАННИЕ ПЕТУХИ

Кошка с горящими глазами перебежала мне дорогу по снегу и скрылась за кукурузным амбаром.

— Пати.

Из окна падал красноватый отсвет очага. С ружьем за плечами я поднялся на веранду. Постоял, потом стал счищать налипшую на ноги грязь.

Было тихо.

— Пати!

Я услышал, как у очага свалилась чурка.

«Открывать идет», — подумал я. Но дверь оставалась на запоре, и чурку не подняли и не поставили на место.

Я стоял и счищал с ног грязь.

В амбаре истошно мяукала кошка, встрепенулась курица на ветке. Я хотел еще раз позвать Пати, но голос не подчинился мне. Я чувствовал: Пати знает, что я стою за дверью. Она не спала, когда я подошел к дому; сидела на чурке у огня, и чурка упала, когда она встала.

Где-то опять мяукнула кошка и пробежала по канавке вдоль дома. За ней промчался кот с белыми подпалинами. Кошка обежала вокруг дома и вверх по столбу бросилась на чердак.

— Цыц! — пугнул я кота, бежавшего за ней. Кот замер и уставился на меня горящими глазами, чуть шевеля кончиком хвоста.

Я еще раз цыкнул на него и шагнул вперед, радуясь, что нашел себе занятие. Мне не хотелось в дом. Я предпочел бы остаться здесь, на веранде, и караулить с ружьем в руках до возвращения Эзики. Или вернуться домой сейчас же... Но я не мог так поступить. Я любил и уважал этого сурового старика и не мог прекословить ему.

Кот бросился к крайнему столбу, почти беззвучно взлетел вверх и скрылся под крышей.

Я вернулся к дверям.

— Пати!

— Что тебе, Гогита? — сразу же отозвалась она.

— Ничего! Открой дверь!

Наступило молчание.

Она, наверное, не знает, что меня прислал Эзика; он, должно быть, не сказал ей.

— Пати, меня прислал Эзика!

— Отец?

— Да, он сказал, что...

Скрипнул засов, дверь приоткрылась.

Я снял ружье с плеча и шагнул через порог.

Посреди просторного бревенчатого дома на земляном полу тлели угли. Красноватый свет от очага падал на прижавшуюся к дверям Пати. Мне показалось, что она стала как-то меньше ростом.

— Испугалась? — проговорил я и поставил ружье на глиняный пол.

— Испугалась.

— И чего ты все пугаешься?

— Не знаю.

Я снял дождевик, бросил на тахту и подошел к огню.

— Есть наколотые дрова?

— Есть.

— Эзика оставил? — проговорил я, чувствуя, что надо сказать что-то, надо разговаривать свободно, все равно о чем, лишь бы говорить.

Я перешагнул через свалившуюся чурку и присел на корточки перед огнем. Разворошил угли головешкой, погрел руки.

— Март на носу, а холода все держатся.

Пати отошла от двери.

Я потянулся к охапке дров, сваленной у очага, взял несколько тонких поленьев, подложил в огонь и принялся опять греть руки.

— Вот холода так холода!

Пати не отозвалась, она по-прежнему молча стояла поодаль.

— Садись, Пати! — Я подставил ей упавшую чурку.

— Сейчас. — Она потянулась за чуркой, рука у нее дрожала.

— Что, замерзла?

— Да.

Дрова чадили. По головешкам перебегал слабый, синеватый огонек. Я нагнулся и подул; потом вдохнул пыльный, нагретый у очага воздух и еще раз подул. Язычки пламени высунулись между поленьев. Пати натянула платье почти до щиколоток и молча уставилась на огонь. Я тоже старался не смотреть в ее сто-

ропу и внимательно разглядывал ожажную цепь, свисающую с потолка.

На чердаке из конца в конец с шумом пропеслись кошки. Огонь разгорелся, и в комнате стало светлей.

Я обвел глазами комнату.

— Ты дверь забыла запереть! — Я сорвался с места.

— Пусть... — торопливо и как-то робея остановила меня Пати. — Пусть будет открыта...

— Дует в щели, зачем оставлять?

Я плечом прижал дверь и заложил ее щеколдой. Возвращаясь на место, вспомнил про ружье.

— Вот голова, мне же надо ружье зарядить! — сказал я, радуясь, что нашлось какое-то дело для меня.

— Ружье... — прошептала Пати.

— Да, ружье. Ничего страшного, ксьечнс, но лучше зарядить. Порох у меня есть, Эзика дал..

— Тебе отец дал порох?

— Да.

— А куда сам пошел?

— К утру вернется.

— Почему к утру?

— Пока они все леса обойдут, ему ведь трудно ходить.

— Значит, правда, что Карпе рассказал?

— Правда или нет, а проверить надо.

— Не случилось бы с ним чего.

— Что с ним может случиться?.. Карпе говорит, их всего четверо, а что такое четыре человека?

— Говорят, война скоро кончится. Хоть бы вправду кончилась скорей.

— Нашим до границы осталось немного. Партизаны теперь в армию вливаются. Ушанги Чхаидзе письмо прислал, пишет, что партизанил. Вот еще второй фронт открыли бы, нашим полегче было б.

— И где они все? Только об одном Ушанги Чхаидзе и знаем, а больше ни о ком.

— Да, больше ни о ком. Война... Ничего не поде-лаешь...

Я вынул из кармана узелок с порохом и дробью. Отобрал дробь и насыпал в дуло дробовика.

— У тебя не найдется клочка бумаги? Надо порох от дрови отделить.

Пати принесла клочок газеты. Я скатал из него шарик, затолкал в ствол дробовика, засыпал сверху дробью

и все это прикрыл пыжом. На дуло дробовика я надел капсуль и прислонил ружье к стене. Подбавил дров в огонь и, оставшись без дела, невольно встретился взглядом с Пати.

Мы оба молчали.

На ветке дерева за домом закричал петух.

Пати вздрогнула.

Закукарекали на других дворах.

— Петухи кричат,— сказал я.

— Да...

— Должно быть, за полночь перевалило.

— Да, поздно. Поспишь?

— Нет, я не к тому...

— Ложись, если хочешь.

— Да нет, одну ночь я могу и вовсе не поспать.

— Я постелю тебе на тахте.

— Нет. Уж лучше ложись сама, а я устроюсь на чурках у огня, только потом, попозже...

— Почему?..

— Ничего, не замерзну, не беспокойся. Мне часто приходится спать на арбе, привык...

— Ты ничего не боишься! — сказала Пати. Наверное, она вспомнила ту ночь в поле.

— А чего бояться, ничего страшного нет. По-моему, никто не должен бояться. Разве Амиран боялся? — спросил я и сам удивился своему вопросу.

— Кто? — смутилась Пати.

— Амиран.

— Не знаю,— качнула головой Пати.

— Да нет, я просто так спросил. — И, чтобы рассеять неловкость, стал рассказывать: — Мне приходилось всю ночь напролет искать быков в лесу. И я совсем не боялся. А с мельницы сколько раз возвращался один в безлунную ночь!..

— Мужчины ничего не боятся!

— Не только мужчины. Вот Гогона девочка, а тоже не боится.

— Гогона...

— Хотя всю деревню ночью обойдет, если понадобится.

— Гогона хорошая девочка, — сказала Пати и посмотрела мне в глаза.

У меня покраснели уши.

Снова захлопал крыльями петух и протяжно закричал. За ним по очереди прокричали петухи во всех дворах.

— Вторые петухи,— сказал я, глядя на Пати.— Ложись, отдохни, тебе спать хочется.

— Нет, я постелю тебе...

— Да мне ничего не надо, укурюсь дождевиком, и все.

— Ну почему, отцовским одеялом укуроешься.

— Все равно до утра недолго. Только и успеешь глаза закрыть...

Она пошла к тахте, стоявшей у стены. Разложила тюфяк и одеяло. Потом вышла в холодную боковушку, пристроенную к срубам, и принесла оттуда мутаку¹ и простыню.

— Не надо, Пати, я без простыни лягу.

Я поворошил тлеющие головешки и в свете разгоревшегося очага пошел к разостланной постели.

— Ты сама ложись.

— Я потом.

— Почему потом? Ты иди, я закрою двери на запор.

— Нет, я боюсь ложиться в той комнате.

— Тогда...— Я посмотрел кругом. Кроме тахты, в комнате ничего не было. — Тогда постели себе здесь же, на другом конце.

Опять один за другим прокричали петухи.

Я с головой укрылся одеялом и замер. Пати бесшумно постелила себе в конце тахты и легла так тихо, что тахта даже не скрипнула.

«Постараюсь заснуть,— подумал я и закрыл глаза.— Спать, спать. Утром столько дел...»

Пати не спит.

«Ну и пусть не спит, раз не хочет... Утром нужно сходить к Гиге, узнать, когда у него будет время для меня... Тысяча дел у этого Гиги. Ничего не поделиаешь...»

Пати учащенно дышит. Не спится ей что-то.

«Может быть, Гоча? Да нет, не Гоча, Гига мне делает обод для колеса; Гига сумеет. Надо утром пораньше сходить к нему...»

А Пати... в ту ночь...

Скоро ли рассвет? Хоть бы поскорее...»

¹ Мутака — валик для тахты.

В третий раз закричали петухи, еще протяжнее, чем прежде, еще громче.

«А Пати и петухов боится. По мне, пусть себе кричат, даже лучше, все не так тихо...»

Завтра Гиге... Не Гиге, а Гогоне... Нет, Гиге. А Пати в ту ночь...

Почему она не засыпает, чего ждет? Если б она уснула, я тоже сразу бы уснул.

Завтра после школы я встречу Гогону. Буду ждать ее, ждать хоть до вечера.

Завтра я увидаю Гогону...

Может быть, Пати боится кошек?.. Тот пестрый кот не отстает никак... Не Клементия ли это кот? А серая — Эзикина кошка. Да нет, не Эзикина, а Патина. Эзика терпеть не может ни собак, ни кошек.

Любит ли кошек Гогона? Вот не знаю... Любит, наверное, она ведь такая...

Пати боится кошачьего мяуканья, а у этого кота такой противный голос...»

Опять завозились на чердаке кошки, взвыли, зафыркали и с гулким стуком спрыгнули на пол.

— Боюсь! — прошептала Пати.

Я приподнял голову: в красном свете тлеющего очага пестрый кот медленно подбирался к кошке, как кнутом, помахивая хвостом.

— Страшно... — прошептала Пати. — Я боюсь... — и приподняла голову с подушки.

Пестрый кот прыгнул через чурку. Кошка взвизгнула. Чурка с грохотом упала. Разлетелись искры.

— Гогита! — крикнула Пати. — Гогита, мне страшно!

Я поднялся на постели.

Серая кошка вырвалась опять, метнулась к столбу на чердак. Пестрый духом бросился за ней.

— Мне страшно, иди ко мне, Гогита!

— Что с тобой, Пати? — спросил я, не двигаясь с места.

На чердаке опять истошно взвыли кошки; что-то загремело.

— Ой, страшно! — вскрикнула Пати и бросилась ко мне. — Боюсь, Гогита, боюсь... — всхлипывая, зашептала она и прильнула ко мне. — Боюсь... Три года одна в этой боковушке и боюсь, боюсь... Ночи напролет глаз не сомкну, страшно. Эзика мою мать на порог не пуска-

ст, некому сказать, никто не знает... только ты... ты один знаешь, какая я трусиха...

Пати в страхе прижимается ко мне и шепчет горячими губами у самого моего уха:

— Боюсь, Гогита, боюсь... боюсь... боюсь...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Я И ТУХИЯ

Заря еще не занималась, когда, зажав под мышкой отцовский дождевик, я бежал по тропинкам за деревней и у меня дрожали колени. Темнело в глазах, гудела голова, а я бежал, бежал, не зная куда...

— Гогона!

Я вздрогнул, напуганный звуком собственного голоса, остановился, попятился, точно Гогона могла увидеть меня. Гогона... Как я посмотрю ей в глаза... Вот здесь, возле этой калитки, у этого перелаза мы с Гогоной...

Я пятился назад. Еще, еще... Мне вдруг показалось, что Гогона все знает! Она видела, видела, как я брал у них ружье, видела, как я сидел у очага напротив Пати, как мяукали кошки и кричали петухи, как испуганная Пати бросилась ко мне и до рассвета прижималась, обнимала, обжигала своим горячим дыханием и губами.

— Гогона знает, знает! — вырвалось у меня, и я повернул обратно. — Знает, узнала... Помогите! — Я побежал обратно, через поле в лес, не разбирая дороги. В лесу я упал лицом в колючие кусты ежевики, накрылся дождевиком и заплакал.

— Гогона... моя Гогона...

С того дня я стал совсем одинок. Я избегал встречи с Гогоной и ни разу не подходил к ее дому. Я не ходил по тем дорогам, по которым могла пройти Гогона. Я не смел встретиться с ней. Я избегал Гочи, встреча с Эзикой пугала меня, как смерть. Я не мог слышать имени Пати даже из чужих уст.

С того дня что-то болело и ныло у меня в груди, но мне не с кем было поделиться; мне было страшно, но признаться я не мог.

Трудно, когда хочется есть и никто не накормит тебя, холодно — и никто не пригреет тебя, надежда покинула — и некому тебя утешить.

Еще труднее, когда знаешь, что тут же рядом, со-

всем близко от тебя живет человек, который так хорошо понимал тебя; преданный до конца, сидел с тобой на холодном камне, до утра слушал твои жалобы на судьбу, крепко держал в своих руках твою руку...

Ох, как это трудно...

Что было дальше, я почти ничего не помню. Выловили ли на самом деле в ту ночь вражеских разведчиков или разбойников? Чем я занимался остаток дня? Помню только, как молчаливо гнал своих быков, чтобы никто не видел и не слышал меня, работал там, где не было поблизости никого, возвращался домой поздно, задворками. И к быкам я стал относиться равнодушно. Ни разу не приласкал сестренку Татию, не учил Зазу уму-разуму. С мамой почти не разговаривал, даже единственное папино письмо бабушке перечитывал Заза.

Я бродил по деревне, избегая людей, чтобы никто не заглянул мне в глаза.

Неделями не заговаривал я ни с кем и только поздно вечером украдкой выходил на проселок, подходил ко двору Тухии и тихо окликал его. Обычно он уже спал в это время, но я, выждав немного, опять звал. Я боялся разбудить его мать, но она всегда просыпалась. Потом просыпался и Тухия и, натянув на себя рваные обноски, на цыпочках выходил во двор.

— Гогита, ты? — спрашивал он, протирая глаза.

— Я, Тухия, я...

Мы садились у канавки, за домом, я протягивал ему кусок мчади.

— Ребят покорми, Тухия.

— А ты сам?

— Малышей жалко, а мы как-нибудь проживем. Мы ведь давно уже не маленькие.

— Хорошо! Я сейчас. — Он шел к дому, но скоро возвращался. — Спят они, утром дам.

Потом мы долго сидели молча. Иногда он спрашивал, нет ли вестей от отца.

— Нет! — говорил я. — А от твоего?

— Нет. Совсем ничего нет!

И мы опять надолго умолкали.

В тот раз Тухию, как всегда, одолевал сон, его большая голова клонилась на грудь, но, встрепенувшись, он вдруг заговаривал, скорее для того, чтобы разогнать сон:

— Теперь война скоро кончится!

— Разве она когда-нибудь кончится?
— Наши давно перешли границу.
— Да, перешли.
— Что-то долго она тянется. Доски с убежища все равно уже не годятся для дома.

— Сгнили?
— Сгнили. Ну и пускай. Главное, скорее бы кончилась война...

Мы опять помолчали. Поздно. Я чувствую, что пора уходить, и боюсь одиночества.

— Я хочу кое-что рассказать тебе, Тухия.

— Говори...

— Вот что...

— Говори, Гогита, говори,— подбадривает он, наклоняясь ко мне.

— Тухия, правда, Гогона хорошая девушка?

— Очень хорошая.

Я не знаю, что сказать дальше, и молчу. Продолжает он.

— Но почему она сердится на тебя?.. Или ты на нее?

— Да, я... Нет, это она сердится...

— Почему? Ты чем-нибудь ее обидел?

— Обидел, Тухия, очень обидел...

— Что ты такое мог сделать?

— Эх, Тухия...

— Не знаю. Наверное, ты виноват, раз сам говоришь, но она сердится не только на тебя. По-моему, и на меня, и на всех на свете, даже на брата. Ходит все время заплаканная...

— Да, может быть, она и на тебя сердится, и на брата...

— Но при чем тут я?

— Ты ни при чем, конечно. Это я ее обидел...

— Да, наверное, горько ей пришлось...

Больше он не спрашивает ни о чем, понимая, что я ничего не скажу.

— Хорошая она девушка, и не нужно было ее обижать,— качает он своей большой головой.

— Это верно,— говорю я, проглатывая комок в горле. — Только я не виноват, Тухия.

— Не виноват?

— Нет.

— А кто же?

— Ну я же говорю тебе, не я. — Слезы подступают

к глазам. — Поверь мне, Тухия, хоть ты один поверь. Я не виноват...

— Если так...

— Конечно, так!

— Кто же тогда?

— Не знаю.

— Не знаешь?

— Кто виноват? Может быть, Гогона, может, Гоча, может, Эзика, Пати... Помнишь, как ты размоzzил голову своей Толии? Разве ты был виноват в этом?

— Не знаю,— говорит Тухия со слезами в голосе.

— Вот видишь, не знаешь. Ты не виноват. А может быть, Толия сама виновата, или я слишком близко поставил арбу под явором, или кто-нибудь другой... Ты-то ведь не виноват.

— Не виноват,— говорит Тухия.

— Вот и я не виноват. Может, ты знаешь, кто виноват?

— Не знаю...

— И я не знаю...

— Откуда тебе знать...

А ночь проходит. Где-то кричат петухи. Я вздрагиваю, пугаюсь.

— Что с тобой? — спрашивает Тухия. — Померещилось что-нибудь.

— Нет, ничего...

— Ты раньше не боялся, даже ночью...

— Не боялся, а теперь боюсь, всего боюсь...

— Как же ты пойдешь один?

— Пойду: ничего, все равно пойду.

Я встаю. Ноги затекли от долгого сидения.

— Значит, пошел?

— Пошел...

— Ну, ладно, завтра приходи, если хочешь... Я долго не усну.

— Приду, может быть.

— До свидания!

— До свидания!

— Постой, хочешь, я провожу тебя немного?

— Не надо, зачем. Иди спать.

— Куда ты в эту сторону?

— Отсюда обойду,— говорю я и иду к огородам.

Он долго смотрит мне вслед. Потом осторожно, чтоб не разбудить спящих братьев и сестер, открывает дверь

и скрывается в доме. Кругом тишина. Наверное, он лег. Ему долго не даст уснуть кусок кукурузной лепешки под подушкой. Но потом он все-таки уснет.

Я иду, ссутулясь, вдоль изгородей и, если где-нибудь мяукнет кошка или прокричит петух, вздрагиваю, останавливаюсь, растерянный, оглядываюсь назад и шепчу:

— Эх, Тухия, Тухия, мне бы быть на твоём месте, Тухия!..

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

ЭЗИКА

Время идет медленно, но идет. Прошло четвертое лето войны, в четвертый раз деревья сбросили листья, настала четвертая осень. Но вот и осень прошла. Небо набухло горем и злобой. И зарядили долгие, холодные дожди.

Наша армия двигалась вперед. В душе у меня росла надежда, что проклятия деда Тевдоре наконец-то обрушатся на тех, кто убил наше детство; я радовался тому, что, может быть, скоро вернется отец Гогоны. Я сам не посмел бы встретить его, поздравить его семью с таким счастьем, но про себя поздравил бы. Я не сумел оправдать надежд того далекого дня, когда они с моим отцом с тревогой смотрели на нас — на Гогону, на меня и на Гочу. Я старался, видит бог, старался, как мог, оправдать эти надежды, но не сумел. Зато Гоча и Гогона оправдали. Как было бы хорошо, если б их отец вернулся.

А бедняга Капито, отец Тухин! Часть его досок сгнила над убежищем, часть забрал Клементий Цетерадзе за горсть кукурузы. Как было бы хорошо, если бы и дядя Капито вернулся домой!

Недавно Тухия рассказывал мне, что встретил Клементия Цетерадзе и тот бил себя в грудь и говорил, что вот скоро кончится война и, наверное, найдутся люди, которые скажут про него, про Клементия Цетерадзе, что он жил-де не так, как надо. Обязательно кто-нибудь да будет так говорить...

Тухия молча кивал головой.

— И ведь скажут,— с горечью бил себя в грудь Клементий Цетерадзе,— и ты, наверное, скажешь, но неплохо так, нет... — А потом, оказывается, он позвал свое-

го приемыша, обнял обоих за плечи, обошел с ними дом и подвел к сложенным у черного хода доскам:

— Хоть ты, сынок, заступись за старика. Что я, для себя, что ли, взял эти доски? Война у нас была, враг на пороге стоял, бог знает, кому могли они достаться. Твой отец с таким трудом их собирал... Я и сберег для вас, забирайте, когда хотите, хоть сегодня же.

— А как кукуруза? Как мы вернем зерно? — не то с радостью, не то с отчаянием вскричал Тухия.

— Если вернется твой отец... А нет, так мы с тобой сочтемся...

Ах, если б вернулись с войны все, вернулся бы и мой отец. Он так нужен Зазе и Татии.

Но вот Амиран...

Амиран...

Идет дождь, свистит ветер в щелях.

Амиран... Амиран...

Скоро наступит зима. Вот-вот выпадет снег. Воеет ветер в голых деревьях. На дворе стужа. Холод. Лютый холод. Меня знобит, как от дурного предчувствия. «Что еще может случиться со мной?» — удивляюсь я.

«Придет извещение о гибели отца? Трудно будет примириться, но ничего неожиданного в этом нет».

Я был погружен в горькие раздумья — без конца и без начала, — когда где-то грянул выстрел и сразу за выстрелом вскрикнула женщина.

Грянул выстрел, и я вскочил, словно этот выстрел попал в меня. Вскочил и почти без памяти выбежал во двор.

— Что случилось?

— Где стреляли?

Все высыпали на улицу.

— Откуда?

— Кто стрелял?

— В чем дело?

— Эу-у-у-у, — неся рев из дома Эзики. Будто и не Эзика кричал. Это было — и не было похоже на рев задранного волком быка. Нет, ревел какой-то неведомый страшный зверь: — Ээ-у-у-у!

— Эзика!

— Амирана убили!

— Ах, несчастный!

— Бедняга Эзика!

Дикий, нечеловеческий рев метался над селом.

«Эзика,— пронзила меня мысль.— Убили Амираана...»

Ветер донес вопль женщины. Но этот вопль совсем не походил на тот, первый,— крик обреченного.

Теряя силы, я прижался к плетню на проселочной дороге. Народ — плачущий, ревуший, причитающий — бежал мимо. Пробежал Фома-почтальон, заметил меня, остановился.

— Ничего не знаю, ничего не пойму, кто... откуда...

Я бессмысленно покачал головой. Со двора Эзика неся все тот же звериный рев. В глазах у меня потемнело.

«И Фома не знает».

Очнувшись, я увидел возле себя Тухию с братьями и сестрами.

— Что? — спросил я. — Что там?..

— Эу-у-у! — ревел кто-то во дворе Эзики.

— Пати! Пати!

— Пати! Пати!.. несчастная! — сливаясь с ревом, донеслись голоса.

— Пати!

— Пати!

— Пати! — закричал и я, вскочил и бросился к дому Эзики, протиснулся через толпу во дворе. Человек десять едва сдерживали обезумевшего Эзика. Я вбежал на веранду, протолкался сквозь набитую людьми комнату прямо к боковушке, откуда неслись отчаянные крики и причитания, прорвался и...

На полу у кровати в дальнем углу комнаты плавала в крови Пати, а на постели истошно кричал новорожденный. У порога боковушки валялся дробовик Гочи, старательно заряженный мною в тот вечер. Ни я, ни Гоча, ни Эзика до сегодняшнего дня ни разу не вспомнили о нем...

ЭПИЛОГ

Кончилось все.

Все кончилось.

Кончилась война, начавшаяся для меня четыре года назад с игры в чижа,— конец войны я встретил хмурым юношей. За эти годы я видел все. Видел море слез и горя, познал большую любовь и измену, стал отцом и...



Чтобы сделать добро, нужно время. У меня времени не хватило, и я невольно совершил зло.

Я невольно изменил первой чистой любви. Я стал отцом единственного ребенка, родившегося за четыре года войны в нашем селе...

Мне только семнадцать лет, но великая тяжесть лежит на моих еще не окрепших плечах.

И все же я говорю: не моя в этом вина.

Я не виноват!

Девятого мая я не усидел дома, вышел на улицу.

— Сегодня девятое мая... — сказал я, проходя мимо дома Гогоны.

Эх, Гогона, моя Гогона!..

Я брел мимо дома Пати, голова кружилась, звенело в ушах.

Крики мальчишек вывели меня из забытья. На поляне собрались четверо, один из них был Чичия — брат Тухии, другой — мой брат Заза.

— Становись на черту!

— Отойди подальше, назад.

— Мазила!

— Бросай, чего рот разинул!

Пятачок, с которого начиналась игра, затянуло травой.

Мальчишки вырыли на нем маленькую лунку. Зеленая трава и желтые лютики были истоптаны ногами. Ребята с криками носились за чижом.

— А ну, давай!

— Давай, давай.

— Догоняй!

Откуда-то появилась женщина в длинном черном платье. Она подошла к ребятам и, заглядывая каждому в глаза, спросила:

— Не видели моего Амбако?

— Амбако? — удивились мальчишки.

— Да, моего Амбако. Он обещал скоро вернуться...

— Вернется, бабушка, вернется! — отмахнулись мальчишки и, гомоня, погнались за чижом.



ЖИЛА-БЫЛА ЖЕНЩИНА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мака была счастлива.

Вот уже четыре года она замужем и ни разу за все это время не думала о человеке, который любил ее когда-то. Муж был ее единственной любовью со дня знакомства с ним и по сегодняшний день. Мака не знала, что такое обманутые надежды, душевные терзания, беспомощное самоутешение. Правда, наедине с собой она признавалась, что, кроме как о первых днях супружества, у нее и воспоминаний-то никаких не осталось, но все-таки Мака была счастлива.

В годовщину свадьбы она родила мальчика, о котором так мечтал муж — Гено. Он работал тогда учителем в деревне, и последний курс института Мака прошла заочно. Через год Гено перевели в редакцию районной газеты. Дом и хозяйство он оставил младшему брату, а сам получил участок на окраине районного городка, — начали строиться. Дом и сейчас еще стоит недостроенный — не оштукатуренный, не отделанный, с деревянной лестницей-временкой, без желобов и труб для стока дождевой воды... Одним словом, дел было предостаточно.

С тех пор как Гено опубликовал несколько статей в республиканских газетах, у него появились почитатели,

и авторитет его в районе вырос. Он часто сзидил в командировки. Работа над статьями отнимала все больше времени. Маке приходилось одной заниматься семьей и сыном, работой и хозяйством. Но она не чувствовала ни одиночества, ни скуки, особенно с тех пор, как свекровь и жена деверя повздорили и расплевались и Гено забрал мать к себе. Хозяйственная, работающая свекровь прекрасно понимала, что в создании этого дома, этой семьи и уюта нет ее доли, двери же ей открыли широко и приняли с радостью, и в благодарность она безропотно признала превосходство молодой невестки, тем самым определяя характер отношений между ними — дружественный и ровный. А это, в свою очередь, принесло Маке славу «доброй и умной женщины», охотно распространяемую мужниной родней.

Дел стало наполовину меньше. За ребенком смотрела свекровь. Она же готовила и убирала, причем делала это так споро и умело, что было бы грешно упрекнуть ее в чем-либо.

У Маки появилась возможность подумать о себе, о своей работе, больше читать, чаще ездить к родным, встречаться с подругами, да и просто отдыхать.

Гено не любил вина, но иногда опаздывал с работы и приходил навеселе. По утрам он спешил в редакцию, возвращаясь, приносил с собой стопки книг и читал, читал, не поднимая головы. Раз в неделю, а то и в две недели, они вместе ходили в кино...

И все-таки Мака была довольна. У нее была семья, муж и сын, отец и мать. И хотя ее отец, сломленный войной человек, все время хворал и сейчас опять болел, она не могла пожаловаться на судьбу. Единственной большой утратой, которую Мака испытала в жизни, была смерть бабушки...

В последнее время Гено собирал материал для очерка, который предполагал опубликовать отдельной брошюрой. В связи с этим работу по отделке дома он отложил на лето, а сам зачастил в соседний район на строительство электростанции.

Маку задевало то, что Гено ни разу не взял ее с собой на стройку и не прочитал ни строчки из тех черновых записей, которыми были полны его блокноты и книжки, но она знала немногословность мужа, особенно в том, что касалось его планов, и даже любила в нем эту черту.

Когда болезнь отца обострилась и Маку срочно вызвали телеграммой, Гено с вокзала позвонил в редакцию и объяснил причину своего отсутствия.

...Вскоре после полудня поезд остановился на станции Ианиси.

Мака не была уверена, что брат встретит ее. Мака вообще мало знала брата. Когда она уехала и поступила в институт, Бичико был еще несмышлеником. Разумеется, она каждое лето приезжала к родителям на каникулы, но брат, по обыкновению всех мальчишек, возвращался домой поздно ночью, незаметно влезал через окно, а утром опять пропадал на весь день.

Бичико с грехом пополам окончил школу, затем два года пробыл в Тбилиси, якобы в институте, теперь же уверял всех, что перенес документы на заочный, но, правда это или нет, Мака не знала. В самое последнее время он устроился кем-то на винный завод. «Твой школьный товарищ помог ему», — писал Маке отец. Кто из ее однокашников стал виноделом и теперь оказал ей дружескую услугу, об этом отец не писал. А сама она, уехав из родных мест, все дальше отходила от старых друзей, давно не встречалась ни с кем из них, кроме Нуцы, и теперь не могла даже представить себе, кто пекся о ее брате.

В Ианиси ей, пожалуй, не было знакомо ничего, кроме вокзала. Но его старое здание напоминало, сколько раз и куда уводила ее от отчего дома дорога: этой дорогой уехала она в город учиться, эта дорога привела ее к Гено, по этой дороге приехала она, тяжелая, берменная, к отцу-матери, и по ней же поехал в свой дом новорожденный Гоча. Память сближала, роднила ее со всем, что было вокруг, она улыбалась, словно каждый встречный был знаком ей, чувствуя особое, теплое и родственное расположение ко всем.

Но только она ступила на перрон, грубоватое приветствие брата: — Мака, дорогуша! Гено, привет! — и поцелуй, разящий вином, испортили ей настроение. Она испытующе заглянула в глаза Бичико.

— Погоди, дай зятяка обнять! — отмахнулся тот, протягивая Гено обе руки, но Мака повернула его к себе.

— Бичи, посмотри на меня!

— С превеликим удовольствием! Лучшего зрелища тут все равно не найти.

— Почему ты меня встречаешь?
— Сразу видно, что она не избалована твоим вниманием,— улыбнулся Гено.
— Встречаю родную сестру и зятя. Что тут плохого?!
— Как отец, Бичи?
— Точно так, как тебе писали. Ни хуже, ни лучше.
— Операцию сделали?
— Нет. Без тебя не соглашается.
— Скажи мне правду!
— Вот еще! — возмутился Бичико.— Поклясться мне, что ли?

— В самом деле, Мака,— вступился Гено.— Что ты пристала к человеку?

Они вышли на привокзальную площадь.

— Транспорт ждет! — торжественно объявил Бичико и повел зятя к машине, стоящей в тени акации.

Мака замедлила шаг.

— Не встречал — обижалась,— Бичико, ища понижения, обернулся к Гено,— встретил — опять обижается...

Мака не хотела больше ни о чем спрашивать брата, но все-таки не удержалась:

— Отец дома лежит или в больнице?

— Дома. Без тебя никуда ни шагу. Нам с мамашей ноль внимания.

Бичико распахнул дверцу светло-коричневой «Победы» и отступил на шаг.

— Чья машина? — спросила Мака.

— Сейчас моя...

— Бичи, не валяй дурака!

— Гено, скажи, пожалуйста, разве я валяю дурака? Приглашаю в лимузин единственную горячо любимую сестру, хочу с почестями доставить в родительское гнездо, к мамаше и папаше...

— Без шофера, что ли, машина? — спросил Гено.

— Я и шофер, и хозяин. И жнец, и швец, и на дуде игрец...

— Бичи, ты выпивши садишься за руль?

— Ну-у, теперь нотации!..

— Скажи хоть, в чью машину нас приглашаешь?

— Что говорить? Всею свое время... Садитесь, садитесь, чудак! В первый раз вижу таких пассажиров! — Бичи с веселым возмущением взмахнул руками и сел за руль. — Хозяин тут рядом.

Мотор заработал. Машина дернулась, отъехала на несколько шагов и остановилась.

— Пусть едет, Гено! — сказала Мака. — Оставь...

— Теперь поздно его воспитывать, — возразил Гено. — Садись.

Только Мака протиснулась к двери, как ей почему-то ужасно захотелось выбраться назад, остаться. — но было поздно: машина сорвалась с места, Мака неловко, как-то боком упала на сиденье и отвернулась от брата.

За окном побежали молодые, неокрепшие платаны, низкие дома и заборы — дощатые, каменные, а то и железные, замелькали редкие пешеходы на тротуарах...

Маку огорчало то, что она любит Бичико не так, как хотела бы любить. Там, у себя, на расстоянии она этого не чувствовала и, соскучившись по брату, уверяла себя, что все простит ему и, когда они встретятся, будет с ним нежна и ласкова, не станет расспрашивать о делах и учебе — все равно Бичико ничего вразумительного не ответит. Мака даже пыталась оправдать его: ничего, мол, бывают и хуже, он тоже остепенится, найдет свое место в жизни. Но при встрече Бичико каждый раз откалывал что-нибудь такое, что его присутствие начинало раздражать Маку, особенно если рядом находился Гено.

Гено в отношениях с шурином был сдержан и слегка проницателен. Своей сдержанностью он как бы выражал сочувствие Маке, что тоже ей не нравилось, ибо — так ей казалось — принижало ее в глазах мужа. Она забывала, что Бичико непослушен и своенравен не только с ней, но и со всеми на свете, и от сестры, как и от всех остальных, он ждет уступок, а не понуканий.

Гено не понимал своего шурина, да и не стремился понять. Выходки Бичико не трогали его, и всем своим видом он как бы говорил — мне нет до них дела. Его незлая ирония в адрес Бичико не достигала цели, зато чувствительно ранила Маку.

Машина остановилась. Мака оглянулась. Что случилось?! Они еще даже не выехали из городка. Бичико почему-то пересел вправо. К машине кто-то подошел. Мака увидела белоснежную рубашку и небесного цвета галстук под синим пиджаком. Она отвернулась и, глядя в противоположную сторону, подумала: небось и этот вроде моего брата — без царя в голове...

Мужчина в синем костюме неспешно уселся за руль, поздоровался. Маке почему-то показалось, что, говоря «здравствуйте», он изменил голос. «Наверное, мой брат с такой же деланной вежливостью здоровается с посторонними», — подумала она и не ответила на приветствие.

Бичико, не глядя, ткнул через плечо большим пальцем:

— Мака и мой зять!

Машина мягко взяла с места.

«А братец даже машину водить не умеет! Из него и шофера-то приличного не получится. Бедные мои старики! Каково с ним больному отцу?..»

Они выбрались из городка, переехали через дощатый мост и покатали дальше, мимо белых гусей в овраге, извиляющемся перед тенистыми дворами. «Пока есть этот овраг, тут всегда будут гуси...»

Все молчали. Маке опять показалось, что брат что-то скрывает от нее. Она выпрямилась и, глядя на Бичико, попробовала представить себе, о чем он думает в эту минуту.

Бичико, выставив руку в окно, барабанил пальцами по дверной раме. В другой руке он держал папиросу и курил, жадно и слышно затягиваясь. Переведя взгляд на сидящего рядом с братом, Мака вдруг напоролась в зеркальце над ветровым стеклом на слегка прищуренный, внимательный и зоркий глаз, смотрящий на нее. Она поспешно отвернулась. Ей показалось, что мужчина за рулем одним глазом все время смотрел на дорогу, в то время как другого не отрывал от нее.

«Косой он, что ли?» Ей захотелось проверить это, но она сдержалась. Таящийся в засаде глаз смотрел настойчиво, настойчиво и упрямо.

«Наверное, Гено не видит этого, иначе он бы не посмел... Господи, в чьей мы машине?» Она выглянула в окно. В овраге, у ручья, вытянув к дороге длинную шею, стоял большой гусак...

«Ехал бы уж побыстрее! — с досадой подумала Мака. — Да куда ему — глаза в разные стороны глядят...»

— Гено! — Она осторожно обернулась к мужу. — Ты сегодня же должен вернуться? — Гено не любил задерживаться у ее родных.

— Там видно будет! — не глядя на нее, ответил Гено.

— Да... смотря... как отец.

— Сейчас не время говорить о возвращении, мы еще не приехали.

— И то верно,— вздохнула Мака, по молчание брата и сидящего за рулем мужчины,— когда ни тот, ни другой явно не были созданы для молчания, покоя и тишины,— опять заставило ее заговорить.— Знаешь, почему я спросила?

Гено покачал головой.

— Боюсь, как бы Гоча не раскапризничался.

— Посмотрим... — повторил Гено, тем самым давая понять, что незачем при посторонних говорить о подобных чувствах. Но Мака и сама сознавала это. Больше того: она заговорила о доме и о сыне именно потому, что сейчас было не время и не место, и она хотела, чтобы Гено понял ее, и Гено понял, но, не пожелав ронять своего «мужского достоинства», оставил жену наедине с подозрительным молчанием ветреного брата и мужчины, упрямо и нагло глядящего на нее в зеркальце автомобиля.

— Ты забываешь, что сегодня я в первый раз оставила его одного,— сказала она громко, назло брату и тому, второму, сидящему за рулем.

— Надо же когда-то и в первый раз! — на этот раз мягко отозвался Гено.

Мака глянула вперед, на дорогу, потом в упор посмотрела в зеркальце над водителем. Она ожидала увидеть его пустым, но, словно ничего не произошло, словно не было сказано ни слова,— незнакомец по-прежнему смотрел на нее. Наверное, оттого, что в зеркальце помещался только один глаз, взгляд его казался таким наглым.

Как только машина стала, Мака вышла и направилась к калитке. Даже не поблагодарила, даже не спросила, выходят остальные или нет.

— Нам надо вернуться на работу! — услышала она голос брата.

— Валяй! — отозвался Гено.

Мака отворила калитку и, не оглядываясь, вошла во двор. Густая трава вымахала высоко, до колен, только тропинка к дому неровно белела в ней. Живая изгородь из кустов боярышника разрослась буйно, безалаберно, а калитка покосилась и, открываясь с натугой, скребла по земле.

«Как заметно, что отец слег!..»

Голубая краска, которой некогда была выкрашена веранда дома, давно потрескалась, пооблупилась, и теперь веранда казалась грязно-белой. Железный скребок для сапог, закрепленный возле лестницы, соскочил с подпорки и на треть ушел в землю.

— Мака, доченька!

Из нижней подсобной комнаты вышла мать. Она то-ропливо обняла Маку и поспешила навстречу зятю, на ходу вытирая под мышками мокрые ладони. — Гено! Приехали, значит?

— Как живете? — Гено взял ее под руку.

— Врагу своему не пожелаю...

Маке опять показалось, что что-то стряслось, что отца нет дома, и, обрывая мужа, она спросила:

— Где отец, мама?

— Дома, доченька. Где ж ему еще быть?

— Что же вы все двери позаперли?

— Я вот только что вышла... Надо же обед готовить. Куры лезут на балкон, никакого спасения от них. А я уже не та, что раньше. Не могу, сил не хватает... Болезнь отца...

Не дослушав ее, Мака взбежала по лестнице, распахнула застекленную дверь, кинула сумочку на тахту и быстрыми шагами прошла в комнату. С постели на нее жалкими глазами изведенного болезнью человека смотрел отец.

— Что с тобой? Что случилось? — Мака оттолкнула табурет, стоящий у постели, и прижалась к груди отца.

— Трудно нам, доченька, тяжело... Не приведи бог пережить такое... — донесся с веранды голос матери.

Мака подняла голову и строго глянула на появившуюся в дверях мать.

— О чем ты, мама?

— Как это о чем? Неужели сама не видишь, какое несчастье?

— Помираю... — простонал больной, и его глаза, устремленные на Маку, наполнились слезами.

— Отец! — Мака с укором обернулась и, кивая на вошедшего в комнату Гено, сказала: — Раньше ты не так встречал зятя!..

При виде Гено больной попытался приподняться.

— Пока хватало сил... Гено, дорогой... пока мог... — И он, не договорив, протянул зятю жилистую ладонь.

— Как вы себя чувствуете, Симон Парменович?

— Худо мне, Гено... — Больной остановил взгляд на плачущей старухе и недовольно заметил: — Даже стула человеку не подаст.

— Потерялась я совсем, ум за разум заходит... — попыталась оправдаться жена и, утирая кончиком платка слезы, вышла из комнаты.

— Вот стул, отец, — Мака подвинула Гено табурет, оказавшийся у изголовья кровати.

— Стул, я вам говорю, а не пень! — Ноздри у больного раздулись, и по желтым щекам пробежал румянец.

— Не беспокойтесь, я сам...

— Не хватает тебе из-за таких пустяков нервничать.

— Нервы у него совсем никуда стали, доченька! Истрепались вконец нервы.

— Мама, нельзя ли немного... — проговорила Мака, взглядом давая понять, что нельзя при больном говорить все, что придет на язык.

— Конечно, доченька, конечно, — поспешно закивала мать, — но если ты думаешь, что я на что-нибудь способна... Еще хуже его! Больному горько, а тому, кто ходит за ним, и того горше.

— Не слушайте вы ее, — вмешался отец, меняя разговор. — Гено, скажи мне, как там наш мальчик? Как мой Гоча?

— Хорошо, Симон Парменович. Что ему будет?

— Почему не привезли? Поглядел бы на внука перед смертью...

— Видно, ты и вправду сдал, отец! Рано тебе говорить о смерти.

— Сдал Симон, совсем сдал... — тихо всхлипывая, запричитала мать.

— Мама! — прервала ее Мака и, поднявшись, вывела на веранду.

— Извел он нас, доченька. Извел вконец! Мальчишку даже близко к себе не подпускает. Плохи наши дела.

— Ты прекрасно знаешь Бичи. Его выходок отец и раньше терпеть не мог, а теперь и подавно.

— Да, но ведь теперь он работает, каждый день ему врачей приводит. Нет, что ни говори, обижает он мальчика.

— Ладно, мама, потом поговорим, — прервала ее Мака и вернулась в комнату.

— Вам сейчас лучше всего лечь в больницу,— начал Гено, когда она опять присела на кровать возле отца.

— В самом деле, отец. Почему ты до сих пор не лег?

— Побоялся, дочка...— И снова слезы подступили к глазам Симона.— Не посмел без тебя. Сынка моего ни семья не волнует, ни моя болезнь. На кого же дом оставить? Нешто на мать? А тебя не хотел беспокоить...

— Как не совестно, отец!

— Не хотел, дочка. Точно — не хотел.

— Ну, хорошо, хорошо... — мягко сказала Мака, потом взяла руку отца, лежащую на постели, и нащупала пульс.

— Сердце у меня сдает. Не перенесу я операции...

— Все будет хорошо, Симон Парменович. Теперь на операционном столе настоящие чудеса творят.— Гено сам почувствовал, как сухо прозвучали его слова и как легковесна была выраженная им надежда.

— Эх, Гено, люди и сейчас умирают...

— Поверьте мне, из тех, кто вовремя обращается к врачам..

— Я даже не знаю, что со мной! — воскликнул Симон.

— Ничего, отец, успокойся... Что говорят врачи?

— Говорят: нужна операция мочевого пузыря. Но разве я вынесу две операции?

— Их же не одновременно будут делать.

— Эх, Гено, я человек битый, ломаный. По молодости случайно сам себе в ногу пулю всадил. Это пустяк — пронесло. А потом на войне... да что рассказывать, ты все знаешь. И без этой операции я полчеловека, а теперь...

— В больнице я буду с тобой, отец,— сказала Мака,— не бойся. И Бичи будет с нами,— прибавила она и, чтоб как-то замаять то, что слишком поздно вспомнила о брате, мягко упрекнула отца.— Перепугал ты людей. Бичи жалуется, говорит — не доверяешь ему. А ведь его теперь здесь знают лучше, чем меня. Меня, наверное, пере забыли все. В нашем положении знакомства и связи играют не последнюю роль.

— Знать-то его, может, и знают, но неизвестно, что лучше.

— Ну, почему ты так! Вон он уже работать начал. Выучится — человеком станет, — Гено притиснулся вплотную к кровати, пропуская жену к окну.

— Кто его допустит к работе?
— Не за красивые же глаза ему деньги платят!
— Не знаю... Какой-то знакомый твой... Мака, слышишь, что ли?

— Да, отец,— отозвалась Мака, сдвигая занавеску, чтобы ветер не тербил ее.

— Знакомый твой его устроил. То ли по школе, то ли по институту тебя знает.

— Но я училась не в сельскохозяйственном. В нашем институте виноделов не готовили.

— Ну, значит, по школе. Разве от моего наследника добьешься чего-нибудь толком.

— Фамилии он не называл?

— Тхабладзе... или Тхавадзе? Мать должна знать! Она все про своего сынка знает.

Мака задумалась на минутку, но тут же, словно отгоняя от себя неприятную мысль, тряхнула головой.

— И в школе такого не припомню. Может, женщина?

— Нет. Разве он не сидел сегодня за рулем?

— Так это он?

— Он самый, кому же еще быть. Или сам правит машиной, или Бичи на ней восседает. Не нравится он мне. Хороший человек не станет водиться с моим поскребышем. Бичи его в дом привел, как друга представил, но я сразу почувствовал — там что-то не так...

— Тхавадзе?! — вдруг переспросила Мака. — Но ведь он учился не с нами, он был старше... Тхавадзе — директор винного завода?! — И поспешно добавила: — Ну и бог с ним! Коли он взял Бичико к себе и дал ему работу — бог с ним!.. Я спущусь к маме! — Она повернулась к дверям и торопливо вышла, но, сбежав по лестнице, почему-то вернулась назад и крикнула с балкона: — Мама, у тебя найдется домашнее платье?

Симона решили срочно положить в больницу.

Мака обещала отцу неотлучно находиться при нем — иначе он не соглашался на операцию. Гено предстояло одному вернуться домой, позвонить в школу, где работала Мака, и объяснить ее отсутствие. И самое главное — если Гоча не сможет без мамы, если он станет плакать и капризничать, нужно было либо привезти малыша в Ианиси, либо Маке на время покинуть больного и съездить за сыном.

Гено решил уехать ночным поездом. С обедом опоз-

дали. Мака не спешила, хоть и не надеялась, что Бичико явится к обеду хотя бы с опозданием. Теперь он был единственный мужчина в отчем доме, но настолько не считался с сестрой, что не соизволил прийти разделить с ними хлеб-соль и выпить несколько стаканов вина с зятем. Мать слушалась Маку во всем, отец с надеждой глядел ей в глаза, даже с мужем она чувствовала себя здесь уверенней, и ее раздражало какое-то безалаберное — не из принципа, а просто так, — неумное своеволие брата. Теперь на это наслонилась его дружба с человеком, имя которого вызывало у Маки самые неприятные воспоминания. Это были «школьные глупости», настолько далекие теперь, что Мака вспоминала о них лишь иногда, случайно, когда приезжала сюда, к родителям, и за все это время у нее ни разу не появилось желания узнать, куда же делся ее воздыхатель, «влюбленный» в нее Тхавадзе. Он не был одноклассником Маки, поэтому даже при редких встречах с Нуцей у них не заходило речи о нем.

Когда он сделался виноделом? Странно. Директор завода! Да если даже у него прорежутся ангельские крылышки, он все равно останется тем же Джумбером Тхавадзе. Такие не меняются! Школу он кое-как, со скрипом окончил на год раньше Маки и остался где-то здесь, кажется, на железной дороге, чернорабочим. При воспоминании о Джумбере у Маки болели корни волос, зудела кожа на голове, горело лицо и единственное желание — как можно скорее отделаться, избавиться от этих воспоминаний — охватывало ее. Отделаться, как от оскорбительного, надоедливого прошлого, прошлого, которое хочешь зачеркнуть, смыть, стереть навсегда, но которое, как пятно мазута, не стирается, а только размазывается по пальцам и пачкает руки.

Много воды утекло с тех пор, многое изменилось. Джумбер Тхавадзе стал инженером. Совсем даже неплохо. Но Маке не нравится, что этот инженер вспоминает их старую «дружбу»... Бичико тогда был маленький, и он ничего не знает... «Может быть, и Тхавадзе позабыл все. Просто встретил парня, такого же ветреного, непутевого и неприкаянного, каким сам был когда-то, увидел в нем свое прошлое и теперь хочет помочь ему встать на ноги, встать на путь истинный, протягивает, так сказать, руку помощи, как когда-то, возможно, и ему кто-то помог...»

Маке хотелось основательно разобраться в их дружбе, но засевшее в ее памяти имя — *Джумбер Тхавадзе* — никак не уживалось с нынешним положением и обликом этого человека. Это не тот худой — кожа да кости — долговязый парень, никогда не смотревший прямо в глаза, в чьих руках свернутые в трубку тетрадки или мятый учебник, которыми он бил Маку по голове, делались твердыми и тяжелыми, как камень. Когда Тхавадзе подкрадывался к ней сзади в своей заштопанной латаной-перелатаной рубаше цвета хаки, она еще до его появления чувяла его по запаху этой рубашки и за мгновение до удара чувствовала боль. Скрежет зубов, которым сопровождалась погоня, жег ее, как крапива. И вот сегодня, сейчас, она никак не могла представить на месте сдержанного, степенного мужчины, севшего в машину по пути, — пусть говорившего неестественным голосом, пусть даже как из засады глядевшего на нее в зеркальце автомобиля — того худого, чесоточного босяка. Возможно, этот дерзкий непреклонный взгляд принадлежал именно ему и в этом смысле ничего не переменилось? Она не знает. Она не помнит, чтобы когда-нибудь посмотрела ему в глаза...

Хотя какое это теперь имеет значение! Что было, былоем поросло. Ушло навсегда, и не стоит вспоминать. Даже от нечего делать. Напротив, нужно было сегодня поприветливее встретить его, он так добр к ее брату, а ведь неизвестно, с какими бездельниками и подонками связался бы Бичико, если б Джумбер не устроил его на завод. Возможно, и в самом деле он поможет парню найти себя... Один брат у Маки, и тот непутевый. Разумеется, ей никто не посмеет сказать этого в лицо, но как бы ей хотелось гордиться своим братом!.. Как бы хотелось при случае сказать людям: так считает мой брат!

Вечерело, когда сели обедать.

Перед кроватью больного поставили маленький низкий столик. Мака, обложив отца подушками, помогла ему устроиться на постели. Потом предложила выбрать Гено тамадой: ему, как зятю, почет и уважение, а глава дома — вот он, перед нами...¹

¹ Тамадой, по грузинским обычаям, становится хозяин дома.

Симон растрогался до слез.

— Отец! — воскликнула Мака и взглянула на мать, готовую опять запричитать.

Симон вытер глаза, виновато вздохнул и больше за обедом ни разу не прослезился.

— А что, Бичико всегда так опаздывает? — спросила Мака, ни к кому не обращаясь. Ей просто хотелось, чтобы заговорили о брате, пусть с укором, пусть осуждая. Только пусть не молчат о нем, словно его не было вовсе.

— Опаздывает... — отозвалась мать.

Отец уперся локтями в подушки и, обводя всех испуганным взглядом тяжелобольного, простонал:

— В кого он такой уродился?

— Ну почему же, отец?..

— Ладно, дочка, ладно. Ешьте, обедайте. Я молчу...

— Нет, ты не прав. Вон если даже из Джумбера Тхавадзе толк вышел, что за чудовище наш Бичи...

— И-и, да что вы заладили? — Мать прислонила кусок кукурузной лепешки к тарелке, высвободила руки и стала загибать пальцы: — Он у меня не хромой, не слепой, и ростом хорош, и с лица пригож, я его в детстве не роняла, не зашибала и кипятком не ошпаривала...

— Никто тебя не винит, мама.

— Не ошпаривала! — повторил Симон и вздохнул. — Благодарю за это мою мать, царство ей небесное!

— Ох, бабушка, бабушка... — вздохнула за ним Мака.

Гено, не вмешиваясь в перепалку, наполнил стаканы красным вином из кувшина, обернулся к тестю и сказал очередной тост. Мака примолкла, не зная, продолжить разговор о Бичико или нет. Гено поднес стакан к губам и, глядя на жену, подумал: «Если этот Тхавадзе, или как его там, не учился вместе с нею, не слишком ли она хорошо знает его прошлое? Хотя, видит бог, незавидное прошлое...»

После обеда потолковали о делах. Больного не следовало держать дома. С приездом дочери Симон и сам осмелел: коли мне суждено умереть под ножом, так и быть, отвези меня в больницу.

— Это не тот нож, от которого умирают.

— Знаю, Мака, знаю, но перенесу ли я? Кровь у меня слабая стала, да и сердце не то.

— Вы же бывалый фронтовик, — сказал Гено, подходя к окну и закуривая сигарету.

— На фронт, мой дорогой, берут не умирающих стариков. Когда я шел на фронт, тогда мне и десять операций были нипочем. А теперь!..

Мака начала убирать со стола не спеша, надеясь, что появится Бичико. Она все сделает сама — и отвезет отца в больницу, и сиделкой ему будет, но лучше, если вместе с братом, так и отцу будет приятнее.

— Ольга! — позвал больной.

— Мама! Отец зовет! — Мака сложила скатерть, собираясь вынести ее.

— Ну, что тебе, что?.. — появилась в дверях мать. — Придет, никуда он не денется. Не бесись...

Больной сокрушенно покачал головой и обернулся к Маке:

— Скажи ей, пусть сходит к врачу, возьмет направление.

— Хорошо. В самом деле, сходи, мама. Я бы сама пошла, только меня здесь теперь никто не помнит. Верно, с десятков врачей сменилось после моего отъезда.

— Сюда не приводить, что ли, его? — спросила мать.

— Не хочу! — сказал больной, глядя на Маку. — Зачем он мне здесь? Пусть сходит и принесет бумагу.

Решили так: утром Бичико будет дома, и все вместе отвезут отца в больницу, а теперь вечер и спешить не стоит. Хоть поспешить бы и следовало, но больному такое решение пришлось по душе.

— Может быть, мне не суждено больше вернуться в свой дом, — вздохнул он и согласился отложить до утра переезд в больницу.

Гено не стал ждать ночного поезда. Солнце еще не закатилось, когда он попрощался с Симоном, пожелал ему скорейшего выздоровления, пообещал еще раз навесить на днях и собрался в дорогу. Теща проводила его до калитки, жалуясь на судьбу — свою и сына: нелегко нам с таким больным, тяжелый он человек, и вернулась в дом.

В ожидании автобуса Мака и Гено остановились у небольшого мостика через овраг.

— Он нарочно не явился! — сказал Гено, глядя на дорогу. — Хорош гусь!

Маке что-то почудилось в этих словах: они были сказаны недобро, даже с угрозой. Ей сразу вспомнились какие-то разговоры, слухи о ее сослуживице Мери. Мери

приходилась золовкой двоюродной сестры Гено — Марго, и Мака прекрасно ее знала.

— Если б он пришел, я непременно поговорил бы с ним, — продолжал Гено приглушенным голосом. — Но раз он избегает нас, значит, дело и вправду нечисто. Значит, он виноват больше, чем нам кажется.

— Что он мог сделать такого, Гено?

— Не знаю. Но ты знаешь меньше моего.

— Почему ты раньше ничего мне не сказал?

— Они молчат, ее родня. Они не знают... — Гено поморщился, не находя слов.

— Что за человек мой брат? — закончила вместо него Мака.

— Да.

— Чем же он так плох?

— Ладно, я-то вижу — не чужой.

Мака услышала свои слова как бы со стороны, ей показалось, что это говорит не она, а мать, и она поправилась:

— Я спрашиваю, что он сделал плохого?

— Они знают нашу семью, знают тебя...

— При чем здесь я?

— Они думают, что нам все известно. Когда твой брат бывает у них, им кажется, что он ходит туда от нас.

— Бичи бывает у них?

— Давно... Ты вот не знаешь, что за муж у Марго — особого сорта герой, уникум. Мама сегодня сказала мне: если, говорит, больной не очень плох, пусть заберут девушку, чтобы не было беды и все по-честному...

— Ну разве так можно — прийти и забрать? Да и Бичи еще не до семьи, ветер в голове гуляет. Ты не согласен? С ним же любая женщина будет несчастлива.

— Тогда не надо было доводить до этого...

— Что ты говоришь, Гено? Неужели? Куда же они смотрели? Не видели, с кем связываются?

— Во внешности у Бичи недостатков не очень-то найдешь.

— Кому нужна его внешность! — воскликнула Мака, но ей тут же показалось, что она переборщила, и, замотав головой, она добавила: — Ты же знаешь Бичи. Ты же прекрасно его знаешь!

— Я-то знаю...

— Почему они ничего не сказали тебе? Не спросили, в конце концов!

— Это уж твоя вина, тебя уважали — брат Маки, если он девушке по душе, значит, всем хорош...

— А Бичи любит ее?

— Извини меня, но я не знаю, кого любит Бичи!

На дороге показался крытый брезентом грузовик. Гено поднял руку.

— До сих пор я молчал, думал, сегодня он сам скажет нам что-нибудь. А он нарочно встретил нас на вокзале — знал, что совсем не показаться на глаза будет чересчур, а потом пропал. Передай ему от меня, что из этого дела он не выпутается так легко, как из тбилисского.

— Он и там кого-нибудь обманул?

— Не знаю. Спроси у него.

— Боже мой!

— Позвони мне завтра, я буду на работе! — Гено повернулся, схватился за борт притормозившего грузовика и легко вскинул вверх жилистое тело. Машина покатила дальше. Гено ни разу не оглянулся.

Мака растерялась. Она чувствовала, что Гено о многом умолчал, многого не договорил.

Она вошла во двор и плотно прикрыла калитку, словно кто-то преследовал ее. Она взглянула на дом, на веранду с облупившейся голубой краской по стенам и чуть не расплакалась.

— Скоро отца не станет, и все здесь умрет, — проговорила с болью, сошла с тропинки на траву и, опустив голову, побрела к большой старой груше.

Теперь отсюда ей вдруг все показалось далеким, даже муж и сын. И дом, выстроенный ими в другом городе, на другой земле, был далеким и чужим. Здесь, в этом старом зеленом дворе, начинался для нее мир. На востоке из густых и колючих ветвей боярышника, высаженного вдоль плетня, вставало горячее солнце и скатывалось на запад то за тяжелыми от плодов, то за коротко обрубленными тузовыми деревьями, втиснутыми в густой малинник. А по ночам на ветви старой груши сидели звезды, и в ее жесткой листве ползала и шевелилась белая луна.

Вот и сейчас за тузовыми деревьями закатывалось солнце...

Мака и там, в новом дворе, высадила вдоль частого-

ла тутовые деревья. Они уже настолько подросли, что тамошний закат стал похож на милый ей с детства. И траву, что окружает ее, Мака пересаживала в свой двор,— она еще не разрослась, не разошлась, местами попадаются проплешины, но через год-другой тоже заполнит, затопит все от дома до ограды.

Здесь Мака научилась первым словам. Под эту грушу выносила бабушка ее колыбель, ту колыбель, что стоит сейчас на чердаке под крышей.

Мака с грустью взглянула на небо: ах, почему я не родилась мальчишкой!

Здесь небо было голубее, чем над ее новым домом. С этим небом сравнивала она любую голубизну; с вкусом этой груши — вкус любых плодов; цвет светлее этой травы для нее светло-зеленый, темнее — темно-зеленый. Ветер сильнее и суше, чем в этом дворе, невыносим, и хурма, что терпка не как эта,— безвкусна. Эта земля, затененная лозой, разрисованная дрожащими бликами солнца, научила ее тому, как сильна земля и как сладок сок винограда.

Из дому, из нижней, «черной», комнаты вышла мать с венчиком в руках:

— Мака, доченька. Что ты там стоишь?

— Иду, — отозвалась Мака, но не двинулась с места, только села на скамейку, приколоченную под грушей к низким колям.

Здесь, на этом месте, стоял, вернувшись с фронта, ее отец. Калитка и тогда была сорвана и заваливалась набок. Никто не знал, что он вернулся. Мака до сих пор не может понять, как это могло случиться: в те дни стояло в одном конце села появиться человеку в шинели, как в другом конце все знали об этом.

Мака ждала отца. Она столько нарасказала подружкам и товарищам с его подвигов, что теперь затруднялась представить, как, каким образом такой герой вернется с фронта. Мака нигде не читала о его подвигах, ей никто не рассказывал, она даже ничего не выдумывала. Нет! Она все видела собственными глазами.

Любые трудности, беды и боли были легки,— вот вернется отец! А отец непременно вернется, ибо однажды ясной летней ночью, когда небо ломилось от звезд, бабушке вдруг почудился звон: бабушка тут же сообразила — это раскрылось небо — и успела трижды сказать, попросить, крикнуть: — Господи, верни мне живым мое-

го Симона! До этого бабушка никогда не видела раскрытого неба, но она не растерялась, ибо каждую ночь молила бога об одном — вернуть ей сына, и каждый день ждала чуда. К тому единственному, редчайшему дню, когда раскрывается небо, пропуская к престолу всевышнего жалобы и просьбы с земли, у людей накапливаются их слишком много, слишком тесно слезам и вздохам, устремленным наверх, они не успевают проскочить, они, замешкавшись, опаздывают, — волшебный, торжественный звон умолкает, и небо опять закрывается. Но бабушка успела трижды повторить свою просьбу, свою мольбу, свою молитву, и с тех пор возносила она благодарность на небеси за то, что услышал ее всевышний и дал узреть чудо.

Война еще продолжалась, но, видно, Симон совершил достаточно подвигов,— пришла пора вернуться к Маке и Бичико, тому Бичико, который родился вскоре после его ухода на фронт. Мака думала: отцу виднее — воевать или вернуться домой. Так говорила и бабушка, с которой посчитался сам господь бог и раскрыл для нее небо. Мака делала все для того, чтобы фронт-отец с гордостью поднял ее на руки и показал людям: вот моя дочь — моя радость!..

Однажды, хмурым холодным днем, кто-то вошел во двор и остановился вот здесь, под этой грушей, обеими руками опираясь на короткий костыль. Маке бросилась в глаза его темная шапка, никогда прежде не виденная ушанка. Шинель на прищельце была такая выгоревшая, ошметанная и бесформенная, что Мака не сразу заметила на ней погоны. Моросил дождь. Намокшие уши ушанки отяжелели и обвисли, и тесемки на них не шелохнулись.

О, как упрямо, как нетерпеливо ждала Мака отца! Ждала такого дня, когда любой ее каприз будет беспрекословно исполняться.

...Отец не смог поднять Маку на руки. Ни в день своего возвращения, ни после. У отца в позвонке застрял осколок мины. Мака не запомнила ни голодухи военных лет, ни того, как в мокрядь, в стужу и снег босиком топала в школу, но это неосуществленное желание навсегда болью осталось в ней.

В деревне о Маке говорили: дочь несчастного Симона, и жалели ее. У Симона были отморожены пальцы ног, и носки его кирзовых сапог торчали вверх. Ходить

ему было трудно, и потому он всюду посылал дочку: к соседям — одолжиться мукой или отрубями, за понюшкой табаку, за горстью соли. Отец не привез с собой даже леденцового петушка. Но ужаснее всего было то, что он ничего не рассказывал о войне, не встречался ни с одним из вернувшихся по комиссацин солдат. Откуда-то стало известно, что был у него на фронте друг, какой-то русский, знакомый кому-то из деревенских фронтовиков. И это — все его истории.

Маке хотелось сорвать с шинели отвоевавшего отца сморщенные, вечно сырые погоны и, вставив в них плотный картон из обложки старой «Родной речи», расправить, выпрямить, сделать такими же, как на рисунках и плакатах, висящих повсюду. Но ночью отец укрывался шинелью поверх одеяла, а днем набрасывал ее на плечи, садясь к очагу и принимаясь плести из гибких ореховых прутьев корзины и плетушки, — он мастерил их на пару со своим тезкой, одноруким Симоном. Однорукий Симон ходил в лес за колышками и прутьями, а отец сидел у очага, всегда на одном и том же месте, и плел высокие корзины и белые кузовки. Часть из них забирал колхоз и выписывал Симону трудодни, остальные же раз в месяц однорукий Симон сваливал на арбу и отвозил на базар в Ианиси.

После возвращения отца война продолжалась еще больше полугода. Потом пришла победа, но Маке не удалось насладиться ее радостью. Девятого мая Симон не пошел на праздничный митинг, — как только потеплело, отмороженные ноги у него отекали и покрывались водянистыми волдырями.

В эти дни Мака еще больше любила отца. Любила, но не жалела. Не могла она так сразу отречься от своих фантазий, от своей мечты. Теперь, когда ее друзья и подружки заговаривали о войне, она молчала, но отец все равно оставался для нее героем. Ноги он отморозил потому, что всю войну спал в обледеневших окопах и на снегу, а немцы так боялись его, что бросили гранату ему прямо в спину. Соседи жалеют Симона за водянистые волдыри на ногах, за то, что он не в силах разогнуться, но они не знают, что Симон настоящий герой. Сам он молчит, потому что никто из деревенских не воевал с ним и ему просто не поверят, но его русский друг знает все, и он придет однажды и расскажет. А до тех пор Мака должна учиться так, чтобы о ней говорили: вот

какая дочка у несчастного Симона! Летом она пойдет с матерью на чайные плантации, встанет рядом с ней и будет собирать чай, ни на шаг не отставая от опытных сборщиц, и тогда соседи скажут: совсем он не несчастный, наш Симон! Вон какая у него дочь!

Потом придет издалека фронтовой друг и расскажет все-все об отце... Но в это не верила даже мама. Одна только бабушка кивала и соглашалась.

Вообще, что думала мать об отце, Мака не знала. Мать с утра до ночи пропадала на колхозных работах, возвращалась взвинченная, измотанная, злая, за ужином сажала на колени маленького Бичико и сокрушенно вздыхала:

— Как быть, как быть? Сил моих нету больше. Не пойду я завтра никуда. Хватит, умаялась!

А на следующий день:

— Что с ним-то делать? — прижимала к груди сынишку. — Помрет он с голоду! — и опять шла в поле или на плантацию, в огород или виноградник, мотыжить, полоть, окучивать, опрыскивать, вязать, перетаскивать, перебирать...

Мака тогда не любила мать. Никого не любила, кто жалел ее отца. Она позабыла детские игры и забавы и целыми днями просиживала у очага, рядом с Симоном, разогревая толстые прутья для корзинок, чтобы легче гнулись, и лодыжки у нее накалялись докрасна и горели. Потом с учебником в одной руке, другой она держала маленького брата, чтобы бабушка могла приготовить чего-нибудь поесть. Она упросила деревенского кузнеца уменьшить по ее росту найденную в сарае наполовину съеденную ржавчиной тяпку и рядом с больным отцом пропалывала кукурузу и фасоль, освобождая их от разбушевавшихся сорняков, а летом, в жару, в самое пекло, как жеребенок, бегала за матерью по зреющим на припеке пахучим чайным плантациям с корзиной отцовской работы на руке.

Потом прошли годы. Друг-фронтовик не приехал. В лавке сельпо появился хлеб. Сменились деньги, и отцовская пенсия уже не казалась такой ничтожной. Симону сделали операцию — отрезали пальцы на ногах, и он стал работать сторожем в магазине. Время подлечило изувеченную войной деревню. Кто-то начал ремонтировать старый дом, кто-то и того больше — затеял перестройку. Появилась нужда в плотниках. Огляделись —

два лучших мастера погибли на фронте. Тогда пришли к Симону. Он покряхтел, поохал, держась за поясницу,— отказался. Пришли в другой раз. «Дайте помощника,— сказал Симон,— не под силу мне тяжести ворочать. Я ему долю уступлю и ремеслу обучу. Но работать будем сдельно, на поденную не потянем».

У однорукого тезки Симона был брат, придурковатый Дату, его-то и взял Симон в помощники, силы — хоть отбавляй. Бедняга по своему разумению не мог даже гвоздя в доску забить, но если его направлял понимающий человек, вкалывал за двоих. Заработок делили поровну. Симон далеко не всегда мог работать — хворал. Но все-таки в доме появились деньги...

— Доченька, что ты сидишь там столько времени? — Мать все еще держала в руках веник.

— Ах, да... — Мака устало поднялась и, ступив к дому, опять вспомнила: «Вот здесь стоял отец...»

— Когда же придет Бичи?

— Придет, придет... Теперь уже скоро.

— Разве ты не должна знать, где пропадает твой сын?

— Он уже не ребенок, Мака.

— Ты и раньше ничего о нем не знала...

— Но что я могу сделать, если он не говорит? — Мать окунула веник в таз с водой и, стряхивая его, вернулась в дом.

«Она все еще подметает». Мака хотела подождать, пока мать еще раз выйдет смочить веник. Словно собираясь сказать ей что-то, она постояла в раздумье, потом покачала головой и пошла вверх по лестнице. Она шла осторожно, чтобы каблучки туфель не стучали по ступенькам.

Симон лежал, отвернувшись к стене, и стонал. Когда на веранде слышались шаги, он обернулся и взглянул на дочь.

Никогда Мака не любила так отца, как в эту минуту. «Наверное, оттого, что ему плохо», — подумала она, с посветлевшим лицом подошла к Симону и села на край кровати.

— Гено уехал?

— Что делать, отец: работа, ребенок...

— Конечно, конечно... Как же они там без тебя?

— Свекровь дома.

— Вот и хорошо... Я вас недолго промучаю... Ничего...
А она Гочу вырастит, подмога вам, что ни говори...

— Будет тебе, отец! Не надо...

— Как же мы Гено отпустили, а? Даже вина человек не выпил.

— Он не любит вина.

— Его из любви никто и не пьет, дочка.

— Гено не посторонний...

— Не посторонний-то, оно конечно, но когда зять в кои веки приезжает к родителям жены, не так его надо встречать, не так... Эх, что делать! В моем доме никогда не жили так, как мне хотелось! Если б война не доконала меня... Знаешь, что я скажу тебе, дочка: многим лучше было не возвращаться...

Сумерки заполнили комнату.

— Смочи-ка мне эту тряпку — губы что-то сохнут...
Коли мой наследник и ночью не пожалует домой, зачем еще завтра его ждать. Мне стыдно было оставаться без присмотра в больнице... Ну, а теперь, раз ты приехала...

— Отец, а что, если его женить?

— Что?

— Я говорю: что, если его женить?

— Кого? Бичи?

— Да. По-твоему, рано?

— Удивляешь ты меня! Одной ногой, можно сказать, в могиле стою, и ты хочешь, чтоб перед смертью я принял на душу такой грех? Было дело, и я раз подумал — может, возьмется за ум, если семьей обрастет. Но трудно придется с ним жене, слишком трудно. Жалко мне ее. Ночью вернется пьяный — покоя от него нет. Сейчас, может, с тобой посчитается, а кроме тебя, ни с кем... ни с кем на целом свете...

Мака взяла лежащую возле больного салфетку, спустилась вниз, прополоскала ее в холодной родниковой воде и вернулась к отцу.

К этому времени в комнате уже совсем стемнело.

В ветвях старой груши загорались звезды.

Ни у одного директора до Тхавадзе не было секретарши (ее обязанности исполнял делопроизводитель).
Прежнего директора сняли настолько неожиданно и

быстро, что в городке так и не поняли, в чем он провинился. А с приходом нового — Джумбера Тхавадзе — перед молодыми виноделами предстала такая стройненькая, пригожая, синеокая Цуцуния, что дня три все шатались по заводу обалделые, поразевав рты и ломая головы: какой бы придумать предлог, чтоб хоть на минутку зайти в кабинет, не столько для знакомства с новым руководством, сколько ради синих глаз и стройных ножек секретарши.

В первый день все ждали, что, «поскольку им по пути», Тхавадзе посадит Цуцунию в свою машину и повезет. Однако этого не случилось. Как только рабочий день кончился, минута в минуту секретарша вышла из-за стола и, поцокивая каблучками, направилась к автобусной остановке. Тхавадзе же проработал в своем кабинете допоздна. Конечно, такие приемы никого не могли сбить с толку, по деликатность нового директора пришлось виноделам по душе. Поздно вечером Джумбер посадил в машину дежурного слесаря, провозившегося над котлами, и хромого начальника купажного цеха и развез их по домам.

А синеокая Цуцуния и на следующий день, и через день, и после того возвращалась домой в основательно утрамбованном автобусе.

Через некоторое время на завод неожиданно явился заместитель председателя исполкома — пожелал осмотреть.

Со времени вступления Тхавадзе в должность не прошло и трех недель, но «зам» ушел восхищенный, удивленный, пораженный тем, как сумел новый директор за три недели преобразить предприятие и образцово поставить дело. Директор в эти дни и в самом деле старался, как мог, но дела обстояли далеко не образцово. Не исключено, что и заместитель председателя заметил это, но синеокая Цуцуния была так очаровательна!..

Тхавадзе часто видели на машине в городе и за городом, ночью и днем, трезвым и пьяным, но нигде ни разу — с секретаршей.

Кто-то сказал:

— Да она ему родственницей приходится.

Его поправили:

— Никакая она не родственница. Просто Джумбер не такой человек...

К исходу месяца «мимоездом» зашел на завод начальник треста. С ним было районное руководство. После их визита некоторым работникам повысили зарплату, а однорукому сторожу, отцу многочисленного семейства, выделили приличное единовременное пособие. Весной во дворе завода прямо от ворот высадили газон и разбили чудесный сквер. В перерыве рабочие выходили из цехов, и, глядя на Цуцуню (она сидела под деревом на голубой скамейке, заложив ногу за ногу и, конечно, в короткой юбке), даже самые уставшие чувствовали себя в раю, где архангелом — Джумбер Тхавадзе.

Джумбера буквально не узнавали его старые друзья и знакомые: уж больно он переменился, совсем другой человек — общительный, внимательный, чуткий. У него появилось много новых друзей. Вино, оно как мед, — пчелы на него слетаются.

А очаровательная Цуцуня так и осталась неразгаданной загадкой, тем самым даруя каждому призрачную надежду: быть может, именно ему суждено отдохнуть в тени ее ресниц.

В один прекрасный день на заводе освободилось место по снабжению (прежнего работника перевели в район), и вскоре на этом месте увидели небезызвестного в городке Бичико Лежава. Такое назначение далеко не всем пришлось по душе, но смолчали: новому директору доверяли — доверились и на этот раз. Те, которые знали Лежава получше, махнули рукой на синеокую Цуцуню — дело пропащее, если добром не выйдет, силой возьмет.

Однако все осталось по-старому: старший снабженец Бичико Лежава, как и все прочие, глотал слюнки и колотил себя кулаком в грудь.

Непонятно было вот что — почему Тхавадзе, этот уважаемый в районе, деловой человек, и Бичико Лежава, жуир, бездельник и сорвиголова, не расстаются даже после работы и дни и ночи проводят вместе.

Кто-то вспомнил, что давно, лет десять назад, Джумбер Тхавадзе сходил с ума по сестре Бичико — Маке Лежава, и верно, эта дружба с братом — последние отблески той любви, что-то вроде нераскрывшегося родственного чувства. Люди, знавшие эту подробность, знали и то, что Мака, одна из лучших иаписских невест, четыре года назад вышла замуж и теперь жила в соседнем районе с мужем, маленьким сыном и свекровью, и в

конце концов решили, что Джумбер бескорыстно хочет наставить Бичи на путь истинный, и да поможет ему бог...

...В этот день, вернувшись на завод, Тхавадзе отослал Бичико в гараж вымыть и вычистить машину, Цуцунни приказал никого к нему не впускать, заперся в кабинете и упал на диван, лицом в кожаные подушки.

Трудно было представить себе, как он любил эту женщину! Не женщину, а школьницу, которую когда-то избрал бездомный, неустроенный мальчишка, избрал и затвердил в своем сердце настолько жестоко и упрямо, что если б даже он прожил десять жизней вместо одной, он не отлюбил бы своего. Безотцовщина и постоянные наставления матери: смотри, чтоб никто не надул тебя; смотри, чтоб никто не обидел тебя; разбейся в кровь, но не позволяй смотреть на себя свысока; нужда и голод; постоянные неутихающие пересуды о матери — она же любовница этого бухгалтера с румяной рожей; красная зудящая язва под подбородком, от которой он много лет не мог излечиться; насмешки ровесников — эй, чесоточный; бесконечные кровавые драки, драки и скандалы — вся сила, все упрямство и неуступчивость, которую выпестовали, накопили, втемяшили в него эти испытания, — все соединилось в любви к этой женщине. В любви, которая одарила его новыми бедами, неслыханными и непережитыми оскорблениями, обидами и горем, в которой он вкусил неизвестную раньше безнадежность и неведомый прежде голод. В день, когда, возвращаясь из школы, он, как шелудивая собака, бежал за Макой, а она, проходя вдоль оврага, обращала на него меньше внимания, чем на лягушек в тинистой жиже, в такой день он не мог уснуть, не избив кого-нибудь, или если его самого не избивали. В конце концов, так и не посмея сказать Маке ни слова, он и ее стал бить книгами и тетрадями по голове, но для него самого это было настолько мучительно, настолько невыносимо, что, как только девушка скрывалась из виду, он почти без чувств падал под ивами.

В тот день, когда Мака, окончив школу, уехала из деревни поступать в институт, Тхавадзе ничком лежал за оврагом, на сгнившем, изъеденном червями трухлявом пне, и по его лицу ползала армада красных муравьев, но он не трогал их, не трогал, даже когда, поднявшись по подбородку и губам, они полезли ему в ноздри. Перед

его глазами, перемешиваясь, петляя, путая следы, снова-ло обездоленное, выковырянное из гнезд муравьиное племя, и каждый муравей тащил на себе груз вдвое, вчетверо и вдесятеро больше себя самого...

Вот тогда он дал клятву! Клятву, в которой не было ни слова, ибо над словами смеются возмужавшие юноши.

Он решил не видеть ту, что прошла нынче утром по ту сторону оврага, не видеть до тех пор, пока...

Это «пока» растянулось на много лет. Оно было неосуществимо до сегодняшнего дня. Чего только не сделал он ради этого... От шелудивого, чесоточного босяка до сегодняшнего Джумбера Тхавадзе. Но сейчас она еще дальше, еще неприступнее, чем когда-либо,— она без памяти любит сына. Да и мужа тоже. Сегодня она приехала. Она приехала бы, даже если б не заболел ее отец. Это было подготовлено Джумбером.

Столько времени его осаждали красные муравьи, кусали, лезли в ноздри, таскали по его лицу груз, вдвое, четверо, вдесятеро превосходящий их самих. Ночами они лишали сна, а днем не давали засиживаться на одном месте; они сожрали его покой и научили терпению. Но теперь они оставили его. Кончилось бесконечное ожидание. Теперь — видеть, каждый день видеть ее. Для этого все готово...

Заскрипели заводские ворота, и сигнал машины сообщил Джумберу — вернулся Бичико.

Когда у секретарши зазвонил звонок, директор уже был на своем рабочем месте, за письменным столом:

— Скажите Лежава, чтоб никуда не отлучался без меня.

«Все Лежава да Лежава», — подумала Цуцуния, прикрыла за собой дверь и улыбнулась, хотя и сама не знала, что означала эта улыбка.

Перед отходом вечернего поезда Тхавадзе заехал па вокзал «повидать одного человека» и узнал, что «муж» уже в вагоне, уезжает. Утром он показал Гено кассиру и сказал, чтобы для этого человека в любую минуту были билеты.

— Ну, говори теперь, что она пишет,— сказал он, возвращаясь в машину и сядя к рулю.

— А ну ее... — поморщился Бичи.— Сам знаешь.

— А все-таки.

— Ее родня пронюхала! — Бичико уставился в лицо приятелю. «А ты боишься...» — подумал Тхавадзе.

— Брат знает?

— Нет. Брат — нет, — покачал головой Бичико.

— Пока не знает, — поправил его Джумбер, вырывая на шоссе, ведущее из городка.

— Да, пока не знает, — повторил Бичи и вдруг раскричался: — Пусть узнает!.. Пусть узнает хоть брат, хоть сват! Я никого не боюсь!

— Я тебя не спрашиваю, боишься ты или нет.

— А я не тебе. Я это про себя говорю.

— Эх, брат, ты даже не можешь себе представить, сколько чего я говорю про себя.

— Ты умеешь молчать, а я нет.

Тхавадзе мельком взглянул на Бичико и кивнул.

— В твою пору я тоже не умел, — но про себя добавил: «Никогда... Я или не мог сказать, или не говорил того, что думал».

— Так вот, Джумбер. Если ты хочешь знать...

— Почему они не скажут вашим? — перебил его Тхавадзе.

— Нашим?! — Бичико даже подскочил от изумления.

— Да. До каких пор можно скрывать?

— Что?

— То, что Мери беременна.

— Ты хочешь, чтобы они сказали об этом моей сестре?

— Зачем же сестре? Зятю.

— Погоди, Джумбер!

— Я вполне серьезно. До каких пор? Лучше сразу приучить их к мысли о твоём положении.

— Только этого не хватало.

— Сейчас мы поедem к тетушке Васаси.

— Нет. Я сажусь в поезд и еду в Тбилиси.

— Ты забыл, почему бежал оттуда?

— Дело старое. Все давно забыто.

— Никто не узнает, что мы были у Васаси. Передай Мери, что без согласия твоих родных ничего не выйдет.

— Если б я хотел, я не стал бы их спрашивать...

— Пусть узнают. Пусть узнают и то, что брат Мери не в курсе, и тогда твоя родня сама попросит тебя жениться. Если хочешь, забери машину. Дочка Васаси поедет с тобой и устроит вашу встречу.

— А брат?

— Какой сегодня день?

— Среда.

— Он сегодня дежурит. До утра.

Стемнело. Тхавадзе включил фары. Дальний свет выхватил из мрака извилистое шоссе с акациями по обочине.

Настало утро.

Мака не собиралась скрывать своего недовольства братом, неизвестно где пропадавшим всю ночь, но Симон смотрел на нее так беспомощно и кротко, что она смолчала.

Отец движением руки попросил Маку подойти поближе. Она присела на край кровати.

— Ко всем своим заслугам он еще играет, несчастье мое!

Мака не сразу поняла, о ком шла речь, и спросила:

— Кто? Бичи?

— Да, мой наследник...

— Во что играет? Неужели в карты?

— Даже если покойник у него в доме будет неприбранный, не вспомнит и не придет!

Жалость к отцу, который даже перед смертью не мог найти покоя, опалила Маке сердце. Она встала, обдумывая что-то, прошла по комнате — ей предстояло взять на себя сыновние обязанности.

— А ты говоришь — давай женим. Нет, лучше не брать греха на душу.

— Ну и ладно! Довольно о нем! Нам нужно пораньше попасть в больницу.

— От своего начальника он скрывает, что играет в карты...

— А сам Тхавадзе не играет? — удивилась Мака.

— Не знаю. Раз, когда он пропал на всю ночь, как сегодня, пришел этот человек, поинтересовался, почему Бичико на работу не явился.

— Что же, ему ночь коротка?

— Разве такого поймешь? Я сказал этому человеку: так, мол, и так, не ночевал он дома. А на следующий день Бичи влетел, шею набылчил, глаза — на лоб, чуть не перебил нас: почему, говорит, наябедничали этому Тхавадзе, или как его там...

— Тхавадзе, отец. Это Джумбер Тхавадзе.

— Ну, да.... Почему, говорит, ему наболтали?..

— Но как сумел Тхавадзе внушить ему такое уважение? Судя по твоим словам, Бичи считается с ним.

— Просто боится, что тот его с работы выгонит. Я, говорит, держу тебя только из уважения к твоей сестре. И тут не без тебя, дочка.

— Никогда Тхавадзе не был моим другом.

— Это его слова, дай бог ему здоровья... Но скоро, думаю, и ему осточертеет шалопай! Доведет, как говорится, до ручки.

— Отец, не расстраивайся по пустякам.

— Матери не говори ничего, все равно не послушается. Скоро меня не станет, тогда она увидит, что у нее за сынок.

— Что ей делать, маме-то?

— Теперь? Теперь ничего не сделаешь.

— Отец,— сказала Мака, подходя к постели.— У нас времени в обрез, пора ехать. Ты же знаешь, если Гоча тосковал без меня, мне придется съездить...

— Гоча, внучок... Посмотреть бы на него, какой он стал.

— Не могла я его привезти, он к той бабушке привык.

— Переполошил я вас, дочка, но что делать?! Пока я жив, некому, кроме тебя, присмотреть за мной, а помру, одна ты меня оплачешь...

— Не растравляй себя, папа, не к лицу тебе это.

— Ну, вези меня, вези. Молчу. Ни в чем я не мог помочь тебе в твоей жизни, но и беспокоить не хотел, видит бог. А теперь свалился я совсем, нету мне другого пути...

Симона устроили в хирургическом отделении на втором этаже. В четырехместной палате лежало только двое больных: послеоперационный — пожилой мужчина с густыми черными усами и молоденький парнишка, здоровый и бойкий на вид. В палате оставалась одна свободная койка, в случае необходимости Мака могла прилечь на ней.

Осмотрев больного, врач озабоченно насупил брови и удалился, не обронив ни слова. Симон перепугался, как ребенок, и во все глаза смотрел на Маку. В эту минуту она казалась ему всесильной.

Когда она на минуту вышла из палаты и вернулась в белом халате внакидку, он обрадовался, словно давно не видел ее.

Мака казалась встревоженной. Дежурный врач сообщил, что рано утром ей звонили, но кто и по какому поводу, не знал.

— Что-то стряслось дома! — проговорила Мака, прикрывая за собой дверь, но, взглянув на отца, прикусила язык. — Отец, мне нужно позвонить Гено.

— А потом? — испуганно спросил Симон. Он лежал на тугой, натянутой подушке, откинув голову, и смотрел на дочь.

— Узнаю, что там у них.

— Конечно, конечно... узнай... Попроси директора, может, разрешит отсюда позвонить. До почты далеко — опоздаешь.

— Ох, Гоча, Гоча!.. — прошептала Мака и вышла из палаты.

Гено с восьми утра ждал ее звонка в редакции и не отходил от телефона.

Говорил он с обычной сдержанностью, но все-таки сказал: мальчишка раскапризничался, да так, что не могли унять. Заревел и все маму звал, а когда Гено прикрикнул на него, забился под кровать и свернулся калачиком. Но хуже всего то, что потом он совсем притих, да так и молчит. Утром Гено рано ушел из дому, потом полдня прождал звонка из Ианиси, а теперь сбегает и узнает, как там дела.

Мака возвращалась в палату уверенная, что сейчас же оставит отца и уедет, но только открыла дверь, как увидела устремленный на нее выжидающий и беспомощный взгляд, и с трудом проговорила:

— Гоча плакал...

— Ночью? Или утром?

— Ночью...

— Но с ним же бабушка. Ты говорила, он привык к ней.

— Да, да... — Мака опустила на стул и закрыла глаза. Она не помнила, чтобы когда-нибудь оказывалась вот так вот между двух огней, чтобы ей так приходилось разрываться на части. Она даже забыла попросить мужа позвонить еще раз, но, конечно, Гено сам сообразит.

В полдень в палату вбежал запыхавшийся Бичико. Мака отвернулась от него и подошла к окну. Через до-

рогу, там, где начиналась смешанная роща, в тени деревьев стояла светло-коричневая «Победа», перед ней, низко опустив голову, прохаживался Тхавадзе. «А этот с чего закручинился?» — невольно улыбнулась Мака. Вид у Тхавадзе действительно был грустный.

Бичико наклонился над Симоном и, с трудом переводя дыхание, проговорил:

— Не успел, отец... Дело было неотложное, работа...

— Так занимайся своими делами, не порть их из-за меня,— Симон отвернулся к стене.

— Что за дела такие неотложные, хотела бы я знать?! — Мака отошла от окна и вдруг наткнулась на взгляд усатого мужчины, лежащего на соседней с отцом койке. Ей стало неловко: «Ни к чему при посторонних выяснять семейные отношения».

— Ты все еще считаешь меня бездельником? — огрызнулся Бичико.

— Ничего я не считаю... — Мака опять вернулась к окну. Тхавадзе шел по больничной аллее рядом с коренастым лысым мужчиной и что-то настойчиво внушал ему. Тот то и дело прикладывал руку к груди и кивал — соглашался. У калитки они распрощались. Тхавадзе побрел назад.

— Слышишь? Я повидаю врачей и пойду. Меня человек внизу ждет.

— Можешь идти, не повидав.

— Ладно, ладно... После работы заскочу опять. Отец, тебе нужно что-нибудь?

— Все нужно! Что ты спрашиваешь? — крикнула Мака вслед брату.— Принеси все и сам приходи, чтобы при случае остаться. Может быть, мне придется домой съездить.

— Если ты так спешишь, могла не приезжать.

— погоди! — прервала его Мака, но тут же понизила голос: чего доброго, нагрубит, и она не сдержится.— Не спешу я. Для отца у меня всегда есть время, но Гоча мой не спал всю ночь, плакал, не ест теперь. Если и сегодня не успокоится, хоть пешком иди!

— Главный врач не появлялся? — спросил Бичико.— Он друг Джумбера.

— С тобою самим должны считаться, сынок, самого должны знать,— проговорил больной. — А у кого-то кто-то всегда найдется!

Но сын уже не слушал его. Он вышел, шумно хлопнув дверью.

— Не нужно упреков, отец, мы не дома...

— Да я вот уже двадцать три года не упрекаю его ни в чем. Что хочет, то и делает. Только неловко перед этим начальником: кто отблагодарит его за все, если меня не станет.

— А кто его просит об услугах? — обиделась Мака.— Да и какие такие неоценимые услуги он нам оказал?

— Не понимаешь ты меня, доченька. Не удался у меня сын, не вышел...

— Отец!.. — с укором воскликнула Мака и оглянулась на усатого больного.

— Да что там,— вздохнул Симон.— Шила в мешке не утаишь. При таком сыне мне от постороннего человека и доброе слово услышать приятно.

Мака опять подошла к окну. Распахнув дверцу машины, Тхавадзе сидел на затянутом вишневым чехлом сиденье и курил. По аллее, разметав полы расстегнутого пиджака, спешил Бичико.

Потом Тхавадзе слушал, прижав к губам сжатый кулак, словно собираясь дуть в него, а Бичико размахивал руками, жестикулировал и то и дело кивал в сторону больницы. Наконец он замолчал, кивнул в ответ на какое-то замечание, обежал машину кругом, Тхавадзе захлопнул дверцу, и они уехали.

«Если этот мужчина в машине — Джумбер, значит, из кого угодно может выйти человек»,— подумала Мака.

В сущности, Мака не очень хорошо знала Тхавадзе. Когда-то много лет назад она приглянулась грубому, немытому, нечесаному старшекласснику, у которого на шее, под подбородком, шелушилась кожа от чесотки. Мака терпеть его не могла, и если кто-нибудь в шутку заговаривал о нем и дразнил ее, она чувствовала себя оскорбленной. «Какая я несчастная»,— думала она тогда. Сколько славных мальчишек учились в их школе, но к ней пристал, навязался на ее голову именно этот — Джумбер Тхавадзе. Мака никогда не здоровалась с ним, а если замечала поблизости, ни за что не показывала виду — словно его не существовало, словно на его месте была пустота. Она не называла его по имени и даже по фамилии. Она всегда звала его чесоточным. Она и в школе-то видеть его не могла, а тут он повадился про-

вожать ее до дому. С тех пор Маке не хотелось возвращаться домой, она сидела на последних уроках как на иголках.

Много раз Мака задерживалась в школе, опаздывала. Даже если не поручали, сама вызывалась писать стенгазету, прибирала в кабинете химии, записалась почти во все кружки... Но куда там! Стоило ей выйти из школы, Тхавадзе тут же вырастал у нее на пути. Ему не надоедало ждать. Он не чувствовал ни голода, ни жажды. Пока она избегала его, еще куда ни шло — плелся за ней до дому и уходил... Она готова была лопнуть от злости. Она задыхалась. Она завидовала подругам и не шутя подумывала сделать что-нибудь над собой, изуродовать лицо, например, только бы этот чесоточный оставил ее в покое. Но в конце концов она привыкла... А поскольку Джумбер всегда следовал за ней на таком расстоянии, что посторонний человек и не подумал бы, что они вместе, что они связаны чем-то, Мака не обращала на него внимания и шла себе, не оглядываясь, к дому. Постепенно она даже стала забывать, что кто-то, идущий следом, отсчитывает каждый ее шаг. Это бесило парня. Пока его избегали, он не был в претензии, молчал, но теперь, когда ни во что не ставили, не стерпел. День ото дня он стал подходить к ней все ближе и однажды что-то негромко сказал. Мака взглянула на него с надменным превосходством и мстительным отвращением, но в ту же секунду почувствовала, что ее чем-то хватили по голове. Не успела она прийти в себя, как ударили еще раз и еще. Она закрыла лицо руками и едва не расплакалась, но вспомнила, кто стоял перед ней, и проглотила обиду. Когда она раскрыла глаза, Тхавадзе поблизости не было.

Такое длилось довольно долго...

«Все это детские глупости. Интересно, помнит ли он еще?» — подумала Мака. Она подвинула стул к окну и достала из сумки книжку, прихваченную, чтобы скоротать время.

Кто-то открыл дверь.

Мака не обернулась.

— Лежава в этой палате? — спросил низкий мужской голос.

— Я слушаю вас!

Мака узнала вошедшего. Это был тот самый коренастый мужчина, с которым Джумбер разговаривал во дворе,— главный врач ианисской больницы Хиджакадзе.

— А вы дочь больного?

— Да.

— Очень приятно,— он протянул Маке обе руки. Стоящий позади него молодой врач заулыбался, закивал, но, видимо робея, не посмел сделать то же самое.— Пожалуйста, садитесь,— главный обернулся к Маке и указал на стул у окна.— И не беспокойтесь. Все будет прекрасно,— потом, взглянув на больного, по слогам:— Пре-кра-сно!

Но этот озабоченный, неуверенный бас не сулил, казалось, ничего хорошего, и сердце у Маки оборвалось.

— Отец!.. — чуть слышно выдохнула она.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На рассвете Гено задремал, но как только чистое утреннее солнце засветило в окна, он раскрыл глаза, встал и на цыпочках вошел в комнату к Гоче. Ребенок спал под своей кроваткой на матрасе, откуда его никакими силами не смогли стащить. Бабушка, поднявшись до солнца, суетилась по хозяйству. Снизу доносились звуки шлепков по тесту, передвигаемых мисок и воды, хриловато булькающей в горле кувшина.

Когда Гено спускался по лестнице, его остановил голос Авксентия — двоюродного брата, живущего рядом, по другую сторону забора.

— Здорово, Гено! — Авксентий, присев на корточки возле колес самосвала, возился с чем-то.

Гено поднятием руки ответил на приветствие и жестом же спросил, чем он там занимается спозаранок.

Авксентий прислонил к кузову железный лом, которым выколупывал голыш между новенькими, в ребрах протекторов, покрышками, и подошел к забору.

В это утро Гено было не до него, но, спустившись во двор, он все-таки задержался.

— О чем ты спросил? Не понял я...

— Да ничего. Чем, говорю, занимаешься с утра пораньше?

— А-а... Да вот приходится за ней ухаживать, ублажать... Машине, если любишь, всегда чего-нибудь надо.

Прямо как жене, честное слово! — осклабился Авксентий.

Гено взглянул на огромный самосвал:

— Не слишком ли у тебя мощная жена?

— Жена — будь здоров! В порядке...

— Слушай, каким это образом ты ее, как собственную, дома держишь? Хозяина нет у нее?

— То-то и оно, что есть. Потому здесь и стоит.

— Насколько я помню, у вашей стройконторы имеется гараж.

— Что это за гараж, скажи на милость! Огородили поляну горбылями, лезь — не хочу. А народ вокруг разный ходит... Мало ли что...

— Остальные шофера тоже по домам машины держат?

— Не знаю, как остальные, а я так считаю: если они хотят, чтоб машина даже по мелочам не барахлила, она должна стоять у меня. А если ее в чистом поле оставлять, неизвестно, в каком виде утром застанешь. Нет, машина, как жена, — опять осклабился Авксентий. — Нельзя в чужие руки отдавать... Совсем забыл: как там отец Маки?

Гено покачал головой:

— Плохо.

— Что ты говоришь?!

— Операцию будут делать. Не знаю, перенесет ли...

— Жаль Маку. Она так любит отца...

— Авксентий, извини меня, мне нужно позвонить Маке. Гоча без нее не спит, не ест...

— Да! Папаша среди ночи разбудил нас: сходите, говорит, узнайте, в чем дело, почему мальчишка надрывается.

— Извел нас совсем. До утра не унимался.

— Я спросонья и не сообразил, что Маки нет дома, а то пришли бы проведать.

— Твоя Цабу еще не проснулась?

— Разве так рано ее добудишься?

— Скажи ей, когда проснется, пусть зайдет поиграть с Гочей, может, развлечет...

— Так я ее сейчас же разбужу, Гено!

— Не надо — пока и Гоча спит.

— Ну, хорошо. Ладно. Как только встанет, так сразу и направлю к вам... Только бы помочь, а мы... Ее же Мака спасла от смерти, мою Цабу. Помнишь, когда у нее дифтерит начался? Тоже ночка была, скажу я тебе!..

Умывальник оказался пуст. Гено открыл дверь в подсобную комнату и вошел.

Мать месила тесто.

— Ты уже встал?

Гено огляделся, ища кувшин с водой.

Мать облепленной тестом рукой указала ему на стол в углу.

— Что делать теперь будем?

— А что?

— Дай бог здоровья моему свойственнику, но если ребенок опять не уймется... не знаю, как быть... хоть в воду бросайся...

Гено только сейчас заметил, как запали у матери глаза после бессонной ночи.

— Но пойми ты, там человек при смерти. Не может же она его бросить!

— Конечно, но...

— Ладно, хватит,— Гено забрал кувшин и вышел.

Он понимал, что мать беспокоит не только состояние Гочи. У нее была еще другая забота, быть может, более важная, но о которой она не смела заговорить так сразу.

Гено прекрасно знал цену своему шурину, знал, что за хорошую выпивку тот способен продать даже собственную сестру. Что бы с ним ни случилось, его не стоило бы выгораживать, но жаль Маку и особенно несчастного Симона. Только поэтому Гено ни о чем не заикнулся.

А если сказать теще?

При этой мысли Гено почему-то вспомнилась виденная где-то увеличенная фотография супружеской четы, которую носил по деревням бродячий фотограф,— плоские, ничего не выражающие лица, снятые в разное время и соединенные лишь волей фотографа; их ничто не связывало, они даже не знали о существовании друг друга.

Гено поплескал воды на шею, на грудь и лицо и, не убрав кувшина, шагнул к лестнице.

— Не уходи без меня! — мать выглянула в двери.

«Что еще?» — недовольно подумал Гено и быстро поднялся наверх. Гоча все еще спал.

Перед тем как уйти на работу, Гено спустился вниз в подсобную комнату.

— Садись, сынок, я тебе хачапури испекла. И чай вот-вот закипит...

«Что-то она собирается сказать»,— подумал Гено и, бросив на табурет сложенную вдвое газету, сел.

— Может быть, Марго вчера приходила?—спросил он. Мать подняла голову и взглянула в лицо сыну.

— Приходила.

— Ну и что?

— Обрадовалась, что не застала вас.

— Но я, мама, еще не записывался в сваты. Я совсем по другому поводу ездил туда,— поспешно сказал Гено.

— Конечно, сынок, но могло же к слову прийти. Вы бы и поговорили...

— О чем можно говорить при больном?

— Он убьет Марго, ее муж! Это изверг, а не человек! Ты же знаешь, какой он. Никого не пощадит — головорез настоящий!

— Нас они ни о чем не спрашивали. А теперь, когда дело сделано, разбитые горшки предлагают склеить.

— О чем же было спрашивать? Парню Мери нравилась, к тому же он брат твоей жены. А ты же знаешь, как они относятся к Маке, прямо боготворят.

— При чем тут Мака?

— Брат он ее, вот при чем!

— Брат. Но Мака есть Мака, а ее брат дурень, оболтус и пошляк.

— Никакой он не дурень. Ты это брось.

— Да говорю я тебе...

— Ничего, поумнеет. Молод еще, остепенится.

— Вот когда остепенится, тогда и женится, если захочет.— Гено встал.

— И, пожалуйста, мама, больше не говори об этом ни со мной, ни с Макой. Мы ничего не знаем.

— Послушай, сынок... Марго то же самое говорит — не дело из-за этого Гено с Макой беспокоить, но...— Она наклонилась к камину, подсыпала щипцами жарких угольков на глиняные сковородки и проговорила: — Совсем плохи дела.

Гено тут же припомнил вчерашний разговор с женой. «Может быть, она все знает и скрывает от меня? Хочет обелить братца в моих глазах?»

— А что случилось? — громко спросил он.

— Время не терпит, сынок... Только не хочу, чтобы Мака от меня об этом узнала: кто меня спрашивает! Теперь со старшими не считаются.

— Беременна Мери, что ли?

— Марго говорит, что да. Умоляла не передавать тебе, чтобы Мака ненароком не узнала. Но жаль девочку до слез. А я, как сыну, тебе скажу: ради бога, ради всех святых поторопите вы это дело, допускать не надо было, но теперь уж ничего не попишешь...

— Да, дела... — пробормотал Гено и вышел из дому.

В редакции еще не было ни души, и он сразу же заказал разговор с Ианиси. Пожалуй, он не предполагал, что так рано Симон уже в больнице, но ему не терпелось. Его соединили с дежурным врачом. Потом, когда Мака сама позвонила ему, он не стал говорить с ней о брате, а сказал только, что ребенок не спит и не ест, а бабка волнуется.

«Ублюдок», — твердил он целый день, вспоминая о Бичико, и это слово так привязалось к нему, что ему стоило усилий, разговаривая с кем-либо, не сболтнуть его случайно.

В перерыв он выскочил из редакции, взял такси и съездил домой. Гоча играл с дочкой Авксентия — Цабу. Это немного успокоило Гено, но мысли о Маке не оставляли его ни на минуту. «Только бы отец ее немного оправился, только бы отец не был так плох. А с этим ублюдком будь что будет — негодяев не стоит жалеть. Но Мака?.. Это ей урок — нечего защищать такого братца...»

На обратном пути, когда показалось невзрачное, покосившееся здание редакции с типографией в полуподвале, он вдруг вспомнил: «Да... что это еще за Тхавадзе там объявился? Откуда он знает Маку, и что за дружба связывает его с Бичико?..»

Вечером, в начале одиннадцатого, в палату тихонько вошел Бичико. Он принес какой-то сверток, положил его на шкафчик возле койки больного, а сам остановился, виновато озираясь.

«Что это с ним? — Мака с удивлением наблюдала за братом. — Работа Джумбера? Ну, раз пришел, может быть, останется на ночь, а я съезжу домой и утром вернусь».

— Что говорят докторишки? — спросил Бичико.

Пожилкой больной, закинул голову, глянул на него и почмокал губами. Молодому днем сделали операцию, и теперь ему было не до разговоров. Возможно, он и сог-

лашался с Бичико и тоже невысоко ставил местных врачей,— в таком случае он соглашался с ним в душе.

— Отложили на завтра,— сказала Мака, не глядя на брата.

— Кто будет оперировать?

— Я не знаю этого врача.

— Но есть же у него фамилия?

— Хиджакадзе.

— А-а, это Джумбер его уговорил.

— При чем тут Джумбер? Он врач этой больницы. Не тбилисская знаменитость.

— Много ты понимаешь!

— И не хочу понимать,— Мака взглянула на спящего больного и, понизив голос, прибавила: — Ты должен сегодня остаться!

— Где?

— Здесь, вот в этой палате. Если отец спросит, где я, скажи — пусть не волнуется, я скоро вернусь. Мне надо съездить за Гочей. Утром сменю тебя.

— На чем собираешься ехать-то?

Мака не хотела затягивать разговора с братом:

— На чем люди ездят?

— Поезд завтра утром будет там, а не здесь. До половины третьего через Ианиси ни один поезд не пройдет.

— Проклятие! — в сердцах вырвалось у Маки. — А ростовский?

— Ростовский здесь не останавливается.

— Что же делать? Мальчишка опять не будет спать. Где ты пропадал до сих пор? Я бы на автобус успела.

— Если его завтра оперируют, ты и без меня могла уехать, чего ты, собственно, ждала?

— Ласки твоей и внимания. Только не я, а вот он! — Мака кивнула на спящего отца, но тут же прикусила язык и постаралась придать лицу спокойное выражение — ей не хотелось спорить с братом, особенно здесь, в больнице. — Ни на шаг меня не отпускает. Ты прекрасно знаешь, отец никогда не беспокоил нас...

— Это он тебя не беспокоил.

— А тебя? Хотел уму-разуму научить, так для тебя это беспокойство?

Дверь в палату приоткрылась, и вошла толстенькая, румяная медсестра. Мака с изменившимся лицом обернулась к ней:

— К телефону?

- Маку Лежава.
- Да, да, это я! Звонят?
- Да, к телефону.

— Господи, что же делать? — проговорила Мака, вскакивая, и почувствовала, как задрожала у нее нижняя губа.

Она оттолкнула остановившуюся в дверях медсестру и выбежала в коридор.

— Гражданка!.. — донесся до нее изумленный возглас толстушки.

Коридор показался бесконечно длинным. В комнате дежурного врача она не увидела ничего, кроме черной телефонной трубки, лежащей на толстом стекле стола, и, еще не поднеся ее к уху, крикнула: — Алло!..

— Алло! — повторила она, распутывая шнур и морщась, как от нестерпимой боли. — Что случилось, Гено, почему ты звонишь? Гено, ради бога, я слышу плач! Это Гоча? Откуда он?.. Ах, на машине Авксентия... Он и сейчас плачет, я же слышу. Боже мой! Дай ему трубку! Дай скорее! Гоча, Гоча! Родной мой, это я, мама!.. Да, мама, — она улыбнулась, прислушиваясь к детскому голоску в трубке. — Я сейчас приеду. Ты больше не плачь. Гено, не сердись на него! Я еду. Прямо отсюда. Да, да... Перехвачу какую-нибудь машину. Бичико здесь, он мне поможет. Через полтора часа буду у вас, сынок.

У дверей дежурки столпились санитарки и больные. Они удивленно переглядывались и пожимали плечами.

Даже не поблагодарив врача и медсестру, вызвавшую ее к телефону, Мака выбежала в коридор.

Когда она вернулась в палату, отец уже не спал.

— Что у них там, дочка?

— Ничего, отец, не волнуйся.

— Худо мне без тебя. Как в лесу я...

— Не бойся. Завтра все будет хорошо. Я сейчас говорила с Гено, — мне придется ненадолго съездить...

— Да, да, берегите Гочу. А мое дело пропащее. Маленького береги.

— Ступай! — Мака обернулась к Бичико. — Сейчас же ступай и достань машину!

— Вот дает! — усмехнулся Бичико. — Где я ее теперь возьму?

— На что в городе такси?

— Такси всего шесть штук, да и те такие раздолбанные, что за город не поедут.

— Не знаю! Достань частную! — Мака торопливо сняла халат и повесила его в изголовье отцовской кровати. — Пошли!

Бичико встал.

— Что за мальчишка у вас там такой? Видно, тоже буян растет.

— Тебе этого не понять. Ступай вперед.

— Мака! — окликнул ее отец.

— Я привезу его сюда, папа. Ты ведь тоже хотел его повидать, — она прикрыла за собой дверь.

Пройдя весь длинный больничный двор, она буквально пробежала через проходную у ворот и остановилась. Сзади слышались шаги Бичико.

Улица была пустынна.

Она огляделась. Бичико вышел на середину мостовой и встал там, засунув руки в карманы.

Мака подошла к нему.

— Позвоню Джумберу. Может быть, он согласится поехать, — сказал Бичико.

— Тхавадзе?

— Кто же еще? Остальные Джумберы на своих на двоих ходят.

— Ни в коем случае! Хватит и того, что он с тобой возится.

— Ни с кем он не возится. А ты лучше укороти язык и не болтай, чего не знаешь.

— Это я-то болтаю! — Мака вспыхнула от возмущения, но Бичико не мог увидеть этого в темноте. — Что может быть общего у меня с Тхавадзе? — сказала она и, понизив голос, добавила: — Я не знаю, кто такой Тхавадзе.

— Не прикидывайся. Ты прекрасно его знаешь, но вчера почему-то не поздоровалась.

— Откуда тебе известно, знаю я его или нет?

— Да уж известно...

— В таком случае, может быть, тебе известно и то, что ты мой брат?

— А тебя, кстати, никто не оскорбляет. Ни твоего надутого мужа.

— Это Гено-то надутый?

— Черт с ним, с твоим Гено. Вот еще!.. Человек к тебе с уважением, а ты...

— Не нужно мне его уважения. Пусть он тебя уважает.

Далеко на дороге засветились фары автомобиля.

— Могла бы поздороваться или хотя бы поблагодарить, что до дому довез. Ничего б с тобой не случилось. Тебя и твоего Гено спросить, так вы все на свете знаете и понимаете, — образованные!..

— Не тебе нас учить! А я не желаю знать твоих дружков-собутыльников! Не желаю, и точка!

Машина приблизилась настолько, что стал различим ее силуэт.

— Вон машина идет. Плати, сколько запросит!

— Не учи ученого. Это грузовая.

— Если б ты хоть на что-нибудь был годен, ты не пошел бы в лакеи к Тхавадзе! — вырвалось у Маки, и она решительным шагом пошла по дороге.

— Что ты сказала? — крикнул брат, нагоняя ее.

— Если ты хоть на что-то способен, если хоть кто-то в этом городишке считается с тобой, — сейчас же найди мне машину! — не оглядываясь, жестко отозвалась сестра.

— Я нашел тебе машину, но ты же не хочешь!..

Мака вдруг остановилась и замерла, прислушиваясь. Ей почудился детский плач. Огляделась. Она стояла у чьих-то ворот. В глубине двора, в доме, плакал младенец.

— Ты слышишь! — крикнула Мака. — Мне — хоть пешком идти!

На столбе с дощечкой «Остановка автобуса» тускло горела единственная лампочка. Изредка появлялись одинокие прохожие. По ту сторону дороги стоял торговый ларек, крашенный в зеленый цвет. В ларьке горел свет, и с улицы хорошо было видно продавца в белом халате; — он озабоченно щелкал на счетах и то и дело покашливал в кулак. Бутылочные осколки, разбросанные вокруг ларька, поблескивали в электрическом свете. Ночь стояла темная, безлунная, но небо было ясным, и несчетное множество звезд мерцало в нем.

Мака медленно прохаживалась по улице.

«Он еще не доехал... Где теперь искать машину?.. Да нет, найдет что-нибудь. Мало ли халтурщиков рыщет по городу. Им только заплати как следует, они хоть на тот свет с тобой поедут. Нет, конечно, машину он найдет. А что, если он вернется с Тхавадзе? Неужели Джумбер из-за меня подружился с моим оболтусом? А мне-то что за дело. Пусть... Может, и вправду поможет ему. Бичи прав: почему я не поздоровалась с ним? Из-за давно

позабытых детских глупостей?.. Да нет, нет. Я просто не узнала его... Он был мальчишка. Вроде любил меня и пытался объясниться!.. Бичико не может быть лакеем ни у кого. Это я возвела напраслину, перехватила... Лучше бы он позвонил, теперь мы были бы на середине пути... А у Тхавадзе, оказывается, и телефон есть. Каков размах!.. Интересно, женился он? Наверно, женился, столько лет прошло... Хотела бы я знать, на ком?» Мака улыбнулась и незаметно огляделась. Улица была пуста. Через дорогу перебежала кошка. Мака пожалала плечами. Даже если ее и увидят — мыслей-то не прочитать!.. «А она лучше меня?.. Глупости».

Подъехал автобус. Кроме Маки, никого на остановке не было. Водитель открыл дверь, коротко просигналил и отъехал, но возле Маки притормозил еще раз и только после этого покатыл дальше.

Мака взглянула на часы. Они показывали почти половину двенадцатого.

«Скоро он появится. В час я буду дома, с моим маленьким Гочей. С Гочей и с Гено... Ах, сколько звезд на небе! Наши звезды... Отец, наверное, не долго протянет. Бедный папа... Нужно сразу же вернуться назад».

Она не чувствовала страха, наверное, от того, что рядом в ларьке была живая душа и горел свет. Свет горел и по ту сторону дороги в нескольких домах, за деревьями.

«Интересно, отчего там плакал ребенок. Он еще маленький, по голосу — грудной. Что, если и Гоча сейчас плачет?.. Скоро, скоро Бичико появится на машине. А если не найдет?.. Пусть берет у Тхавадзе и сам садится за руль. Ничего, сейчас даже женщины водят машину. Раза два я пробовала, когда родственник Гено — Нодар приезжал к нам на своем «Москвиче». Вот будет у нас машина, и я непременно выучусь водить. Нет, нужно ведь достроить дом. Да и потом — где нам взять денег на машину... Нодар подремонтирует своего «Москвича», и считай, что он наш,— Нодар ни в чем не отказывает Гено. Был бы он сейчас на ходу... Погоди! Но почему я не сказала Гено, чтобы они с Авксентием выехали нам навстречу? Авксентий не поленился бы для нас, я знаю... Он как-то особенно расположен ко мне, и я плачу ему тем же».

Опять проехал автобус.

Мака почувствовала, что кто-то смотрит на нее, и обернулась: продавец ларька поднял застекленную раму и, облокотившись о стойку, разглядывал ее.

Маке сделалось не по себе. Она опять отошла к автобусной остановке и остановилась под тускло горящей лампочкой. «Он видел, что и в ту, и в другую сторону проехали по два автобуса. Стало быть, дамочка уезжать не собирается. Неплохо высчитано. Торговцы — они считать мастера...»

— Красотка!

Мака вздрогнула. Хотя она и ждала, что продавец вот-вот заговорит с ней, в первое мгновение испугалась, но потом шагнула к ларьку.

— Чего изволите? — Продавец чуть ли не по пояс вылез в окно. — Не стесняйся, дорогая, все, что душе угодно!

Мака остановилась и, глядя ему в глаза, сказала:

— Отстань. Сделай одолжение — отстань!

Продавец, как улитка в раковину, вполз назад и оперся подбородком об руки.

— А я что? Я ничего... Я говорю, может, нужно что-нибудь... Больница тут под боком, мало ли что человеку может понадобиться.

— Закрой свое окно, сделай одолжение, — повторила Мака.

Продавец опустил на стул. Теперь только его круглая голова возвышалась над стойкой.

«Сколько же прошло времени?» Мака вернулась на остановку и посмотрела на часы: стрелка отсчитала каких-нибудь шесть минут. «Хоть бы он сообразил одолжить машину у Джумбера».

Далеко на дороге показались ярко горящие фары. Автомобиль мчался на огромной скорости, и фары вырастали, приближались.

Мака облегченно вздохнула.

— Слава богу... едет.

Завизжали тормоза. Машина замерла, покачиваясь на рессорах.

«Победа»?!

Мака не двинулась с места.

— Быстрей! Чего стоишь? — послышался из машины голос Бичико.

Да, перед ней стояла «Победа», то ли синяя, то ли зеленая, но главное — не светло-коричневая.

Мака подбежала к машине и, еще стоя одной ногой на земле, крикнула:

— Скорее! Прошу вас, скорее!..

Как Мака и предполагала, сына пришлось забрать с собой. Теперь ей предстояло вечерами бегать из больницы домой, укладывать ребенка спать и возвращаться к отцу. И она решила забрать в Ианиси свекровь — бабу Магдану, к которой привык маленький Гоча. К тому же свойственницы — Магдана и Ольга — поговорили бы между делом о Бичико и Мери и, быть может, с божьей помощью и с помощью Гено, который в свободное от работы время обещал наезжать, нашли бы выход из положения.

Таким образом, Гено оставался один и, провожая семью, вдруг остро почувствовал это.

— Как же ты теперь? — крикнула ему Мака из окна машины. — Позвони в школу. Скажи директору, что бюллетень я оформлю там, на месте, когда отец оправится... Но как же ты будешь без меня?

Звук мотора заглушил голос жены, а Гено все смотрел вслед отъехавшей машине и думал: «Она словно рада, словно гордится тем, что ребенок не может без нее, что отец не соглашался на операцию до ее приезда, что брата ценят из уважения к ней, а муж... как же ты без меня?..»

Пока машина не скрылась из виду, Гено стоял на дороге и смотрел ей вслед.

Утром он встал пораньше, наскоро позавтракал, запер дом и отправился в редакцию. За эти сумбурные дни у него накопилось много работы.

Он протиснулся между типографскими столами в свой кабинет и, пока не пришел его сосед по комнате, Шакро, работал, не поднимая головы.

Прежде чем взяться за бумаги и авторучку, Шакро надел сатиновые нарукавники, защищавшие пиджак, потом пригладил аккуратно причесанные редкие волосы и попросил у Гено разрешения воспользоваться телефоном.

Гено с улыбкой кивнул ему.

Шакро поговорил по телефону с каким-то директором, через каждое слово почтительно повторяя «товарищ директор», потом тщательно сложил на столе газе-

ты, письма и вырезки из центральной прессы и, как только Гено дочитал гранки, обратился к нему:

— Пожалуйста, извини меня, я хочу спросить, как самочувствие твоего тестя?

Гено поджал губы и без слов покачал головой.

— Что ты говоришь? — огорчился Шакро.

— Сегодня будут оперировать, — сказал Гено. Он еще раз просмотрел гранки, зачеркнул целую фразу, дописал новую и отложил полосу в сторону.

— Мудрый я человек, — выждав приличное время, сказал Шакро и лукаво улыбнулся. — Ни за тещу переживать не приходится, ни за тестя.

— Мудрый ты человек! — проговорил Гено и поставил номер на полях отложенной полосы.

— Удели мне, пожалуйста, минутку, будь другом! — Шакро покосился на дверь. В коридоре послышались чьи-то шаги. Типография еще не работала.

— Слушаю! — отозвался Гено, вычитывая новый лист.

— Что собираются делать с Доментием?

— С редактором?

— Да.

— А что? — Гено поднял голову. — Почему ты спрашиваешь?

— Тогда, может быть...

— Что-нибудь случилось?

— Говорят, его переводят в райком.

— В первый раз слышу.

— Инструктором...

— Хотят убрать отсюда?

— Вот и сегодня он вызван к секретарю...

Дверь приоткрыла молоденькая корректор Циала Жгенти. Шакро поспешно надорвал конверт, лежавший на столе, и стал читать письмо.

— Доброе утро! — Циала улыбнулась Гено и подмигнула в сторону Шакро.

Гено без улыбки кивнул ей и поднял вверх большой палец: мол, Шакро вот такой парень.

Циала прижала руки к груди и закатила глазки.

Постепенно собрались типографские рабочие. Залязгали, застучали станки — рабочий день начался.

Редактор пришел часам к двенадцати, но Гено его не видел.

Во второй половине дня редактора опять вызвали в райком, однако вечером ему предстояло подписать номер, так что рано или поздно Гено надеялся застать его.

Поначалу он хотел дождаться редактора и поговорить, но станки грохотали с таким остервенением, что он с гудящей от усталости и шума головой встал и вышел на улицу.

С утра он ничего не ел, от этого на душе было мутно, скверно. Завернул в закусочную. Взял сосисок с пивом. «Вот и пиво уже разбавили. Значит, близится лето», — подумал он, ставя на стол допитую кружку.

Вышел опять. Присел на скамейке в сквере. Домой не спешил, — там его никто не ждал. Подумал зайти в библиотеку, по голова раскалывалась — не до чтения.

— Здравствуй, старина!

Рядом на скамейку устало опустился Ушанги Ахвлядиани, университетский приятель Гено.

— А! Ты откуда?

— То есть как откуда? Я тут каждый день прогуливаюсь. Утром в один конец, вечером в другой.

— Ах, да, верно... Ну, как, ты все еще там? Не переменил работу?

— Кто ж мне поменяет железо на золото?

— Такое уж золото твоя деревня?

— По сравнению с той, где я работаю, — рекордный слиток! Хоть дорога приличная есть.

— Что говорят в отделе просвещения?

— Просветители? Я им уже не верю, пусть говорят, что хотят. Представь себе, пока я из дому пешком доберусь сюда...

— Почему же пешком? Разве к вам не ходит автобус?

— В такую рапъ, мой дорогой, автобусов не бывает — это во-первых. А во-вторых — ходят ли они вообще? А? Как ты думаешь? Шофер кричит — покрышек нет, и так пялится на меня, вроде дал их мне на хранение, а я не возвращаю.

— С покрышками действительно туго. На проселках они особенно быстро стираются.

— А потом, когда я, наконец, заберусь туда, — Ушанги махнул рукой в ту сторону гор, где была деревня и школа, в которой он работал, — и проведу там урок, можешь себе представить, на каком уровне он пройдет.

— Я думаю, твой урок все-таки будет неплох.

— Не обольщайся, — покачал головой Ушанги. — По-

том возвращаюсь домой, а там, если хозяйством да виноградником не заняться, на учительскую зарплату семью не прокормишь. Не-ет! На библиотеку деревенскую кохусь, как на грешницу, как на искушение, боюсь, как бы не совратила...

— Почему перестал писать для нас? Без твоих замечток газета скучнее.

— Тогда я еще не сдавался. Брыкался, брат, из последних сил. А теперь...

Ушанги встал.

— Что? Уходишь?..

— Пойду. Виноградник нужно мотыжить и окучивать. Да и вина в чане убавилось, перелить придется... Эх, старина! — Заглянул бы как-нибудь на досуге, что ли? Хлеб без тебя черствеет и вино киснет... Нет, я серьезно, заходи — рад буду!..

— Узнаешь вон того? — Гено кивнул на мужчину, появившегося у входа в сквер, в конце аллеи.

— Представь себе, не узнаю. В самом деле не узнаю,— улыбнулся Ушанги. — По нашим конспектам институт окончил, а теперь где вынырнул?.. Эх, дай бог каждому!..

Мужчина, заложив руки в карманы кителя, неторопливо прошествовал в чинаровую аллею.

— Куда это он путь держит, хотел бы я знать?

— Не то что сейчас — когда он рядом сидел в аудитории, я и тогда не мог понять, куда он ходит и зачем.

— Пожалуй, и я пойду.

— Едем ко мне, если есть время.

— Нет, на такое я сейчас не раскачаюсь. Схожу, узнаю, может быть, фильм приличный сегодня, а потом домой. Тоже дел невпроворот — дом недостроенный стоит.

У выхода из сада Гено задержался:

— Слышал? Доментия переводят от нас.

— Куда?

— В райком. Инструктором.

— Если он, будучи редактором, выпивал, инструктором тем более не бросит.

— Да нет, не только из-за этого. Я думаю, из-за статьи. Я еще не говорил с ним, но мне так кажется.

— А что за статья такая?

— Да ничего особенного — на прошлой неделе материалы рейда были опубликованы, он их статьей сопроводил.

— Вот оно что!.. Посмотри, тебе кто-то машет.

— Где?

— Не там. Вон, около аптеки. В красном платье...

— А-а, наш корректор!..

— Циала? Все никак не выдадите замуж? Или не в силах расстаться?

С Циалой была незнакомая пухленькая девушка в платье с глубоким вырезом, низко открывавшим розоватую грудь.

— А эта пышка тоже корректор?

— В первый раз вижу.

— Мне сейчас не до светских разговоров. — Ушанги оглядел себя, издали поклонился девушкам, собираясь уйти, по Циала, смеясь смуглым чернявым лицом, преградила ему дорогу.

— Здравствуйте, Ушанги!

— Здравствуйте! — Ушанги угрюмо пожал протянутую руку.

— Ты куда, Гено?

— Никуда. Слоняюсь... Что это за хорошенькая девушка с тобой?

— Эта хорошенькая девушка?.. — Циала свысока глянула на подругу, которая была меньше нее ростом.

— Ну, я пошел, — Ушанги все-таки собрался. — Всего хорошего! Заходи как-нибудь, Гено.

— Напугал ты меня — автобусы не ходят...

— Куда? Куда? — заинтересовалась Циала.

— Ко мне в деревню. Вот и Циалу прихвати с собой.

— А эта девушка в чем провинилась? — Гено улыбнулся незнакомке.

— И ее тоже. Ну, бывайте. — И Ушанги ушел.

— Мог бы укоротить свои штаны... — хмыкнула Циала, глядя ему вслед, потом обернулась к Гено и спросила: — Признавайся все-таки, куда ты идешь?

— Успокойся, Циала. Я иду с вами.

— Нет, я серьезно. Мне ужасно интересно, куда ходят женатые мужчины.

— В кино собирался, — сказал Гено.

— Ой, а я его вчера посмотрела!..

— Не беда, посмотришь еще раз. А твоя подруга тоже уже посмотрела?

— Не знаю. Ты видела этот фильм, Тебро?

Тебро покачала головой.

— Тебро... Кто дал тебе такое чудесное имя? — Гено

подался вперед и заглянул в лицо девушке, шагавшей рядом с Циалой.

— Мама,— с явным удовольствием ответила девушка.

— Давайте поедим мороженого, а потом можешь идти в кино.

— Один?

— Возьми с собой Тебро.

— Охотно. Но мы опоздаем.

— Можно на второй сеанс. Будь Мака дома, я не стала бы тебя задерживать.

— Верно, Маки дома нет! Значит, идем в наше «счастливое» кафе!

— Вроде, когда Мака здесь, ты так уж нигде не бываешь!

— Да, но тогда, сидя за столом, я чувствую над собой... — Гено понял, что увлекся, и замолчал.

— Сейчас же перестань! Тебро решит, что ты серьезно! — воскликнула Циала. — Если б ты только знала, Тебро! У него жена — сущий ангел!.. Фу, противный! — Циале хотелось показать подруге, что она на короткой ноге с начальством. — Если это кафе, — сказала она, входя в странное дощатое помещение, сколоченное в форме цилиндра, — то что же тогда амбар?

— А Тебро никогда не разговаривает или только сегодня?

— Тебро? — Циалу словно удивил этот вопрос. — Она еще заговорит. Потом.

Гено покорило какое-то невысказанное (а может быть, как раз прозвучавшее в ее словах) превосходство.

— С такими глазами Тебро могла бы совсем ничего не произносить, — сказал он.

Циала вдруг порывисто обернулась к подруге и заглянула ей в лицо.

— Да, ее глаза умеют говорить...

Циала все-таки посмотрела фильм во второй раз. Во время сеанса она шепталась с Тебро, объясняла ей происходящее на экране, заранее рассказывала события.

Когда они вышли из кинотеатра, солнце уже садилось, и силуэты окрестных гор темнели на розовом небе.

— Что мне сказать дома: где я была?.. — захныкала Циала.

— Скажи правду. Тем более, что скрывать тебе нечего,— ответил Гено.

Циала сразу осеклась и, переждав некоторое время, заговорила обычным тоном:

— Гено, у нас к тебе дело. Ты не мог бы немного проводить нас?

Они пошли прочь от кинотеатра. Сзади, за их спинами, садилось солнце, и на пути у них легли тонкие удлинившиеся тени.

Словно желая помешать разговору подруги с Гено, Тебро потянула ее за руку.

— Пусти!

— Что она?

— Стесняется,— сказала Циала так, словно застенчивость вообще была не свойственна Тебро.

— Скромность украшает женщину.

— Знаем, знаем...

— Я вижу, Циала хочет сказать мне что-то интересное.

— Вовсе нет,— проговорила, наконец, Тебро.

— Ничего особенного, поскольку речь идет о простой протекции.

— Что я могу?

— Гено, я знаю, ты добрый человек, поймешь. Вот Тебро... она неплохая девушка, поверь. Пусть Доментий примет ее корректором — будет со мной работать.

— С нами, ты хочешь сказать,— поправил ее Гено.

— Да, с нами. Пятый месяц человек без работы. На заочном учится...

— Доментия собираются перевести.

— Может быть, он успеет до перехода сделать это. Он тебе не откажет. Я бы сама сказала, но лучше, если ты.

— Сказать не проблема...

— Вот и отлично!

На перекрестке Циала остановилась.

— А теперь я пошла. Утром, надеюсь, ответ будет известен,— и она, не оглядываясь, перебежала через улицу.

— Так мы остались одни, Тебро...

— Вам это неловко? Тогда я пойду.

— Нет, что ты! Напротив.

Они вышли к реке. На мосту Гено остановился, облокотился о перила. Река текла мутная, желтовато-коричневая и несла с собой измочаленные корни ив.

— Тебро, твои волосы того же цвета, что и корни ив.

— Циала говорит, что вы никогда не лжете.

— Это вовсе не потому, что я такой уж благородный. Неправда трудна, ее нужно придумать, а правда — вот она, смотри и говори.

— Вы пишете какую-то книгу?

— Нет. То, что я пишу, это не книга. Книга-роман. Пойдем, я тебе еще кое-что скажу...

За мостом дорога выгибалась влево, а справа, у основания отвесной скалы, оставался новый, еще не загудронированный участок пути.

Близились ночь.

— Вы обещали что-то сказать...

— Да, сейчас,— Гено взял Тебро под руку.— Ты знаешь, какие у тебя глаза?

Тебро даже остановилась:

— Не знаю.

— Не удивляйся: когда в известковой яме набирается дождевая вода, она прозрачна и чиста, как твои глаза.

Дорога круче пошла в гору. В небе горела звезда.

— Может быть, посидим?

— Посидим.

Они сели на скатившийся к обочине высокий валун. Совсем стемнело. Внизу лопотала невидимая в темноте река.

Тебро, притихнув, поглядывала на дорогу.

— О чем ты думаешь?

— О той звезде, что одиноко горела, когда мы шли в гору. Теперь ее и не найдешь... На таком огромном небе не нашлось ни одной звездочки для меня.

Она умолкла, и стало очень тихо.

— Что скажет жена, если увидит нас сейчас?

— Почему ты вспомнила о моей жене?..

Тебро промолчала.

«Она опять заговорит о Маке. Ей кажется, что она отнимает что-то у Маки, и это ее мучает».

— Я ничего у нее не отнимаю.

На этот раз промолчал Гено.

— Я ни у кого ничего не отнимаю,— шепотом продолжала Тебро.— Я сама несчастна. Для себя.

— Тебро!..

— С тех пор, как я разошлась с мужем... у меня нет друзей. Циала — моя лучшая подруга. Вы же видели? Она любит меня... Нет, жалеет.

Гено встал и обнял ее за плечи.

— Пойдем?

— Конечно. Не ночевать же тут.

На остановке автобуса кто-то поклонился Гено.

— Кто такой?

— Не помню.

— Идите. Нехорошо. Вас тут все знают.

В конце улицы показался автобус. Тебро подошла к Гено, взяла его за руку. Какое-то время она стояла так, потом, заметив на противоположной стороне позднего прохожего, поспешно отошла и встала там, куда должен был подъехать автобус.

Слава богу, наконец все было позади. Ослабевший Симон спал под действием наркоза. Напротив него, на застеленной койке, с раскрытой книгой в руках дремала Мака. Книгу эту она выпросила у доктора Хиджакадзе. Ей хотелось самой узнать что-нибудь о болезни отца. Но сейчас она была так измотана, что когда Бичико и племянник отца выходили из палаты, не смогла проводить их даже до дверей — легла на койку и закрыла глаза, вернее, просто дала им закрыться. Хорошо, если б хоть часа полтора никто не приходил. Единственное, что время от времени всплывало в ее сознании, это то, что вскоре отцу предстояла вторая операция. «Не перенесет», — думала она и чувствовала тяжелую, тупую боль.

В дверь тихонько постучали.

«Ах, как некстати, как я не хотела!..» Мака оглянулась — может быть, это медсестра, тогда она не встанет. Нуца?! Она все-таки обрадовалась старой подруге, на цыпочках пошла ей навстречу и расцеловала.

— Мака, родная моя! Как вы? Что с дядей Симоном?

— Не знаю, вроде обошлось... Садись, Нуца, сядь...

— Спасибо.

— А как ты живешь? Давно тебя не видела.

— Да, забыла ты меня, Мака, совсем забыла.

Мака улыбнулась ей усталой открытой улыбкой.

— Нет, Нуца, милая, просто я давно не приезжала. Ну, что ты? Как ты? Не помирилась с мужем?

— Никогда!

Мака посмотрела в лицо подруге. Нуца отвела взгляд и, глядя на больного, сказала:

— Говорят, Хиджакадзе хороший хирург. Ты всегда знала, к кому обратиться. Меня так огорчила болезнь дяди Симона, как если б отец родной заболел.

— Ох!..

— Раньше и узнать-то никак не могла. С утра до ночи торчу на этой проклятой почте...

— Нуца, куда подевались ребята и девушки из нашего класса? Я никого не встречаю. Кето и Лиза вышли замуж — это я знаю. Ило защитил диссертацию — это тоже знаю, Уча продал свой дом...

— А почему, спрашивается?

— Наверное, переезжает куда-нибудь.

— Никуда он не переезжает. Просто головы на плечах нет, вот и вся причина.

— Он не женился?

— Зачем ему жениться?.. Кто мог подумать, что Уча когда-нибудь станет таким?

— Не знаю... Люди с годами меняются.

— Ты, наверное, не слышала еще, что Рубен женился на сестре Реваза.

— На маленькой Марго?

— Да, на младшей. Резо ни за что не соглашался на их брак. Ни на помолвке не был, ни на свадьбе.

— Рубен все такой же высокий и поджарый?

— Нет, раздобрел. А Марго все та же, что на твоей памяти, — Нуца вытянула руку на уровне груди. — Вот такусенькая... У Мелитона опять дочь, уже третья. Вчера его встретила — выпивший идет, с горя, говорит, пью...

— О чем горюет-то?

— Да разве забыла, какой он? Шутник.

— Знаю. Если б бездетным остался, сказал бы, что на радостях пьет.

— У Додо умерла тетушка, которая ее вырастила.

— Что ты говоришь?! Макро?

— Да. Она жутко переживала. До сих пор в черном ходит, в такую жару в черных чулках шерстяных.

— Додо ни в чем не знала меры.

— Не знала меры, говоришь? Любила она ее, вот что. Макро ей и мать, и отца заменяла...

— Додо и сейчас в банке работает?

— Ну, да! Ей помогли все, сложились, деньги собрали... Помнишь, как вы дружили?

— Я ее ни разу после школы не встречала. Года два назад искала, хотела повидать, помню, и у тебя спрашивала...

— Тогда, кажется, она в отпуске была...

— Нет, сдавала экзамены на экономический.

— Верно! Верно!.. Сдавала, да не сдала, не поступила. Этой зимой поговаривали, что она за Джумбера Тхавадзе замуж выходит.

— За Тхавадзе?

— Да. Но я не поверила. Это, говорю, все Додо нафантазировала.

— Почему же нафантазировала? Чем Додо ему не хороша! — Мака спохватилась, что не назвала его по фамилии и, опережая Нуцу, добавила: — Додо для Тхавадзе даже слишком хороша.

— Ну, нет уж, Мака! Джумбер в нашем маленьком городке...

— Ты всегда все преувеличиваешь, Нуца! — прервала ее Мака. — Просто директор винного завода — человек всем нужный и всегда на виду! Вот и все его достоинства.

— Не правда, Мака, у него очень отзывчивое сердце... Кстати, это он сказал мне, что дяде Симону сделали операцию.

— Да, Бичи сейчас у него работает...

— Когда у Додо умерла тетушка, он очень помог ей.

— Может быть, он в самом деле собирается жениться?

— Нет! Клянусь тебе, нет! Не то что Додо, — дочка председателя исполкома, писаная красавица, врач — с ума по нему сходила, а он ни в какую... — Нуца понизила голос и с застенчивой улыбкой прошептала: — По-моему, он все еще любит тебя...

— Перестань! И не стыдно тебе с серьезным видом вспоминать детские глупости?!

Мака нахмурилась, тихонько подошла к отцу и приподняла край простыни, которой он был укрыт.

«Зачем он дает людям повод говорить бог знает что? Женился бы уж. Тоже мне еще... этот...». Но кого она подразумевала под «этим», Мака не знала.

К больному подошла Нуца.

— Господи! — вздохнула она и тут же поспешно добавила: — Все будет хорошо, Мака, не бойся! Ты уж

прости меня, на этот раз с пустыми руками, прямо с работы забежала.

— Ну, что ты, Нуца! Как не стыдно!..

Мака вышла за ней в коридор.

— Спасибо, что навестила!

— Я еще зайду на днях. Джумбер просил, чтобы я не шла без него, но я не дождалась, подумала — вдруг тебе не понравится...

— Зачем же ему с тобой? Он был с Бичи.

— Правда?

«Она думала, что я скрою...»

— Не знаю. Он заглянул ко мне на минуту: у нас там народ вечно толчется, не смогла с ним даже двух слов сказать. Ну, да бог с ним! О тебе совсем не поговорили. Сын уже большой, наверное, вырос?

— Да, большой мальчик, — кивнула Мака. — Он здесь со мной. Вечером сбегая. Гено там один дома остался... Ах, только бы отец поправился, а остальное неважно.

— Я недавно статью Гено прочитала. Его, случайно, не перевели в «Комунистн»?

— Нет. Он в местной газете.

В конце коридора показалась крупная лысая голова Хиджакадзе.

— Очень хорошо, что операцию делал он, — Нуца глазами указала на хирурга. — Кажется, сюда направляется. Ну, я пошла...

Мака протянула подруге руку.

— Спасибо, Нуца!

За пять дней Гено звонил дважды, но Мака все-таки была в обиде на него. Прошлой ночью Маке наконец стало известно от свекрови, что Мери беременна. Это сообщение настолько всполошило ее, что она впервые почувствовала себя беспомощной. Она не рассердилась на брата, а пожалела его. А мужа обвинила в том, что он бросил ее одну расхлебывать эту историю, сам же остался в стороне, наблюдая, что выйдет дальше.

Мака не знала, как быть.

Когда у Гено обострились отношения с родней и он ушел из отчего дома, она была рядом, плечом к плечу. Когда свекровь переехала к ним, ребенок был уже не маленький и Мака могла отказать ей, но она, напротив, встретила ее куда почтительнее и ласковее, чем та ожи-

дала. Мака верила в своего мужа, а он бросил ее одну в такую трудную минуту. И почему? Чтоб не ввязываться в неприятности.

Мери чистая, доверчивая девушка. Раз Мака шутя сказала ей: я скажу своему сумасшедшему брату, чтобы он похитил тебя. Это все, что Мака знала об их отношениях. А если Бичико оказался с ней где-то на пирушке, — в застолье все хороши! Надо же было узнать, расспросить, кто он? Чем дышит?

Ну, как теперь привести беременную на шестом месяце женщину в дом к старому Симону, и без того рассерженному на сына? Как объяснить все людям, знакомым, друзьям? А ведь есть еще и враги!.. Что может Мака?

— Доченька... — простонал больной.

Мака придвинула стул к кровати.

— Утром Гено опять звонил! — Она солгала не для того, чтобы обмануть отца. Ей просто нужно было упомянуть мужа.

— Ну и что?

— Сказала ему, что тебе лучше.

— Пусть вам будет лучше, а я...

— Если ты после каждого слова будешь плакать, я не стану с тобой разговаривать, папа.

— Как хочешь, дочка...

— Он огорчен, что не смог приехать.

— Пустяки.

— Да, еще вот что! Бичико, говорит, пора женить — загулялся.

С минуту отец молчал.

— Гено не мог этого сказать!

— Но сказал!..

— Мака, мне это наказание от бога, — он сын мой, но за что еще кого-то делать несчастным?

— А если она хочет выйти за него?

По сухим потрескавшимся губам больного пробежала горькая улыбка.

— Наверное, не знает его, бедняжка.

— Знает. Очень хорошо знает.

— Может быть, за столом где видела, в компании. Там он куда как хорош... Ты не в первый раз об этом заговариваешь, дочка. Я знаю Гено, и тебя, слава богу, знаю — не чужая. Вот я и думаю: как бы дело не было худо, а? В такое время вы не стали бы заниматься сватовством да свадьбами, если бы не прижало... Только я

не хочу брать греха на душу, не-ет! Мне и своих грехов до того света не дотащить — больно ослаб... Плесни-ка сюда воды!

— Хочешь виноградного соку?

— Все равно... Ну, так вот,— продолжал Симон, отпив несколько глотков.— Делайте, как хотите! Тебе и твоему мужу предоставляю все права. Можете больше не спрашивать. Но мне тебя жалко, намаешься ты со своим братом. О матери я не говорю — она как-нибудь, худо-бедно доживет свой век.

— Отец, ты напрасно волнуешься. Все будет хорошо.

— Поступайте, как считаете нужным.

— Ладно, отец, ладно...

— Гено толковый парень. Предупреди его от моего имени — как бы маху не дал. Это дело расходов требует, а у меня нет ничего, только смерть в глотке застряла, вот и все мои сбережения. У самого мальчишки костюм единственный появился с тех пор, как этот добрый человек на работу его устроил, так он уже дважды его в карты просадил. Тот, который он сейчас носит, то ли одолжил кто-то, то ли подарил — не знаю... Так-то, доченька... Одно скажу — дай бог, чтобы все обошлось! Дай бог! Дай бог!..

По петляющей в чайных плантациях грунтовой дороге, волоча за собой облако горячей пыли, мчался «Колхозник». У выезда на асфальтированное шоссе он задержался, словно раздумывая, и свернул налево. Километра за два до чайной фабрики шофер без спросу притормозил машину и остановился напротив закусочной, окрашенной в яркий голубой цвет.

Агроном дотронулся до локтя Гено и, скосив глаза в сторону заведения, вкрадчиво проговорил:

— Не будем ничего пить. Только одного цыпленка удушим.

— Само собой! Что за разговоры! — Председатель привстал и подтолкнул спинку переднего сиденья, тем самым как бы приглашая Гено и одновременно прося пропустить.

— Спасибо, я не хочу...

— Да ты что: святым духом, что ли, питаешься? — обиделся председатель. Обижало его не то, что нужно

угощать работника газеты, а то, что еще приходилось улаживать.

— С удовольствием, но мне надо успеть на стройку.

Агроном взглянул на председателя, словно спрашивая: поверим или попробуем еще раз?

— Победаешь и поедешь,— сказал председатель.

— Нет. Не успею.

— Не будем пить,—ласково повторил агроном. — И заказывать ничего не будем, поедим, что у него готово... Рано еще...

— Нет. Если вы так уже хотите уважить меня, я бы попросил подвезти...

— Само собой! — прервал его председатель. — Машина в вашем распоряжении.

— Мне только до магистрали. На стройку.

— Это нам по пути. Подвезем.

— Не беспокойтесь! Вы пообедайте, а я тем временем управлюсь. Всего доброго. Спасибо!

На магистрали, ведущей к стройке, Гено не стал дожидаться автобуса, а сел на попутный грузовик с прицепом, везущий арматурное железо.

Шофер, сухощавый, жилистый парень, видимо, только сегодня сбрил многодневную щетину, — скулы и подбородок его были совершенно белыми на темно-красном обожженном лице. Он вел машину медленно, осторожно, так как дорога была изрыта, расшлепана и кузов с прицепом, заваленным толстыми металлическими прутьями длиною в полтора десятка метров, то и дело громыхали и ползгивали.

Рядом с шофером сидел усатый старик, судя по всему, тоже случайный попутчик.

— Значит, строите... — заговорил он, видимо, утомленный долгим молчанием.

— Что? — Шоферу не до разговоров, дорога совсем разбита, едешь на сплошных колдобинах, а машина перегружена.

— Строите, говорю?

— Как видишь...

— Ну-ну, — старик покивал головой.

С Гено не заговаривают. Им кажется, что этот не их поля ягода.

Наконец машина выехала на ровный участок дороги.

— В этом месте собираются реку перекрывать,— сказал Гено.

— Ну-ну! — старик опять покивал, потом потрогал лежащую на коленях оплетенную бутылку. — И перекроют. Помни мое слово — перекроют!

— Папаша, на что тебе пустая бутылка? — спросил шофер, когда машина, ритмично позвякивая грузом, покатила под гору. — Стеклотару собираешь?

«Парень, видно, давно здесь,— отметил про себя Гено,— надоело о стройке говорить».

— А она у сына без дела стояла,— ответил старик шоферу. — Вот я и забрал, чтоб не рассохлась.

— В городе, что ли, сын-то?

— В городе. Теперь так заведено,— ехидно заметил старик.

На повороте мимо них промчались два самосвала. За ними, медленно волоча на сдвоенной платформе подъемный кран, полз грузовик. Шофер осклабился и помахал рукой водителю грузовика.

— Как нынче колхозные виноградники? — обернулся он опять к старику, по в это время заднее колесо машины ухнуло в яму, железо на кузове оглушительно лязгнуло, и старик не расслышал шофера.

— Ты что-то спросил?

— Я говорю, как нынче виноградники?

— Колхозные?

— Ну, да. Твои и без тебя знаю, что хороши,— не запустишь.

— Ничего. Лучше, чем в прошлом... Как переедешь через овраг по мосту, прежде чем в гору разогнаться, останови, я сойду.

— Ладно.

— Вон там видишь на пригорках виноградники?

— Ну...

— Это все колхозные.

— Знаю.

— Ты, видно, молодец, все знаешь... А и чай, и виноград вместе — это, брат, трудно, сил не хватает.

У въезда в село, на дороге, в тени акации стояла женщина с чемоданом. Увидев выехавший из-за поворота грузовик, она шагнула навстречу, но шофер пожал плечами и кивнул на пассажиров — некуда.

— Разве автобусы не ходят? — спросил Гено.

— Не ходят, а носятся, как оголтелые, только двух машин все равно не хватает.

Один за другим, громяхая легкими кузовами, промчались порожние самосвалы.

— Автобусов не хватает, а мы тут как тут, — заметил шофер.

— Останови-ка, сынок! — старик завопил, собираясь. — Хорош...

Машина стала. Старик заплатил шоферу, попрощался и вышел из кабины. Гено захлопнул дверцу.

— Что? Мало дал? — спросил он, взглянув на шофера.

— Старый человек, а то я бы ему сказал пару теплых слов...

— Может, у него нету больше.

— Пусть тогда скажет — за спасибо довезу. Не обогатят меня его гроши!

— Сколько получаешь?

— Зарплату?

— Да, оклад.

— Дело непостоянное: то больше, то меньше.

— Женат?

— Да.

— И дети есть?

— Двое.

Дорога спустилась к реке и некоторое время бежала рядом с хлюпающей на перекатах зеленой водой, а потом опять поползла в гору, и шофер сосредоточился, напрягся, глядя в ветровое стекло и позабыв о случайном попутчике.

Машина ползла все выше, и скоро река осталась далеко в ущелье. В этом месте русло ее неожиданно раздалось вширь и делилось на два рукава — один шумел внизу, под обрывом, а другой, огибая сухую, белую на солнце мель, тек в сторону.

«Что же писать? — думал Гено. — С чего начать? Главное, пайти первое верное слово. У книжки должен быть герой. Электростанция — не герой. Герой должен быть человек».

— Как тебя зовут?

— Мелнтон.

— А по фамилии?

— Маглаперидзе.

«Мелитон Маглаперидзе — он герой этой стройки? Электростанцию строят он и еще много таких...»

На спуске шофер выключил мотор и повел машину на холостом ходу.

— Вода закипела, — сказал он, мотнув чубом в сторону Гено.

— Бережешь машину?

Снизу приближался грузовик с цистерной.

— Что ты сказал?

— Машину, говорю, бережешь?

Мелитон любовно похлопал по баранке.

— Она меня кормит.

— Пьешь?

— Только ради этого и ишачу.

— Но у тебя же семья...

— Что же мне теперь — и выпить из-за них нельзя?

— Да, но...

— Нет, ты не думай, что я алкаш какой-нибудь, но по бутылке вина с ребятами кто же не выпьет при случае...

— Понятно...

Шофер остановил машину.

— Надо долить воды. Жалко машину с прицепом в такой подъем гонять. Пошли, поьем. Не хочешь?

По ту сторону дороги журча стекал по желобку родник. Мелитон вышел из машины. Гено тоже открыл дверцу и собирался выйти, но вдруг увидел, как две тоненькие акации на обочине медленно поехали назад, исчезли — зазвенели, зазвякали железные прутья в кузове, машина покатила. Гено повалился на сиденье и повернул руль от обрыва, потом подтянулся к нему всем телом и сел на место шофера. У поворота осторожно затормозил.

Подбежал бледный как полотно Мелитон.

— Обошлось!..

— Ручной тормоз у тебя не держит.

— Да нет, держит. Но с таким грузом не удержал.

— Жизнь полна опасностей, — улыбнулся Гено.

— Да, на волоске, брат, были. Магарыч за мной.

У тебя есть машина?

— Нажать на тормоз можно и без шоферской практики.

— Нет, это я к тому, что не запаниковал. Не растерялся.

— Поехали, Мелитон. Я спешу.

— Ладно, поехали.

Шофер влез в кабину, сел у руля и со вздохом облегчения улыбнулся миновавшей опасности.

— Хотел воды долить, но теперь не стану. Как-нибудь дотянем.

— Трудно придется в гору?

— Не особенно. Но жалко машину. Она ж как жена.

— Как жена, говоришь? — Гено засмеялся, вспомнив слова Авксентия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

До второй операции больному нужно было по возможности отдохнуть и окрепнуть — так считал доктор Хиджакадзе. Маке надоела бесконечная беготня в больницу, сидение в палате, разговоры, вздохи, выслушивание советов. Ей хотелось поскорее кончить все это и уехать, укрыться в тиши своего дома. Она соскучилась по мужу, по семье, даже по домашней работе, по школе и своим ученикам и сослуживцам.

Мери была не просто ее сослужившей. Родственница Гено, она часто приходила к ним в дом. Мака прекрасно ее знает и совсем не удивляется тому, что она полюбила Бичико. Мери паничная, мечтательная девушка. В ней Мака видела столько нерастратченного чувства — она так ждала любви, что, скорее всего, сама обманула и соблазнила себя. И когда Мака узнала, что Мери беременна, это огорчило ее, но не очень-то удивило. Но где они познакомились? У Маки они не встречались. Где же в таком случае? У кого? Кто еще замешан в их отношениях? Хотя какое это теперь имеет значение!

Все пропало! У Бичико нет ни желания жениться, ни возможности содержать семью и ребенка, который через четыре месяца появится на свет. Даже если Мери и смолчит, ее братья — Хибрадзе — не потерпят такого позора, в особенности муж Марго — Джаба. Бичико или арестуют, или, даже страшно подумать... Симон хоть и сердит, но сын есть сын, как-никак наследник. Симон с перебитым хребтом строил свою жизнь, пять лет назад из последних сил перестроил дом, возвел его над подсобными комнатами. Для кого все это? Бичико продолжатель его рода. Случись с сыном беда, отец не перенесет. А мать если кого и любит на свете — так это Бичико.

Мака знает, что ее брат в один прекрасный день может махнуть на все рукой, и тогда свершится несчастье. Джаба Хибрадзе не оставит в живых ни Мери, ни ее соблазнителя и тем самым погубит и себя, и свою семью.

Бичико вчера не приходил в больницу. Если он и сегодня не появится, что тогда? Как быть? Где его искать?

А Тхавадзе?

Мака совсем забыла о нем.

Как же все-таки она не узнала Джумбера! Его вина — слишком переменился. Разумеется, она не стала бы припоминать школьные глупости и поздоровалась бы с ним, если б узнала.

Ведь все давно прошло. Они были очень глупы тогда. Мака несправедливо Тхавадзе за то, что он любил ее, любил терпеливо и самоотверженно. Такую поистине собачью преданность можно встретить только в детях. Они еще не знают страстей, они чисты и безгрешны. Если б Мака сказала тогда Джумберу: «Я тоже тебя люблю, и оставь меня в покое», — возможно, он и отстал бы. Теперь Джумбер всем хорош, что называется — вышел. Но тогда — прости, господи, слишком уж был невзрачен. Наверное, в день приезда он обиделся, когда Мака не узнала его. А ведь должен бы радоваться, что в нем не увидели прежнего Джумбера.

А глаза?..

Наверное, глаза не меняются с годами. И хотя Мака никогда не смотрела ему в лицо, единственное, что напоминает ей сейчас прежнего Джумбера Тхавадзе, это его взгляд.

Раньше, в студенческие годы, приезжая к родителям, Мака — что теперь скрывать — иногда вспоминала Джумбера, и ей даже хотелось повидать его, но она никогда не спрашивала, где он и что с ним. В тот злополучный вечер, когда Бичико порывался пригнать для нее машину Джумбера, она поступила неосмотрительно, неумно, отказавшись так категорически и в таком тоне, словно Джумбер был по крайней мере мужем, бесчестно ее бросившим.

Вышло очень нехорошо. Теперь в присутствии брата она вынуждена не упоминать Тхавадзе... Маке может помочь только Гено. Он должен приехать и спасти ее брата. Да разве только брата? Спасти ее прошлое, ее горькое, сладкое детство, спасти девочку, что бегала когда-то по этим проселкам. Если Гено не сделает этого,

от его любви что-то убудет. Что-то убудет от Гочи. Нет, если Бичико погубит себя по своей глупости,— это будет не только ее гибелью...

Гено должен приехать.

У автобусной остановки стояли три женщины и мужчина. У мужчины было печальное, отечное лицо с бесцветными глазами. Он что-то бормотал себе под нос и разводил руками.

«Наверное, сына уложил в больницу»,— подумала Мака и с сочувствием заглянула в его бледное лицо.

«Знакомый» продавец, облокотясь о стойку, переговаривался с молодым человеком, с утра торчащим у ларька.

Горячий восточный ветер закручивал пыль и мусор. Мака остановилась.

«Скоро ли автобус?» Она глянула на дорогу.

Словно вызванная неслышным приказом, в конце улицы показалась светло-коричневая «Победа».

Мака отступила назад, попятилась, укрылась за собравшимися на остановке людьми, но как только машина проехала, обругала себя. Почему она прячется от Тхавадзе? Почему избегает человека, который не преследует ее? Ей совсем не пристало прятаться. Напротив, Джумбер сейчас нужен ей, нужен, как каждый, кто может знать хоть что-нибудь о Бичико, кто может хоть чем-нибудь помочь.

Мака во многом осталась прежней девчонкой. Прошли годы, все старые друзья переменились, даже Тхавадзе стал другим человеком, а она никак не может избавиться от своего упрямства, от этой бесконечной смешной и выдуманной игры в прятки.

«Если он заметил меня, непременно вернется и подвезет, не до дому, так хотя бы до села. Ну и что в этом особенного?.. Я поблагодарю его за то, что он помог Бичико. Господи! Я знаю тысячи примеров, когда в молодости любили друг друга, а потом он женился, она вышла замуж, но между собой оставались друзьями...»

Джумбер многое может сделать для них. Бичико ему обязан. Гено он и слушать не станет. А сама она с той поры, когда так грубо, так глупо крикнула брату — ты в лакеях у Тхавадзе, напроць потеряла его уважение.

«Интересно, куда он поехал? Хоть бы уж скорей возвращался. Я, пожалуй, пропущу один автобус... Нет, пропускать автобус не годится. Может быть, он заметил

меня и теперь подумает, что я жду. Но если он до автобуса поедет назад, я подниму руку и остановлю его. Да, подниму руку, даже помашу, чтоб выглядело неприужденней. Хоть бы автобус подольше задержался. Если он все-таки не заметит меня, я крикну, позову. А почему бы и нет? Что в этом особенного? Ах, черт! Вроде и училась ты, и жила в больших городах, а все такая же осталась деревенская девчонка...»

«Хорошо, если б Гепо был с ним знаком! Приехал бы, объяснил: так, мол, и так, плохи у Бичи дела... Мне все-таки неловко говорить постороннему человеку: брат мой девушку соблазнил, женить теперь надо, так, пожалуй-ста, повлияй на него со своей стороны».

Когда светло-коричневая «Победа» остановилась перед ней, Мака не двинулась с места. Задняя дверца открылась — Тхавадзе смотрел на нее из машины. Женщины, стоящие на автобусной остановке, растерянно переглядывались. Только отечный мужчина со скорбным лицом ничего вокруг не замечал и бормотал себе под нос. Женщины, увидев, что ни одна из них не садится в машину, обернулись к Маке. Мака, словно спрашивая: «Это меня ждут?», прижала руку к груди, потом шагнула вперед, вдруг заторопилась, почти подбежала к машине и, еще не усевшись, захлопнула дверцу.

Машина тронулась.

Мака пересела вглубь, чтобы случайно не столкнуться в зеркальце со взглядом Тхавадзе.

«Молчит... Надо поздороваться».

— Здравствуйте!

Джумбер оглянулся.

«Те же глаза! Все те же, те же глаза!»

И хотя спокойная уверенная улыбка смягчила его взгляд, она отвернулась.

— Маке Лежава наше почтение!

«Почему он назвал меня по фамилии? Не надо обращать внимания. Если он скажет что-нибудь двусмысленное или неясное, я все обращаю в шутку...»

— Вы очень изменились, Джумбер, я совершенно вас не узнала... Хотя прошло столько лет...

— А вы совсем не изменились.

«Он хочет сказать, что я для него все та же Мака?»

— Значит, вы меня сразу узнали?

Джумбер кивнул. В этом замедленном кивке было не только согласие.

«Господи, зачем я села к нему в машину?!»

— Почему же вы ничего не сказали? Я не узнала вас, и не мудрено,— вы стали совсем другим,— Мака почувствовала, что говорит как с близким некогда человеком, и попробовала переменить интонацию.— Надо было назваться. Мы... — Она хотела сказать «были бы рады», но сказала: — Нам это несколько не было бы неприятно.

При этих словах Тхавадзе оглянулся.

— Не было бы неприятно? — переспросил он.

«Он не должен заметить, что я избегаю каких-либо воспоминаний».

— Конечно. Отчего же! — Мака засмеялась. — Что в этом могло быть неприятного? То, что вы были когда-то глупым мальчишкой?..

— Вы помните? — спросил Тхавадзе, и глаза его вспыхнули.

— А если и помню? — проговорила Мака, хотя не собиралась произносить этого.— Помню, как помню все свое детство.

«Хорошо, что я все сваливаю на детство. Но как это у меня вырвалось: «Глупый мальчишка...»

— Я не изменился с тех пор.

Мака почувствовала не отвращение, как когда-то, не неприязнь, а страх.

— Мы уже обсудили, кто изменился и кто нет,— холодно сказала она. — Поговорим о чем-нибудь другом.

«Нет, ни в коем случае нельзя было говорить: вы были глупым мальчишкой. Этим я словно приблизила его».

Машина свернула к мосту.

— Мне еще не домой.

— Где-нибудь задержитесь?

— Нет, просто нужно зайти на почту, отправить телеграмму,— она не сказала, кому собирается послать телеграмму.

— За мостом развернемся.

— Как хотите. Я и пешком могу дойти.

Тхавадзе оглянулся.

«А-а, опять нехорошо получилось. Я не должна унижаться до того, чтобы не позволять ему подвезти меня. Но каким образом он так верно все чувствует?»

Выйдя из машины возле почты, она высокомерно сказала:

— Если вам по пути, подождите меня.

Тхавадзе ничего не ответил.

«Ого!.. — думала Мака, поднимаясь по ступенькам лестницы на почту. — Какая сдержанность! — Ей очень понравилось это выражение, оно должно было задеть Тхавадзе и словно освобождало ее от чего-то. — Какая сдержанность! — повторила она и с улыбкой добавила: — Тхавадзе джентльмен... Когда я вернусь, он встретит меня возле машины и откроет дверцу».

Но, возвращаясь, она еще с крыльца увидела, что Тхавадзе сидит за рулем и просматривает газету.

Мака села в машину с мыслью, что чрезмерная холодность в разговоре ни к чему. Ведь Джумбер должен помочь ей, вернее, не ей, а Бичико, которому он и так во многом помог. Ну, и что из того, что он в разговоре обронил: я делаю это из уважения к твоей сестре. Этим он, наверное, предупредил, чтобы Бичико вел себя поосторожнее, не зарывался.

— Джумбер, скажите что-нибудь, — дружеским тоном начала она. — Почему вы все время молчите? Хотя вы никогда особенно не любили говорить.

«Ах, опять я свернула на прошлое. Не надо, не надо было этого делать...»

— Я многое должен сказать.

— А-а, — засмеялась Мака. — Ну, в таком случае молчите. У меня у самой есть к вам просьба.

— Наверное, о брате?

— Так же, как и вы, я прекрасно знаю, что мой брат — глупый мальчишка, — она подчеркнула это выражение, чтобы Тхавадзе подумал, будто оно просто пристало к ней или вошло в привычку, может быть, не очень красивую, но привычку. — Прошу вас, не говорите, что это у него по молодости, что он остепенится, — не успокаивайте меня. — Ей понравился этот искусственный деловой и холодный тон. — Вы, наверное, надеетесь, что он еще найдет себя... Разумеется, я только благодарна за все, что вы сделали для брата, но сама ни на что не надеюсь, — он уже не ребенок...

Машина замедлила ход.

«Не хочет, чтоб я говорила о Бичико».

— Я не понимаю одного: может быть, вы знаете, где он пропадает? Когда мы... Когда я и Гено приехали сюда, он всю ночь не появлялся. Где он вчера ночевал, никому не известно. На работу-то он хоть вышел?

— Не надо осложнять. Все намного проще. Он влюблен.

— Не верьте ему, Джумбер! Такие глупые мальчишки, как он, не знают, что такое любовь. То, что им кажется чувством, на самом деле совсем не то.

«Ага, это я здорово вставила. Хорошо!..»

— Возможно...

«Он соглашается. Не принимает на свой счет...»

— Такие, как он, могут погубить человека.

— Погубить?!

— Да, какую-нибудь наивную, доверчивую душу.

— Вы осуждаете девушек?

— Нет... почему же?.. Если они искренне любят... Кто любит, тот прав. Пожалуйста, поедemте быстрее. Я сегодня ушла из больницы пораньше, хочу немного погулять с сыном.

— А потом вернетесь?

— Куда?

— В больницу.

— Нет, сегодня не вернусь. Отцу лучше, мне тоже надо немного отдохнуть... Я очень вам признательна, Джумбер.

— Бичико сегодня опоздал на работу.

— Да?.. У вас ничего, кроме неприятностей, с ним не будет.

— Он ночевал у своей любовницы.

Мака вспыхнула и, оскорбленная, чтобы дать возможность заменить «любовницу» хотя бы на «возлюбленную», переспросила:

— Что вы сказали?

Тхавадзе ничего не ответил.

«Не берет назад своих слов. Упрямец».

Переспрашивать еще раз не имело смысла — Джумбер знал, что Мака расслышала его. Но и молчать не стоило — это могло сойти за обиду. Мака не знала, как быть.

Машина катилась по проселочной дороге. Еще немного, и покажется ее дом с облупившейся верандой и старым грушевым деревом во дворе.

— Помнишь этих гусей в овраге?

— Помню, только сомневаюсь, чтоб это были те самые гуси,— холодно ответила Мака, глядя в сторону.

— Те же самые. Ничего не изменилось.

— Для вас.

— Разумеется.

«Он не должен заметить, что я злюсь».

Машина остановилась.

Мака открыла дверь и поспешно вышла, чтобы не встретиться еще раз со взглядом Джумбера.

— Большое спасибо!

— Что передать Бичи, если увижу его?

— Скажите, чтобы поскорее шел домой.

Макс не терпелось отойти от машины.

— Может быть, его привезти?

— Нет, не беспокойтесь.

— Если он сегодня не появится, позвоните мне: двадцать четыре, двадцать четыре. Не забудете?

— Спасибо, но надеюсь, что это не понадобится.

— Напрасно вы так думаете. Дела у Бичико совсем плохи.

— Всего доброго!

Мака направилась к калитке и, не оглядываясь, быстро вошла во двор.

Ни во дворе, ни на веранде не было ни души.

В этот вечер Мака не пошла в больницу. «Сегодня объявится Бичико, пошлю его»,— внушила она себе.

Мака боялась папоротиться где-нибудь на Тхавадзе.

«Все те же гуси в овраге, и ничего не изменилось... Если в нем сохранилось прежнее упрямство, теперь он на многое способен...»

Джумбер был первый мужчина, который полюбил Маку. Ну и бог с ним! И черт с ним! И ладно! Все давно прошло, как прошло детство, школа, корь. Остался только неприятный осадок от его пчеловеческого упрямства... Чудовище!.. Ни за что не отказался от своих слов. Нет, конечно же, он ничуть не изменился. Все тот же упрямец, идол, кремь! У нее мурашки бегут по спине, когда она вспоминает его взгляд.

«Вроде научился чему-то, дело в жизни нашел, на человека стал похож, но он прав, тысячу раз прав,— он ничуть не изменился».

Мать весь вечер плакалась, умоляла не уходить никуда, дожидаться Бичико и обговорить, наконец, все. Она узнала от свойственницы, что натворил ее сын, и теперь твердила одно:

— Если с моим мальчиком что-то случится, я не переживу. Не ходи в больницу. Мы с отцом свое отжили. Надо о Бичико подумать...

Пожалуй, она была права. Теперь положение у Бичико было не лучше, если не хуже, чем у отца, и следовало позаботиться о нем, но Маку и раньше раздражали слова матери: ты женщина, ты улетишь в чужое гнездо, на кого же меня оставишь? На твоего отца я и раньше не могла положиться. Единственный, кто пригрест меня, это мой сын, мой Бичико. А ты... чем я была для своей матери, тем и ты станешь для меня.

— Не слушай ты отца, Мака. Язык не поворачивается сказать, но он не любит твоего брата.

— Не говори так, мама!

— Ну хорошо, хорошо... — пошла на попятную мать. — Молчу. Но ведь он оправился, можно теперь и не оставаться у него.

— Скажи уж, что вообще мне здесь больше нечего делать... — Не хотела Мака говорить этого при свекрови, но вырвалось, возможно, потому, что не надеялась она уговорить брата, не надеялась, что послушается он ее.

— А я что могу, несчастная, глупая баба! Что я могу? И зачем только на свет такая родилась! — зарыдала Ольга, колотя себя в грудь.

— Ольга, перестань! Детьми заклинаю, Ольга!.. — попыталась унять ее Магдана.

Мака видела, что одной ей дела не уладить. Даже муж, будь он здесь, не поможет. Разумеется, он скажет, что Бичико должен жениться, но если Бичико не хочет, он — наглости ему не занимать — тут же кипит в лицо зятю: ты просто боишься, как бы твою двоюродную сестричку не вышвырнули из дому. А Марго для Гено не двоюродная, а ближе, чем родная — сирота, выросшая в их доме. «Дела у Бичико совсем плохи», — сказал Тхавадзе, тем самым давая понять, что без него не обойтись, да и знает он больше других. «Ночевал у своей любовницы...»

— Мака, — Ольга утерла слезы, сложила руки на груди и вздохнула. — Ты вроде знаешь эту девушку?

— Она работает со мной.

— А-а... Ну, так если она порядочная...

Мака смолчала. Сейчас ее раздражала даже Мери: почему ничего не сказала? А что, собственно, она могла сказать? Собираюсь влюбиться в твоего брата, и не глу-

пость ли это? Не обманет ли он меня? Или что еще? К тому же Мака однажды пошутила: я уговорю моего сумасшедшего брата похитить тебя. Пустяк, но Мери чувствовала, что она нравится Маке, и, может быть, это в чем-то содействовало ее сближению с Бичико.

— Вот Магдана говорит, что она... — Ольга взглянула на свойственницу, как бы предлагая высказаться.

— Лучшей жены сыну родному не пожелаю! — тут же подхватила Магдана. — Если б у меньшего моего жена хоть наполовину была, как Мери, я б на руках ее носила, слова обидного не сказала бы.

— Не разведенная,— проговорила Ольга,— и не... — хотела сказать «гулящая», но постеснялась.

— Честная девушка, видит бог! Такими бы честными и чистыми вырасти нашим деткам! — Магдана погладила по головке спящего внука.

Ольга взглянула на дочь:

— Что же делать?

— Мери — достойная девушка.

— Ну и что?

— Не знаю,— Мака не хотела показывать при свекрови, что здесь не все делалось по ее разумению. В этом она винила не только брата, но и мать, и потому раздраженно закончила: — Я улетила из этого дома, я здесь гостья, залетная ласточка...

— Не надо, доченька! Он твой брат, твоя плоть и кровь! Не говори так. Лучше дай знать Гено, пусть придет. Отца из больницы заберем...

— Телеграмму Гено я уже послала, но не уверена, что он придет.

— Приедет. Если получит твою телеграмму — непременно придет! — топом бесспорной убежденности сказала Магдана, давая почувствовать свойственнице, как уважают ее дочь муж и вся мужнина родня.

Мака хотела еще возразить матери, что, в конечном счете, не ей, а любимому сыну решать все, так с ним и обсуждай, ему и внушай, если он, конечно, появится,— но смолчала.

Отговорившись головной болью (голова и в самом деле гудела), она разделась и легла рядом со спящим сыном, берсжно прижав к груди его теплое слабое тельце.

Она заснула поздно, и незадолго до пробуждения ей приснился ужасный сон.

В комнате, в которой она сейчас спала, стоял телефон. «Если в деревнях появились телефоны, почему его нет у Гено», — удивлялась Мака.

— Мы намного ближе вас к районному центру, — говорила Ольга, косынкой вытирая пыль с черного аппарата. — Мой сын его провел, мой Бичико...

— Ах, мама, мама! Чудная ты женщина. Что же ты платком его вытираешь? Взяла бы какую-нибудь тряпку... А вообще-то на что вам телефон? Кому звоните? Самого его дома не бывает. Для тебя, значит, постарался?

— Как же не бывает, дочка? Он теперь все время дома.

В комнату кто-то вошел. Мака решила, что это брат, и отвернулась.

— Мака! Родная моя, Мака! — Она почувствовала на плечах нерешительное и ласковое прикосновение рук.

— Мери? Что ты здесь делаешь, Мери?

— Разве я не живу здесь?..

— Ах, да... да! — Мака помнила, что Мери еще не должна быть в этом доме.

— Я давно уже твоя невестка, — ласкаясь, сказала Мери и спросила: — Случайно, не помешала? Позвонить зашла...

«Если она беременна, почему это не заметно?» — подумала Мака, но тут Мери сняла трубку, и Мака, прерывая себя, торопливо и громко крикнула:

— Не тронь, Мери! Не звони! — Ей показалось, что окрик, против желания, получился грубым и Мери обидится, однако ничуть не бывало — «невестка» с кроткой улыбкой взглянула на нее. Мака в растерянности вышла из комнаты.

На веранде тоже стоял черный пузатый телефон, и Ольга протирала его кончиком косынки. «Да их тут целых два! Только на что они им?»

Следом за Макой на веранду вышла Мери.

— Не работает, — сказала она, виновато кивая на дверь, — я позвоню отсюда.

— А разве не все равно?

— Нет.

— Ах, опять вы меня не слушаетесь! — вспыхнула Мака и оглянулась на мать, но Ольги уже не было на веранде.

Мери опять улыбнулась ей кроткой, мягкой улыбкой, сняла трубку телефона и набрала: двадцать четыре—двадцать четыре.

— Ты хоть знаешь, кому звонишь?

— Бичико.

— Это заводской номер?

— Да. А ты думала, Джумберу?.. Мака, милая, поговори, пожалуйста.

— Нет, нет, что ты!

— Мне опять нехорошо... у меня такая тяжелая беременность.

— Алло! Алло! — слышалось из трубки, но это был голос не Бичико, а Тхавадзе.

Мака в ярости бросила трубку, но голос продолжал звучать: «Я не смог забыть тебя, Мака, ничего не изменилось, я по-прежнему люблю тебя, Мака...»

— Мери, что ты сделала! Что ты натворила, Мери! Где ты? — Мака вбежала в комнату. Перед нею стоял Тхавадзе. Мери куда-то пропала, исчезла, словно ее вовсе не существовало. Мака оглядывалась, ища, куда бы спрятаться, наконец распахнула дверь шкафа и вошла в него. Ручка на двери была такая же, как на автомобиле.

По сторонам побежали крыши домов и верхушки деревьев, еще выше небо и клочья облаков. Это было похоже на полет, но нет, машина катится по чему-то твердому.

Пол под нею прозрачный, и видны бегущие назад телефонные провода. Машина перескакивает со столба на столб, и при этом ее подкидывает, как на ухабах.

— Остановись, Джумбер!

— Это невозможно. Мы рухнем вниз.

— До каких же пор мы будем скользить так по проводам!

— Не знаю. Теперь нам не остановиться.

— Почему ты так мчишься?

— Он догонит нас.

— Кто? — Мака глянула вниз. — Господи боже мой! Что же это? Дом на дороге! Мой дом! Остановись, Джумбер!.. А Гено? Что это с ним? С ума он сошел? Водрузил дом на колеса и едет. И Гоча у него на коленях! Что же мне делать? Смотри, черепица с крыши валится, вдребезги... А Гоча-то как рад, сынок! Весело ему, что дом катится. — Маке захотелось высунуться в окно, но она

ударилась об стекло, попробовала открыть двери — дверь не поддавалась.

— Ах, что же это! Помогите! Черепица вся осыпалась, а Гено и не замечает.

— Крикни ему, пусть отстанет!

— Гено, что ты делаешь? Гено!

— Гонюсь за тобой, Мака! Что мне еще остается делать?

— Дом развалится, Гено! Забыл ты, с какой любовью мы строили его, возводили по камешку. Гено, треснула стена! Остановись!

— Да это же дом, а не машина! Как его остановишь?

— Джумбер, тогда ты поворачивай! Вернись назад или открой мне дверь!

Но они помимо своей воли разгоняются все быстрее. Джумбер уже не смотрит вперед. Он обнимает Маку, раздевает ее. Мака не дается, отбивается, задыхается.

— Они видят нас, Джумбер! Оставь меня!

Улица внизу полна народу. Гено еле ведет свой дом сквозь толпу, чтобы не сбить кого-нибудь.

— Гено, осторожнее! Не ушибь мальчика!

Маленький Гоча смотрит вверх и смеется.

— Пусти меня, Джумбер, или я выброшусь! Я же совсем голая!

— Не выбросишься! — говорит Тхавадзе. — Двери не открываются.

— Мне стыдно, Джумбер! Что скажут люди!

— Пусть говорят, что хотят!

— Руки! Руки убери!.. Пусти! — крикнула Мака и проснулась.

Раскрыла глаза. Сердце колотилось так, что она невольно схватилась за грудь. Ее всю било, как в лихорадке, и она мучительно долго не могла вырваться из сна. Ей легче далось бы это, будь в комнате хоть чуточку посветлее.

«Господи, не дай сбыться!..» Эти слова первыми пришли на ум, но она не смогла произнести их. Она хотела сказать что-нибудь, все равно что, только бы убедить себя, что виденное было наваждением, кошмаром. Так случалось в детстве, когда она летала во сне: хотелось приземлиться, найти опору и удержаться, и, проснувшись, она хваталась за решетку кровати; исчезнувшее сновидение все еще сохраняло силу реальности, ей было страшно, и она долго не отпускала рук от решетки. Сей-

час она хваталась за слова, стараясь как-нибудь выдать их из себя и тем самым избавиться, отгородиться от сна. Она шевельнулась и тотчас ощутила в своей руке локоток Гочи. Она прижала к горлу теплые пальчики сына и прошептала ему в ухо:

— Господи, не дай сбыться этому сну!

Мальчик завозился, глубоко вздохнул и повернулся на бок.

— Жизнь моя, почему ты смеялся? — упрекнула его Мака и почувствовала, что успокаивается.

— Долго ли до рассвета?

В той стороне, где она ожидала увидеть бледное пятно окна, стояла крошечная тьма. В противоположной мерцала тусклая звезда. Она долго смотрела на звезду и медленно приходила в себя. На комодике тикали часы. Хотела встать, включить свет, но побоялась разбудить сына и передумала. Она знала, что теперь не заснуть до утра, а в темноте к ней мог вернуться ночной кошмар.

Вдруг ей послышалось:

— Хозяин!

Этот робкий, нерешительный окрик вспугнул ее, сердце опять заколотилось так, что она прижала его рукой. Прислушалась, но в висках так стучало, что она ничего не смогла разобрать.

«Включу свет и прикрою газетой, чтобы не разбудить Гочу,— подумала она и удивилась,— а я, оказывается, трусиха... Все-таки надо включить...» Но не шелохнулась.

Кто-то, стоявший во дворе под грушей, крикнул еще тише:

— Хозяин!

«Нет, нет! Мне не мерещится. Что-то стряслось! Какая-то беда! Может, сон и вправду длится мгновение — я услышала крик, вот мне и привиделось бог знает что. Подойти к окну. Вор услышит, что в доме люди, и уйдет, а своих надо встречать».

На какое-то время все стихло. Маке почудилось, что сердцебиение мешает ей расслышать осторожные шаги по траве.

— Мака! — раздалось под самым окном.

Она не заметила, как села на постели.

— Мака, не пугайся, Мака!

Голос был знакомый, но Мака не узнавала его. Робкий, тихий оклик не походил на зов путника, сбившегося

с дороги. Казалось, он предназначался только Маке и никого не хотел будить, кроме нее.

Вся дрожа от страха и ожидания, Мака встала и, пригнувшись, на цыпочках подошла к окну.

То ли ее увидели со двора, то ли услышали звук шагов, но стоило ей подойти, как тот же голос прошептал:

— Не пугайся, Мака, это я, Марго!

Мака смотрела во двор, туда, где темнело грушевое дерево, и потому не сразу заметила женский силуэт под самым окном.

— О господи! — Она провела рукой по лицу и, ссутулясь, вернулась на кровать и села.

Во дворе зашуршали шаги по траве: видно, Марго пошла назад, к калитке.

«Кто-то ждет ее на дороге. Только не Гено...»

Она пашарила на полу войлочные шлепанцы, одела материнский халат, висевший рядом на стуле, и, шепча про себя: «Господи!.. Господи, господи!.. Что-то стряслось! Беда какая-то!» — вышла.

Во дворе она сбилась с тропинки. Высокая росистая трава замочила ноги до колен.

Взглянула на небо. Взмолилась: «Помоги!»

У калитки задержалась.

«Куда я иду?»

— Марго, ты?

— Я! Я, Мака, лучше б мне не рождаться на свет!

— Что случилось, Марго?

— Для тебя ничего страшного — не пугайся. Надо мной беда, над несчастной моей головой!

— Все живы, здоровы? Не скрывай!

— Все здоровы. Не бойся...

Мака не поверила, шагнула за калитку.

— Ты одна?

— Нет, Мака.

— Кто с тобой?

Марго медленно клонилась.

— Что с тобой, Марго! — Мака подхватила ее под руки. — Тебе психорошо?

— Погоди, — Марго высвободилась. — Погоди!.. — Она опустилась ниже, и Мака почувствовала прикосновение ее рук на коленях.

— Что ты делаешь?! — Она попыталась отступить, но Марго не пускала ее.

Мака вспомнила объятия Тхавадзе во сне.

«Вот и сбылось,— притихнув, подумала она.— Сон в руку».

— Ноги твои целую, Мака!

— Встань, Марго! Встань, милая, и скажи, что у вас стряслось?

— Не встану. Если хочешь, чтобы сказала, дай на коленях сказать...

— Боже мой! — в отчаянии вырвалось у Маки.— Что же это? Боже мой!

— Нету у нас дороги, кроме как к тебе, Мака! Ты должна спасти моих детей, как спасла бы Гочу. Обо мне не думай...

— Но что я могу? Объясни... Ну, встань же наконец, Марго!

— Нет, дай сказать!

«Сон в руку, ох, сон в руку! Вот так же он не отставал ни за что и целовал колени».

— Марго, дорогая...

— Пропали мы, Мака, пропали! Перебьет он нас, если ты не спасешь — не поможешь!

«До Джабы дошло... Бедная женщина...»

— Господи! Но что я?.. — Она наконец высвободилась из рук Марго.

— Ты одна можешь нам помочь! Ты спасешь моих детей и бедную Мери!

— А где Мери?

— Здесь она, еле вызволила; выкрала, считай, хоть сердце и не на месте — боюсь, как бы не застал он нас... Молиться на тебя буду, Мака!

Мака только сейчас заметила стоящую неподалеку маленькую машину и насилу подняла Марго с колен.

— Так что же случилось?

— Еле, Мака, еле спаслись, родная! Ну, прямо на волоске были. Если б не влезли на чердак и не подтянули лестницу, не унесли бы ног. Кто-то, чтоб у него язык отсох, сказал ему по пьяной лавочке: таких любовниц, как твоя сестра, у Бичико не две и не три. Он, бешеный мой, и болтуна в кровь избил, а потом как прибежит домой! О-ой!.. Натерпелась я страху за все это время, знала, рано или поздно дойдет до него. Потому и упростила тетушку Магдану сказать тебе. Не следовало, но что мне оставалось делать, скажи! — Марго, дрожа всем телом, искала в темноте ладони Маки, чтобы прижать их к груди и расцеловать.

— Гепо ты не говорила?

— Не сказала... Побоялась я. Он умница, не станет связываться с Джабой, но ведь мужчина — раз терпит, другой, а на третий взорвется. Ничего лучшего не придумала, как к Авксентию явиться, попросила отвезти нас сюда. Сам не согласился — зачем же на грузовике по такому делу, — пошел к Нодару и растолкал его среди ночи.

— Нодара?

— Да, он и привез нас. Ну, скажи, Мака, что я еще могла сделать? О себе я и не думала — ее прибил бы... Ты знаешь, какая Мери безропотная, добрая. Когда у меня двойня родилась, одну девочку она выходила, почей не спала. Ты все поймешь, ты не такая, как они. Ах, господи! Ты и невестка мне, и ссстра, и все на свете! Не виновата она... Любила и любит твоего брата, по любви все это вышло, не из-за распушенности.

— Знаю, Марго, знаю. К чему столько слов? Я понимаю...

— Ты все понимаешь, Мака, ты все знаешь. Что делать? Разве женщины никогда не оступались?

«Разве женщины никогда не оступались?..» Мака высвободила руку и потянулась к дороге. Марго прижалась лицом к ее плечу, замочив его слезами.

— Мака, дорогая моя, умница... Устрой так, чтобы хоть какое-то время пожила она у вас. Коли он совсем остыл к девчонке и не захочет, то уйдет она и хоть будет разведенная жена, хоть ребенок от мужа будет. Ты все можешь, если и сама... — Марго осеклась на полуслове.

Мака почувствовала, что эти чрезмерные просьбы и уговоры понадобились Марго потому, что она сомневается в ней самой.

— Скажи прямо, что тебя так мучает? Ты не веришь мне?

— Что ты, Мака?! Ты и не знала ничего...

— Я не про это.

— Мака, — Марго опять заплакала и прильнула к ее плечу. — Ты, Мака, гордая, самолюбивая. Может быть, и тебе...

— Что мне? Говори.

— Может быть, и ты не хочешь, чтобы твой брат женился на опозоренной, но хотя бы на время... Я знаю, какая ты добрая! Твоему Гоче будет светить в жизни твоя доброта.

— Марго, я очень люблю Мери,— сказала Мака.

— Твоими устами мед пить, ласточка моя, умница! Господи! Если Маку Лежава ждут какие-нибудь беды, подари их мне, господи!

— Я хочу ее видеть, Марго. Где она?

— Не ругай ее, Мака. Ты же понимаешь ее положение...

«Какое у нее доброе сердце. Большое и доброе. Где только оно умещается в этом крошечном теле» — подумала Мака, мельком взглянув на Марго.

— Я попробую ее утешить.

— Я знала! Я знала, что ты нас спасешь!

Нодара в машине не было. Сзади, забившись в угол, сидела закутанная в платок Мери. Когда Мака протиснулась и села рядом с ней, Мери наклонилась и положила голову ей на колени, как делают это дети, когда сон одолевает их.

Она не плакала и не говорила ни слова.

Некоторое время все молчали.

«Окуда им знать, что я ничем не могу помочь, что братец уже вторую ночь не появляется, а я даже понятия не имею, где его искать, не знаю, пьянствует он или играет в карты».

— Он, случайно, не выпивши? — дрожащим голосом спросила Марго.

— Какой теперь час?

— Вторые петухи кричали.

— Рано еще. Я думала, больше.

— Да разве ж это рано? Но ты нас обнадежила — хоть десять ночей глаз не сомкну!..

«Вот тебе и сон в руку. Теперь придется позвонить».

— Я переоденусь сейчас и вернусь.

— Куда-нибудь поедем?

— Да. Я забыла сказать: Бичи нет дома.

— Где он? — не отрывая лица от колен Маки, слабым голосом простонала Мери.

— Не знаю.

— Не знаешь?! — Это так поразило Марго, что Мака невольно солгала.

— Он оставил номер телефона на случай, если отцу что-нибудь понадобится...

— Ах, боже мой! Симон... Прости меня, глупую, Мака! Голова кругом — совсем растерялась. Как он? Получше?

— Получше.

— И слава богу! Мы были в больнице — я и это забыла сказать. Нас не пустили. Сказали, что тебя там нет.

— После операции я первую ночь не с ним... Позовите Нодара, я сейчас вернусь.— Мака легонько приподняла закутанную в платок голову Мери и вышла из машины.

«Завтра придет Гено. Раньше он не получит телеграммы. Надо было на работу послать. А что если он рано уйдет из дому и допоздна не вернется?»

«Завтра он придет, а сейчас другого выхода не остается,— говорила она себе в дороге, лаская голову Мери, подрагивающую у нее на коленях.— Надо что-то делать...»

Огни всюду были погашены, только в нескольких домах на балконах горели электрические лампочки.

Раньше Тхавадзе жил недалеко, позади правления колхоза, в бездорожном тупике. Теперь, раз у него телефон, значит, он перебрался в райцентр... Какое время звонить постороннему человеку,— вторые петухи кричали! И что ему сказать?

«Ох, Бичико, Бичико! Лучше б тебе не рождаться на свет, только бы не вынуждать меня к этому!..»

Маленький разбитый и развинченный автомобиль с хрипом и кашлем катился по неровной грунтовой дороге.

— Нодар!

— Что? Приехали?

— Нет. Останови за поворотом. Ближе не стоит к правлению подъезжать — пешком дойдем.

— Ладно.

Машина остановилась, Мака с Нодаром вышли, Марго вылезла следом за ними.

— Со мной пойдет Нодар,— сказала Мака.

— Хорошо, Мака, родная. Тебе видней.

«Видней мне, как же! Я ничего не знаю!..» Она и в самом деле не знала, что делать.

Ей совсем не хотелось идти сейчас в правление. Если сторож окажется знакомым, завтра все село будет знать, что дочь Симона Лежава среди ночи звонила Джумберу Тхавадзе. Лучше досхать до города и позвонить с почты. Да, да, именно так и надо сделать. Даже если сторож не узнает Маку, Тхавадзе-то ему во всяком случае известен. И наутро он разболтает, что какая-то женщина примчалась ночью в правление и позвонила Джумберу. Мир тесен, и в конце концов выяснится, кто была эта женщина.

Над входом в правление горела яркая лампочка. В здании было темно.

— Спит, наверное, — Мака задержалась у калитки.

— Если вам неудобно, я разбужу, — Нодар просунул руку в щель и нащупал засов.

— Нет, нет, Нодар, пусть спит. Город в двух километрах, наверное, и брат мой там, — и, не дожидаясь ответа, она повернула назад.

— Ну, что? — Марго шагнула из темноты им навстречу. Голос у нее дрожал. — Почему так быстро?

— Позвоним из почтового отделения, Бичи должен быть в городе...

— А-а...

«Марго волнуется. Теперь, раз уж приехала, надо позвонить, что бы там ни случилось. Тем более, что она знает — у меня нет другого пути... Почему Тхавадзе все знает? Завтра придет Гено, и я ему расскажу как на духу. И про то, как он меня подвез от больницы, и о чем говорил. Мужчине легче понять Джумбера».

Центральная улица города была ярко освещена.

«Хорошо бы Мери до утра отвезти к нам. Но если Бичико узнает — взбесится, навязалась, мол, и вовсе исчезнет, на пушечный выстрел потом его не заманишь. Да и Мери с Марго не пойдут на это. Привезла ее Марго, не то Мери сама — голову даю на отсечение — сбегала бы куда-нибудь подальше».

Поднимаясь по лестнице на почту, Мака подумала, что, если б не так поздно, она наверняка встретила бы здесь Нуцу, а Нуца поразговорчивей колхозного сторожа. Будь у них дома телефон, она сейчас позвонила бы. Надо послать еще одну телеграмму — на работу. Да, да... хорошо. Послать телеграмму на работу, а потом позвонить Тхавадзе... Господи, о чем она будет говорить с ним среди ночи?

— Нодар, я пошлю телеграмму, а ты пока сходи приведи Марго.

— Хорошо.

«Все, кроме моего брата, слушают меня. Наверное, даже Тхавадзе не откажется помочь».

Мака написала телеграмму, расплатилась с немолодой телефонисткой, осовело поглядывающей на нее красными от недосыпания глазами, и, когда в дверях появилась Марго с Нодаром, открыла дверь телефонной будки. Открыла, но не вошла.

— Нодар,— сказала она.— Позвони ты. Ты все-таки мужчина... То есть, не все-таки, а мужчина,— она даже не почувствовала неловкости от своей бестактности: перед той неловкостью, что предстояло ей испытать, эта была пустяком.

— Какой номер?

— Номер? Ах, да... даже и не помню точно,— Мака задумалась. Она не обманывала Марго и Нодара, она не хотела помнить, но помнила.— Кажется, двадцать четыре—двадцать четыре...

Все то время, пока Мака вспоминала номер телефона, Марго в упор смотрела на нее, словно вспоминала вместе с ней. Тут она просияла:

— Умница моя! Если останемся живы, мы с Мери молиться будем на тебя.

— Отвечает мужской голос,— сказал Нодар.

— Мужской голос?

— Да. Что говорить?

— Скажи...

— Мака, поговори ты, он, наверное, знает тебя и уважит,— попросила Марго, дотрагиваясь до ее руки.

Нодар передал ей трубку.

— Я слушаю. Алло! Слушаю...

«Он,— Мака не смогла ничего сказать.— Разговаривает со мной, лежа в постели»,— почему-то именно это пришло ей в голову.

— Я слушаю вас. Алло!

«Не злится, что его разбудили среди ночи. Знает, что я звоню. Откуда он все знает?»

— Ничего не слышу...

«Понимает, что мне трудно говорить...»

— Мака, родная моя!.. — Марго протиснулась в будку и захлопнула за собой дверь.

— Это квартира Тхавадзе?

— Джумбер у телефона.

— Вас беспокоит Нижарадзе, сестра Бичико Лежава...

— Да, да!..

— Простите, что я так не вовремя.

— Что вы, что вы! Не извиняйтесь. Мы не спали — ведь завтра воскресенье.

— Ах, да, я совсем забыла!

— Ваш брат у меня.

— У вас? — обида кольнула Маку: все-таки она не ожидала в такое время застать Бичико у Тхавадзе. — Какой дурак, — тихо проговорила она.

— Он зашел поздно, а тут были друзья, сами понимаете — обычай нашего стола... Ну и засиделись. К тому же он пришел навеселе, проведаль отца в больнице и на радостях выпил.

«Проведаль отца? Тхавадзе запомнил мои слова: сегодня не вернусь в больницу, и послал оболтуса проверить».

— Он очень пьян? Попросите его к телефону.

— Это можно... — Мака почувствовала, что Джумбер не собирается передавать трубки, словно говоря: скажи мне, скажи, все равно без меня ничего не выйдет.

— Позовите его к телефону! — Мака повысила голос, но, понимая, что ей придется просить помощи у Тхавадзе, добавила: — Если он, конечно, не уснул за столом.

— Нет, он не спит.

Мака чувствовала, как дрожит прижавшаяся к ней Марго.

— Вы понимаете... — У Маки дрогнул голос, и она предпочла замолчать.

— Я слушаю вас. Говорите, не стесняйтесь... Если я только что-нибудь могу...

«Подбадривает. К тому же ему кажется, что со мной Гено».

— Понимаете, такое положение: мы обязательно должны повидать моего брата, и немедленно... — она перевела дух.

— Понятно.

«Понятно? Нет, пусть он поймет и то, что я не знаю, как быть, только до завтра, пока не приедет Гено!»

— Дело в том, что моего мужа нет здесь.

— Ах, вот как...

«Да он просто издевается: даже если муж и будет здесь, все равно без меня ничего не добьетесь, — вот что означает его «ах, вот как?»

— Он приедет завтра утром.

— Я постараюсь сделать все возможное.

— Это зависит от вашего отношения к Бичико. Вам судьей ваша дружба.

— Разумеется.

— Что вы нам посоветуете?

— Сейчас, в эту минуту, вести переговоры не совсем...

— Но это нужно именно сейчас, сию минуту! — превала его Мака.

— Если б я знал, где вы находитесь...

— Я звоню из почтового отделения.

— А не могли бы вы... — Он не договорил, замолчал, подождал. Мака решила, что не стоит грубо отказываться от несостоявшегося приглашения.

— Не знаю. Лучше бы вам приехать.

— С удовольствием. Но удастся ли поговорить на улице?

— Конечно, конечно... Это ничего. Город спит, и на улице ни души, кроме нас.

«Он держит у себя Бичико, как заложника,— решила Мака, выйдя из телефонной будки.— Он все понял без слов, обо всем догадался. Может быть, и до Джабы должно было дойти именно сегодня, не вчера и не завтра, а именно сегодня вечером. Мой брат ни в чем не виноват, он просто глуп, как пробка, это его единственная вина. Хм, Тхавадзе подружился с ним... Как бы не так! Это Бичико и мамаше кажется, что он с ним подружился... Но для чего все-таки? Из-за меня?»

— Ну что, Мака? Что, моя радость, что? — спрашивала Марго.

— Сейчас привезет,— Мака не смогла сказать «придет». Тхавадзе привезет ее брата и, если она не даст ему никакой надежды, увезет назад.

— Какой он оказался чудный! — проговорила Марго.— Добрейший святой человек!

— Кто? Тхавадзе?

— Да. С которым ты разговаривала.

— Ты знаешь его?

— Видела раза два, если это тот, что приезжал к нам. Машина у него своя...

«Ах, он и там побывал... Своя машина,— еще не известно, чья на нем рубаша, что за деньги шальные! Бедный мой брат... Вот не думала, что Тхавадзе когда-нибудь так поумнеет!..»

Нодар отошел в сторону, оставив женщин одних, и от нечего делать разглядывал ярко освещенную витрину магазина.

— Мери! — Мака села рядом с притихшей девушкой и положила руку ей на плечо.— Я должна все знать.

Мери взглянула на нее, но тотчас опустила голову.

— Где ты познакомилась с Бичико?

— У тети Васаси.

— Это двоюродная сестра моей свекрови,— объяснила Марго.— Ее дочь — Вардо, подружка Мери, работает в нашей библиотеке.

— Как Бичико попал туда?

— Тетка Васаси кем-то приходится Джумберу...

— Если ты что-нибудь знаешь — говори, не скрывай! — теребя Мери, настойчиво попросила Марго.

— По соседству с тетушкой Васаси когда-то жил некий Тхавадзе, дядя Джумбера. С тех пор у них и дружба идет.

— Где вы встречались с Бичико?

Мери смутилась.

— В библиотеке... У Вардо...

— Чтоб ей сгореть на медленном огне! — проговорила Марго при упоминании имени Вардо.

— Он, случайно, не на машине приезжал?

— Приезжал и на машине,— вступила опять в разговор Марго.— Но чаще присылал Вардо, чтоб никто ничего не подумал. Не скажу, чтобы Бичи хотел перед людьми ее ослабить.

— А Тхавадзе оставался у этой самой Васаси?

Мери ничего не ответила.

«Ну, да,— решила Мака.— Сам оставался, а машину им отдавал».

«Только для чего? Зачем? — все настойчивее спрашивала она себя. — Потому что он любит меня? Но разве ему не известно, что у меня муж, ребенок, семья? Может быть, он из-за меня не женился на Додо? Додо знала, что он когда-то был влюблен в меня. Я тоже знала об этом и все-таки позвонила. Не могла не позвонить... Я все расскажу Гено. Завтра он приедет, и я все ему расскажу. Да какое уж там завтра — вот-вот светать начнет. Нет, Гено должен знать. Он поймет меня, поймет, что я не могла подвести, погубить людей. А Тхавадзе просто обязан все уладить, тем более, если это дело им самим подстроено. А потом... потом я уговорю Мери отвести Бичико от него. Заставлю ее сказать... не ее заставлю, а сама скажу,— не то, что Джумбер из-за меня подружился с ним,— нет, я просто скажу, чтобы он не водился, не знался с Тхавадзе. У Тхавадзе не может быть ничего общего с близкими мне людьми. Эта ночь будет последней...»

— Кажется, едут, Мака! — сказала Марго.

Мери еще ниже опустила голову.

Мака не оглянулась. Она смотрела вперед, на Нодара, который все еще стоял у освещенной витрины и теперь разговаривал с черным, как галка, милиционером.

— Пусть едут! — сказала Мака и добавила про себя: «Пусть едут, я не причусь. Завтра я все расскажу Гено...»

Свет фар приближавшегося автомобиля скользнул по лицу Марго, и Мака увидела на нем облегчение, какое появляется у беспомощных людей при малейшей надежде на спасение.

— Приехали, Мака, дорогая. Все будет, как ты скажешь!..

«Я думаю, Бичи любит ее... Кто близко узнает Мери, непременно полюбит. Вернее всего, это Тхавадзе не разрешает ему жепиться, пока не получит какой-то надежды,— Мака не смогла выразить словами, на что хотел надеяться Тхавадзе.— Пока не увидит, что я сочувствую ему,— она улыбнулась в душе.— Он не так уж умен...»

Мака открыла дверь, только когда приехавшие выключили свет фар.

Бичико, сдерживаясь из-за всех сил, чтобы не шататься, пошел ей навстречу.

— Кто потревожил мою любимую сестру в такой поздний час? — силло проговорил он.

— Прибыли дружки жениха! — улыбнулся Тхавадзе. Рука его была горяча.

«Это он мне. Забывает, что я уже была невестой». Мака взглянула на брата. В неоновом свете улицы он показался ей бледным и каким-то пришибленным. «Нет, хватит ему пьянствовать и не спать по ночам. Хватит бедненькому».

— Не заставляй меня разглагольствовать попусту. Ты все знаешь сам... Скажи, что собираешься делать?— спросила брата Мака, чтобы не дать Тхавадзе первым заговорить об их семейном деле.

— Что? Навязывается? Виснет на шею? — вроде бы грубо спросил Бичико, но на этот раз он показался Маке намного тише и покорнее, чем когда-либо.

— А вы что скажете, Джумбер?

— Я на вашей стороне.

«Много ли он требует за эту солидарность?» Мака взглянула ему в лицо, но не сумела изгнать из его зрачков хищника, и отвернулась.

Стало тихо.

— Можно ли еще думать об этом?

— Кто такие? Чего им надо? — Бичи кивнул на маленькую машину, стоящую рядом. Он был явно растерян.

«Жалкий, несчастный, он даже понятия не имеет о сегодняшних событиях,— подумала Мака и перевела взгляд на Тхавадзе. — Зато вот кому все известно...» Но в эту минуту и Тхавадзе показался ей тусклым и незначительным, и она, почти торжествуя, подумала: «Он понял, что я раскусила его, и теперь всем своим видом показывает, что делал это лишь из любви ко мне. Надо сделать вид, что я не сужу его слишком строго».

— Пора вспомнить нашу старую дружбу, Джумбер. Помогите нам, иначе ничего не получится!

— Мы можем поехать ко мне...

— К вам? — Мака словно раздумывала. — Зачем? Не такое уж положение у моего брата, чтобы везти жену в дом друга. Если он сумеет поставить дело, у него и дом есть, и кров. Я уже договорилась с пашими. Они ждут.

— Ждут? — Бичи поднял голову и с надеждой взглянул на сестру.

«Не такой уж он бессовестный, как мне казалось».

— Я думаю, вы поймете меня, Джумбер. Неловко везти невесту в чужой дом, это как-то некрасиво. — К ней вернулась интонация вчерашнего разговора с Тхавадзе, которая не могла быть приятна ему. — В такое время женщина беспомощна, и мужчина должен показать себя мужем, а не юнцом.

— Согласен, — кивнул Тхавадзе. Последние слова задела его.

— Конечно, можно бы и к вам, но поверьте — так будет лучше. — Мака почувствовала, что ей пора замолчать, пора вообще прекратить разговор: в любую минуту она могла сорваться и, не сдержавшись, проявить свое давнее «дружеское расположение» к Тхавадзе.

Она отвернулась от Джумбера, громко сказала:

— Поезжайте за нами! — И пошла к машине, но тут же усомнилась, достаточно ли твердо прозвучали ее слова; а вдруг она поспешила, и теперь, когда их машина тронется в путь, Тхавадзе повернет свою назад и вместе с Бичико укатит восвояси. Она шагнула к «Москвичу», взялась за ручку дверцы и остановилась, всеми силами сдерживаясь, чтобы не оглянуться. Ей показалось, что,

если увидят ее испуганное, беспомощное лицо,— все рухнет. Она переждала немного, открыла дверь и села рядом с Мери.

Нодара за рулем не было.

Пока он увидел, что все уже решилось, пока подбежал и завел машину с полувыдохшимся аккумулятором, прошла целая вечность.

— Как можно скорее, Нодар! Поспеши!

Сзади включили мощные фары и пристроились след в след.

— Слава богу! — громко вздохнула Мака — удержать эти слова в груди было не вмоготу — и прижалась к плечу Мери.

Мери тихонько всхлипывала.

— Господи, пошли радость в дом Маки Лежава! Господи, даруй ей долгие, счастливые годы! — как молитву, твердила Марго.

Машина мчалась, дребезжа стеклами и подскакивая на рытвинах.

После той поездки, когда Гено спас от аварии машину Мелитона, он еще дважды был на строительстве ГЭС и теперь каждый день собирался основательно засесть за работу.

Он многое знал о стройке, был знаком с рабочими и инженерами, но написать о них не мог. Как и о чем писать? — думал он. Никогда еще первое слово не давалось ему с таким трудом.

Еще до отъезда Маки Союз журналистов известил Гено о том, что его заявка на книжку принята, однако если он не пришлет рукопись до сентября, ее перенесут в план следующего года.

Пока и до сентября времени оставалось достаточно, но это была первая сравнительно крупная работа Гено, от которой многое зависело в будущем, и он хотел не торопясь, без спешки поработать над ней.

Мака понимает это, но она не понимает, как трудно написать хорошую книжку, пусть даже брошюру. Она предана и верна во всем... Поможет, пойдет навстречу, но и ей нужно отвечать тем же, такой же заботой и вниманием. Если Гоча, не дай бог, простудится, все должны думать только о нем; если у ее брата неприятности, все, кто любит Маку, должны встать бок о бок с ее братом;

если отец болен, она все ночи напролет просидит возле его постели и будет требовать, чтобы и муж, и брат, и даже свекровь стояли над его головой, предупреждая малейшие желания больного.

Она наверняка обижена из-за того, что Гено сейчас не с нею и не улаживает путаных дел ее беспутного брата.

Вчера вечером он позвонил в больницу, но ему сказали, что Мака ушла. Видно, Симон оправился и теперь она помчалась на помощь брату. Она готова лезть вон из кожи, только бы покровительствовать своей родне.

Если Мака думает, что тишина и одиночество самые лучшие условия для работы, она глубоко ошибается. Раньше Гено тоже так казалось, но вот уже сколько дней потерял он впустую: знает — дома его не ждет никто, и то с одним проболтает за кружкой пива, то с другим засидится за бутылкой вина. Два последних вечера запирался с твердым намерением поработать, но опять не вышло. Сидит, работает, вдруг слышит — зовут: соседу что-то понадобилось, или у мальчишек воздушный змей запутался в ветвях тутового дерева. Опять садится, а вокруг куры квохчут, мышь кадку в подполье грызет. Слишком тихо, слишком как-то спокойно в доме, мешает это, не дает сосредоточиться. А тут уже вечер поздний на дворе. Надо хотя бы стакан чаю выпить? Надо. Значит, вставай и кипяти. Можно, конечно, и потерпеть и вовсе обойтись без чая, но все равно как-то пусто вокруг, и Гено не может собраться с мыслями — привык он к шуму и на работе и дома. Вот и теперь его опять тянет в сторону от неначатой рукописи и он думает о жене, ее брате и о Мери, которую знает с детства и которая, конечно же, достойна лучшей участи. Раз жизнь Симона вне опасности, теперь этот бездельник должен жениться, вот и весь разговор. Обязан жениться, хоть такое замужество и постыдно для Мери, но пусть пеняет на себя — сама виновата.

Утром, придя на работу, Гено первым долгом спросил о редакторе.

— Вызван на бюро, — сказали ему.

Гено тут же повернул назад, собираясь идти в райком, но голос Циалы остановил его.

— Куда путь держишь, Гено?

— Мир велик...

Циала спрыгнула к нему с двухступенчатой лесенки, подбежала и схватила за руку.

— Если б ты только знал, как я тебе благодарна!

— Благодарю Доментия, а не меня.

— Как жаль, что его переводят...

— Ничего не поделаешь...

— Ух, чтоб им пусто было! Почему они не оставляют его в покое...

— Доментий тоже не без греха.

— Ну, что уж такого в этих рейдовых материалах? Подумаешь, событие!.. Как там фамилия этого?..

— Прости, но я не знаю, кого ты имеешь в виду.

— Ну, того, которого он не пропечатал... Неважно. Ты слышал? Он, оказывается, пожаловал домой к Доментию, привел троих детей и заставил их реветь до тех пор, пока они слезами не изошли, а растроганный Доментий не пообещал вычеркнуть его из статьи.

— Также слабость. Ведь у других жуликов тоже есть дети и, может быть, даже больше трех.

— Но Доментий по доброте...

— Был такой фильм: «Закон есть закон».

— Ах, какая прелесть! Я обожаю этот фильм. Тото в нем просто бесподобен!

— Ну, ладно! Не заводишься! — Гено с улыбкой поднял руки, словно готовясь зажать себе уши.

— Молчу, молчу... Но все-таки он бесподобен!

— Я очень спешу, Циала. Когда Тебро выходит на работу?

— Тебро? Ты думаешь, я каждый день вижу ее?

— Я совсем этого не думаю.

— Наверное, с понедельника. Да, чуть не забыла: она хочет устроить вечеринку и пригласить тебя и еще кого-то...

— Кто? Тебро?!

— Да, Тебро.

— Кого же она хочет еще пригласить?

— О-о, это тайна!

— Несмотря на то, что тебе она известна? — Гено засмеялся. — Ладно, Циала, потом договорим...

Когда Дурмишхана Зосимыча только назначили председателем исполкома, он сразу же во всеуслышание объявил:

— Никаких приемных часов! Моя дверь открыта для всех и всегда.

«Ах, какой внимательный, какой простой человек!» — заговорили в городе о новом председателе.

Гено пришел в исполком с одной целью: упротить Дурмишхана Зосимыча повременить с переводом редактора на новую работу. В районном масштабе Доментий отменный журналист, к тому же редкой души человек. Его слабость — любовь к вину — ни для кого не новость, а что касается злополучных материалов рейда, он, конечно, перестарался с ними, но ведь для пользы же дела — взятки не брал и родственников своих не выгораживал...

В приемную вошли двое рослых мужчин, похожих друг на друга, как братья. Они сразу же сняли шапки, но не повесили их на вешалку, а заложили за спину и стали прохаживаться по комнате.

Один из них был директор совхоза, другой — старший агроном. На следующий день Гено предстояло съездить к ним в хозяйство за материалом, и он по выработанной журналистской привычке собрался было заговорить с директором, но в это время в дверях появился Дурмишхан Зосимыч. Приветливо улыбаясь, он поздоровался со всеми и прошел в кабинет. Следом за ним, но с другим выражением на лицах, озабоченные и строгие, вошли в кабинет заместитель с инструктором.

Секретарша забрала со стола газеты и письма, тоже исчезла за дверью и, вернувшись, пригласила директора совхоза и агронома.

Старуха в черном, сидящая у самой двери в кабинет, удивленно взглянула на секретаршу, но промолчала.

Толстая, дебелая женщина с гладким, лоснящимся лицом недовольно заерзала, оглядывая присутствующих, и проговорила:

— Теперь его не дожدهшься!

Прошло с полчаса, прежде чем из кабинета, обливаясь потом, выскочил инструктор и, не глядя по сторонам, бросился к выходу.

Кроме Гено, в приемной ждали очереди шесть человек. Двое из них, видимо, были колхозники. Они не садились, а стояли у стены и теребили свои войлочные шапки.

Зазвенел звонок. Секретарша процокала в кабинет, тут же выйдя, отправилась куда-то по длинному коридору.

дору и вернулась с двумя запотевшими бутылками «Боржоми» в руке.

Вошли начальник управления водного хозяйства и главный инженер. Они тоже сняли шапки и, несмело озираясь, открыли дверь кабинета — видно, были срочно вызваны.

— Теперь конца им не будет,— повторила толстуха с гладким, лоснящимся лицом.

— Что верно, то верно,— поддержал ее Гено.

— Раньше назначалось определенное время для посетителей, приходил — и за час тебя принимали. А теперь весь день его ждешь — не дождешься.

— У каждого свой метод.

Гено позвонил в редакцию, предупредил, что задерживается в исполкоме, выкурил сигарету в коридоре, потом еще одну.

Прошло не меньше двух часов, прежде чем он открыл дверь, ведущую в кабинет председателя исполкома, и оказался перед другой такой же обитой дерматином дверью. «Что за секреты у него,— за одной дверью не сказать».

Дурмишхан Зосимыч встал ему навстречу, приветливо пожал руку, приготовился слушать.

«Он, видно, неплохой человек,— подумал Гено, но тут Зосимыч придал лицу серьезное и строгое выражение.— Вот чего не хватает Доментию, он всегда одинаковый, мягкий, улыбчивый, а когда напьется, смеется без причины и ни на что не обижается».

— Доментий настоящий журналист, и его место в редакции,— говорил между тем Гено.— Его проступок не настолько серьезен, чтобы из-за него отрывать человека от любимого дела...

Выслушав его, Дурмишхан Зосимыч задал несколько незначительных вопросов относительно работы в редакции газеты и, получив ответы, примирительным тоном и даже с грустью сказал:

— Мой дорогой! Я читаю ваши статьи, и они мне нравятся. Знаю, что вас печатают в «Комунисти». Это очень хорошо, благодаря вам республика узнает что-то о нашем районе. Была у нас мыслишка назначить вас редактором... вы, наверное, не слышали об этом...

— Если б и слышал, я не согласился бы занять место Доментия. Он достоин...

— Выслушайте меня!— Гено понял, что Дурмишхана

Зосимыча обидел его отказ от еще не сделанного предложения, но он сдержался. — Все это... — Зосимыч выразительно задрал голову и поднял указательный палец, — санкция бюро. — Гено знал, что над кабинетом председателя находится кабинет секретаря райкома, и понял, что вопрос Доментия решен окончательно.

В скверном настроении вышел он на улицу и собирался направиться в редакцию, но тут с ним поравнялся запыленный «Колхозник» с директором совхоза и с агрономом за рулем, Гено вспомнил о нужном для газеты материале и решил, не откладывая, воспользоваться удобной оказией.

Из совхоза он позвонил в редакцию и предупредил, чтобы в завтрашней газете оставили место для очерка, а сам отправился осматривать усадьбы, фермы и плантации обширного, добротного налаженного хозяйства.

До рассвета сделали все, что можно было успеть в таких условиях, — наспех приготовились к свадьбе.

Утром Мака пошла по селу — позвать соседей. В глазах человека, которого уважили, пригласили на свадьбу и хорошо угостили, грех уменьшаться вдвое, и если потом гости стали бы на стороне осуждать нецеломудренную невесту, то хотя бы смягчили свои обвинения тем, что согрешила она с Бичико.

Среди прочих соседей Мака зашла и к двоюродному брату Симона — Антону Лежава. Мать из-за какого-то пустяка рассорилась с его женой, они не общались, и Мака с прошлого года не видела своей родни.

Пошли расспросы о том, о сем, воспоминания, смех... Наконец Мака сообщила цель своего визита: приходите на свадьбу, брат женится. Неожиданная новость вызвала удивление, даже недоверие. Как? Бичико? Ответ Маки не был исчерпывающим — частью правда с шуткой пополам, частью — обещание — вот придете и все узнаете.

Она задержалась у родни, а когда вернулась домой и поднялась по лестнице на веранду, к калитке подъехала машина.

«Гено приехал!» — обрадовалась было Мака, но калитку отворил Бичико, и светло-коричневая «Победа» смяла высокую траву во дворе.

Машину поставили возле самого дома. Тхавадзе скинул пиджак, засучил рукава белоснежной сорочки, открыл багажник и выкатил на земляной пол небольшую бочку. Бичи внес в дом объемистые свертки. Не дожидаясь его возвращения, Джумбер начал доставать из машины аккуратно спеленатые бутылки.

Мака отвернулась и вошла в комнату — ей не хотелось видеть, как в их доме хлопочет и хозяйничает Тхавадзе.

У окна, опустив плечи, стояла Мери.

— Нельзя было не позвать соседей,— сказала Мака так, словно оправдывалась или спрашивала разрешения у новоиспеченной невестки.

Мери взглянула на нее с благодарностью, смешанной с отчаянием.

— Да, вот что: тут недалеко, в пятом доме, живут наши родственники, мама в ссоре с ними. Если она не хочет, может и дальше не разговаривать, но с тобой мужнина родня должна познакомиться, должна чтить тебя.

— Как бы мама не обиделась!.. — забеспокоилась Мери, но тут же примолкла, стушевалась; если Мака так считает, значит, так нужно.

Мака подмигнула ей и улыбнулась. Потом, решив, что машина, наверное, уже разгружена, вернулась на веранду.

— Мери, дорогая, если ребенок проснется, кликни меня.

— Мака!..

— Что, Мери? Ты не стесняйся. Напротив, чувствуй себя свободнее. Скоро соберутся соседи, и пусть они увидят, что ты своя в нашем доме! Ты только сегодня вошла в наш дом, но уже давно наша невестка,— Мака ушла, а Мери еще долго смотрела на то место, где она только что стояла.

Когда Мака появилась на лестнице, Тхавадзе садился за руль, и ладонь его лежала на ручке дверцы.

«Такая же ручка была во сне у шкафа». Мака вздрогнула от этого воспоминания. Она внушила себе, что сон уже сбылся прошлой ночью, что он исчерпан, но собственные поступки вызывали в ней смятение: она суежилась, спешила, не находила себе места, не находила занятия, словно избегала кого-то, старалась понравиться Мери, удивить ее своим благородством.

Вскоре появились первые гости — с лицемерными улыбками, с поздравлениями.

Пора было садиться к столу, но Мака молчала.

«Если не придет Гено, кто будет тамадой? Тамадой должен быть зять. Возможно, Тхавадзе умеет пить лучше его и может возглавить стол, но здесь не его место».

Во двор вынесли скамейки и стулья.

Гости разговаривали, собираясь группами, играли в нарды¹. Сыну Антона Лежава кто-то приколот к пиджаку «хвост» из клочка газеты, и соседская девушка — кося Цабуния закатывалась от смеха, глядя на него. Тхавадзе сидел под грушей, на длинной дощатой скамейке. Он ни во что не играл и ни с кем не разговаривал. Для него не существовало никого, кроме единственной женщины.

Мака знала, что не должна жалеть его. Хотя тех, кого жалеют, не любят.

«Ну, что он сидит, как изгой, как отверженный. Здесь все его знают. Мог бы походить среди людей, поговорить, сыграть партию в нарды, в конце концов», — думала Мака.

В дверях показался Бичико. Мака сразу же обернулась к нему.

«С каких это пор меня волнует настроение Джумбера? Что мне за дело до него?»

— Пригнала столько народу, не заставляй теперь ждать! — бросил Бичико, проходя мимо сестры, и направился к гостям.

«Сейчас он пригласит их к столу. Все-таки не смог не доложиться. Не сумел возглавить всего. Но где тамада?..»

Она заглянула в подсобную комнату и, увидев там мать, велела ей переодеться. Потом поднялась наверх, к Мери. Когда она шла через веранду, навстречу ей выбежал Гоча и прижался к ее коленям.

Бичико предложил тамадой Тхавадзе.

Мака решила не садиться к столу. Теперь ее одинаково раздражали и брат, и невестка, и мать, и муж — все.

¹ Распространенная в Грузии игра в кости.

Заметив, в каком она настроении, Ольгахватила себя по щекам: рассеянная, сбита с толку, теперь она совсем потерялась.

С той минуты, как рано, на рассвете, ее разбудили и к ней в комнату, прямо к ее постели привели неизвестно откуда взявшуюся невестку, именно невестку, а не невесту сына, она, как слепая поводырю, доверилась дочери и до сих пор не могла понять, во сне или наяву происходит все вокруг.

У пришедших на свадьбу беременной невесты и, кроме отсутствия Маки, которое могло быть истолковано по-всякому, было достаточно поводов для сплетен и упреждений в остроловии.

— Гено не приехал... — пожаловалась Мака Марго.

— Приедет, моя радость, не волнуйся! Пойдем, Мака, пойдем к столу...

В эту минуту Марго совсем не думала о двоюродном брате. Ее мучало то, что если Мака не появится за свадебным столом, там возникнет неловкость, которую не удастся замять. Еще ее терзала тревога о своих близнцах, оставленных на попечение больной свекрови, но, кроме нее, с Мери не было никого из родни, и, разумеется, Марго не могла оставить бедняжку.

Мака встала, провела рукой по волосам и с шумом распахнула дверь из соседней комнаты. Все невольно обернулись к ней. Она подошла к столу и, удивленно разведя руками, спросила:

— Что же вы? До сих пор не выпили за жениха и невесту?

— Выпили!

— Поздравили!

— А как же!.. В первую очередь! — слышалось с разных концов стола.

— И так тихо, что я даже в соседней комнате ничего не расслышала? Ну-ка, подайте мне сосуд, из которого пил тамада!

— Подайте ей рог!

— Ай да молодчина, Мака! Так их! Чего куксятся!

Ей передали черный, полированный, без чеканки по ободку турий рог.

«Тхавадзе его принес. У нас никогда не было такого, и у соседей не помню. Больше пить не стану, но этот выпью до дна. Турий рог только на вид велик, а вмещается в него не так уж много...»

Вино застревало в горле, пилось с трудом, но все смотрели на нее, и отступать было поздно. Наконец она осушила его и, чтобы рассеять сомнительное молчание за столом, с улыбкой стряхнула рог об мизинец. Этот жест вызвал общий восторг.

— Вот это я понимаю!..

— Мака молодчина!..

— Знай наших!

Антон Лежава, к этому времени уже порядком подвыпивший, вскочил, оттолкнул стул, вскинул высоко свой стакан и торжественно объявил:

— Моя племянница Мака — настоящая Лежава! Что с того, что у нее отличный муж? Все равно по духу она Лежава!

За столом оживились, загалдели, повеселели. Мака опять оказалась в центре внимания.

Марго и вовсе растаяла от восторга.

— Ты не женщина, а солнце! — шептала она, стоя за спиной у Маки. — Царица Тамара ты, вот кто!..

Тхавадзе молчал.

«Мне станет жалко его, — подумала Мака. — Какого черта я выпила вина? Теперь мне станет его жалко. Всю жизнь он любит меня и никогда не сможет забыть».

Она встала. Вино давило на сердце. Ей было скверно, но она не ушла с балкона, а только позвала сына, игравшего во дворе около машины.

Услышав голос матери, Гоча послушно взбежал к ней. Мать подвела его к столу, посадила подле себя и объявила гостям:

— Пока приедет отец, Гоча заменит нам его.

— Да здравствует Гоча!

— Выпьем за Гено!

— Правильно, Мака! Правильно, золотко ты мое!

Мальчик сперва удивленно глазел на шумное застолье, потом пообвык. Начали говорить очередной тост, и его забыли. Он потянулся к тортю. Не дотянувшись, опрокинул чью-то рюмку. Мать пришла ему на помощь, наложила сладостей в тарелку, наполнила лимонадом маленький стакан и поставила перед ним.

— Скоро придет папа, и я отпущу тебя! — шептала она сыну.

— Папа?

— Да, наш папа...



Мальчишка некоторое время посидел за столом, но потом вспомнил, что на дворе солнце, высокая трава, а в траве стоят две машины, сполз со стула и убежал.

Вскоре и Мака вышла во двор, к радости сына, посадила его в «Москвич» и попросила Нодара отвезти их в сельсовет.

«Плохо, что машина Нодара такая маленькая и старая», — подумала она, проезжая мимо свежевыкрашен-

ной, сверкающей никелированными частями светло-коричневой «Победы».

Дежурный исполнитель указал им дом секретаря сельсовета. Секретарь — бойкая веселая женщина — наскоро переделалась и, прихватив книгу бракосочетаний, села к ним в машину.

К тому времени, когда они возвратились, за свадебным столом было сказано каких-нибудь три или четыре тоста.

Мака вызвала в соседнюю комнату двух свидетелей и жениха с невестой — там они и расписались.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вечером Мака решила воспользоваться машиной Нодара и уехать. Она вдруг всполошилась. Незнакомое ранее желание — укрыться поскорее в своем доме — овладело ею, и она даже из вежливости не удерживала порядком подвыпивших гостей.

«У Марго дети без присмотра остались. Да и я хороша: забросила дом и работу. Нет, домой! Домой! Я сейчас же, немедленно должна уехать».

Тамада все еще венчал собою панораму поредевшего пиршества, и несколько пьяных из последних сил пытались пересидеть его, когда Мака втиснула в крохотный, осевший под тяжестью «Москвич» Марго, свекровь и сына и, расцеловав на прощание перепуганную невестку, обнадежила ее: не бойся, наша сестра еще не таких, как Бичи, прибирала к рукам, — хотя знала, что Мери не из тех, которые способны кого-нибудь прибрать к рукам, просто не тот случай.

К Тхавадзе она подошла, когда он поднялся со стаканом в руке для очередного тоста, — ей не хотелось подавать ему руку.

— Думаю, что и в будущем вы не оставите Бичи без внимания.

— Пока я жив...

«Несчастный! Неужели он всю жизнь должен любить меня?»

— Теперь я буду далеко. Хорошо, если вы проявите к молодым вашу братскую дружбу.

— Я надеюсь...

«На что он еще надеется?»

— Всего вам хорошего!

«Теперь он не удержится и устанется мне вслед. Надо поскорее выйти».

Когда машина, миновав калитку, выехала на дорогу и сидящая рядом с Макой Марго проговорила: — Слава тебе господи, спаслись! — Мака подумала: «Я поспешила. Я не должна была торопиться!» — И эта мысль так испугала ее, что она чуть не забыла заехать к отцу в больницу и в двух словах рассказать ему обо всем.

Джумбер Тхавадзе вернулся домой засветло.

«Если кто спросит — меня нет дома», — предупредил он мать и заперся в своей комнате.

Он чувствовал не столько опьянение, сколько усталость. Эта усталость была вызвана не бессонной ночью и выпитым сегодня вином. Эта усталость накапливалась годами, напряженными, как курок на взводе, бессонными ночами и днями без роздыха; учебой в институте, к которому он не был подготовлен, — в одно и то же время ему приходилось получать высшее образование и восполнять чудовищные пробелы, вынесенные из средней школы. Нужно было работать, вкалывать, «пахать» и на пустом, голом, как плешь, месте выстроить дом, получить все, о чем он мечтал, и — ее...

Это началось в тот день, когда он пластом лежал там, за оврагом, уткнувшись в черный, трухлявый пенёк, и целое войско красных муравьев пожирало его. А по ту сторону оврага, за висящими, покачивающимися нитями плакучей ивы прошла радостная, счастливая Мака, и Джумбер не посмел даже подумать: «Когда-нибудь она будет моей». Он должен был сделать все, все стерпеть, чтобы получить право на эту надежду, на эту мечту.

...Нет, все началось раньше — с латаной-перелатаной, заношенной до дыр блузы — когда ее стирали, приходилось надевать черную сатиновую материнскую кофту; началось с пятистенки, торчащей позади правления колхоза, на пригорке, в грязном, непролазном ни зимой, ни летом тупике, с пятистенки, у которой сгнил фундамент, разохлась тесовая крыша и в дождь в одной из комнат невозможно было спать; началось с ни на что не способной матери-вертихвостки и единственного дядюшки, который служил стрелочником где-то в пригороде Тбилиси и приезжал раз в год, когда ему предоставлялся

бесплатный билет в общем вагоне; началось с зудящей злой чесотки, оставившей красный след под подбородком, с чесотки, которую не брали никакие деревенские средства.

Он многого добился в тот день — не встал и не поплелся за Макой на вокзал. До вечера провалился на сырой после дождя земле, уткнувшись в трухлявый пенек и давясь собственной глоткой. Он отдал себя на съедение красным муравьям, но не встал и не поплелся за ней. С этого дня он не щадил себя, а потому многое мог. Он решил не видеть Маки. Не видеть до тех пор, пока она не забудет осточертевшего ей шелудивого босяка. Джумберу предстояло измениться даже внешне.

Тогда Тхавадзе не предусмотрел только одного: ведь время шло, и сердцем Маки Лежава мог овладеть кто-либо.

С этого дня Джумбер почти не спал. С книжкой в одной руке, а в другой то с киркой, то с ломом, то с лопатой на раскаленных, обжигающих сквозь штаны рельсах или в скудной тени придорожного кустарника он занимался. На следующий год поступил в институт, на заочный. Сначала пришлось трудно, но справился, одолел. Начал работать на винном заводе. Наконец присмотрел красивый участок для дома, и тогда-то та, ради которой он не смыкал глаз, ночь обращал в день, в одно прекрасное утро проснулась рядом с неким Гено Нижарадзе.

Когда Тхавадзе узнал об этом, было уже поздно, — узнай он раньше, Гено Нижарадзе не нашел бы и следа своей красивой невесты.

Через год, когда Джумбер работал на заводе инженером и начал постройку дома, у Маки родился сын. На месте Тхавадзе любой другой махнул бы рукой, позабыл бы некогда любимую женщину или разочаровался в жизни. Но беда еще жестче укоротила его ночи. За полтора года он достроил дом, влез в долги, но купил машину и начал искать путей-подступов к Маке. В Тбилиси во время экзаменов подружился с Бичико Лежава, который своей беспечностью, мотовством и легкомыслием вызывал у него отвращение. Сблизился со школьными друзьями и приятелями Маки Лежава. И все-таки ему трудно было следить за жизнью женщины, замкнувшейся в кругу семьи. Он взял и поехал в Тбилиси — через некоторое время на нанисский винзавод нагрянула не-

ожиданная ревизия, но безрезультатно. К исходу месяца Тхавадзе опять появился в столице: на этот раз ему почему-то пошли навстречу, и директор ианисского завода получил назначение в Кахетию на крупный комбинат, заместителем.

Новый руководитель предприятия — Джумбер Тхавадзе — сумел быстро завоевать любовь и уважение рабочих и районного руководства. Бичико Лежава он устроил к себе на работу. Теперь жизнь Маки все яснее вырисовывалась перед ним, но... Но она прекрасно чувствовала себя в своей семье. Преподавала в школе. Они выстроили дом. Свекровь переехала к ним на жительство и помогала по хозяйству. Мужа перевели на работу в редакцию. За прошедшие полгода Мака только дважды показалась в Ианиси, и оба раза вместе с супругом. Джумбер знал ее самолюбие, ее самоотверженную преданность близким — своего рода родственный комплекс. Именно здесь могла разорваться цепь. Муж, судя по слухам, был достаточно умен и мужествен; сын остается сыном, тут никакие козни не пройдут; из ее родителей и брата Джумбер мог веревки вить, но что толку? Как их использовать?

И тут ему, может быть, впервые в жизни повезло.

Тхавадзе не больно тянуло на веселье и времяпрепровождения, он пил, только если это было нужно. Когда один из сослуживцев пригласил его на свадьбу своего брата, Джумбер поехал в надежде встретить там Маку. На свадьбе какой-то верзила, то ли полоумный, то ли буян, сорвиголова, поранил ножом тамаду — собственного двоюродного брата: как ты посмел сказать, что я не выпил из рога, когда я осушил его до дна! Пошла буча! Повскакали, зашумели. Кто виновник? Кто заварил кашу? А виновник, говорят, некий Хибрадзе, племянник тетуски Васаси. Тхавадзе откуда-то припомнил несчастное имя — Васаси: в этом селе, до переезда в Тбилиси, жил в зятях тот самый дядюшка, который теперь изредка навещал их, пользуясь льготным билетом в общий вагон.

Когда раненого тамаду вывели из-за стола, кто-то заметил:

— Джабе Хибрадзе опять сойдет с рук: один его брат заместитель начальника милиции, а двое работают в Тбилиси — они замнут дело.

— И кроме них найдется кому заступиться, — вста-

вил другой.— Его шурина вон в редакцию перевели, говорят, тоже большим человеком станет.

Какая-то худая, как щепка, остроносая и востроглазая женщина, назубок знавшая всю родню Хибрадзе, объяснила присутствующим, что у Джабы не может быть шурина, поскольку никогда не было сестры.

— Марго Дзнеладзе и Гено Нижарадзе не родные, а двоюродные брат и сестра,— скороговоркой выпалила она.

— Нижарадзе? — вырвалось тогда у Джумбера.

За столом долго еще волновались и обменивались мнениями о случившемся, и кто-то сказал, что из-за этого бешеного Джабы Хибрадзе никто не смеет даже заговорить с его сестрой.

Ах, у него есть сестра? Это уже интересно. Кто такая? Вон та... Нет, нет, рядом... Эта тихая девушка с доверчивым светлым взглядом? Она самая... Вот оно что!

«Интересно, что она скажет, если Бичико Лежава, стройный, смелый, красивый Бичико Лежава объяснится ей в любви?.. Она, наверное, не знает, что за фрукт Бичико Лежава. А узнает, тоже не беда: в ее возрасте положительность и солидность не очень-то привлекают. Она разделит чувство каждого, кто не побоится ее бешеного брата и — запретный плод сладок — согрешит раньше, чем любая другая. А потом, если Бичико Лежава откажется жениться на соблазненной, этот сумасшедший Хибрадзе не пощадит его, не остановится ни перед чем. Кто тогда спасет от верной смерти брата Маки Лежава? Кто лучший друг Бичико? Кто устроит все? Джумбер Тхавадзе сделает это! Да, Джумбер Тхавадзе! А нет, так ее брат погибнет, это ясно, как день. Хорошо, если только брат, а то кто-нибудь еще подвернется под горячую руку. От такого головореza всего можно ждать: как-никак опозоренная сестра — это тебе не спор о невыпитом роге!»

Джумбер тут же сел в машину, отвез раненого тамаду в больницу, пообещал врачам щедрые подарки — только спасите его. На допросе принял сторону Хибрадзе — его публично оскорбили.

До того, как дядя, некогда живший по соседству с тетушкой Васаси, переехал в Тбилиси, Джумбер несколько раз и вправду гостил у него, но теперь, разумеется, его никто не помнил. Однако это не смутило Тхавадзе:

по его словам оказалось, что однажды тетушка Васаси спасла маленького Джумбера от смертельной опасности — закрыла собой от бешеной собаки. Тетка Васаси отчаянно клялась, — не помню, говорит, ничего подобного. А Тхавадзе в ответ: вы мне, как родная мать, у меня до сих пор во рту вкус ваших мчади, снятых с жарких углей, позвольте навестить вас в ближайшие дни.

— Только бы такой уважаемый человек отведал моей стряпни, а я не то что мчади, хачапури испеку! — обрадовалась Васаси.

Вероятно, Джумбер не вспомнил бы больше свою «спасительницу», если б Джаба Хибрадзе не застрял на несколько недель в милиции, а Бичико не встретился у нее с Мери. Дальше все пошло как по маслу. Встреча за встречей. Тхавадзе «быстро пьянел» от вина, и Бичико один отвозил домой Мери Хибрадзе. Слава богу, Мери не оказала особого сопротивления и вскоре понесла. Джаба тоже просидел недолго, дело замяли под следствием. А когда беременность Мери даже для постороннего глаза стала очевидной, заболел Симон — отец Маки, и Мака приехала в Ианиси.

Тхавадзе и впрямь удалось достичь того, что Мака Лежава не узнала его. Удалось посадить ее в свою машину, сказать номер телефона, даже заставить позвонить; но Мака сумела обернуть все это в свою пользу. Она спасла и отца, и брата, и Мери, а сама ушла... Теперь Тхавадзе оставалось вброд перейти через ручей, вскарабкаться на пригорок позади ив, уткнуться рожей в тухлявый пенёк и разворошить ядовитое муравьиное гнездо.

Он устал от бессонных ночей и дум. Сегодня все полетело прахом. Никогда он не чувствовал такой безнадежности и отчаяния: ни тогда, когда Мака вышла замуж, ни тогда, когда она родила ребенка.

Тхавадзе и сейчас лежал лицом вниз, лбом в подлокотник вишневого дивана, и целое войско красных муравьев кусало его.

В доме горел свет. Гено — это было видно со двора — сидел за письменным столом.

«Он правильно сделал, что не приехал, — с неожиданной радостью подумала Мака. — Пусть занимается своими делами». Теперь ей все казалось давно прошедшим,

и ни к чему было мужу знать, как трудно ей пришлось в Ианиси, даже растерялась сначала.

Гено без особого интереса выслушал историю женьбы Бичико, только спросил, когда предполагают делать тестю вторую операцию.

Марго, чья впечатлительная душа была потрясена событиями прошедших суток, все никак не могла успокоиться. Она возносила Маку до небес и даже полушутя кольнула Гено: ты мне дороже брата, и люблю я тебя очень, и хорош ты всем, но не стоишь такой жены. Мы, твоя родня, ноги ей мыть должны, на руках носить.

Гено заметил, что эти славословия не очень-то радуют Маку, и удивился.

— Марго, милая, не стоит столько говорить об этом,— сказала Мака.— Кто же не постарается для родного брата? Вот когда посторонний человек принимает близко к сердцу...

— Да, да... — закивала Марго, решив, что под посторонним Мака имеет в виду Тхавадзе. — Как он много сделал для нас, широкая у него душа!

Мака так и обмерла: сама напомнила! Она не собиралась скрывать от мужа участия Тхавадзе, но сейчас, после долгого отсутствия, сразу без подготовки ляпнуть — директор завода готов был в лепешку расшибиться ради Бичико,— это ни к чему. К этому сообщению Гено не мог отнестись доверчиво и наивно, как Марго.

Гено, видимо, сразу догадался, к кому относилась горячая признательность его двоюродной сестры. Марго же была так счастлива, так довольна исходом дела, что помянула добрым словом не только Тхавадзе, но и многих других гостей свадебного пиршества. «Вчера ты не смог приехать,— сказала она Гено,— но в другой раз, когда окажешься в тех краях, не забудь и поблагодари соседей за внимание. С хорошими людьми имеешь дело — надо ценить».

В эту ночь, к своему удивлению, Мака была холодна с мужем.

Утром, когда Гено ушел на работу, Мака получила свою телеграмму, высланную в субботу ночью.

Гено, видимо, был доволен тем, что его не теребили, не вызывали настойчиво на свадьбу и избавили от малоприятной суматохи и суеты. О Тхавадзе он молчал.

После отъезда Марго Мака вскользь упомянула в разговоре директора завода, на котором работает Бичико, но не отдельно, а вместе со всеми соседями, друзьями и знакомыми, принявшими участие в свадебной церемонии.

Гено, конечно, понимал, что Тхавадзе был очарован вовсе не Бичико, но обвинить жсну в чем-либо не мог. Маку же тревожило и мучило то, что ей не удалось лишить Джумбера надежды. Она осталась его должницей. И хоть старалась, изо всех сил старалась (разве нет?) держать его на расстоянии, все-таки приблизила к себе. Она даже не удивится, если нынче утром по пути в школу нарвется где-нибудь на него.

В двенадцатом часу она вышла из дому и, лишь убедившись, что на дороге нет никого, кроме бородатого старика на костылях, направилась в школу.

«Нет, сюда он не посмеет,— внушала она себе.— А туда я никогда в жизни не поеду одна...»

В субботу, после полудня, Гено еще был на строительстве электростанции, когда Марго с мужем, деверями, свекровью и двумя закутанными в одеяла девочками-близнецами пожаловали к ним.

Мака радушно приняла гостей. Вскоре вернулся Гено, и все вместе они поехали в Ианиси.

Мать увела Маку вниз и, тревожно поглядывая на потолок — как бы не услышали гости,— сообщила, что прошлой ночью Бичико где-то пропадал. Слава богу, на этот раз он оказался дома.

Все вроде шло хорошо, но, подвыпив, Джаба и Бичико все-таки сцепились. Хибрадзе сдержался,— «из уважения к твоей сестре», как он сказал,— и, зная свой характер, не стал больше пить.

Тогда Бичико пристал к его брату — капитану милиции: сними свою форму, не пугай людей... Гено обратил все в шутку: ты не прав, теперь милиция нам нужна позарез, следить, кто «сачкует» и не допивает вина до дна. Посмеялись. Капитан все же дулся. Положение спас старший брат Джабы, приехавший из Тбилиси, Баграт Хибрадзе,— рассказал кучу анекдотов, причем сделал это так мастерски, что в конце концов даже капитан отошел и заулыбался.

Наутро Джаба вдруг объявил: так дело не пойдет — теперь все едем ко мне! Что это еще за прятки? Я сестру

замуж выдаю и знать ничего не знаю! У меня есть свои друзья и своя родня: свет не сошелся клином на мне да на моих братьях — нас вся округа знает!

На это Бичико ответил, что сегодня он ждет в гости приятелей-сослуживцев и никуда из дому ни шагу. Если так уж горел желанием, надо было раньше думать.

— А тебя не спрашивают! — отмахнулся от него Джаба.— Скажи спасибо, что в дом такого приглашаю!

Когда случилась эта перепалка, Мака была в нижней комнате. Марго скатилась к ней по лестнице ни жива ни мертва.

— Мака, ради бога, Мака!

Мака взбежала наверх и бросилась к брату. Джаба Хибрадзе стоял по другую сторону стола, напряженный, как динамит с дотлевающим шнуром. Мака с укором взглянула на мужа. Гено поднял брови и криво усмехнулся: мол, что с такими поделаешь.

Мака подсела к Хибрадзе, отвлекла его разговором, загасила огонь, уняла. Но за завтраком, когда после коньяка выпили немного вина, Хибрадзе опять заерзал, как на иголках, заволновался, закипел. Гено, решив, что волк с собакой все равно не уживутся, надумал уехать и забрать с собой Джабу, да и капитана прихватить заодно. Оставайтесь вы с братьями,— сказал он жене,— а вечером, если они не перепьются, садитесь в поезд и— домой.

Мака с минуты на минуту ждала появления Тхавадзе и потому сказала:

— Не оставляй нас.

Гено покачал головой:

— Ты обязательно хочешь, чтоб они сцепились?

Сейчас для Маки все было лучше, чем отъезд мужа.

— Мне казалось, что ты мужчина,— сказала она.— Неужели эти петушки напугали тебя?

Ее слова задела Гено. «Она говорит со мной, как со своим братом. Кому нужны эти дешевые штучки? И зачем мне, защищая Бичико, связываться с Хибрадзе?»

Он ясно сознавал, что ссора могла вспыхнуть в любую минуту, и никто не знает, чем она кончится, если за столом Джаба Хибрадзе. К тому же после вчерашнего «возлияния» он был не в духе, а утром ни свет ни заря ему предстояло заехать в редакцию, а оттуда на строительство электростанции — перехватить, наконец, главного инженера.

— Раз ты передумал, возьми и меня с собой.

Гено решил, что Мака опять шутит, ибо оставить сейчас дом с гостями, да в ожидании новых гостей на попечение растерянной старухи Ольги и сумасбродного Бичико было невозможно.

— Я не узнаю тебя.

— Я знаю, что без меня им не обойтись, и все же возьми меня с собой!

— Ну, если тебе не вмоготу... — Гено развел руками и засмеялся.

«Он сомневается в моей искренности», — с удивлением подумала Мака и вышла в комнату, где Марго, стоя между своими близнецами, в который раз рассказывала соинной свекрови подробности свадьбы. С веранды опять послышался громкий, возбужденный говор, но Мака не обратила внимания. Вскоре все поднялись из-за стола. Когда Мака выглянула, Джаба и Гено шли к машине: Джаба колотил себя кулаком в грудь, а капитан милиции уже сидел рядом с шофером и нетерпеливо озирался.

Разумеется, Гено хотел бы, чтобы Мака поехала вместе с ним, но это казалось невозможным, — в довершение всех домашних хлопот не сегодня-завтра выписывали из больницы Симона, а Мери была незнакома со свекром.

К тому же Тхавадзе мог вовсе не появиться. Стоило ли отчаиваться заранее?..

Вечером предыдущего дня Джумберу Тхавадзе позвонила Вардо — дочка тетушки Васаси и «между прочим» сообщила, что с субботы на воскресенье братья Хибрадзе собираются в Ианиси. Для Джумбера это не было новостью: не могли братья не провести единственную сестру, скоропалительно вышедшую замуж.

На завод к Тхавадзе приехали гости из Тбилиси. Передоверить их заместителю или главному технологу было невозможно. К тому же во время подобных визитов приходится думать не только о приехавших — в районе много «деятелей», которые, прослышав, что директор винного завода без них чествовал тбилисских гостей, смертельно обидятся.

Поздно ночью Тхавадзе удалось спровадить начальство. Явиться среди ночи в дом к Лежава нельзя было ни под каким предлогом, но он чувствовал — Мака при-

ехала, она здесь. И зная, что теперь не найдет покоя, что сон не коснется его, он вернулся к оставшимся за столом.

На рассвете он подъехал к своему дому и, не надеясь без осложнений завести машину в гараж, оставил ее у ворот.

Вошел в дом. Не включая света, сел у окна, оперся о подоконник, глядя в темноту. На открытом балконе соседнего дома горела электрическая лампочка. Она выглядывала из листвы деревьев, когда ветер шевелил ее. Далекие мерцающие звезды на небосклоне казались бесконечным желтоватым пунктиром.

«Если б я не был пьян, я бы пошел, но я пьян и никуда не пойду. Я же знаю, что не пойду,— говорил он себе. В опьянении это трезвое решение не покидало его.— С попойки всегда возвращайся домой, тогда и на трезвую голову не оступишься. Ты директор винного завода. В твоих устах... хм, в твоей глотке у вина особый запах...»

Рано утром Тхавадзе заснул, сидя на стуле.

Солнце стояло высоко, когда он раскрыл глаза. Вскочил. «Хорошо, что мать не разбудила меня». Прошелся по комнате. Распахнул окно. Во всем теле чувствовалась тяжесть.

«Еще нет десяти. Рано...»

Он прилег на диван и устался в потолок. Мысли его были смутны, разрознены.

«Я ничего не сделал... Ничего не добился, ничего особенного... Кто я? Несчастный виноделишка, и все. Это может удивить только меня да мою мамашу, потому что, когда я вкалывал на железной дороге, у меня задубели ладони от кирки и от солнца рассыхались мозги. Она тоже не узнала меня. Она и этого не ожидала. Со дня отъезда так ни разу и не вспомнила... Какое-то проклятие висит надо мной! За столько лет ни разу, ни одного мгновения я не думал ни о ком, кроме нее, и хоть бы раз спросила, жив ли я, поинтересовалась бы — жив или подох... На что я надеялся? Она забыла чумного Джумбера школьных лет, которого видеть не могла, но за какие заслуги полюбить ей теперешнего Тхавадзе? Что я еще сделал для нее? Чуть не погубил ее брата, только бы вынудить ее прийти ко мне и попросить помощи. Да, я хотел, чтобы она поняла, что нуждается во мне. Я хотел этого и ни перед чем не останавливался. Но она

раскусила меня. Я не мог иначе напомнить ей о себе. Я знал, что делал и на что шел, просто у меня не оставалось другого выхода. Если она должна забыть меня, то лучше пусть ненавидит, пусть ненавидит и клянет — но помнит!»

«Раз уж я появился на свет, я хочу жить и хочу свою долю в жизни,— говорил Тхавадзе кому-то, нет, не Маке, совсем не ей — кому-то. — Я ничего у тебя не краду, ничего не отнимаю, я прошу только своей доли — и дай мне ее! Она была моей судьбой, моим жребием, но ее отняли у меня и поделили, и теперь она — кому дочь, кому сестра, кому... мать, подруга, знакомая! Что тебе еще? Довольно! Верни мне мир, отнятый только за то, что дом мой был развалиной и по ночам дождь натекал мне за шиворот, только за то, что моего отца угробили где-то в Карпатах и я остался сир и наг, за то, что моя мамаша — дочь бывшего священника, болтливая, как сорока, с утра до ночи таскалась по соседкам и некому было заштопать и выстирать мою единственную рубашку, за то, что, сбитый с панталыку, немой, безъязыкий, я любил жизнь. Я полностью ответил за это свое преступление. Сейчас у меня есть дом и работа, есть машина и новые костюмы,— я научился разговаривать, читать книги и... Я не хочу, чтобы моя жизнь была пустым звуком. Верните мне мое имя, дайте мою долю в жизни...

...Сейчас там ее муж, и я не должен идти туда, потому что она моя, но принадлежит ему».

— Я пойду туда! — решительно проговорил Тхавадзе.— Я научился терпению, но это не навечно! Я опротивел себе, но не навсегда... Да, надо зайти за кем-нибудь и явиться под видом друзей Бичико.

«Черт с ним, только бы на этом все кончилось, только бы этот вечер был последним. Пусть смотрит, пусть смотрит, сколько угодно.— Мака встретила взглядом с Тхавадзе.— Сумел-таки сесть напротив... Переменить место? А если он и туда переседет? Сейчас всем кажется, что он случайно оказался передо мной, а вероятнее всего, вообще ничего не кажется. Еще совсем немножко, и я уйду, запрусь в комнате, отдохну. Надо дождаться до завтра, забрать отца из больницы и познакомить с невесткой. Если я оставлю Мери лицом к лицу со свекром, у бедняжки сердце разорвется. Нужно их примирить.

Скажу отцу, что теперь есть кому присмотреть за ним. Мери именно та женщина, которая сумеет заменить меня у постели больного. Пока отец жив, и у нее будет свой заступник... Я всем желаю добра. Что ж поделаешь, если сил у меня мало и недостает на всех,— мои ближние тоже люди. Хотя и Тхавадзе не заморский гость, но что я могу для него? Ну, ладно, допустим, я знаю, что он меня любит. Ну и что? Что от этого изменится? Пусть хоть не смотрит так на меня... заметят... Ах, только бы Гено остался... Если он не отвернется, я пересяду или уйду совсем. И больше моей ноги здесь не будет... Приеду в кои веки раз проведать отца, приеду на час-другой, вместе с Гено...»

Старший брат Мери — Баграт рассказывал что-то об охоте в заповеднике под Тбилиси, «где фазанов разводили, как кур на ферме». Стоило Баграту заговорить, и за столом возникало оживление, все обращались в слух, заранее улыбаясь и предвкушая удовольствие. И только у Тхавадзе свело челюсти, как тисками. Иной раз, и правда, было острым и точным легкое слово Баграта, но ни разу оно не разгладило складок на лбу у Тхавадзе.

«Может быть, этот бедолага и смеяться-то не умеет. Что с ним? Что он как проклятый — и песню не поддерживает. Человек может не уметь петь, по чтобы человек не умел смеяться, такого я еще не видела. Как только произносят тост, он тут же встает, говорит несколько слов и хлещет стакан за стаканом... Хочет вызвать во мне жалость... Если б я любила кого-нибудь и была отвергнута, как бы тяжело мне ни приходилось, я не дала бы почувствовать, что не могу жить без него...»

За столом засмеялись. Мака по смеху поняла, что Баграт Хибрадзе еще не досказал своей истории; это был короткий поощрительный смешок, так сказать, по ходу дела.

«Он не должен почувствовать, что я думаю о нем. Раз для него не существует никого на свете кроме меня, он может не слушать; я же послушаю, о чем рассказывает Баграт, меня интересует все, кроме Джумбера Тхавадзе».

— Профессор так спокойно вошел в заповедник, словно получил его в наследство от собственного папаша,— рассказывал Хибрадзе, изображая при этом старого горожанина на неровной дороге.— И вдруг — ба-бах — громыхнуло... Нет, извините, сперва просвистело — фють,

фють,— а потом ба-бах, ба-бах — подряд. Я окаменел.— Хибрадзе завращал зрачками, словно провожая взглядом пули, пролетевшие над ухом.— Виноват, на фронте не был, но знаю, можешь помереть, даже не почувствовав этого. — Профессор, убивают! — ору благим матом, чтобы убедиться, что могу кричать и душа моя еще не рассталась с телом. В ответ слышу: «Руки вверх!» И погнали нас, что твоих диверсантов...

— А где этот лесничий, дочь которого нужно устроить в университет? — спросил Бичико (старший из шуринов начинал ему нравиться).

— Он главный, к нему-то нас и ведут.

— Верно, профессору уладить такое дело — пара пустяков.

— Я тоже так думал... Весь заповедник из конца в конец протоптали под дулами ружей...

— Не могли его пайти?

— Нашли, как же...

— И что? Дочь замуж вышла?

— Нет, в университет поступила.

— И приняли?

— Представь себе! Мой профессор думал, что по старишке все еще может охотиться в этих лесах. Я ему и говорю: что же вы, профессор? Дали бы девочке передохнуть после школы, приняли бы через год, а сами за это время фазанов постреляли бы.

Слушатели за столом засмеялись.

«Что за упрямство! Клещ настоящий — впился, и ни в какую! Сколько лет он меня не видел, и ничего, не умер... Нет, Додо не могла выйти за него замуж — нельзя выйти замуж за человека, который любит твою подругу. Интересно, как она поведет себя, если мы случайно встретимся?.. А почему он не женился на писаной красавице — врачихе, если она и впрямь сходила по нему с ума... И что только они в нем находят?.. Нет, нет, я больше не посмотрю на него. Он заметил... Я вроде и забыла, что он здесь... Боже мой, какое несчастное, какое жуткое лицо! Если он все эти годы любил меня так, он бы просто не выжил. Встану и уйду, прилягу в комнате, я очень устала. И на него смотреть не вмоготу, так и кажется, что он сделает что-нибудь над собой. Как мы глупы, женщины. Что там ни говори, а мы унижены и хотим, чтобы мужчины боготворили нас, стрелялись из-за нас, а если иной раз они притворно загрузят, мы их жалеем.

Нет, это не от глупости. Мы хотим, чтобы так было, и потому верим... Я совсем забылась... Что происходит за столом? Вошел Амберки Хибрадзе и сел на свое место в уголке. Даже не видела, когда он уходил. Со вчерашнего дня двух слов от него не слышала. Какой тихий человек. Никогда в жизни не подумала бы, что он кем-то придется Джабе Хибрадзе, а ведь родной брат. Впрочем, и мой брат не похож на меня... Грешат ли матери, или и в самом деле дети одних родителей могут так отличаться друг от друга? Что за глупости лезут в голову. Встану и уйду. Не я одна, все устали. Но разве мужчины поднимутся из-за стола, пока у них языки не откажут? А Тхавадзе словно и не пил ни капли. Что со мной — я опять смотрю на него. Сейчас встану. Да, встану. На дворе уже вечерет. Выйду, прилягу и, если не удастся соснуть, почитаю немножко. Все книги в этом доме давно читаны-перечитаны, но я подберу что-нибудь и полистаю. Старший Хибрадзе опять что-то рассказывает. Это уж слишком. Не знает меры — даже не смеется уже никто. У каждого своя слабость... Сегодня Тхавадзе совсем плох. Может, он болен?.. Кто знает?.. Бедный парень, он порядком помучился за свою жизнь. Как он нуждался! Никакие нитки не могли скрепить его расползающуюся, выгоревшую рубаху цвета хаки. Что ж: бился, бился и добился-таки своего. Добился? Да, вышел в люди, на человека стал похож. Чего он еще добивался? Интересно, остался ли у него след под подбородком, там, где шелушилась кожа. Где она была, эта ранка? Взгляну и уйду. Что я расселась тут, как заправский пьяница, почему не уйду? Сейчас... — Мака приподнялась и оглядела стол. — Да, взгляну, остался ли след... Под подбородком, слева, внизу... Чего он хочет? Что это еще за знаки?»

— Остаться? — проговорила Мака, удивленно поджимая плечи.

«Только бы никто не заметил, что он говорит со мной».

Все слушали Хибрадзе, определенно докучавшего теперь своими историями, не выражали одобрения, но слушали.

— Не уходите.

Мака подняла брови, улыбнулась и, вставая, спросила:

— Это еще почему?

— Останьтесь! — негромко повторил Тхавадзе. — Ничего не случится, если вы останетесь.

— Но когда я не хочу...

— Тогда идите, только не задерживайтесь долго.

Мака покачала головой и собрала со стола несколько тарелок, чтобы вынести их по пути.

— Обязательно возвращайтесь.

Мака наклонилась через стол за кувшином для вина, стоявшим перед Тхавадзе.

— Вы должны вернуться!

— Я никогда не делала, чего не хотела.

— Вернитесь!

— А если нет?!

«Боже мой, как я с ним разговариваю? Уж не пьяна ли я?» — Она поставила кувшин перед собой и подняла взгляд на Тхавадзе.

— Вы придете, — уверенно сказал Джумбер.

Мака нахмурилась. «Заметил, что я думала о нем и пожалела... Но если и заметил, как он посмел?»

— Я не вернусь.

— Вернись, — теперь это слово, сменившее множество оттенков, больше походило на просьбу.

— А если нет?

— Пожалеешь.

— Я?! — Мака почувствовала, как у нее от злости задрожала нижняя губа.

«Грозится?»

— Пока ты здесь, я не вернусь, но знай — с сегодняшнего дня ноги твоей в этом доме не будет!

— Ты пожалеешь об этом!

— Я?! — опять вырвалось у Маки, она взяла кувшин и повернулась, чтобы уйти, но поскольку не собиралась возвращаться к столу и не думала еще когда-нибудь увидеть Тхавадзе, обернула к нему пылающее лицо и сказала:

— Не вздумай искать встреч со мной!

— Это невозможно.

— Уж не собираешься ли поджидать меня на дороге? — Она тут же осеклась, — этого не следовало говорить, — но не особенно огорчилась, ибо своими словами до боли остро дала понять Джумберу, что не простила ему даже прошлого.

Кто-то захохотал за столом. Мака не взглянула в ту сторону, заторопилась и вышла из комнаты.

На рассвете к Бичико прибежали инженер с завода и начальник купажного цеха. Мака спала в это время с матерью в дальней комнате. Сперва со двора послышался крик Бичико, потом взволнованный говор нескольких голосов. Затем Бичико вернулся в дом и, громко топая босыми ногами, пробежал по балкону.

«Разбудит ребенка, ненормальный», — испугалась Мака.

— Что случилось, дорогой? — послышался встревоженный голос Мери.

«Интересно, что у них стряслось?» Мака приподнялась на постели и вся обратилась в слух, боясь пропустить ответ брата. Бичико натягивал брюки и впопыхах никак не мог попасть в штанину.

— Тхавадзе покончил с собой.

— Что ты говоришь, Бичи?!

— Застрелился.

Мака уронила голову на подушку. До ухода брата она ни о чем не думала. Слышала его бесконечную суматошную возню, пока Мери не встала и не помогла ему.

— Что там, дочка? — спросила сидящая на постели Ольга — старуха была уверена, что неверно расслышала сына.

«Тхавадзе застрелился, чтобы я пожалела о своих словах», — мысленно ответила ей Мака.

— Мака, слышишь?

Мака молчала.

Ольга в ночной рубашке вскочила с постели и подбежала к дверям.

— Бичи, сынок!

— Что тебе?

— Это правда, или...

— Нет, пошутил...

— Пошутил, — пробормотала Мака, хотя прекрасно слышала, с какой желчью процедил Бичико свое «пошутил».

— Ой ты, госпо-ди! — дошло наконец до Ольги. — Ой, несчастье-то какое! Верно, на машине разбился... Пьян был, родимый, пьян, пьян... Господи, грех-то какой! Погибли мы!

— Заткнись! — гаркнул Бичико и опять пробежал по балкону, на этот раз в ботинках.

«На машине разбился, — подумала Мака. — Наверное, много выпил после моего ухода...» Мака думала обо

всем этом, как о чем-то услышанном краем уха, где-нибудь в поезде или на улице.

«Сколько человек гибнет ежедневно в Нью-Йорке? Я совсем недавно читала где-то...»

Ольга кинулась искать свое платье.

«Не видит, с той стороны, в изголовье кровати висит. Все-таки удивительно бестолковая женщина моя мать».

Вошла Мери. Она стояла посреди комнаты, бледная и растерянная.

— Мака!

— Почему ты так рано? — спросила Мака, медленно приподнимаясь, и вдруг заново услышала слова брата.

— Тхавадзе застрелился? — спросила она кого-то: Мери, Ольгу или себя самую, и вскочила с постели.

Никто не ответил ей.

— Что за Тхавадзе? Тут есть еще в округе какие-нибудь Тхавадзе?

— Не знаю, Мака, откуда мне знать! — Широко раскрытые глаза Мери были полны слез.

— Мама!.. Мама!!

— Какие-нибудь Тхавадзе, говоришь? А разве начальник нашего Бичи...

— Нет, не этот! — оборвала ее Мака. — Других Тхавадзе нет в нашем селе?

— Те, что приходили к Бичико, говорят, будто он... — припомнила Мери и попятилась, не досказав и пропуская Маку к дверям.

— Почему? — Мака вышла в другую комнату и посмотрела в окно на закрытую калитку. — Почему? — повторила она и вернулась назад. — Почему он покончил с собой?

— Он ничего не сказал.

— На нашей совести такое несчастье, вот беда! — причитала Ольга, завязывая тесемки длинных вязаных носков. — Пьяный от нас уехал...

— Авария? — Мака заглянула в глаза Мери.

— Нет, застрелился.

— Почему?

— Не знаю, Мака. Ничего не знаю.

— Из-за кого... Господи! Почему?

— Не будет мне счастья, — вдруг всхлипнула Мери.

— Тебе? Почему — тебе?

— Из-за меня были приглашены гости.

— Нет,— Мама надела платье. — Нет. Иди, накинь что-нибудь, ты вся дрожишь.

— Пойду,— Мери повернулась к дверям.

— Куда они забрали Бичи?

— Не знаю...

— Мама, смени свой платок, сходи к соседям и узнай, что говорят...

— А что мне делать? — проговорила она, оставшись одна, и присела на кровать. Гоча спал. — Да, не разбудить ребенка... Еще ничего не известно. Может быть, случилась авария, столкнулся с кем-нибудь. На днях где-то огромный самосвал налетел на «Москвич» и смял четырех человек. Сколько аварий происходит ежедневно в Нью-Йорке? Почему я забыла? В школе я всегда выписывала даты и отучилась запоминать цифры. Однажды я рано ушла с уроков. Как он узнал об этом, никому не понять! И как умудрился уйти следом за мной?.. Вероятнее всего, нарочно натворил что-нибудь такое, что его выгнали из класса. Только я перешла через мост, как он показался. О чем это я?.. Почему он должен был застрелиться? Чтобы я пожалела о своих словах? Только для этого? Ох, почему Гено не увез меня,— я же так просила! А он оставил... Когда я в самый первый раз заметила, что Тхавадзе любит меня? Да, когда он встретил меня в коридоре,— я опоздала и спешила в класс, а он преградил мне дорогу. Или раньше? Нет, раньше не помню... Ах, зачем только я родилась на свет! А он?! Это я сделала его несчастным и погубила. Или он разбился на машине? «Пожалеешь...» Гоча, Гоча, сынок, проснись, родной мой, мы должны уехать, бежать отсюда... Почему хоть ты не заплакал, не затопал ножками, не закричал — поедem, поедem, поедem с папой!.. Станный ты: заигрался... Но хотя бы из-за машины, ты же так любишь кататься на машине... Радость моя, что стоило тебе не ходить к соседям. Неужели не хватило такого большого двора для игр? Мы должны уехать отсюда... Сынок, хоть ты увези меня. Я всегда здесь была несчастна. Ничего хорошего меня не ждет. Увези и больше никогда не отпускай. Плачь, кричи, запри все двери, но не выпускай меня за калитку...

Ребенок спокойно спал в утренней прохладе. Он только едва, почти незаметно вздрогнул, когда Мака, пугаясь собственных слов, прошептала в душе: не отпускай или останешься без мамы.

Вести, принесенные Ольгой, все-таки оказались утешительными: Тхавадзе и вправду стрелялся, но пока жив, а из-за чего стрелялся, неизвестно. На заводе он недавно, за это время как бы ни куролесил и ни тащил (а этого за Тхавадзе не замечали), не мог расхитить и растратить столько, чтобы ему, человеку со связями и бесчисленными друзьями, пришлось пустить себе пулю в лоб.

«Видимо, маме не посмели сказать: из-за твоей дочери... Неужели и вправду из-за меня? Где же он был до сих пор? Наверное, многие женщины мечтают о таком мужчине. Нет, нет, кто же теперь стреляется из-за женщины! Глупости... Это я выдумала. Если не на этом заводе, так на старом, откуда его перевели, он наворочал всяких дел и знал, что не сегодня-завтра раскроется. Поэтому-то и не женился. И правильно сделал. Зачем же приносить несчастье той врачихе, о которой говорила Нуца... Видно, он не жестокий человек. А есть такие: гибнут и других тянут за собой. «Пожалеешь...» Ну да, у него было решено, вот он и сказал, чтобы заодно меня наказать, чтобы я приняла вину на себя и казнилась. Может, он и вправду любил меня? Может быть, самоубийство только назревало, а я ускорила его? Но ведь когда-нибудь это должно было случиться. Вот он и предпочел, чтобы люди говорили не — «Тхавадзе был мошенник и деляга», а что он любил и покончил с собой из-за любви. В таком случае все должны узнать об этом...»

Мака перевела настороженный взгляд с матери на Мери: не скрывают ли они чего-нибудь?

Мать растерянно смотрела на нее. Мери опустила глаза.

— Все-таки, что люди говорят?

— Я уже сказала...

— А именно?

— Никто не знает, отчего он мог стреляться. Разве что хорошая жизнь во вред пошла.

— Такая уж хорошая? Не лучше, чем у других.

— Ну, нет! Одет-обут с иголки, сладко ел и сладко пил. Ты не видела его дом?

— Нет.

— Говорят, в том районе ни один с ним не сравнится. Я тоже не видела, но люди так говорят: в прекрасном

месте, за банком, чуть повыше,— участок тоже недешево ему обошелся.

«Гено предлагали в центре чей-то отобранный участок, но он не взял, предпочел строиться на пустыре в пригороде».

— Мери, ты ничего не знаешь?

— Я? — удивилась Мери.

— Бичи тебе не говорил?

— Нет, ничего.

— Да и какое нам в конце концов дело? — Мака встала и прошла по комнате.

— Не скажи, дочка... От нас человек уехал, из нашего дома...

— А я тут при чем? — Мака резко обернулась.

— Ты-то ни при чем, но как от нас вернулся, так и... Слышала — не выживет.

— Не выживет? Но что я могу сделать, мама?

— Ты... Что мы можем? Мы ничего не можем.

— Утром мне надо уехать, даже не успею к себе до двенадцати. У меня работа, в конце концов.

— А отец? — тихо спросила Мери.

— Что отец?

— Разве не заберем его из больницы?

— Да, конечно. Но сейчас в больнице... Сходите вы с мамой. Сейчас и Бичико там будет!

— Мака, если бы ты пошла...

Мака вспомнила, что отец еще не знаком с невесткой и что без нее Мери не посмеет показаться на глаза свекру, а поэтому надо проводить ее в больницу. Но сейчас там лежит Тхавадзе. Возможно, кто-то из его окружения знает, что он стрелялся из-за женщины, и именно из-за нее — Маки Лежава.

Но как же так? Если и на самом деле причиной самоубийства была Мака, неужели она не захочет повидать человека, пожертвовавшего жизнью ради нее? Какая жестокость и какая трусливая неблагодарность: избегать встречи только потому, что могут что-то подумать! И это после того, как он сказал: «Пожалеешь» и подставил сердце под пулю.

— Повидаю отца и уеду, уеду и не вернусь. Только повидаю отца...

Перед палатой, где лежал Тхавадзе, толпился народ, но все с таким любопытством тянулись на носках, загля-

дывая в открытую дверь, что Маку, Мери и маленького Гочу никто не заметил.

«Нет, не сейчас, сейчас я не зайду к нему... Да и после не следует этого делать — не из-за меня он вовсе стрелялся». Мака направилась к угловой комнате в конце коридора.

— Может быть, вызовем Бичи? — сказала Мери.

— Бичи?

Мака остановилась. Если она войдет вместе с Мери и спросит Бичико, к тому же и Гоча будет с ними...

— Не стоит, Мери. Бичико непременно зайдет к отцу. Я думаю, он и сейчас там.

— Тогда я подожду в коридоре.

Мака помимо своей воли покосилась на толпу у дверей. «И чего они набежали? Неужели все так любят Тхавадзе? Интересно, пришла ли Додо проведать его? Что, если она узнает, из-за кого он стрелялся!»

— Ты что-то сказала, Мери?

— В коридоре, говорю, подожду.

— А? Почему?

— Мака... Без Бичи как-то неловко, не могу...

— Но я же здесь!

— Ты, конечно...

Мака приоткрыла дверь в палату.

— Отец, к тебе можно?

— Пришла, дочка? — проговорил Симон и вздохнул с облегчением, словно гора с плеч.

«Отцу тоже известно. Видно, не только больница, весь район взбудоражен... Кто же теперь стреляется из-за женщины?...»

— Подойди к бабушке! — Мака легонько подтолкнула сына к постели и взяла Мери за руку. — Входи, Мери, милая!

— Гоча, внучок мой... — Мака увидела на детской головке костлявую старческую руку с синими ветвями вен.

Гоча с любопытством рассматривал больного, лицо которого было ему знакомо, и несколько раз вопрошающе взглянул на мать. Но Симон лишь рассеянно погладил его по головке.

— Выходит, дочка, погубили мы этого человека...

— Кого, отец? Кого мы с тобой можем погубить?

— Но он же от нас ушел прошлой ночью.

— Раз от нас ушел, значит, мы погубили?.. А что? Говорят что-нибудь?

— Откуда мне знать! В четырех стенах к постели прикованный лежу...

— Бичико был у тебя?

— Был.

— Тоже считает, что мы виноваты?

— У него разве узнаешь толком.

При этих словах Мери, словно желая спрятаться, подалась назад. Она испугалась, когда свекор, не замечая ее присутствия, заговорил о ее муже, и теперь желала только одного — стушеваться и исчезнуть.

— Ты лучше побереги себя, отец! — сказала Мака. — Не стоит волноваться из-за сплетен.

— Кажется, с тобой кто-то вошел?

— Угадай, кто бы это мог быть.

Больной, видимо, понял, о ком говорила дочь, но, не находя взглядом стоявшей в изголовье кровати Мери, растерянно озирался и бормотал:

— Хорошо, коли кто-то вспомнил... Спасибо и на том...

Мери, вспыхнув, наклонилась к нему.

Симон пожал невестке руку и отвернулся.

— Плачет! — шепнула Мака растерявшейся Мери и одернула Гочу, карабкавшегося на подоконник.

По больничной аллее торопливо шагали высокий мужчина в сером костюме и две женщины. Одна из них была в ярко-красной кофте.

«К Тхавадзе спешат. Почему? Набежит ли столько народу, если с Гено что-нибудь случится?.. Наверное, первой обо всем узнала Нуца. Будь она в больнице, заглянула бы сюда и дала бы понять, говорят ли в городе обо мне».

— Отец, я должна уехать — не могу сегодня не выйти на работу.

— Отвези меня домой, дочка, и поезжай.

— Тут и без меня найдется кому тебя отвезти, — Мака обняла Мери за плечи, как бы показывая, чьим заботам она перепоручает отца.

Больной взглянул на незнакомую женщину, стоящую у него над головой, — свою невестку — и вздохнул.

— Теперь у тебя есть дочь, внимательнее и заботливее, чем я, и... — что еще, Мака так и не придумала и закончила сухо: — А я должна уехать.

«Сейчас выгляну в коридор,— Мака, увлекая за собой сына, пошла к дверям.— Никто ничего не подумает... Бред. Я должна уехать, не повидав его. Мне это ни к чему. Почему он сказал — пожалеешь? Он всегда был жестокий. Сам обречен, так при чем здесь я?..»

В коридоре все еще толпился народ. Был тут и высокий мужчина в сером костюме, тот, что спешил по больничной аллее, женщин — его спутниц — Мака не заметила.

«А вдруг он умрет?.. Нет, нет, не могу!.. Если он увидит меня и попросит: не уходи, посиди со мной, пока дышу... даже если он скажет это чуть слышно, только для меня одной, — все равно! Но невозможно же после таких слов бросить его, как вчера. Надо уйти незаметно, совсем незаметно. Уйти и не думать ни о ком, даже об отце... Какая глупость, кто же теперь стреляется из-за женщины!.. А вдруг все эти люди обернутся, увидят меня и крикнут — вот она! Бросятся следом, обступят, и пойдет шепот, зашелестят: ах, вот она! Эта? Какова? Дайте взглянуть!..»

Мака прикрыла дверь.

«Если я сейчас выйду, кто-нибудь может узнать меня и решит, что я приходила проведать Тхавадзе».

— Отец, Бичико скоро придет?

— Сказал, что скоро.

«Из уважения к невестке он не бранит сына. Мери добрая, она будет ему как дочь. Это обнадеживает, и я больше никогда не приеду в Ианиси.

Надо спешить. Надо убраться отсюда, пока Нуца не вышла с работы на перерыв. Я не знаю, из-за чего стрелялся Тхавадзе...»

Через три дня Мака получила в школе письмо. Она не помнила, чтобы давала кому-нибудь адрес школы и вместе с тем словно ждала чего-то в этом роде, ждала нетерпеливо, но узнавать ничего не хотела. Вчера она попросила Гено не ездить в колхоз: возвращайся пораньше — давно не видела, как ты хозяйничаешь дома; пора виноградник опрыскивать, люблю, когда брызги медного купороса покрывают твоё лицо голубыми веснушками.

Вечером Гено вернулся раньше обычного, однако в колхозе он все-таки побывал днем и на скорую руку

собрал нужные ему сведения. Это больно задело Маку. Но ночью, лежа на постели рядом с мужем и косясь в темноте на его профиль, она думала о том, что никто не любил ее так сильно, как Гено. Тхавадзе хоть и стрелялся, но не застрелился. Разве так трудно попасть в собственное сердце? Если б он любил меня... он бы не промахнулся. У него свои дела были из рук вон плохи, и он предпочел умереть.

А что Нуца? О чем она пишет? После школы она только раз перед каникулами написала мне в Тбилиси — просила краску для волос. Может быть, ей и сейчас что-нибудь нужно?

Сразу же после прочтения она порвала письмо на кусочки.

«Неблагодарная, отвратительная, честолюбивая... Бедняга! Он не выживет! А я-то уехала, не повидав и даже не спросив, что с ним. Если б Бичико не сказал между прочим: может быть, спасут,— я бы и этого не знала. А причиной самоубийства оказалась я, только я одна. Никогда, никогда ни одной минуты я не была добра к нему».

В субботу она получила зарплату. В воскресенье, когда Гено переоделся в голубые от медного купороса обноски и вскинул на спину тяжелый аппарат для опрыскивания винограда, Мака подошла к нему и сказала:

— Мне приснился ужасный сон, Гено! Я не спокойна — поедem к отцу!

Гено поджал губы и удивленно покачал головой.

— Да, чуть не забыла,— поспешно прибавила Мака, когда Гено, пройдя мимо нее, направился к винограднику.— Я брала у Нуцы денег взаймы, обещала вернуть с зарплаты. Она знает, что сейчас у нас туго с деньгами, и хочу поскорее отдать.

— Надо было послать ей раньше.

— Откуда же раньше?

— Сказала бы мне...

— Сказала бы... Так ты меня и послушался! Тебе даже до моего брата нету дела... Знаю — надоело говорить о нем, но такой он человек, и ничего тут не попишешь...

Перед плетнем, у перелаза, ведущего в виноградник, Гено обернулся и спросил:

— Когда вернешься?

— Если там все в порядке — вечером, а нет, так завтра утром встречай меня на станции... Хотя нет — вечером вернусь, боюсь за Гочу.

Полтора часа Мака прождала автобуса.

«Только бы застать его в живых!»

Какое-то странное чувство овладело ею. Она терзалась, не спала ночей, переживала несчастье Джумбера, но переживала, как рассказанную кем-то историю. Ей нравилось, что какой-то мужчина застрелился из-за любимой женщины, она гордилась тем, что эта женщина — она сама, но не очень страдала; она хотела, чтобы все знали о его поступке, но знали бы вроде нее, понаслышке, что ли...

И сейчас она ехала повидать его, обрадовать, сказать несколько дружеских слов. Но все это казалось выдуманным. Выдуман был и сам Тхавадзе, словно никогда не существовал на свете. А тот чесоточный мальчишка был, был на самом деле! С тех пор прошло много лет, но она видит его и верит, что он ее любит. В существование же этого Тхавадзе она не верит, хотя неделю назад сидела с ним за столом лицом к лицу. Она словно и себя придумала, ту, которую кто-то любил. Потом этот «кто-то» застрелился.

Солнце склонялось к закату, когда она приехала в Ианиси.

«Я не могу пойти в больницу. Зайду к Нуце и, если не застапу ее, вернусь назад. Не встретить бы знакомых... Интересно, что скажет Нуца. Может быть, всем уже известно, что несчастье случилось из-за меня».

Но Тхавадзе — тот, который встал под пистолет, — все-таки не был реально существующим лицом, и сама она ходила сейчас по знакомым улицам, как героиня рассказанной кем-то истории: приехала замужняя женщина повидать другого мужчину, влюбленного в нее самоубийцу, чтобы перед смертью он не проклял жизнь, жестоко обошедшуюся с ним, и не завещал людям — никогда не любите!

А Нуца?

Нет, Нуца реальная, во плоти жила в этом городке и работала в почтовом отделении. После развода она поселилась в общежитии железнодорожников и так там и осталась в маленькой комнатенке на первом этаже. Еще в пору замужества Нуцы поговаривали о ее связи с начальником почты. Мака не верила этому. Если она дей-

ствительно любила другого, развелась бы. Вскоре они действительно разошлись, но начальника к тому времени перевели в другой район. «Жалко девчонку, если из-за него осталась одинокой...»

Мака почувствовала прикосновение мягкой ладони под мышкой.

— Нуца?!

— Да, я. Почему ты так удивилась?

— Как живешь, Нуца? — спросила Мака, чтобы не заговорить сразу о Тхавадзе.

— О чем ты говоришь! — отмахнулась Нуца. — Хорошо, что приехала.

— Я все равно должна была приехать. Отец тоже нездоров.

— Джумбер совсем плох. Какая жалость, Мака, какое несчастье. Сердце кровью обливается. Да что я! Весь город плачет над ним...

— Что? Безнадежно?

— Не знаю. Очень близко от сердца пуля прошла.

«Боже мой...»

— Ну, а как сейчас?

— Да пока жив. Эти два дня я тебя ждала, не могла к нему пойти — увидит, подумает, что и ты приехала...

— Почему он говорит с тобой об этом?

— Мака, дорогая, я же и раньше знала...

— Что ты знала?

— Никому, кроме меня, он ни слова, неужели ты хочешь, чтобы и я не дала человеку открыться?.. Только его отвезли в больницу, в тот же день на завод примчалась ревизия: думали, колоссальная растрата.

— Из-за чего же он стрелялся, если не из-за растраты?

Нуца взглянула Маке в глаза и улыбнулась с какой-то гордостью.

— Пойдем, Мака, дорогая, дома поговорим. Ведь такая беда, но не думай... Когда я вижу тебя — я радуюсь. Женщина должна быть такой, как ты. А я?.. Что я? — Нуца махнула рукой и свернула к железнодорожному полотну. — Пойдем сюда — так короче...

«Несчастливая, приехала из-за него, и так и не повидала. Наверное, я жалкая, слабая, трусливая, — думала

Мака, оставшись одна после ухода Нуцы в зале ожидания вокзала.— А он может пожертвовать жизнью ради любимой. Я не смогла даже ночью, даже тайком пойти к нему, зайти хотя бы на минуту. Не стесняясь, не боясь встретить там брата или знакомых. Возможно, я и пошла бы, если б любила его. Или нет? Я хочу переодетая идти по темным улицам, и чтобы подкупленный сторож открывал мне потайную дверь, хочу изменять... Но чтоб это было рассказанное или читанное, не чьи-то приключения, нет — мои, но не совершенные на самом деле... Я с трудом заставила себя не запрещать Нуце сказать умирающему — Мака приезжала из-за тебя. Хорошо еще, что Нуца не спросила, говорить или нет, а то могла бы и запретить — с меня станет. Может быть, я вообще недобрая, черствая, холодная, вообще не могу любить? Не знаю, я знаю только одно: сейчас, как только подойдет поезд, войти в вагон, найти свое место и утром, когда Гено встретит меня на вокзале и спросит, как я съездила, не говорить ему неправды. Я не должна делать ничего, что пришлось бы скрывать. Не знаю, хорошо это или плохо, но такой уж я родилась на свет... Никого я не боюсь так, как себя... Нуца не выдаст меня. Если б я повидала Тхавадзе, а Гено сказала бы, что просто заглянула по пути, узнать, как директор Бичи, возможно, он и поверил бы, но я не могу... Пока я не выяснила определенно, из-за чего он стрелялся, я больше думала о нем; я и сейчас думаю, но спокойнее, потому что мое самолюбие удовлетворено. Может быть, именно за этим я и приехала сюда?.. Господи,— Мака остановилась в углу зала ожидания, сжала пальцами виски и посмотрела в окно.— Я столько думаю последние дни, что совсем отупела. Уже битый час торчу здесь и не слышала ни одного поезда. Хорошо, что у меня билет в купейный — в это время народу будет мало, прилягу на койку и заставлю себя поверить, что уезжаю навсегда. Поезд уже скоро. Хорошо, что я не задержала Нуцу. Ни к чему ей слопяться тут до полуночи — завтра человеку на работу. А Джумбера она успела повидать. Наверное, спешила порадовать — Мака приехала! Это все, что я сделала в своей жизни для человека, смерть которого, как говорит мама, лежит «на нашей совести». Не на нашей, а на моей... Я очень устала и обмякла. Как только войду в вагон, прилягу и ни о чем не буду думать, даже о том,

что сказать завтра утром Гено. Какое имеет значение, что я скажу... Мне нечего скрывать».

Когда прибыл поезд и, вкрадчиво поскрипывая тормозами, остановился перед платформой, Мака первой вошла в вагон и закрыла за собой двери купе.

«Хоть бы больше не пришел никто»,— подумала она и села. Отвернувшись к окну. Потом положила голову на столик. Столик оказался прохладным.

Косой яркий свет, падающий снаружи, освещал купе больше, чем тусклая лампочка в потолке.

«Когда поезд отъедет от станции, я успокоюсь. Хорошо, что Нуца взяла билет в купейный. Меня даже близко к кассе не подпустила,— «незачем тебе толкаться». Бедненькая, у нее очень доброе сердце. Неужели, если б я силой не выпроводила ее, она прождала бы со мной до отхода поезда? Что ж, ей жалко Тхавадзе. Тхавадзе и мне жалко, но Нуца может оказать ему услугу, помочь, и помогает. А что могу я? Выживет, сказала она... Хорошо!.. Если б он умер, я извелась бы. Все эти дни я даже не понимала толком, что произошло. Или не знала, из-за чего. Шутка ли — застрелился! Упаси меня бог причинить боль даже цыпленку!»

«О-о, как невыносимо долго стоит здесь этот поезд! Кажется, больше, чем из-за Тхавадзе, я из-за него не люблю приезжать сюда».

Дверь купе открылась.

Мака догадалась по звуку, что ее открыла мужская рука, и, не оглядываясь, положила локоть под голову.

«Я сижу на своем месте,— подумала она, не очень переживая свою невежливость в отношении случайного попутчика.— Стоит и держится за ручку двери. Никак не решит, закрыть или оставить открытой. А может быть, раздумывает, не поискать ли свободного купе. Лучше мне не оборачиваться, а то и вовсе не уйдет. Все-таки какой это ужас: стоят им столкнуться с одинокой женщиной, как тут же появляется мысль: а не выйдет ли что-нибудь. Он не знает, что где-то Тхавадзе борется со смертью... Если б люди в открытую видели, что у кого на душе, тогда или вообще не стоило бы жить, или перевелись бы несчастные на свете... Но почему он все-таки не садится?»

Тихо, неслышно закрылась дверь.

Мака резко обернулась. Голова ее пришлась низко, на уровне пиджака вошедшего мужчины. Она так и оце-

пенела. Медленно приподнимаясь, она увидела пустой левый рукав, болтающийся вдоль тела, пиджак, растопыренный забранной рукой, распахнутый ворот сорочки и, наконец, выпрямившись во весь рост,— лицо.

«Тхавадзе?! Нуца завидует мне!»

Опираясь на ручку двери, Тхавадзе не шелохнулся. В свете лампочки он стоял блее полотна.

«Бонится отпустить руку, чтобы не упасть. Хоть бы я могла его полюбить... Наверное, за это упрямство я и ненавидела его...»

Мака смотрела на белую маску, прорезанную в двух местах — оттуда, изнутри мерцали ввалившиеся глаза Тхавадзе.

Звон колокола привел ее в чувство.

— Джумбер! — тихо сказала она, шагнула к нему и остановилась. — Джумбер! — повторила она со сдержанной лаской. — Тебе ведь передали, что я приезжала из-за тебя... — Она подошла еще на шаг, не отрывая взгляда от его лица: «Закроет глаза и — покойник...» — Я даже к отцу не зашла...

«Что мне делать, если поезд тронется?»

— Джумбер!

«Нужно как-нибудь вывести его и проводить, чтобы не упал».

— Уходи! Уходи сейчас же, или я навсегда забуду тебя! — Она подошла, разжала его пальцы на металлической ручке и открыла дверь. Потом обняла за плечи и вывела в коридор. — Скорее, поезд вот-вот тронется! Скорее! — Коридор был пуст, но идти бок о бок было неловко.

— Скорее! — твердила Мака. — Скорей!

Грудь Тхавадзе пахла знакомыми запахами мазей, йода и больницы.

«Этот если выживет и я не переменюсь к нему, снова будет стреляться...»

Где-то залился свисток.

— Скорее, Джумбер! Скорее!

Проводник с перрона потянулся ей на помощь.

— Что? Плохо стало?

— Да, да. Плохо.

— И вы остаетесь?.. Гражданка!

— Нет. Я нет. Я сейчас.

Она довела его до входа в зал ожидания, там даже толкнула слегка и побежала назад. Поезд достаивал

последние секунды. Она поднялась на верхнюю ступеньку подножки.

«Только бы не вернулся! Только бы он не вернулся! И никак этот поезд не уйдет отсюда!..»

— Слава богу! — сказала она поднимающемуся по ступенькам проводнику.

Тхавадзе, как в раме, застывший в дверях зала ожидания, медленно поплыл назад.

Поезд еще не набрал скорость, когда Мака вернулась в вагон и, налетая на окна и закрытые двери купе, побрела по коридору. Добравшись до своего места, она как подкошенная села и прислушалась к стуку колес.

«Почему я сама не купила билет? Неужели Нуца позвонила и сообщила номер вагона? Хотя разве могла она подумать, что он — полуживой — встанет и помчится за мной. Кто бы мог вообразить такое? Он тверже и непреклонней меня. И я ненавидела его... Может быть, не сознавая сама, ненавидела из зависти. Мне и сейчас кажется, что он гонится за мной по пятам...»

Мака никак не могла представить себе, что в эту минуту Тхавадзе и вправду сидел за рулем и гнался за ней по пятам.

«Он непременно застрелился бы, если б не случайность. Господи, почему я такая несчастная! За что мне эти муки? Уж любила бы его, тогда хоть перед собой была бы права... Нехорошо я его выгнала. Лучше б он сопротивлялся. А если сейчас с ним что стрясется? Ждут ли его у вокзала?.. Знает ли кто-нибудь, кроме Нуцы, что я приезжала в Ианиси?.. Я даже сейчас думаю о себе, только о себе!.. Лучше бы мне было совсем не выходить замуж, лучше никогда не встречать Гено... Как тут душно. Зачем я выпроводила его? Уложила бы здесь, полежал бы... Я бы сказала, что очень жалею, что не послушалась его тогда, за столом. Хоть это я могла сделать для него, и не сделала. А большего он и не просил. Он вообще ничего не просил. Неблагодарная я. Неблагодарная и бессердечная. Не знаю, за что только меня можно любить, когда я сама не люблю себя больше...»

«Можно ли столько думать! — Мака всем телом ощутила, что не шелохнулась с самого возвращения в купе, и откинулась к стенке. — Что еще ждет меня? Вижу — то, что было, только начало. Да, сон... Я обманывала себя, будто он сбился в ту ночь. Он и после снился мне».

Поезд замедлил ход.

«Опять остановка.— Мака с отвращением покачала головой. В окне еле виднелись черные силуэты столбов.— Ночь пасмурная, темная. Когда же я наконец доберусь домой. До рассвета еще далеко.

Тут маленький разъезд — в четыре колеи. Если нет встречного, не задержимся долго. За железной дорогой живут четыре семьи. Начальник этой станции медлительный, как ленивец,— ну никакого спасения! Пока он передаст жезл и отправит состав, пройдет целая вечность. Почему я, собственно, так спешу? Последнее время я слишком привыкла думать о нем. Хочу о чем-нибудь другом...»

«Вон там, где светятся фары автомобиля, теснятся четыре дома, живут четыре семьи. В одной и сейчас еще не спят. Раньше, до моего замужества, тут было три дома, оторванных от села и прилепившихся к станции. Верно, потому я и запомнила. И хорошо, что запомнила: в городах да больших селах домов и дворов уйма, ни одного не запомнишь, и придется опять думать о Тхавадзе».

Машина остановилась, не доезжая до полотна, и свет фар сразу погас.

«Кто-то опаздывает — подвезли в последнюю минуту».

Низко загудел электровоз.

«Скоро поедem», — Мака подошла к окну.

Ярко освещенная станция осталась за спиной, а по эту сторону состава, в темноте, на рельсах свободного пути ломались вытянутые тени колес. Кто-то медленно переходил через рельсы. «Ах, это тот, которого подвезли на машине. Может быть, у него билет в мое купе? И прекрасно, рядом окажется живая душа, и я не буду столько думать».

Когда ломаные тени колес укоротились, смещаясь вперед, и исчезли, слились с темнотой, Мака подумала, не сделал ли Тхавадзе еще чего-нибудь над собой.

Поезд простучал по единственной стрелке и, вильнув хвостом, покатил дальше.

Мака стояла у окна. За окном все растворилось во мраке. Кто-то повернул ручку двери и приоткрыл ее.

«Я же опустила защелку! — спохватилась Мака и обернулась:— Кто же это мог быть? В самом деле, попутчик или проводник?» Она нажала большим пальцем на торчащий из двери никелевый язычок. Уже нажав, она увидела в щели между дверью и металлическим косяком не отрывающийся от нее глаз и не смогла сдвинуться с места.

Медленно, не сразу открылось белое, как маска, лицо, и Тхавадзе шагнул на порог. Его пиджак коснулся груди Маки. Она подалась назад, но не отступила. Теперь Тхавадзе изнутри шарил по двери, хватаясь за ручку.

«Ищет опоры, чтобы не свалиться на меня».

Тхавадзе не двигался с места, но Мака чувствовала жесткость его пиджака и острый больничный запах.

«Надо отойти, а то обнимет и я не смогу высвободиться. Надо отойти, но не садиться... Слева, под подбородком маленькая проплешина в щетине. Вот там была у него язва...»

Поезд задрожал, забился от тормозов. Мака увидела, как разогналась дверь купе и с разгону налетела на косяк. Заскрипели, завизжали колеса.

«Тут поворот», — вспомнила она и невольно вскинула руки к груди, чтобы удержать качнувшегося к ней Тхавадзе. Колеса все визжали пронзительно. Мака отступила назад, уперлась в столик. Тхавадзе, не удержавшись, шагнул к ней. Мака откинулась и толкнула его в грудь, но от толчка сама ударилась затылком то ли об стекло, то ли об оконную раму, однако боли не почувствовала, ибо в ту же секунду услышала скрежет ломающихся зубов.

«В рану толкнула!» — спохватилась она, и руки у нее ослабли. Она снизу взглянула на Тхавадзе, ей почудилось краснота на сорочке под пиджаком, и она ладонью прикрыла ее. Из груди, из-под самых пальцев слышался хрип. Она решила, что это кровоизлияние, что кровь так и хлещет в легкие, и только успела подумать: «Он умрет! Умрет!» — как ее, притиснутую затылком к оконной раме, в трясущуюся нижнюю губу кольнули жесткие усы Тхавадзе.

«Боже, какое у меня горячее лицо...»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Поезд остановился. Мака, вся дрожа, оторвалась от окна. Тхавадзе лежал на спине, и пиджак, наброшенный на него, скрывал его лицо. Мака выглянула в коридор, потом вернулась, подхватила упавшую под стол сумочку и так вылетела из купе, словно ее грубо вытолкнули.

К выходу вразвалку шел какой-то молодой человек. Он беззаботно взглянул на Маку и, кажется, улыбнулся.

«Неужели знакомый?» Мака подалась назад.

В тамбуре выходящие пассажиры неторопливо подвигали багаж к дверям и ждали своей очереди. Не сумев пробиться к подножке и боясь оставаться на виду, Мака отошла к противоположной запертой двери. На соседнем пути стояли черные, в мазуте цистерны. Будь эта дверь открыта, она прыгнула бы, обошла бы поезд вокруг и, минуя вокзал, бежала бы отсюда подальше.

Гено стоял перед залом ожидания.

«Какого черта он притащился! Сидел бы дома!» Сейчас она не могла ни думать, ни стоять на месте. Сначала нужно было как-нибудь выбраться из поезда, уйти с перрона и уж потом поразмыслить. «Сумеет ли Тхавадзе встать и выглянуть в окно?.. Никто, никто на свете не знает, на что он способен!..»

Кто-то открыл дверь между вагонами, и пока этот кто-то не появился, Мака чуть не задохнулась — мог же ее муж подняться в соседний вагон.

— Господи, господи, если ты только есть...

Высокий мужчина прошел, даже не взглянув в ее сторону. Мака сообразила, что и сама может воспользоваться этой дверью, и не успела додумать, как уже кинулась в соседний вагон, пробежала по коридору и дальше, еще тамбур, двери и коридор. Только в третьем вагоне она остановилась.

Уже поднимались новые пассажиры. На подножке она налетела на кого-то из них, краем уха слышала злобный окрик: если так спешишь, чего ворон считала! Кое-как протиснулась, пролезла, соскочила на перрон. И увидела Гено. Она опустила голову и увязалась за последними пассажирами, уходящими от поезда.

— Мака!

Нет, ей послышалось.

— Мака!

Послышалось, конечно, послышалось...

Чей это голос? Мужа или... Или *он* зовет?

— Мака, ты что, не слышишь?

Гено. Конечно, он. Кто же еще смеет так громко и требовательно звать ее в толпе. Да, она узнает голос мужа!

Она хотела оглянуться. Совсем не в ту сторону, где оставался *он* — напротив. Но этот голос то ли придал ей сил, то ли начисто лишил их — она обернулась к поезду, и взгляд ее, как нарочно, упал именно на то окно, из которого смотрел Тхавадзе.

У нее задрожала нижняя губа, и вместо того, чтобы отвернуться и уйти поскорее, она остановилась.

Ничто не было похоже на действительность: ни то, что произошло ночью, ни то, что происходило сейчас. Так бывает во сне: кто-то ловит тебя, настигает, ты хочешь бежать, звать на помощь, но не в состоянии издать ни звука. Ноги липнут, вязнут. Обливаешься потом, задышаешься, и ни с места... Мака словно и сейчас ждала пробуждения.

— Мака! — совсем близко послышался голос Гено.

Он привел ее в чувство. Мака проскочила в зал ожидания и, лишь найдя темное, укрытое между буфетом и стенкой место, остановилась и прижала к груди сумку, — ей показалось, что на платье у нее кровь Тхавадзе. Она бежала бы еще, но сил не стало. И теперь она знала, что Тхавадзе не видит ее.

Подошел Гено, встревоженный и удивленный.

Мака сознавала, что она очень бледна, и попыталась улыбнуться, но сама же почувствовала, как жалко искалось ее лицо.

— Пойдем, Гено, уйдем отсюда! Уведи меня!..

— Гонится за тобой кто-нибудь? — Гено, недоуменно озираясь, последовал за женой, но она не остановилась и на площади перед вокзалом, а побежала напрямик.

— Мака! — громко крикнул Гено.

Мака подбежала к нему.

— Что с тобой?

— Ничего...

— Скажи, что случилось!

— Что могло случиться? — Она опять попыталась улыбнуться, но вовремя раздумала и посмотрела в сторону выходящих с вокзала пассажиров.

— От кого ты прячешься? Или куда спешишь?

— Домой... Разве мы не идем домой?

— И что?

— Гоча... Я хочу видеть Гочу, Гено... Скорее, а то уйдет автобус.

Гено разглядывал людей, снующих на маленькой привозной площади.

— Кто же все-таки за тобой гонится?!

— Потом, потом скажу... — Мака опять заторопилась и побежала к автобусной остановке. — Скорее! Скорее! Вчера он не спал всю ночь, да? Не спал?!

— Спятила она, что ли?.. — пробормотал Гено и, хмурясь, внимательно глядя на жену, пошел за ней.

Передние места в автобусе были заняты, в середине у окна тоже сидели, сзади же не было никого. Мака забила в самый угол, туда, где боковые окна почти смыкались с широким задним окном, обеими руками вцепилась в холодные поручни перед собой и уткнулась лицом в локти. Она знала, что Гено не станет спешить и пока есть время, надо что-то придумать. Что бы она ни сказала сейчас, муж выслушает ее и даже сделает вид, что поверил, но потом спросит о чем-нибудь, завтра или послезавтра, — спросит и даст почувствовать, что ее слова он понял не так, как она говорила. Сейчас он не пристанет с ножом к горлу к потерявшейся, напуганной жене — даст ей прийти в себя. За это время она должна что-то придумать, чтобы отвести ему глаза.

Мака приподняла голову... «Отвести глаза?» Нет, не «отвести глаза», а солгать, обмануть...

Гено не появлялся.

«Где он? — Мака выглянула на улицу. — Может, встретил знакомого?»

Было бы хорошо, если б Гено следом за ней вошел в автобус и автобус тотчас отъехал. Или проклятый поезд ушел бы, наконец, дальше... Но куда поедет Тхавадзе? Пока вечером этот же состав не вернется назад, мимо, в Ианиси? Да, так. Он должен уехать... Здесь ему нечего делать...

Гено, наверное, завернул в магазин. Автобус долго простоит на конечной. Гено ни в чем не ошибается, а Мака должна его обмануть. Возможно, она иной раз и

скрывала кое-что от мужа, но никогда не говорила неправду. А сейчас должна сказать. Может быть, он потому и задерживается? Знает, что, придя, надо спросить у нее причину странного поведения. Все было слишком явно, и он не может поверить, что Мака просто встала не с той ноги или так уж немыслимо беспокоилась о сыне.

Кто-то поднялся в автобус.

— Гено?

Нет. Мужчина поздоровался с Макой — знакомый, но не настолько близкий, чтобы заговорить сейчас с ней.

Ее здесь многие знают.

Мака воровато огляделась.

Вон та, что сидит справа на переднем сиденье, землячка Гено, из одного с ним села, жена заведующего аптекой. Говорят, до замужества она была влюблена в школьного товарища Гено, а потом неожиданно вышла замуж за аптекаря. Ну и что особенного?.. Ничего! Она же не была женой того, первого. Наверное, ее удивило то, что Мака не поздоровалась с ней.

Низко прогудел электровоз.

Мака опять уткнулась лбом в холодный алюминиевый поручень и стиснула глаза, словно могла этим замкнуть свой слух и ничего не слышать.

До отхода автобуса оставалось совсем немного, когда показался Гено. Он нес под мышкой завернутый в газету круг хлеба, и Маке вдруг стало так жалко его, что она не могла даже припомнить, встречала ли когда-нибудь более жалкого человека. Ей сделалось тошно от того, что она любила этого мужчину.

Далекий приглушенный отзвук отъехавшего поезда принес ей крошечное облегчение.

Когда Гено шагнул в автобус, железные ступени за скрипели под его ногами, и Мака тут же очнулась: что сказать?

Что можно сказать, когда муж ждет тебя на вокзале, а тебя все нет, и нет, и нет, потом ты выскакиваешь из вагона и бежишь очертя голову. Он зовет тебя, ты слышишь, но все-таки бежишь дальше, а оглянувшись, смотришь не на мужа, а на окно вагона. Потом просишь, умоляешь поскорее увести тебя с вокзала, и на площади ты не в силах остановиться, потому, видишь ли, что спешишь домой — соскучилась по сыну...

Когда пружины сиденья осели под весом Гено, Мака

сжала пальцами металлический поручень и откинулась к стенке машины.

«Что сказать...»

— Задержался, Гено!..

Муж не ответил и косо взглянул на нее.

В автобус поднялся немолодой мужчина с двумя тяжелыми чемоданами и с улыбкой кивнул Гено. Гено взял у него один из чемоданов и поставил в ногах.

— Подвинь сюда,— Мака потянулась к чемодану и волоком подтащила к себе.

Хозяин чемоданов вытирал пот с лица и шеи и, видимо, собирался заговорить с Гено.

— Как Гоча? — глухо спросила Мака.

Гено кивнул.

— Сон приснился ужасный! — Этого она не придумывала, сказала, не придумывая, и содрогнулась. Это была та ложь, которая должна была отвести глаза мужу, она явилась сама, и Маке вдруг опротивело все в автобусе и за его опущенными окнами. Она смотрела вокруг с отвращением, еще не думая о себе, еще не зная презрения к себе. Покорившись Тхавадзе, она воочию увидела это презрение, но не узнала его. В ту минуту было невозможно и увидеть, и познать... И сейчас эта неправда, которую она не придумывала, но сказала, которая не принадлежала ей, а возникла вне ее, лишь прозвучав, достигла ее сознания.

— Не жизнь, а одно мучение,— обстоятельно вытерев вспотевшую лысину, проговорил хозяин двух чемоданов — пожилой мужчина с ввалившимися щеками.

Прежде чем обернуться к нему, Гено взглянул на жену. Он слышал, что Маке приснилось что-то страшное о сыне. Но с каких пор она стала верить снам, а если уж сон действительно так растревожил ее, почему она не выбежала из вагона самой первой и не бросилась к нему узнать, как Гоча, не заболел ли? Положим, она не видела Гено и не слышала его крика, но куда же она бежала после того, когда муж, наконец, догнал ее?

Автобус поехал.

На окраине городка в автобус сели новые пассажиры. Одним из них был электромонтер с расплоснутым носом, в надвинутой на глаза кепке. У него и сейчас висели через плечо похожие на серпы скобы с зубьями — «кошки» для подъемов на столбы электролиний. Этот монтер не раз бывал у Маки, но он ни с кем не здоро-

вается, не только в автобусе, а и дома; он даже не спрашивает, что нужно отремонтировать, смотрит поверх твоей головы и не знает толком, с кем имеет дело.

Раз, когда он пришел по вызову, Мака одна хозяйничала в доме. Несколько дней до этого дул сильный ветер, сорвал фарфоровый ролик с оттяжки и перепутал провода на крыше. Мака никого не ждала; она была подомашнему, в шлепанцах на босу ногу и в ситцевом сарафанчике, таком коротком после стирки, что Мака не показалась бы в нем даже мужу. Никто не окликнул, не позвал хозяев, просто видит она — ходит по двору какой-то мужчина. В ту минуту Мака не вспомнила, в чем она, и вышла.

— Кого вам? — спрашивает.

— Это я! — отвечает монтер, даже не взглянув на нее. Мака прикрыла обеими руками вырез на сарафане и поспешно вернулась в дом, но, войдя в комнату, почувствовала себя почти оскорбленной, — перед ним стояла полуголая женщина, а он даже не взглянул. Вот и сейчас он, задрав голову, разглядывал потолок автобуса.

Какой-то стыд, вернее, стыдливость перед этим человеком, который и сейчас не замечал ни ее, ни кого-либо другого, шевельнулась в Маке.

«Если он еще раз зайдет к нам, я скажу Гено, что он порядочный, работающий человек, и надо приветить и угостить его», — подумала она.

«Ах, разве теперь время об этом?..» — и отвернулась к окну.

Автобус катился по плохо заасфальтированному шоссе, и задняя расшатанная дверь то и дело стучала и лязгала. Когда машина ухала глубже, лязг двери заглушал даже громкий говор. Пожалуй, следовало воспользоваться этим и теперь же сказать что-нибудь. Ведь в конце концов все равно придется говорить, а сколько бы она ни думала, ей никогда не рассказать ничего складного об этой ночи. В шуме трясущегося автобуса Гено не услышит половины ее слов, она же утешится тем, что свое, мол, сказала.

Обычно, встречая ее после поездок в Ианиси и провозая с вокзала домой, Гено сходил на полпути и шел на работу. В этот раз он остался.

«Почему он едет? Наверное, хочет подробно расспросить обо всем?»

Нет, лучше сейчас сказать что-нибудь, все равно что, только сказать.

С чего начать? Страшнее того, что уже случилось, ничего не будет.

Вот если б она не растерялась в первую минуту, а спокойно вышла из вагона, не обращая ни на кого внимания, подошла бы к Гено, взяла бы его под руку и, разговаривая о доме, пошла бы с ним к выходу, как раньше, как всегда...

Мака украдкой покосилась на мужа. Хозяин больших чемоданов давно уже молчал, Гено шурясь смотрел в окно, но словно ничего не видел, и теперь не казался таким жалким.

«О чем он думает?»

Если б Тхавадзе вышел из вагона и сказал: знаешь ли ты, что твоя жена... Что мог ответить на это Гено?.. Он не вышел и ничего не сказал, но видел же из окна, как Гено нагнал ее у входа в зал ожидания и, наверное, посмеялся в душе: тоже — мужчина!.. Встретил жену на станции, поди, глаз всю ночь не сомкнул, только бы не опоздать. С утра пораньше явился, только бы броситься к жене с объятиями: хорошо ли спала? Не желаешь ли отдохнуть с дороги? Тогда я похожу на цыпочках...

Во всем виноват Гено! Почему отпустил ее! Сказал бы — никуда не поедешь!.. — и все. А если б Мака обиделась или даже оскорбилась, — пусть! Все лучше, чем то, что стряслось... А сейчас? Какого черта он приехал встречать? Сама как-нибудь влезла бы в автобус и дотащилась до дому. Или пешком пошла бы — не велика важность... Почему все-таки он не остался на работе? Может быть, предчувствие? Знает, что я никогда так часто не ездила в Ианиси, и неожиданный отъезд вызвал подозрения... Он везет меня домой, чтобы подробно выяснить все...

Кондуктор продала билеты и теперь клевала носом. На лбу и вокруг глаз у нее были неглубокие морщины. Если б не полнота, ее возраст был бы заметнее. Кондуктор недавно работает на этой линии, и Мака ничего о ней не знает, но она бывает так развязна с пассажирами, что Маке иной раз кажется — эта женщина далеко не святая... Есть ли у нее муж, родня?

Кондуктор сидела, положив обе руки на сумку с билетами, и от покачивания автобуса складки у нее на шее обозначались глубже.

«Если у нее дом и семья, почему она недоспала?.. А если прогуляла ночь, почему не боится, что кто-нибудь спросит причину недосыпания?.. Нет, конечно, она не замужем. А кому какое дело: с кем хочет, с тем и проведет ночь...»

В повороте навстречу автобусу вылетел огромный желтый самосвал. Автобус вильнул, съехал с асфальта и с такой силой ухнул в яму, что кто-то испуганно вскрикнул. Мака не почувствовала испуга.

— Лихач! — проговорил Гено и взглянул на Маку.

«Увидит присохшую к платью кровь и удивится. Не поймет, откуда кровь, не испугается, а только удивится...»

Самосвал промчался мимо. Автобус опять въехал на асфальт, но, въезжая, подскочил, подкинул пассажиров, и Мака почувствовала, как чемодан в ногах больно саданул ее и придавил ступню. Гено заметил ее движение. Если он увидит, в чем дело, то переставит чемодан и непременно скажет что-нибудь, а ей придется отвечать. Мака одернула платье на коленях, но чемодана не коснулась и даже не дотронулась до ушибленной лодыжки. Сзади, где они сидели, автобус кидало сильнее, и чемодан то и дело подскакивал и отбивал ей пальцы. Боль отвлекала. Необходимость сказать мужу неправду отступала. Вот сейчас она начнет, но боль мешала ей вымолвить то, чего она так и не придумала, и Мака хотела, чтобы машина мчалась еще быстрее и дорога становилась хуже.

Из автобуса она вышла, прихрамывая, не понимая толком, так ли сильно болела ушибленная ступня, или она выдумала, увлеклась.

— Что с тобой? — спросил Гено, когда она проковыляла несколько шагов и остановилась, поджав ногу.

— Не могу! — сказала она. — Не могу!

— В автобусе-то хоть что стряслось?

— Ничего! Ничего не стряслось!.. — Мака, прижав носком каблук, сняла туфлю с ушибленной ноги. — Ничего!

— Да скажи же наконец! — Гено встал рядом, чтобы помочь ей удерживать равновесие. Мака тут же схватилась за него и сказала:

— Чемодан упал на пальцы, Гено.

— Что?

— Чемодан упал! — смело повторила она и подняла голову. То, что она говорила сейчас, была правда.

— Когда?

— Не упал, а... — Она опустила ногу, надавила: что, если все прошло? Но нет, боль была, и она продолжала: — На повороте, когда автобус ухнул в яму... Помнишь?

— Ну...

— Когда самосвал вылетел из-за поворота. Как они все-таки носятся неосторожно!

— Ну?

— Ну и чемодан, что стоял у нас в ногах, упал мне на ступню и всю дорогу давил на пальцы.

— А ты что? — Гено заглянул ей в глаза.

Мака наклонилась, провела ладонью по ступне и опять надела туфлю. Выпрямившись, она уже не держала мужа за руку.

— На несчастье свое я вышла вчера из дому!.. На несчастье и на беду свою!.. — повторила она, обернулась и опять вцепилась в локоть Гено. Притихла, хотела прямо посмотреть ему в глаза, но не смогла. Хотела заплакать, но не сумела.

— Что с тобой, Мака? Ты не больна?

— На несчастье ушла я вчера из дому, на беду! — Она ухватилась за эти слова и не отпускала их. Они были правдой. — На беду свою... — Она не могла разрыдаться на улице, среди бела дня. — Я всегда там была несчастна...

Гено попытался высвободить руку, но Мака стискивала его локоть изо всех сил.

— Несчастливая!.. Несчастливая, несчастная!..

— Перестань, Мака!

— Несчастливая, Гено, несчастная!..

— Говори же, в конце концов, что случилось!

— Всю ночь, Гено, всю ночь, всю эту треклятую ночь я ехала с ворами, с бандитами... Всю ночь... Гено, почему ты отпустил меня одну, почему? Почему погубил меня?

— Как погубил?

Мака подняла голову и с укором взглянула на мужа. Это была ложь, которой она боялась, которая родилась в ней самой, не вне ее, а в ней самой, и так мучительно было произносить ее, что глаза наполнились слезами.

— В соседнем купе разговаривали ночь напролет, и всю дорогу я умираю от страха: только бы они не заснули!

— А в твоём купе?

— Двое. Они поднялись после, на следующей станции. Только увидели меня, закрыли дверь...

«Я говорю неправду. Все это неправда».

— Да, но куда люди подевались?

— Никого, Гено. Я же сказала, за стеной два или три голоса... А в купе никого. Когда я увидела тебя, хотела крикнуть. Они заметили, попритихли, в шутку попытались обратить... Потому я и не подошла к тебе, вбежала в зал ожидания, боялась, что и там догонят, за тебя боялась... Ох, какая я несчастная... Я солгала тебе, Гено! Мне нельзя верить! — Она хотела еще что-то сказать, но опять слезы подступили к горлу и отнялись слова. — Я солгала, что видела дурной сон. Никакого сна я не видела, не верь, Гено!.. Не верь, я совсем не спала, ни минуты... всю ночь не сомкнула глаз... Я солгала тебе, Гено...

В маленьком, но очень разбросанном городке от типографии, которая все еще ютилась в покосившемся, давно не ремонтированном доме, до нового помещения редакции было с полкилометра пешком, а потом еще вдвое больше на автобусе. Постройку нового здания обещали скоро закончить, и хоть об этом не без умысла печаталось в газете, кто знает, сколько еще лет предстояло ждать. Редакция же переселилась в здание райкома, в три большие комнаты, одну из которых занял новый редактор. Все эти изменения произошли за те две недели, в которые руководство газетой принял Ираклий Поликарпович. Раньше, при мягком, уступчивом Доментии, никому и в голову не могло прийти, что в помещении райкома найдется место для всего штата редакции или что кабинет редактора может находиться не в махонькой, отгороженной в конце коридора клетушке, где даже мыши не заводились из-за тесноты. Но пришел но-

вый человек, и сразу за какие-нибудь две недели нашлись и комнаты, и средства подремонтировать их на скорую руку. Провели даже телефоны. Теперь и у Гено есть «собственный» номер, но из редакции в типографию все равно приходится ходить по три раза в день. Ираклий Поликарпович собирается ввести также новый режим дня. Позавчера он объявил литсотруднику выговор за опоздание с перерыва, а остальных строго-настрого предупредил: со мной старые штучки не пройдут. Бывшего редактора он больше никак не упомянул.

Мака даже не знает, какие события происходят сейчас в редакции. В сутолоке прошедших дней Гено успел сказать ей, что Доментия перевели, но больше они об этом не говорили.

Гено нужно было зайти в типографию — вычитать гранки завтрашнего номера — и уже оттуда поехать в редакцию. Он не предполагал, что задержится, потому что не собирался провожать жену до дому. На станции, когда прибывшие высыпали из вагонов, а Маки все не было, он подумал, не случилось ли чего в Ианиси. Может быть, состояние Симона ухудшилось и она не смогла уехать? Больной отец, сумасбродный брат, рассеянная мать, беспомощная невестка, да мало ли что... Еще какая-то Нуца...

Гено даже загрустил: ждал, ждал, а Мака не приехала. Может быть, не нашлось кому проводить так поздно, — не каждый потащится на вокзал среди ночи. Он пожалел, что не поехал с Макой, но она, как нарочно, выбрала неурочное время... Нет, нет, он не должен так думать о жене... Чем же в таком случае объяснить ее вчерашнее поведение? Возможно, она и вправду не вспомнила раньше об одолженных деньгах. Мака не хочет, чтобы ее друзья знали, как туго им приходится сейчас, и эта черта по душе Гено. Но во вчерашнем поведении Маки было что-то не свойственное ей, что-то несоответствующее...

Почему я не поехал в Ианиси?.. Где это слыхано — женщину одну на поезд отпускать... Гено даже усмехнулся своим мыслям — теперь даже моя матушка так не рассуждает.

Когда началась посадка на поезд, он решил уйти. Настроение испортилось вконец, не хотелось возвраща-

ться на работу. Потом он вспомнил: зайду-ка в типографию, просмотрю гранки. Так он подумал, но не ушел. И тут увидел Маку. Судя по ее виду, она совсем не ожидала встретить мужа на перроне: втянув голову в плечи, ссутулясь, она почти бежала. Гено, конечно, узнал ее, но в первое мгновение усомнился — слишком уж отличался этот суетливый бег от легкой, свободной походки Маки,— и потому окликнул ее. Мака не могла не услышать, он крикнул достаточно громко. И она услышала. Гено видел, что услышала,— она замерла на мгновение, вернее не замерла, а вздрогнула так, что посторонний глаз даже не заметил бы этого. Гено позвал еще раз, еще... Он не скажет жене: я, мол, звал тебя, а ты сделала вид, что не слышала, но знает точно, что так оно и было. Может, отец умер? — подумал он. Нет, причина была не в этом. Наконец он догнал ее у выхода. И что же? Что она сказала? С подонками, говорит, ехала всю ночь?!

Перед единственным окном корректорской стоял новый линотип в контейнере, и с улицы невозможно было разглядеть, есть ли кто в комнате. Гено обычно сперва заходил в корректорскую. И сейчас он поднялся по двум ступенькам лестницы и повернул направо.

За столом, низко склонившись к выдвинутому ящику, сидела Циала. Когда открылась дверь, она торопливо затолкнула ящик и вскинула голову.

— Ах, Гено! — Она с улыбкой оправила платье, одернула его и сказала:— Не надеялась видеть тебя так рано.

— Где Тебро?

— Теблоне пошла по воду...¹ С утра ничего не ела — это ее слова, а что там на самом деле, никому неизвестно. Ей кто-то звонил... Нет, нет, шучу, домой побежала. А ты где пропадал столько времени?

— Мир полон опасностей, Циала.

— Что-нибудь случилось?

— Не со мной — с женой.

— Она приехала?

— Приехала.

— Ну и что? Отца еще раз будут оперировать?

¹ Строка из популярной грузинской народной песни.

— Не знаю, не спрашивал.

— Странный ты человек, Гено. Неужели и правда не спросил?

— Кажется, Мака сама не совсем здорова.

— Ну, что ты!..

— Ладно, оставим в покое Маку и примемся за дело. Отгиски моих заметок у вас?

— Посмотри у Тебро.

Гено выдвинул ящик соседнего стола. В нем тоже лежала раскрытая книга.

— Это вы ловко придумали. Видно, закон запрещает читать книги, но нет такого закона, который нельзя обойти.

— Такова жизнь...

Гено выложил на стол гранки.

— Эту просмотрим, а от второй пока воздержимся.

— Редактор зарезал?

— Нет, воздержался.

— Покажи-ка. Твои заметки всегда интересны.

— Это Тебро так кажется.

— Почему только Тебро?

— Тебро влюблена в меня.

— Ты шутишь, а она, кажется, и вправду влюблена.

— Как некстати я женат...

— Перестань, Гено!

— Я не шучу. Что-то в самом деле неважно.

— Разве можно так говорить о Маке?

— Ладно, ладно. Читай свою книгу. Книга — источник знаний.

— Ну, если источник...

Циала опять склонилась над выдвинутым ящиком.

Гено разложил перед собой гранки, и тут же в глаза ему бросился длинный первый абзац. Он начинал эту заметку с диалога, раскрывая в диалоге заботы чаеводов. Теперь заметка выглядела так: «Ясные перспективы», потом — бесконечная, тяжелая, вялая фраза и сразу же после нее — показатели.

Гено бросил бумаги в ящик.

— Где оригиналы?

— Отнесли в цех, — не поднимая головы, ответила Циала.

Зазвонил телефон.

— Ой, а вдруг это Ираклий Поликарпович! — вскинулась Циала. — Что ему сказать, если он спросит Тебро?

— Скажи, что она где-то поблизости.

— Он зануда, начнет нотацию читать: что же ты не знаешь, где твой коллега... Слушаю, Ираклий Поликарпович... Заведующего типографией?

— Дай-ка мне трубку, — Гено протянул руку.

— Одну минутку, — пролепетала Циала и передала трубку Гено.

— Это Гено Нижарадзе говорит с вами... Да, только что прочитал... Но эти цифры и мне были прекрасно известны... Почему осторожно? Главное я сказал, дело ведь совсем не в цифрах... Я хотел показать людей... Ах, вы считаете, что теперь есть и то и другое? А на мой взгляд, осталась одна арифметика! — и он положил трубку.

— Почему ты с ним так разговариваешь? Он и без того косо смотрит на тебя.

— Пока я здесь, он больше сюда не позвонит.

Приоткрылась дверь, и в комнату, настороженно озираясь, просунулась головка Тебро.

— Ой, Гено пришел! — Она вошла, спиной толкнула дверь. Глаза у нее сияли.

— Как живешь, Теброня? Целую вечность не видел тебя.

Тебро ответила ему взглядом и кивком головы.

— Послушай, что ты там ела столько времени?

— Ради бога, замолчи, Циала!

— А что я такого говорю? Разве Гено не знает, что человек не может без еды?

— Перестань, Циала, прошу тебя!

Гено встал.

— Редактор звонил... — сообщила Циала.

— Редактор?!

— И спрашивал тебя.

— Ты и ему доложила?

— Хотела, но Гено забрал трубку и из-за тебя поругался с Ираклием Поликарповичем...

— Что вы ему сказали? — Тебро с благодарностью взглянула на Гено. — Не надо ссориться с ним из-за меня.

— Она шутит. Редактор спрашивал не тебя, — просто сказал Гено.

Он протиснулся между столом и стенкой и, коснувшись плеча Тебро, сказал:

— Шутки шутками, а мне пора.

— Вы сегодня не зайдете больше? — не поднимая головы, спросила Тебро.

— Возможно, вечером. Все зависит от того, на чем мы порешим с Поликарпычем.

— Если вздумаешь менять работу, ищи три места, так и знай! — крикнула ему вслед Циала.

— Да я уж совсем журналистом заделался, теперь меня не исправить.

В типографии заработали машины — застучали, залязгали, загрохотали, перебивая даже громкие голоса.

Гено вышел на улицу, отломил веточку кипариса, растущего у дороги, и забросил ее в распахнутое окно. Он знал, что не сможет зайти вечером. Он спешил домой. Что же все-таки стряслось с Макой?..

Редактор не счел нужным продолжать разговор о заметках. До двух часов он просидел в своем кабинете, потом уехал по срочному делу и больше уже не вернулся. В половине пятого Гено вышел из редакции и направился домой.

На улице все еще было жарко. Высаженные вдоль тротуара китайские розы не защищали от солнца, но Гено шел медленно. Он уже миновал автобусную остановку. Вдруг остановился, обернулся — никого. «И чего я в такую жару прущу пешком?» Кто-то помахал ему из промчавшейся машины. Он не узнал и не подумал, кто бы это мог быть. «Дойду до следующей остановки, а там сяду в автобус». Он пошел дальше.

«Жарко. Сейчас бы холодного «Боржоми», но где его возьмешь. Хотя в ларьке за типографией найдется припрятанный для своих». Ему не хотелось идти туда.

Свернул налево, подумал зайти в магазин под общежитием. Улица поползла в гору. Прибавил шагу. Сверху очертя голову неслись на самокатах два черных полуголых мальчугана. Они промчались у самых ног, только ветром по коленям обдало. У заднего, в рыжей выгоревшей майке, шея напряглась от усилий, он отчаянно колотил ногой по земле. Гено остановился — догонит ли? Оба исчезли из виду. Он нагнал старушку в черном и девочку. Девочка несла две кошелки. Одна, с длинными ручками, почти тащилась по земле.

Перед магазином в тени акаций стояли начальник

городской пожарной охраны Корнели Бенидзе и инженер Аполлон Месхи.

— Какими судьбами? Откуда? — удивился Гено, увидев их вместе.

— Один — строит... — начал Аполлон.

— Другой — защищает от огня и дурного глаза.

— Так что общего у нас много, — заключил Аполлон.

— Бог в помощь! — Гено хотел пройти дальше.

— Ты хоть спроси, как мы, что мы, живы ли! — осклабился Бенидзе, преграждая ему дорогу.

«А-а, они навеселе», — понял Гено и остановился.

— Да что спрашивать. Вы и строите, вы и защищаете. Думаю, что у таких героев жизнь без неурядиц.

— Строительство редакции... — начал Месхи, улыбаясь до ушей, но, видимо, вспомнив что-то, понизил голос. — Строительство редакции, дорогой... темпами не похвастаемся, но то, что делается...

Начальник пожарной охраны не удержался, чмокнул свою ладонь и задрал большой палец:

— На ять!

— погоди, Корнели! Я строю, а тебе откуда знать, хорошо ли?

— А вот знаю... Хоть убей меня, а знаю.

— Когда я строил этот дом, — Месхи широким жестом указал на общежитие, — я хотел снести все эти акции...

— Если б ты это сделал, Корнели Бенидзе перестал бы с тобой здороваться, — сурово отрезал Корнели.

— Всего доброго! — сказал Гено. — Мне пора.

— Если Гено... — Бенидзе не вспомнил его отчества, думал, что Гено подскажет, и выжидающе смотрел ему в лицо, но Гено покачал головой: ни к чему, мол. — Если Гено не обидится на нас...

— Жарко, — прервал его Гено, зная, о чем пойдет речь.

— Пиво...

— Я — за! — поддержал Месхи, подняв руки. — По одной с прицепом...

— В другой раз.

— По одной, уважаемый Гено, только по одной! Вот тут же, рядом, прямо на ящиках.

«Если я вернусь так рано, что она подумает? Наверное, не ждет меня до вечера...»

Можно выпить и с такими собутыльниками, но прямо в магазине, на ящиках пить пиво с водкой все-таки неловко.

Толстый продавец почтительно открыл двери и тут же побежал менять халат. В мгновение ока он раскидал ящики в пристроенной к ларьку сырой дощатой боковушке, водрузил посередине бочку из-под сельди, застелил ее оберточной бумагой, поставил вокруг «на попа» три высоких ящика и, оглядев меблировку, выжидающе обернулся к Аполлону.

— Узнал? — покровительственно спросил Месхи.

— Узнал!

— Маладэц! — по-русски сказал польщенный Корнели и восторженно посмотрел на Гено; мол, знай наших.

— Да, людей надо узнавать. Иначе грош тебе цена.

— Это точно!..

— Ступай и займись делом.

— Шесть кружек пива! — напомнил Гено.

— Мы же договорились на ерше.

— Ладно, подлей немножко.

— Со своей закусью и окружением...

— Зелень и все такое...

— Будет сделано!..

Когда Гено вышел из дощатой боковушки, солнце еще держалось над горами и светило прямо в глаза, и с минуту он ничего не видел. По дороге он вспоминал что-то, какую-то фразу, сказанную Корнелием. Оказалось, что Бенидзе однажды зазывал Гено выпить, Гено же не пошел — отказался. Теперь Бенидзе был доволен компанией и то и дело повторял: я боюсь не атомов и бомб, нет! Когда люди перестанут доверять друг другу, вот тогда придет конец света.

— Когда человек перестанет доверять человеку, — повторил за ним Гено, с остротой захмелевшего человека переживая эти слова.

Он прошел мимо парикмахерской. Потер подбородок: «Надо побриться», — но пошел дальше. Откуда-то слышалась музыка. Мелодия была печальная и светлая. «Никто не знает, что волновало композитора, когда он писал ее, — каждый скорбит о своем несчастье, о своем одиночестве...»

— Гено!

Гено вздрогнул и огляделся.

— Не туда смотришь!

- Ах, это ты, Нодар? В чьей ты машине?
- Как в чьей? В своей. Час, как от напарника получил.
- Что-то она больно помятая. Не к лицу тебе.
- Если б ты помог мне устроиться на работу...
- Эх, кому я могу помочь, мой дорогой Нодар? Ты-то знаешь, что я никому не могу помочь. Мне говорят: было б свободное место — с удовольствием, но нету...
- У меня есть свободное место,— садись!
- Вот. А мне говорят, нету — я и пошел. Ты лучше меня знаешь жизнь.
- Попробуй не узнать — сама научит.
- Я больше ничему не научусь.
- Домой?
- Допустим... Эта дверь категорически не закрывается?
- Захлопни посильнее.
- Что за книги я вижу?
- Почитываю... Гляди, твой Гоча в машине Авксентия поехал!
- Где?.. В кузове небось?
- В кузове. У Авксентия эта телега после пяти во дворе стоит.
- Авксентий правильный парень.
- Доверяют, стало быть.
- Он правильный парень. Тут дорога узкая, свернул бы...
- Ладно, поедem вкруговую.
- Нодар, ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Не сказать, а попросить... Ты младше меня... Ты не останавливай, езжай, а я скажу.
- Развернемся?
- Ладно, разворачивай! Ты мне, как младший брат. Выслушай меня: не сдавайся, слышишь? Если заметишь, что тебя разъедает, скажи мне. Не люби деньги. Ты мой самый хороший друг!.. Оставался бы лучше на старой работе: такси — оно к деньгам приучает.
- Я же говорил тебе...
- Ладно, работай, где работаешь, но запомни мои слова. Деньгам не поддавайся!.. Домой не заедешь?
- Пока нет.
- Из-за меня в такую даль поехал?
- Ничего особенного!
- Как там наш «Москвич»? Все еще не в порядке?

— Барахлит. Свое отжил. Считай, на искусственном дыхании держу.

— Не останавливай возле дома — Гоча станет проситься в машину.

— Хорошо, проедем дальше. Возле сельпо остановлю.

— Что за дверь? Она у тебя вообще не открывается?

— Высунь руку, и снаружи.

— Завтра ты дома?

— Да, повожусь с нашим драндулетом.

— Вечерком зайду, если буду свободен.

— Ладно. Я как раз собирался сказать тебе кое-что, тогда и скажу.

— погоди, Нодар, в чем дело?

— Вечером скажу.

— Да не стесняйся ты! — Гено прикрыл дверь. — Что случилось?

— Со мной ничего...

Гено что-то остро кольнуло в сердце, он взялся было за ручку, но не вышел.

— Говори! Что-нибудь неприятное?

— Да, я слышал, Авксентий подрался.

— Авксентий? И ты из-за этого мнешься полчасика? Но ведь он совсем не драчлив.

— Это верно. Не драчлив, но силен.

— Ты не заметил, дома он? Сейчас же зайду — узнаю, в чем дело.

— Не спрашивай его ни о чем. Он не станет тебе рассказывать.

— Что ему скрывать от меня?

— Вообще-то нечего, но так мне кажется...

— Тогда ты говори, в чем дело!

— У него дети сидели в машине — дочка и твой сын. Заехал в гараж за маслом, а там шофера. Они знают, что у Авксентия только дочь, а тут еще какой-то мальчишка. Решили — соседский. Один и пошутил: «Хорошенький мальчишка. У такого и мамочка должна быть в порядке». Ну, ты же знаешь шоферов...

— Ну...

— Ну, а он как взъершится: не такому, как ты, о его матери говорить, как ты смеешь! И налетел — еле того парня из рук вырвали, чуть не прибил. Если дело дойдет до суда, может плохо кончиться, теперь с этим строго...

Гено вышел из машины.

У калитки он замедлил шаг. Утром, за всю дорогу от станции, Мака не сказала о своем странном поведении ничего вразумительного. Тяжелый чемодан отбил ей ногу, а Мака не дотронулась до него. Разве ее вина, что на свете не перевелись подонки? Почему же она мучается и истязает себя? Что случилось в дороге? А вдруг она не все могла открыть мужу. Тому, что надо скрывать, исповедь не поможет.

Прежде, чем открыть калитку, Гено огляделся, надеясь увидеть кого-нибудь из соседей и поговорить, поговорить о чем угодно, только бы еще некоторое время не идти домой.

Он вошел во двор и сразу же услышал голос сына.

— Папа, папа! Посмотри на меня!

Он взглянул на дом. Обе створки дверей были распахнуты.

Мака дома. Мать никогда не открывает обеих створок.

— Палочка, посмотри! Ну, я же прошу, посмотри на меня!

Гоча махал ему из-за плетня, с кузова авксентьевского грузовика. Самого Авксентия не было видно. Шофера глупо пошутили, но разве можно было драться из-за такого пустяка? А если уж подрался, сумел ли хоть отделать того как следует?

Увидев, что отец смотрит на него, Гоча повернулся, подбежал к зарешеченному окошку кабины и стал карабкаться вверх, на крышу.

— Стой, Гоча! — крикнул Гено. — Не лезь туда! — добавил он тише и поспешил к перелазу, но мальчик оглянулся на его голос, ножка его скользнула по округлой крыше кабины, и он повис между кабиной и кузовом.

— Держись, малыш! Не бойся! — Гено перескочил через плетень.

На балкон выбежала испуганная Мака.

— Гоча, сынок!

Пока Гено подбежал к машине, с другой стороны на ступеньку кабины вспрыгнул Авксентий и подхватил мальчишку.

— Все в порядке! Все в порядке! — повторял он взволнованно. — Ничего не случилось!

С минуту их не было видно по ту сторону машины.

На Гено, застывшего с поднятыми вверх руками, сзади налетела Мака.

— Гоча!..

— Все в порядке! — опять послышался голос Авксентия, и он появился с черным от тавота мальчишкой на руках.

— Ох, чтоб мне помереть! Не жить мне на этом свете, старой дуре! Не доглядела я, не доглядела! — заголосила бегущая через двор бабка Магдана.

В ответ на ее вопли из дома Авксентия донесся мужской крик.

— Что там у вас?

— Ничего не случилось, — повторил за Авксентием Гено и передал ребенка матери и жене. Он увидел вымазанные выше локтей руки Авксентия и, сам успокаиваясь, добавил: — Ребенок не падал. Он просто запачкался.

— Ох, почему я жива!

— Сынок!.. Ну, как ты, сынок? Гоча...

— Иди ко мне, мой дорогой. Иди ко мне, мой хороший!..

— Что с мальчишкой, Авксентий? — слышался из дома зычный голос прикованного к постели отца Авксентия.

— Ничего, отец, успокойся!

— Недотепа ты эдакий, где мальчишка? Где Гоча?

— Здесь он, отец!

— Почему не слышу? Голоса его не слышу! Покажите мне его!..

Перепуганный Гоча действительно не плакал. Авксентий побежал к отцу, успокоить его. Женщины с ребенком на руках поспешили за ним.

Гено с балкона дома наблюдал, как Мака, прижимая сына к груди, шла на свой двор.

— Лучше не жить твоей маме на свете! Что я натворила! Хоть с собой кончай! — с отчаянием твердила Мака, и слезы катились по ее щекам.

Мальчишка, видно, потерял глаза руками — глазницы и веки у него были совершенно черные.

— К папе хочу-у! — заревел он, когда Мака, поравнявшись с Гено, прошла мимо.

— Конечно, сынок! Иди к нему. На что я тебе такая, на что — несчастная! Света бы белого не видеть моим глазам! Иди к нему!.. Иди...

— Запачкаешь меня, чертенок! — Гено со смехом попятился от сына, протягивающего ручки.

— Не доглядела... Лучше не жить мне!.. — Мака рукавом халата пыталась оттереть пятна на коленках Гочи. — Лучше покончить с собой!

Когда Гено спустился вниз, в подсобную комнату, ему бросился в глаза огромный ворох выстиранного и отжатого белья, сваленного в углу в широкие плетенки. От слезливых причитаний взвинченных матери и бабки Гоча тоже разревелся в голос. Магдана зачерпнула горячей воды из котла и плеснула в лохань. Не успела она разбавить ее, как Мака опустила в воду ребенка. Гоча завизжал и, дрыгая ножками, повис на матери.

— Что же ты ребенка ошпарила?!

— Ошпарила! — словно отупев от отчаяния, с мукой повторила Мака. — Ошпарила, чтоб мне сгореть!

— Хватит, перестаньте! — крикнул Гено. — О чем слезы? О чем ты плачешь?

— Да если б с маленьким что-нибудь случилось...

— Я не тебе, мама!

Гено направился к дверям.

— И нечего тут рев поднимать, — пробормотал он, выходя из дома.

У плетня, держась за колья черными по локоть руками, стоял Авксентий.

— Масло менял?

— Нет, опрокинул ведро второпях и залился. Отец спрашивает, почему ты не зашел к нему!

— Как он там?

— Все по-старому... Если есть время, заходи.

— Ладно, переоденусь и приду...

Гено вернулся домой пьяный. Было уже поздно. Внизу, в подсобной комнате, все еще горел свет. Гено толчком ноги распахнул дверь и, пошатываясь, встал на пороге.

— Как ребенок?

— Я...

— Я о тебе не спрашиваю.

— Ребенок хорошо... успокоился, спит...

— Что это еще за бесконечная стирка!

Он закрыл за собой дверь. Мака слышала его тяжелые медленные шаги по деревянной лестнице. «Если он ляжет сейчас, то скоро уснет». Она обеими руками уперлась в края поставленной на табурет лохани. Поясница

уже не болела, а только ныла, пальцы все стерлись, и размякшая, разъеденная кожа нестерпимо горела даже от едва теплой воды.

Первые петухи давно смолкли, когда она прополоскала и подсинила постельное белье.

Ей захотелось посмотреть, какая погода будет завтра, и она направилась к дверям, но, не сумев выпрямиться, с минуту постояла, прислонясь к косяку.

На безлунном небе звезды мерцали и дрожали, словно живые, и весь огромный небосвод трепетал, как прозрачный полог палатки под ветром. С юга поднималась туманная полоса, похожая на след широких лыж. Мака никогда не видела на небе столько звезд. В этой беззвучной — без единого шороха — темноте она словно ждала какого-то шепота, таинственного, неземного. Наверное, в такие ночи верующие ждали, что небо раскроется — все было похоже на святую ночь.

«Если б оно и вправду раскрылось, если б и в самом деле свершилось чудо, я попросила бы только об одном... Бог должен быть. Человек может долететь до звезд, человек многое может, но богом он не станет — ему никогда не узнать, что творится на сердце у женщины, одиноко стоящей где-то перед домом, под этим огромным полуночным небом. Если сейчас раскроется небо, я скажу: господи, дай мне забыть вчерашнюю ночь! Ах, если б бог...»

За домом, вернее не за, а рядом, под деревом, наглым и резким голосом прокричал петух. Мака вздрогнула и бросилась к дому, словно на нее цыкнули и затопали ногами. Она вбежала в комнату, захлопнула дверь и прижалась к ней спиной.

«Крик петуха напугал меня, — она покачала головой и, переведя дыхание, стала бросать в лохань отжатое белье. — Крик нашего одноглазого петуха...»

Утром ее разбудили шаги Гено над головой. Она раскрыла глаза, но не встала и даже не шелохнулась.

«Что он думает о том, что я не поднялась на ночь в спальню?.. Вчера ему было не до работы, сегодня уйдет пораньше, поработает в редакции и до шести не вернется. До шести часов целая вечность. Может быть, ему кажется, что я сплю в детской с Гочей? Сейчас он спустится и увидит меня здесь, на старой тахте, под циновкой. Надо было подняться наверх, Гено вернулся пьяный и не проснулся бы до утра. Надо было подняться в спаль-

ню и лечь, как обычно. И вчера незачем было плакать и причитать, как безумной, из-за того, что Гоча оступился, — ведь он даже не ушибся. Или зачем я вздумала стирать столько белья сразу? А если уж намочила, надо было оставить часть на сегодня. Ну, а в крайнем случае хотя бы после всего, когда стирка кончилась, нужно было подняться наверх, прокрасться в спальню и лечь...»

Дверь открылась, вошел Гено. Мака так и обмерла, напряглась. Подойдет, спросит — что ответить? По звуку шагов она поняла, что Гено направился не к ней, а вынес воды в кувшине — умыться.

Полотенца все мокрые. Как же она не подумала об этом? Ах, она ничего не помнила вчера...

Раньше с дороги она обычно ложилась отдохнуть на часок-другой, а вчера вернулась, открыла дверь и не сразу решилась войти.

Долго простояла она в дверях. Из большой комнаты тянуло прохладой. Она словно после длительного отсутствия стосковалась по дому, но странно, чудно было то, что и в эту минуту она видела открытую дверь своего дома как бы издалека, как в мечте. И потом, когда она переступила порог, что-то заставило ее ходить по комнатам тихо, неслышно. Она не захлопнула дверь за собой, а осторожно прикрыла ее. Все было знакомым, но далеким, далеким, как то, о чем очень мечтаешь. Переодеваясь, она не посмела присесть на кровать, как не сделаешь этого в чужом доме. Шкаф, недавно купленный ими, казалось, стал другого цвета. Она потрогала пальцем: не покрыл ли Гено его лаком? Отвела взгляд от зеркала, сбросила с себя все, в чем была, и переоделась — нашла висящее где-то за шкафом изношенное фланелевое платье в крупную синюю клетку. Ей никогда в голову не приходило носить его летом, она терпеть его не могла с того дня, как взяла у портнихи.

Гочи дома не оказалось. Авксентий посадил его вместе со своей дочкой в грузовик и увез покататься. Маку огорчило отсутствие сына.

Она торопливо сбежала вниз, отыскивала в старье, сваленном в углу, изношенные башмаки со стоптанными задниками, надела их и при первом же шаге почувствовала, что в ногу больно тычется гвоздь.

Дверь, ведущая на задний двор, была открыта. У порога на пне сидела свекровь и с руки кормила куку-

рузой большого петуха с выклеванным глазом и почерневшим гребешком.

— Шакалья сыть! — ворчала она. — Дурень, сидел бы в своем дворе — места хватит. Так нет! Сперва здесь всех петушков заклевал-перепортил, а теперь соседским покоя не дает. Выбили тебе глаз? Так и надо! Хотела зарезать тебя, да мясо-то твое ни на что не годится, — все бегаешь да дерешься, одни жилы небось...

— А потом как? К чужим петухам? — подала голос Мака.

— Что ж, к чужим — петух он петух и есть. Этот все равно во дворе не живет, все где-то воюет, шакал его ешь... — отозвалась старуха, не прерывая своего занятия.

Мака отвернулась от свекрови, какое-то время постояла рассеянная, словно сосредоточиваясь, потом торопливо огляделась, ища, за какое бы дело взяться, такое дело, которое займет весь день, весь вечер, измотает ее и все-таки останется недоделанным и тогда, когда Гено вернется с работы, и тогда, когда он ляжет спать.

Собрав все белье, рубашки и платья, она прошла по дому и, где только нашлось даже старое, заношенное, непригодное ни в штопку, ни в носку тряпье — ничего не оставила. Стянула чехлы с матрацев, наволочки, пододеяльники. Она носилась по комнатам, жадно озираясь и хватая все, что только можно было кинуть в воду. Ей все было мало. У дверей лежали влажные половики. Она решила поднять наверх оставшуюся после стирки воду и вымыть полы, вернее, не вымыть, а выскоблить проволочной щеткой. Наконец сорвала и занавески с окон, хотя они были стираны два дня назад. И только со вторыми петухами она оторвалась от лохани, от мыльной содовой воды, разъедающей руки, и вышла взглянуть на небо — какая будет погода.

...Гено поставил кувшин у порога и прикрыл дверь. Он не мог и представить, что Мака спала здесь, внизу. Наверное, он уйдет, не заглянув ни в детскую, ни к матери. Что он нашел поесть в такую рань? С похмелья, пожалуй, предпочтет всему хаши в городке, а потом поработает в редакции до прихода сотрудников. Возможно, ему придется съездить куда-нибудь по заданию — в колхоз или на ту же стройку, и он задержится допоздна. Да и шесть часов еще не скоро. А может быть, он опять вернется пьяный...

«Ах, боже мой!.. Боже мой!..»

Джумберу Тхавадзе было двадцать два дня от рождения. Двадцать два дня ничто не мучило его. Его перебинтовывали, лечили, окружали заботой, а он не мог надивиться — где были эти люди до сих пор? Как нелепо устроено все в этом мире! Все наоборот: больно тебе — нет лекарства; хорошо, довелось вздохнуть свободно, а тебя ублажают, чуть ли не святой водой опрыскивают. Да, это так, и все-таки это неплохо. Это даже отлично, и Джумберу хотелось поблагодарить кого-то за то, что так нелепо и так чудесно устроен мир. Его буквально мучила чрезмерная заботливость врачей. Джумбера лечили, холили, нежили, ибо думали: человеку нужна помощь. Ему же было совестно от того, что все это стало теперь излишним, ненужным, и он хотел, чтобы забота была действительно необходима ему.

Что-то случилось двадцать два дня тому назад, после чего так полюбили Джумбера проводники поездов, шофера, медицинские сестры и врачи. Он никогда не был беспризорным, безродным, отверженным, люди никогда не бросали его одного; они не жалели для него ни собственного куска, ни собственной рубахи. Это он сам был замкнут, упрям и злобен. Он не знал дружбы, не знал родственного тепла. Он сомневался даже в любви родной матери. Слава богу, теперь он понял, что люди исполнены добра, а это надо суметь увидеть — люди не носят своих сердец на ладонях или на лацканах пиджаков. Пока человек не поймет этого, он несчастлив. Он всю жизнь, весь долгий век свой проживет в волчьей стае. Не раскройся у него глаза, с ним было бы то же самое: волки грызли бы его, а он, Тхавадзе, грыз бы волков. Он никогда не избавился бы от ядовитых муравьев, что напоззли на него за оврагом из черного трухлявого пня.

Тхавадзе лежал ничком в своей комнате на мягкой подушке. За стеной слышались шаги мамы, готовившей завтрак. Она не умеет вкусно готовить, но очень хочет. Разве можно упрекать человека в том, что он не может сделать что-то, хоть и старается изо всех сил? Нет, что бы она ни приготовила сегодня, все будет вкусно.

Джумбер встал, улыбка не сходила с его лица. Глянул в зеркало, удивился: внешне вроде ничего не заметно.

«Вот мы какие — людишки: если сейчас зайдет кто-

нибудь из знакомых, он без труда узнает меня, словно я тот же, что был когда-то».

В эти дни он больше думал почти обо всех, кого только знал, чем о Маке. Словно не оставляя себе времени на нее. Та ночь не сблизила его с Макой, напротив — испугала, он не верил в то, что случилось. Это могло случиться только в мыслях, в желании... Не было минуты, чтобы она не стояла перед его глазами, но он говорил о другом, словно должен был пройти какой-то иной, долгий путь, прежде чем дойти до Маки. Словно сперва должен был узнать цену другим, поверить в других и только потом обрел бы право верить в нее!..

Сегодня он собирался встретиться с ней, но не думал об этом. Столько времени Мака в его представлении стояла отдельно, особняком от всех. До сих пор он любил только Маку и никого больше. Теперь же Мака была все, весь мир. Любя ее, он полюбил всех, и любви этой хватило с избытком. Все вокруг должны были быть Макой, чтобы он достиг ее.

Сейчас, до встречи, у него было время зайти к кому-нибудь из знакомых, открыть свою тайну и порадовать человека: пусть и он будет счастлив! Но хоть мир так полон добра, его все равно никто не поймет. Они очень захотят, постараются, напрягутся, черт побери, но — увы! Ему одному, одному предстояло нести свое непомерное бремя.

Прежде чем сесть за руль, он с любовью взглянул на машину и погладил рукой гладкое крыло. Через полтора часа Мака выйдет из школы. Она дважды сидела вот здесь, сзади, хотя во второй раз он не видел ее в зеркальце над ветровым стеклом... Нынче она должна сесть в третий раз. Но случится ли это?! А что, если она не пошла на работу, или не провела второго урока и раньше вернулась домой, или кто-то из подруг проводит ее до дому...

Он думал обо всем, предполагал все, что угодно, но не думал о ее муже, не помнил о его существовании. Настолько немыслимо было представить, что кто-то, кроме него, в целом свете любил ее. Никто не смел коснуться ее, ни он сам, и никто другой.

Он выехал на дорогу, а дорога была одна — без единого поворота: ни влево, ни вправо. Он не надеялся встретить ее, и тем более — увидеть в своей машине. Он знал только, что в три часа Мака выйдет из школы, а

он должен стоять в это время чуть повыше, у общежития, перед торговым ларьком.

Если она окажется одна, он поедет следом, остановит машину у нее на пути, откроет дверцу, и... Потом он сразу свернет с центральной улицы и поедет туда, где строятся два больших жилых дома, там нет никого, кроме рабочих, а рабочим нет дела до машин и их пассажиров; оттуда — в финский поселок, потому что менее сомнительного места в той стороне нету; но это лишь на минуту — они проскочат поселок насквозь и сразу же умчатся; а дальше к чему снешить!.. Но это не могло произойти так просто, так обыденно. Разве можно приехать туда, где в назначенный час пройдет она, посадить ее рядом с собой в машину, и...

Нет, невозможно! Этого не может быть... Для этого должно случиться что-то значительное, — не то, что он даст какому-нибудь бедняге много денег или увидит на дороге умирающего и спасет его от смерти; нет, должно случиться что-то большое и мучительное.

А машина катилась легко и скоро, и пока не видно было ничего такого, после чего Джумбер поверил бы, что встретит сегодня Маку и до вечера будет с ней.

Нет, этого не может быть! И на каждом повороте он ждал, что вот заклинит руль, или отвалится колесо, или он нарвется на что-то, полетит в пропасть и раскроит себе череп или сломает ребра, пройдет через адские муки и боль и только после этого встретится с ней. Сперва он должен был заплатить за встречу, пройти между жизнью и смертью, чтобы стать достойным такого счастья. А если сегодня обойдется, Джумберу надлежало принять это как долг и рассчитаться сполна: баш на баш.

Мака дважды ездила в его машине, и для этого он провел много бессонных ночей. Наконец, и та ночь в поезде (если она не привиделась в бреду) была куплена кровью. Судьба никогда не дарила ему даже маленьких радостей, не затребовав за них полной мерой.

...И сейчас должно что-то случиться... Что-то непременно должно случиться!

Машина обгоняла попутные, ехала дальше, и на первый взгляд вроде бы все шло хорошо, но Тхавадзе видел: где-то таилась большая опасность...

...И он ждал ее, ждал так же нетерпеливо, как встречи с Макой.

Новое здание школы стояло в небольшом тупике, в стороне от главной улицы, затененной платанами.

Рядом с Макой, возвращающейся домой, шла женщина маленького роста — преподавательница младших классов Элико.

Элико только вернулась на работу из декретного отпуска и не знала подробностей замужества Мери.

Она обгоняла Маку и, с оживленной улыбкой заглядывая ей в глаза, расспрашивала:

— А дальше, Мака? Дальше?

Мака неохотно вспоминала те суматошные дни и старалась поскорее закончить разговор. Сколько раз приступала она к рассказу, столько раз в нем всплывал Тхавадзе, и Мака умолкала. «Что он привязался», — возмущалась она, и неожиданно сама спрашивала спутницу о новорожденном сыне. Элико отвечала ей с радостно-смущенной улыбкой матери, еще не привыкшей к новой роли, и опять возвращалась к своим расспросам.

— Мака, не скрывай от меня ничего. Ты же знаешь, Мери мне дороже сестры!

Мака объяснила, что Мери нравилась всей родне и женитьба Бичико откладывалась лишь из-за болезни отца. С операцией и с выздоровлением отца все препятствия были бы сняты, но Джаба Хибрадзе торопил немного, и из-за этого не удалось пригласить на свадьбу не только друзей, но даже близких родственников... Наконец-то она обошлась без упоминания Тхавадзе!

Им встретились знакомые. Одна из них была родительница ученика Маки.

Солнце стояло в зените, и жар его падал почти отвесно. Элико беспокоилась — как бы ребеночка не пригрело, — порывалась бежать домой, но тут же проявляла еще больше беспокойства о судьбе Мери. Ах, она, бесовестная, уехала и так ни разу и не объявилась. Что за брат у тебя такой: совсем вскружил ей голову, всех и все на свете перезабыла... Если хочешь знать правду, так мы, подружки Мери, все-таки в обиде на него...

«От людей ничего не скроешь», — подумала Мака.

— Мери должна беречь твою дружбу, — продолжала Элико, — да я уверена, что так оно и будет: никто не знает ее лучше, чем я.

«А меня вообще никто не знает. Мне теперь неприятно, когда обо мне говорят хорошо или смотрят на меня с любовью...»

— Мака,— Элико дотронулась до груди.— Побаливает, наверное, маленький проголодался, побегу...

Мака кивнула и грустно улыбнулась ей.

— Да, да, Элико, беги. Все-таки ребенок это все...

— Не знаю... — Элико покачала головой. — Но то, что это что-то совсем особенное... Не знаю... Будь здорова, Мака!

— До свидания.

— И не грусти.

Элико быстро перебежала на другую сторону улицы.

— Передай Мери привет! Скажи, что я очень соскучилась по ней.

Мака кивнула, а сама подумала: «Может быть, ты увидишь ее раньше, чем я».

Она пошла дальше и тут же почувствовала, что идет, опустив голову. «Не я одна, даже посторонние замечают... Вон и Элико сказала: «не грусти...»

Элико скрылась из виду, и Мака так близко услышала звук мотора, словно сидела в машине.

«Тхавадзе?!»

Она хотела оглянуться, но не оглядываясь знала, кто это, и даже не пыталась обмануть себя, только подумала: «Что же делать?.. Неужели не отвяжется, репей?»

Машина неторопливо проехала мимо нее и остановилась в десяти шагах.

«Боже мой, здесь же все меня знают! — Она огляделась.— Никого не видеть. Следит за мной от самой школы и улучил минуту. О чем с ним говорить здесь, что доказывать? А если пройти, не обратив внимания, он опять обгонит и ни за что не отстанет... Лучше сесть к нему и сказать, чтобы он не смел сюда приезжать — пусть ездит, куда хочет, куда его душе угодно, но не сюда. Как это я не сообразила передать через Нуцу, чтобы он забыл все и не только никогда в жизни не приезжал сюда, но даже не смел смотреть в мою сторону! Почему я не подумала, что стоит ему встать на ноги, как он сразу же объявится? Но я же не говорила с ним об этом. Вот сейчас сяду, выеду из городка, остановлю его где-нибудь в безлюдном месте и скажу, что если он появится еще раз, я наложу на себя руки. А он должен знать, что мое слово — слово...»

Дверца машины открылась, и послышался голос:

— Мака! На минуту, Мака!

По ту сторону улицы показалась бегущая Элико.

Мака толкнула дверцу машины и поспешила ей навстречу.

— Что случилось? С ребенком что-нибудь?

— Нет, Мака, мы перепутали сумки.

— Сумки?!

Мака держала в руках зеленую сумку Элико.

— Когда? Я не заметила.

— При выходе из учительской. Я ее положила на подоконник возле твоей.

— Ну и была бы у меня до завтра.

— Да, но завтра ты не работаешь, а вдруг мне придется куда-нибудь идти. Ты, кажется, сидишь в машине? Спешешь, а я тебя задерживаю...

— Нет, это приятель моего брата... На свадьбе познакомились...

— Пусть передаст им привет от меня.

Элико побежала назад, оглядываясь и рукой показывая: что же стоишь, машина ждет.

Мака повернулась к машине.

«Ни тени сомнения!.. Ни за что не подумает, что меня может ждать кто-то «такой», — и отвращение к себе, испытанное раз, вернулось снова. — Скажу Тхавадзе, чтобы он ездил каждый день, кидал в свою машину и таскал по городу, чтобы все знали — я бесчестная, и пусть не обманываются и не будут со мною почтительны, пусть никто не любит меня».

Светло-коричневая «Победа» пересекла улицу так стремительно, что с автобусной остановки невозможно было разглядеть сидящих в машине. Затем она свернула туда, где строилось два новых жилых дома и не было никого, кроме рабочих. Оттуда налево, мимо ряда новеньких финских домов, объехала городок вокруг и, когда он остался позади, опять выскочила на шоссе и на большой скорости помчалась вверх вдоль извилистой реки.

«Я опаздываю домой. Он не может остановить машину посреди дороги. Если здесь где-нибудь есть поворот и спуск к реке, пусть свернет, чтобы я могла сказать ему несколько слов; не могу я говорить вот так, на ходу, вернее, сказать могу, но не смогу убедить... Он должен послушаться меня, должен сделать, как я скажу, вот и все. Вот и все!»

Машина мчалась мимо белых бетонных столбиков вдоль кромки дороги. По ту сторону столбиков, внизу виднелась зеленая река. За рекой в густой зелени рдели черепичные крыши, местами кучно, местами по две, по три.

«Там всюду семьи, и они живут честно, без обмана. Туда, наверное, и машине-то не подняться, а на арбе женщину не умыкнешь. Лучше б мы с Гено остались в деревне, взяли бы участок рядом с его братом и работали бы в школе...»

Машина мчалась вдоль ряда белых столбиков, и слышался липкий звук размякшего от жары асфальта. Местами, где асфальт был посыпан толченой галькой, мелкие камешки пощелкивали по низу машины.

Тхавадзе ни разу не оглянулся. Он был настолько счастлив, что боялся оглянуться назад. Дождлся, обогнал, остановил машину, Мака не постеснялась знакомой, села к нему, и они поехали по заранее продуманной дороге, — вот он мчится и везет Маку.

Нет, это не могло произойти так просто! Невозможно поверить, но, видимо, случается в человеческой жизни — самое страстное желание сбывается, и тогда ты долго удивляешься, мотаешь головой и недоверчиво твердишь: «Это все неправда... это неправда! Я не могу поверить...»

Тхавадзе знал, что он должен ехать медленно, но медленно не получалось. Сейчас он не мог ошибиться, хотя каждую секунду ждал чего-то: что заклинит руль, сорвется колесо с оси или с придорожной скалы свалится валун... Столького нужно опасаться, когда так хочется жить.

Мака ясно сознавала — сидящий перед ней человек настолько счастлив, что не хочет даже оглянуться; боится, как бы я не исчезла, — и она ужасно завидовала ему. Во всем, даже в поворотах руля, чувствовалась настоящая радость. Рука его лежала на желтоватой пластмассовой баранке так, словно он ласкал ее, сжимал бережно, почти нежно и улыбался встречным машинам, красноватым глинистым склонам разрезанной горы по обе стороны новой дороги, белым столбикам вдоль обочин. Этой улыбки Мака не видела. Он улыбался, и его мучило, что кто-то тащится пешком по такой жаре. Мака завидовала ему. Мака потеряла то, чем обладал сейчас

Тхавадзе. Этот человек был сейчас сильнее всех, он мог отнять Маку у мужа и сына.

«Неужели на таком расстоянии негде свернуть в сторону? У него есть место, куда он мечтал привезти меня когда-нибудь, и теперь везет туда; так нет, я не поеду, куда ему хочется! Неужели он всего должен добиться? Не знаю, сколько я еще могу... Я чувствую, что этот человек отнимет у меня все, и ненавижу. Ненависть единственное, чем я защищаюсь от него».

Они промчались мимо затянутой травой неширокой дорожки, сбегаящей в сторону от шоссе, к реке.

— Остановите! — проговорила Мака. Она еще не собралась сказать то, для чего поехала, но она не могла так бессловесно, так покорно следовать за ним, куда он пожелает.

Машина остановилась. Тхавадзе положил руку на спинку сиденья и обернулся. В его глазах Мака увидела тревогу, которая притушила неистовую страсть.

«Этот человек и сегодня покорит меня. И сегодня... и всегда... Я потому и ненавидела его, что он мог водить меня по своей воле. Моя душа не мирилась с этим, и я ненавидела. Я и сейчас ненавижу его так же, как в ту ночь... Мне и сегодня покориться ему...»

— Поезжай, только не оглядывайся, — сказала Мака.

Вечерело. По накатанному шоссе резво катилась светло-коричневая машина. Она легко обгоняла попутные и как-то весело приближалась к городку. Встречным настойчиво давались знаки укоротить свет, и даже самые отчаянные из них переключали дальний, а сближаясь, «Победа» сама ярко вспыхивала фарами и прибавляла скорость. Мака должна была верить, что узнать ее никто не мог. Но Мака не думала об этом. Она вообще ни о чем не думала. Она как-то обмякла. Она устала от этого человека. Единственное, что смутно маячило у нее в голове, это было: пусть подвезет меня к самому дому, пусть все увидят, что я приехала на автомобиле любовника...

— Остановишь мне у калитки!

Джумбер оглянулся, решив, что он ослышался.

— Что ты сказала?

— Я говорю, остановишь у калитки!

— У чьей калитки?!



— У моей!

Джумбер задумался. Поехал медленнее, у него словно испортилось настроение. Но скоро он принял какое-то решение. Опять повеселел, и машина прибавила скорость.

«Он думает, что я нарочно хочу вызвать ревность мужа и развестись с ним в конце концов...»

— Останови мне у калитки, и это будет наша последняя встреча!

Взвизгнули тормоза. Машина замедлила ход. Далеко впереди светились окна окраинных домов.

— Поезжай! — громко сказала Мака. Она испугалась, как бы Джумбер снова не сел к ней.

— Поезжай, и я скажу. Не останавливайся, а то... я пойду пешком!

Но машина не останавливалась.

— Когда ты можешь встретиться со мной? — спросил Джумбер.

«Он даже не услышал, что я сказала. И никогда не услышит».

— Я всегда свободен.

— Для меня?! — Мака постаралась вместиť в эти слова как можно больше желчи.

Джумбер не ответил.

Она хотела сказать еще что-то обидное, оскорбительное, но раздумала — как бы опять не остановил машину, и некоторое время молчала. Но только въехали в городок, она заговорила.

— Никогда! — сказала она как можно тверже и все-таки подумала, что он не послушается ее.

— Где тебе удобнее...

— Нигде!

— Скажи, где ты будешь, и я приеду туда.

«Я уже потеряла силу, моему слову грош цена, я в его власти и обязана встретиться, — подумала она и почувствовала, как горькие слезы подступили к глазам. — Наверное, теперь я не имею права отказать».

— Никогда! — сказала она громче. — Я же сказала — никогда!.. Разве не моя воля? А если я не хочу?! — Что-то подкатило к горлу, лишило слов, и пока она опять сумела заговорить, она подумала: «Что со мной? Истерики перед Тхавадзе?..»

— Что с тобой, Мака? — спросил Джумбер ровно, но голос его выдал беспокойство.

— У меня есть сын! — То, что у нее есть муж, она не посмела сказать, Тхавадзе высмеял бы ее.

— Об этом я узнал три года назад, двадцать третьего марта...

— Значит, ты знаешь, что у меня есть сын...

— Знаю.

— Оставь меня в покое!.. Оставь! Отстань!..

— Мака!

— Не называй меня так. Зови иначе, только не Макой. Меня больше не зовут Мака!..

— Я не могу звать тебя другим именем.

«Ни в чем, ни в чем не слушается меня... Наверное, так... наверное, так оно и есть,— у меня нет права. Чего же я тогда жду? Давай уж скажу, где встречу с ним опять... Назначу место и придумаю тысячи хитростей, обману мужа, свекровь, соседей, всех... Сына должна обмануть и завтра или послезавтра опять побежать к нему...»

— Мы не проехали мимо дома?

— Остановить у калитки?

— Я же тебе сказала! — вспылила Мака.

— Ладно, как хочешь...

«Обрадовался, что я разозлилась и тем самым помирилась с ним. Боже мой, я же знаю, что не должна так делать! Что со мной? Почему я не могу одолеть себя? Неужели я так низко пала, что теперь буду все делать против своего желания? До каких пор? Или как я смогу, чтобы меня не слушались и заставляли делать, что заблагорассудится?..»

— Останови у четвертого дома.

— Знаю... Когда же мы встретимся?

— Никогда.

— В таком случае...

— Нет, я сказала!

— Мака!

— Нет, нет и нет! Ни за что!

«Он не послушается и опять придет. Сто раз повторила я одно и то же, а он и слушать не хочет».

— Здесь!

Машина съехала с дороги и остановилась у обочины. Мака схватилась за ручку дверцы, но Тхавадзе опередил ее и забрал в ладонь ее пальцы, впившиеся в прохладный никель. Мака вспомнила свой давнишний сон. Ее так и передернуло. Она высвободила пальцы, открыла дверь и ступила на землю.

— Никогда!

— Мака!.. — Полным безнадёжности показался ей этот зов.

— Никогда! — повторила она и после того, как машина отъехала.

Она подошла к калитке, наклонилась, чтобы сквозь

щель, вырезанную для рук, увидеть, есть ли кто во дворе и не видели ли ее из дому...

«Я такая маленькая, такая ничтожная, что при желании могла бы пролезть сквозь эту щелку». Она беззвучно приподняла засов и потом целый вечер ломала голову, но так и не вспомнила, чтобы когда-нибудь так воровато входила в чей-либо двор.

В то время, когда врачи полагали, что Тхавадзе лежит недвижим в палате, он вдруг исчез, а на следующий день его опять нашли на койке без памяти. Никто не мог понять, как он ушел и тем более как сумел вернуться и проникнуть в палату, когда вся больница была поднята на ноги. Через два дня он вполне оправился и настолько быстро стал выздоравливать, что и этим немало подивил врачей, и, наконец, выписался в чрезвычайно короткий срок.

К его приходу ревизия на заводе была завершена. Тхавадзе знал, что, копаясь в бумагах, у него ничего не найдут: за то, что написано на бумаге, нужно уметь ответить, и Тхавадзе всегда запасался ответом. При большом желании на любом заводе всегда можно найти повод для упреков и разговоров, но поскольку раненый директор со дня на день мог выйти на работу, желающих обвинить его в чем-либо не нашлось.

Через день после свидания с Макой Тхавадзе вернулся на работу. Вскоре затихли и сплетни, вызванные его попыткой самоубийства. Нужно заметить, что сразу после того, как он стрелялся, была названа дочь Симона Лежава, но названа как-то робко, несмело, одним или двумя голосами. Только началась ревизия, все решили, что у Тхавадзе растрата; на новом месте он не успел бы набрать столько, значит, тянется за ним со старой работы. Ревизия на заводе шла всю, когда в больнице пропал тяжелобольной, и не кто иной, как Тхавадзе. Не нашли его и на следующий день. Знает, что его ждет, вот и рванул вместе с машиной, — заметили по этому поводу в городке. Но машину милиция обнаружила возле железной дороги на соседней станции. На вопрос, откуда она там взялась, начальник станции ответил: это машина моего знакомого, он ее оставил, а сам исчез и не появляется. Решили, что Тхавадзе, спасая шкуру, сбежал на поезде. А на следующий день, к вечеру, он лежал в

своей палате на своей койке, лицом вверх, неподвижный и белый как полотно, и врачи вокруг растерянно переглядывались и пожимали плечами. О возвращении Тхавадзе скоро стало известно, и его навестил автоинспектор — попросил ключ от машины: она стоит во дворе милиции, как бы солнце не нагрело, не испортило краску, — и отвел ее в гараж.

Во время ревизии секретарша Цуцуния наполняла кипяченой водой из шланга большие бочки, чтобы не подумали, что директор завода по своей воле распределяет штат. В заключении, сделанном ревизией, говорилось о бесхозяйственности и нерадивой работе Бичико Лежава, однако объявить из-за этого выговор директору или даже просто поставить ему на вид ревизоры не посмели, так как во всем остальном недостатков на заводе было мало... После ревизии, опровергшей растрату, старые слухи воскресли и подозрение снова пало на Маку Лежава: никаких других причин стреляться у него не было. Они встретились на свадьбе Бичико, и Тхавадзе сказал ей — брось мужа и ребенка и выходи за меня. Мака, конечно, сестра Бичико, но отнюдь не такая ветреная, как брат, — она не сочла Тхавадзе даже достойным ответа. Тогда Джумбер встал, пошел домой, зарядил пистолет и пустил пулю в сердце. Шепотом поговаривали, будто Мака приезжала раз проведать раненого, но поскольку никто из палаты Тхавадзе и его многочисленных посетителей не видел ее, подозрение не подтвердилось. И все-таки люди говорили о ее приезде, и тут же добавляли — пожалуй, это неправда... Была попытка увязать сплетню с Цуцунией: Тхавадзе, мол, хотел сделать ее своей любовницей, а она ни в какую, — если хочешь, бери в жены. Но свести это к самоубийству не удалось, и опять перекинулись на Маку Лежава: в детстве Джумбер очень любил ее. Самые дошлые напомнили, что тогда Тхавадзе был не такое уж дитя — десятилетка за плечами, а если когда и любят, то именно в эту пору. С тех пор, как Мака уехала, никто не знал, продолжали ли Джумбер преследовать ее. Если да, то как же он допустил, чтобы она вышла за какого-то Нижарадзе? Сейчас, через столько лет, он стреляет в сердце, а четыре года назад молчал и не рыпался. Кто-то глубокомысленно заметил: четыре года назад он, наверное, решил забыть ее, раз она вышла замуж, но сейчас увидел и понял, что не любить ему другой женщины. Он и Цуцу-

нию откопал где-то и посадил перед своим кабинетом в надежде, что, быть может, она излечит его от старой любви, но даже пальцем не тронул, ибо сердце его всегда принадлежало Маке Лежава...

Вернувшись на работу, Тхавадзе в первый же день предложил Цуцунии или остаться мойщицей бочек в цехах, или покинуть завод, поскольку директору завода по штату не полагается личная секретарша. Цуцуния взглянула на директора своими синими глазами и так томно опустила ресницы, словно Тхавадзе просил у нее руки и она соглашалась.

— Ну, так как? — опять спросил Тхавадзе, не понял, на что именно соглашалась Цуцуния. — Что будешь делать?

— Как скажете... — Цуцуния опять вскинула ресницы и взглянула на него.

— Я уже сказал.

— Я согласна, — проговорила Цуцуния.

— На что ты согласна? — Тхавадзе даже обозлился; где только я нашел такую — ничего не втолкуешь. — На что ты согласна? — И, встретив растерянный взгляд Цуцунии, пояснил: — И на мойку бочек, и на уход с завода?

— Нет.

— Ни на то, ни на другое?

— Переведите меня в другое место.

— Ладно. Я переведу тебя к другому! — Тхавадзе вспомнил про заместителя председателя исполкома и тут же позвонил ему. Договорился: тот обещал взять девушку машинисткой, хотя Цуцуния никогда в жизни не печатала ни одного слова.

На следующий день Цуцуния уже не появилась на заводе и в перерыве не украшала заводского сквера своей короткой юбкой, стройными ногами и всей ладной фигурой.

Директор заметил, что Бичико Лежава и один рабочий во время рабочего дня выпили и ходят по заводу на веселе, и объявил им по строгому выговору.

«Даже Лежава не пощадил!» — удивились все.

Так никто и не понял, из-за чего стрелялся Джумбер. Не понимали теперь, чем он жил, и попритихли.

Не прошло и недели со дня возвращения директора на завод, как из Тбилиси пожаловал представитель главка. На этот раз Тхавадзе не искал для него гости-

ницы и не справлялся, ел ли он в этот день или вообще питается святым духом.

Прощаясь, он проводил его до лестницы. Перед лестницей во дворе стояла светло-коричневая «Победа», но представитель главка целый час прождал автобуса в горячей тени акации.

А Тхавадзе в это время сидел в своем кабинете за приоткрытой дверью и думал: я должен жить так, чтобы мне не пришлось ничего скрывать от любимой женщины.

В пятницу вечером приехала Марго, привезла Гоче сладостей. Племянник не пошел к ней па руки, а отбежал к перилам балкона и молча поглядывал оттуда.

— Я же твоя тетя, миленький,— ласкалась к нему Марго.— Иди ко мне! Ты вон уже какой, вырос, а я ничего еще тебе не дарила. Каждый раз вбегаю сюда напуганная и, наплакавшись, убегаю. Конечно, ты не помнишь меня! Иди ко мне, родной, иди, мой маленький, иди...

— Если бы ты знала, Марго, как Гоча напугал нас с неделю назад!

— Боже мой, тетя! Что с ним случилось?

— Чуть не упал с Авксентиевой машины.

Марго в ужасе обернулась к Гоче.

— Погубить нас хотел, маленький?!

— С того дня мать его никак в себя не придет...

— Мака, моя дорогая... Она дома?

— Дома, во дворе, наверное, где-нибудь. Ты, случаем, не ездила к Мери? Как там ее свекор?

— Симон? Ах, какой добрый, какой мягкий человек!

— Дай ему бог!..

— Мери очень благодарна ему: родной отец, говорит, не любил бы меня так...

— Ну, а здоровье его как после операции, здоровье?

— Да вроде ходит понемножку, легкую работу себе выскинвает, не привык без дела сидеть. Мери его от забот ограждает, а он ее...

— Ну да, она же беременная...

— Как хочешь, тетушка, а другие и близко к дому не подпустили бы обещенную девушку. Очень они хорошие люди.

— Без операции-то ему не обойтись, или как?

— Нет, без операции не выйдет, придется еще одну делать, у него резиновая трубка в животе.

— Наверное, об отце она мучается...

— Кто? Мака?

— Ну, да. Как вернулась оттуда, переменилась, не узнать... То работу какую-нибудь затеет без роздыху: убирает, стирает, полы моет, ни пить, ни есть не надо. Потом бросит все и молчит, а сама думает о чем-то, даже с Гено не разговаривает. И не хочет больше ехать туда.

— Неужели? Почему?

— Ничего не говорит, а я не знаю, что и подумать.

— Зачем ей говорить? Разве мы не знаем, какое у нее сердце золотое. Она спасла нас, спаси ее бог от всяких бед, не то Джаба Хибрадзе прикончил бы и меня, и родную сестру, и ее брата...

— Как там, кстати, этот парень? Взялся за ум? Семейей как-никак обзавелся. Наверное, и о нем она беспокоится...

— Вроде — да, Мери не жалуется.

— А Мери и не пожалуется...

Гоча, незаметно ушедший в дом, выскочил на балкон, подбежал к бабке и положил голову к ней на колени. Потом взглянул на Марго и, приподнявшись на цыпочки, что-то шепнул на ухо бабушке.

— Что ты говоришь? Помилуй бог! — заволновалась старуха.

— В чем дело, тетя Магдана? Что с ним?

— С ним ничего, его мать... — но Гоча прикрыл ладонью рот бабке. — Ладно, сынок, не скажу. Не скажу...

— Ма-ка? — одними губами спросила Марго.

Магдана кивнула. Мальчик забрался к ней на колени, устроился поудобнее и стал тереть воротник ее платья, исподлобья угрюмо поглядывая на гостью.

— Ну, так во-от... — бодрым голосом начала Магдана, чтобы не дать мальчику понять, о чем речь. — С тех пор все молчит и переживает.

— Ну, можно ли так? Слушаю тебя, тетушка, и сердце кровью оближается.

— До сегодняшнего дня с ней еще этого не было, — Магдана потерла кулаком глаза, показывая, что Мака плачет.

— Кто? Мака?! — не поверила Марго.

— Не говори! — Мальчик опять прикрыл ладошкой рот бабушке и надулся.

— Я и не говорю, сынок, я совсем о другом.

— Не говори! — с хрипотцой повторил Гоча, готовый расплакаться.

— Нет, Гоча, нет, дорогой! Не скажет.

— Я о другом, сынок, о бабке Анете, которая живет внизу у родника, у которой маленький Ило, твой товарищ... Ты же знаешь Ило? Что он тебе подарил?

— Замолчи!

— Хорошо, мой маленький, молчу, больше ничего не скажу. Ты куда бегал? К Цабунии в гости? Почему же не привел ее к нам, не сказал, что пришла тетя Марго и принесла тебе конфет? Ты угостил Цабунию конфетами?

— Нет!

— Ну, разве так можно, сынок! Цабу все тебе приносит, а ты...

— Он теперь угостит,— вставила Марго.

— Конечно, угостит, Гоча у нас добрый. Ну, иди, сынок, большой ты уже, устала. Сходи к Цабунии. У тебя есть конфетки в кармане?

— Не пойду.

— Упрямый ты, однако, какой. С характером...

Марго была поражена. Она не могла представить себе плачущую Маку, и первое, что пришло ей в голову, было: не скончался ли ее отец за те два дня, что она, Марго, уехала из Ианиси.

— Два дня назад я была там... Ну, да, позавчера, в субботу... Пока, говорят, дела идут на поправку, а дальше посмотрим.

— Я бы сходила к ней, да боюсь — гордая она, наша Мака.

— Не ходи, не надо. Придет. Если сама заговорит, так ладно, а ты не начинай. В последнее время даже Гено избегает ее.

Мака пришла позже.

При виде Марго она улыбнулась: так улыбаются в большой печали, когда увидят кого-нибудь очень приятного и близкого и обрадуются ненадолго.

— Мака, родная моя... Мака...

— Здравствуй, Марго.

— Ты здравствуй, моя хорошая! Ты будь здорова и счастлива!..

— Как вы живете? Как дочки?

— Хорошо, спасибо. Тебя нам благодарить до окончания своих дней.

Мака опять коротко улыбнулась.

— Да что для вас сделала такого?.. Как Джаба?

— Ничего, Мака, что ему сделается? Три дня вот не пьет и теперь из-за этого рычит, недоволен.

— Ты не разрешаешь?

— Я?! — удивилась Марго. — Разве он меня послушается?

— Хуже станет делать?

— Как ему захочется, так и будет... Столько времени молчит — нет, чтобы пригласить Бичико и Мери, а я даже упомянуть о них не смела, пока на самого стих не найдет.

«Она любит своего мужа, любит настолько, что даже дурной мысли о нем не допускает», — подумала Мака и спросила:

— А его мать тоже боялась ему напомнить?

— Мать заикнулась разок-другой, но Джаба вроде не слышал. Она и перестала.

«Значит, когда ему выгодно, он может пропустить что-то мимо ушей. Джаба совсем не такой страшный, каким он кажется Марго, а может быть, каким ей хочется, чтобы он был».

— А сейчас что?

— Она пригласить пришла, — сказала свекровь. — И у вас уже была, в Ианиси.

— Да?

— Была, — закивала Марго. — Неловко мне было перед вашими, прямо ужас, особенно перед твоим отцом...

— Бичи дома застала?

— Нет, я рано ушла, он, наверное, на работе задержался.

— На работе... — повторила Мака и опять замолчала.

Марго чутьем поняла, что Мака не хотела продолжать разговора об Ианиси.

— Конечно, мы слишком поздно собрались пригласить их, и перед тобой виноваты, но ты же помнишь: Джаба в тот раз ушел обиженный и до сих пор слышать ни о чем не хотел. А теперь, в субботу под воскресенье, что-нибудь устроим... Не такое, чтобы тебя было достойно, но лицом в грязь не ударим. Джаба тоже говорит: перед Макой неловко, а то... ты же понимаешь... Нет, ни-

чего худого о Бичико он не сказал, но, наверное, пока не стал бы приглашать.

«Она любит его,— подумала Мака.— Может быть, такие мужчины нужны нам в мужья. Может быть, если женщин совсем освободить от страха перед мужем, нам не хватит воли держать себя в узде...»

Марго посидела недолго — слишком много дел в доме — и ушла. Мака видела, что она еще что-то хотела сказать, но не решилась.

«Что же?» В этот вечер к ее головоломным вопросам прибавился еще один — что хотела сказать Марго?

Только Марго вышла за калитку, как проехал автобус. В другое время она возвратилась бы назад, к тетушке, и посидела бы у нее еще. Но сейчас она спешила. Ее ждали дела и двое детишек, оставленных на попечение больной свекрови. Если б даже не это, ей было бы неловко. Мака не проводила ее, осталась на балконе. Марго показалось, что невестке нелегко далось это. Дойдя до калитки, она оглянулась, но не увидела Маки. Она и с тетушкой Магданой не поговорила толком. То, что сказала тетка, не могло быть причиной расстройства Маки.

Марго пошла домой пешком. Пока появится автобус, она спустится к роднику Коди и порядком сократит дорогу. В другое время она, пожалуй, дождалась бы автобуса, но не сейчас. Раньше она очень любила приходить в гости к Гено и Маке, посидеть в их недостроенном и все-таки уютном доме, поговорить с тетушкой, сейчас она спешила уйти. Это было похоже на бегство. Вроде бы дел у нее невпроворот. С тех пор, как Мери вышла замуж, она и в самом деле минуты не может выкроить спокойной. Но сейчас ее беспокоили не домашние заботы, ее тревожила Мака, и мысли о Маке не покидали ее.

Дорога уходила вниз под гору, потом выравнивалась и опять бежала вниз. Показался буковый лес. Там, на опушке,— она знала — из-под камня сочится родник. Однажды Джаба не отпускал ее оттуда до полуночи. Когда она прибежала домой, Гено не спал, ждал ее, и у бедняжки от страха упало сердце.

«Может быть, между ними случилась размолвка. Вдруг Гено изменяет ей или любит другую... Грешно

мужу Маки заглядываться на других, но кто его знает? Разве мужчин поймешь...»

Марго и сейчас не знает, что за человек ее Джаба. Когда они до полуночи стояли здесь, у этого родника, она и тогда боялась его и потому не ушла.

Джабы боялись все. Марго в первый раз увидела его, когда гостила летом у дяди, в соседней деревне. Двоюродные сестры подшучивали над ней: пойдем с нами в кино, мы познакомим тебя с Хибрадзе! Отчаянные, веселые девушки подтрунивали над робостью кроткой, как овечка, Марго; она еще ни с одним парнем не разговаривала, так пусть Джаба объяснится ей в любви... А ей почему-то стало жаль этого Хибрадзе. Неужели с ним никто не разговаривает? Или чем уж он так страшен? «Съест он меня?» — с несмелой улыбкой спросила она. Девушки рассмеялись. «Ну, что же все-таки сделает?» — опять спросила Марго. В конце концов никто не смог ответить ей, что такого ужасного сделает Хибрадзе, отделались шуткой: «Вечером увидишь его, у него и спрашивай».

Марго в самом деле захотелось увидеть этого парня. Не говорить ему ничего обидного и посмотреть, как он тогда поведет себя.

Вечером собрались во дворе перед клубом. Было много местных. Билетов еще не продавали. Говорили о том, о сем, шутили, валяли дурака. В стороне затеяли игру. Хибрадзе все позабыли. Марго очень хотелось, чтобы о нем опять заговорили. Но тут словно ветерок прошелся по двору: Хибрадзе пришел, и если пьяный, не видать нам сегодня кино. Девушки незаметно подошли поближе к клубу, где горел свет, и перестали шептаться и посмеиваться.

— Пьян,— сказал кто-то.

Марго увидела во дворе клуба высокого парня в кепке, надвинутой на глаза. Тогда она не разглядела его густых бровей, сросшихся на переносице.

— Джабе наше почтение! — приветствовали его ребята, но ни один не приблизился к нему.

«Неужели его все избегают? — удивилась Марго.— И ребята почему-то не подходят. А детишки куда разбежались? Он же не делает ничего худого».

Джаба встал посредине двора и огляделся. Все притихли: что-то теперь будет... Марго стало ужасно жаль этого парня, но она не знала, как быть. Джаба курил.

Кашлянул. Подошел к дверям клуба, заглянул. Вернулся.

«Если все будут так на него глазеть, он что-нибудь натворит», — думала Марго.

Джаба отбросил папиросу и вдруг пошел на сбившихся в кучу девушек. Те взвизгнули и бросились врассыпную. Марго всю жизнь боялась чего-нибудь, и сейчас она удивлялась: страха не было, напротив — ее тянуло к Хибрадзе. «Если б мы были одни, я сама подошла бы к нему», — думала она. И когда все вокруг Хибрадзе разбежались и осталась только худенькая, похожая на ягненка незнакомая девушка, кураж его пропал, и он остановился, немного растерянный. Подошел поближе, заглянул ей в глаза. Вот тогда-то Марго увидела его брови и у нее захолонуло сердце. Но Хибрадзе неожиданно засмеялся и при этом выставил такие длинные и неровные зубы, что Марго тоже невольно улыбнулась: чему он смеется с такими зубами? Увидев ее улыбку, Хибрадзе тут же замкнулся, насупил брови. Потом пригляделся повнимательнее к маленькой девушке с кротким светлым лицом и усмехнулся чему-то своему. Марго стояла перед ним, ей было совсем не страшно, и она улыбалась. Знала, что все смотрят на нее и дивятся ее смелости. Хибрадзе не нравился ей, но было приятно, что он именно такой. Дальше больше того — ей хотелось еще раз увидеть его неровные крупные зубы.

— Пригласи ее в кино!

— Купи билет!

— Поцелуй ее, Джаба! — крикнул кто-то.

Теперь Марго перепугалась не на шутку; если он и вправду поцелует, от нее же ничего не останется!

Джаба сверкнул глазищами в сторону кричавших. Марго огляделась и увидела неподалеку двоюродных сестер.

— Он хороший парень! — сказала Марго всей правдой своего сердца.

— Я хочу пригласить тебя в кино! — Хибрадзе опять осклабился.

— А мы и пришли в кино, — простодушно ответила Марго.

— Как тебя зовут?

— Меня зовут Марго.

— Ты у них гостишь? — Хибрадзе повел глазами на девушек, стоявших по обе стороны от них.

— Да, это мои двоюродные сестры. А сама я живу у тети, родители мои умерли, и она меня вырастила...— Хотела еще что-то сказать, но подумала, что, наверное, это ни к чему.

— Почему ты редко бываешь в нашей деревне?

— Не знаю... Теперь буду приходить чаще.

И действительно, Марго стала чаще ходить в клуб. Там она встречала Джабу. После кино Джаба шел с ней до дому, потом прогонял двоюродных сестер, и когда оставался один, Марго видела, как он сжимает кулаки, стискивает зубы, перекатывая желваки на скулах, и чувствовала, что Джаба хочет поцеловать ее, но боялась этого, и потому Джаба не смел ее поцеловать.

Когда она входила в дом, двоюродные сестры набрасывались на нее: ну, что он? Как? Не посмел ли чего? И, услышав в ответ, что Джаба и пальцем ее не тронул, не смели усомниться в ее словах и все-таки не верили.

Когда Гено женился на Маке, он пригласил на свадьбу и того самого дядю с дочерьми, у которого Марго гостила летом. Передать приглашение послали Марго. Вечерело, когда на обратном пути, у родника Коди, на опушке букового леса ее встретил Хибрадзе. Сперва она даже обрадовалась. Но вскоре стемнело, и Марго стало страшно. Кто этот сорвиголова? Что у них общего? Почему он стоит сейчас у нее на пути в темноте, с хрустом ломая пальцы? Марго вдруг захотелось бежать. Как раз в тот день она узнала от двоюродных сестер, что на прошлой неделе в городке, где работал Хибрадзе, у него вышла какая-то неприятность с начальством, и если б директор — дай бог ноги — не выскочил из кабинета, Джаба прибил бы его. Вспомнила она об этом и вся задрожала. «Что делать, если он не отпустит меня домой? На что мне такой муж? Родня моя узнает, не простит ему, и убьет он Гено, черт окаянный, откуда навязался на мою голову?! Гено только женится, на чудесной девушке, говорят, теперь-то ему жить да радоваться... Как же это я все напортила!..»

Джаба сидел около родника на камне и спрашивал: почему ты не осталась у родни? Почему не пошла в кино? Марго объясняла ему, что женится ее двоюродный брат, что она приходила по делу — пригласить дядю на свадьбу и не могла задержаться. Джаба вроде бы соглашался с ней, потом опять спрашивал — почему не осталась? Марго опять объясняла, и Хибрадзе опять согла-

шался, и снова: это твой братец велел тебе не задерживаться? Марго не знала, что ответить, но не хотела валивать вину на Гено. «Я женщина,— думала она.— С мужчиной он завтра же расправится»,— и чтобы Джаба не взъялся на брата или, обозлившись, не оставил ее на всю ночь здесь, в этом лесу, покорно брала вину на себя: я ушла пораньше, никто не наказывал, думала, так будет лучше...

Было уже поздно. Хибрадзе все сидел у родника. «Давай-ка я подойду к нему, поцелую и попрошу, чтобы он отпустил меня домой,— подумала Марго.— Наверное, он из-за этого держит меня здесь, будет хуже, если он сам бросится...»

Она пошла к нему, оглядываясь, ища на всякий случай, куда бы бежать, если он не захочет отпустить ее. «Только не к дому, а то не отстанет до самой деревни». Она знала, что ей никуда не уйти, и все-таки искала тропинку — для смелости. Она стояла перед ним и не могла решиться, а то совсем уж собралась ускорить то, что все равно должно было случиться. И все-таки она не смогла подойти к нему. Повернулась и побежала. Но тут же поняла, что за ней не гонятся, и остановилась — никуда ей не убежать. Вернулась, встала опять перед ним и, вся дрожа, поверила, что ей никогда не оторваться от этого человека, этот страх каждый день должен быть с ней, без него она теперь не сможет жить.

В ту ночь, когда Хибрадзе, как ребенка, поднял ее на руки и, раздавив о собственную грудь, отъел ей губы, она чуть не померла, но решила никому не говорить об этом и, как только удастся, опять попасть ему в руки в скрытом безлюдном месте.

После двух остановок автобуса некоторое время нужно было идти пешком, потом свернуть в проселок, как крышей, перекрытый старыми деревьями. Калитка хоззев была пятая или шестая от шоссе.

В затененных проселках грунтовая дорога даже в жару не просыхала, а в дождь ходить к Хибрадзе становилось совсем затруднительно. Марго целую неделю с мольбой смотрела на небо — не было бы дождя, но в субботу к вечеру все-таки набежали тучи.

Мака знала, что не пойти в этот раз к Хибрадзе невозможно, но знала она и то, что Бичико ни за что не

явится к свойственникам без Тхавадзе. Джумбер, конечно, не упустит такой возможности. Там же будет Гено, а для Маки лучше смерть (где только искать ее), чем видеть их вместе. И тем не менее нельзя было не идти. Гено теперь все брал на заметку. Да и Марго с Мери не нашли б себе покоя, кусок не полез бы им в горло, если б Мака — не больная, не лежащая при смерти, не ухаживающая за захворавшим ребенком, а здоровая и не-вредимая Мака не пришла бы к ним в такой день. Другого пути не оставалось: Маке опять предстояло лгать. Лгать безбожно. И не только мужу, но всем: сыну и отцу, матери и свекрови, брату и невестке, всем, кого она любила. Она должна была наплевать в глаза тем людям, которые клялись ее именем и берегли ее честь пуще своей. И не поодиночке пришлось бы ей теперь обманывать их, а всех вместе, гуртом, оптом.

После этого не останется никого, о ком Мака могла бы подумать: этого я еще не обводила вокруг пальца...

А не идти было никак невозможно.

Накануне, перед субботой, она мечтала: вот бы завтра заболеть и слечь!..

Ночью дважды выходила из дому в одной рубашке и подолгу стояла во дворе, но ночь как нарочно была такая тихая, теплая и звездная, что она даже ни разу не чихнула после этих прогулок.

«Если б Гено не вбил себе в голову мысль о своей книге, а вместо этого навел каменную лестницу, я бы посидела на ней и простудилась», — подумала она и тут же горько усмехнулась: «Уж не хочешь ли ты свалить вину на мужа?» — и на цыпочках, крадучись вернулась в дом.

Утром она надумала выпить что-нибудь, чтобы поднялась температура, но не знала такого средства, ибо никогда не интересовалась ничем подобным.

А время шло.

Солнце поднималось все выше, выше. Вот и полдень настал. Ей показалось, что у нее начался жар. Смерила — ничуть не бывало! Потом, когда до ухода осталось совсем немного, она забежала по пустякам вверх и вниз по лестнице в надежде, что давно подгнившая четвертая ступенька проломится под ней, но ступенька поскрипывала, и только, а Мака бегала то вверх, то вниз. Вверх и вниз, вверх и вниз.

Гено вернулся с работы рано.

«Господи, зачем он спешит? Если б он только знал, куда идет... На свете нет человека смешнее его»,— подумала она, когда муж вошел во двор. Она поспешно подобрала валявшийся на верхней ступеньке лестницы дерюжный половик и понесла мыть его. «Я, наверное, не могу переживать,— она окунала мешковину в холодную воду и тщательно стирала ее.— Наверное, я бесчувственная... От сильных переживаний люди теряют сознание, валятся с ног, заболевают. А я свыклась со своим положением, скоро и мучиться не буду и нагло буду глядеть всем в лицо». — Слезы подступили ей к глазам, и она поспешно огляделась, не видит ли кто.

«В конце концов все, чего я достигла,— почувствовать некоторое облегчение после того, как заплачу. Не облегчение, а усталость. Для меня даже слезы так тяжелы, что я устаю и не в состоянии думать потом... Плачу, и больше ничего... Боже мой, неужели я всегда была такая жалкая и не способная ни на что, кроме слез?»

Перед выходом из дома она не могла найти даже своей одежды. Она помнила только, что платье той ночи лежит за шкафом, она никогда не собиралась надевать его: «Гено не должен видеть меня в том платье». Ей все еще казалось, что на нем есть пятно крови, которое ничем не вывести.

Когда они вышли из дому, Гено заметил, что на чулке у Маки побежала петля, но Мака сделала вид, будто не знает об этом.

Они сошли с автобуса и дальше пошли пешком. Небо хмурилось. Дул прохладный ветер. Гоча шел впереди и ножками, обутыми в новые туфли, пинал камешки на дороге, изредка оглядываясь на мать и удивляясь тому, что она не сердится.

Мака не отрывала глаз от сына и пыталась представить себе, очень ли трудно ему придется без матери. Она жалела, что раньше запрещала ему поддевать камешки на дорогах,— наверное, он такой строгой и запомнит меня.

Магдана шла последней. Ей мешали боли в суставах, и она плелась сзади, в отдалении. Мака вдруг спохватилась: как бы Гено не спросил ее, почему она так смотрит на сына, отвела взгляд и поотстала, но не смогла идти и рядом со свекровью и опять ушла вперед. Когда свернули на проселочную к дому Хибрадзе, Мака почувство-

вала, что она уменьшилась в росте, сделалась ниже. Через несколько шагов она догадалась, что дорога хоть и подсохла после дождей, влажный грунт не мог удерживать тонких каблучков ее туфель. Гено поднял Гочу на руки и широко шагнул по проселку. Свекрови трудно было идти из-за подагры. А Маку не держала земля, и у нее проваливались каблучки туфель. «Я тяжела земле», — подумала она и вспомнила, что и вчера, возвращаясь из школы, испытала то же чувство; где и когда — не смогла припомнить. Она ясно видела, что затененная дорога не совсем просохла, и из-за этого проваливаются каблучки, но никак не смогла избавиться от мысли, что она тяжела земле...

«Я тяжела земле и не должна ходить по ней».

Гоча тянулся к низким ветвям деревьев над головой отца, срывал листья и пригоршнями кидал их в мать.

«Без меня он не пропадет; напротив, — когда все узнают, какая у него мать, и бросят ему в лицо, вот тогда его будет жалко. Если я сама потеряла гордость, если мой муж жалок и опозорен, я должна пощадить хотя бы сына...»

Гено остановился и оглянулся назад.

— Ну, хватит с тебя! — сказал он Гоче и опустил его на дощатый мостик перед калиткой.

«Пришли!» Мака через ограду заглянула во двор. На затененной фруктовыми деревьями зеленой траве возле дома стояла светло-коричневая «Победа». «Я скажу Тхавадзе, чтобы он отстал от меня или я покончу с собой...»

К калитке со счастливой улыбкой, с распростертыми объятиями бежала Марго.

«Ох, Марго, Марго... Как я тебе завидую... Если б ты только знала...»

На балконе несколько мужчин играли в нарды, но Тхавадзе среди них не было. Пока Марго добежала до калитки, из дому вышла Мери, тоже бесконечно счастливая и радостная.

«И она счастлива, — думала Мака, входя во двор. — Нет на свете человека несчастнее меня... Нет на свете такого человека...»

Среди гостей Тхавадзе не оказалось. Это в первый раз заставило задуматься о его благородстве. Она даже повеселела ненадолго от того, что хотя бы в эту ночь избежала невыносимой лжи и отворачивания к себе. «Тхава-

дзе не только страстная машина»,— подумала она, и ей стало чуточку легче.

Марго и Мери наперебой старались сделать Маке приятное. Больная свекровь Марго, укачав беспокойных близнецов, выходила из комнаты, шаркая шлепанцами, отыскивала среди гостей Маку, брала ее руки в свои опухшие ладони и с удивительной для отечных пальцев нежностью ласкала их. Это была благодарность за то, что видела в своем доме веселых гостей и счастливые лица Марго и Мери.

— Поможет тебе бог, дочка, поможет бог...— тихо нашептывала она.

Джаба Хибрадзе попросил у тамады разрешения на особый, отдельный тост, взял в одну руку стакан с вином, другую сжал в кулак и сказал:

— Мака Лежава, знай, что Джаба — твой брат!— Почему-то он придавал особое значение этому слову, строго оглядел сидящих за столом и добавил:— Я очень уважаю тебя!

Мака поняла, что это он говорил для Бичико: мол, благодари сестру за то, что все так хорошо обошлось. Бичико было взъерепенился и засопел, раздувая ноздри, но потом унялся и сдержанно и даже с определенным достоинством произнес свой тост.

«Это влияние Мери,— подумала Мака.— У нее получается само собой, от доброты и любви». Тут она столкнулась глазами с мужем. «Ты не заслужила все эти слова?» — спрашивал его взгляд, и он отравил ей весь вечер.

Вскоре она сказала уставшей, вышла из-за стола в комнату, где спали близнецы, и, не раздеваясь, прилегла на кровать.

«Я нагло плюю им всем в лицо. Никто не знает, что я изменяю мужу... Я обманываю не только их, но и себя. Я любовница человека, которого ненавижу... и я не пожалею теперь, если возненавижу мужа. Я тяжела земле...»

Ветер на дворе посвежел, и вскоре под окнами вокруг дома захлюпал дождик. Странная и страшная мысль пришла Маке в голову: что, если размякшая земля не удержит и поглотит ее.

На минуту оторвавшись от дел, вбежала встревоженная Марго:

— Родная моя, что случилось, не заболела ли ты? — Ее искренняя взволнованность на этот раз показалась Маке чрезмерной, даже наигранной, и довольно грубо она попросила оставить ее одну.

Марго ушла, скрывая обиду.

— Как бы девчонки мои не проснулись — не дадут тебе покоя, — сказала она, выходя из комнаты.

Не прошло и пяти минут, как появилась Мери. Неловко, на цыпочках подошла она к Маке, присела на кровать и положила руку на ее ладонь.

— Дождь пошел, — шепотом сказала она.

«Тхавадзе одолжил свою машину Бичико, чтобы я увидела ее и подумала: он мог приехать, но не сделал этого, не поставил меня в дурацкое положение. Если ночью будет дождь, завтра ему не удастся увидеть меня. Хоть один день я смогу идти по улице, не озираясь по сторонам и не дрожа».

— Отец очень огорчен: неужели Мака не может выкроить время и приехать, — сказала Мери с виноватой улыбкой, словно спрашивающей: может быть, тебе не до меня?

«Отец... — вспомнила Мака. — Как я переволновалась из-за него, а теперь даже не вспоминаю...»

— Бедный отец! — проговорила она и почувствовала слезы на глазах. «Я все время плачу, как ребенок!»

— Может быть, когда начнутся капикулы...

— Мери, погаси, пожалуйста, свет, не хочу, чтобы вошел кто-нибудь.

— Хорошо, — Мери повернула выключатель и вернулась на прежнее место.

— Как он сейчас?

— Лучше, Мака...

«Все-таки она увидела или почувствовала, что я плачу; надо как-нибудь сдержаться», — подумала Мака, но в комнате было темно, и потому она не смогла удержать слез.

— Не знаю, Мери, не знаю, удастся ли...

— Если найдешь время...

— Не знаю.

В ту ночь дождь скоро прекратился.

Мака почему-то решила, что утром Джумбер явится за своей машиной, и поздно ночью, когда Марго, свернувшись калачиком, устраивалась у нее в ногах, она вдруг вскочила, — ей показалось, что приехал Тхавадзе.

Утром ни свет ни заря она отправилась в обратный путь и, вернувшись домой, не выходила целый день.

В понедельник пошла в школу, и тут же появился Джумбер. Из страха, что он увезет ее и не отпустит до ночи, она, вся дрожа и негодуя на себя, лишь сумела крикнуть: — Не сегодня, только не сегодня! — и машина уехала, не останавливаясь.

«Послушался,—говорила она себе, шагая по улице.— Наверное, когда я чего-нибудь очень хочу, он слушается... А может, я недостаточно хочу, чтобы он оставил меня в покое, и потому-то он и не отстаёт?»

Через два дня, приближаясь к школе, она ясно ощутила, что, когда прозвенит звонок с уроков, у нее закружится голова или она упадет в обморок, и вернулась назад.

Но, вернувшись и запершись в комнате, взбунтовалась против себя: «Что за выдумки! Никакого обморока с тобою бы не случилось! Просто, увидев его, ты махнула бы рукой: все равно он сильнее и добьется своего — и села бы в машину...»

До прихода Гено она не вставала с постели, а вечером попросила сводить ее к врачу. Врач равнодушно выслушал всю ее ложь — головные боли, сердцебиение, бессонница и прочее — и на длинном листке бумаги бегом накатал рецепт.

«Еще один обман. Интересно, до чего я докачусь так? — думала она, возвращаясь домой рядом с мужем.— Гено чувствует, что я лгу, но еще надеется на мою порядочность. Если можно простить, твоя совесть простит тебя... — вот что означает его молчание. Если можно простить, пусть простит твоя совесть,— повторяла она и, как в субботнюю ночь, твердила в горячке: «Я тяжела земле»,— так на этот раз вцепилась в эти слова, словно в последнюю надежду: если можно простить, моя совесть простит меня».

В пятницу с утра она решила: вот съезжу повидать отца, там зайду к Нуце и выцарапаю ей глаза — как навязала мне его, пусть так и развязывает!

Так она словно обнадежила себя, смирилась на день,— сегодня встречи не избежать,— и, собираясь на работу, сказала свекрови: «У моей приятельницы Элико заболел грудной ребенок, она, бедняжка, неопытная, волнуется, так я после работы зайду к ней и, может быть, запоздаю».

После уроков она нарочно отделилась от всех попутчиков и попутчиц, и, когда машина Тхавадзе стремительно и юрко выбиралась из городка, Мака поняла, что раздвоилась, отделилась от себя и сделалась врагом себе. В ужасе она поверила, что кто-то в ней принял сторону Тхавадзе и отныне эта ее половина еще больше будет тяготить ее совесть, еще больше запутает пути-дороги и лишит последней надежды на спасение.

В этот вечер Тхавадзе поверил, что Мака окончательно покорила ему.

Редактор предупредил машинистку, чтобы она никого не впускала без разрешения, закрыл дверь кабинета и быстрыми мелкими шагами направился к столу.

«Я не позволю ему говорить ни о чем, кроме служебных дел», — хмурясь, подумал Гено.

По пути редактор наткнулся на створки распахнутого окна, тут же повернулся и сел возле Гено на шаткий диван с расслабленными пружинами.

«Раз он вышел из-за стола, значит, хочет говорить неофициально, по душам... О чем? Что он может знать? Я не позволю ему говорить о моих личных делах...»

— Гено Порфирийч!

— Вы хотите что-нибудь сообщить мне?

— Нет, Гено, что нового я могу вам сообщить?

«Как его понимать? Что это уже не новость?..»

— Если разговор не касается моей работы...

— Сейчас я все скажу... Мой дорогой, ни для кого не секрет, что вы хороший, талантливый журналист... вообще способный человек... Я надеюсь, вы доверяете мне?

Гено промолчал.

— А товарищи мне доверяют, — словно с укором сказал редактор и, опять вскочив с дивана, суетливо прошелся по кабинету. — Гено Порфирийч, я давно работаю в прессе, я знаю, что такое журналистика. Мои статьи печатались в «Коммунисти»...

«Ах, видимо, речь идет о моем обзоре, напечатанном в воскресенье, — с облегчением подумал Гено. — Да и что он мог знать? Что случилось такого, чтобы он узнал?..»

— Говорите прямо, без обиняков, Ираклий Поликарпович! — прервал он редактора.

— Прямо, говоришь?

— Да!

— Я вас уважаю, Гено...

— Я знаю это...

— И скажу вам прямо: вам не хватает времени для нас. У вас свои планы, свои замыслы. Вы пишете...

Гено сделал движение, собираясь возразить, но передумал... «Раз это все, что он имеет сказать, не стану по пустякам ссориться с ним, я и вправду последнее время плохо работаю».

— Что вы делаете дома, меня не касается. Но вы наш сотрудник. Поймите меня правильно...

— Я вас понял,— Гено встал.— Понял и учту ваши слова,— он не хотел больше продолжать этот разговор.

Ираклий Поликарпович, волнуясь, нагнал его, взял под руку.

— Главный здесь пока я, и я хочу, чтобы наша газета была хорошей. А для этого сотрудники должны отдавать ей все силы. Когда вы станете редактором, вы решите этот вопрос по-своему. А мой сотрудник должен работать у меня!

«Обрадовался, что я уступил и не стал спорить. Почему я уступил?»

«Почему я уступил? — повторил он, садясь к своему столу.— Он неправ, он просто готов лопнуть от зависти, потому что меня часто печатают республиканские газеты...»

Вошел Шакро и с ним сутулый долговязый мужчина с красным обветренным лицом под редкой щетиной. Гено узнал его: этот человек уже раза три был в редакции — жалуется на председателя колхоза. Но жалоба у него странная: жена его работает счетоводом в правлении, и он ревнует ее, а доказательства — курам на смех: до женщин, говорит, председатель большой охотник: замужних колхозниц с толку сбивает. Спрашиваешь, кого именно,— молчит.

На этот раз Шакро, чтобы отделаться, сказал ему: ты докажи свои обвинения. Тот опустил голову и засмеялся. В этом смехе Гено увидел боль униженного, беспомощного человека и подумал: он знает, что в селе поговаривают о его жене, любит ее и не верит слухам, но ревность сосет его душу.

Гено почему-то хорошо понимал стоящего перед ним мужчину, и ему стали противны его убогие слова и

смешок. Он предупредил Шакро, что уходит в типографию, и вышел.

«Сотни людей ходят к нам с жалобами, что же именно этого пелегка сегодня занесла?»

На улице стояла чудесная солнечная погода, но она не исправила настроения Гено.

«Он ищет доказательств и в то же время боится их. Он старается избавиться от председателя в надежде, что вместе с ним избавится и от своих подозрений, но не знает, что теперь они навсегда с ним. Если женщина захочет, она найдет себе любовника... Может быть, он никогда не любил жены, как сейчас, или не знал, что любит. Дети... у него их двое — мальчик и девочка, семья, хозяйство, дом, выстроенный своими руками, — не хватает сил разом разрушить все это. Ждет доказательств, а если их выложишь перед ним, закроет глаза, потому что не хочет их видеть, потому что не может пнуть сапогом и разрушить все то, что до сих пор возводил по кирпичику, все, что называется его семьей, его домом, его радостью. Вот он и ходит с жалобой в редакцию, а может быть, и в райком, и еще выше, и обманывает себя, что этим мстит. За что мстит? За то, что он любовник его жены? Но разве за это можно чем-нибудь отомстить? Да ведь он еще не знает, он только подозревает, он мстит за подозрение...»

Липовая аллея скоро кончилась. Он свернул в сторону и пошел в гору. Среди редких нестарых елей петляла широкая тропа.

Гено знаком с председателем, о котором говорит жалобщик, но жену жалобщика он что-то не припомнит. Да и откуда? Еще никогда не лезла ему в голову такая муть, как подозрительная жена какого-то кляузника...

А Мака что? Что с ней стряслось в поезде? К ней пристали, она оскорбилась, а те для страха пригрозили, или вообще... Все-таки что же там произошло?

Мака явно напугана. Последние дни она как-то надломилась, словно совесть ее грызет. Она неправа перед собой? С того дня — молчание, словно они оба забыли кошмарное утро на вокзале и разговор у автобусной остановки. Но в том-то и дело, что они назубок помнят его. Они избегают друг друга; даже о деле, даже о чем-нибудь обязательном стараются говорить походя, покороче, чтобы ненароком не свернуть туда, к той ночи и тому утру... Почему бы Маке не рассказать все чисто-

сердечно? И почему Гено не расспросить ее подробно? Если Мака не сказала, значит, она не могла сказать, что произошло в поезде. Значит, она знает, что муж не простит ее, и потому предпочитает молчать? Замкнулась и мучается. Как же Гено настаивать на признании, если она сама не может простить себя. Вырвать признание, а потом оттолкнуть? Мака, если дойдет до этого, может и солгать, но хочет ли Гено обмануться и, как страус, спрятаться под крыло?.. Пусть лучше Мака, которой одной все известно, сама решит, виновата ли она. Но если я не доверяю ей, я буду сомневаться и после ее признания.

«Уж не ищу ли я тоже доказательств? — спросил он себя, но тут же возмутился: — Да нет, при чем тут «то-же»! Совсем рехнулся! Ну, а Мака?.. Все-таки я должен знать правду».

В типографии в корректорской сидела одна Тебро. Она так внимательно читала длинные листы гранок, что даже не заметила появления Гено.

— Где Циала?

Тебро подняла голову и вспыхнула.

— Ее вызвал редактор.

«Наверное, из-за вчерашней ошибки, — вспомнил Гено. — Сперва со мной поговорил, теперь принялся за них — вводит в режим...»

— А тебя гроза миновала?

— Да. Наверное, он ее ругает за вчерашнее.

— Сегодня я дежурный.

— Я знаю.

— Сегодня должно быть без ошибок.

Тебро опустила голову и улыбнулась чему-то.

— Чему ты улыбаешься?

Тебро пожала плечами.

— Не знаю...

— Ты в самом деле похожа на влюбленную!

— Чем?

— Хорошеешь день ото дня.

— Не говори так!

«Почувствовала, что мне не до нее, и обиделась».

— Почему же? Я уверен, что ты можешь очень нравиться.

— Тем, кто не знает моего прошлого...

— Нет.

— Кому же еще?

— Ты всех избегаешь, Тебро. Неужели Циала права?

— Да никого я не люблю.

— Постарайся полюбить, полюбить по-настоящему. Тебро закрыла лицо руками.

— А потом скажи ему все... Он простит тебя. Хотя бы за твою правду.

«Поучаю», — подумал Гено, встал недовольный собой и вышел в типографию. Первая страница уже должна была поспеть.

«Устраиваю чужие дела, а в своих не разберусь. Об этой девушке я не говорил с Макой. Может быть, до нее дошло, что мы гуляли с ней в пригороде, а однажды я был у нее на пирушке. В ту ночь, прощаясь, я целовал ее в подъезде. Черт его знает, городок весь как на ладони, каждый второй мой знакомый, кто-нибудь мог увидеть и сказать...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Гено решил подробно поговорить с женой о Тебро, рассказать, как он встретил ее, когда Мака была в Ианиси, как Циала попросила его помочь сбившейся с пути женщине; хотел объяснить, что люди проглядели хорошего человека. Он не собирался скрывать даже того, что был у нее на вечеринке.

«Я все скажу, — думал он. — Если ей в самом деле что-нибудь известно, она увидит разницу между тем, что было в действительности, и тем, как ей передали».

Мака весьма равнодушно выслушала историю какой-то бездомной толстушки, и Гено понял, что начал ее потому, что хотел сам оказаться причиной размолвки. Но это было не так. Даже напротив: если б он досказал историю до конца, Маке, наверно, понравилось бы его поведение, кроме объятий и поцелуев в подъезде, разумеется.

Гено взорвался: значит, она ничего не знает о Тебро и не это причина ее мучений.

— Тебе говорят о судьбе человека, а ты даже не хочешь слушать!

— А что интересного в этой судьбе? — проговорила Мака. Она совсем не понимала волнения мужа.

— Я рассказал не для того, чтобы развлечь тебя!

Мака решила, что прослушала что-то.

— Ты же сказал, что она разведенная.

— Разве о разведенных не говорят?

— Нет, Гено, я совсем не это имела в виду. А когда у нее был муж?

— Что, когда у нее был муж?

— Она порядочно вела себя тогда?

— Откуда мне знать! — Гено махнул рукой и выбежал из комнаты, и только тогда до Маки дошло, что в рассказе мужа главным была не судьба девушки, а его роль в их отношениях. Она поняла это, но поздно, и ей опять приходилось изворачиваться, лгать, на этот раз изображая тревогу и ревность: если этой особе нужна была помощь, ты мог устроить ее на работу, но зачем же ночью шататься с ней за городом в обнимку и слушать ее сомнительные признания?!

Мака промолчала. «Гено исповедался, чтобы услышать в ответ исповедь, — подумала она и решила: — Как только начнутся каникулы, заберу Гочу и поеду к отцу. Может быть, тогда Гено и вправду сойдется с той...» Но тут же ужаснулась. Это было то самое, что зародилось в ней в пятницу утром и что она ощутила, когда машина Тхавадзе стремительно и юрко выбиралась из городка: вражда с самою собой. Она тут же передумала: «Я никогда не поеду к родным!»

Гено в последнее время не работал дома, забросил книгу, ничего не писал, словно на все махнул рукой.

Ему были дороги семья, сын, свое дело.

Так не могло долго продолжаться.

Как только начались каникулы, Мака настойчиво убеждала себя: «Ты должна уехать, убраться отсюда, тебе должен изменить обманутый тобой муж; это не облегчит твоей вины, но пусть хоть не будут такими жалкими доверившиеся тебе люди. Уйди, убирайся! Там тебе не придется столько лгать. Там ты хотя бы не будешь спать рядом с мужем после свиданий с Тхавадзе. И не бери с собой сына. Сын должен привыкнуть к тому, что тебя нет. Уходи, убирайся отсюда». Она знала, что в конечном счете так и поступит, но откладывала, тянула, медлила. «Уж не навсегда ли я уезжаю?» — спрашивала она у стен, у деревьев, высаженных собственными руками.

В один из бестолковых мучительных дней Мака услышала мельком, как Гено сказал матери: видел вчера директора завода, на котором работает Бичико, он совсем здоров.

«При мне ни словом не обмолвился!» — вдруг испугалась Мака и в тот же день засобиравалась в дорогу: отцу предстояла вторая операция. Наказала домашним: сколько бы Гоча ни капризничал, не обращайтесь внимания — не такой уж он маленький, чтоб не прожить без мамы. Вражда с собой усиливалась. Уезжает и оставляет мужа какой-то уличной девке, отрывает от сердца сына, чтобы потом ночами в тоске не сомкнуть глаз, бросает дом и едет к брату, который через день-другой, пьяный или трезвый (какая разница), гаркнет: чего навязалась на мою голову, и без тебя забот полон рот; вроде хотела повидать Нуцу и рассчитаться с ней, но когда думала об этом, не знала, как можно отомстить несчастной, брошенной и мужем и любовником, бездомной и бездетной женщине. Если Нуца и завидовала ее счастью, разве Мака не завидует теперь всем честным и порядочным людям? Правда, Мака никогда не захочет, чтобы они сделались такими же несчастными, как она, но и Нуца не опаивала ее и не кидала силой в объятия Тхавадзе. Тхавадзе попросил ее узнать, где Мака, в каком вагоне, и она сказала. Если кто-нибудь спросит у Маки адрес Нуцы, она тоже не станет скрывать...

«Нет, Нуцу я все-таки повидаю», — твердила она, может быть, потому, что Нуца была единственным человеком, который все знал. И еще она хотела увидеть Мери, чтобы почувствовать рядом с ней хоть какое-то облегчение. Она вернется без мужа и без сына туда, откуда уходила чистая, непорочная, с гордо поднятой головой. Она надеялась на то, что там живет Мери, которая любит ее, и если даже узнает все, — простит. Не простит отец, и она сама, никто не простит, кроме Мери. Мери стала для нее очень близкой и необходимой, словно она могла избавить ее от кошмара, спасти, вытащить, извлечь из ада последних недель. Временами Маке верилось, что Мери каким-то чудом вырвет ее из рук Тхавадзе, смое с нее всю грязь, все грехи и вернет все то, что она потеряла.

— Мери, Мери! — твердила она в дороге, и ей так не терпелось увидеть невестку, что, приехав в Ианиси, она согласилась заплатить владельцу частной машины,

сколько тот запросил, только бы поскорее доехать до дому, только бы сердце не разорвалось от этого ожидания.

Отец не сумел выправить накренившуюся калитку, но подвязал ее проволокой, и теперь она не скребла по земле. Войдя во двор, Мака испытала то же чувство, что и на подступах к дому Хибрадзе — каблуки туфель погружались в землю, но здесь сейчас это не удивило ее: конечно, родной земле своего двора она была особенно тяжела.

У калитки она задержалась и, оглядывая траву и ограду, тихо проговорила:

— Как я была счастлива...

Когда? Что она имела в виду? Мака не сказала этого, — по сравнению с сегодняшним днем она, сколько помнит себя, всегда была счастлива.

«Я никого не хочу видеть. Только Мери... Только на нее одну я надеюсь... Ни на свой двор и дом, ни на отца. Я знала, знала заранее, что они не простят меня. Хоть бы никого не было, кроме Мери!»

Она даже думать уже не могла. Стараясь не ступать на каблуки, быстро, словно подкрадываясь, пошла к дому, но, проходя мимо груши, все-таки вспомнила, что здесь стояла ее колыбель и бабушка укачивала ее. Она не могла помнить себя в колыбели, но помнила так ясно, словно это было вчера.

Дверь на веранду была открыта. Дом пуст.

«Они где-то поблизости, — подумала Мака, — Мери не могла уйти далеко».

Она бросила сумку на тахту, скинула туфли, отыскала войлочные шлепанцы. Они почти насквозь протерлись снизу.

«В ту ночь, когда Марго привезла Мери, на мне были эти шлепанцы... Перед пробуждением мне приснился ужасный сон, и так захотелось, любой ценой, чтоб он сразу же сбылся. Этот сон продолжается до сих пор. Скоро ли?»

Отца и невестку Мака увидела в огороде. Они окучивали помидоры. Живот у Мери стал намного заметнее. Отец сутулился больше обычного. Низко наклоняясь, он собирал рассыпавшиеся стебли с матовыми листьями, а Мери подвязывала их пестрыми лоскутками к кольям. Они негромко переговаривались и переходили от одного

куста к другому. Когда свекор опережал Мери, он выпрямлялся, потирая спину, и ждал. А Мери — как ни проста была ее работа, часто выпускала стебли из рук, они разбегались, рассыпались, и тогда свекор возвращался назад и помогал ей.

Мака не пошла в огород. Напротив, она попятилась, стараясь остаться незамеченной. Мери оказалась совсем не той, к кому так спешила Мака в надежде на спасение. Отец и невестка — оба были настолько беспомощны, что Мака невольно вспомнила свою бабушку. Когда Симон ушел на фронт, ей было за восемьдесят, но она, взобравшись на табурет, легко отсекала садовыми ножницами толстые — с большой палец — отводки виноградной лозы. Ревматизм сковал ее позже, после возвращения сына, сковал и посадил у очага, а до этого бабушка делала все — и в огороде, и в винограднике, и по хозяйству, всюду. Отец не был похож на бабушку. Отец и Мери были похожи друг на друга. Они могли только любить — любить тихо, преданно, кротко.

Мака уходила от огорода, как мучимый жаждой, перед которым высох родник.

— Я придумала Мери... — устало проговорила она и опустила на скамью под старой грушей. — Я внушила себе, что она спасет меня, как она — что любит моего брата. Меня никто не спасет... Здесь стояла моя колыбель и бабушка качала меня... Потом, в день свадьбы Мери, тут сидел Тхавадзе... Бабушка пела мингрельскую колыбельную. Она не говорила по-мингрельски, но колыбельную пела только одну. Она знала заговоры против многих болезней и молитвы, берущие за душу. Из-за нее Мака долго верила в бога, и от нее научилась толкованию снов. Она помнила, что бабушка увязывала сны с луной и звездами. Этой премудрости Мака не постигла, но теперь она знает, как сбываются сны, если уж они сбываются.

Может быть, Мака спешила вовсе не к Мери, а к бабушке? Мери она просто придумала, — ведь бабушки не было в живых, а на мертвых надежда плоха. Бабушка похоронила мужа и четырех детей и так оплакивала мертвых, что когда во время войны в село приходила похоронная и в растерзанный двор погибшего, с головы до ног в черном, входила она с скорбным, страшным лицом и сухими глазами — замолкали все, даже родня погибшего...

Наверное, Мака стосковалась по ее колыбельной... Вдруг для бабушки еще раз раскрылось бы небо и Мака вернула бы себе то, что было у нее когда-то, только то, что было,— большего ей не надо!..

Почему Мака никогда не пела своему Гоче грустную мингрельскую песню?

«Я хотя бы раз привезу сюда Гочу, уложу в гамак и спою колыбельную, чтобы он запомнил ее. Там я не смогу ее спеть... Ее нужно петь здесь, в этом дворе, под этой грушей, и тогда она на всю жизнь останется с ним...»

Почему она не пела Гоче, когда он был маленький? Не потому ли, что была счастлива тогда и ей просто не вспомнилась грустная мингрельская колыбельная... Бабушка пела ее своему меньшому, когда умирал старший, и снова меньшому, когда умирал старший, и, наконец, выжившему поскребышу, а потом, когда его призывали в армию и забрали на фронт, когда было голодно, хотелось есть и маленький внук надрывался в плаче без материнского молока, она снова пела грустную колыбельную. Может быть, она пела ее для себя, а Мака не помнила ее, потому что была счастлива. Может быть, она и бабушку вспоминала не часто, когда была счастлива?..

В конце двора показалась Ольга. Она гнала перед собой маленькое стадо индюшат.

— Мама! — Мака не встала с места.

Мать, как при бабушке, каждую весну сажала индейку на яйца, каждую весну было у нее с дюжину индюшат, но к осени обычно не пасчитывалось и трех.

— Доченька! — вскрикнула она, увидев Маку. Подошла к ней, обняла. — Ну, что у вас? Как вы там живете?

— Ничего.

— Как наш Гоча? Как наш маленький?

— Хорошо.

— Гено не смог приехать?

— Не смог.

— Занят все, небось?

— Да, занят.

— Надо было мальчишку привести. Давно я его не видела.

— Да вот не привезла.

— Ну, мы тоже ничего... Дома нет, что ли, никого? Ты только пришла? Я уж давно из дому — индюшонок потерялся. Ну и черт с ним! Что я могу сделать — и так с ног сбилась.

«Бабушка нашла бы,— подумала Мака,— хоть мертвого, хоть в лисьей норе,— но нашла бы...»

— Мери! — крикнула Ольга и, понизив голос, объяснила.— Они где-нибудь здесь, поблизости... Мери!

— Что случилось, мама?

— Вот! В огороде они, куда им еще идти.

«Знает, что и отец с нею. Я не на Мери надеялась, я приехала к бабушке. Мери никому не может помочь. Она может согрешить с Бичико, а потом устроиться и тихо-мирно жить под крылышком моего отца и Марго. Сейчас мне кажется, что она всегда вызывала во мне только жалость».

— Пойдем туда, к огороду. Отец будет рад.

— Нет,— Мака покачала головой и обернулась, услышав возглас Мери:

— Мака приехала!

«Как она обрадовалась! Видно, Бичико все не умирает, и она надеется на меня». Она холодно поцеловала невестку и, взяв ее под руку, повела к дому.

— Отец отстал, Мака... мы с ним помидоры окучивали... — оглядываясь назад, проговорила Мери.

— Да. Как он сейчас?

— Вон он, идет.

— Мака, дочка! — Симон, борясь с волнением, подошел к дочери и прижался к ее плечу.

«Отцу нужна моя любовь, а мне и его жаль. Я уже никого не могу любить! Иначе почему все вокруг кажутся мне жалкими?»

Мака прошла в комнату и легла на кровать, заложив руки за голову. Мери принесла ей свой новый просторный халат.

— Не переоденешься?

— Нет, не хочу.

Живот у Мери стал очень заметен.

«Наверное, раньше она затягивалась. Грешные матери еще в утробе мучают своих детей...» — подумала Мака.

Мери присела возле нее, как в ночь в гостях у Хибрадзе, и опять, ласкаясь, дотронулась до ее руки.

Мака пожалела, что заложила руки под голову и из-за этого не может отстраниться незаметно.

— Ты устала, — печалилась Мери. — Мне так хочется посидеть с тобой, но, может быть, тебе надо отдохнуть?

— Нет.

— Как хорошо, что ты приехала...

— А ты как? — Мака высвободила руку и приложила к животу Мери. Мери обеими руками прижала ее. — Как себя чувствуешь?

— Не знаю...

— Боишься?

Мери кивнула.

«А я не боялась. Наверное, потому, что Гено любил меня. Тогда Гено работал в школе, свободного времени было больше, и он ни на шаг не отходил от меня».

— Большой у меня живот? — спросила Мери и покраснела. — Мне так стыдно перед отцом, что готова сквозь землю провалиться.

«Тебе-то чего стыдиться? — подумала Мака. — Даже если б мой брат не женился на тебе...»

— Говорят, девочку рожу.

— Девочку?

— Да, мама тоже так находит: когда, говорит, Маку носила, живот был намного больше, чем когда Бичико.

«Лучше бы мне совсем не родиться», — опять слезы подступили Маке к глазам, но она сумела сдержаться.

— Ты, наверное, знаешь какие-нибудь приметы.

— У меня был сын.

— Я хочу, чтобы у меня была дочка.

«Я хотела мальчика, потому что Гено так хотел».

— Разве не все равно?

— Нет, я хочу дочку.

«Почему она так настойчиво говорит мне это? — Мака заглянула в глаза Мери. — Может быть, она ненавидит мужа?»

— Почему? Ведь брат хочет мальчика?

— Нет...

«Мери не может ненавидеть, я просто не в своем уме, мне все мерещится». Она не хотела больше продолжать этот разговор, но Мери чего-то ждала от нее, и Мака еще раз почти без интонации спросила:

— Почему?

— Хочу назвать ее Макой, — прошептала Мери.

— А-а, — сказала она и смолкла и, ощущая под ладонью сгусток тепла, с грустной радостью подумала: «В этом дворе опять будет бегать Мака...»

Вот уже сколько дней ничто не радовало ее. И все-таки она сказала:

— Назови лучше именем нашей бабушки...

Мери опять была близка и дорога ей, и она ждала от нее помощи и спасения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Он, наверное, узнал от Бичи, что я приехала»,— думала Мака в ту ночь, когда брат, забежав с работы, сообщил: в район приехал на гастроли театр музыкальной комедии,— переменял рубашку и ушел. «Не сегодня, так завтра он узнает, где я. Но куда же мне еще деваться, куда запропасться! А если взять и уйти отсюда, уехать, бежать туда, где меня никто не знает, работать и жить там? Некоторое время поговорят, но скоро надоест, и забудут. А что потом? Сменить имя, фамилию? Бросить сына, мужа, отца с матерью, расстаться с моим домом, с моей землей, с Макой Лежава? Для чего же тогда жить?.. Значит, Мака Лежава должна исчезнуть, и если я не способна расстаться с жизнью, надо совершить еще один большой обман, но существовать?»

«Голова забита бог знает чем! Иной раз брежу до того, что чувствую, как болят мозги...»

«Здесь Тхавадзе не посмеет преследовать меня. Он достаточно благороден, чтобы не оскорбить ни меня, ни кров моего отца. Если Бичико его сотрудник и подчиненный, так это на службе, а в этом доме он мужчина и мой брат. Нет, я знаю, он ничем меня здесь не унизит. А из дома я ни шагу, даже к Нуце не пойду. Я боюсь встречи с Джумбером; в этом человеке есть сила, которая подавляет и покоряет меня, и я не могу сопротивляться. Поэтому ли, что он давно любит меня, или я постепенно все глубже погружаюсь в омут и иду ко дну? Больше всего я боюсь, как бы мне самой не захотелось увидаться с ним... Когда он собирается что-то сказать, мне всегда кажется, что он скажет: «Ты отдалась мне по своей воле...» Он прав. Я пленница своих страстей. Я не должна с ним встречаться, не то — я знаю — привыкну к своему положению...»

«Не должна... Пусть оставит меня в покое, он же добился своего. Пусть оставит меня в покое и забудет все. Если мне суждено жить, мне хватит и этой муки и этого стыда, с избытком хватит по гроб. Он оказался настоящим мужчиной, добился своего. Будь я на его месте, я бы поступила точно так же — никому не простила бы

тех оскорблений, что он натерпелся от меня. Теперь мне только и остается гордиться тем, что Тхавадзе когда-то бегал за мной по пятам, а я даже не помнила о нем, как не помнит хозяин о бегущей за ним собачонке».

— Довольно! Пусть оставит меня в покое. Не могу...

И все-таки в эту ночь она заснула раньше, чем во все предыдущие. Сквозь сон услышала, как вернулся Бичико, но не обратила внимания. Утром она лежала в постели, пока брат не ушел на работу, и каждый раз, когда Мери заглядывала к ней, прикидывалась спящей.

Встала, и какой-то страх сразу же поселился в ней. Она чувствовала: что-то должно было случиться в этот день, что-то назревало. Судьба погоняла ее перед собой, не давая даже короткой передышки, и Мака уже не надеялась на нее. Каждая ее встреча с Джумбером была похожа на первую — сильными страстями и неудовлетворенностью. Если б эта страсть обратилась во зло, она совершила бы неслыханные преступления. Тхавадзе сейчас искал Маку, и никто на свете не знал, что он мог натворить. Ах, хоть бы он не промахнулся тогда и попал в сердце! Даже если б узнали, из-за кого он застрелился, что ей: честная жена честного мужа, у Тхавадзе не вышло ничего, и он покончил с собой... В каком-то смысле даже слава.

Нет, Тхавадзе так просто не уймется. Сейчас он носится на своей машине по улицам и проселкам и ищет ее.

Сегодня что-то будет...

Солнце далеко перевалило за полдень, когда Мака увидела в окно подошедшую к калитке женщину, и хоть не сразу узнала ее, догадалась, что это Нуца.

«Пока он собирается встречаться тайно и шлет мне посыльных: Нуце все известно, она была близка к нашей семье, навещала отца в больнице, — идеальная кандидатура. Что удивительного в том, что встретились старые подруги...»

Мери спустилась вниз к свекрови и сказала, что у калитки стоит незнакомая гостья.

Мать не узнала Нуцы до тех пор, пока та не назвала себя.

Мака не показалась из дому, даже когда Нуца вошла во двор. «Если б в ту ночь она не сообщила Джумберу

о моем отъезде и не купила бы билета, он бы ничего не добился. Она завидовала тому, что у меня семья и что Тхавадзе стрелялся из-за меня. Теперь я завидую ей...»

Мери подождала, пока Мака выйдет навстречу госте, но, не дождавшись, решила, что они не знакомы, и вышла сама.

Увидев на лестнице незнакомую девушку, Нуца остановилась и Мака услышала ее огорченный голос:

— Неужели не застала?.. Уехала уже?

— Нет, дочка, дома она, — успокоила ее Ольга.

— А это ваша невестка? — спросила Нуца, глядя на Мери.

— Да, милая, жена моего Бичико.

— Чудесная девушка! Да разве Мака выбрала бы плохую невестку?! А как дядя Симон? Я, собственно, зашла его проведать...

— Ничего, дочка, спасибо... Мери, сходи-ка, я ему поручила гнездо для наседки сплести.

«Мама никогда не вспомнила бы о гнезде, верно, отцу самому захотелось поработать, но она всегда так, — «я поручила», ей тоже надо свою гордыню потешить», — подумала Мака, выходя на веранду и прислушиваясь к голосам во дворе. У Нуцы в руках были какие-то свертки. — Верно, он купил, раз послал «проведать больного». Я должна радоваться, что он так тщательно скрывает все. Нуца и сейчас завидует мне, а я не то что мстить, я даже видеть ее не хочу. Я вообще больше ничего не хочу...»

— Дядя Симон, дорогой! — Нуца торопливо передала свертки Мери и поспешила к Симону, работающему в тени позади дома. — Как вы себя чувствуете? Как здоровье?

— Да вот все не помру никак...

— Ах, что вы, что вы, дядя Симон! Господь с вами!.. Я заходила к вам в больницу сразу после операции. Вам, конечно, не до меня было. Я и после хотела зайти, и Маке не раз обещала, да все не получалось. Такая уж я нескладная — и в тот раз с пустыми руками...

— Что за извинения, дочка!..

— Нет, нет, не утешайте меня, такая уж я несуразная. Дорогой наш дядя Симон, помните, как одно время я повадилась ходить к вам после школы? Про родной дом забывала...

— Мака, где ты там? Выгляни, подруга твоя пришла! Даже после этих слов Мака с трудом заставила себя шагнуть к двери.

— Теперь все это далеко, все прошло...— Нуца увидела появившуюся на лестнице Маку.— Мака, золотко мое, спала ты, что ли? Я же говорю — все невпопад! Разбудила тебя?

«Мери удивлена,— подумала Мака, проходя по лестнице мимо невестки.— То ли еще будет!»

— Мака, как ты? Переменилась... или мне кажется? Как же это я не сумела ни разу повидать тебя с тех пор?

«Просто Джумберу Тхавадзе незачем было тебя присылать,— Мака почти с отвращением взглянула на гостью.— А теперь я нужна ему, и сразу у Нуцы угрызения совести, и она рысцой, с гостинцами в охапку бежит к моему отцу».

— Что ж вы на лестнице стоите, чудачки? — развела руками Ольга. — Идите в дом!

«Даже моя мать поучает меня...» — Мака потрянула головой и пошла перед Нуцей вверх по лестнице.

Нуца не притронулась ни к сладостям, ни к фруктам на столе, только разок пригубила рюмку с настойкой и все повторяла: не беспокойтесь! не беспокойтесь! — и отмахивалась обеими руками.

— Ты и в самом деле очень переменилась, Мака,— сказала она, когда Мери наконец перестала предлагать угощения.

— Да нет, с чего бы мне меняться...— неохотно ответила Мака. Она и этого не хотела говорить и больше для невестки, чем для Нуцы, добавила: — Лето уже, жарко, а в жару я всегда чувствую себя хуже.

— Да, жара... Почему не зашла ко мне ни разу? Ты же знаешь, как я была бы рада... И ты меня забыла!..

Маку сперва задело это открытое «почему не зашла», но Нуца с такой болью сказала: «И ты меня забыла...», что она подумала: наверное, Тхавадзе пользуется ее добротой, а не завистью.

— Нет, Нуца...

— Ах, видно, совсем плохи мои дела! Никому-то я не нужна...

— Нуца! — Мака взглянула в глаза подруге и вдруг заплакала.

— Не при посторонних говорить об этом, но сама удивляюсь, сколько я терпела своего мужа,— продолжала Нуца,— даже теперь и то лучше, чем с ним.

«И все-таки она жалеет о прошлом... Никому не нужна...»

— Брось ты, Мака! Перестань! Неужели из-за меня плачешь?

Мери вышла из комнаты.

«Моя бедненькая невестка опять удивлена. Сперва я не вышла к Нуце, теперь плачу о ее прошлом и ее одиночестве...»

— Хотела покончить с собой,— сказала Нуца, когда дверь за Мери захлопнулась,— да нелегко это — не смогла.

Мака промолчала, но ее очень удивило то, что Нуце приходила в голову мысль о самоубийстве.

— Ну, пойду я, Мака, родная, только расстроила тебя...

«Она не стала бы говорить так, если б все знала. Я любила Нуцу больше других подруг за ее доброту и честность. Это я бессердечна и лжива, и потому мне все кажутся такими...»

— Раз дяде Симону теперь лучше, заходи ко мне хоть изредка. Никого у меня не осталось, кроме сестры да тебя...

«Она для Тхавадзе приглашает меня? Спросила ли она, как мой муж и ребенок? При Мери спросила...»

— Если останусь — зайду.

— Всегда ты так — времени в обрез. Разве ты можешь без сына?

«Она ничего не знает. Джумбер не говорил ей. Но ведь она проводила меня в ту ночь на вокзал...»

— Я выйду с тобой, Нуца.

— Если хочешь...

Мака переоделась и вместе с подругой спустилась вниз.

Нуца распрощалась со всеми у лестницы, не позволила проводить себя даже до калитки.

На улице, по ту сторону нагретой асфальтовой дороги, по берегу оврага переваливались с боку на бок белые гуси.

— Джумбера не видела? — неожиданно спросила Мака и в упор посмотрела на Нуцу.

— Как же, видела! Даже сегодня.

— И что?

— А то, что правду мне сказал: не умеете вы, говорит, дружить; твоя подружка вон уже второй день как приехала, а тебе даже не дала знать.

— Сам-то откуда узнал?

— Я думаю, от твоего брата, Бичи же у него работает.

— Да, да,— поспешно согласилась Мака.— «Ей ничего не известно».

— Хороший он все-таки парень. Я ему прямо сказала: не знаю, говорю, что делать, перед Макой не стыдно — своя, но к больному человеку не пойдешь с пустыми руками, а на мою зарплату... Даже представить себе не можешь, Мака... У меня племянники... ты, наверное, слышала, мой зять попал в аварию, инвалид теперь, а сестра с четырьмя малышами на руках, где уж ей работать! Я знаю, ты поймешь, но перед твоими стариками неловко... Раньше, в школе еще, сколько раз мы их беспокоили, с утра до ночи на вашем дворе... Ах, какое было время! А я никогда им ничего не дарила. Правда неловко, честное слово!.. А Джумберу только скажи — купил мне всего, дай ему бог побольше. Это, говорит, я тебе в долг даю,— пошутил. Знаю, что не возьмет, но с зарплаты все-таки должна отдать. Не родня он мне, никто, зачем мне обязанной быть?!

— Он на машине тебя подвез?

— Представь себе — ни за что!.. Я тоже хороша, набралась наглости и говорю: куда мне теперь все это тащить, раз уж нагрузил — подвези!

— И он не подвез?

— Нет. Что, говорит, люди скажут? Опять за Макой Лежава бежит!..

— А из-за чего же он стрелялся?

— Я тоже ему сказала: из-за чего же ты тогда стрелялся? А он: «Не только Мака была причиной». Что же ты мне, говорю, тогда туману напустил? «Я, говорит, всю жизнь люблю ее, и хотел увидеть, думал, поможет мне это...» И спрашивает: «Зачем ты сообщила в ту ночь, что проводила ее на вокзал?» Я удивилась: сам же просил. А он: лучше б ты обманула меня, обманула бы, что она здесь и ждет, пока я оправлюсь, я бы хоть надеялся. Не знаешь, говорит, ты, что значит для умирающего надежда. А после твоих слов в ту ночь, не помню даже как, сорвался я и убежал из больницы. Ничего не пом-

ню, помню только, что свалился где-то в лесу, под деревом, и умереть хотел... Я как напустилась на него: у женщины, говорю, муж есть и ребенок, а ты что? А он: муж, говорит, и у тебя был. Что же, по-твоему, мой муж и ее муж — одно и то же?

— Хорошо, Нуца, хорошо, милая, хватит!

Мака прислонилась к акации, закрыла глаза и с минуту не слышала ничего, кроме побрякивания гусей в овраге.

Когда подъехал расшатанный дребезжащий автобус, она от всей души поцеловала Нуцу. И когда машина скрылась из виду, еще не скоро поплелась домой, окончательно убежденная, что стала ничтожеством.

Незадолго до рассвета запели птицы. Наверное, это жаворонок с упругим звуком крыльев взлетал все выше и выше, и его голос мешался со щебетом, гомоном и свистом. Серая длиннохвостая птичка села на ветку черешни перед окном и залилась, защелкала напряженно, в полный голос вызывая солнце. Она перепрыгивала с ветки на ветку, взмахивала крыльями, перышки на ее шейке становились дыбом, она улетала, снова возвращалась и щелкала, напряженно и страстно.

«Всю эту ночь Тхавадзе не спал,—думала Мака, ощущая на лице движение утреннего воздуха.— Всю ночь искал меня и много раз проезжал мимо нашего дома. Если б я вышла на дорогу, мне почти не пришлось бы ждать. Он надеялся, что я провожу Нуцу до городка и там «случайно» встречу с ним. Он сумел убедить Нуцу, что любит меня... любит, и только... Нуца не поверила бы ему, если б не надеялась на меня. «Я горжусь тобой»,— сказала она мне однажды. Она через меня, вернее, мною мстит мужчинам: одному, с которым ей не удалось ужиться, и другому, который, как ей казалось, любил ее, но бросил. Все, кто только знает меня, обмануты мною и облиты грязью с головы до ног... С головы до ног...»

Не прошло и получаса после ухода Бичико на работу, как прибежала заплаканная Мери и бросилась на кровать рядом с золовкой. Мака приласкала ее, словно ребенка.

— Что случилось, Мери? Успокойся. Тебе нельзя нервничать.

— Ты спасла меня, Мака, ты одна! Иначе мне не было б жизни...

— Об этом давно пора забыть.

— Ох, Мака, Мака! Если б ты знала...

— Что случилось? Объясни!

— Вчера ночью... — слезы мешали Мери говорить. — Вчера, после кино, за соседской девчонкой, той, что живет пониже нас, в переулке... она еще косит немного...

— Ее зовут Цабуния.

— Да, да, за Цабунией после кино увязался какой-то парень...

— И что?

— Все ребята и девушки вернулись по домам, а ее все не было, и мать пошла искать.

— Ну...

— Вышла на дорогу и напоролась на них. Целовал он ее.

— Кто?

— Не знаю... тот, что шел с нею из кино. Ты не слышала ночью шума и криков?

— Кажется, что-то было. Но при чем здесь ты?

— А утром сегодня мама говорит: развратился мир, оподлился, нынешнюю женщину на порог нельзя пускать, а девок, что родятся, хоть прямо в люльке убивай.

— Ладно, Мери, будет... — остановила ее Мака. — Ну и пусть говорит!

— Отца не было дома, когда мама вернулась от соседей, он в винограднике работал. Я убежала. Знала, что мама не только Цабунию имела в виду. Побежала к нему в виноградник, думаю, помогу заодно. Рассказала: так, мол, и так, такая вышла история с соседской девчонкой. Думала, он посмеется, пошутит...

— А он что? — Мака отвела взгляд и посмотрела в окно.

— А он как вспыхнул, покраснел весь, задрожал. Ах, она сукина дочь, кричит, убить ее мало, стерву такую! Всю улицу опозорила...

— Ладно, Мери, успокойся... хватит.

— Нет, Мака, нет! Не простили бы мне! Ни за что не простили бы! Только любовь к тебе, только она заставила их уступить. Твоя чистота спасла меня... Я всегда знала, всегда, а сейчас втройне, какой грех я совершила! Я недостойна смотреть тебе в глаза, Мака...

— Замолчи, Мери! — крикнула Мака.

Мери притихла, но не перестала плакать, и плечи у нее тряслись.

«Да, если б не я, ее не впустили бы в дом.— Мака встала и, глядя на расprostертую на постели невестку, подумала:— И правильно сделали бы!»

Стемнело. Бичико не появлялся.

Мака весь день вела себя так, словно ей безразлично, что делается теперь в доме, но вечером не выдержала и спросила у Мери, по-прежнему ли часто опаздывает Бичико с работы.

— Когда опаздывает, то забегает предупредить,— ответила Мери.

«Она не хочет жаловаться на мужа. Мама тоже не станет»,— и Мака обратилась к отцу:

— Ну, как твой наследник, отец? Привык к дому?

Симон махнул рукой.

— Вроде да, но... временно это все. Видишь, сегодня совсем носа не кажет.

«Сегодня он опять нужен Тхавадзе»,— подумала Мака.

Она решила запереться в комнате и ночью никого не впускать к себе. Она словно видела Тхавадзе — настолько явственно чувствовала, что сегодня он не остановится ни перед чем. Вчера он дал ей понять, что об их встречах ни одна живая душа не знает, даже Нуца...

Мери весь день крутилась около Маки и на ночь не собиралась уходить:

— Посижу подле тебя, пока ты не уснешь.

— Нет, Мери, мне лучше одной... Нездорова я. От отца с матерью скрываю, а нездорова, сердце то из груди выскакивает, то еле бьется. Извело совсем, не хочу...

— Да, Мака, ты не та, что раньше. Я не говорила тебе, но Нуца права — переменялась ты очень.

— Нуца права,— согласилась Мака.— Нуца права... А ты, Мери, помоги мне сегодня: не впускай сюда никого. Скажи, что меня нет или что я заболела. Хотела я Гочу привезти хоть на день... Принеси мне какую-нибудь книжку, Мери, и ступай к отцу. Отец, мне кажется, полюбил тебя, а кого любят, тем, наверное, простят... И, пожалуйста, не впускай никого...

— Я лягу у двери.

Мака улыбнулась грустной улыбкой, какую только и улыбалась она в последнее время.

— Я же не умираю, Мери... Просто хочу побыть одна. Как ты думаешь, Бичи не приведет друзей?

— Не знаю, при мне он только раз приходил с друзьями, с ним был заведующий винохранилищем, некий Уклеба, хромой, пел очень хорошо, и какой-то его тбилисский знакомый, по фамилии Долидзе; Бичи сказал, что они вместе жили в Тбилиси. А что сегодня будет, не знаю...

«Меня мучило даже то, что я не могла писать, как Гено, ты же никогда не будешь знать, чем жив твой муж, но все-таки сохранишь ему верность,— подумала Мака.— Так лучше... Сейчас я совсем его покинула, и, о, хоть бы он променял меня на первую встречную!..»

Было время позднего ужина, и полная луна только-только выкатилась на небо, когда с улицы, медленно приближаясь, донеслось такое стройное и красивое пение, что в первое мгновение Маку бросило в жар. Ни один дом не отказал бы в гостеприимстве столь сладкоголосым гостям, но песня, минув все, приближалась к их калитке. Судя по голосам, там были не только Тхавадзе, Бичико и Уклеба, да и песня не походила на разученную в застолье.

Певцы остановились посреди двора, под старой грушей.

«Тхавадзе напоминает — если я и теперь не выйду, он придет и выведет меня в чем есть, в ночной рубашке! Сон... сон... Когда же конец? Видно, так и должно случиться...» Мака накрыла голову подушкой, прижала ее руками, но пение все-таки слышалось, тише и от этого еще сладостнее, чем прежде. «Вот почему плохо жить в деревянном доме... Открывают шампанское. Он хочет, чтоб я и тосты слышала».

В комнату тихонько прошмыгнула Мери.

— Не включай света!

— Мака, ты прямо ясновидающая!

«Она говорит, как Марго,— с удивлением заметила Мака.— Ну и пусть. Мне что за дело...»

— Откуда ты знала, что они придут?

— Я не знала.

— С ними артисты музкомедии, знакомые Бичи.

— Если спросят, где я, скажи, что пошла к дяде Антону.

— Как ты думаешь, они скоро уйдут, или что-нибудь приготовить?

— Нет, Мери, им от тебя ничего не надо.

— Пьяные?..

— Да, наверное.

Мери вышла и снаружи заперла дверь.

«Как чудесно поют... Я словно забыла все, и опять та же Мери, что была когда-то... Как хорошо поют!.. Как хорошо!..»

— О, господи! — крикнула она и вскочила с постели. «Он был здесь, со мной, и я обнимала его... Кажется, я даже жалею, что и сейчас его нет. Если это так, — я погибла!»

Она подошла к распахнутому окну и подставила лицо и грудь сырому утреннему ветру. Потом, немного успокоившись, опять легла в постель. Единственное, о чем она могла думать, это был сын Гоча. «Почему я не привезла его? Он должен быть со мной в эти дни». Путанно и несвязно она вспоминала мужа. То ей казалось, что после ее отъезда Гено изменяет ей, и она чувствовала глухую боль. Разве я имею на это право? — спрашивала она себя, но боль не проходила. То, напротив, ей казалось, что прямо с работы Гено спешит домой, ласкает скучающего без нее Гочу и утешает его: мама скоро придет. А иногда она думала, что Гено узнал о ее измене и не хочет, чтобы она возвращалась. Он не сердится на сына, когда ребенок спрашивает о матери, но старается отвлечь его. «Он совсем не интересуется, как я, где, что со мной... Я, уезжая, не сказала толком, отцу ли пора вторую операцию делать, навестить ли родных еду, или просто захотелось прокатиться. В последние дни ему открылось что-то, что раньше и в голову не могло прийти: «пусть твоя совесть простит...» Он надеялся на меня, и, наверное, это меня и погубило... Искать опоры в Мери! Никогда не думала, что я настолько беспомощна...»

Весь день она опять ждала чего-то, настолько уставшая, измотанная затянувшимся этим ожиданием, что теперь торопила то, чему все равно суждено было сбыться. С утра до полудня она не показывалась из дому, потом вышла и села в тени под грушей. Мери все время старалась находиться где-нибудь поблизости. Она даже выз-

валась сходить за доктором, но Мака опять заслонилась он нее грустной улыбкой.

Симон плохо себя чувствовал с утра. Мака забыла спросить, что с ним. Единственное, о чем она все время помнила, это: не пора ли вернуться Бичико.

— Не пора ли вернуться Бичи? — спросила она невестку.

— Пока нет, Мака. Сегодня, я думаю, он не задержится... Как хорошо пели вчера ночью!

— Ох...

— Тебе не понравилось?

— Не забудь, что скоро придет Бичи.

— Нет, не беспокойся, я помню.

— Гочу привозите сюда почаще. У нас там двор маленький, здесь хоть побегает вволю...

— Твоего Гочу?

— И прошу тебя, Мери, будь с ним поласковой.

— Конечно, но...

— Я это к тому, что теперь со временем у меня будет хуже... Мама все еще ходит на чай?

— Редко. Сегодня бригадир ее упросил: план, говорит, душит, пара рук дороже золота.

— Да... А раньше все хозяйство было на бабушке... Ты знаешь, ей однажды открылось небо.

— Померещилось, наверное. Она ведь старая была.

— Нет! — Мака с укором взглянула на Мери. — А может быть, и померещилось, уж очень ей хотелось. Ладно, иди... Смотри, не пропусти Бичи.

Мери молча отошла от золовки, и чем дальше отходила она, тем сильнее чувствовала страх и мучительную, почти невыносимую жалость. Она повернулась, незаметно смахивая слезы, поднялась в дом и до прихода Бичико, не отрываясь, смотрела в окно на Маку, и слезы на ее глазах не просыхали.

«На что ей Бичи? За эти дни она и двух слов с ним не сказала, а сегодня все Бичи да Бичи. Хоть бы уж он пришел поскорее, может быть, успокоится... Странно: привозите Гочу почаще и обласкайте его. Я-то знаю, что она не балует ребенка. Что с ней? Что она скрывает? Почему не скажет хотя бы мне? Хоть мне одной... Целый день она сидит там и словно кого-то слушает, словно ждет кого-то. Сперва не выходила из дому, потом вышла одетая, как будто в дорогу, и не возвращается...»

Когда Мери подошла к ней, уже вечерело и сумерки медленно обступали двор.

— Теперь он скоро.

— Да, пора... Где он столько ходит?

— Ты же знаешь, какой он...

— Знаю.

— Кто-кто, а ты не удивишься, если он опоздает.

— Он не должен опоздать.

— Мака...

Мака взяла Мери за руку и посадила рядом с собой.

— У тебя красивые пальцы, Мака.

— А-а?.. Тебе нравятся?

— Ты, наверное, перестала следить за ними. Будто гранат отжимала. Они ужасно грубеют от граната.

— Откуда сейчас гранаты, Мери, что ты...

— Жалко портить такие руки. В этот раз у тебя и кольца нет. А заметно, что ты его никогда не снимала. Видишь, какой след...

— Дома осталось. Сняла и позабыла.

— Ну и ничего! Мне оно всегда бросалось в глаза, ни к чему тебе такое массивное кольцо.

— А вдруг Бичи не придет?

— Он может опоздать, но придет обязательно!

— Ну, а если очень опоздает?

— К этому я уже успела привыкнуть. Вот отец опять нехорош, захворал.

— Да, опять заболел отец...

— Вторую операцию придется делать.

— Придется.

— У меня, наверное, дитя будет на руках...

— Это очень хорошо, Мери.

— Конечно, но... Я хотела бы, чтобы ты была здесь, когда я буду рожать...

— Боишься?

— Боюсь, Мака. Если ты приедешь, мне не будет так страшно.

— Не бойся. Это не страшно. Это совсем не страшно.

Поздно вечером Мака и Мери спустились вниз, к отцу. К вечеру он почувствовал себя лучше. Собирались ужинать, ждали Бичико.

Не прошло и получаса, как у калитки остановилась машина. Кого-то окликнули.

Мака вскочила, настороженная, испуганная, но тут же села на место. «Нехорошо мне», — сказала она, столкнувшись с удивленным взглядом отца и невестки.

Ольга снимала кукурузные лепешки с кеци и очищала их от листьев.

— Мама, выгляни, там кто-то приехал, — сказала Мери, наклоняясь к камину. — А я здесь управляюсь...

— Бичи, наверное.

— Нет, он не стал бы звать.

Ольга вышла, побряхтывая, за дверь, и в ту же минуту послышался ее испуганный крик:

— Мери!.. Скорее, Мери! Выходите! Идите сюда!

За ним последовала сиплая брань.

— Выходите, мать вашу!..

Мери выронила наполовину очищенный от листьев мчади и бросилась к дверям. Симон спустил ноги с тахты и стал шарить, ища туфли.

Мака не шелохнулась.

Бичико еле ворочал языком, но витиевато и похабно ругал кого-то.

— Подрался, — простонал Симон и скинул с ног с трудом найденные башмаки.

— Подрался? — переспросила Мака, но тут услышала свое имя.

— Где Мака? Где моя дорогая сестричка Мака?

«Неужели Тхавадзе избил его?!» Мака шагнула к дверям. Бичико, видно, заметил ее в окне и, толкая и волоча за собой повисших на руках жену и мать, направился к нижней комнате.

— Где моя уважаемая сестричка Мака? — громко крикнул он, подойдя к порогу. — Может быть, она изволит почивать?

«Неужели Тхавадзе сказал ему, что я его любовница?!» — мелькнуло у Маки.

— Сумасшедший, бешеный! — Симон опять лег на тахту и отвернулся к стене.

Мака подняла голову и взглянула в лицо Бичико.

— О-о! Моя сестричка гордо смотрит на меня!..

— Что с тобой, на кого ты похож? — Левый глаз у Бичи совершенно заплыл, а нос сделался похож на охотничий рожок.

— Не нравлюсь? Можешь радоваться! Твой несчастный муженек разрисовал меня! — взревел Бичико. — Твой благоверный!

— Гено?! — вырвалось у Маки, и она почувствовала, как задрожала у нее нижняя губа.

— Геношка надутый... Хоть бы уж мужчина надавал по роже! Так нет! Эта бумажная крыса, а? Что он со мной сделал?.. Той самой рукой, с которой он чернила обсасывает! Той самой рукой меня отделал! А?

— Кто? Гено? — вскрикнула пораженная Ольга и заглянула в лицо сыну. — Господи, господи! Разрази меня гром! Гено, ты говоришь? Я не ослышалась — Гено?

Симон повернулся и взглянул на Маку, словно спрашивая: могло ли случиться такое?

— Мака!.. — Мери подбежала к золовке и обняла ее.

— Геношка — интриган!.. — заорал опять Бичи и раскрытой пятерней хватил по стене.

— За что, сынок? Что ты ему сделал? Гено не стал бы никогда...

— Геношка — подонок!

— За что? Где ты его встретил? Почему сюда не привел?

— Сюда?! Ух, я ему... Что ему здесь делать! Духу его здесь не будет! За версту мой дом заставлю обходить.

— За что? За что? — кричала Ольга и теребила сына. — Что ему надо?

— Откуда я знаю, за что!

— Почему он не пришел к нам? Где ты его нашел?

— Где я нашел!.. Так я всю жизнь и искал его! Дела у меня другого нету! Сам навязался, позвонил, потом приехал на каком-то драндулете и повез меня.

— Куда, сынок?

— Выьем, говорит... Давай, говорю, дорогой, может, человеком надумал стать, всегда пожалуйста... Ух, недоносок... Ух, доходяга несчастный!..

— Раз уж пить захотелось, могли домой приехать!

— Ни в какую! Не согласился. Ты, говорит, наверное, знаешь хорошее место, где можно поесть и выпить. Как же, говорю, конечно, знаю! Я ж не он — забился в бумажную нору, и ни на шаг!..

— А что, почему он домой не захотел?

— Заладил — не сегодня, в другой раз, и давай пить... Пил и пил, доходяга этакий, как лошады!

— Небось ты и обидел его по пьяному делу!.. Ну, разве можно так, сынок. Он же зять нам. Как родного брата обидеть!..

— Чем я его обидел? Богом он обижен, а не мною,

вот что! Пристал в одну душу: скажи да скажи, почему твой директор стрелялся! Откуда я знаю, почему он стрелялся. Да если б и знал, этому интригану все равно не сказал бы!

Маку так и обдало жаром.

— Надо было сказать, сынок.

— Что сказать? Будь он порядочный человек, он бы не так...

— Он же чист оказался, твой начальник. Надо было сказать, что ревизия была...

— В больнице, говорит, навещал его? Ну, навещал. А ему что за дело, этому бумажному червяку?!. А кто еще из ваших навещал?

— Ты бы и ответил, что больше никто. Разве можно из-за этого человека обижать?

— Это он-то человек?! Интриган он, и больше ничего!.. Нет, говорю, никто. А он не верит: говори правду! Я ему: брось ты свои интриги! А он меня дураком обозвал. Дурак ты, говорит, дурак! Я за бутылку, но этого интригана разве проведешь! Знал, что стукну по башке — не пощажу, кинулся, в руки вцепился. Как нарочно, сегодня вино не брало его. Видит, если вырвусь, — убью, и до тех пор бил меня, пока я на ногах держался... Но все равно я ему выпущу кишки! Никуда он не денется!..

Мака осторожно высвободилась из рук Мери, тихо прошла мимо матери и брата и вышла из дому.

Моросил дождь. Мельчайшие капли словно стояли в воздухе, не оседая. Мака поднялась по наружной лестнице. Внизу, после ее ухода, Бичико раскричался громче, но она не прислушивалась к его словам. Ей было все равно, что он скажет. Как и для Гено это было все равно...

Мака прошла на застекленную веранду, оттуда в комнату, оставляя все двери открытыми.

«Гено говорил со мной, а не с Бичико. Он не Бичи избил сегодня. Ни один его удар не попал в Бичи...»

Она сняла туфли, взяла их в руки и вышла через черный ход. Бичико все еще шумел внизу.

Лестница была холодная. Она удивилась тому, что ей вдруг захотелось пройтись босиком. Не надевая туфель, спустилась она по лестнице и направилась к

калитке, всей ступней с наслаждением ощущая траву и землю. За калиткой она сунула мокрые ноги в туфли и, опустив голову, пошла по дороге.

Изредка мимо проносились машины — единственное, что еще можно было различить. Все остальное исчезло, растворилось, погруженное во влажный туман дождя. Мысли свернулись, увяли, сникли.

«Тхавадзе догонит меня. Теперь мое укрытие — железные стенки его машины... Надо идти так, чтобы он меня узнал... Скоро дождь пойдет сильнее, и мне нужно где-то укрыться. Если я простужусь, мне негде лечь в постель. Кто станет ухаживать за мной? Ведь у меня не в порядке миндалины, надо поостеречься, не застудить... Хотя бы до Ианиси дойти, не промокнув... Там где-нибудь укроюсь. Пешком это не так уж близко. Как скоро я устала. В самом начале дороги...»

Фары идущей сзади машины осветили шоссе.

«Тхавадзе нагонит меня, и мы поедem очень быстро. Сейчас ночь, и я не могу идти одна...»

Машина приблизилась, и протяжный, высокого тембра сигнал прервал вялое течение ее мыслей. Машина промчалась совсем рядом.

«Я вышла на середину дороги, надо быть осторожнее... Мой Гоча сейчас сладко спит... Если я долго прохожу под дождем, простужусь, и у меня воспалятся гланды... Я скрывала это, почему-то не хотела их вырезать, мне казалось, что что-то убудет от меня, что я уже не буду «цельная»... Позвоню из почтового отделения...»

Далеко впереди показались окутанные сырым туманом огни уличных фонарей. Дождь усиливался. Мака прибавила шаг. Когда она вошла в городок, улицы были почти пустыни. А в домах всюду светились окна.

«Человеку достаточно одной узкой койки... Голубая железная койка и тюфяк...»

Перед почтой она остановилась. В подъезде толпился народ.

«Ждут, пока пройдет дождь. Что же делать? Я совсем промокла, непременно простужусь, — она быстро взбежала по лестнице. — Что, если у меня нет мелочи... господи, ну, что тебе стоит... Есть, какое счастье... да и пока еще у меня только плечи намокли. Хорошо, что я пошла быстрее, а не тащилась, как вначале. Если теперь остановиться, я простыну... Позвоню, и он сразу же примчится... двадцать четыре, двадцать четыре... Никто

не отвечает... Еще раз... наверное, я не туда попала... у нас ничто не работает так плохо, как телефоны...

— Алло, да, я звоню на квартиру к Тхавадзе... Да, да! Мне Джумбера... Не приходил? Вы не знаете, когда он вернется?.. Хорошо. Я позвоню еще раз...

«Был и ушел... меня ищет... Сколько можно стоять в этой будке?.. А вообще-то хорошо, как крошечная комната. Если б сюда маленький стульчик, можно было бы сесть и подремать, чтобы не выходить под дождь... Мы с Гено все старались сделать наши комнаты побольше. Кто-то стучится. Выйду и постою в зале. Тут не все из-за дождя — многие ждут телефона; заказаны междугородные, узнать, расспросить, передать... Почему эти мужчины так смотрят на меня? Неужели угадали, что я звонила любовнику? Как странно: пока женщина чиста и порядочна, с ней все говорят с почтением, только на «вы», но стоит ей согрешить, словно клеймо проступает на лбу. Уйду отсюда, пройдуся, а то этот носатый так смотрит на меня, что вот-вот подойдет приглашать в ресторан... У Бичико нос был ужасно расквашен... Пойду укроюсь где-нибудь в подъезде.

Дождь почти перестал, сегодня судьба благосклонна ко мне... Я буду идти медленно, и тогда время пройдет скорее. Буду идти до тех пор, пока не кончатся лампы, перейду на другую сторону и пойду обратно. Еще рано. Свет во всех окнах. Потом все лягут в свои постели, подушки под головы и заснут. Мы с Гено купили огромные подушки по двадцать рублей за каждую. Когда мне хотелось почитать в постели, я клала их одну на другую: было очень удобно и мягко... Я никогда не была так поздно в Ианиси... Наверное, выпачкала туфли, пока дошла... некоторые магазины еще открыты... А если Джумбер не приедет сегодня? Пойти к Нуце? Нуце ее комната кажется маленькой, все жалуется — нету кухни. На что ей?.. Только бы кровать помещалась — узкая, железная кровать...

Они за мной идут или просто по пути? Нет, видно за мной увязались... Перейду на ту сторону, вот только проедет машина... Что? Хороша-то как? Увяжутся — не отстанут. Вернусь на почту и позвоню еще раз... Они тоже перешли. Ну и пусть... Вон идет мужчина с зонтиком, я пристроюсь к нему и дойду до почты, если он не свернет куда-нибудь...

Носатый и его приятель ушли. Наверное, это они ташились за мной по улице.

Двадцать четыре... двадцать четыре...

— Ты?!

«Не узнал».

— Кому же еще быть? Жду тебя на почте... Сейчас, немедленно.

«В этой маленькой будочке и в самом деле можно переночевать. Пока не увижу машины, не выйду отсюда, а то там опять дождь... А Джумбер не поверил... Что в этом невероятного?»

Дождь хлынул как из ведра. Машина не показывалась, и она стояла в подъезде и ждала.

«Я еще совсем мало жила. Совсем мало... Кто хорош для себя — тот свинья; я не смогла жить для себя... Ни как порядочная, ни как развратница... — думала она, и в этих мыслях опять раздваивалась и враждовала с собой. — Зачем я здесь? Откуда и как я сюда попала? И куда мне теперь идти?» Она очень спешила. Ей не терпелось поскорее увидеть машину и сесть в нее, так быстро измучили ее одиночество и бездомность.

«Скоро я стану лишней для Тхавадзе, такова судьба раздвоенных людей... А если он приедет и спросит: зачем звонила?»

— Господи! — вырвалось у нее, кто-то даже обратил внимание. Ей показалось, что кровь оледенела в жилах, и опять, не подчиняясь ее воле, задергалась, задрожала нижняя губа.

«Вдруг он спросит: почему не даешь мне покоя? Раньше ты была гордая, голову высоко держала — не подступиться! Что же теперь? Помнишь, как я бегал за тобой, — как собачонка! Побегай и ты теперь. Что? Затвердила номер телефона? Если я за тобой таскался, так это в надежде на сегодняшний день... У меня больше самолюбия и гордости, и я не мог забыть тебя до тех пор, пока ты сама, своими ногами не пришла ко мне. Не говори мне: ты был глупым мальчишкой. С тех пор ничего не переменялось...»

«Нет! — качала Мака головой. — Не-ет! Этого он не скажет, не посмеет... Но, может быть, подумает? Если... ах, к черту!..»

Она выбежала под дождь и пошла вдоль тротуара. И в ту же секунду светло-коричневая «Победа» почти налетела на нее, обогнала и замерла. Тхавадзе выскочил

из машины и бросился навстречу. При свете фонарей она увидела его несдерживаемую улыбку и свет лампионов в глазах.

«Он победил», — признала Мака и, опустив голову, села в машину.

По крыше тошнотворно барабанили крупные капли дождя.

Тхавадзе захлопнул дверцу.

— Мака...

«Он удивлен, и рад, и не верит... Он столько мечтал об этом дне, что все еще не верит. Ничего, придет в себя, протрезвеет, и я больше не буду нужна ему. Или сведет старые счеты. Победитель диктует условия... Что там такое? Потоп, или град пошел?»

— Поедем!

— Да, Мака! — Машина тронулась. — Дождь невыносимый. Даже не знаю, куда едем. Ничего не видно.

— Поезжай быстрее! — Она хотела сказать это легко, со смехом, но не смогла.

— Ты куда-нибудь спешишь?

— Никуда, но все-таки поезжай быстрее!

— Ничего не вижу, Мака!

«Наверное, смотрит в зеркальце на меня...»

— Увези меня хотя бы от этих фонарей!

Дождь лил и лил не уменьшаясь. Проехав освещенную центральную улицу, машина пошла медленнее. Мака забилась в угол, вся сжалась в комочек и закрыла глаза.

— Ты не промокла, Мака?

«Хочет сказать, что согреет меня. Для чего же звонила, если не для этого».

— Здесь, слева, наша школа.

«Жалуются, что ничего не видит, а школу вслепую нашел».

— Не останавливай!

— Может быть, дождь немного унялся.

— Нет, не здесь. Поезжай дальше!

Тхавадзе все еще невнятно шептал что-то возле ее уха, когда ливень неожиданно прекратился и в замкнутое, отгороженное от всего сознание Маки вдруг проник лопочущий, как Джумбер над ухом, говор ручья в овраге.

Джумбер приподнял голову, огляделся и пересохшим от страсти ртом жарко выдохнул:

— Да, здесь...

«О чем он?» — мелькнуло у Маки. Но она, лежа навзничь с закрытыми глазами, сдерживалась изо всех сил, только бы не дышать глубоко, коротко и часто, и потому промолчала.

— Здесь, Мака, увидел я тебя в последний раз, вот здесь, где стоят колеса машины, где лежат наши головы. Здесь прошла ты... и ушла... А я лежал за оврагом, за ивами, на гнилом пне, и красные муравьи кусали меня... О, как они мучили меня, Мака...

Мака толкнула его в лицо, высвободилась, потом приподнялась и глянула из машины.

«Неужели мы стоим на дороге?»

Вдалеке показались фары автомобиля.

«Да, на дороге... Скоро он разденет меня на глазах у всех. Это началась месть».

— Зачем ты привез меня сюда? — простонала Мака, но не стала слушать ответа. Она знала, зачем привезли ее сюда. Ее отдали тому, лежащему за оврагом, в трухлявом пне. Мужчина, обнимавший ее сейчас, был не сегодняшний многими почитаемый Джумбер Тхавадзе, а тот грязный чесоточный босяк, которого она ненавидела всеми фибрами своей души. Мака и сама удивлялась, за что она так ненавидела его, — за его любовь? Нет. И не за то, что шея у него под скулой краснела и шелушилась от чесотки. Нет — она ненавидела его, как злосчастье, как рок, как судьбу, от которой не уйти, которая когда-нибудь добьется своего; и вот сбылось, свершилось, и с пронзительной остротой она вдруг почувствовала кислый запах пота, исходящий от латаной, выгоревшей блузы, и у нее перехватило дыхание. Борясь с тошнотой и головокружением, она стала шарить рукой, чтобы нащупать дверь и опустить стекло, но ей не хватило воздуха, и она в ужасе крикнула:

— Я задыхаюсь! Открой окно!

Тхавадзе толчком распахнул дверь. Но тот чесоточный босяк лежал рядом, за оврагом, и оттуда тянуло все тем же запахом потной латаной блузы, и не было ей спасения.

— Скорее!.. Увези меня... Подальше отсюда!..

Мака не знала, сколько они ехали и куда, но в окно все время дул мокрый ветер, и дышать стало легче.

Когда они остановились, в первое мгновение ей показалось, что она опять задохнется, но ветер продувал машину насквозь, и слышался гул воды.

«Уж не назад ли он вернулся?» — вспыхнула Мака. За окном было темно. Если б вода шумела поблизости, она все-таки разглядела бы ее, но гул доносился откуда-то снизу и не походил на говор ручья, в котором плещутся гуси. Далеко внизу мерцали редкие огоньки, и глубокое ущелье словно из преисподней доносило стон и ропот реки. На обочине, у самых колес машины, тесно стояли в ряд белые бетонные столбики.

— Я куплю папирос! — сказал Джумбер и обождал, не ответит ли она чего-нибудь.

«Он не думал, что я останусь с ним так долго... Но где он собирается купить папиросы в такое время? Наверное, поблизости есть столовая».

Тхавадзе в раздумье открыл дверцу и вышел.

«Вернется и спросит, куда ехать. Он думает, что я опаздываю домой».

Она смотрела вслед Джумберу, пока тот не исчез в темноте, потом воровато приподнялась, перегнулась через спинку переднего сиденья и пошарила рукой. Пусто. Прислушалась: дул ветер, да внизу в ущелье шумела река. Она вдруг заторопилась, вышла из машины к обрыву. Каблучки туфель сразу погрузились в размякшую землю. «Ах, это я знаю!..» — словно с досадой подумала она.

Ветер раздул ее платье. Она опять прислушалась, потом открыла переднюю дверцу и стала шарить по коврику, застилавшему пол. Не нашла того, что искала, но вспомнила про карман на чехле сиденья и нащупала его легко, как собственный. Там лежала коробка спичек. Папирос действительно не было. Она вынула одну спичку, смочила, переломила надвое, потом наклонилась к колесу машины, провела рукой по заляпанному ободку, нащупала ниппель и вставила. Так однажды Гоча спустил покрышки на самосвале Авксентия, — Мака тогда сильно поругала его!..

Струя теплого воздуха вырвалась из колеса и выкинула занозу. Мака вставила новую, придержала и втиснула еще одну половинку. Спички наконец вклинились туго и застряли. Она тут же перешла к заднему колесу. Когда и из него с сипением вылетел воздух, она подумала перебежать на другую сторону, но побоялась, что

Джумбер застанет ее, и остановилась над обрывом между белыми бетонными столбиками. «Он увидит меня и не подойдет, пока я не сяду в машину».

Из темной зияющей глубины слышался рокот и плеск вздувшейся реки. За чернотой, по ту сторону ущелья, мерцало несколько тусклых огоньков...

Сверху, гроыхая кузовом, катился порожний грузовик. Мака повернулась спиной к дороге. Шофер еще издали заметил в свете фар легковую машину и женщину на обочине. Он совсем замедлил ход. Поравнявшись с женщиной, протяжно свистнул:— Не упрямясь, красotka! Клянусь предками, будет мальчик!.. — И рванул машину с места.

После этого Мака не слышала ни ветра, ни стонов и вздохов реки в ущелье. Она слышала только шипящий поток воздуха, вылетающего из покрышек, и как только в переднем колесе звук этот ослаб и стих, она подошла, вынула спички из клапанов и отбросила подальше. Не дождавшись, пока заднее колесо совсем осядет, она и с ним проделала то же самое.

Но Тхавадзе пришел еще не скоро.

Мака сидела в машине, откинув голову на спинку сиденья.

— Он спал, Мака,— заглядывая в опущенное окно, объяснил Тхавадзе свою задержку.

«Напоминает, что уже поздно... Сейчас я скажу еще одну ложь, она не отяготит меня слишком».

— Поедем! — негромко сказала она.

«Хочет опять сесть ко мне, но боится, что я слишком опоздаю домой».

— Я хочу заехать к Нуце.

— Да, в самом деле, Мака... К Нуце.

«Что он, как заведенный, после каждого слова твердит мое имя. Не верит, что это действительно я, или мне напоминает меня самою?.. Когда поверит, тогда и мне напомнит... Но я не должна допустить до этого...»

— Нет, нет, и к Нуце уже поздно. Не хочу! — она, словно разнервничавшись, замотала головой. — Поедем! Поедем сейчас же!

Тхавадзе придавил ногой окурок, постоял, словно раздумывая. Потом быстро сел в машину и включил мотор.

«Что он надумал? Небось решил в другом месте бросить меня в объятия чесоточному: где-нибудь там, где

его укусил муравей, или оцарапала колючка, или где он споткнулся о камень».

Машина тронулась с места и тут же остановилась. Мотор заглох.

— Что случилось?

Тхавадзе молча вышел, обошел машину спереди и присел на корточки перед колесом, потом, не разгибаясь, перебрался назад.

«Уже так поздно, что за все время проехал только один грузовик. У него, наверное, есть запасное колесо, но только одно. Так или иначе, потом будет поздно, и к Нуце нельзя будет заехать...»

Джумбер выпрямился, подошел к окну. На темном фоне затянутого тучами неба Мака увидела, как он растерянно пожал плечами.

— Мака...

— Почему мы не едем?

— Представь себе, мы не сможем пока поехать. Одно колесо я сейчас же заменю, но второе — придется подождать, пока кто-нибудь проедет.

— Что? Все покрышки сели?

Тхавадзе перешел на другую сторону машины.

«Я бы успела спустить еще одно колесо, но три колеса одновременно подозрительно».

Тхавадзе снял пиджак, перевесил его через спинку сиденья, но к делу не приступал. Закурил.

«Неужели он догадался? Ну и пусть...»

В утренних сумерках Мака с Джумбером выбрались из низкой двери дощатой закуской, нависшей над самым ущельем, и пошли вверх, к дороге, туда, где на обочине стояла светло-коричневая «Победа» со спущенными покрышками.

— Сейчас, Мака, сейчас, дорогая... — повторял Джумбер, сжимая ее локоть.

«Сколько я заставила его выпить, а он все-таки держится. Я и сама выпила из-за него, теперь скверно от вина... Если б ночью я была в таком состоянии, как сейчас, я легко сделала бы один шаг к обрыву, когда шофера освистали и осмеяли меня. Оттуда я долго бы летела до этой грязной коричневой реки. А за рекой только черепичные крыши...»

«Что делать? Меня так тошнит, что хочется засмея-

ться: зачем? О чем? Не знаю! Я ненавижу себя, ненавижу этого человека, который держит меня под руку и называет «моя Мака», ненавижу, как торговца-буфетчика, который не спал из-за нас всю ночь и пожирал меня глазами. Хотела сказать Джумберу, чтобы он вздул его напоследок, ну да черт с ним... Меня мутит не от вина, а от отвращения, и, о, хоть бы сейчас засмеяться так громко, чтоб слышали вон там, внизу, в тех домах под черепичными крышами. Прощаясь, этот торговец протянул мне руку и только при Джумбере не посмел сжать мою, но зато так выразительно чмокнул губами, что меня мутит, мутит, и не дай мне бог умереть, не рассмеявшись...»

Джумбер и подле машины повторил приставшее к нему: «Сейчас, моя Мака, сейчас», и, открывая дверцу, не отпустил ее локтя до тех пор, пока она не села, словно она все еще могла оступиться на крутой, узкой тропе. Потом принялся заменять колесо с осевшей покрывкой.

Мака откинулась назад. Ее ужасно тошнило.

«Выйду,— думала она,— выйду сюда, к обрыву. Но он как раз тут, возится с колесом. Вскочит, бросится на помощь... О-о, какое это отвратительное зрелище — женщина, которую тошнит...»

Сверху, из-за поворота, выехал старый «Москвич» с заспанным, нечесаным парнишкой за рулем.

Джумбер встал у него на пути. Парнишка забрал к обочине, Джумбер — за ним. Раздался хриплый протяжный сигнал, но Джумбер не отходил, словно не слышал, и «Москвич» остановился.

Джумбер наклонился к оконцу.

«От него не отвертись»,— мысленно сказала Мака заспанному владельцу «Москвича».

Тот, разводя руками и ворча что-то под нос, выбрался из кабины, откинул спинку заднего сиденья и вытащил камеру, латанную не реже, чем рубаха чесоточного Тхавадзе.

Вдвоем они приподняли «Победу». Потом слышалось только сопение склонившегося над насосом Тхавадзе.

Когда парнишка опять сел за руль, Мака увидела, как он с улыбкой кивнул Джумберу и, довольный, покатил дальше.

Тхавадзе, вытирая ветошью руки, остановился перед Макой.

Снизу в подъем ехал грузовик с пассажирами в кузове.

«Он хотел что-то сказать,— подумала Мака. — Но уже ходят машины. Я сама пересею к нему и не отстаю — пусть едет как можно быстрее. Меня уже не тошнит, и смеяться не хочется, хочу только, чтоб он ехал как можно быстрее...»

Через минуту светло-коричневая «Победа» мчалась по извилистому мокрому шоссе, как сорвавшийся с горы камень, и перед глазами Маки белые бетонные столбики слились, связались и запетляли, словно длинная белая веревка, которую раскачивают с обоих концов.

«Ничего не хочу на свете — только это!.. Только мчаться вот так!..»

— Скорее, Джумбер! Ты же знаешь, как я опоздала... Скорее! — твердила Мака, но бьющий в окна ветер срывал слова у нее с губ. Тхавадзе, наверное, даже не слышал ее. Маку кидало вперед, назад, прижимало к сиденью, ударяло об дверцу, — она не помнила ни кем она была, ни кто она есть, куда едет, к кому спешит. Она видела только белую веревку, протянутую слева на месте бетонных столбов; машина иногда настолько приближалась к ней, что казалось, вот-вот переедет.

«Мы должны проехать по ней...»

— Господи, неужели нельзя быстрее!

Сворачивала машина, визжали колеса, свистел ветер; стоило впереди появиться попутной, как они тут же настигали ее и обгоняли, и при этом белой веревки можно было коснуться рукой. Кто-то упрямо раскачивал ее, кому-то очень нравилось это развлечение, и он подкидывал веревку к самым колесам, но не хотел, чтобы машина порвала ее, и одергивал в последнее мгновение.

Мака наклонилась к Джумберу, положила голову ему на плечо.

— Быстрее, милый! Быстрее!

Тхавадзе оглянулся, и тут же что-то стукнуло сзади, машина замедлила ход, белая веревка изорвалась на звенья, все мельче, мельче. Машина стала.

— Что случилось?

— Погоди.

— Ну, что там?

— Ударился об столб.

— Не сможем так быстро?

— Посмотрим... Ты все-таки хочешь быстро?

— Да... — «Почему он так смотрит». — Я спешу, Джумбер!

Машина поехала.

«Он хочет что-то сказать. Только не сейчас. Господи, только не сейчас! Не могу я сейчас ни о чем говорить...»

— Мака,— сказал Тхавадзе, и белая веревка опять изорвалась на звенья.

— Быстрее! — взвизгнула Мака.

— Если б я был один, я бы поехал, как ты хочешь.

— Что ты сказал? Я не поняла, что ты сказал.

— Я должен поговорить с тобой, Мака!

— Езжай и говори... Не останавливайся.

— Нет, — он повысил голос. — Нет! — крикнул он.

— Он на меня кричит? — дотрагиваясь до груди, вслух спросила Мака.

— Нет! — крикнул опять Тхавадзе. — Меня поджидает опасность. Она где-то здесь, я ей кричу — нет!

Мимо одна за другой промчались две встречные машины.

— Здесь не место разговаривать — посреди дороги. В другой раз. Если хочешь, завтра же! А сейчас быстрее!

— Завтра будет поздно.

— Тогда сегодня. Вечером.

— Нет, совсем скоро будет поздно... — Машина еще больше замедлила ход, потом вдруг свернула, проскочила между столбов и на краю отвесного обрыва, по узкой дорожке покатила вниз. Внизу раскинулся берег реки.

«Опять он не слушается меня... Опять...»

Мака потянулась к дверце, открыла, но тут же почувствовала сильную руку, которая оттащила ее назад. Машина резко остановилась.

«Зачем я открыла дверь? Я бы выбросилась, если б он не схватил меня? Что ему стоило... Мне так хочется знать, бросилась бы я туда или нет?»

Джумбер смотрел вниз, на узкую дорогу. Снизу, подвывая от натуги, полз большой нагруженный самосвал.

Тхавадзе попробовал подать назад, но на размокшем от дождя спуске машина забуксовала и вильнула хвостом.

Снизу медленно наползала машина самосвала...

Тхавадзе рукой показал шоферу: вернись, здесь не разъедемся. Но тому, с верхом насыпанному щебню, жаль было с трудом преодоленной опасной дороги, и он не остановился, пока не подъехал на несколько шагов.

С шофером в кабине сидели рабочие, и он чувствовал свое преимущество:

— Что же ты спешил, если машина назад не тянет? Пропустил бы нас. Никуда эта девка не денется!

— Давай назад! — крикнул Тхавадзе. Он все еще сжимал локоть Маки.

Шофер высунул голову из кабины, и у Маки ужасно задрожала, запрыгала нижняя губа.

Авксентий, двоюродный брат Гено — Авксентий стоял перед ней. Стоял и, оцепенев, смотрел на такое знакомое и любимое лицо невестки.

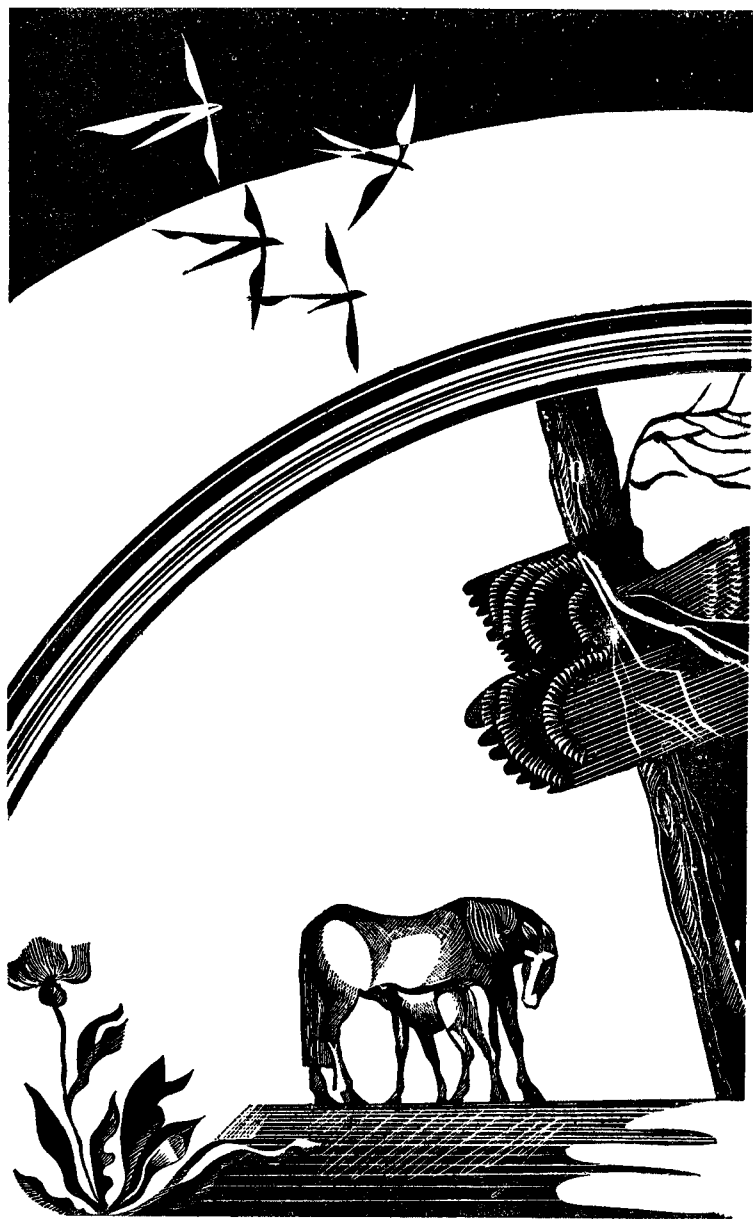
«Что, если сейчас засмеяться? Опять меня тошнит... Челюсть, кажется, совсем отвалилась. На этой машине остуился мой Гоча, чуть не разбился, маленький... Надо было сказать Авксентию, чтоб он не ставил ее во дворе...»

Тхавадзе увидел глаза шофера, устремленные на Маку, и кровь бросилась ему в голову. Он отпустил Маку, с силой потянул тормоз и распахнул дверь.

Самосвал оглушительно взвыл, встал на дыбы, шофер шагнул на ступеньку, открыл кузов, мокрая речная галька с хрястом осыпалась назад. Пока подбежал Тхавадзе, Авксентий наклонился и вытащил из кабины толстую витую монтировку, но поднять ее не успел.

Светло-коричневая «Победа» покатилась, свернула к обрыву, проехала у ног Тхавадзе и освободила дорогу.

При падении правая сторона ударилась об камень, машина перевернулась, и Мака увидела, как горы упали вниз, и сразу открылось небо, чистое сверкающее небо... У нее уже не дрожала губа, и душа очистилась, и она чувствовала удивительную легкость, словно летела вверх, а не вниз; только сердце, привязанное к чему-то, осталось там, откуда она взлетела, и не последовало за ней. Сердце осталось внизу, но мучительная мысль, не покидавшая ее все время, мучительная мысль, что она тяжела земле, не терзала ее более.



СО СКОРОГО ПОЕЗДА

Мы жили вблизи железной дороги, возле станции. С детства, во сне и наяву, я мечтал стать машинистом. И только мне исполнилось семнадцать лет, как я уже забрался в паровозную будку.

Впрочем, было это так или немного иначе — неважно, главное — вскоре я стал помощником машиниста, а паровоз — моим родным домом.

...Несемся мы то вверх, то вниз, то остановимся у маленькой станции, то на крутом повороте спугнем пятнистых коров, пасущихся у самого полотна, то нырнем прямо в сердце горы и, вынырнув, пролетим над рекой...

Смотрю вперед, и кажется мне, будто это я впряжен в вагоны, это я мчусь во весь дух. Да что вагоны, сейчас мне все нипочем — взвалю на спину эту станцию, вон ту гору, поверну вспять течение реки.

Паровоз надрывается от натуги. Стоит потянуть рычаг — и раздастся пронзительный свист, — шарахнутся деревья, взлетят птицы, детишки зажмут ладонями уши, замечется привязанный к кусту козленок...

А паровоз грохочет в горах, дробно стучит на мостах — мчится вперед.

Деревни, реки, тополя, дубы, виноградники, люди, земля... Моя земля!

Машу рукой, вылезая по пояс в окно.

— Здравствуйте, мосты!

— Здравствуйте, реки!

— Горы!

— Люди!

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

— Привет и тебе, маленький домик на косогоре!

Я тебя издали приметил, даже узкую лесенку без перил разглядел... Что это красное мелькнуло в окне?

...Прямо перед носом выросла гора. Исчезли лесенка, окно, домик... Ежевика рдеет — рукой подать.

— Здравствуй, ежевика!..

Гора отошла. Опять косогор и домик с раскрытым окном, а на подоконнике сидит девушка в красном платье.

— Здравствуй, девушка!

Машу рукой, смеюсь. Она улыбается, высовывается в окно. Поезд спешит, вот-вот девушка скроется из глаз... но нет, она выбегает на балкон, обнимает столбик и машет мне, машет.

Поезд торопится, мчится.

— До свидания, девушка!

Остаются позади двор, косогор. Я приподнимаюсь на цыпочки — хочу еще раз увидеть что-то... А поезд продолжает бег, грохочет, стучит. И вновь — дома, тележата, мосты, виноградники... виноградники...

Прибавляю скорость...

Вечером, на обратном пути, веду длиннющий состав цистерн: черных, коричневых, желтых. Солнце упало за горы. Растаяли тени между деревьев. Под мостами сгустился мрак. Я тороплюсь... что-то меня тревожит, кто-то подгоняет — не знаю кто, не знаю что, но мне хочется ехать быстрее. Скоро стемнеет. Смотрю вперед... сейчас кончатся скалы, эти безмолвные мрачные глыбы, и покажется косогор, домик, распахнутое окно...

Как медленно тянется время!

Но вот и косогор. Какой он, оказывается, нарядный и сколько на нем полевых цветов — белых, красных и голубых. А двор потонул в прохладной зелени... Такого двора нет вдоль всей дороги, ни такого дома, ни такого окна. Окно раскрыто, но девушки не видно. Я не теряю надежды и машу рукой. Она, должно быть, где-то здесь,

во дворе... Вот и она! Держит охапку листьев — кормит теленка. Обернулась, увидела меня, замахала рукой, и листья посыпались к ее ногам.

А поезд несется дальше...

Исчезла девушка. Надвинулась гора. До ежевики рукой подать.

...Рейс окончен. Я вхожу в ярко освещенную дежурку. За окном темно, из темноты кто-то движется на меня, черный, с ног до головы покрытый сажей... Неужели это я? Я засмеялся и увидел, как сверкнули мои зубы.

Неужели я всегда такой черный?

Неужели таким знает меня та девушка?

В эту ночь я не сомкнул глаз, а утром раньше обычного вышел па работу и целых два часа слонялся без дела.

У билетной кассы стояла очередь. Маневровый паровоз, пронзительно вскрикивая, метался из стороны в сторону. Дежурный в красной фуражке грузно ступал по перрону.

Медленно шло время. Стрелки больших круглых часов словно застыли. Но вот появился машинист, и я обрадовался его приходу.

...Дрогнул всем телом состав, неслышно заскользил по рельсам, будто хотел незаметно сбежать, потом закрипел, застучал, запыхтел. И снова дома, деревья, мосты, люди и голубые виноградники.

Я смотрю вперед, только вперед. Я знаю — еще далеко до косогора, до того домика и того окна, но когда мы обогнем эту гору, оставим позади лес, я увижу...

Обогнули гору, миновали лес, но опять гора, петляющая дорога, лес...

Наконец-то косогор, и домик, и узенькая лестница без перил. Окно распахнуто. Но где же девушка? Она на балконе, она выбежала на балкон и машет мне белым платком. И я смеюсь, машу ей обеими руками. Смеюсь и знаю, что ей видны только мои белые зубы. Я срываю кепку и машу.

А поезд несется дальше...

— До свидания, девушка!

Дни бегут за днями. Каждое утро снова распахнутое окно — она ждет меня. Ждет и вечером, приветливо машет рукой, косынкой, шапочкой, обнимает рукою столб и машет, машет мне вслед... И смеется, смеется.

Проходят месяцы, как медленные, грузные составы.

Желтеют листья. Кружась, опадают на землю. Поезд подхватывает их, и яркий, пестрый вихрь мчится вперед.

И снова горы, пожелтевшая кукуруза, высохшие цветы, отяжелевшие виноградные лозы. Домик, распахнутое окно и девушка в красном платье. Она машет мне книжкой, косынкой, платком... всем, что оказывается под рукой.

Отсюда не видно ее лица, но я знаю, я очень хорошо знаю,— у нее лучистые глаза, длинные ресницы, она любит смеяться... Ну и что же, что ее не видно. Она милая девушка, любит необыкновенные приключения, а обо мне... обо мне она думает: этот парень с ног до головы вымазан сажей, только зубы у него белые, очень белые... он машет мне рукой, кепкой и мчится... мчится куда-то.

Идет снег вперемешку с дождем. Снежинки превращаются в хлопья и тихо, неслышно ложатся на землю.

Белые мосты, белые горы, белые деревья, белый косягор, белый домик. Окно закрыто, но за окном что-то мелькает. Девушка ждет меня, машет мне рукой, нет, не рукой, чем-то ярким, кажется, маленькой подушкой. Выбегает на балкон и снова машет.

Несется, мчится поезд.

— До свидания, девушка!

И я думаю... нет, говорю... пою: «Эту девушку зовут Майя, у нее лучистые глаза и длинные ресницы, и когда она смеется, на щеках у нее появляются маленькие ямочки, она не боится холода и умеет ждать».

С шумом и грохотом мчится поезд.

Время несется быстро и незаметно.

И вот — отпуск. На мне новый костюм, галстук, шляпа и туфли со скрипом. В руках — билет в пассажирский вагон.

И опять те же горы, та же река, мост и виноградники. А вот и домик, окно... Но где же девушка? Она не ждет меня. Она не встречает пассажирский поезд.

Выхожу на соседней станции. Поднимаюсь по тропинке, собираю цветы и, полный ожидания, подхожу к знакомой калитке.

Добродушно зарычал лохматый пес. Девушка выглянула в окно, удивилась, сбегала по узенькой лестнице.

— Здравствуйте, Майя!

— Откуда вы меня знаете?

— Не узнаете?

— Нет, кто вы?

— Я... я тот самый... Мне бы попить, если можно...

Она входит в комнату, выносит влажный кувшин, но где-то меж скал пыхтит паровоз, и еле заметен его дымок, похожий на клочья тумана. Поезд все ближе, свистит, грохочет, дробно стучит по рельсам.

Забыв обо всем, девушка взбегает по лестнице, обнимает рукой столб и ждет...

Вот показался паровоз и тут же скрылся за горой.

Там растет ежевика — рукой подать.

Опять появился паровоз.

Девушка высоко поднимает платок, хочет взмахнуть им, но рука застывает в воздухе. Машинист, задумавшись, смотрит вперед. Кто знает, о чем он думает... У каждого свои мысли.

Платок падает из рук девушки. Она вбегает в комнату, и я слышу приглушенные всхлипывания. Она плачет, наверное, зарывшись лицом в подушку.

Осторожно прикрыв калитку, я выхожу со двора и стремглав бросаюсь под гору. Ждать поезда нет времени. Сажусь на первую попутную машину.

Через два часа врываюсь к начальнику депо и отказываюсь от отпуска.

...Теперь я точно знаю, что девушку зовут Майя, что глаза у нее лучистые, что, когда она смеется, на щеках у нее появляются маленькие ямочки и что она умеет ждать.

А обо мне... обо мне она думает:

«Этот парень с головы до ног вымазан сажей... да, с головы до ног вымазан сажей... только зубы у него белые, очень белые...»

ПО ДОРОГЕ С МЕЛЬНИЦЫ

Наша зима зачастую не похожа на зиму. Иной раз среди января наступают такие погожие дни, что на прогретых солнцем лугах прорастает свежая травка, распрямляются подснежники на опушках и обманутые теплом сливы вдруг взрываются белым цветом на окрестных пригорках.

Что ни говори, такая погода была по душе мне и моему двоюродному брату Бату.

Война только что кончилась, и у нас не было ничего, кроме пары подранных на коленях штанов да стоп-

таинных башмаков, которые давно просили каши. А ведь были мы уже не мальчики, и нам хотелось одеться получше, но, как говорится, выше головы не прыгнешь.

Стояла зима, а в благословенной деревне и зимой дела по горло. То за водой, то по дрова, то сена надо для скотины, то крышу починить, а то и на мельницу сходить.

Наша речка, если только ее можно назвать нашей, протекала далеко от села. Она нехотя извивалась по топкой низине, и блаженной памяти предкам не оставалось ничего лучшего, как сколотить мельницу где-то у черта на куличках, в верховьях реки.

Я редко встречал людей, из года в год с удовольствием делающих одно и то же дело. Мы с двоюродным братом не составляем исключения. Мы вообще не лезли из кожи вон ради дела, по, пока в доме оставалось зерно, эта проклятая мельница была нашей бедой, нашим наказанием, с ней были связаны трехдневные просьбы, угрозы и уговоры. Когда же в конце концов мы жертвовали собой и собирались в дорогу, то хотелось забрать побольше зерна зараз, чтобы потом передохнуть немного. И если дома нам запрещали тяжелые работы,— мол, надорвутся ребята, то тут, взвали мы на спину хоть по полному кулю, никто не сказал бы ни слова. И мы действительно взваливали на себя такие пуды, что и здоровым мужикам были бы не под силу.

В погожий день еще куда ни шло, но в мокреть дорога до мельницы становилась настоящей пыткой.

За селом начинался лес. Дорога петляла по лесу, и идти по ней было не трудно. Но дальше! Дорога спускалась в низину и тянулась по бесконечным вспаханым полям. После дождя она раскисала, суглинок размокал, замешивался, и идти по нему в башмаках было тяжелее, чем по колено в смоле. Не глина липла к ногам, а ты прилипал к ней и никак не мог выдрать ног из вязкого, цепкого месива. Дорога превращалась в топь, и на протяжении всего пути не было ни одного пенька, ни одной точки, где можно было бы снять с плеча куль и перевести дух. Не в грязь же его класть. Время было послевоенное, и каждая горсть муки ценилась дороже золота.

Был субботний вечер. Целую неделю мы прятались, исчезали из дому, пропадали, одалживали по соседям муку, но теперь отступать уже было некуда.

Погода стояла теплая, сухая, но мы знали, что зима остается зимой и что этого тепла хватит ненадолго. Надо было успеть сходить на мельницу. Нам с двоюродным братом случалось и подраться, и рассориться, и поругаться, но на мельницу ни разу не ходили врозь. Такая дорога не под силу одному.

— Придется нам сходить, Бату...

— Да, да. Пора!

— Ты зайдешь за мной?

— Зайду.

— Ну смотри. Жду.

— Валяй.

Я засыпал в мешок кукурузы, завязал его и прикинул вес. Он уже был хорош для меня, но я подсыпал еще. «Погода что надо,— подумал я,— буду часто отдыхать».

Бату запаздывал. Я уже подумывал отложить дело на завтра, но он все-таки пришел.

— Где ты пропадал? Вечер на носу.

— Колодезная бадья у нас сорвалась,— угрюмо ответил он.

— Какого черта она сорвалась?

— А ты у нее спроси.

— Сделал бы завтра.

— А до завтра как? Без воды прикажешь сидеть?

— Ну и иди теперь на ночь глядя.

— А ты попробуй не идти. Дед говорит, что завтра новолуние и что это к перемене погоды...

Мы пошли. Вскинули на плечи мешки и пошли. Не доходя до леса, присели передохнуть. Дул легкий, повечернему прохладный ветерок. Мы присели на мешки. Возясь с бадьей, Бату расшиб себе мизинец, и ноготь у него почернел.

— Болит?

— Чуть не потерял сознание, когда хватил.

— А сейчас?

— Уже не так...

Мы пошли дальше. Теперь мы шли лесом по изъезженной, изрытой дороге. Меж почерневших, сопревших прошлогодних листьев проглядывали первые фиалки. В лесу мы передохнули разок-другой, но потом и считать перестали. Чем ближе подходили мы к мельнице, тем тяжелее становилась ноша. Ноги у нас ослабли, словно свинцом налились, и, когда мы присаживались на

мешки передохнуть, неохота было вставать и идти дальше.

Наконец показалась мельница, и, когда шум колес и далекое, подобное голубиной воркотне урчание жерновов донеслось до нас, мы собрали последние силы и с высунутыми от усталости языками ввалились в стоящий над рекой сруб. Ввалились, бросили мешки возле дверей и, как рыбы, вышвырнутые на берег, стали глотать затхлый, налитанный мучной пылью воздух.

Времени на обратный путь не оставалось, да и не под силу нам это было, ну, а ночевать на мельнице нам случилось не раз, и дома об этом знали.

За полночь поднялся ветер, да так разгулялся, что наш несчастный сруб только стонал и побрякивал. Потом полил дождь. К дождю примешался снег... Да, ползгали мы в ту ночь зубами — будь здоров!

Я не смотрел на Бату. Мне видеть его не хотелось. Я не мог изменить погоду и всю свою злобу вымещал на нем. Как только не проклинал я его в душе! Если б не он, мы засветло вернулись бы домой. Я ругал его на чем свет стоит и винил во всех своих бедах. Да что говорить!.. Сыплют дождь и снег, снег и дождь. Одним словом — манна небесная нам на дорогу!

Утром мы долго тянули волюнку, но не поселишься же на этой мельнице! А погода — куда там! И не думает разведриться. Попозже словно утихомирилось малость, и я пролаял, как пес:

— Ступай вперед!

Не поверите, сколько злости и угрозы вместили эти два слова.

Стоило нам ступить за порог, наши башмаки наполнились размокшим снегом. Только-только от огня, без маковой росинки во рту, в продранных штанах — для зеленых мальчишек этого было слишком много. Я не мог простить Бату. Я не мог найти слов, чтобы обругать его как следует, и мрачный, чуть не скрипя зубами от злости, шел за ним.

Однако идем. Тащимся наизволок. Не знаю, как Бату (мне было не до него), ну, а я считаю шаги. Считаю до десяти. Главное, сделать десять шагов. Если б я тогда представил себе не десять, а сто шагов, уверен, что сбросил бы мешок в грязь и плюнул бы на все.

Короче, все, весь ад, всю преисподнюю, все чертовы круги, какие только придуманы на свете, прошли мы

в тот день. Так добрались мы до середины пути. Но тут вновь пошел дождь, перемешанный со снегом, мокрые хлопья повалили так густо, что ни черта стало не видеть, да и глядеть было не на что.

Иду, наклонив голову, прижимаюсь щекой к мешку у себя на плече и еле выдираю ноги из топи.

— Раз... два... два... три...

Бату шел впереди. Неожиданно он остановился, но я не обратил на это внимания. Я даже не посмотрел на него, поравнялся и на десятом шаге встал рядом. Потом начал считать снова.

— Раз... два... три... три... три... — долго не мог выдрать увязшую ногу, — четыре, пять, шесть...

Вдруг я услышал какой-то звук. Я решил, что это стонет Бату, и не оглянулся.

— Так тебе и надо, — пробормотал про себя и стал считать дальше, — семь, восемь, восемь...

Я опять услышал странный звук, он доносился откуда-то спереди. Я поднял голову и заметил что-то на дороге. Да какая там к черту дорога, нет никакой дороги! На голой, раскисшей от дождя и снега пашне кто-то сидит.

«Так, — подумал я, — верно, у меня начались видения», — потому что то, что я увидел перед собой, не было похоже на человека. Снег мешал мне глядеть, но все же было светло, а человека при свете дня я всегда отличу. На грязном, желтоватом снегу лежит что-то вроде пенька и скулит.

Я остановился.

Бату нагнал меня. Тоже смотрит в снежную муть и прислушивается.

Положим, у меня видения, но с чего тогда Бату навострил уши?

Да нет никаких видений. Лежит в этой жиже, в этой грязи пенечек и плачет.

— Что это?

— А ты у него спроси! — Бату зло вытаращил на меня глаза.

— Отвечай, когда тебя спрашивают!

— Я вижу не больше твоего... Плачет кто-то...

— Сам слышу, что не поет.

Мы приблизились немного. Голос-то человеческий, но на человека это мало похоже. Слишком уж махонек. Подошли мы вплотную и видим: сидит в снегу девчонка,

согнулась в три погибели, положила мешок с мукой на колени, чтоб не замочить его, а сама припала к нему лицом и плачет. Не разглядеть ее так. Голова желтоватой рогожей повязана, подол платья в грязи, а на ногах длинные шерстяные носки.

— Ты кто? — спрашиваю.

А она не слышит.

— Эй, подними голову!

Ни в какую.

— Ты что, не слышишь? Кто ты?

Она вдруг оторвала заплаканное лицо от мешка, оглянулась, увидела наши ноги и медленно подняла голову.

— Я Арета, — проговорила она, всхлипывая.

В самом деле, это была Арета. Она жила далеко от нас, но я, конечно, узнал ее, и Бату тоже ее узнал. Да если б это была не она, мы все равно не могли оставить ее здесь, посреди топкой дороги. Мы бросились к мешку, лежащему у нее на коленях, и подняли его.

Но Арета продолжала плакать. Сидела в грязи и редела в три ручья.

— Ну, чего ты теперь? Хватит...

Она натянула платье на коленки и заголосила громче.

— Встань, Арета! Перестань. Ну, перестань! Не сиди на снегу.

Куда там! Трет тыльной стороной ладони глаза и плачет, всхлипывает, да так горько, что сил моих нет смотреть на это.

— Что с тобой, Арета? Что, ты снега никогда не видела, что ли? Ну, успокойся...

Арета встала, но так, что мы не увидели ее лица, повернулась и пошла. Мы с Бату несем ее мешок, а Арета идет впереди и плачет. Ну, что с ней станешь делать?! Что придумать такого, чтобы она перестала плакать?

Снег идет и идет. А Арета все плачет. И я уже не могу слышать этого плача, вот-вот сам раскисну.

— Будет тебе, Арета. Послушай...

Никакого впечатления. Тогда я обернулся к Бату:

— Бату, ты-то хоть рад снегу?

Бату и не взглянул на меня, хотя я сказал это так громко, что и Арета могла меня услышать.

— Глухой! Тебе говорят!

На этот раз Бату обернулся, но его взгляд красноре-

чиво сказал мне, что если б он увидел на дороге голыш, то, не раздумывая, выпустил бы из рук мешок и хватил бы меня голышом по лбу.

— А я рад! — опять начал я. — Да ты и сам говорил вчера: ничего не хочу, только бы снегу навалило.

Бату как будто начал что-то смекать, но выдавить из себя то, чего я добивался, было выше его сил.

— Я чуть ли не на два вершка вырос от радости, когда увидел снег.

Бату пора было поддержать меня, иначе все пропало.

— К-кто же не рад снегу...

Арета перестала всхлипывать, и я все простил своему двоюродному брату.

— Вот именно! Снегу все рады. Солнце всегда на месте, а летом-то ты снега не дожدهшься.

— Ну уж, если и летом...

— Куда там... Не то что летом, и зимой еле дождались. Арета, а ты любишь на санках кататься?

Арета промолчала.

— Не любит, — сказал Бату.

— То-то она расплакалась. А ты, Бату, потому и обрадовался, что любишь на санках кататься. А я так люблю санки, что аж сплю на них. Кто любит санки, тот и снег должен любить. Ты наверняка знаешь, что Арета не любит кататься на санках?

— Я знаю, что она терпеть не может снега.

— Может быть, она любит санки, но не снег.

— Что же она, по травке катается?

— Кто ее знает! — Я засмеялся.

Арета обернулась. Глядя на нее, Бату тоже рассмеялся, а я захохотал во всю глотку. Мы остановились, смеясь. Глаза у Ареты были полны слез, но она не плакала, смотрела то на меня, то на Бату и не могла понять, с чего мы так развеселились. Мы чуть не вырвали ее мешок. Я вскинул его на плечо, поверх своего мешка. Пошли дальше.

— Я не уверен, что Арета любит кататься на санках.

— Кататься-то она любит, но... — Тут меня снова разбирает смех, и я хохочу, аж закатываюсь.

— Ох!.. Так ты уверен?

— Нет.

— Может быть, кататься она любит, но...

Идем мы за Аретой следом и гогочем.

— Арета! — зову я.

— Арета! — кричит Бату.

— Оглянись, Арета!

Арета оглядывается.

— Любишь на санках?

Арета молчит, не отвечает.

— Так любишь или нет на санках, а? На салазках?

Она кивает.

— Любит! Ты видишь, любит! — хохочу я.

— А снег?..

— А снег ты любишь? — не даю я договорить брату.

— Нет,— качает головой Арета.

— Снег не любит.

— А салазки — да!

Мы просто помираем от смеха.

Потом опять:

— Арета, может, ты не расслышала из-за своего платка? Ты в самом деле не любишь санки?

— Люблю,— кивает она и улыбается.

— А снег?

— Снег не люблю.

— «Нет!» — И мы опять закатываемся, чуть не валимся с ног.

— Чего вы смеетесь? — спрашивает Арета.

— Она по травке на салазках катается,— говорит Бату.

— Арета, ты любишь зимой кататься?

— Нет.

— Так, значит, летом?

— Да.

— Да, летом! — повторяет Бату, а я одной рукой придерживаю мешок, а другой хватаюсь за живот.

— Скажите хоть, чего вы смеетесь?

— Ох-хо-хо-хо-хо!

— Ха-ха-ха!

— Ну вот, заладили?

— Так, значит, на санках любишь?

— Люблю.

— А снега не любишь?

— Нет.

— Значит, ты летом любишь кататься на санках!..

Попробуй тут удержаться от смеха! Клянусь, никогда в жизни мы столько не смеялись.

Оглядываемся по сторонам и видим — чуть ли не весь лес остался позади. Да, но Арету-то мы встретили

не в лесу. Как это мы тут оказались? И опять нас разбирает смех. Встретились на пашне, а очутились в лесу. Идем, смеемся. Тащим ее мешок. Провалиться мне сквозь землю, до сих пор не пойму, как мы дошли до дому!

Мы и после не раз ходили на мельницу и в грозу и в ведро, и опять надрывались под тяжестью мешков, и у нас подкашивались ноги. Но мы не могли догадаться, что стоило нам зайти за Аретой — даже удлинив путь ради нее, даже взвалив ее мешок поверх своего, мы ни за что не устали бы и посмеялись бы вволю.

ДОЖДЬ НА ПРОСЕЛКАХ

Начались каникулы. Настало время, когда у студентов только и остается денег что на дорогу домой. У меня же и тех не осталось, но Арчил оказался практичнее, чем можно было ожидать. «Поедем ко мне», — предложил он, и я согласился. Поживу у него денек-другой, подумал я, а там видно будет.

Мы приехали в полдень.

— Надо подождать машину, — сказал Арчил.

После поезда мне совсем не хотелось трястись в машине.

— Если это не очень далеко, пойдем пешком.

— Боюсь, как бы дождь не прихватил нас в дороге.

С запада действительно ползла темная туча и вот-вот грозилась закрыть солнце.

— Брось! — сказал я. — Прихватит, и ладно!

Арчил не возражал, и мы пошли. Арчил спешил: его ждали мать, сестра, а я шел за ним, стараясь не отстать. Арчил сворачивал куда-то, приговаривая: так будет короче. Мне было все равно, и я сворачивал за ним: короче так короче. Потом дорога круто поползла вверх, и, только мы одолели подъем, показалось село, и тут упали первые капли дождя.

И вдруг мне представилось: продрогший, промокший, хоть выжимай, в грозу, подходишь к дому; хозяин поздоровается с тобой и, уж не до церемоний, — подбежит к камину, подбросит дров; а ты натянешь на себя какие-нибудь сухие обноски, штаны и рубаху, и присядешь к огню. Ноги в шерстяных носках лежат на поленьях, а за окном льет и льет как из ведра. Небо темно, и сумрачно за окном, разве что вспыхнет молния, и только

красные отсветы пламени дрожат и мечутся по комнате. По усталому телу растекается тепло и разносит сонную сладостную истому. Тебе лень даже шевельнуть ногой, хотя носки вот-вот задымятся, лицо пылает, и глаза краснеют от жара, тяжелеют веки, ты зеваешь сонно, и дремота незаметно одолевает тебя.

Никогда мои предчувствия не оправдывались в такой мере.

Хлынул ливень, словно небо прорвало. Откуда взялось там столько воды? За минуту мы промокли до костей. Когда мы вышли на проселок, дорога уже размякла и превратилась в топь. Земля пахла сильно и густо, видно, дождя не было давно. Земля взбухла, как на дрожжах, и налипала на ноги. Побежали ручейки, стекаясь в канавку на обочине. Мы так умаялись волочить отяжелевшие ноги и так разогрелись, что то и дело задирали головы и подставляли лица дождю, и в эту минуту не было на свете ничего лучше крупных, прохладных капель, хлещущих нас по щекам.

— Ну, брат, кажется, добрались! — вздохнул Арчил, глядя на возникший в мутной сетке дождя высокий дом с красной черепичной крышей.

— Который? — спросил я. — Тот, что поближе?

— Нет, тот дом моего дяди. А мой вон, на взгорке. Журавль колодезный видишь?

— Вижу.

— Так он у меня во дворе стоит.

— Ну, утешил... А то хоть не иди дальше!

Не прошли мы и десяти шагов, как из проулка нам навстречу вырвалась огненно-красная корова и побежала на нас.

— Не пускай ее, будь другом! Не пускай! — донеслось из проулка, и мы увидели девушку в коротеньком дождевике, накинутом на голову и плечи.

— Эй! Эй! Стой! — крикнул я и замахал руками, но корова обежала меня и грузно затрусила дальше. — Арчил! Держи ее! — Но у Арчила в руках был чемодан, и он только неуклюже затоптался на месте.

— Ох, извините!.. Я и не знала, что это вы, — услышал я за спиной. — Ачико, оставь ее, бог с ней...

Перед нами стояла промокшая насквозь тоненькая девушка с запачканными до колен длинными ногами.

— Это ты, Туса? — удивленно произнес Арчил.

— Не узнал?

— Как не узнать! — Арчил улыбнулся и сдул каплю, повисшую на кончике носа.

Узнать-то он ее узнал, но было видно, что помнил ее иной. Я никогда не видел Тусу, но я понял, что и Арчил не знал ее такой, какой она была сейчас.

— Познакомься,— сказал Арчил. — Это мой друг.

Туса не подала мне руки: напротив, она немного отступила, повела из-под дождевика чуть косящими глазами и кивнула. А я смутился: такой верзила, и не смог задержать ее коровы.

— У вас слишком своенравная корова,— сказал я.

— Уж извините...

— А она-то хороша! Не посчиталась с нами! — пошутил я.

— Перед Арчилом я не стала бы столько извиняться, но вы в первый раз у нас... Ужасно некрасиво получилось.

— Как мама? — спросил Арчил, чтобы не дать мне снова заговорить о корове.

— Хорошо,— сказала Туса. — Почему ты ей не пишешь?

В ту минуту я пожалел, что Туса не была знакома с моей мамой.

— Она жаловалась тебе?

— Да, жаловалась. — И добавила: — Она всем жалуется.

— А как же корова? — перебил я Арчила.

— Черт с ней! — сказала она и засмеялась, чтобы смягчить этого «черта». — Ну ее...

— Дома будут сердиться.

— Ясно, не похвалят, но... вы совсем промокли... Идите, что же вы стоите! — и она ступила вперед.

— Туса, а вы близко живете? — спросил я, опасаясь, что Арчил забудет пригласить ее.

— Близко...

— Вы соседи с Арчилом?

— Да, — сказал Арчил, — мы живем рядом.

— Загляните к нам вечером.

«Хорош! — спохватился я. — Сам в гостях и гостей приглашаю».

— Туса у нас своя. Она и без приглашения зайдет.

— Я и без приглашения приду! — повторила Туса и приподняла ногу, выпачканную в грязи. Мы оба увидели эту ногу и платье, облепившее ее выше колен.

— Обязательно приходите, Туса. Тем более, если вас не надо приглашать.

Туса взглянула на Арчила, засмеялась и побежала. Ее следы сразу заполнились водой и стерлись. Туса бежала, а мы смотрели на платье, облепившее ее длинные ноги.

— Пошли,— сказал Арчил, не глядя на меня.

Мы пошли дальше и уже не жаловались на усталость, на непрекращающийся ливень, и я не спрашивал, далеко ли до дому. А Туса бежала по проселочной, и ей было стыдно, что она босиком, что сатиновое платье облепило ее и что ее ноги почти до колен запачканы грязью. А Арчил, наверное, злился на меня за мои настойчивые приглашения. Если б я пригласил полтора десятка его соседей парней, он и не подумал бы упрекнуть меня. Арчил мой хороший друг, и я не сомневаюсь в нем. Арчил прекрасно понимает, что я не стану объясняться Тусе в любви и тем более просить ее руки, да и он сам, мне кажется, не думает жениться на ней, но я знаю, что сейчас он злится на меня. Он знает и то, что не сегодня-завтра меня уже не будет в этой деревне, и неизвестно, когда еще суждено мне приехать сюда. Может быть, и сам он никогда больше не встретит Тусу вот так, на проселочной. Потом Туса выйдет замуж, и Арчил не будет даже знать об этом, а когда узнает, то вовсе и не огорчится. Мы опять будем друзьями, но он не считает нужным сказать мне, что Туса вышла замуж, решив, что я не помню ее. И сам он вспомнит только то, что была девушка в промокшем сатиновом платье, у нее были длинные ноги и глаза ее чуть заметно косили. Все это он увидел неожиданно-негаданно дождливым днем на проселочной. Ему станет немного грустно, словно у него отняли что-то доброе и хорошее. Станет грустно, что его матери некому пожаловаться на сына...

И я, если когда-либо приеду к ним снова, не смогу больше пригласить Тусу и тем разозлить Арчила...

Есть у нас, у людей, маленькие боли и радости, которые в обычные дни не напоминают о себе, как не напоминают о себе раны, нанесенные перочинным ножиком. Лишь иногда, когда после долгой засухи хлынет ливень, и набухшая земля облепит нам ноги, и запахнет землей, грозой и летом, мы вспоминаем о них, и наша печаль тиха и спокойна.

ДЕВУШКА В БЕЛОМ

Я сдал последний экзамен, попрощался с друзьями, сложил в чемодан все свои вещи: зубную щетку, розовый душистый обмылок, бритву, карманное зеркальце, пузырек с чернилами и маленькие ножницы со стершимся никелем. Книги и общую тетрадь с лекциями перетянул шпагатом. Сел на первый попутный грузовик, пересел на другой и к вечеру с волнением открыл калитку родного дома. Вошел и обнявшей меня маме тихо шепнул на ухо:

— Вот я и вернулся, мамочка.

...Председатель принял меня радушно, дружески похлопал по плечу и, словно доверяя какую-то тайну, сказал:

— А знаешь, что мы сделаем?

Я отрицательно покачал головой.

— Назначим тебя бригадиром. Ты молод, техник-агроном. А старина Гермоген пусть отдохнет.... Ну, как?

Дела у Гермогена шли из рук вон плохо. Он поставил, и председатель уже не мог на него положиться. Полевые работы еще кое-как, но по сбору чая его бригада занимала последнее место.

Я взялся за дело с душой: вставал с первыми петухами и до поздней ночи был на ногах. Бегаю как угорелый — то в гору, то под гору. То у одного двора кричу:

— Сардион!..

То у другого:

— Ивлитэ, Ивлитэ!.. Не подведи, ради бога, не зарежь без ножа!

А этот чертов Бесо! И на кой шут завел он такого пса? Боится, как бы женихи у него дочь не похитили, что ли?..

— Двигайся живее! Ты чего тащишься, как черепаха!

...Наконец всех обошел. Теперь — в поле. Оттуда — на плантации. А там весь день мотайся... Сами понимаете: определить сортность, взвесить, погрузить и отправить чайный лист на фабрику — обо всем надо позаботиться. Шоферы вообще-то народ горячий, но и им не мешает в огонь масло подлить.

...Иду и думаю: давай-ка сегодня прямиком махну — канал, наверное, обмелел. Свернул с проселочной. Иду и радуюсь, не знаю чему... Не тому ли, что впереди много работы, что я бригадир, техник-агроном... что совета у меня спрашивают. И очень хорошо на душе.

Может, оттого, что моя мама никак от счастья в себя не придет: дождалась, мол, сына наконец, или оттого, что наберу трудодней и куплю себе новый костюм, переложу покосившуюся от дождей стену...

Шагаю себе между заборами.

Красивое у нас село! Тополя растут... Уже в феврале цветет ткемали. У каждого свой виноградник, а перезревших груш на земле даже поросята не трогают. Все дома стоят на высоких сваях. Скоро мы построим свой клуб.

Вышел я за село, и тут начались кочки, овражки, ухабы. Перепрыгиваю через овражки, обхожу промоины. Вот ручей бежит. Здесь всегда грязно — и в мокреть и в жару. По обочинам растут гранаты.

Раньше село было здесь, было все равно, где жить, — везде бездорожье. Но потом поднялись все и переселились поближе к новой дороге — так было лучше.

Да... Вдоль обочины растут гранаты.

Чтобы не угодить в грязь, отклоняюсь в сторону, еще, еще, и... бух, — гранат по голове, как здоровенный кулак. Что за черт! И кто только гнал меня сюда! Грязь, кочки... да еще какой-то лохматый пес выскочил на дорогу.

Ах, да! Где-то в этой стороне живет Тебро... Вот и старенький домик, без окон, крытый тесовой крышей. Бедная Тебро. Только сейчас я вспомнил о ней. Да и не мудрено: в эти-то края и раз в год не забредешь. Даже собака отвыкла от прохожих. Не отобьешься от такой.

Бедная Тебро!.. Наверное, ей помогает колхоз. Иначе что бы она делала. Мужа у нее нет, да и детей тоже... Хотя что я — ведь у нее была дочка... Конечно, помню, помню...

Ее звали Циала, или Цицино...

— Пошел, дурной!

Цицино, конечно, ее звали Цицино... Она была на два класса младше меня. Худая, бледненькая девочка. Часто болела и без конца пропускала занятия. Так она доучилась до пятого или шестого класса. А потом зимой был страшный снегопад...

С тех пор я ее больше не видел... Хотя нет. Однажды я встретил ее в городе, тщательно закутанную, ее куда-то вела старенькая Тебро.

— Пошел, говорю! Да что ты прицепился ко мне!

В школе Цицино всегда жалась в сторонке. Стояла где-нибудь у стены на солнышке и оттуда наблюдала, как играли дети. Однажды кто-то сорвал с нее косынку и выбросил. Цицино не погналась за обидчиком. Ни слова не сказав, продолжала она стоять у стены. По ее бледному лицу струйками текли слезы. Учение давалось ей с трудом. Из-за этого она часто плакала.

После занятий мы с криком и шумом выбегали из школы, пели, смеялись, дразнили друг друга. А Цицино возвращалась одна. Медленно, опустив голову, бледная и печальная.

Что за пес у этой Тебро! С цепи, что ли, он сорвался!

Где сейчас Цицино? Уже две недели я здесь. Каждый день в поле, в конторе — везде успел побывать, а ее нигде не встретил. Может, уехала? Но куда она могла уехать? Может, вышла замуж?

— Батура, сюда! Сюда... на место, будь ты неладен!

Во дворе старушка собирает в корзину опавшие груши. Тебро всегда была очень сутулой, а теперь совсем сгорбилась.

Постарела, бедняжка.

— Здравствуй, тетя Тебро!

Она медленно выпрямилась, посмотрела в мою сторону и стала неловко потирать руки. От смущения, что ли...

— Дай бог тебе здоровья, сынок! — Она снова взялась за корзину.

— Как себя чувствуете, тетушка?

Она направилась к забору и, потирая руки, тихо запричитала:

— Постарела, сынок, постарела, дай бог тебе счастья... до времени постарела.

Я поравнялся с калиткой.

— Заходи, сынок! Мужчина — дорогой гость в нашей бедной семье.

— Не могу, тетушка. Тороплюсь по делу.

— По какому делу? — посмотрела мне в глаза, покачала головой и, словно извиняясь, сказала: — Не узнаю я тебя. Стара стала...

Я назвал свое имя.

— Наконец-то мать тебя дождалась! Заходи же, сынок. Мужчина войдет во двор — дерево улыбнется. Если бы и моя мальчиком родилась...

— Да. В самом деле... Цицино...

— Ты не забыл ее?

— Где она? Не больна ли?

— Дома она. Где же ей быть...

— Отчего же я ее до сих пор нигде не встретил?

— Будь счастлив, сынок, спасибо, что спросил о ней. Заходи, дорогой. Нет у меня ничего, но хоть груш отведай. Или, может, холодной воды выпьешь?

Я не хотел ее обидеть и не стал отказываться.

— Да, тетушка, конечно. Холодная вода, по мне, лучше любого вина.

Я шагнул во двор и замер.

В приоткрытых дверях старого дома стояла женская фигура, вся в белом. Только я взглянул — она исчезла.

Тебро поставила передо мною табуретку, принесла воды в глиняном кувшине. Кувшин местами был залеплен воском. Не отрывая взгляда от дверей, я выпил два стакана студеной воды. В доме было темно. Я сел под деревом, прислонился к стволу. Тебро протянула мне грушу. Я долго держал ее в руках, словно никак не мог сообразить, что же с ней делать. Что-то меня беспокоило, что-то тревожило, казалось, чьи-то глаза неотрывно следят за мной.

— Что, сынок? Или груша тебе не понравилась? — услышал я голос Тебро. — У нас в конце двора сливы растут... Ты любишь сливы? Я принесу.

— Нет, нет, тетушка. Не беспокойтесь. Груша очень вкусная...

Я еле проглотил непрожеванный кусок.

— Тетушка, а ваша дочь... она здорова?

— Нет, сынок, не здорова. Если б она была здорова, и горя у меня никакого не было бы.

— А что с ней?

— Не знаю. С детства она у меня слабенькая была, да так и не окрепла...

— А врачи?

— Врачи? — Тебро махнула рукой. — Врачи... не знаю, говорят, малокровие, затемнение легкого. Ты, наверное, знаешь, что это такое.

— Затемнение... Это не страшно... сейчас это лечат.

— Твоими бы устами мед пить, сынок. Но есть ничего не ест, от друзей-ровесников отстала. Одно время

навешали ее, веселее она была, потом надоело им по этой грязи добираться. Недавно, правда, доктор сказал, что ей лучше, а только она все плачет по ночам. Тихо так, не хочет, чтобы я слышала. Но разве от материнского сердца скроешь?

— Где она, можно ее повидать? — спросил я.

— Сейчас... сейчас она. — Тебро замолчала, смущенно отвела взгляд. — Сейчас... Не убрано у нас.

— Хорошо, я ухожу. — Я повернулся к калитке. — Ухожу, но вечером обязательно зайду еще раз.

Я приподнял покосившуюся калитку, закрепил ее, посмотрел на двери старого дома и вышел на дорогу. Собака бросилась было на меня, но я не обратил внимания.

Спустился в долину. Канал совсем обмелел, но я все же промочил ноги. Выйдя на плантацию, я едва не наступил на отдыхающего в тени колхозника, потом ушиб ногу о культиватор. Несколько раз сообщали мне вес собранного листа. Я не запоминал. Сбегал к навесу, отправил машину... Все еще утро — до вечера далеко. До вечера — целая вечность.

Привезли воду. Повар не торопясь принимается варить обед.

— Эй, шевелись, уже полдень!

Он лениво щурится на солнце, потом на меня.

Сборщики опорожняют корзины, оправляют платья, косынки. Кто-то поет, кто-то хохочет, прямо заливается.

Повар не спешит.

— Вот увидишь, опоздаешь с обедом, — тороплю его я.

Он опять щурится, вытирает руки о белый передник, вытаскивает большие карманные часы, потом смотрит на меня и все так же лениво продолжает работать.

Я проверяю, как собран лист. Меня зовут:

— Бачуа, сюда, Бачуа!

Опять кто-то хохочет, до слез, до обморока... В тени, под эвкалиптом поют.

— Бачуа-а-а!

...Вечером я не стал дожидаться машины и пошел напрямик огородами.

Перешел вброд канал и взбежал на пригорок. Иду, пробираюсь сквозь кусты, прыгаю через овражки. Тороплюсь. И кажется мне, что кто-то давно, очень давно ждет меня...

А вот и дымок из трубы; дом, старенький, ветхий дом под тесовой крышей. По мне, тесовая крыша лучше... В дождь целую ночь стучат по ней тяжелые капли и рассказывают подслушанные у моря сказки. По мне, тесовая крыша лучше.

Где-то здесь из земли сочится ручей. Тут всегда грязно, и в непогоду и в жару.

Собака отвыкла от прохожих, кидается, лает.

Двери дома открыты. Кто-то сидит на балконе.

— Цицино?!

Увидела меня, встала... Я подошел к калитке. Девушка скрылась в доме.

— Батура, сюда! Сюда, негодный пес. — Это вышла Тебро.

Я открыл калитку осторожно, чтобы опять не завалилась. Нет, не завалилась. Я удивился, прикрыл ее и увидел: одна створка проволокой привязана к столбу.

— Дай бог тебе счастья, сынок, и в самом деле пришел!

— А как же... — говорю, придерживая калитку спиной.

— Падает... все время падает, чтоб ей сгореть!

— Да нет, тетушка, она хорошо привязана.

— Привязана?.. — удивилась Тебро и начала причитать. — Не слушалась она меня сегодня, совсем не слушалась. В конце двора у нас сливы растут. Так она взяла корзину, да и на дерево... До сих пор сидела на балконе и даже платка на плечи не накинула.

— Ничего, тетушка, ведь не холодно.

— Это-то так, но ведь на одних лекарствах держится.

Вместо лестницы к балкону был приставлен плоский камень. Я ступил прямо на старый пол, и он недовольно заскрипел.

В комнате уже зажжена лампа. В углу, на высокой кровати, я увидел Цицино. Вся в белом, она словно светила в полумраке. Я шагнул к ней и подвернул ногу: пол был очень неровным.

И словно откуда-то издалека до меня донеслось:

— Войдите...

— Мир этому дому, — почему-то тихо ответил я.

Тебро подвела меня к кровати.

Цицино поднялась, и в мои протянутые к ней руки легла маленькая, хрупкая ладонь.

— Здравствуй, Цицино...

— Здравствуй,— опять донеслось откуда-то.

— Как ты себя чувствуешь?

Я хотел еще что-нибудь сказать, хотел пошутить, но не смог.

— Спасибо...

— Цицино... Я давно тебя не видел. После семилетки я поступил в техникум... если приезжал, то раз в год... А теперь я уже окончил техникум, совсем окончил. Теперь...

— Садись, дорогой, садись,— подвинула мне стул Тебро.

Цицино тоже присела на кровати. Тебро накинула ей на плечи темную шаль и вышла.

— Теперь...— бессвязно продолжал я начатые извинения. — Я буду часто заходить к тебе... А что тебя беспокоит?

Цицино молча посмотрела на меня. Никогда я не видел таких длинных ресниц. Она ничего не сказала, но ее глаза словно доверили мне какую-то большую тайну.

— Цицино!

Она опять не сказала ни слова, опустила голову, перебирая бахрому шали.

Стало тихо. Лампа тускло освещала темные стены. Белая как полотно Цицино в белом сатиновом платье со следами голубых узоров казалась на фоне ветхих стен сказочной.

— Цицино! — Я хотел сказать, что сейчас ей, конечно, лучше, но передумал. — Да... ты знаешь,— я поднялся, потом опять сел,— я сегодня здорово устал...

Цицино взглянула на меня.

— Тысяча дел, черт побери! Каково одному за всем поспевать. — Я вдруг почувствовал, что начал хвастаться, но сидеть молча было еще хуже, и я заговорил опять. — Что делать с чаем, Цицино? План выполняем, но и перевыполнить было бы не худо. Чаю много — рабочих рук не хватает... Нет... хватать-то, конечно, хватает, но если бы их было больше, это ничуть не помешало бы. — И не знаю, откуда взбрела мне в голову такая мысль, но я добавил: — А ты нам не помогаешь...

И прикусил язык.

Цицино сперва удивленно посмотрела на меня, потом

вдруг улыбнулась, обнажив ряд таких ослепительных зубов, что я зажмурился. Эта улыбка прибавила мне сил. Заложив руки в карманы, я стал вышагивать по комнате.

— Да, да, не помогаешь... Все ленитесь, товарищ, все ленитесь!

Цицино снова улыбнулась.

— А почему? Кто знает почему. Просто не хотите нам помогать, и все!

Улыбаясь, Цицино тихо сказала:

— Не хочу.

— Вот, вот именно — не хотите,— продолжал я, обрадованный,— работать, так у вас желания нет, а если бы,— и черт знает откуда опять взбрела такая мысль в мою голову,— а вот если бы вас спросили о замужестве, если бы жених хороший нашелся...

Цицино опустила голову, но было видно, что улыбка не сошла с ее губ, и я заторопился.

— Конечно, скажете, работа вас не достойна! А мы что?.. Чем мы хуже вас?

Цицино подняла голову, продолжая улыбаться... Никогда я не видел таких длинных ресниц.

— Ведь ничем не хуже. — Я встал перед ней, подбоченился. Она смерила меня взглядом с ног до головы.— Как видите — не хуже.

Я чувствовал, что ей очень хочется посмеяться над моим дурачеством. Но она опять только улыбнулась.

— В самом деле, не хуже,— повторил я.

На этот раз она не выдержала, откинула голову и расхохоталась звонко, весело. Темная шаль сползла у нее с плеча. Переведя дух, она взглянула на другое плечо и легким движением освободилась от шали...

Мне вдруг захотелось обнять ее, сильно прижать к себе и бежать... бежать с нею, не знаю куда. В поле, к морю, в лес, к черту, к дьяволу,— все равно куда... Но бежать... бежать... и чтобы Цицино смеялась, смеялась...

Пужинали. После ужина Тебро принесла сливы. Никогда в жизни я не ел столько слив!..

Поздно вечером Тебро провожала меня до калитки. И в десятый раз благодарила.

— Дай бог тебе, сынок, многих лет жизни... ведь не забыл... и в самом деле пришел!

— Я и завтра приду, тетушка...

...Утром я встаю, когда кричат первые петухи. И — сразу за работу. То в гору бегу, то под гору. То у одного двора кричу:

— Сардион!

То у другого:

— Ивлитэ! Ивлитэ! Не подведи, ради бога! Лучше уж своей рукой зарежь!

— А этот Бесо! Чего ради он такого пса держит, когда у него дочку похитили?

— Эй, выгляни, где ты там!

— Что такое... сколько свадеб — и в самый разгар работы.

...Красивое у нас село. В каждом дворе растут тополя. Весной цветет белая акация. Виноградники — голубые, мы их опрыскиваем купоросом... А перезревших груш даже поросята не трогают. У каждого свой дом, утопающий в густой, сочной зелени, и мы уже начали строить клуб.

...Радуюсь я, не знаю чему. Наверное, тому, что не бездельничаю, тому, что я бригадир, совета у меня спрашивают, тому, что мама наконец дождалась меня. Осенью куплю новый костюм и подремонтирую дом...

Сворачиваю с проселочной, выхожу за село... и начинается бездорожье, шагаю, прыгаю, карабкаюсь.

Вот пробивается ручей... Хочу обойти лужу, отклоняюсь в сторону, еще, еще и... бух! — гранат по голове, как здоровенный кулак.

Собака бросается на меня, лает до хрипоты. Она отвыкла от прохожих.

— Цицино-о-о!

В первый день — молчание. В первый день даже не ждала.

На второй:

— Цицино-о-о!

Она приоткрывает дверь, улыбается.

На третий день:

— Цицино-о! Довольно спать, выходи!

И она выходит. Улыбается, смеется.

— Цицино, выйди же во двор!..

И Цицино выходит во двор, неслышно ступает по росистой траве, выходит за калитку и идет вдоль забора, провожает меня.

— Цицино-о-о!

Цицино у калитки.

— Цицино-о-о!

Цицино на дороге.

— Цицино-о-о!

— Цицино-о-о!

— Цицино, пойдем на плантацию! Мы будем идти медленно, будем часто отдыхать... Ты поработай чуточку... а если захочешь — совсем не работай, просто так пройдишь.

И, представьте себе, Цицино идет. Даже корзинка у нее готова.

— Осторожно, Цицино, осторожно... не надо так быстро... вот сюда, здесь сухо. Ты не устала? Выйдем на поляну, и ты отдохни... и у канала отдохнешь. Я перекину доску через канал... тебе нельзя мочить ноги... Ты отдохни.

Я нащупываю твердую землю, но Цицино не дотягивается до кочки, и... ноги у нее по щиколотки в воде.

— Цицино... что это? Цицино... ведь ты простудишься. Цицо, вернись.

Она улыбается.

Мы выходим на поляну. Слава богу, хоть отдохнет сейчас, снимет тапочки, высушит... куда торопиться?

— Отдохни, Цицино.

— Нет.— Она качает головой.

— Ты не устала?

— Нет!

— Переверни корзинку и сядь на нее. На траве роса — ты простудишься.

— Нет! — снова отказывается Цицино.

— А что же мы будем делать? — беспокоюсь я.

— Побежим!

— Побежим?!

Она хватается меня за руку.

Я не успеваю произнести ни слова. Мы уже бежим. Несемся как ветер.

— Цицино! — шепчу я.

Цицино смеется, тянет меня, и мы бежим, несемся, легкие, как ветер...

— Упадешь! — кричу ей громко.

Цицино смеется, прыгает через овражки, кусты, летит, как белая бабочка, и смеется. Вот обежали колючий куст. Нет. Я обежал, а она не смогла, задела... выронила корзину, зацепилась платьем...

— Цицино, платье! — закричал я испуганно.

Что же нам теперь делать! Это ведь ее единственное платье!

— Стой же, Цицино... Остановись! Цицино! Мы угодим в канал!

И угодили. Студеная вода перехватила дыхание. Я словно проглотил язык. До нитки промокшая Цицино хохочет звонко-звонко.

— Бачуа... Бачуа! — зовет меня и смеется...

Я тяну ее к берегу, тяну, насильно сажаю на пригорок, на яркую траву, и прошу ее успокоиться, прийти в себя, прошу, уговариваю...

— Да, Бачуа... да, Бачуа. — И смеется.

Потом ложится, раскинув руки, на траву, на цветы.

Она забыла, что платье у нее порвалось, щеки ее пылают и дыхание становится частым. Она смотрит на меня... Я никогда не видел таких длинных ресниц...

А Цицино смеется... смеется...

ВДОВЬИ СЛЕЗЫ

Как бы не так, Лукана-долговязый! Не жрать твоим лошадиным зубам до тех пор... Не выйдет у тебя с Дарико!

Может, ты на что-то надеешься? Может, оттого, что она в тот раз ни слова тебе не сказала, ты решил — все, баба твоя?

Чтоб тебе не встать до тех пор!!!

Хоть бы уж на человека был похож, несчастный...

Что же ты, ростом собираешься охмурить вдову или своим лошадиным ржанием? Ты, как буйвол, сверкнул тогда глазищами... Что, теплы были ее бедра?

Или Дарико ее несчастья не хватит, бессовестный? Хотела помочь тебе мешок перенести, пожалела: надорвется, мол,— а ты, как проклятый, как раз тогда и споткнулся о корягу.

Что? Скажешь: из-за мешка недоглядел...

Ох, утра не видеть твоим бесстыжим глазам! Что же ты в ее сторону свалился и бабу под себя подмял?!

Хорошо еще, свекор ее болен... Будь он здоров — не пришлось бы ей связываться с тобой.

Сейчас небось радуешься в душе: Сардионова вдова, мол, на коленях у меня сидела...

Лукана! Если есть у тебя хоть капелька совести, как ты можешь так думать. Если бы ты приволок

какую-нибудь в дом, а потом протянул бы ноги, разве Сардион позволил бы себе такое?

А потом, когда ты отнес муку, а Дарико и на глаза тебе не показалась, не стыдно тебе стало? Видела тебя Дарико, видела, да не показывалась!

Или ты хотел еще раз споткнуться и упасть на нее?

Даже мельком нигде ты ее не увидел, так и ушел, оставив мешок на балконе. И с арбы оглянулся, как будто невзначай, между прочим. И опять ее нигде не было.

Как ты не сгорел от стыда?

Неужели и после этого думаешь: на коленях, мол, вдова у меня сидела?

Стыдно тебе!

Четыре года носит Дарико черный платок, четыре года дрожит над слегшим от горя свекром и, ей-богу, ни разу голову не подняла, цвет неба позабыла... Как же ты смел подумать о ней такое? Где твоя совесть, Лукаиа!

После того дня Даро ни разу не просила тебя отвезти зерно на мельницу. После того дня Даро просила об этом других соседей, а иногда и сама взваливала на плечо мешок и шла... Да, конечно, свекру очень неприятно: разве пристало женщине мешки на мельницу таскать. Но теперь не те времена, которые помнит свекор. На уборку чая женщины ходят в сторону мельницы. И Даро занесет на мельницу пуд зерна, оставит, до вечера чай будет собирать, а вечером зайдет... и готова мука.

Часто случаются попутчики, иногда арба нагоняет. То один поможет, то другой. Бывало, что и самой пришлось тащить перехваченный посередке бечевкой мешок. Иной раз ночь заставляла ее в дороге. Там, где начинается дубняк, страшновато ночью, но в этих местах редко кого встретишь, а если кто и попадется, то поздоровается почтительно и пойдет дальше.

Недолго осталось ей ждать. Вот уже новую мельницу строят в центре села. Хорошее дело — электричество...

Да, так лучше для Дарико. И незачем ей просить Лукаию. Пусть лучше она помучится, чем за мешок помола позволит долговязому валять себя, как дыню в подоле.

Два раза проезжал после этого дылда мимо ее двора и оба раза оставался ни с чем... А сам как будто не обращал на нее внимания. У других, мол, соседей беру зерно, вот видишь — арба полна мешков.

Но Даро знает, что за червь гложет эти лошадиные зубы.

Сегодня кончилась мука у Даро, вытряхнула остатки. Свекор хоть и встал, но не настолько крепок, чтоб идти на мельницу. Придется ей сходить и в этот раз. Вот-вот должен приехать долговязый на своей арбе, но Даро опять отпустит его несолоно хлебавши. Может, хоть тогда дойдет до этого мерина, что не станет Сардионова вдова стелиться под него каждый раз, когда он споткнется.

Она сходит в амбар, вынесет кукурузу, попросит свекра помочь ей и управится до вечера.

Сейчас засуха. Кукурузу нельзя оставлять на мельнице. Сборщицы чая уже не ходят в ту сторону. Все работы перенесены на другой участок, к каналам.

Пока рано. Она, конечно, успеет размолоть зерно. До вечера обязательно надо успеть. Кому охота каждый день тащиться в такую даль. К тому же на днях этот мерин появится и, довольный, заржет:

«Чего ты спешила, гого! ¹ Я не мог отвезти этого, что ли?»

Девочка! Какая она девочка! У нее муж был и семья осталась! Как же можно ее, вдову, девчонкой называть!..

Уже, пожалуй, шесть лет никто не называл ее так. Это и он знает, но...

«Девочка...»

Господи, какая я ему девочка!..

...Даро взвалила на плечо мешок, надвинула черный платок на брови и пошла.

Она быстро будет идти и успеет до вечера.

А ты, долговязый... не дожидаться тебе того дня. Вот уже скоро построят новую мельницу, и останется Лукаиа с разинутым ртом.

Когда вдова подходила к мельнице, солнце уже расплылось, растеклось по небу. Она сорвала с головы платок, удивилась:

— Отчего так тихо? Может, я заблудилась?

Нет, она не заблудилась. Вот и старая бревенчатая

¹ Гого — девочка; так часто обращаются и ко взрослой.

мельница, крытая побелевшей от мучной пыли черепицей. Но почему-то не слышно ни шума, ни плеска... Двери открыты, но мельника не видать.

Даро осторожно вошла в сруб. Мешки были навалены один на другой, мучная пыль окутала все, нигде было ступить. Даро опустила мешок на пол и вышла поглядеть на запруду,— мельник, присев на корточки, затыкал щелл в маленькой плотине.

Не хватало воды. Потому-то и набралось столько зерна. Дарико долго ждала мельника.

Хоть бы уж поскорее домой отпустил,— забеспокоилась она.

Мельнику и самому неприятно было задерживать вдову.

— Если бы бункер не был заполнен...— пожалел он и пустил набравшуюся воду.

Вода стремительно побежала по узкому желобу, упала на лопасти колеса, и из тяжелых жерновов, показалось Даро, послышалось ржание Лукаии-долговязого. Даро испуганно огляделась.

«Не убежишь, не убежишь, не убежишь!» — смеялся Лукаиа где-то рядом.

Слышишь, Лукаиа! Даро устала, ей хватит и своих забот. Ты лучше оставь ее, язва, не то она не даст себя в обиду.

Мельник закрепил мешок над бункером и стал засыпать зерно.

«Куда убежишь, куда убежишь, куда убежишь!» — опять заржал Лукаиа.

Эй, долговязый! Ты лучше ступай своей дорогой. Даро не из тех, с которыми можно позабавиться. Уж лучше женись. Напрасно ты таскаешься за Сардионовой вдовой.

«Не убежишь, не убежишь, не убежишь!» — не отступает долговязый.

Мельник выгреб муку и обернулся к Даро.

— Если подождешь, перемелется вот это и в первую очередь... — извиняется старик.

Даро только сейчас вспомнила, что уже стемнело. Вскочила, выглянула за дверь. Солнце закатилось, оставив землю наедине со звездами.

Мельник опорожнил ее мешок.

«Не убежишь! Не убежишь!» — захрипели жернова.

Кто знает, может, ты и раньше косился на Дарико, потому и не обзавелся своей семьей. Ты хоть теперь подумай о себе. У Дарико не злое сердце... нет. Ну что ж, что судьба обидела ее? Она никого не винит в этом и чужому счастью не станет завидовать. Найди свою дорогу, Лукаиа, свое счастье найди, несчастный...

Вдруг жернова, словно осипнув, захрипели тише. Мельник вышел на плотину и перекрыл воду.

Стало тихо.

— Дедушка! Что ты сделал, дедушка?! — вырвалось у Даро.

Далеко в тишине послышался протяжный скрип арбы.

— Кто-то еще целую арбу везет на помол, — пробормотал мельник.

Скрип приближался, слышался все явственней. Даро пробрала дрожь.

Арба подъехала к мельнице и встала. Мельник выглянул из дверей и, прежде чем поздороваться, спросил:

— Ты что, для крыс, что ли, это привез?

В ответ раздалось длинное ржание.

Даро закрыла глаза и прислонилась к столбу.

— Будет дождь, — говорил Лукаиа. — Не бойся, старик, будет дождь. А не будет — и черт с ним...

Даро сорвалась с места.

Если Лукаиа увидит ее здесь... Нет, не дай бог! Нет... Лукаиа! Отчего ты ног себе не обломал?! Отчего не перевернулась твоя арба! Почему мост под тобой не провалился? Что за злой ветер занес тебя сюда! Только этого ей не хватало, только этого!

Нет. Она должна убежать. Лукаиа не должен увидеть ее здесь...

А мельник? Что скажет мельник? Кто знает, может, старик даже обрадовался в душе: нашел, мол, вдове попутчика.

Нет, нет... Пусть говорит, что хочет, пусть, что хочет, думает! Она не может поехать с Лукаией через все эти поля, через этот густой дубняк, по темной, пустой проселочной...

Как ей потом свекру на глаза показаться!

Нет, лучше убежать.

Лукаиа занес огромный куль, бросил его в темноте на другие и зажег спичку. Мельник пустил по желобу воду, и опять заржал Лукаиа.



«А теперь куда убежишь, а теперь куда убежишь!»
Даро хотела встать, но не смогла и повернулась спиной к вошедшему.

Лукаиа зажег коптилку.

— Это ты, гого! Чего же ты спешила? Или я не мог отвезти?

Даро хотела промолчать, но потом испугалась чего-то и еле выдавила:

— Я не знала... если б я знала.

Лукаиа не расслышал ее голоса в мельничном шуме, вышел, вернулся со вторым кулем, с трудом обхватив его и широко ступая.

— Чего ты ищешь, Кимоте? — спросил он мельника и, не выпуская мешка, обернулся к нему.

— Мешочек... пустой мешочек был здесь, — суетился старик.

— Мешочек, — повторил Лукаиа, — найдется, куда ему пропасть, — и еле сообразил опустить свой куль на пол.

«Мерин!.. Настоящий мерин!» — подумала Даро.

Лукаиа перетащил все мешки и сел.

— Эх, засуха... — вздохнул он и стал закручивать самокрутку.

Про Даро он как будто и не помнил, как будто забыл, что она здесь. Поднес к коптилке свернутую, как мутака, сигарку и затянулся.

Ох, хитришь, Лукаиа, хитришь!..

Потом стал помогать мельнику выгребать муку.

Что, торопишься? Поскорее бы кончить это и выйти на дорогу...

В бункер снова засыпали зерна.

Лукаиа завязал мешок, поднял его, остановился в дверях и сказал:

— Будет дождь, верно тебе говорю. — Потом обернулся к Дарико: — Ты что, не идешь, гого? — и заржал.

«Мерин!..» — опять подумала Даро и, как побитая, поднялась с места. Споткнулась о мешки, встала, опять споткнулась и, пошатываясь, пошла к дверям.

На дворе было темно. Она прислонилась к косяку и не смела ступить ни шагу.

— Идешь ты или нет?

Торопится!

— Я здесь, видишь? — окликнул ее Лукаиа, по-видимому спрыгнув с арбы.

Даро бросилась в темноту.

Пусть хоть здесь, при мельнике, не трогает ее...

— Вот арба.

— Вижу, — прошептала она. Хотела закричать: «Руку, руку пусти!» Но Лукаиа не держал ее за руку.

Тяжело двинулась арба.

Лукаиа шагал рядом, держась за поручень. Даро сидела, спрятав голову меж рук. Арба подпрыгивала, гро-

мыхала на изъезженной, изрытой дороге и со скрипом катилась дальше.

— Чего же ты над осью села,— сказал Лукана,— пересядь вперед, а то растрясет.

Катилась арба, и рядом шагал Лукана, а мельничный шум становился все тише и тише...

— Ну-у... стой, стой! — слышался голос Лукани.

Быки пошли медленнее. Колеса несколько раз перекатились через булыжники. Арба стала.

— Ой! — вскрикнула Даро и подняла голову.

Арба стояла над запрудой.

Чего ты хочешь, Лукана? Почему остановил арбу? Ведь здесь мост, сумасшедший, мост! Все дороги сходятся здесь!.. Кто-нибудь нарвется на нас. Ей хватит и своего позора... Не нужно ославлять ее на всю деревню. Хоть бы уж через мост перешли, свернули с дороги,.. а лучше подожди до леса, до леса подожди. Ведь лес, ведь вся дорога еще впереди!.. Лукана! Только не здесь, только не здесь! Не у моста! Слышишь, долговязый, не тронь, не тронь ее на этом мосту! Весь мир ходит через этот мост!..

Лукана перешел через мост. В одном месте мост был проломан. Он отыскал пролом, запомнил его и вернулся к арбе.

...Лукана, переведи арбу через мост, а там... черт с ним!

Лукана удлинил веревку, привязанную к рогам быков, слегка стегнул их, и арба двинулась через мост. Колеса взобрались на насыпь, Лукана осторожно объехал пролом, еще раз стегнул быков. Арба покатила смелее, быки побежали по скату и оставили аробщика позади. Он неторопливо приближался к арбе. Сейчас уже не спешил долговязый.

Догонит... сейчас догонит.

Быки пошли медленнее.

Догонит, ненасытный... только не здесь, не посреди дороги. Подожди до леса...

Он уже в десяти шагах. И быки, ему на радость, пошли медленнее.

Что с того, что сейчас ночь, что луна закатилась... Ведь это дорога. Какой-нибудь запоздалый путник пройдет или охотник...

Лукана уже в трех шагах от арбы.

Слышишь, долговязый... не делай так, чтоб вдову закидали камнями, не выставляй ее к позорному столбу.

Он уже рядом, взялся за поручень...

Мерин... настоящий мерин...

Даро спрятала лицо в ладони. Нет. Она не может видеть, как долговязый, задрав ногу, упрется коленом в арбу, потом подтянет вторую ногу, и не станет слышно его шагов. Арба накроется назад.

Лукаиа, ты хоть с дороги сверни. Ну... ладно. Ладно! К черту все, только с дороги, с дороги сверни, нена сытнй!..

— Ты что, гого, не пересела вперед?

— Нет... я сейчас,— пролепетала вдова и обеими руками сильнее вцепилась в поручни.

Смотри-ка, какую хитрость придумал... «не пересела», говорит. Арба, мол, растрясет тебя... А сам вот сейчас вскарабкается, встанет на арбу, обнимет ее... Нет, не дай бог... и как будто не хочет, чтоб ее растрясло, как будто о ней беспокоится... Лукаиа, только не так сильно, знай меру, вот уж действительно мерин! Ведь ты буйвола можешь одним ударом свалить, осторожно... осторожнее! Не поломай ей ребра... не раздави женщину о свою грудь.

...Ты, верно, даже целоваться не умеешь. Откуда тебе знать, что такое нежные ласки... Лукаиа, твоими зубами шкуру рвать... Не будь таким зверем, не опозорь вдову.

Что? Не можешь! Не можешь иначе, зверь ты эдакий! Но лица, хотя бы лица не трогай! Черт с ним, тело одеждой прикрыто... руки, плечи, грудь, все можно прикрыть... только лица не трогай.

Вот шея... у Даро тонкая белая шея. Ладно, она повяжет ее завтра, притворится простуженной, будет нарочно кашлять, ты только лица ее не трогай...

Медленно катится арба по изъезженной, усыпанной камнями дороге, и рядом, держась за поручень, шагает Лукаиа.

Что?.. Ах! Шагаешь как ни в чем не бывало... Будто бы пожалел женщину и здесь, посреди дороги не позволил себе ничего. А в лесу ни совести с тебя никто не спросит, ни чести, ни человек тебя не увидит, ни бог. Или грех, совершенный в лесу, не грех?

А вот и лес уже близко... Что же тебе там помешает. Делай что хочешь... останови арбу под деревом, и всю

ночь Даро должна будет умолять тебя: отпусти, ради бога, отпусти домой... Я завтра буду твоя и послезавтра... Только свекра не своди с ума, он ведь ждет...

Поначалу ты даже не станешь слушать. Поначалу впустую она будет шептать. Потом ты не поверишь и заставишь ее поклясться. И она поклянется, что будет вечером ждать тебя в лесу.

А что ей останется делать? Разве может она изменить клятве? Или разве ты отстанешь от нее так легко?..

Не надо, Лукаиа, не задерживай ее так долго. Ты не знаешь, какой у нее свекор. Ты не знаешь, что значит попасть на язык всей деревне. Поверь ей, Лукаиа. Даро не станет обманывать. Она придет, обязательно придет... Как только стемнеет, она будет на месте, как только уснет свекор. Все дела закончит пораньше, успеет все, с десятидневной работой справится за день и придет. И послезавтра придет, и потом... Только сейчас не задерживай ее слишком... Ну что в самом деле, человек же ты, что за чудище сидит в тебе ненасытное!..

Арба уже катится в густом дубовом лесу, и рядом, взявшись за поручень, шагает Лукаиа, сопит, вздыхает. Наверное, выжидает удобного места.

Лукаиа, отпусти на время. У нее семья, свекор... и совесть ее грызет. Женщина не может, как ты, махнуть на все рукой. Ты, Лукаиа, мужчина, ни жены, у тебя, ни детей. Тебе и слова никто не скажет.

Лукаиа!

Лукаиа, смотри, чтоб не сорвалось нигде у тебя с языка, не сболтни где-нибудь об этом... Лучше уж своею рукой убей ее.

Не только ни слова, ты должен дальше держаться от нее после этой ночи. Мужчина должен беречь имя женщины, как веко глаз бережет... как веко глаз бережет, слышишь ты, мерин...

И в этом лесу лучше не оставаться долго.

Потом... Потом Даро сама придет в этот лес, знаешь, туда, где густой кустарник. Там в одном месте, в самой чаще, крохотная полянка, вся усыпанная старой, опавшей листвой...

Ты думал, ближе сюда? Там, где разрослась ежевика и скрыла лужайку от человеческих глаз?

Там высокая и густая трава — это верно. Но трава хуже, Лукаиа... ты же мерин, ты дерево сомнешь, не то что траву.

А на другой день пройдет там кто-нибудь. То место близко от села, так обязательно пройдет кто-нибудь, и выдаст нас смятая трава. Нет, Лукаиа, послушай меня. Там лучше... там гуще лес, вокруг кусты и ни одной травинки. Там даже раз в год никто не пройдет. Правда, далековато, зато нас никто не услышит. Будешь же ты говорить что-нибудь, не станешь же молчать, как немой, как сейчас молчишь.

Левое колесо наехало на пень, медленно взобралось на него. Арба накренилась, колесо соскочило с пня...

— Лукаиа! — вырвалось у Даро,

Лукаиа скручивал самокрутку. Сперва не ответил, смочил языком бумагу, слепил, сунул в рот, потом зажег спичку, глубоко затянулся и спросил:

— Что случилось, гого? Думала: опрокинется? Я-то здесь для чего...

— Да, на тебя...— Вдова некоторое время безмолвно шевелила губами и наконец решилась:— На тебя я надеюсь, Лукаиа.

Лукаиа выпустил длинную, белесую струйку дыма.

— Ну и не бойся.

Нет, Даро не боится тебя. Сейчас ей нечего бояться. Там, у моста, она боялась. Там нельзя было... ведь нельзя было, Лукаиа, согласись...

Арба медленно катилась вдоль неровной дороги. Колеса со скрипом взбирались на пни, на камни, перекатывались через крепкие корни деревьев, падали оттуда, проваливались в рытвины, колдобины и медленно катились дальше.

Лукаиа широко шагал рядом и пускал струйки крепкого махорочного дыма.

Кончился лес.

...Лукаиа! Кончился лес, Лукаиа! О чем ты думаешь!.. Вот уже первые окна светятся...

Село началось.

...Чего же ты медлил, мерин ты эдакий. Сейчас, уж коли люди ничего не узнают, собаки увидят, прикурнувшие на деревьях куры встрепаются. Что ты наделал, Лукаиа! Что за черт сковал тебе руки! Ну, куда ты здесь спрячешься от людей?

Арба заскрежетала по камням.

Залаяли собаки.

Лукаиа выкурил самокрутку. Оттянув локти, заложил хворостину за спину.

Лукаиа! Что же ты!.. Смеешься над ней? Будто не хотел насильно, оттого и не тронул ее...

Ты ведь знаешь, что она ни слова не сказала бы тебе... ты это хорошо знаешь. Она и сейчас не издаст ни звука, будет молчать, как рыба...

Лукаиа, смотри: вот дом!

Ее дом! Что ты делаешь? Как ты смеешь, чумной! Вдову у ее калитки хочешь опозорить! Вся бесконечная дорога, вся ночь была в твоих руках. Зачем ты так?..

Арба остановилась у калитки.

...Ну вот, Лукаиа, стала арба... Дождался-таки наконец. Вспрыгнешь на арбу, сграбастаешь ее...

В бога ты не веришь... нет для тебя ничего святого! Здесь, в тридцати шагах, спит ее свекор...

— Ты что, не сойдешь, гого?

...Она сойдет, сойдет, Лукаиа. Куда же ей еще деваться. Вот встанет и шагнет... Ты протянешь к ней руки, будто хочешь помочь, но не дашь ей ступить на землю...

...Лукаиа, в лесу было не страшно... Здесь другое дело. Ты хоть отпусти ее сразу. А завтра она придет, куда хочешь... куда прикажешь.

Лукаиа не протянул ей руки. Он потянулся за мешком.

Даро встала у перелаза через плетень.

Вот... до этого места ждал Лукаиа.

Лукаиа, осторожнее на этих кольях...

Ах, если б доска была набита...

Лукаиа понес мешок к перелазу.

Даро замерла у плетня, закрыла глаза и прижала руки к груди. Когда возле своего уха она услышала его дыхание, задрожав, простонала:

— Мерин... ох, мерин!

Лукаиа опустил мешок там же, у ее ног. Он хотел перенести его в двор, но вдова закрывала перелаз, и ему не удалось это сделать.

— Спокойной ночи, гого.

ПАРНОЕ МОЛОКО

Вечерело.

Пело вынесла из коровника тяжелую кринку, полную парного молока. Понадежней прижала ее левой рукой к груди, а правой задвинула щеколду. Из-за двери до-

носился шелест соломы. Обхватив кринку обеими руками, Пело направилась было к дому, как вдруг ей почудилось, что у загона, за узким перелазом, кто-то стоит. Войдя в кухню, она оглянулась, но ничего не увидела: покосившийся плетень огорода загораживал перелаз. Ногой толкнула она дверь, вошла в комнату, поставила кринку на стол. Так и подмывало выйти, проверить, нет ли кого у загона, но она не решалась. Да и кому там быть, у загона, где вечно не просыхает рыхлая, липкая грязь?

Двор перед домом ровно и плотно зарос травой, железные ворота, выходящие прямо на асфальтированную улицу, тщательно выкрашены серебряной краской.

«Что это на меня нашло,— покачала головой Пело,— да в эту грязь и палкой никого не загонишь. Померещилось в сумерках, не иначе». И все же решила выйти.

— Чтоб этой кошке провалиться,— обернулась она, не дойдя до двери, но около кринки никакой кошки не оказалось.

Вернулась. Процедила молоко в эмалированную кастрюлю.

Собралась насыпать туда закваски, но снова что-то почудилось.

Накрыла крышкой кастрюлю. Подошла к окну, отдернула занавеску и стала вглядываться в темноту — никого. «Если б кому-нибудь понадобилось, со двора бы зашли». И снова задернула занавеску.

Тускнел огонь в железной печи. Она подбросила пару поленьев, прикрыла дверцу. Дрова разом вспыхнули, оранжевый, яркий свет заплесал в поддувале. Под печкой свернулась кошка, и Пело снова вспомнила о молоке.

«Надо заквасить, пока не остыло».

Подошла к полке, на которой стояла склянка с закваской.

«Это он, непутевый, привиделся...»

Рукой, протянутой было к полке, схватилась за сердце. Хотела побежать к коровнику, но тут же остановилась: ясно, что показалось, откуда «ему» быть здесь?

Плохо одной. Даже собаки не завела. Собаку, как и человека, надо искать хорошую. Да разве на всех напасешься таких?

А какая жизнь в одиночестве?

Как выдала вторую дочку замуж, в чужую семью,

словно вымер дом. Чисто юла была младшая. Минуты спокойно не усидит.

Пройдет время — стерпится Пело с одиночеством. Даже когда «он» пропал, не чувствовала себя такой одинокой. Младшей в ту пору шесть исполнилось, старшей — семь. Вырастить нужно было, вывести на дорогу, где уж тут думать об одиночестве?

И только теперь, когда упорхнули доченьки вить собственные гнезда, Пело, словно ласточка, зазимовавшая в пустом гнезде, почувствовала, как холодна осень. Поэтому-то и «он», непутевый, начал мерещиться.

Кошка приподнялась, потянулась, нежно замурлыкала, привлеченная запахом парного молока.

«Корове корму засыпала, теленка привязала, коровник заперла... Нет, все-таки кто-то там был... Но что ему понадобилось? Зачем полез в этакую грязь?»

Кошка подкралась к столу, косясь на кастрюлю.

— Цыц, нечисть!

«И воды натаскала...» — с досадой подумала она.

Сгущались лиловые сумерки, подступала ночь. «Позже на улицу и носа не высунешь, а пока еще можно хоть что-то разобрать... Вспоминают ли доченьки свою мать?» Пело вышла во двор, пошла к коровнику. У плетня приостановилась, всматриваясь в темноту.

«Господи, заступник, и в самом деле стоит кто-то, чтоб ему неладно было...»

Приложила к сердцу ладонь, прижала локоть к боку, как прижимала недавно, неся кринку.

«В прятки играем,— устыдилась женщина и решительно направилась к коровнику. — Если в самом деле кто-то есть, окликнет».

Она вошла в сарай. Прикрыла дверь. И сразу стало так темно, что, будь у нее тут хоть какое-нибудь дело, поневоле пришлось бы распахнуть дверь.

«Поддай же голос, чтоб язык у тебя отсох».

Прислушалась — ни звука.

«Может, и окликал, да эта ненасытная так хрустит сеном, что ничего не услышать».

Вышла. Задвинула щеколду. Пошла к дому. Никто не позвал ее, но она остановилась.

«Вот-вот стемнеет. Совсем с ума сведет меня этот неладный!»

Теперь уж, не скрываясь, смотрела она в сторону перелаза пристально и долго.

«Конечно, он. Кому ж еще быть?»

— Кто там? — вышло почему-то чересчур громко.
«Ничего, пусть не думает, что боюсь».

— Кто там, откликнись, если живой!

Тень шевельнулась.

«Слышит».

— Заблудился, несчастный, кто ты? — очень мягко спросила женщина, наверное, потому, что очень уж тянуло подойти туда.

Привидение опустило голову.

— Если уж занесло тебя в такое место, так шагни через перелаз и выйди двором.

Привидение не шелохнулось.

«Он это, он!»

Пело неторопливо подошла к перелазу и оглядела мужчину, застывшего у плетня. Ей было хорошо известно, как может измениться человек за шестнадцать лет, потому сразу и узнала его.

— Анду! — вырвалось у нее.

На нем была железнодорожная фуражка с кокардой, а волосы на висках совсем белые. Он молчал, не поднимая головы, и только теребил сухой стручок акации.

— Андукапар, ты?

Вещей при нем не было.

— Как будто я не знаю, что это ты! — сказала женщина, но почувствовала, что эти слова лишние. Замолчала. Говорить было не о чем.

Мужчина стоял по ту сторону плетня, словно ожидая ответа.

Какого ответа? Он когда-то сам все решил, напялил эту фуражку с зеленым кантом, сел на поезд — только его и видели.

А сейчас преспокойно торчит у плетня и на поезд не боится опоздать и ее не торопит, дает время подумать, все взвесить.

Стоит себе в грязном загоне, где никто не помешает, не увидит.

Ни один человек из всей деревни не сможет вмешаться сейчас в их отношения, наставлять их, ссылаясь на неписанные законы.

«Всегда был таким, — вспоминает Пело, — умел подобраться к бабьему сердцу».

Теперь мужчина очищал прутик акации, сдирая с

него сухую кору. У нее было время подумать, хотя и раньше не раз думала об этом.

Но сейчас почему-то особенно отчетливо вспоминалось, как умел подмазаться этот «непутевый».

Совсем стемнело.

«И время подходящее выбрал,— ей захотелось улыбнуться,— небось, не выйди дочки замуж, не пришел бы... Или если б давно вышли... Знал, когда явиться, и дорожку нехоженую выбрал».

Чуть ли не за достоинство готова сейчас счесть это его умение.

Ей не хотелось увидеть его сейчас несчастным, потерянным, жалким. Не думала и о том, что прошло уже шестнадцать лет с той поры, как была она женой этого человека. Вспомни Пело сейчас про эти годы — и близко бы не подошла.

Женой-то она была. Но за давностью лет почти забыла, как это было, и сейчас она просто женщина. А к женщинам он всегда умел подъехать.

«Пожалуй, больше шестнадцати прошло...» Она вспомнила минуту расставания, и ей захотелось, чтобы «тот день» отодвинулся еще дальше, хотя бы на год. Но нет, все равно больше шестнадцати никак не выходит.

«Знал, когда объявиться... Приди он раньше... Или задержись... Сумел выждать и в такое время подгадал, чтобы заметить можно было. Часом позже — и за чужого принять недолго, а то и вовсе впотьмах не заметить. Засветло — поостерегся, чтоб в глаза не заглянули. По глазам ведь все узнать можно...»

...Прутик акации, ободраный почти до конца, белеет молочным лучиком.

«Скажу, чтобы отправлялся восвояси. Да разве послушается после того, как я столько маялась? Знает, когда в самом деле гонят, а когда нет».

«Может, и не слыхал, что меньшая замуж вышла, и проведать приехал?» И вдруг горько, почти как в «тот день», сжалось сердце.

«Тогда чего бы полез в эту грязь и ждал ночи?»

— Андукапар, Тина замуж вышла.

Мужчина едва заметно кивнул. Несмотря на темноту, женщина заметила кивок и продолжала:

— Если б загодя узнал, пришел бы поздравить?

Мужчина покачал головой.

«Знает, когда прийти. В ту пору и дети и родичи на порог бы не пустили».

Свадьбу справляли в доме Пело, так она бы в тот день и дверь не открывала.

— Обо мне небось не вспоминал... — Она прикусила язык — не стоило говорить об этом.

Мужчина продолжал возиться с прутиком.

— Удачная семья у... — Она не нашлась, как сказать о дочери — «наша» или «моя», и замолчала.

Мужчина то ли не понял, то ли ему было не до того, но он, казалось, не слышал ее.

Женщина посмотрела на него.

«Хоть бы дождь начался или похолодало, можно было б в дом пригласить: пережди, мол, обогрейся. А как сейчас быть, ума не приложу».

— Ну, что ж, ступай, Андукпар!

Ей показалось, что он тоже не может решить, как ему быть, и поспешно добавила:

— Ты же знал, что здесь черт ногу ломает. Пройди через двор. Кто тебя увидит в этой темноте...

Мужчина шагнул через перелаз.

Она пошла впереди, но перед самым домом замешкалась: тропинка расходилась здесь на две: одна — к крыльцу, другая — к воротам. Конечно, можно проводить его до ворот. Но потом каково будет? Опять одна? Неужто забыла, как ждала эти шестнадцать лет? Как коротала бессонные ночи?..

О, самолюбие, самолюбие, сколько долгих тоскливых ночей на твоей совести?

Пело пошла к воротам.

Мужчина потоптался на месте, потом покорно, как на поводке, последовал за ней.

Когда проходили мимо дома, женщина остановилась:

— Андукпар, ту сливу, что здесь росла, срубили. Высохла.

Андукпар безошибочно повернулся к тому месту, где было деревце.

«С какой это стати я отчитываюсь перед ним? — рассердилась на себя Пело, но тут же смягчилась: — Дерево ведь им посажено было... Вот и мимо крыльца прошли... Не возвращаться же теперь?.. Нужно было к дому свернуть, да что теперь сетовать...»

Она шла к воротам, а он переминался с ноги на ногу, словно ждал, когда натянется ослабевший поводок.

— Чего ты ждешь? — оглянулась на ходу женщина. Поводок натянулся. Мужчина поплелся за ней, словно теленок, которого насильно тащат от матери.

«Дойдем до ворот, а там как знает, не захочет — пусть не уходит».

Он бесшумно ступал по мягкой траве. А ей хотелось слышать его шаги. Хотелось показать ему персиковые саженцы, но он не имел к ним никакого отношения, и она прошла мимо.

У ворот ее поджидали шестнадцатилетняя разлука и одиночество, и ей захотелось разреветься.

«Господи, хоть бы ливень, хоть бы ураган, хоть бы светопреставление...»

Промчавшаяся по дороге машина на мгновение ослепила их светом фар. У женщины затеплилась надежда.

— Не пойдешь же ты к двоюродным братьям в такую поздноту?

Он отрицательно покачал головой.

«Еще не так поздно, успеет и к поезду».

— И к родственникам неудобно заявиться! — Хотела посочувствовать, а вышло словно упрек.

«Если начну упрекать, значит, помирилась. К бывшим женам за наставлениями не ходят».

А она самая что ни на есть бывшая.

Пело бесшумно отодвинула засов.

«Неужто так и вытолкаю, как забредшего соседского бычка?»

— А твой лучший друг Кирилл умер, Андучапар.

Мужчина кивнул.

«Все-то ему известно. Да будь Кирилл жив, все равно бы он не пошел к нему».

Медленно отворила калитку.

«Наверное, не ужинал. Неужто отпустить голодным?»

— Да, совсем забыла, ты, может, поесть хочешь?

Он покачал головой.

«Так и знала, не сладко ему с другой, не сладко».

— Если собираешься в деревне заночевать, к Андро не ходи, я с его женой в ссоре.

Опять покачал головой.

«Знаю, что к Андро не пойдет. Ни к кому не пойдет. Наверное, и от своей-то ушел потому, что душа не лежала...»

«Не уходит... А калитка давно открыта... Я тоже не всегда права была...»



Мужчина споткнулся, обходя женщину, и, тяжело волоча ноги, шагнул за калитку.

— Уходишь, Андукапар? А у Талико сынишка родился, не слышал? А Тина второй месяц как замуж вышла. Что же я еще хотела...

Он стоял на дороге, натянув на лоб фуражку.

«Уходит. Так и знала, что уйдет!»

Не было сил терпеть эту пытку.

— Андукапар, у меня молоко там, побегу я...

Она повернулась к дому, ноги не слушались.

— Прощай, Андукапар!

«В загоне такая грязь... Хоть бы ботинки почистил...»

Но на середине двора все же обернулась.

— До свидания, Анду! — хотела крикнуть, а вышло так тихо, что стой он у ворот, и то не услышал бы.

Вбежала в дом, захлопнула дверь, упала на тахту. Шестнадцатилетнее одиночество встало рядом.

«Ох, самолюбие, самолюбие, много грехов на твоей совести!»

Когда в печи погас огонь, кошка прыгнула на стол и припала к кастрюле, полной теплого еще, парного молока.

ИГРА

У бабушки было три сына, но, сколько я помню, она всегда жаловалась на одиночество.

— Эх, старость не радость, сынок! Где ж это слышано — человека на божью волю покидать! — вздыхала она. — Лишил господь разума, дала детям книгу в руки...

Приезжала она в город к сыновьям, привозила полные хурджины, котомки, сумки. И упреки...

На следующий же день бабушка собиралась назад. Суетилась, увязывая опустевшие хурджины и сумки, потом хватала меня за руку и говорила:

— Хоть ты присмотри за своей одинокой бабкой! Отец виновато улыбался.

Мама хмурила брови и, одевая меня, бормотала:

— Тебе гланды нужно вырезать. Какое время в деревню? Прошлой ночью вспотел, разметался так, что чуть не свалился с кровати. И не укрываешься никогда... А ты радуешься!..

Да, я радовался.

Я радовался деревне, зеленому двору, зеленым проселкам, крутым подъемам и спускам, тропинкам, изгородям из гранатовых кустов, просторной поляне с огромным деревом дикой груши посередине, босоногим пастишатам...

...И Жужу.

У Жужу были горящие, как угольки, глаза, черные-пречерные волосы, смуглое от загара личико, но звали ее Жужуной¹.

Мне и сейчас кажется, что все Жужуны черны от солнца, с глазами, как жаркие угольки. Они очень любят ежевику, как кошки лазают по деревьям, а задумавшись, рассеянно перебирают камешки маленькими пальчиками и внимательно слушают небылицы о городе.

В деревне я всегда носил короткие штаны, а Жужу синее в белый горошек платьице без рукавов с большим красным карманом. Ей шили куцые, узкие платья из остатков маминой материи, у мамы же никогда не оставалось столько, чтобы хватило и на карман. А карман был просто необходим Жужу. Она носила в нем осколок зеркальца, гребенку с поредевшими зубьями, пять круглых камешков, несколько стеклянных бусинок в спичечном коробке и единственную янтарную горошину с четок.

Нет, Жужу очень, ну, просто очень был нужен карман.

— Жужу!

— Эй, Жужу-у-у!

Жужу перепрыгивала через плетень, хватала меня за руку, и мы бежали.

Сначала мне было трудно бегать босиком. Меня все кололо: сухая трава, камешки, песок. Я то и дело останавливался и потирал ладошкой босую ступню.

Но куда там — Жужуна бежала дальше, а мимо нас бежали дворы, огороды, виноградники, проселки, лес. И, наконец, поляна...

Жужу знала, где росли самые вкусные фрукты, где больше всего желтых сыроежек, где самая спелая ежевика.

На Жужу не лаяли даже самые свирепые соседские псы, и ее не бодали коровы, пасущиеся на поляне.

— Жужу, обдерешься о ежевику! — кричал я и прыгал вокруг колючего куста, не решаясь подойти поближе. — Стой, Жужу!

Но Жужу не царапала ежевика.

— Жужу, на что нам столько грибов? Мы только ноги исколем!

¹ Ж у ж у н а — голубой цветок.

Но Жужу не кололи колючки.

— погоди, Жужу, не лезь на дерево! Ветер-то какой... Ты упадешь!

Но она уже вскарабкалась почти на самую верхушку. Ветер с силой раскачивает верхушку дерева, Жужу кидает из стороны в сторону!

— Жужу, ветка... подломится ветка! Спускайся! Потом... потом сорвешь...

А Жужу лезет еще выше.

— Жужу! — в отчаянии кричу я.

Качается ветка, раскачивает Жужу из стороны в сторону, а она срывает одну грушу, потом вторую... Жужу не торопится. Вдруг ветка согнулась в дугу, как натянутый лук.

— Жужу, хватит! Я не люблю!.. Я совсем не люблю груши!

Жужу смеется, срывает самую спелую грушу на макушке дерева. У нее очень большой карман.

Я ношусь вокруг дерева, размахиваю руками, подбегаю к стволу и кричу до хрипоты:

— Жужу, я не хочу груш!.. Клянусь, не хочу! Спускайся!

Она опять смеется, садится на ветку, потом быстро спускается вниз.

Я провожу рукой по глазам и спрашиваю:

— Почему ты не послушалась меня?

Жужу сует мне грушу, хватая за руку, и мы опять бежим. По ногам хлещут лютики, ромашки, осыпаются головки одуванчиков, высокая трава царапает колени.

— У-ух! Пчела! Укусила пчела-а-а!

Жужу увлекает меня к дикой груше. Я опускаюсь под деревом на траву, Жужу задирает вверх мою ногу и осторожно выдавливает жало. Потом, разжевав зеленый грушевый листок, прикладывает к укусу.

Лодыжка у меня распухла, но боль стихает, высыхают слезы. И я начинаю рассказывать: я говорю о том, что здесь деревня, здесь лютует ветер и ветки деревьев в любую минуту могут подломиться под тобой... а когда ты бежишь себе по лугу, вдруг на тебя налетает злая пчела и кусает.

А там, в городе...

О, там я сам вожу настоящий трамвай, взбираюсь на пятый этаж по водосточной трубе, сплю на крыше громадного дома, а однажды в цирке я спрятался между

стульями и, когда все разошлись, вылез и прошел по канату.

Жужу слушает, опустив голову, перебирает в кармане камешки и разноцветные стекла, глядит исподлобья и моргает черными, как угольки, глазами. Не поймешь — верит она или нет. Когда соглашается, закрывает глаза, когда не верит — тоже закрывает.

Жужу очень любит рассказы о городе.

— Жужу!

Жужу слушает.

— Жужу, а ты не бывала в большом городе!

Жужу вспыхнула, смутилась.

Она не была в большом городе.

— Жужу, поедем к нам!

Она опустила голову. Видны только ее длинные ресницы. Молчит.

— Поедем, Жужу! Наш дом стоит на холме, оттуда виден весь город. Мы будем смотреть на него с балкона днем и ночью. Он очень красив днем, но нужно видеть его ночью... А потом пойдем в кино — кино совсем рядом. Потом в цирк. Ты знаешь, какой там цирк! Поедем в город, Жужу! Не бойся, ты не потеряешься, я буду всюду водить тебя за руку, нам будет хорошо. На переходах я переведу тебя через дорогу. Ты ничего не бойся! Я всегда буду рядом... Там уйма магазинов, я куплю тебе все, что захочешь. Ты любишь конфеты? А большую куклу?! Там много пестрых материй... Я куплю тебе на платье, Жужу. И на рукава хватит, и на большой карман, и еще останется. Ты будешь в нем как бабочка. Поедем в город, Жужу!..

Жужу хлопает ресницами, но я не могу понять — согласна она или нет.

Я уже позабыл о пчелином укусе. Беру Жужу за черную от загара руку и веду по городу.

От дикой груши до кустарника, объединенного скотиной, раскинулась площадь. Высокий куст похож на памятник. Площадь кишит машинами, но я знаю, когда можно ее пересечь. А Жужу не знает, Жужу ждет. Я озираюсь по сторонам, потом тяну ее за руку, и мы бежим. Ах, я поторопился!.. Теперь лучше обождать, пока проедут машины, и не суетиться. Даже если машина направляется на тебя, не бойся. Она объедет, ты только не мельтеши, иначе и шофера с толку собьешь.

Жужу стоит рядом, не суетится, ждет.

— Вот теперь побежали!

И мы бежим.

Обходим высокий куст — замечательный «памятник»! Снова и снова мчатся машины, мы бежим, но тут откуда-то вылетает машина с красным крестом. Мы стоим не шелохнувшись. И только собрались бежать, слышу — сирена. Жужу тоже ее слышит. Где-то пожар. Красная машина мчится на нас, но Жужу знает, что теряться нельзя, нужно стоять не двигаясь.

Наконец выходим на опушку. Тут спокойно и тихо — машины по тротуару не ездят, но мы все равно держимся за руки, я боюсь потерять Жужу в толпе.

— Вот здесь продают книги. Хочешь, я куплю тебе? Жужу хлопает ресницами.

Хотеть-то она хочет, но ведь она не умеет читать. Это не беда. Я куплю ей книгу с одними картинками.

— В этом доме — музей. Ты знаешь, Жужу, что такое музей?

Сам я отлично знаю, что в музее лежат обломки камней, разбитые кувшины, ржавые кинжалы, пистолеты и ружья.

— Ты не бойся, Жужу, из этих пистолетов нельзя стрелять, и из ружей тоже. Они висят просто так, чтобы на них смотрели.

— А вот здесь... О!.. Здесь бисквиты, печенье, разные пирожные и конфеты в цветных и серебряных бумажках, и... подушечки, но на что тебе подушечки, если я куплю тебе в обертке или даже шоколад. А может, ты хочешь и подушечки тоже? Пожалуйста, как знаешь. Воля твоя...

А вот это — кинотеатр, но сюда я приведу тебя вечером. Мы идем вдоль леса, огибаем опушку — высоко на холме цирк. Перед цирком висят большие афиши. На афишах нарисованы медведи, зайцы, лошади. Жужу видела лошадей, но это совсем не такие... Лошадей-то она видела, а слона? А морских львов? Мы купим билеты и в воскресенье пойдем в цирк на утреннее представление.

Там, где зеленеет ряд акаций, — магазины, дальше, в ольшанике — универмаг. Это большущий магазин, в нем можно купить все, что угодно.

Я выбираю для Жужу материю на платье. Желтую в красную полоску или зеленую с цветами? А может быть, ей по душе фиалковый цвет?

— Жужу, пожалуйста, выбирай...

Жужу не выбирает.

Жужу хочет, чтоб я сам купил ей материю, которая мне нравится.

Я прошу продавца выбрать самую лучшую. Вон ту, что лежит наверху... Нет, пониже. Да нет же!.. Ладно, пусть будет эта... А может, у продавца под прилавком найдется что-нибудь особенное, припрятанное для знакомых? Жужу в первый раз приехала из деревни, а для знакомых он и потом сумеет выкроить... Нет, отрезать не надо, мы берем все. На платье должен быть карман своего цвета.

Ведь Жужу очень нужен карман.

Солнце припекает.

Мы осматриваем город.

Бабушка, верно, давно разыскивает меня, сердится, ворчит.

Мы бежим к пруду. Лягушки с плеском плюхаются в воду. В пруду водятся даже черепахи.

Пахнет стоячей водой, нагретой зеленой ряской.

Мы входим в воду, забираемся в заросли камыша. Пруд, раскинувшийся перед нами,— море. Я похитил Жужу у девятиглавого дэва, живущего за морем. Дэв извергает из страшной пасти огонь, а из ноздрей выпускает черный дым, но я не боюсь его.

— Боишься, Жужу?

Жужу хлопает ресницами. Я знаю, что она не боится. Со мной ей ничего не страшно. Жужу знает, что я не уступлю ее даже стоглавному дэву.

Вдруг Жужу останавливает меня и указывает рукой на поляну.

В чем дело?

Ах, меня разыскивает бабушка! И она, кажется, сердится. В руках у нее тутовая хворостинка.

Я боюсь, как бы и Жужу не досталось заодно со мной, и с виноватым видом говорю:

— Жужу, ты уходи... Беги!

Она стоит и ждет, пока подойдет бабушка. Она не хочет оставить меня в такую минуту.

Бабушка крепко хватает меня за руку и, размахивая перед носом посвистывающей хворостинкой, ругает на чем свет стоит.

— Бабушка, я Жужуне... Жужу, бабушка!!

— Я тебе дам Жужу...

Бабушка чуть ли не волоком тащит меня к дому.

Я оглядываюсь и смотрю на Жужу. Она неподвижно стоит на самом припеке и смотрит мне вслед. Хлопает ресницами и смотрит.

— Ба, Жужу...

Мы идем домой и оставляем Жужу на берегу пруда. Бабушка думает, что мы просто заигрались.

Эх, если б она знала, что Жужу водила меня по всей деревне, показала, где растут самые красивые грибы, не побоялась колючек ежевики, не страшись ветра, сорвала для меня самую вкусную грушу и положила в свой большой карман.

Или если б она знала о нашем путешествии по городу... Сколько удивительных мест показал я Жужу. А потом похитил ее у девятиглавого дэва.

Если б бабушка знала все это...

Ночью меня замучили гланды, подскочила температура. Верно, я разметался и раскрылся во сне. Я пытаюсь скрыть все это, но бабушка силой заставляет меня разинуть рот и шепчет что-то — заговаривает болезнь.

Приезжает мама, вся в слезах, и встревоженный отец.

Бабушка рассказывает им, как я целый день пропадал где-то и как она наконец нашла меня в камышах на пруду.

Мы возвращаемся в город.

Проходит день, другой.

Идем к врачу.

Улицы, площади.

Я стою на балконе и смотрю на город, днем и ночью... Днем и ночью.

Уезжаем на дачу...

Потом возвращаемся, и меня принимают в школу.

После этого я долго не мог выбрать время, чтобы съездить в деревню.

А бабушка приезжала в город, привозила полные хурджины, котомки и упреки сыновьям. Но она уже не говорила мне, как бывало: «Хоть ты присмотри за своей одинокой бабкой...»

Я уже давно не носил коротких штанишек, когда однажды летом к нам опять приехала бабушка. Она повздыхала, поворчала на сыновей, а потом оглядела меня с головы до ног и, словно про себя, сказала: «Присмотри хоть теперь за своей одинокой бабкой...»

...И снова деревня. Зеленый двор, зеленые проселки, широкая поляна, грушевое дерево и Жужу...

— Жужу!

— Жужуна!

Никто не откликается. Никто не бежит ко мне.

— Жужу, где ты? Жужу!

Я подошел к плетню, через который она должна была перепрыгнуть.

— Жу-жу-у-у!

Из дверей соседнего дома выглянул кто-то и опять спрятался.

— Жужу, где ты, Жужу?

Кто-то медленно спускается по лестнице и направляется ко мне.

— Позови Жужу! Где Жужу? — не даю я ей подойти.

— Жужу?

— Да, я хочу видеть Жужу.

— Я Жужу.

— Ты?!

— Да... я. — Девушка остановилась, не доходя до плетня, и посмотрела на меня глазами Жужу, но... Но волосы у нее были аккуратно причесаны, а на лице не было прежнего смуглого загара. Видно, она совсем не любила ежевику и не умела лазить по деревьям. Эта Жужу не смогла бы нарвать для меня спелых груш в самый встречный день, и не было на ней куцевого синего платья в горошек с большим красным карманом.

Девушка растерялась. Она не говорила ничего, но и не уходила. Стояла и теребила пальцами ворот, а когда ветер раздул ее платье, испуганно прижала подол к коленям и, вскинувшись, повторила:

— Я Жужу.

— Ты?.. — Я почувствовал, что голос у меня дрогнул, и, проглотив комок в горле, поспешно пробормотал: — Я хотел видеть Жужу...

После этого я и не припомню, был ли в деревне. Окончил школу. Летом один из институтских лекторов готовил меня к приемным экзаменам. Я познакомился с его дочкой. Мама решила, что это к счастью. И действительно, вскоре я женился и поступил в институт.

Дела шли хорошо. У нас родился сын. Наверное, были бы еще дети, но...

Я окончил институт. Стал искать работу в городе. Это было не так-то просто...

И вот недавно, в жаркий и душный день, жена вдруг сказала:

— Была не была, давай-ка съездим к твоей бабушке. Старуха обрадуется, да и ребенок передохнет.

Бабушка от удивления всплеснула руками:

— Как это вы надумали!

Все были довольны, а сынишка наш чуть ли не до неба прыгал от счастья. Носился по двору, носился, а потом и вовсе исчез из виду.

Мы посидели, поговорили. Пообедали.

Мальчишка не появлялся.

Солнце пошло к закату. Мальчика все нет.

— Что делать, прямо не знаю,— забеспокоилась жена,— прошлой ночью он вспотел. Разметался. Ему гланды нужно вырезать, а он пропадает невесть где...

— Не потеряется,— сказал я и окликнул с балкона:

— Амико-о!

Ни звука.

Я вышел на проселочную.

Амико нет и нет.

Иду вдоль изгороди из гранатовых кустов. В гору, под гору, выхожу на поляну. По ногам хлещут лютики, высокая шершавая трава, осыпаются головки одуванчиков. Вот и огромная дикая груша. Вдруг кольнуло ногу, как от пчелиного укуса. Я хочу побежать к дереву, разжевать грушевый листок и приложить к укусу. Тропинка ведет к объединенному скотом кустарнику. Вот и «памятник», на опушке — книжный магазин, музей, а дальше на холме цирк... В той стороне универмаг, в котором можно купить все, что угодно. В конце поляны — море, а за морем девятиглавый дэв, и...

Боже мой!

Вот и Жужу...

— Жужу! И ты здесь, Жужу!

На берегу пруда в зеленых зарослях тростника и хвоща стоит черная от загара девчонка, смотрит на меня исподлобья и моргает горящими, как угольки, глазами.

— Жужу!

На ней узкое платье без рукавов с большим карманом. Карман другого цвета.

— Жужу, неужели это ты, моя Жужу! — крикнул я, но в ту минуту из камышей выбрался мой сын, подошел к девочке и взял ее за руку.

— Это не Жужу, папа, это Мзеона...

А Жужу молча смотрела на меня исподлобья и хлопала длинными ресницами.

Я не знаю, что случилось со мной, не знаю, что произошло: я же должен был отругать мальчишку за то, что он пропадал весь день, должен был наказать его, схватить за руку и отвести домой.

— Папочка, это Мзеона,— слышу я опять.

На берегу пруда под палящим солнцем стоит Жужу и смотрит на меня. Хлопает ресницами и смотрит.

— Папочка, я и Мзеона...

— Знаю,— перебил я. — Знаю.

Я знаю, что Мзеона водила тебя по всей деревне, помогла найти самые красивые грибы, не побоялась колючек и собрала тебе ежевику, не испугавшись ветра, сорвала самую спелую грушу и принесла тебе в большом красном кармане.

Я знаю и то, что ты водил Мзеону по «городу», по его улицам и площадям, много чего показал ей, много чего накупил в магазинах и, наконец, похитил ее у девятиглавого дэва.

Я знаю эту игру.

ЖЕРЕБЕНОК И ВОЛК

Стройная поджарая кобылка насторожила уши, оторвалась от травы, вытянула шею и оглядела пологий луг до самого ущелья. Потом посмотрела под гору, где над лугом нависала скала, и, не увидев, кого искала, заржала громко и требовательно.

Из оврага, по которому со звоном бежал ручей, показал голову дымчато-белый сосунок и заржал в ответ. Услышь кто-нибудь его голос, не удержался бы от смеха. Но поблизости никого не было. Жеребенок пощипывал травку между цветами, а перед ним, выбирая цветок, порхала большая пестрая бабочка. Жеребенок спустился за бабочкой в овраг, и теперь ему не хотелось покидать отлогий склон, поросший высокой вкусной травой.

Кобыла недовольно фыркнула и заржала сердито.

Бабочка села на пунцовый цветок рядом с одуванчиком и слепила крылышки за спиной: можно было подумать, что она прилетела на одном крылышке. Жеребенку очень хотелось подкрасться и понюхать ее. Ему казалось, что такая красивая и пахнуть должна необыкновенно...

Сверху, с пригорка, опять донеслось ржание, и жеребенок вскинул голову и испуганно и недовольно поглядел туда.

Кобыла топнула копытом.

Жеребенок замотал головой на длинной шее, подбежал к бабочке, но та выпорхнула у него из-под носа и, петляя, полетела вниз по оврагу. Жеребенок остался ни с чем; потерял боком о куст смородины, вздохнул и свободным галопом пустился вверх, в гору.

Кобыла успокоилась и стала щипать травку.

Жеребенок был белый-белый, точно облако тумана, с голубоватыми гривой и хвостом. Некрасивых жеребят не бывает, но мимо этого нельзя пройти равнодушно. Глаза чистые, ясные — ровно спелый чернослив, а храп и ноздри чуть не черные.

Мастью жеребенок вылитый отец и в точности как отец выгибает на скаку шею и отворачивает голову, выставляя породистую грудь. Жеребенок очень гордится сходством с отцом и каждый раз, когда мать сердится на него, думает: «Не топай на меня ногой... Ведь я похож не на тебя».

Разыгравшись, жеребенок крест-накрест пересекает зеленый склон: взбегает вверх, оттуда — галопом вниз, к скале, нависшей над лугом. Хочет обогнуть скалу, но не решается. Оглядывается на мать. Нельзя?.. Иногда мать ржет так громко, точно гром гремит. Нельзя... Жеребенок грустной рысью трусит к оврагу. Заглядывает за обрыв, но бабочки там уже не видно. Зато по берегу ручья, подергивая хвостом, прыгает трясогузка и клюет что-то в песке. Жеребенку хочется сбежать по склону к ручью и спросить у птички, куда делась красавица бабочка, но он знает, что мама очень рассердится, и, расстроенный, покидает обрыв...

А когда жеребенку хочется молока, он сразу добреет к матери и думает, что на нее он тоже немножко похож: хотя бы храпом и глазами...

Сытый, усталый сосунок валяется на траве, задирая ноги и брыкаясь, чешет спину, потом ложится на бок и

сквозь полудрему слышит, как пасется его мать. Мать, на которую он немножко похож.

«Не валяйся,— фыркает кобыла. — Ты уже большой».

Жеребенок кладет голову на землю, трется щекой о траву, смежает веки и вспоминает, как большая и прекрасная бабочка слепила крылышки за спиной, словно прилетела на одном крылышке... Но разве мама даст разглядеть толком: одно у нее крылышко или два! И к трясогузке не подойти, потому что ему запрещено спускаться в овраг; он даже не может увидеть, что делается вон за той горой. А внизу, на дне оврага, растут желтые цветы на высоких стеблях — у него на ногах золотится их пыльца,— и бабочки слетаются к цветам...

Стоило сгуститься сумеркам, как жеребенок уснул. А когда он раскрыл блестящие, как спелый чернослив, глаза, возшла огромная луна. На лугу выпал иней, и было холодно. Кобыла опять щипала траву, но то и дело вскидывала голову и пофыркивала.

«И что она все фыркает,— удивился жеребенок. — Я же около нее».

Кобыла объела всю лужайку вокруг сосунка и теперь выщипывала короткие остатки травы.

«Ну и напрасно. Я ничуть не испугаюсь, если она отойдет подальше».

Жеребенок приподнялся, вскочил на длинные тонкие ножки; от холода по всему телу пробежала дрожь, и он шагнул вперед.

«Надо побегать, согреться. Пусть мама знает, что мне и ночью не страшно».

Жеребенок смешно заржал, выгнул длинную шею, отвернул голову и поскакал, выставя грудь.

Кобыла насторожила уши, фыкнула: «Что это ты ржешь среди ночи!»

«Удивительно,— подумал жеребенок. — А если я иначе не умею?» — И он опять смешно заржал и пустился галопом.

Кобыла топнула ногой; топнула тише, чем днем, но строже.

«Вот дела!.. Не могу же я усесться на собственный хвост, как собака, и сидеть!»

Тут над лугом показался светлячок.

«Ах, какая красота!..» Синие, как сливы, глаза жеребенка просияли, и он пошел за светлячком. Светлячок загорался и гас, загорался и гас, загорался и гас. «Вот

если б я поймал его,— думал жеребенок,— спрятал бы в челке или в ухе, а утром принес бы бабочке, тогда она обязательно раскрыла бы крылышки и позволила бы ее понюхать».

Светлячок летит. Загорается, гаснет, загорается, гаснет, и бежит за ним сосунок, бежит... Бабочка, наверное, никогда не видела светлячка — ведь она спит по ночам, и очень удивится и обрадуется. Раскроет свои крылышки, и он разом вдохнет запах всех цветов на свете...

Кобыла фыркнула.

«Мама ночью не ржет, боится. А я похож на отца. Я смелый, и я не делаю ничего плохого. Я только хочу поймать светлячка, чтобы завтра утром...»

Поодаль, на краю поляны, загорелись два огромных светлячка. Загорелись и не погасли.

«Вот чудеса!..» И жеребенок неуверенно затрусил к двум огонькам.

Никаких светлячков. У оврага над обрывом стояла рослая темная собака с горящими глазами.

Жеребенок был в большой дружбе с собакой хозяина. Правда, мастью они не очень-то похожи, но какая разница? Собака есть собака... Только сейчас жеребенок почувствовал, как он соскучился по своему другу. Что может быть на свете лучше друга, в особенности если друг — собака?

«Наверное, и ей стало скучно,— подумал жеребенок, останавливаясь неподалеку. — Вот и ладно. Ведь мама разрешает играть с собакой...»

Собака подошла совсем близко и присела.

«Очень уж у нее глаза горят. И хвостом вон виляет, и слюну глотает. Верно, радуется...»

Собака обежала жеребенка кругом. Потянула ноздрями воздух. Потерлась об него. Это вышло не совсем по-собачьи. Потом пошла к оврагу и остановилась, оглядываясь: пошли, мол, побегаем у ручья.

Жеребенок фыркнул: почему бы и нет,— и потрусил за ней.

Собака вскинула уши торчком, притихла. Глаза ее вспыхнули ярче.

Жеребенок обмер.

С луга послышалось встревоженное ржание кобылы.

«Ты что там делаешь?» — спрашивала мать.

Но жеребенок решил хоть в этот раз послушаться

мать, наловить с собакой светлячков и утром отнести их бабочке.

И, выставив грудь, он припустил в сторону луга: давай, мол, сперва светлячков наловим, а потом...

Собака вдруг повернулась прыжком, оскалила зубы; глаза у нее сделались совсем как уголья, и она коротко и сердито взвыла.

Жеребенка так и передернуло. От хозяйской собаки он не слышал ничего похожего. «Ничего,— сказал себе жеребенок. — Ничего. Верно, она не хочет лаять ночью...»

И тут сверху, с пригорка, где паслась мать, послышалось громкое, трубное ржание и обрушился топот копыт: жеребенку почудилось, что целый табун лошадей двинулся на него.

«Бедный я, несчастный. Даже с собакой мне не поиграть...»

Кобыла трубила во весь голос, и от топота ее копыт гудела земля.

«Если я сейчас попадусь маме, мне ох как влетит. Убегу-ка я с собакой. А завтра мы найдем красивую бабочку и больше никогда не вернемся сюда...»

Не успел жеребенок ступить и трех шагов, как мать коршуном налетела на него, впилась зубами в шею, как цыпленка, подняла на воздух и стала бить копытами землю. В одно мгновение она вытоптала все вокруг.

«За что? За что!.. За то, что я хотел поиграть с собакой! Мама не любит ни меня, ни папу, ни собак, ни светлячков...»

Жеребенок жалобно заржал, и ясные глаза его затуманились.

«Отпусти...» — еще раз заржал он и рванулся, но мать только глубже вонзила зубы в его загривок, сминая траву, завертелась волчком и потащила сына к скале.

«Я пропал... — в отчаянии думал жеребенок. — Пропал. Прощайте, зеленые луга, крутой пригорок и гора, на которую я мечтал подняться. Прощай, красивая бабочка! Тебя не только я, даже кости мои не забудут...»

Жеребенок ударился головой о скалу, и в глазах у него потемнело.

Очнувшись, он услышал жуткий вой, тяжелое сопение и крик матери и удары копыт. Жеребенок лежал, притиснутый к скале, а кобыла била копытами

воздух, скалу и луну в небе. Иногда опять раздавался жуткий протяжный вой.

...На рассвете, когда побитый волк, поджав хвост, затрусил к лесу, кобыла долго еще держала зубами сына и дрожала всем телом. Потом у нее вдруг отвисла нижняя челюсть и подкосились ноги.

Взошедшее солнце осветило кобылу, лежащую на земле, и жеребенка над ней. Над израненной шеей жеребенка и окровавленным крупом кобылы вились мухи.

Жеребенок стоял над матерью, устало и виновато глядя перед собой. До вчерашнего дня он знал, что как две капли воды похож на отца, что на свете были мать, зеленая трава, цветы, трясогузки и бабочки. Светлячки и красивые бабочки.

У жеребенка был друг — хозяйская собака, умная и преданная. Краем уха он слышал и о волках, но не знал их и не умел отличить от собак.

С прошедшей ночи жеребенок знал волка.

БОЛЬШОЙ ПАРНА

В том самом месте Кавказского хребта, где поток Чкерицкали, слетев с оснеженных высот, собирается уж сменить неумный бег мерным течением равнинной реки, — на пути его встает наше селение.

Селение наполовину горное, наполовину долинное. По южным склонам раскинулись дома, сады, виноградники, а ниже, по берегам плавной остепенившейся Чкерицкали тянутся пашни — и какие! Глядишь — не наглядись!

За верхней окраиной селения река с трех сторон обходит и омывает широченную скалу, на которой еще высятся развалины древней крепости. По обвалившейся стене единственной ее башни наблюдательный глаз определит, что твердыню не раз разрушали и не раз поднимали ввысь. По первоначальной кладке видно — строили ее из мощных гигантских глыб, покорных и послушных искусному мастеру. Его благословенная десница прилаживала и пригоняла друг к другу исполинские камни так, словно возводил он монастырскую ограду. С течением лет беспощадное время и беспощадный враг разрушили крепость на две трети. Глыбы при падении раскололись и разломались на три-четыре части, и уже иной мастер в иные времена, хоть и не подчинил

себе камень подобно своему славному предку, все же отстроил твердыню — отстроил ее на совесть, прочно и основательно. Но появился другой враг, более алчный, но более ленивый, — снес крепость до половины и кинулся скорее грабить, устремился за добычей и поживой. Селение восстало, однако, из пепла и с грехом пополам да подняло крепость из руин. Неумелый строитель пустил в ход и булыжник, и битый камень, не побрезгал даже, галькой, кое-где ему изменил глаз, а может, отвес, но башня снова вознеслась над селением. Потом еще кто-то возжаждал крови и чужого добра и обрушил свои силы на крепость, да, видимо, сам был слабосильный: только и сумел, что сбил зубцы. И снова пытались восстановить башню: залатали ее кое-как — в щебень и гальку даже кирпич затесался, но эти жалкие заплатки и без старания врага недолго выдержали: и теперь разве что по грудам обломков у основания крепости да по развалинам догадаетесь, из чего ее возводили и каков был мастер, но одно несомненно — о твердыне пеклись даже в лихолетье, не забывали о ней и не бросали ее даже в самую тяжкую пору, а это значит — не замирала, не затухала жизнь вокруг нее.

Сколько я помню, путь реке у крепости всегда преграждала пологая каменная стена — в этом месте запруженную повыше мельницы воду отводили по каналу к селению. На канале стояла мельница — крепкий, на долгие годы сбитый сруб под черепичным верхом и с тремя парами жерновов. Сруб был просторный, с довольно большой террасой. Кузница находилась на другом краю селения, кузнец был рябой и тугой на ухо, а подмастерье его — слюнтявый малолеток; поэтому мельница была всем: здесь мололи зерно, делились радостями и горестями, судачили и балагурили, набирались ума и новостей.

У каждого села свои порядки. В иных местах мельником определяют убогого, нерадивого мужика. Такой мельник часто и умом похвалиться не может. Будьте покойны — не так было в нашей деревне.

Семье Датуадзе не занимать было ни хлеба, ни вина, ни усердия, ни трудолюбия, а уж умом... Со всеми невзгодами к ним шли, их умом-разумом разрешали свои nelaды.

Парну Датуадзе я помню с детства. Он уже тогда был в годах, но крепок как камень — в январе по пояс

входил в реку и даже не чихал после, ночью при свете коптилки насекал жернов и с лучиной ловил рыбу. Мельничные ковши у него были уемистые — наполнит до краев кукурузным зерном, пустит по желобу воду, и, пока смелется, он в поле такую борозду проведет, что иному мужику за весь день не под силу окажется. И на мельницу возвращался в самый раз, словно чуял — последние зерна сыплются из ковша. Никто не помнил случая, когда б у него жернова впустую крутились. Был он на мельнице или нет — двери не запирались. Приносили зерно и оставляли. Парна с одного взгляда определял, чье оно. Правда, на мешке и записка бывала или заметка какая, да метка скорее хозяину требовалась — не спутать свое с чужим, — а мельник и без того не путал — узнавал и по тому, сколько было зерна, и по виду мешка, по заплатке на нем и по нитке, не говоря уж о веревочке, которой был завязан мешок, и по узлу, — не ошибался, знал, кто ему что оставил и кому что надо вернуть.

Усадьба его располагалась на склоне и нижним краем упиралась прямо в мельницу. Всю землю вокруг дома занимал сад-виноградник, так и подставленный солнцу.

В ту пору в наших краях распространилась выносливая и щедрая на урожай лоза «цоликаури», виноград «мцване» захирел, стал не в чести — хлопот с ним, говорили, много, а урожая мало. Что верно, то верно: урожай давал мало, зато вино получалось — ни с каким другим не сравнить! Развел «цоликаури» и Парна, но и лозу «мцване» не пустил под топор. Знал ей цену и пожалел.

Парна женат был на девушке из мегрельского селения Мартвили — на медоточивой, сладкоречивой Элпитэ. Слова не говорила без «милый мой» и «дорогой», «ненаглядный», «родной». Парна отличался одним свойством: если он пил и вино ему было по вкусу — пил как следует, но при этом, где бы ни был: на мельнице ли у себя, в гостях у родича или свояка, близко или далеко — сразу же шел домой, пешком ли, верхом ли, отправлялся к себе. И в какой бы поздний час ни возвратился он, Элпитэ ждала его на ногах, с горячей коптилкой и, едва только хмельной муж подходил к калитке, настежь распахивала ее перед ним. И если даже рассвет близился, все равно говорила:

— Чего так рано вернулся, дорогой, чего спешил! Хорошо хоть время провел, повеселился?

— Эуф! — шумно выдыхал Парна. — Скажи, Элпитэ, кто что взял с собой из этого мира на тот свет, а?

— Никто — ничего, милый! Погуляет человек, поселится, и хорошо, а нет, ничего на тот свет не унесет!

И помогала мужу одолеть ступеньки, подставляла плечо — была в том нужда или нет.

— Перепил я, Элпитэ, лишнего хватил! Не надо было столько пить! — Парне и во хмелю не изменяла голова.

— Да что ты, что ты! — возражала жена. — А как же иначе, не чашки-плошки мыть туда ходил!

— Нет, Элпитэ, во всем меру надо знать, говорю тебе: перепил!

— Нет, родной, мог бы еще один рог осушить, и впрок пошло б, как молоко родительницы, упокой господь ее душу.

— Не греши, Элпитэ...

— Воля твоя, Парна, молчу...

Когда Элпитэ и в четвертый раз родила мужу дочку, бедняга чуть не порешила себя с горя. Разве стал бы Парна, с его-то умом, винить жену и упрекать, но сама она изводилась и терзалась.

— Из дому гони меня, родной! Сплети где-нибудь за развалинами пацху¹ да загони меня туда с моими девками, а сам другую приведи, не давай обрываться роду! Мужчиной тебя почитают, и мужчине хранить твой очаг после тебя! А меня не жалей, пропади я пропадом! Не то сгублю тебя, с корнем вырву твой род из этой жизни!

— Не гневи бога, Элпитэ, все одно — что мальчик, что девочка, — все дети!

— Не скажи, милый! Эти четыре дуры и род твой, и честь твою мужскую на чужую постель сменяют.

— Ладно, Элпитэ, хватит! — останавливал Парна жену, поднимая указательный палец, и не кривил душой, благословенный, что думал, то и выкладывал прямо.

Если был на небесах вершитель справедливости, не мог он не даровать Парне сына за его любовь к земле, не то тяжкая вина перед Элпитэ сжила бы его с небес. И мальчик родился.

Через девять дней мать отлила свечу «в девять раз

¹ Пацха — крестьянская хижина, плетенная из веток и крытая осокой.

с ребенка» и тайком отправилась босая в уже заброшенную людьми церквушку ставить ее богоматери.

Сына она назвала именем его отца, а мужа с тех пор величала Большим Парной.

А уж как Парна, Большой Парна ликовал! И роптать бы не стал, вздумай творец хоть в первый день появления мальчика призвать к себе крепкого как камень отца в качестве платы за свою великую милость.

Жизнь для Большого Парны и Элпитэ стала сплошной радостью, а труд — праздником.

Здоровьем и силой мальчик пошел в отца — не то что меня и моих однолеток (а я был младше его на два года), но и ребят постарше заставлял пахать носом землю, когда хватал за шиворот. В школе он гонял лодыря — лентяй был отпетый, и мать его горевала, но Большой Парна не сетовал из-за этого на судьбу и утешал жену, посмеиваясь: кто сотворил мир и людей, тому лучше знать, кому каким быть и как прожить!

Потом война началась.

Большому Парне в ту пору перевалило далеко за полсотни, но в нашей оставшейся без мужчин деревне не только мельница держалась силой его могучих рук.

Погиб на фронте мой отец, и жизнь в семье замутилась. Невмоготу стало матери с мужниной родней, схватила она меня за руку и айда в отчий дом, говоря: какая невестка видела хорошее от своих золовок, чтоб мне ждать добра от моих! А там, в родительском доме, сама оказалась в роли золовки. Наше появление не вызвало радости у жены ее брата, но дядя мой, фронтовик, отнесся ко мне, потерявшему отца на войне, сердечно. Жена его ссорам и сварам предпочла притворную улыбку и постаралась пристроить мою мать — не дала ей зажитья у них. Сначала водила ее на панихиды — оплакивать погибших на фронте своих и чужих, потом, когда то в одном доме, то в другом начали справлять свадьбы — без песен, плясок и шумного веселья, словно стеснялись и стыдились, — тетя моя, которую звали подсобить или приглашали как родственницу, стала и мать мою водить с собой. В конце концов время сделало свое дело, — не зря же считается оно целителем! — и в деревне зазвучали песни, сперва тихо, робко — «Кучхабедниери» и «Мравалжамиери»¹, потом, лиха беда начало, раз-

¹ Застольные песни.

неслись песни задорные, веселые. А в один прекрасный день моя мать вышла замуж, вышла за «городского» и, как сказала тетя, «пожилого, но хорошо сохранившегося, весьма достойного человека».

«Хорошо сохранившийся человек» был уже развалиной. Двух своих дочерей он выдал замуж, отвалив им по жирному кушу, но ни одна из них не хотела, оказывается, оставлять отца одного, «без присмотра», поскольку предполагалось, что в подвале их старого дома зарыт «заветный кувшин». Между сестрами началась борьба за отца, подогреваемая их верными мужьями. Каждая пыталась доказать, что именно она сходит с ума от любви к отцу. Но отец, призвав на помощь закон, остудил их пыл и выдворил из дома.

Этот «весьма достойный человек» требовал от моей матери исключительного внимания к своей особе, ревновал ее и привередничал. Если б мать столько сносила от своих золовок, так бы уступала им во всем, они б, верно, на руках ее носили. Мама видела — мне претит, что она нянчится и носится с этим старикашкой, и всячески ублажала меня, точно извиняясь передо мной. «Ради тебя все терплю,— говорила она,— утру нос твоим теткам, увидят, каким ты у меня человеком станешь, как далеко пойдешь».

«Хорошо сохранившийся человек» явно отжил свой век, и дни его были сочтены, однако, как ни старалась мать доказать ему свою любовь и привязанность, тайны «заветного кувшина» он так и не открыл ей, пока архангел Гавриил не схватил его за шиворот.

По всему было видно, что моей матери в самом деле перепало кое-что от старика,— когда я окончил школу, одевался как никто другой из моих сверстников, в карманах у меня не пустовало, и в мединститут я попал сразу же после школы, только не думайте, что я ничего не знал и совсем не в ладах был с книгой, это будет не совсем верно.

С тех времен утекло, как говорится, много воды. Недавно я провернул диссертацию, стал ученым, о чем и оповестил мир через газету, поместив в ней заодно и свое фото пятилетней давности.

И вот не прошло и двух недель, как к нашему дому (мы с матерью вот уже несколько лет живем в Тбилиси) подкатила «Волга». Я человек солидный, ученый и не

стану же бегать смотреть на каждую машину, что останавливается перед домом.

Выглянула мать.

— Сынок, это к тебе кто-то,— говорит она.

— Кто, не знаешь?

— Нет, не знаю. С виду приличный...

— Здорово, Дурмишхан, с приветом тебя — старым-престарым! — кинул мне, входя в комнату, «приличный с виду» мужчина моих лет, хорошо откормленный, в нейлоновой сорочке с закатанными рукавами.

— Привет гостю — и старый и новый! — в тон ему ответил я и застегнул сорочку на все пуговики.

— Не узнаешь, значит!

После окончания института у меня была довольно солидная врачебная практика — не могло ведь на всю жизнь хватить оставленного нам «достойным человеком», — и мне хорошо было известно, что к пациенту надо относиться сочувственно, внимательно и постараться самому определить, что его беспокоит. Сумеешь хоть примерно определить — молиться на тебя будет и создаст тебе репутацию чудодея: с одного взгляда ставит диагноз, с одного раза излечивает!.. Но ведь бывает и так, что больной где-то в другом месте, а к тебе обращается его родственник или близкий.

— Слушаю вас, что за нужда привела ко мне? — спросил я рассеянно.

— Так-таки не узнаешь, чтоб тебя...

— Нет, не узнаю.

— Вот поговори с таким! Забыл, сколько раз получал от меня по носу?

— Постой, погоди...

— Чего ждаты!..

— Парна?!

— Да, да, черт тебя дери!

— Сын Большого Парны?

Немного спустя мы уже мчались в его «Волге», но куда, я толком не знал. Мой приятель детских лет, не ответив прямо ни на один вопрос, чертыхаясь, затолкал меня в машину и повез.

Сначала я думал, что больной у него в одной из больниц, но мы выезжали за город. Я не выдержал.

— Скажи в конце концов, куда везешь, зачем?

— Потерпи! Вот тип!

Он гнал машину всюду, и я подумал, что у него, видимо, кто-то близкий при смерти и, сам не свой от горя, он не соображает, что говорит. Бедняга не сомневается, конечно, что, раз я с малых лет его знаю, с одного взгляда вылечу больного! Не понимают люди: не потому «убивают» врачи больных, что не знакомы с ними, а потому, что знаний не хватает! Ну какой кретин не вылечит больного, зная, как это сделать, а станет скрывать знания и умение,— дескать, чего лечить незнакомого! Но этот приятель мой, видно, придерживается именно такого мнения. Ну и пусть.

— Признайся, Парна, в деревню везешь меня? По правде сказать, я рад бы очутиться вдруг в родных местах.

— Ну уж нет, на кой мне в деревню!

— А как мать с отцом поживают? — Я вспомнил вдруг, что Большому Парне должно быть теперь лет девяносто.

— Слушай, как ты в утробе терпел! Говорю — погоди, сам увидишь.

— Если далеко везешь и думаешь: откажусь ехать, так чего теперь, видишь — еду...

— Ладно, раз так! — решил он и свернул с дороги; не успел я оглянуться, как подрулил прямо к входу в ресторан.

— Ну-ка подайте, что у вас там хорошего, — повелел он с ходу, совсем как радушный хозяин в своем доме.

— По торговой линии работаешь, Парна? — спросил я почему-то, хотя какое мне было, собственно, дело до его работы.

— На жалкие копейки с торговли перебиваться?! В гробу я видел эти копейки! Главным инженером треста работаю, строитель я!

Пропустив два стаканчика вина, он самодовольно выпалил:

— Меня все кругом знают, все! Так их и перетак! — Он поднял стакан, осушил и продолжал: — И вот, пожалуйста, опозорил меня! — Он обеими руками схватился за голову, упираясь локтями в стол. — Черт знает что подумал обо мне: ворвался как бандит, раз-два — и вытащил из дому!

— Что случилось, Парна, что с тобой?

— Пропал я, погиб, опозорился! Отец у меня болен!

— Большой Парна?!

— Да, Большой Парна!

— Что же в этом зазорного, все люди болеют!

— Мало мне того, что я сын мельника, так еще сыном полоумного надо было стать!

— Что ты несешь! Таким отцом, как Большой Парна, президенты гордиться могут, не то что инженеры и врачи вроде нас с тобой! Кто это полоумный, что ты плетешь!

— Меня люди знают, я не какой-нибудь... Весь город знает, и вдруг на тебе, удружил, с ума спятил!

— С ума спятил?! Да, но с чего было сходить с ума?

— Почему я знаю, с чего сходят с ума!

— Так сразу и помешался, за один день?

— За один или за два, а свихнулся, это точно!

— Ты серьезно? Вот уж не думал! Насколько помнится, в вашем роду не было душевнобольных — ни среди предков, ни среди родственников...

— Эх, не везет мне... Ладно, давай поехали, ни дна ему, старому, ни...

Мы покатали дальше.

— Ехать-то едем, а какой толк, я ведь не психиатр!

— Слушай, не крути мне мозги! Психиатр, не психиатр, ты это матери моей втолкуй! Татуша, сестра моя, вычитала в газете про твою диссертацию, сказала ей, а та, раз узнала, заладила: «Если кто вылечит моего старика, так только он!» Покою не дала, всю плешь проела. В ее глазах кандидаты наук профессора. Я понимаю, а они ведь не соображают: не приведу тебя, так скажут — видите, какой сын, врача не может привести к отцу! А меня весь город знает...

— Где находится больной?

— Где находится? А где ему находиться, будь он неладен, дома у меня... Так здорово все шло, так наладил все — как по маслу катилось, и вдруг все испортил, черт старей!

— Кто же в деревне остался?

— Дураки одни — навоз топтать, а умные сбежали! Продам я там все: и дом и сад — что мне, гроши его нужны были? — и перевез старика в город. Не хотел он ехать в город...

Я догадался наконец. Даже у меня, а типа вроде меня, кажется, ничем не прошибешь, больно сжалось сердце, когда я вспомнил ухоженный виноградник Боль-

шого Парны, взлелеянные им сад и пашню, его мельницу, не мельницу, а игрушку! Каково же было старику?!

Парна остановил машину у гаража перед отличным многоэтажным кооперативным домом и ошалело выскочил вон, словно сам был сумасшедшим.

— Ну посмотри, а! Просил ведь — хоть сегодня не выпускайте его из дому, сказал же, профессора привезу, и вот видишь?! — Он указал рукой в конец двора. — На весь свет меня срамит, меня же люди знают!..

— погоди, погоди, — прервал я его и быстро вышел из машины. — Раз привез меня, ты уж не вмешивайся, предоставь все мне, иди в дом, отдыхай!

Я направился туда, куда обеими руками указывал мне возмущенный Парна.

Двор в конце дома переходил в пологий скат, и там стояла, глядя вниз, старая, вся в морщинах, худенькая женщина. На склоне копошились ребятишки, и, когда я увидел среди них глубокого старца с большими белыми усами, с белыми как снег волосами, мне стало не по себе. Нет, не потому, что старик был среди детей — кому не приходилось наблюдать такую картину. Меня смутило, даже испугало другое — в руках у старика был ком глины.

К склону ручейком бежала вода из открытого крана, забытого, видимо, строителями — вряд ли он предусмотрен был проектом, — вода текла через весь двор. У этого ручья и возились на склоне малыши со всего огромного дома, а среди них стоял степенный старик с руками, вымазанными глиной, и старательно мял большой комок глины. Ребята окружали его тесной толпой, и я не мог разглядеть, что делалось внизу.

— А теперь отойдите немного назад! — сказал старик и осторожно развел руки, отстраняя окружавших его детей. Ребята попятились и присели на корточки, чтобы лучше видеть.

Старик опустил на колени так, что ручей оказался между его ног.

— Парна, слышишь, Большой Парна, не измарай брюк, дорогой!

Парна старательно прилепал к руслу ком глины. Тем временем два мальчика, что ковыряли лопаточками землю ниже по течению, где вода образовывала запруды, сбили еще один ком глины и передали девочке. Девочка понеслась к старику, держа ком над головой, но, по-

сколько тот был занят — придавал сооружению из глины желаемую форму, — отдала его сидевшему на корточках мальчугану в пестрой шапочке.

Я стоял и ждал — думал: может, хоть старая женщина обратит на меня внимание, но куда там — она не меньше ребят увлечена была занятием Большого Парны.

— Здравствуйте, уважаемая Элпитэ, — сказал я, подойдя к женщине совсем близко.

Она живо обернулась и протянула мне руку. Не знаю, узнала меня или нет, но сразу же заговорила о своем горе.

— Видишь, какая у нас беда, родной мой, до каких лет дожил, а возится с ребятишками, глину месит! Что за напасть на нашу голову!..

— И давно он так? — прервал я ее.

— А с тех пор, как переехали сюда из деревни, с того самого времени, родимый, да падут на меня твои беды!..

— Сразу случилось с ним это или постепенно?

— Как тебе сказать, дорогой. Мы ведь не сразу продали в деревне усадьбу. Сначала старик мой то и дело уезжал туда тайком — встанет ночью, оденется и сбежит. Понятно, он и тогда не совсем уже был в уме. А сын мой, Парна, назад его привозил — стыдно, говорит, людей, как я его оставляю в деревне одного, без призора. А он опять сбежит. Тогда мы одежду его начали прятать, а он, прости уж за прямоту, — в одном исподнем сбежал. Отравил сыну жизнь! Его весь город знает, а тут такой срам! Не выдержал мой мальчик и продал в деревне все первому же покупателю. А старик — опять туда! Примчался к нам новый владелец, жалуется — ночью, говорит, заявился в одном белье! Что оставалось делать, родной, сына все кругом знают, не мог он терпеть сраму. Взяли и заперли мы старика в комнате. Есть-пить — всего вдоволь, а он не унимается! Не сумел двери отпереть, так через окно стал лезть. Мы на третьем этаже живем, прыгнешь оттуда, сразу богу душу отдашь, что скажут люди, совсем опозорится сын, вот и взял он да зарешетил окна. Ну, покорился старик после этого, сдался, да очень уж сник, несчастный, словно внутри надломилось что... Посоветовали нам к врачам обратиться. Показывали его вра-

чам, всяких приводили, и профессоров приглашали, вот и теперь одного из нашей деревни нашли, сын поехал за ним... Врачи велели иногда на воздух его выводить, жалко, говорят, безобидный ведь, никому от него вреда нет. Выводить-то выводим, да ведь сына все кругом знают, такой позор для него! Как вывели его первый раз во двор, увидел он, что ребятишки у ручейка возятся, сразу поставил на нем мельницу из глины... Вон и теперь мельницу лепит. И в хорошее настроение приходит. Ребятишки разворотят, а на другой день он опять рвется из комнаты через двери, окна, просится наружу. Выведем его, так он сделает мельницу и потом ночью спит спокойно, не пытается сбежать.

Я еле удерживал слезы.

— Вот и сейчас, не дала сыну покою, послала его за врачом — профессор из наших мест, на него надеюсь, знал моего Парну, пожалеет его и, может, вылечит. Сын велел не выпускать старика во двор, хоть, говорит, перед профессором не срамите, да что было делать, как было не выводить беднягу? И в кране не всегда вода. — Она указала мне на кран. — Может, успеет повозиться, пока приедет сын... О господи, гараж открыт, неужто привез уже врача? — Она обернулась к поглощенному делом старику.

Большой Парна обмазывал глиной желобок.

— Парна, сколько раз тебе говорила, родимый, когда делаешь желобок, подложи щепку, не то вода смоет глину... Ох, кажется, приехали, привез сын профессора...

— Нет, уважаемая Элпитэ, нет,— прервал я ее.

— Гараж вон открыт...

— Сын ваш вернулся, а врача не привез.

— Он из нашей деревни, хорошо знал Большого Парну...

— Да, да, хорошо знал и действительно очень любил Большого Парну, но сыну вашему сказал, оказывается, что очень сожалеет и переживает, однако помочь ничем нельзя, и нет ему смысла приезжать.

— Что вы изволите говорить, неужто так ничего и не поможет ему?

— Нет, не поможет.

— Как вы огорчили меня, батону, как я надеялась на него...

Когда после гибели двух сыновей, двух рослых черноусых молодцов, Леван Кикабидзе похоронил обезумевшую и угасшую от горя старуху, ничто больше не связывало его с этим миром.

Этот высокий, как жердь, жилистый старик сломался, сник и, словно сбитый ударом кулака, рухнул у стены, под увеличенными фотографиями сыновей и морщинистой, старой жены Кесарии.

После смерти Кесарии уже некому было позаботиться о мычавшей от голода недавно отелившейся корове, и соседи, вздыхая, отвели ее в свой хлев. Быков на время забрал бригадир. Старый беззубый пес забился в угол на крыльце. Он изредка сипло вздыхал, а поздней ночью, когда деревенские собаки поднимали лай, отвечал им с крыльца протяжным заунывным воем.

В темной комнате на протертой циновке с обтрепанными краями лежал Леван.

Он лежал, сложив на груди руки, и его черная густая борода касалась их. Стоило старику закрыть глаза, и его нельзя было отличить от мертвеца.

Он отрешенно встречал утро, вспоминал виденные ночью сны — жену, сыновей, и вполголоса беседовал с ними.

— Так не годится, сынок,— поучал он младшего, заглядывая ему в глаза,— он старший брат... А ты, старуха, перестань оправдывать их,— переводил он взгляд на жену... — Что я, меньше тебя его люблю? Но когда он неправ — не оправдывай. Что? «Дождаться бы наконец...» Дождешься, дождешься... ничего с тобой не случится... Но сначала старший должен жениться, на то он и старший. Нет, нет... молчи, Кесария, молчи. Ну и что ж, что любит, любовь не петля, небось не задушит. Пусть любит, пожалуйста... Разве я против? Ты знаешь Амирана... он тихий, беззащитный, он ничего не скажет, но если обидится... Верь мне. Если я вырастил таких молодцов, то знаю, когда и что лучше... А ты поди-ка накорми кур да теста побольше замеси и орехов не жалей... не то не получится у тебя свадебное сациви¹.

¹ Сациви — блюдо из курятины, приготовленное под ореховым соусом.

Хорошо, коли свинья опоросится, не то не хватит нам поросят.

Амиран! Где ты умудрился ярмо сломать? Не скалы же ты пахал... Вон там, под грушевым деревом, я новое заготовил, просверли с боков, а клешни старые еще пригодятся...

Ношреван, сынок! Подойди-ка ближе... Ты что не идешь в школу? Поторапливайся. А этой городской бабышне скажи, пусть подождет. Как думаешь, любит она тебя? А-а?.. Ну и скажи, что твой брат и ей брат. Вот следующей осенью одну свадьбу сыграем, а потом... Наклонись, что-то на ухо скажу, чтобы этот тихоня не слышал...

Вчера, когда я с поля возвращался, застал его... Как же это было, дай бог памяти... — Леван стал припоминать вчерашний сон. — Да... уже стемнело... я вел арбу и из-за скрипа колес ничего не расслышал, но... кто она была, как ты думаешь? А ну, догадайся? Нет, не она, нет... ну-ка. Да нет же... Дочка нашего Исидора... Да, да... Талико, она самая... Там же, недалеко от ее дома, у дороги напоролся я на них. Она была в красном платье и вся аж светилась... даже быков спугнула, чертовка, до самых ворот не мог остановить. Что же делать будем, не погуляем на свадьбе?

Леван весь день мог говорить с сыновьями: целый день он затыкал рот жене.

— Что ты вмешиваешься, старуха... Ради бога!.. Мужчина я и хозяин в этом доме... Если что с ними случится, ты станешь рвать на себе волосы и царапать лицо... а потом свалишься да протянешь ноги... А я ведь так не могу. Мне надо все наперед знать, наперед предусмотреть.

И лежал Леван на спине, глядя на три безмолвные фотографии, и мысленно то хлопотал по хозяйству, то поругивал жену, то выбирал себе невесток...

Иногда он повышал голос.

— Нет, Ношреван. Учение — дело полезное, книга — хорошая штука, много нового узнаешь, но семье, сынок, нужна опытная рука, нужна голова... Семья без головы — что отара без пастуха... Слушайте меня, ребятки, слушайте... Десять раз опрокидывалась моя арба, десять раз сбивался я с пути, десять дней петлял по тропам, а ходьбы-то было на час... Многому научился, многое понял... На что мне это сейчас, как не для вас... для

вашего счастья. Вот спросите у матери, разве не так, Кесария? Ты помнишь, как я один хотел поднять мельничный камень и поскользнулся? Меня тогда на арбе привезли... А если вы броситесь к такому камню, как вы думаете, разрешу я вам?.. Не позволю! Нет, не позволю... Потому что я сам, на своих плечах узнал его тяжесть... Если вру — вот ваша мать, спросите у нее.

Кесария, опасаясь, как бы с ее сыновьями и в самом деле ничего не случилось, кивала головой и шептала детям:

«Слушайтесь отца, мои хорошие, отца слушайтесь».

Леван прятал улыбку и начинал говорить о свадьбе...

Несчастный, сломленный горем старик лежал, глядя на три безжизненные фотографии, и во сне и наяву мечтал о свадьбе сыновей. Все свое земное счастье он отдал земле и теперь отчаянно цеплялся за свои сны.

...В комнату просачивался полдень, хмурился, темнел и опять исчезал, а Леван уже подбирал имена для своих внуков и выговаривал жене:

— Погоди, старуха! Ты всегда их оправдываешь!

В дверь скребся голодный пес, но Леван ничего не слышал.

...Амиран во всем соглашался с отцом, а Ношреван настаивал на своем. Ему нравилось какое-то мудреное книжное имя.

Леван злился. Кесария стала на сторону сына.

«Его сын... как ему нравится, пусть так и назовет».

Леван злился еще больше.

— Сын-то его, а я что? Кто я ему? Я — глава в этом доме. А если я книжек мало читал, так что же, напрасно я жизнь прожил, что ли. И толку от меня никакого?

Пес настойчиво скребся в дверь и тихо скулил. Леван поднимался, выходил из комнаты, спускался по прогнившей лестнице и, стараясь ни на что не глядеть, поспешно направлялся к кухне. Обессилевший пес, опустив уши и волоча хвост, плелся за ним, потом на время исчезал в буйно разросшейся траве и, вынырнув у кухонной двери, тяжело дышал, высунув длинный розовый язык.

Трава разрослась повсюду: пробралась за калитку, вползла на лестницу, затопила весь двор, весь огород, весь сад. Во дворе была видна только одна узкая тропинка. Она вела от калитки к лестнице и от лестницы к

кухне. По этой тропинке приходили друзья и родственники Левана Кикабидзе. Они оставляли на кухне полные теплые миски, поднимались на крыльцо и заглядывали в дом.

Старик лежал на спине, широко раскрыв глаза.

Друзья вздыхали, причитали вполголоса, неслышно спускались по лестнице, шли по узкой тропинке и, прикрыв за собой калитку, выходили на дорогу. Никто уже не надеялся вернуть Левана к жизни. Да и на что ему была жизнь. Ведь, кроме своих костей, сваленных на протертой циновке, у него ничего не осталось.

Смерть Кесарии не удивила Левана. Кесария должна была уйти туда — он это чувствовал, — ребятам нужна материнская ласка, материнская забота.

Когда опускали гроб, он крикнул:

— Присмотри за мальчиками, Кесария!

Леван был безутешен. Он ничего не воспринимал с той самой минуты, как в его дом внесли двух сыновей, обоих с пробитыми черепами. Они погибли при автомобильной аварии на дорогах Сванетии.

...Леван только-только выпроводил болтливую сваху. Не мог он так легко решить судьбу сына. Опасался за него. Два сына было у него. Два факела горящих... А внесли в дом двух сыновей — два погасших факела.

Высох Леван, пожелтел, исхудал. Одичал его виноградник. В заброшенном огороде разбушевался сорняк. А Леван все не сдавался, слегшей от горя жене не давал покоя, говорил о свадьбе: как же ты гостей встречать будешь, старая? И никто не мог убедить его, что нет уже у него сыновей и некому справлять свадьбу.

Все решили, что Леван сошел с ума. Пытались помочь ему. Навещали, спрашивали совета, прикидывались должниками. Бригадир никому не передавал его быков. Думали: очнется Леван, придет в себя... Напрасно.

Но когда умерла и жена, общение с Леваном стало невозможным.

...Шли дни, недели. Вечерами Леван выбирался из дому, испуганно оглядываясь, шел в кухню, наскоро проглатывал несколько кусочков, кормил пса остывшей кукурузной лепешкой и, не глядя по сторонам, возвращался. Входил в комнату, улыбался трем фотографиям, валился на свою циновку и засыпал.

Однажды ночью Левану снились обычные сны: он хозяйничал, попрекал жену... К дому подъехала арба. Быки сопели и били копытами землю. Леван выглянул... Амирана на арбе не было.

— Куда он девался? — удивился Леван. — Где это слыхано — быков без присмотра оставлять?

— Где же ему быть, родненькому... — начала Кесария.

— Ладно... сама небось знаешь, нельзя так...

— Где же ему... — опять начала жена. Но Леван уже догадался: Амиран был там, возле дома Исидора, и о чем-то шептался с Исидоровой дочкой. Наверное, ее красное платье странно светилось в темноте...

...Протяжно замычали быки.

Леван встал, прислушался, открыл дверь.

Ночь была ясная, лунная.

Дул восточный ветер.

— Разгулялся, проклятый, — вырвалось у Левана. Он всегда говорил это, когда восточный ветер поднимался ночью.

Большой грузный бык выщипывал траву, проросшую под воротами. Иногда его изогнутые рога со стуком касались покосившихся планок. Второй, пятнистый, смотрел на Левана и мерно пережевывал жвачку.

Леван сбежал по лестнице. Бросился к воротам. Схваченные разросшейся травой, они не открывались. Он с трудом вырвал одну створку, впустил быков во двор. Нисла лизнул его теплым, шершавым языком. Никора жадно рвал траву, доходившую ему до колен.

Леван то и дело поглядывал на дорогу. Ждал Амирана. Луна поднималась все выше. Амирана не было видно. Леван злился.

— И о чем этот тихоня болтает с ней?..

Быки вздыхали, щипали траву, мотали головой.

Луна скатилась по небосклону. Побледнела. Растаяла. Стало прохладно. Никора наелся, подогнул передние ноги, затем задние и с тяжким вздохом опустился на землю. Нисла ласково терся головой о локоть хозяина.

На востоке возшла предрассветная звезда. Ветер крепчал.

— Скоро рассвет, — проговорил Леван, — как только взойдет солнце, поднимется ветер, высушит все, и тогда

лемех даже не зацепится за землю. Где же этот мальчишка?

Никора спокойно посапывал у его ног. Лег и Нисла. Леван тоже опустил на траву и прислушался...

На шелковице встрепнулся воробей... нерешительно чирикнул. Ему отозвались воробьи с соседнего двора. Воробей осмелел, перепорхнул на ветку повыше, потом на другую и защебетал.

Леван встал, подошел к калитке, выглянул. Дорога уходила вдаль. Амирана не было видно.

— Куда же он запропастился! — не выдержал Леван. Подошел к арбе, приподнял ее.

На клешнях прогнила супонь. Леван зашел за кухню. Обычно он закидывал супонь под крышу... Отвал плуга покрылся ржавчиной. Ручник расшатался. Леван вытащил из простенка секач и заранее заготовленный акациевый обрубок. Изредка он поглядывал на дорогу. Вот-вот появится Амиран...

Леван заторопился. Притащил яремное бревно, отмерил середину, заточил, просверлил дырки для клешней.

Амиран все не шел.

А ветер подул сильнее... Наверняка все высушит... Только сегодня... Завтра плуг уже не взрыхлит землю.

— Но...— Леван коснулся рукой лба. — Может, он ждет меня в поле.

Бывало с Амираном такое. Быков он оставлял отцу, а сам вскидывал на плечо тяпку и шел пропалывать междурядья.

Леван проверил тяпки.

Нет, все они были на месте.

А лопаты?..

Лопат не было. Во дворе не было ни одной лопаты. Куда они могли деваться? ¹

— Ушел,—уже по-деловому проговорил старик. Тонким айвовым прутиком поднял быков, впряг, взвалил на арбу плуг и отправился в поле.

Когда он выехал на равнину, деревня только просыпалась. Быки потянулись к канаве напиться. Леван пересел на задок арбы, чтобы ярмо не давило быкам на шею. Потом слез, осторожно перевел быков через мос-

¹ По грузинскому обычаю, лопата, которой вырыта могила, выбрасывается.

тик, провел вдоль опушки, благополучно прошел по краю оврага и остановил арбу под ивой.

Здесь Амирана тоже не было.

Вспахать оставалось немного, но на день работы было с избытком. А завтра земля просохнет так, что в нее и гвоздя не вобьешь. Леван распряг быков, взял секач и направился к лесу. Выбрал на дубе тонкую ровную ветвь, по дороге очистил ее от листьев и веточек. Потом встал на один конец, а с другого стал скручивать. Скрутил, завязал и накинул на ярмо. Закрепил на впряженных быках супонь, приладил плуг и ступил на оставленную Амираном борозду.

...Сошник тяжело вошел в землю. Быки рванулись. Земля потрескалась, поддалась, и огромный высохший пласт лег под ноги Левана.

Местами старая борозда шла вкривь и вкось. Не понравилось это Левану, — не должно случиться такого с хорошим пахарем. Он и без того был зол на Амирана, а эта искривленная борозда вывела его из себя. Он стегнул быков... Плуг выскочил из земли и потянул за собой Левана.

Долго не мог совладать с ним Леван. Потом напрягся, налег на него.

Невидимый для глаз отвал полз вперед. Вспарывал землю, выворачивал ее и раскидывал в обе стороны. Комья ложились на комья, душно пахло землей. Отвал трудно полз дальше.

В конце борозды Леван развернул плуг. Просохшая земля не поддавалась, но склонившийся над плугом старик тяжело давил на ручник.

И опять в обе стороны раздалась земля, опять стало трудно быкам, и они остановились.

— Ну!.. Пошел! — стегнул их Леван.

И замер... Огляделся... Вокруг ни души. Ему стало страшно. Он словно что-то вспомнил, он словно что-то понял...

Хотел остановить быков, но Нисла ступил влево, перешел на вспаханную борозду. Леван зло хлестнул его.

— Я тебя... а ну, выходи! — И когда снова по обе стороны борозды легли теплые комья земли, он забыл свой испуг.

Взошло жаркое солнце. Ослепило пахаря. Он затенил рукою глаза — удивился солнцу.

Быки стали, Леван поспешил им на помощь. Расшатал плуг — сошник зацепился за прогнувшую корягу.

— Ну... назад, назад! — Общими руками Леван потянул плуг на себя. Нисла отступил. Никора не любил отходить назад. Леван обошел быков и стал подталкивать их спереди. Он с трудом вытащил корягу и продолжил борозду. Вздрыблились комья. Развалилась, рассыпалась высохшая земля.

Над головой пролетела ворона, каркнула и опустилась на иву. Ветка упруго прогнулась, ворона еле удержалась, замахала крыльями и опять каркнула. Леван вздрогнул и посмотрел на иву. Ветка мерно покачивала черную птицу. Леван не мог оторвать взгляда от сухого клюва вороны. Вдруг он споткнулся, по устоял... перескочил через ком и оперся о ручник. Но иссохшая земля выкинула из себя плуг. Леван потерял равновесие, покачнувшись, упал.

Быки почувствовали облегчение и пошли быстрее, волоча за собой сверкающий отвал.

— О-ох! Обломают себе поги! Нисла!.. Никора!..

Леван вскочил, догнал их, ухватился за ручник, выпрямил плуг и навалился на него всем телом.

Сперва сошник скреб по поверхности, потом разбросал мелкие комья, на миг замер и сразу глубоко ушел в землю. Земля взбухла, раздулась, потрескалась, поддалась, и жирные комья развалились пополам.

Ворона перелетела с ветки на ветку, еще раз каркнула и лениво взмахнула крыльями.

Внизу, под деревом, Леван увидел бригадира. Он улыбался, но не говорил ни слова.

Солнце поднялось выше.

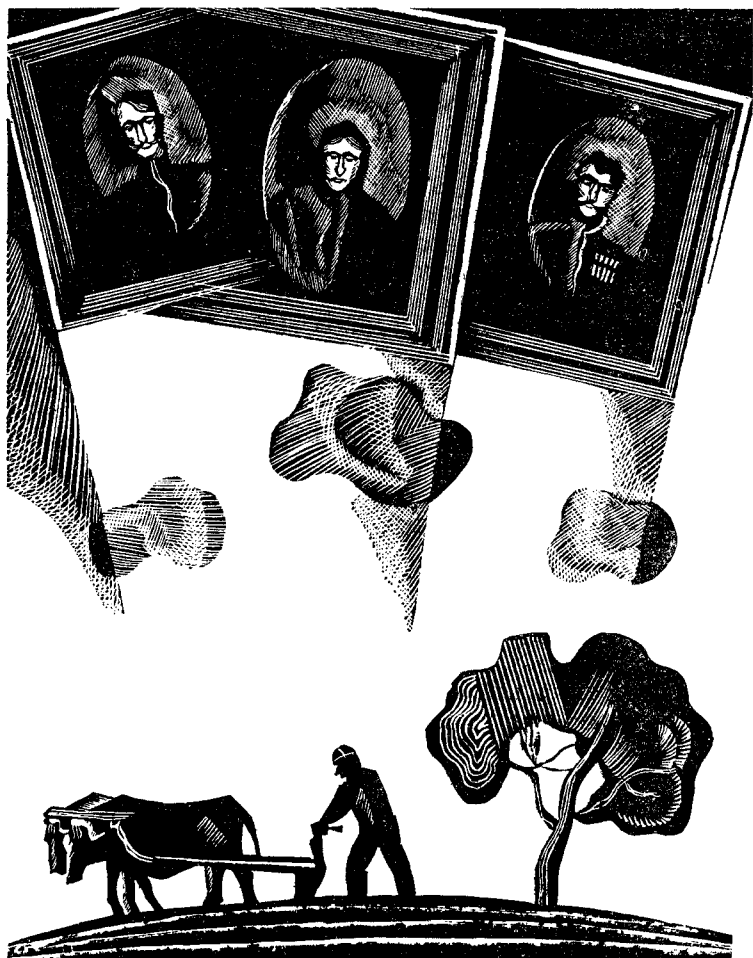
Пот стекал со лба, жег глаза, скатывался в борозду. Промокшая рубашка липла к спине. Леван почувствовал на губах вкус соли и жадно вдохнул острый запах пота. Земля заупрямилась. Задрожал, затанцевал плуг и искривил борозду. Не любил такого Леван. Среди сотни работ можно было отличить его руку...

...Солнце подошло к полудню.

Леван выпрямился, посмотрел на вспаханную часть участка. Успеет ли сегодня?

«Надо сегодня кончить. Если ветер и ночью не успокоится, завтра просто загублю быков... да и себя замучу ни за что...»

Леван взмахнул прутом.



...Солнце легко скользило по склону и, подобрав лучи, скрылось за горами.

Обессиленные быки тянулись к траве...

Леван тяжело налег на плуг...

...Поздним вечером въехала арба во двор Левана Кикабидзе. Изголодавшиеся быки набросились на траву. Леван с трудом снял с них ярмо, поставил под арбу подпорки и повалился на землю. И снова ему стало не по

себе, стало страшно. Он хотел встать... огляделся. В синем мраке, мягко окутавшем двор, что-то сверкало. Он пригляделся. Долго не мог понять, что это такое. Это блестел отвал.

Леван упал на спину и заснул.

Быки звучно рвали траву.

Утром, когда он проснулся, они лежали там же, рядом с ним.

Левана разбудил яркий свет. Он протер глаза, посмотрел перед собой: открытые ворота, дорога, сверкающий отвал, быки... Оглянулся назад — сумрачный дом, окна, запавшие черным, кухня с прохудившейся крышей. А перед кухней, у дверей, — старый беззубый пес...

Леван вздрогнул.

— Сыновья, — проговорил он шепотом. — Сыновья! — повторил он громче.

В эту ночь Леван не видел во сне своих сыновей.

ДОЧЬ МЕЛЬНИКА

Дождь идет...

Долгий, долгий дождь...

Помнишь, Беко?

Еще бы... Это единственное событие в его жизни, которое никогда не забудется. Хотя нет... многое невозможно забыть. Но все остальное надо вспоминать, надо копошиться в памяти, увязывать с одним ли, с другим или долгими бессонными ночами уходить далеко-далеко за своими воспоминаниями.

А это Беко помнит всегда. С того дня. С того дня или, вернее, с той ночи.

Да, с той ночи.

Сколько же лет прошло? А?

Кто знает, кто вел им счет. Кажется, что он помнит это событие со своего рождения, хотя случилось оно в пору возмужания, когда пушок у него над губой сменился усами. Пожалуй, такое и не могло случиться в другую пору, но Беко кажется, что это всегда было с ним. От первых дней жизни и до последних ее дней.

...А сегодня так холодно, так зябко; небо опустилось низко-низко, хлюпанье дождя под окнами в канавке сжимает сердце; тлеет огонь в очаге, и ветер шепеляво пошвыстывает в незашпаклеванных стенах.

Эх, судьба есть судьба, и никуда от нее не денешься, а ведь Беко вовсе не так плохо прицелился тогда. Да, по правде говоря, и выстрел был хорош...

Дождь идет...

Скоро, похоже, снег выпадет.

Помнишь? И в ту ночь лил дождь. Правда, снег тогда выпал нескоро, но ночь была студеная, злая.

А теперь скоро выпадет снег, ляжет по пригоркам и впадинам, па черные деревья и холмики деревенского кладбища.

Помнишь, Беко?

Еще бы!

Тебе и память-то напрягать не надо... Как же это было? Как было... Была у тебя флинта-двустволка, достал где-то свинца и пороха на пять выстрелов и от радости не чувал под собой ног. Охотничьей собаки ты никогда не держал, погода хмурилась, но ведь ты был не тот, что сейчас,— голова горячая, ноги крепкие! Какая непогода могла удержать тебя дома!

Не успел ты выйти в поле, как бабахнул из обоих стволов по цапле, и хоть цапля не потеряла ни перышка, ты не тужил — впереди еще три выстрела... После этого ты целый день без толку прослonyлся по холмам и кручам. Ты не берег зарядов, куда там! Просто никакая дичь не подпускала тебя на ружейный выстрел. Наконец в зарослях папоротника мелькнула рыжая облезлая лиса. Бац, бац!.. Тебе не везло: и на этот раз промах. Тут-то ты решил приберечь последний заряд для верного выстрела.

До сумерек пробродил ты, продираясь через цепкий кустарник, одолевая крутые взгорки. Вот на вершины лег туман, и вечер уже близко, но ты не хотел возвращаться домой без добычи — ведь в одном стволе еще сидел заряд, а ноги не знали усталости. И тут на краю поляны в высоких некосях ты увидел косулю. Или то был олененок? Ты не удержался, выстрелил. Косуля подпрыгнула, но только ты подумал — вот и добыча, как она вскинула голову и дунула в чашу. А ты? Ты не думал сдаваться — она ранена, ей далеко не уйти — и понесся следом. Может, она и в самом деле была ранена, а может, нет, только ты проискал до ночи, да так и не нашел.

Потом туман и ночь разом опустились на горы.

Помнишь?..

Еще бы! Ничто не заставит тебя забыть...

В горах погода ненадежна. Сильный порыв ветра пронесся над лесом, и крупные, тяжелые, как свинец, капли забарабанили по листьям.

Стемнело.

Дождь полил сильнее. Сверкнула молния, заворчал гром. Опять налетел ветер и встряхнул мокрые деревья.

А дорога? Какая уж тут дорога, даже деревьев не разглядеть во тьме. Ты шел под гору, то и дело спотыкаясь. Зацепился за что-то, оступился в воду — то первые ручьи побежали с гор.

Потом спуск кончился и начался подъем. Впереди была гора, за ней — другая, и третья, и четвертая. Ты не знал, идешь ли к дому или от дома, но ты не мог стоять. Ты должен был идти, идти, уповая на случай, в надежде набрести на человеческое жилье.

Лес стонал и роптал. Молния в клочья разрывала тучи. В ущелье голодным шакалом залаял поток. И один-одинешенек, с незаряженным ружьем, без следа, без дороги, ты почувствовал страх. А вместе со страхом пришла усталость. И когда, вскарабкавшись на очередную вершину, ты опять не увидел вокруг ничего, кроме черной крошечной тьмы, у тебя подкосились ноги.

Где-то завыл волк.

Ты прижался к стволу и долго стоял, чуть дыша.

Ливень не ослабевал, и ветер не унимался.

Где-то в поисках добычи рыскал голодный волк.

Ты должен был идти. Ты не мог стоять, и ты пошел. Пошел. Потом побежал из последних сил. В этом была единственная надежда на спасение.

Под горой пришлось по колено в воде перебираться через сбивающий с ног поток, потом опять в гору, вслепую, сквозь подлесок и бурелом, сквозь цепкий, хваткий кустарник.

Что, если и за этой горой не будет света... Ты тащился, брел, пошатываясь, выбившись из сил.

Что, если и там одна только непроглядная тьма? Опять спуск, грохочущее небо, неистовый поток, и снова гора...

Перебираясь от ствола к стволу, ты одолел крутой подъем. Почувствовал, что прошел по ровному и ступил еще несколько шагов в надежде, что лес поредет и где-нибудь впереди мелькнет слабо освещенное оконце или хотя бы тусклая звезда. Вдруг ты споткнулся.

Тебя понесло под гору и с разбегу ударило обо что-то...

Ты, распластавшись, лежал на могучем стволе сваленного дерева. Из плеча под одеждой сочилась кровь.

А вокруг тьма-тьмушая, и ливень, ливень...

Ты больше не двигался. Не шелохнулся. Сдался или собирався с силами.

Трудно сказать, сколько прошло времени,— минута, час? — но вдруг тебе показалось, что между деревьями леса пролетел светлячок. Или вспыхнули волчьи глаза?.. Ты не очень задумывался: что бы это ни было, оно светилося, оно рассеивало мрак... Вот опять... Только ярче светлячка... да и на блеск волчьих глаз не похоже. Что же это? Неужели свет? Неужели настоящий, живой огонек?

Ты приподнялся, переполз через ствол, спустился пониже и увидел, что — да, это свет, живой, теплый, трепетный. Ты встал, прислонясь к дереву. Хотел крикнуть, позвать: сюда, сюда! — но не посмел. Стоял и смотрел, смотрел, и тебе не нужно было ничего больше. Только бы не спугнуть... Только бы не очнуться... К тому же ты видел, что свет приближается, и незачем его звать. Он знал, где ты, и шел, смиряя непогоду и отпугивая зверей.

Вот он, слегка покачиваясь, поравнялся с тобой, поравнялся и пошел дальше. Теперь ты мог снова бежать по кручам, только бы этот огонек вел тебя. Ты пошел и через несколько шагов ощутил под ногами твердую тропинку. А огонек мерцал впереди, покачиваясь, рассеивал во мраке тоненькие лучи. Ты мог бы идти за ним хоть за тридевять земель.

И ты шел...

Огонек остановился, и ты, приблизившись, разглядел босую девушку в платье до колен, повязанную платком. Из-под платка до пояса свисали две косы. В одной руке девушка несла фонарь, в другой — корзину. Она осторожно спустилась в овраг, подобрала подол платья и ступила в разлившуюся речку. Поток обнял ее крепкие ноги, а ты подивился, что она не прошла по воде, как посуху.

На другом берегу она опустила платье, опять взяла фонарь в правую руку и пошла дальше. Дождь перестал. И ветер утих, лишь в ущелье сердито бормотала вздувшаяся речка.

Фонарь покачивался, рассеивая свет. Ты видел перед собой босые женские ноги и шел следом.

Огонек потянулся в гору, потом тропинка выровнялась, обогнула гору и, петляя, сбегала в ущелье. В темноте ущелья посреди разлившейся речки замерцал другой огонек. То была старая мельница.

Женщина подошла к мельнице, позвала:

— Отец, открой, отец! — Голос звонкий, без трещинки. Девичий голос. — Отец! — в нетерпении повторила она, и ты понял по голосу, что она всю дорогу боялась, и теперь перед запертой дверью ей было особенно страшно.

Речка, маслянисто поблескивая, переливалась через запруду и с шумом пенилась под мельницей. Вода едва умещалась в русле. Над ней, чутко прислушиваясь к почти, притихла мельница.

— Отец! — громче позвала девушка.

Видно, мельник спал и не слышал ее.

Ты вышел из темноты.

— Ой! — испуганно вскрикнула девушка и подняла фонарь. — Кто ты?

Ты хотел ответить, но из-под мокрой косынки на тебя смотрели огромные испуганные глаза, а на щеках поблескивали капли дождя, и ты не смог вымолвить ни слова.

— Кто ты, отвечай! — Девушка спиной толкнула дверь мельницы.

— Не бойся, — проговорил ты и отступил на шаг. — Я человек...

— Человек? — Видно, она не сразу поверила, что перед ней не леший и не оборотень. — Что с тобой? На кого ты похож?

Ты оглядел себя и сам усомнился.

— Да человек я, верно говорю.

Она хотела еще что-то сказать, но смутилась, встретив твой взгляд, и опустила голову.

— Я был на охоте, — объяснил ты и в подтверждение снял с плеча ружье.

Она еще раз взглянула на тебя своими огромными глазами, и у тебя чуть не подкосились уставшие ноги.

Девушка отвернулась, забарабанила в щелястую дверь.

— Отец, что с тобой, отец!

С мельницы донесся хриплый кашель, потом сердитый недовольный голос:

— Кого там черти посят?

— Это я, отец!

— Ах, чтоб тебя... и чего шатаешься по ночам в непогоду!

— Открой нам, дядя! — крикнул и ты.

Девушка бросила на тебя недовольный взгляд.

Ты понял, что поставил ее в неловкое положение и хотел как-то оправдаться, но было поздно: лягнул засов; белый с головы до ног старик стоял в дверном проеме.

— Полуночница, колдунья! — хмуро ворчал он на дочь. Потом перевел взгляд на тебя.

— Я, дядюшка, охотник, — виноватым тоном, словно оправдываясь, объяснил ты.

— Кто бы ты ни был! — Он подозрительно оглядел тебя с головы до ног. — Сначала научись здороваться, а потом ружье в руки бери.

— О-о, извините, желаю доброго вечера!

— Будь здоров! — Старик, отвернувшись, побрел к угасающему очагу, разворошил головней жар и, заметив в полутемном углу свою дочь, опять заворчал хмуро. — Не сидится дома чертовой девке. Нашла, когда гостицы разносить. — Он паложил на жар кучку хвороста, когда пламя весело занялось, кивнул тебе: — Садись. — И как бы про себя прибавил: — Этот тоже хорош — охотиться в такую погоду!

Потом пошел к узким дощатым нарам у стены, полез под подушку за табаком и снова сердито глянул на дочь.

— Ох, нечистая сила...

А ты смотрел на нечистую силу, и тебе хотелось молиться па нее.

Мельник принес самосаду в кисете и глиняную трубку. Недовольно насупив брови, набил трубку и передал кисет тебе.

Положил на табак рдеющий уголек, затянулся, закашлялся, еще раз внимательно смерил тебя взглядом и, словно отряхнув последние необоснованные подозрения, спросил:

— На кого же ты охотился в такую темень?

— На медведя! — неожиданно для себя соврал ты

и, покосившись на свое окровавленное плечо, добавил подтверже: — На медведя ходил, дядя.

Девушка, хозяйничавшая возле шкафчика в углу, с любопытством взглянула на тебя, поспешно перевела взгляд на мельника и спросила:

— Здесь ужинать будешь или у очага?

— На кой шут ты его несла, сидела бы дома,— заворчал опять старик.

— Горячий ужин, отец...

— Горячий ужин... — прервал старик и трубкой указал на длинную лавку возле очага: ставь, мол, сюда.— Охотник, наверное, проголодался. По всему видно, с медведем воевал.

Похоже, старый мельник посмеивался над тобой, но ты, заметив изумленно-испуганный взгляд его дочери, решил не отступать.

— Да, пришлось голыми руками схватиться! — сказал ты, чтобы увидеть, какое впечатление произведут твои слова.

— С медведем?! — вырвалось у девушки.

Старик кашлянул.

— С медведем! — повторил ты и погладил ссадину на плече под рубахой.

Старик прямым большим пальцем табак и засопел трубкой.

Девушка поставила на лавку миски с мамалыгой. Над мамалыгой струился душноватый пар. Ямки с кусками сыра заполнились молоком.

— Ну, ну... — Старик выбил трубку и вышел, наверное, вымыть руки.

Вы с девушкой остались одни.

Стало тихо.

Только слышно было, как вода стекает с запруды и плещется под мельницей. Зерна кукурузы, замершие в желобке ковша, удивлялись, что жернова стоят недвижимо и молчит болтливый клепень.

С балки посыпалась мучная пыль. Девушка вздрогнула и посмотрела вверх. На балке сидела большая крыса и, свесив хвост, одним глазом смотрела на вас.

Ты засмеялся.

Девушка не отрывала глаз от крысы.

— Боишься?

Крыса испугалась твоего голоса и убежала.

Девушка перевела взгляд на твою изорванную одежду и шепотом спросила:

— Вы одни ходили?

— Один. — Ты понял, что был в ее глазах героем, и, облокотясь о здоровый куль, повторил: — Один, а то как...

— А если б он вас разодрал...

— Разодрал?.. Да нет, он меня не разодрал бы...

У дверей послышался хриплый кашель. Девушка отвернулась к очагу. Ты стал искать глазами убежавшую крысу.

Старик принес из угла заткнутый кукурузной кочерыжкой кувшин, сел к столу и принялся ужинать. Довольно долго он не вспоминал ни о кувшине, ни о госте. Потом наполнил стакан, выпил, налил тебе:

— Выпей, прибавит сил.

— Угощайтесь,— попросила девушка.

Когда вы поужинали, старик опять отыскал свою трубку, прислонился к бревенчатой стене и спросил:

— Ну и как, одолел медведя-то?

Ты покосился на девушку и, заметив, что она вся обратилась в слух, почти поверил, что и в самом деле схватился с медведем и задушил его.

— Одолел! — сказал ты.

Мельник закашлялся.

Девушка опять посмотрела на твою изорванную одежду и окровавленное плечо.

— Я ему кулак в пасть засунул! — сказал ты, глядя на девушку. Она изумленно и недоверчиво покачала головой и нашла глазами твою руку. А ты сидел, прислонясь к огромному кулю, заложив руку за голову, и тебе было нипочем, что час или два назад этой самой рукой ты пересчитывал медвежьи зубы.

— Как ты сказал? — переспросил старик, видимо, не расслышав твоих слов.

— Я его сначала, значит, из ружья ранил,— начал ты поподробнее и привстал. — Бабахнул из одного ствола, он как заревет, поднялся и на меня...

Ты заметил, как замерли руки девушки, убравшей со стола.

— Пошел на меня,— повторил ты,— вижу — идет...

Расширившиеся от страха прекрасные глаза смотрели в упор, и тебе не оставалось ничего другого, как схватиться с раненым медведем.

— Как налетит косолапый...

— Ой!.. — невольно вырвалось у девушки.

Старик сплюнул в огонь.

— Ну, ну! — И обхватил руками колено.

— Я отскочил... — Ты перегнулся назад, но девушка ждала твоего подвига, и отступить было некуда.

— Вот он сграбастает меня, сграбастает,— и конец! Что делать? Хватаю шапку,— ты провел рукой по непокрытым волосам, словно сорвал с головы шапку, и почти ткнул мельнику в лицо,— и сую ему в разинутую пасть аж по самую глотку... Одну лапу у него пулей перебило, другой как даст по плечу...

Ты опять замолчал. Что делать, если медведь не сдастся? Ведь у тебя разодрано только одно плечо. Но ты понял — пора пускать в дело оружие, выхватил из-за пояса наточенный кинжал и всадил медведю между ребер.

Мельник опять сплюнул и улыбнулся в усы, довольный тремя стаканами вина и твоим рассказом.

Девушка все еще не убрала со стола.

Ты сидел, прислонясь к огромному, как медведь, кулю и праздновал победу.

Помнишь, Беко?..

Опять идет дождь, будь он неладен.

Конечно, помнишь. Этого тебе не забыть.

Так, совсем как в сказке, пришла к тебе любовь.

А потом?

Потом в твоём доме не было муки помола другой мельницы, а через год ты не ел кукурузной лепешки, испеченной другой женщиной.

Семья была тяжелым ярмом, но любовь помогала тебе, облегчала ношу.

Через год на это ярмо сел первенец — Симоника, за ним второй сын — Гиголика. Тремя годами позже родился Коция и целый год пищал, не закрывая рта. Наконец появилась на свет и маленькая Текла,— и отяжелело ярмо. Ох, отяжелело... Аж всю шерсть на шее вытерло, кровавые мозоли набило. Трудно приходилось. Нужда мучила. Иногда ты не выдерживал. Болели суставы. Но кончалась зима, земля ждала плуга,— надо было тянуть ярмо. Наступала весна, и земля просила семян,— надо было пахать. Приходило лето,— и как не предашь родного сына, так и зазеленевшую ниву не предашь... А осень есть осень, и в страдную пору ни днем ни но-

чью нет человеку покоя. Зимой, что ли, отдохнешь? Куда там!.. Зимой лес и мельница, плетень и амбар, новый плуг и ярмо, сломанные шкворни и разбитое колесо, снег с крыши и колка дров...

...И ты тянул свое ярмо, тащил лямку.

Потом?

Потом пришла новая жизнь.

Сказали: это небо ваше, и эта земля ваша, и лес тоже: принесли книги — читай.

Ты с трудом разбирал по складам, дал читать Симону. Симоника прочитал,—это, говорит, и Гиголике надо почитать. Через три года Коция тоже захотел читать, а Теклу ну просто нельзя было оторвать от книги...

Пришлось тебе урывать время от сна, чтобы пахать больше и глубже. Попросил кузнеца Зосиму выковать широкую тяпку — другой такой во всей деревне не было,— и в первое же лето дважды ее оттяпывал, а все чтобы сорняки не заглушили твою ниву. Урожай сперва свез к себе на двор, потом каждую субботу и воскресенье тащился в город. Симоника готов был расшибиться в лепешку, только бы стать Симоном, Гиголика — Григорием, а через три года и Коция заявил: раз такое дело, и я не хуже других, мое имя не Коция, а Константин. Маленькая Текла пока ничего не говорила, но если б сказала, возразить было нечего.

А ты радовался. Работал днем и ночью. Все ту же затягивал ремень и, добыв два гроша денег, тут же отсылал сыновьям.

Соседи завидовали тебе: повезло Беко, вон какие у него молодцы растут!

И жена не могла нарадоваться, то и дело утирала счастливые слезы: дети у нас ученые будут, образованные, сядем на старости лет, заложим ногу за ногу и отдохнем от трудов...

И тут грянул гром.

Началась война.

Симон к этому времени уже шляпу носил. Ему и сказали: такие, как ты, нам нужны здесь, на Урале, завод строим, фронту оружие требуется...

Гиголику осмотрели, сказали: никакой ты, парень, не Гиголика, а самый что ни есть Григорий Бекоевич, и направили в офицерскую школу.

Коцию мобилизовали в первый же день войны, и через полтора года он погиб, защищая Кавказ.

Но вот ураган отгремел.

Симон за время войны стал изобретателем по оружию и Симоном Бекоевичем; он прислал письмо: «Война кончилась, но самые интересные дела у меня впереди».

Гиголика вернулся весь в чинах и орденах. Даже ты не посмел назвать его Гиголикой и проводил в город Григорием Бекоевичем.

Текла сказала: мамочка и папочка, не волнуйтесь, я только окончу университет и навсегда вернусь к вам...

Что-то кольнуло тебя в сердце. Не впервой тебе было слышать это. Ты спросил жену: как быть? Заплакала, бедняжка: она же моя доченька, моя младшенькая, я знаю, какое у нее золотое сердечко...

Но не дождалась мать своих детей.

Съехались они на похороны.

Сыновья были в отчаянии: разве можно в таком доме оплакивать нашу мамочку?..

— Надо было выстроить новый дом,— заметил Григорий.

— Да... да... да! — согласился Симон по-русски и покивал головой.

— Наш отец все сделал для нас. Теперь мы выстроим новый дом,— заступилась за отца Текла.

Мать похоронили с музыкой, устроили пышные поминки. Откуда только понаехало столько важных людей, столько красивых машин. Много слов было потрачено, много. А на следующий день все разъехались.

Погода и сыновья собрались в путь.

— Ну, крепись, старик, не сдавайся! — хлопнул тебя по плечу Григорий.

— Да... да!.. — рассеянно потискал тебя Симон.

— Папочка, дорогой, я только сдам экзамены и приеду, но сейчас никак не могу, спешу,— обняла тебя дочка.

И остался ты один в этом старом посвистывающем на ветру доме, наедине с увеличенной фотографией жены, наедине со своей болью и горем. Один, совсем один.

За месяц сломила тебя тоска, победила.

От дочери пришло письмо: «Папочка, я очень переутомилась, еду в Крым — отдыхать. Мой дорогой папочка, скоро непременно увидаю тебя, не горюй...»

За первым письмом последовало второе.

«Папочка, поздравь меня, я вышла замуж. Моего мужа зовут Севасти. Он ученый, близкий друг нашего

Григория. Если б ты знал, как я счастлива! Мы оба приедем навестить тебя. Будь молодцом».

На исходе лета, когда зарядили долгие дожди и старый дом с земляным полом отсырел насквозь, у твоей калитки просигналила машина, и из нее не вышла, а буквально выпорхнула твоя дочь.

— Папочка, мой дорогой папочка! — смеялась и плакала она.

Твои глаза тоже наполнились слезами. Последнее время они у тебя часто слезились.

Севасти протянул тебе обе руки и ни за что не согласился первым пройти в калитку. Текла вбежала в дом и расплакалась перед портретом матери. Последним в дом вошел Севасти и тут же у порога чихнул. Текла подвела его к портрету. Севасти прослезился и еще раз чихнул. Поскольку чихать у изображения покойной плохая примета, Текла похлопала мужа по плечу. Однако Севасти расчихался не на шутку, и жена посоветовала ему выйти на воздух. В дверях задержала и, кивая на портрет, пояснила: Симон лауреату заказал... Севасти почтительно кивнул и, не удержавшись, чихнул в последний раз.

Погода молодые сообщили, что у них билеты на вечерний поезд, жаль — пропадут, — и укатили к родителям Севасти.

И ты опять остался один, мой Беко.

Один.

А на дворе дожди!

Будь он неладен. Все льет и льет. Не разведрится никак!

Дождь...

И стемнело как рано!

Очаг совсем погас, сле тлеет. Ты хоть коптилку зажег бы, что ли.

Коптилку... Коптилка проржавела насквозь, ее и мылом теперь не замазать!

Погоди, ведь ты был сегодня в сельпо, хотел новую купить.

— Что ты, Беко, дорогой, разве теперь найдешь коптилку! — посмеялся продавец.

Да и председатель не раз говорил:

— Давай проведем тебе электричество.

А на что оно тебе, электричество? Внуки, что ли, книжки будут читать? И ты отказался.



И ламп керосиновых теперь не держат. Вот как..

Ты повернулся было и пошел, но продавец остановил тебя и предложил фонарь, простой керосиновый фонарь.

Так хоть фонарь зажги, Беко, темно ведь совсем.

И переверни кукурузную лепешку на очаге, не то обуглится. Огонь еле тлеет, сырые дрова шипят, дымятся, но испортить лепешку жару хватит.

Поесть хочешь?

Ешь. Ну и зачерствела же она, дымом пропахла, вкуса никакого. Где-то кусок сыра лежал, в горшочке, что ли...

Ешь, Беко, ешь!

А теперь что?

Приспусти фонарь и повесь на крюк. Повесь и ложись.

Огонь погас. Дует ветер, будь он неладен, и дождь льет.

Ложись, Беко...

Лег?

Закрой глаза, может, уснешь.

Не закрываешь? Хочешь смотреть?

А на что ты хочешь смотреть?

На свет? На свет фонаря!

Фонарь качается, Беко. То ли ты качнул, когда повесил, то ли ветер его раскачивает.

Качается фонарь... Дует ветер, и качается фонарь. Качается и светит.

На дворе дождь. Грязь по колено. Шумят вздувшиеся потоки. Холодно. В такую погоду собаку из дома не выгонишь.

А это кто, Беко?

Видишь?

Покачивается огонек и освещает белые босые ноги. Платье до колен, две косы до пояса. Она идет в ливень через лес по размокшей тропинке. На руке корзина. Вот свернула вниз, взяла фонарь в другую руку, приподняла подол платья и вошла в воду. Мутная волна плеснула до колен.

Она идет, идет!

И ты слышишь:

— Отец, открой, отец!

Ты смотришь, молчишь.

— Отец!

— Кого там черти посят? — сердито ворчишь ты.

— Отец!

— Колдунья ты, полуночница! Где бродишь среди ночи?

— Горячий ужин, отец...

— Горячий ужин... — прерываешь ты. — А на что он мне? Сидела бы дома! — И ты показываешь на лавку возле своей лежанки: ставь, мол, сюда.

Мамалыга дымится, и в ямках с кусками сыра отстаивается молоко.

— Ох, нечистая сила...

Дует ветер и раскачивает фонарь.

Фонарь качается и светит... светит...

А на дворе дождь...

Дождь...

ВОДЯНИЦА

Герой этого рассказа скончался минувшей осенью. Смерть его напомнила деревне давно забытое — напомнила одну историю, связанную с этим человеком.

Я слышал ее совсем еще маленьким, от стариков, долгими зимними вечерами толковавших у камнина о всякой всячине. О подобных историях заводили речь, когда головешки в очаге уже рассыпались тлевшими угольками, а дрожащий свет коптилки мерк и тускнел. Иссякали разговоры о бывальщине и видальщине, и припоминали сказанное и пересказанное, а переговорив о добрых делах и славных деяниях, неприметно переходили к диковинным козням разной нечисти и нежити.

В ту пору я эти рассказы о «пеладных» и «нечистых» простодушно принимал на веру, а потом мне всю ночь снились и виделись каджи¹, которые, обернувшись прекрасными девушками, прогуливались в белых одеяниях по берегу реки при луне и, расчесывая волосы золотым гребешком, старались заманить и прельстить запоздалого путника. Я знал, что человеку не следует откликаться на зов колдовки, не то остаться ему до конца дней привороженным к ней и до самой смерти не полюбить другую.

Потом пошли иные времена, и при электрической лампе, у железных печек, позабылись этого рода истории, и только смерть Сардиона напомнила о них сызнова. Напомнила потому, что ничего более примечательного о Сардионе припомнить не могли... И в мою память всплыло слышанное о нем в детстве у притухшего очага при меркнувшем светильнике. И лишь теперь сообразил я, что в жизни этого человека была некая тайна, непостижимая, странная любовь одной ночи, любовь к девушке-каджи. Любовь эта до гроба жила с Сардио-

¹ Каджи — злое колдовское существо в грузинских сказках.

ном, и теперь, когда он умер, одна она и осталась памятью прожитой жизни...

Сардиона я знал уже немощным, сломленным годами человеком, но в свое время, говорят, был он пригожим и статным парнем, с крепкой десницей и отважным сердцем, был добрым пахарем и сеятелем.

В какой-то теплый осенний вечер он запряг быков в арбу, уложил на нее мешки с зерном и пустился к воротам. Когда он выводил арбу со двора, до слуха его донесся шум перебранки у соседей, но он не обратил на это внимания. С тех пор как его мямливый, квелиый сосед ввел в дом молодую, полную жизни жену, ссоры и раздоры у них не кончались.

Раньше в деревне селились вразброс и даже при большой охоте не очень-то просто дознавались, какие горести и болезни снедают чужую семью. Сардион знал, однако, что за беда у его соседей, из-за чего у них нелады. Да и вся деревня знала — из-за невестки неурядицы в семье, ее винили в бездетности. А когда замужняя золовка навещала родных, то подзаводила своего слабодушного бесхребетного брата, и тогда уж они вдвоем принимались за молодую женщину. Свекровь, та была еще ничего, получше их. Наедине с невесткой и сама не скупилась на обидные намеки и упреки, а если другие нападали на ту, масла в огонь не лила, хоть и выгородить не пыталась, да и не могла ее оправдать.

Крики у соседей не были Сардиону внове, привык даже к ним. И сейчас не собирался заглядывать через ограду, просто взгляд его как-то сам собой проскользнул в ту сторону.

Соседский дом стоял в глубине двора и почти скрывался пожелтелой листвой деревьев, но один угол дома все же проглядывался, и глаз Сардиона выхватил фигуру женщины, притулившуюся под навесом. И женщина как будто заметила Сардиона, а может, и нет — не мог бы сказать толком. Какое-то время оцепенело глядела сюда, в его сторону, и вдруг разом пропала. Куда исчезла в один миг — Сардион только диву дался.

Он вывел быков на дорогу и закрыл ворота, чтобы скотина не зашла во двор. От дома дорога шла под уклон, и Сардион влез на задок арбы, облегчая быкам путь.

Сразу за деревней простирался глухой лес, одним краем подступавший к реке. Дорога то тянулась вдоль

леса по берегу, то пробиралась через чащу — прямым, там, где река выгибалась излучиной.

Спустился вечер, когда Сардион добрался до мельницы. Он сгрузил с арбы зерно, выпряг быков, привязал по разные стороны арбы, — не стали б бодать друг друга, и кинул им по охапке взятого с собой из дому сена. После чего занес мешки внутрь мельницы и стал дожидаться очереди.

Много всякого люду собирается на мельнице, много всякого оказывается — один про одного пойдет рассказывать, другой — про другое, кто кувшин вина с собой прихватил, кто лук да соленье. Тепло, уютно у мельничного очага, сладок мчади прямо с горячих угольев. Есть кувшинчик вина и у Сардиона, и он припес с собой головку молодого сыра и кукурузную лепешку, выпеченную в каштановых листьях на кеци.

Ближе к ночи поразъедется народ. Сначала заторются те, кому на себе тащить молотье, попозже двинутся, поскрипывая, наваленные мешками арбы. Опустеет мельница.

Где-то далеко прокричат шакалы, потом подступят ближе. Через кровлю и щели заберется внутрь мельницы лунный луч, растянется на мешке с зерном, закинута поверх других.

Пока смелется кукуруза, Сардион успеет соснуть разок-другой. Сон на мельнице совсем особый все-таки, не то что дома. Спишь и не спишь, приклонив голову к твердому изголовью — набитому зерном мешку. Поеживаешься: и зябко вроде, и нет будто. Боишься, не схватил бы крепкий сон, не упустить бы минуты, когда перемелется кукуруза, — не крутиться ведь жерновам впустую, на тебя надеется мельник. День и ночь несут люди зерно, один за другим приходят сюда, вроде тебя, что ж не поспать мельнику, не прикорнуть хоть на часок, и он человек...

А дрема разбирает сильнее и сильнее, туманит все перед глазами, смыкает тебе веки, но ты бодрствуешь, упрямо не поддаешься сну и все равно цепенеешь, погружаешься в забытие. Крутится жернов, дробится зерно, лопочет что-то свое ступица, а через кровлю и щели глядит луна...

Где-то все еще кричат шакалы, в углу попискивает мышь, и зелеными огоньками посверкивает во тьме кошка, будто и не слыша писка.

А мельница мелет. Все мелет и мелет... Ведет свой сказ про горы и доли, сплетает быль с небылью, рассказывает о виденном и слышанном—о ясном месяце и шумном водопаде, о стремнинах и оползнях, о ведуньях и колдуньях, о прекрасной водянице, что плещется в серебряной реке...

И мелет мельница, мелет...

Спишь не спишь, елозишь по твердому мешку. Лунный луч крадется к тебе, перебирается с мешка на мешок, подбирается ближе, ближе, а мельница все рассказывает о дивных берегинях и водяницах, что покачиваются на волнах в лунном сиянии, расчесывая волосы золотым гребешком... Покачиваются на бегущих струях, плещутся в волнах и вдруг рассыпаются, разлетаются бурлящими завитками. И опять выплывают... Вынырнет на середине реки белая волшебница, распустит по воде волосы и засмеется звонко.

Ты вздрагиваешь и просыпаешься — жутко тебе, но жуть эта сладостная, приятная...

Крутится жернов, помалывает зерно... На лопасти льется вода из желоба, и всплескивает воду дивная водяница, и снова расчесывает волосы, распускает их по лицу, спине, по груди, по сквозь темную завесу проступают обнаженные плечи, проглядывают соски... И снова разольется ее смех. Отбросит она золотой гребень, оторвет лунный лучик и приколлет к волосам — украшает голову серебряными нитями. Встанет потом над водой и заглядится, залюбуется собой и в такой придет восторг — залется счастливым смехом.

И ты просыпаешься...

Мельница все мелет, журчит и лепечет вода, блещет яркая луна, и прогуливается где-то белая водяница с распущенными волосами, зовет тебя по имени, кличет, машет призывно рукой.

И ты в самом деле слышишь в немолчном шорохе воды свое имя и звонкий смех девушки. Дрожь пройдет по телу, но это не озноб и не страх. Приятная дрожь, приятная жуть, и тянет еще раз увидеть девушку-каджи, девушку-искусительницу. Поманила б опять, окликнула б по имени, только б не приворожила своими нечистыми чарами...

А вдруг... А если приворожит?..

Нет... Нельзя давать ей прельщать себя.

А что, если она и вправду совсем как настоящая и остаешься потом на всю жизнь зачарованным?..

— Сардион, Сардион!

Какие белые руки у окаянной, какой колдовской смех... Мороз пробирает по коже, ершится волосы...

Кто-то ходит рядом, ты пробуждаешься — это мельник встал, оказывается, сыпает муку в мешок. А ты и не заметил, как измололась кукуруза.

Пока нагружаешь арбу и впрягаешь быков, стряхиваешь с себя дремотное оцепенение. Заберешься на арбу, и трогаются по привычной дороге быки. Заходящая луна смотрит тебе вслед, и тень от арбы и упряжки путается в ногах у мерно шагающих быков. Проедешь немного и приляжешь на бок. Незаметно обступит лес. Лунные блики и рано опавшая желтоватая листва пестрым ковром устилают путь. Крутятся колеса, шуршат листьями, и охватывает тебя смутная дрема.

Чудится или явь? Совсем рядом за темными деревьями переливается белолунной рябью река. Всплескивается вода, нежится в волнах белая водяница, распустив по воде волосы.

Идет арба, шагают и шагают быки.

Сквозь полог листвы там и сям проскальзывают, пробираются лунные лучи, падают бликами на пожелтевшие листья, устилающие широкую дорогу. Рассыпается ртутью, разливается сверкающими волнами белая каджи. Но вот река удаляется от леса, и она выходит на берег. Прошелестит между деревьями и следует за тобой, укрывшись за стволами, пока снова не мелькнет за лесом река, не заблестит лунная гладь воды. Кинется водяница в стремнину, раскатится ее звонкий смех, и рассыплется лунными блестками и заплесками, устремится во все стороны сверкающими струйками. И опять выплывет на середине реки, и опять начнет расчесывать длинные волосы и продергивать лунные нити.

Медленно, неспешно катится арба, шуршит под колесами мягкая листва. И опять светло мелькает за деревьями белая девушка-каджи.

— Сардион!

Сардион раскрывает глаза, хотя и не смыкал их как будто. Ничего не изменилось. Все та же арба, и та же пестрая дорога — желтизна палой листвы, усыпанная лунными бликами, и призрачные лунные полосы между

деревьями — скроются и опять покажутся при движении арбы, совсем как белая водяница.

— Сардион!

Почему шарахаются быки? Разве им тоже мерещится белая каджи или, может, голос ее слышится? Сардион слышит голос, но знает — только он и должен его слышать.

— Сардион!

Голос кажется знакомым. Да, тот самый, который слышался ему в прошлый раз, когда он ехал верхом навеселе. Из лесу донесся, что сразу за домом начинается, как раз оттуда. Хоть и был под хмельком, все равно испугался. Конь под ним шарахнулся, вот он и испугался, а голос не напугал бы его, нет. Он разом протрезвел и затянул песню — громко, торопливо пел, и голос умолк, не звал его больше. А дома он пожалел. Так и звучал в ушах голос, не давал покоя. «Сардион! — звала его всю ночь невидимая девушка. — Сардион!»

На другой день он решил, что ему померещилось спяну, и все равно жалел немного, что не придержал коня, не прислушался толком. Распелся, а чего распелся, спрашивается. Кто его кликал? Каджи? Пускай. Пускай бы звала, раз у нее такой дивный голос. Сардион знал — не откликайся, и ничего не случится. Вечером после ужина отправился в лес, только опоясался серебряным кинжалом — отбиться от каджи. Говорят, не решаются они хватать острое оружие, когда хотят отвести или выбить его у человека из рук, и убегают с криком. Долго бродил Сардион по лесу, в самую гущу забрел, но так и не окликнул его никто. Неделей позже он опять возвращался домой верхом и опять навеселе. Было пасмурно, и никто его не звал.

Сардиона даже задело — чего так быстро отступилась от него каджи! Радоваться бы следовало — отстала, не заманила, не приворожила, а все же задело — очень уж скоро отстала, могла бы еще попробовать...

— Сардион!..

Ну вот слышит же он теперь снова. И забирает страх, сковывает наваждение какое-то. Надо замереть, не двигаться, не шевелиться, пускай хоть окриком погонит быков, которые и без того шарахаются и приостанавливают шаг всякий раз, как раздается ее голос. Потом они опять прибавляют ходу, и удивляется Сардион, почему они

слышат зов каджи. И другой человек, будь он с ним тут рядом, не должен слышать колдовского голоса.

— Сардион!

Сардион видит белую девушку. Совсем близко — за двумя-тремя деревьями от дороги. Перебегает от дерева к дереву, развеивая ее белое одеяние. Пробежит, прошелестит и исчезнет за стволом, укроется от глаз. И снова покажется... Видит Сардион: сначала высунет голову — темную, в черных распущенных волосах и вдруг разом выступит вся, возникнет белой тенью...

— Сардион!

Знает Сардион, нельзя откликаться, да что откликаться — оглядываться нельзя, но он глядит, упорно не сводит с нее глаз, а она стоит, тянет к Сардиону руку, пока арба поравняется с ней. Пройдет арба мимо, и перебежит дальше. Слышит Сардион: зашуршит палая листва, хрустнет сушняк, и опять пропадет каджи, исчезнет на время.

Сардион облегченно переведет дух, когда виденье исчезнет, и сожалеет, что не видно больше белой колдовки, не слышно ее зова. Он знает, что каджи ходят по воде, а по земле — не касаясь земли ногами. Эта же ступает, совсем как настоящая женщина. Да, видно, оборачиваются настоящей женщиной, когда хотят заманить мужчину. А как иначе искусить сй тебя, если не обретет плоти и крови?

— Сардион!..

Шарахнулись быки, но белой волшебницы не видно. Сардион вгляделся в глубь леса, — нет, нигде ее не приметил.

— Сардион, сюда! Сардион!..

Быки резко стали. У Сардиона шапка свалилась с головы, правда, он и не заметил с перепугу. Девушка-каджи манила его, присев за поваленным буком у края дороги, призывала к себе...

Сардион приподнялся, то ли собираясь слезть с арбы, то ли еще что, — и сам не знал, но быки рванули вдруг арбу и понеслись. Сардион совсем близко проехал мимо каджи. Знал — не следовало оборачиваться, и обернулся. Оглянулся он и не смог уже отвести глаз.

— Сардион, Сардион! — опять позвала она и опять побегала лесом, а когда быки пошли тише, — поравнялась с Сардионом, обогнала его и канула во тьму.

Сардион теперь и не боялся даже. Привстал на коле-

ни, напряженно вглядываясь в лес. Он искал ее, хотел увидеть еще раз, хотя бы один еще раз. Если увидит снова, поверит — не видение, не мерещится. И взглянет на нее, а почему бы и нет: человек все должен увидеть — и ангела и дьявола, если только сможет, понятно.

Быки остановились. Попятились.

Сардион догадался — снова показалась каджи. Голоса ее не слышно было, и он всмотрелся в деревья.

— Сюда, Сардион!

Всем телом повернулся Сардион на голос.

Каджи стояла на дороге — вся в белом с головы до ног. Нет, не каджи, а девушка махала ему рукой.

Сардион несколько не испугался. Она была довольно далеко от арбы, а он жаждал увидеть ее близко, совсем близко и приподнялся, ползком перебрался к ярму. Быки не собирались двигаться дальше, только фыркали и рвались из упряжки. Девушка все стояла на пестрой дороге и все махала ладонью вытянутой руки. И тихо звала, совсем тихо:

— Сардо, Сардион!

Сардо... В детстве называли его Сардо, и давно уже не кличут так — даже те позабыли, что называли его так. Сколько времени не слышал он ласковое «Сардо». И не думал, что, молвленное дивным голосом этой колдовки, всю душу ему перевернет.

— Сардо!..

Сардион старался быть осторожным — боялся пробудить себя. Добрался до края дышла, медленно, неслышно спустил ноги на землю, скользнул под ярмо и, присев на корточки, глянул на дорогу. Думал, не обнаружит ее больше, но девушка стояла на том же месте, молча протянув к нему руку.

Все так же на корточках прошел Сардион под ярмом и, не выпрямляясь, стал тихо продвигаться вперед. И уже не думал, как ступал, на что ступал, куда шел, что оставил позади, кто он и к кому стремится... Ни о чем не думал, только видел — все ближе, ближе девушка, и не он приближается — сама она становится ближе: но, когда он ясно различил волосы, ниспадавшие на белую фигуру и скрывавшие лицо, она отбежала, не опуская рук — все так же призывно вытянув их в сторону Сардиона, и расстояние между ними не сократилось.

Что происходило потом — она ли отходила, а Сардион следовал за ней, или случилось чудо и заходили

деревья?.. Вот справа прошло дерево, другое миновало его медленно, потом сам он обогнал дерево с развилкой, белым покровом просветила каджи, луна прошла над Сардином, большущая, полыхающая... И снова увидел он девушку. Справа, слева двигались деревья, обходили его, отклоняли острые сучки, отводили колючие восточки. Протянутая рука девушки мапшла, и лес двигался к ней — со своими деревьями, луной, — а каджи все стояла и мапшла, и кружилась, качалась у него под ногами земля.

Сардин пошел быстрее, и деревья теперь не шли, а неслись, и от вихревого устремления вперед ветерком струился воздух. Просверкивало белое одеяние каджи, проносились длинной белой полосой луна. Девушка словно летела, и Сардин хотел лететь за ней, быстрее, стремительней, — нагнать, пастичь ее. Устремленные вперед деревья уже не успевали отводить ветки и задевали Сардина холодными листьями, царапали острыми колючками, но он ничего не чувствовал. Он видел то белое, к чему приближался, и хотел одного — быстрее неслась бы под ногами земля.

Все ближе, ближе к ней становится Сардин. И ничего больше не видит — ни землю, ни небо, ни деревья, ни луну. Несется за ней, несется... И вдруг блеснуло что-то за деревьями, сверкнуло серебристым светом. Река! — догадался Сардин. Река подступила к лесу. Он испугался — не скрылась бы каджи в воде, и побежал, нет, полетел еще неудержимей. И схватил ее. Схватил, обвил руками и крепко прижал к себе. И войди она теперь в реку, увлекла бы и Сардина, опустилась на дно, и он бы очутился там. Сардин ухватился одной рукой за крайнее дерево, — удержаться на месте, не оказаться с каджи в холодной воде.

И замерло, застыло все. Сардин ощутил жар ее дыхания, прохладу и тепло ее тела. Он все держался за дерево, — боялся — не вырвалась бы девушка-водяница, не убежала б. Дотянулся до ствола и другой рукой, впился ногтями в кору. Зажал девушку в объятиях между собой и деревом. И припал к ней губами. Целовал жарко, исступленно, старался успеть, успеть, пока она не растаяла у него в руках, не сгинула... Торопился успеть еще раз, еще один раз, еще... Губы ощущали прохладу ее волос и теплоту ее кожи, ее тела, нет, не тела, а чуда. Это было адское наслаждение и адская мука. И бо-

ялся лишиться этого мучительного блаженства, этого колдовского наслаждения.

Сардион не заметил, как отпустил дерево, и теперь держал в руках только каджи, но покорную, прильнувшую к нему. Он почувствовал, понял, что никуда не убежит теперь от него белая водяница, никуда от него не денется! Он сам околдовал ее, сам заморозил им самым найденным колдовским способом, лишил ее и сил и воли. И вот повисла у него на руках, бессильная, безвольная, и, когда Сардион опустил ее на траву у замыкавших лес деревьев, она податливо потянулась за ним, словно была из мягкого воска и стекала на землю.

.

Когда Сардион заметил, что стиснутая в его объятиях девушка выплывает из дурманной мглы, он выпустил ее. Приподнялся на колени, осторожно склонился над ней, чтобы откинуть волосы, все еще скрывавшие лицо, и заглянуть ей в глаза — в самом ли деле она каджи! Вся она была как человек, и глаза, верно, такие, как у человека, а все-таки должны они чем-то отличаться! Девушка не шевельнулась, пока Сардион не коснулся ее волос, но едва притронулся — вздрогнула, присела и, схватив его за руки, медленно отвела их от себя, отвела к его груди. Приподнялась еще и внезапным рывком оттолкнула от себя, отбросила — навзничь, а когда Сардион вскочил, не видно было ни ее, ни ее белого одеяния, на котором они лежали.

За деревьями текла река, и в волнах дробилась, распалась полыхающая белым светом луна.

Сардион опустился на землю, протер глаза. Нет, он не спал. Все случилось в самом деле. Он поднялся, прошел за дерево и стал на берегу. Ждал минуты, когда девушка, белая водяница, снова появится из воды на середине реки и начнет расчесывать волосы, что разметал Сардион.

На глади реки не было ничего, кроме лунных блесков, и не слышно было ни звука, — никто не окликал Сардиона ни теперешним его именем, ни давно забытым.

Повеяло утренним холодком. Сардиона словно студеной водой сбдали. Вспомнил, что бросил быков и арбу, оставил их у обочины, но сдвинуться с места не мог.

Луна зашла, подступал рассвет. Где-то защебтала

истерпеливая птичка, но сама догадалась — поторопилась, и примолкла.

Сардион обошел дерево, за которым последний раз мелькнула каджи, и медленно зашагал в глубь леса.

Быки успели пройти вперед, потом, видно, потянулись к траве, но осью арбы зацепились за дерево и теперь жевали жвачку.

Когда Сардион вернулся домой, было уже довольно светло. Он занес муку в дом, распряг быков, умылся, прошелся по двору. В доме еще спали. Он вспомнил — с вечера задумал сделать сегодня что-то нужное. Силился припомнить и не мог. Долго мучился. Потом решил, что никакого такого дела у него на сегодня не было. Нет, было дело, но какое? Бессонному — не хотелось спать, голодному — не хотелось есть...

Да, быков надо вести на выгон...

Он связал их вместе и погнал перед собой. Но к выгону не пошел, пустился по дороге к мельнице. Потом сообразил, куда вел быков, и направился к полю. Оставив их пастись, пошел к дому. Уже подойдя к воротам, повернул от дома и зашагал к реке. Не удивился. Огляделся по сторонам. Вот то самое дерево и примятая под ним трава, вот то место, где он просидел до рассвета и ждал, когда она появится из реки.

Домой вернулся поздно и все старался вспомнить, что же ему надо было сделать. Нет, кажется, ничего...

Потянулся длинный день. День, равный году. Едва опустились сумерки, он уже сидел на берегу реки. Сам не заметил, когда пошел туда, сколько шел...

Еле дождался луны. Не всходила никак. Извелся, изнемог, ожидая ее восхода.

И взошла наконец. Поднялась над землей — и замерцала, засверкала гладь воды, изломалась в ней луна, рассыпалась блестящими осколочками, но из воды никто не появился.

Сардион встал, пустился к дороге, ждал под каждым деревом — не появится ли вдруг. Белые лунные полосы между стволами принимал за девушку-каджи — подойдет, и никого, ничего... Вышел на дорогу — и там никого, ничего. Пошел по дороге, к мельнице, туда, где приметил ее первый раз — все равно нигде никого. Вернулся обратно к реке — все так же колыхались осколки белой луны, а водяницы не видно. Вспомнил — услышать ее должен бы раньше, чем увидеть. И снова почти

дошел до мельницы, и опять назад. Шел быстро. Зайдя глубже в лес, остановился — вот тут ему послышался, а может, почудился первый раз ее голос. Прошел немного, опять остановился. А тут он вскинул голову, когда она еще раз окликнула его. И здесь она звала, и вот здесь, а там — увидел ее. «Наверняка ждет меня у реки», — подумал Сардион и бегом устремился туда.

Никого. Только серебристо-белая гладь реки и луна, больше ничего.

Рассвело.

На другой день он отправился на мельницу. Зерна с собой не взял и разговора ни с кем не заводил. Сидел, ждал, ждал, пока разойдется-разъедется народ, потом пристроился у мешка с зерном, опустил голову возле лунного луча, прокравшегося через крышу, и прислушался. Журчит вода, рокошет мельница, и клонит ко сну, навевает дремоту после бессонной ночи.

Спит не спит Сардион... Всплескивает серебристые волны белая водяница, сверкает в ее руке золотой гребень. Все расчесывает и расчесывает волосы. Вот встала над водой, загляделась на свое отражение и вскрикнула от восторга — так поправила себя самой, и рассыпалась на волны, разошлась рябью по поверхности.

Сардион приподнял голову — лунный луч перебрался уже на другой мешок.

Он встал, вышел — тихо, на цыпочках. Пустился к лесу. Вот и лес, воп светло проглядывает за деревьями река — золотыми гребешками рассыпалась по ней луна. Вот-вот окликнет его водяница, услышит ее зов:

— Сардион!

Вправду слышится?

— Сардион!

Нет, это голос в нем самом, в его сердце зов...

Река удаляется, и дорога опять извивается лесом.

— Сардион!

Чудится?

Верно, сама покажется сейчас. Воп там белеет что-то. Наверняка она. Да, она. Не похожа, но это она. Подойдет ближе и увидит — она.

Подождал. Нет, не она...

А может, воп там она у поваленного бука? Может, там окажется? Выйдет из-за дерева и окликнет:

— Сардион!

Да, зовет же! Точно слышал голос... Ее не видно, правда, но голос он слышал...

Вот и бук. Подошел, совсем близко подошел и стал, попятился. А что, если не окажется ее там?

Как это не окажется?! Там она, там, вот подойдет он и убедится: там она!

А вдруг нет ее за буком?

— Сардион!

Зовет же...

Зовет... Ну подойди тогда. Не было б ее там, не звала б...

Приблизился на цыпочках к буку, заглянул за него. С другой стороны обошел — все равно нет. А может, там она, где арбе путь загродила. Бегом, Сардион!

Нет, и там ее нет...

Ну скорее тогда к реке, к тому дереву, где... Туда, где осталась примятой трава...

Нет, нигде ее не видно...

И на реке одни золотые завитки-гребешки... Ничего больше...

Наступило утро.

Вечер.

Снова утро.

А может, она последует за быками и арбой? Снова кукуруза и мешок. Так ведь смолотое еще не тронутое... Все равно отвезет на мельницу. Вино в кувшинчике. Свежий сыр, завернутый в тыквенный лист, мчади, выпеченный в каштановых листьях...

Снова мельница. У очага рассказы про виденное и слышанное, про лес и про реку.

И сон. Спишь и не спишь. Пробирает дрожь, зябко ежиться.

И снова всплескивает воду дивная водяница и расчесывает волосы.

Дорога и арба...

Зовет его?

Зовет...

Кажется, мелькнула за деревьями.

Да, мелькнула.

Ну-ка, подойди, если вправду она!

Нет, не она...

— Сардион!

А почему не шарахаются быки? Привыкли, окаян-ные, не бояться ее больше!

— Сардион!

Никого нет.

Не останавливаются быки.

Да остановитесь же, пропади вы пропадом!

Идут и идут себе...

И снова вихрем кружится лес, проносятся деревья, луна.

У реки все еще примята трава, и все еще не высохла опавшая листва, река полна золотых гребешков, а белой водяницы нет и нет.

Наступило утро.

Вечер.

Снова утро и снова вечер...

Облетели листья — лес по колено в листве, и луна теперь заглядывает в каждый уголок, а белой девушки все нет нигде.

Пронесется ветер, доносит из-за каждого дерева:

— Сардион, Сардо, Сардион!

И никого не видно.

Луна убывает, на реке не видно уже гребешков, а водяницы и подавно нет и нет, и снова прибавляет луна...

Сестя снег. Белый, как белая девушка-каджик.

На всем белый ее покров.

— Сардион, Сардо, Сардион!

Кличет белые деревья и кусты. Поваленный бук весь в ее белом одеянии.

Никого не видно.

Наступает утро.

И снова вечер.

И снова покрываются деревья листьями — упругими, зелеными. Они растут, растут, а потом желтизна опять одолевает зелень. Опадают, все еще свежие, мягкие. Луна запускает лучи в поредевшую листву, устилает лес пестрым сказочным ковром. Река полна золотых осколков и блестков.

...И опять идет снег, белый, как покров водяницы.

Наступает утро.

Вечер...

— Что это с Сардионом, а?

— Да молви же слово, Сардион!

— Сардион, что ты все ницешь да ницешь на дороге к мельнице?

— Может, жемчуг обронил в реку?

— Совсем одичал, несчастный!

— Очнись, Сардион, подумай о себе, пора бы семьей обзавестись!

— Что, он одиноким хочет состариться, грешный?

— Одногодки его давно все переженились.

— На много ли старше был его мямля-сосед, когда жену-красавицу в дом ввел! Одно время думал, бесплодная она, а теперь вои и дитя есть и... Правда, больше одного не родила, ну и что с того, и одно дитя — дитя...

— Эх, Сардион, неужто так и не скажешь, что тебя точит?

И снова ночь.

И снова утро.

На мельнице сказывали — худо с Сардионом...

— А что с ним, горемыкой?

— В каджи влюбился, оказывается... Окаянная водяница приворожила.

— Тыфу ты, леший, не к слову будь помянут!

— Эх, пропал человек, чего тут говорить!

— Ясное дело, пропал.

— Что он порченный, слова нет! Может, оговорка от порчи поможет или святой водицей окропить его?

— Нет, эту хворь ничем не сведешь, ничего ему не поможет! Смеешься — в каджи влюбиться!

— Так уж ничего и не поможет?!

— Да ему теперь хоть сказочную красавицу подай, пугалом покажется.

— Э-у-у!..

Вечер.

И снова утро.

Решили вырубить лес — под чай.

Сардион с ружьем встал поперек дороги — кровь грозился пролить.

Лес все же вырубил и развели необозримые чайные плантации.

Обозлился Сардион на деревню, замкнулся в своей усадьбе и отгородился от мира — обсадил двор деревьями и пустил между ними колючую дерезу, ежевику да терновник, — видно, решил хоть у себя дать прибежище водяницам.

Долго говорили о Сардионе. Говорили и в годы моего детства. Сардион отмалчивался, будто не о нем шла речь. И в конце концов о нем позабыли. Позабыл и я.

И вот смерть его напомнила мне о нем, вызвала в памяти историю одной ночи.

Если окажетесь в той стороне, где жил Сардион, и спросите о нем, скажут:

— Да, был такой человек, водяницу любил.

А была ли она в самом деле водяницей или женщиной, или чем другим, того никто вам не скажет.

СЕМЬЯ

1. МЕЧТЫ

Она сидела впереди меня, и косы ее всегда лежали на моей парте. Они были смешные, эти косы. Тоненькие, с загнутыми хвостиками. Когда она качала головой, кончики кос, как мышки, бегали по моей парте. Я прихлопывал их ладонью. Тогда она оборачивалась, и я видел ее сердитые черные глаза. Она сердилась, а я смеялся. Я радовался.

Я мог с точностью сказать, насколько больше волосков в ее правой косе. Правую косу она всегда заплетала туго, и хвостик у этой косы был загнут как-то смелей и задирнстей.

Я любил ее. Любил со школьной скамьи. Скажете, смешно? Нет, не смешно.

И за что только я ее любил! Я и сам не знаю, за что. Просто любил — и все.

Может, я был фантазер? Наверное, я был фантазер. Я прочитал много приключенческих книг, но никогда не пытался схватить с неба звезду и не нырял в глубь моря, чтобы найти жемчужную раковину. Да что там жемчужную! Я не пытался поймать даже морского рака.

И все-таки я любил мечтать.

И она тоже любила мечтать.

Я писал ей записки. Да-да, записки!

Я протягивал ей под партой клочок бумаги. Она больно щипала мою руку кончиками пальцев и опять стреляла в меня сердитым взглядом. Но записки все-таки брала. Она брала мои записки! Она читала их! Она писала ответы! И я знал, всегда знал, что она мне ответит. В записках она не умела сердиться.

Иногда она позволяла проводить ее домой.

Она любила встречу погоду и не переносила дождя. О моя солнечная Грузия! Как хорошо, что с неба твоего

редко падает дождь. Что бы я делал, если бы жил в другой стране?..

А ветры у нас бывают часто. В теплые дни, освеженная слабым ласковым ветерком, она могла целыми днями лежать на топчане или на траве и не вспомнить о пище и воде. О, она была очень терпеливая и смелая. Такая смелая, что мне порой становилось страшно за нее. Ведь она могла и со скалы прыгнуть, и на высокое дерево влезть, и умчаться в горы без меня. А в горах есть дикие звери! Сердце мое замирало от страха. И, чтобы она никуда не убегала, я осторожно заводил разговор о семье.

О семье она могла говорить целый день. И даже целую ночь. Будущая жизнь. Как много мы говорили о ней. Говорили без смеха. Разве можно говорить о семье несерьезно! Семья — это не шутка.

Правда, сначала мне было смешно. Но она говорила так серьезно, без всякого смущения, что я скоро привык и не спорил с нею. Спорить было ни к чему. Мысли наши совпадали.

Это потому, что я ее любил.

— А знаешь, Сисо,— она хватала меня за два пальца и тянула высоко в горы,— ни в коем случае нельзя дом у самых ворот строить. Нужно оставить больше места, чтобы двор был просторный. И обязательно нужно перекопать весь двор, очистить его от саревелы. Посеем нежную траву — койндар, чтобы дети могли играть в ней. А сорняк заглушит койндар.

— Конечно, Теона, сорняк нам во дворе ни к чему. Да и койндару он будет мешать расти.

— Правильно, Сисо. Если эта негодная трава будет расти во дворе, что скажет прохожий?

— Да я не только во дворе, даже в конце двора, у самой канавы для орошения виноградника, не позволю расти этой вонючке.

— Но, Сисо, если уж ты думаешь канаву прорыть во дворе, надо, чтобы она всегда была чистой и вода текла свободно.

— А я все же люблю заросшие канавы, Теона,— вырвалось у меня, но я тут же заторопился: — В крайнем случае, можно канаву обложить дерном.

— Нет, Сисо, так не годится. Сорняки обязательно прокрадутся в виноградник, и попробуй выдерни их. Руки изранишь.

— Тогда, может, тростник?

— Тростник? — оживилась Теона и задумчиво повторила: — Тростник? Но, Сисо, он же высыхает в мае или в июне.

Тогда я предложил сорт травы, пригодной для сена.

— Но всходы ее бывают сильно изреженные, плешины остаются, — отвергла мое предложение Теона.

— Плешины снова засею какой-нибудь другой травой, — настаивал я.

Но Теона не терпит возражений и пустых обещаний. Она сейчас же, немедленно должна знать, какая именно трава будет расти в конце двора, чтобы края канавы не осыпались, чтобы глазам было приятно, чтобы прохожий не бранился, а хвалил наш двор.

Она сама подыскивает травы и сорта винограда. В конце концов мы сходимся на том, что лучше «цоликаури» не найти винограда. «Мцване», конечно, можно было бы взять, но грозди вырастают маленькие. И «шави» не годится. Хотя лоза и хорошо растет, да вино получается плохое. А что скажет гость, когда ему поднесут плохое вино? Скажет — плохой дом, плохой хозяин, плохая хозяйка. Вот что он скажет. Нет, уж лучше «цоликаури».хлопот с ним, конечно, много. Зато гость будет доволен.

Кстати, о госте. Надо заранее подумать, где он будет спать. Необходимо построить удобный дом, чтобы ничто не беспокоило гостя и детей. Наш дом будет с подвалом. С каменным подвалом и с балконом. А по балкону будет виться виноград с широкими зелеными листьями. Потолок мы сделаем высокий, чтобы комнаты были светлые. Ах, какой это будет дом!

— Слышишь, Сисо, не забудь, пожалуйста, про печь! Я тебе уже не раз говорила про печь, но ты не заботишься об этом. А печь в доме — главное. Я хочу, чтобы был камин. Когда в нем будут гореть дрова, в комнате станет весело-весело. О дровах, Сисо, тоже надо позаботиться заранее. Я думаю, расколотые поленья граба очень хороши для камина.

— Ясень и акация — тоже неплохо, — добавляю я.

— Что ты говоришь, Сисо! — вспыхивает она. — Ты совершенно не думаешь о детях. Ведь ты же знаешь — акация стреляет искрами. А если искра попадет в ребенка?!

О, я безмозглый чурбан! Я мог погубить ребенка

искрой от акации! Он же маленький, еще не умеет говорить. И мы не заметим, как у него сгорит половина уха или, еще того хуже,— половина носа. Наш ребенок с изуродованным носом...

— Я выброшу всю акацию, напиленную на дрова,— решительно заявляю я,— и никогда, слышишь, никогда в нашем доме не будет акации.

Теона рада. Я тоже рад. Все обошлось благополучно. Наш ребенок спасен. У него будут целы уши, нос и смешливые, очень смешливые глаза. Такие же смешливые, радостные, как сейчас у Теоны. Кроме того, у него будут длинные, густые ресницы. И волосы чуть кучерявые, чтобы не было больно головке, когда начнут их расчесывать гребешком.

Теона смотрит на меня и добавляет, что у него, у нашего первого малыша, будет нос с горбинкой. И главное — шея подлиннее, и если он будет повыше ростом, тоже неплохо.

Потом у нас будет девочка, потом опять мальчик или девочка, это уже все равно, кто будет потом...

Тускнеет день, с гор надвигается темнота, за вершинами, за дальней далью догорает заря. Мы сидим на пригорке. Нам видно далеко-далеко вокруг.

— Сисо,— почти шепотом говорит Теона,— мальчика мы назовем Паата. — И совсем тихо добавляет: — Патико, Пата, Пати...

— А как девочку?

— Девочку? Девочку — Хатуна.

— Хатуна — хорошо,— соглашаюсь я,— но Тамара, Кетеван или Русудан еще лучше.

Теона даже подпрыгивает от восторга и хлопает в ладоши.

— Русудан, Русико, Русудан, Русико, ой, как хорошо!

В небе проносится вспугнутая птица. По дороге идут колхозники. Они возвращаются с работы.

В селении зажигаются огни. Начинают дымить трубы. Дым тянется к горам и сползает в ущелье. Слышатся резкие удары: трах, тах, тра-та-та. Это ребятишки, перед тем как начать мыть ноги, забавляются, барабана по тазам. Неугомонные ребятишки! Под ноги проходим выкатываются собаки и быстро ныряют обратно в дыры плетня. В чьем-то дворе требовательно и капризно визжит свинья.

Взявшись за руки, мы медленно идем в село. Благодатный покой кругом, но в селе еще бурлит жизнь.

— Тако, Тако,— зовет засидевшуюся в гостях дочь обеспокоенная мать. И, не дождавшись, кричит: — Чтоб тебе не вырасти!

— И куда ты запропастился, негодный мальчишка? Ну, погоди, я надеру тебе уши! — слышится из другого двора.

— Ивлиане, когда ты выйдешь во двор и поможешь мне управиться с этой горластой свиньей? — доносится из третьего.

— Что ты шумишь, баба, ну, что ты шумишь? — ворчит ленивый Ивлиане.

— Она разнесла ворота, эта свинья, потому что руки твои не умеют ничего делать прочно.

— Эй, парень, ослеп ты, что ли, теленок высосет все молоко и убежит!

«Парень», ему лет девять, изо всех сил тянет веревку, но теленок все-таки пересиливает его и ухватывает губами сосок. Он торопливо и вкусно причмокивает.

— И зачем только ты родился? — ворчит мать, отгоняя теленка, и начинает доить корову.

Кувшин глиняный, и мы слышим, как звонко ударяются тугие струи молока о стенки кувшина, звон их постепенно затихает, переходит в журчание. Мы даже видим, как глава семьи Ивлиане выжидающе не сводит глаз с жены, занятой делом. Дети уже перестали колотить в дно таза, перевернули его и моют сбитые за день ноги, опуская их в воду — сначала нерешительно, а потом смелее.

В селе наступило время ужина. Не слышно говора. У открытых дверей сидят собаки и чего-то ждут.

До них доносится запах горячего мчади и зеленой фасоли. Журчит, выливаясь из узкого горлышка кувшина, вино.

Ужинают люди труда.

Дети отправляются спать. Но они еще успеют ущипнуть друг друга: «Убери ногу!» Потом трут ступню о ступню, обсушивая ноги, перед тем как нырнуть в чистую постель, и мгновенно затихают,— уgomонились.

Ивлиане не спеша снимает рубаху и, заглядывая в кухню, где хозяйка заканчивает дела, ворчит:

— Пошевеливайся...

Она домыла посуду, вытерла руки.

Погас свет. Тишина. Нескончаемая тишина. Даже шелест деревьев замирает. Изредка взвывает собака, с реки донесется приглушенный шум мельницы, в лесной чаще прокричит сова.

Семья погружается в сон.

Мир и покой вам, семьи!

2. МУДРОСТЬ ЖИЗНИ

И вот настает весна нашей жизни. Свадьбы мы не справляли. Просто собрались родные да несколько друзей, выпили вина, пожелали нам счастья, повеселились и ушли.

Надо было идти на отведенный нам участок и закладывать фундамент будущего дома. Участок наш на окраине села, возле пригорка. За пригорком овраг, здесь протекает ручей. Проселочная дорога огибает участок. Налсво новый дом, а направо — никем еще не обжитый пустырь.

Меня не пугает пустырь. И Теону тоже. Мы начали расчищать участок от сорной травы и камней. Подошел сосед, улыбнулся, как старым друзьям, и сказал:

— А-а, пришли. Ну, здравствуйте, коли пришли.

— Как видите, пришли. Здравствуйтесь!

Сосед задумчиво протянул:

— Да-а, такова жизнь.

Показалась и жена соседа. Она поправила на голове платок и тоже улыбнулась, потом спросила мужа так, чтобы слышали и мы:

— Пришли?

— Пришли.

Шлепая босыми ногами, прибежал малыш и остановился, нерешительно глядя на нас.

— Подойди, подойди, родненький, — подтолкнула его к нам мать. — Подойди и поздоровайся — это наши соседи.

Я заострил топором первый кол и принялся вбивать его в твердую, неподатливую землю. Теона попросила у соседней кувшин, принесла воды и налила в ямку. В мокрую землю кол входил легче.

— Так, — одобрил сосед, — забивайте кол крепче.

Я и сам знаю, что первый кол должен стоять крепко. Иначе он расшатается и упадет. А если упадет этот кол, упадут и другие, рухнет вся ограда. Соседской

свинье только и нужно, чтобы колья у нас расшатались.

Сосед, помогая нам советами, показывает на свой дом, фруктовые деревья, огород, виноградник и говорит:

— Здесь тоже был пустырь. — И, напевая, приносит лом, опускает плетень, делает ступеньки с нашей стороны, чтобы мы приходили к нему в гости, и кивает одобрительно головой: такова жизнь, друзья мои.

Прошли дни. Мы уже сделали ограду. Посадили деревья. Хотя сад у соседа очень и очень молодой, он отдал нам три лимонных и два персиковых саженца.

Мы перекопали весь двор — сеем траву койндар, готовим землю под виноградник, закладываем фундамент будущего дома, таскаем тяжелые камни. Мы очень устаем.

Сосед улыбается.

— Ничего, ничего — так начинается жизнь.

А я уже посматриваю на пустырь, что по соседству с нашим двором. Туда скоро придет новый сосед и заложит фундамент. Я осажу ограду, сделаю для него ступеньки, и у меня тоже окажется несколько лишних саженцев. И когда он будет вбивать первый кол, я улыбнусь и скажу:

— Забивай крепче!

3. БУДНИ

Тысяча дел в доме. Тысяча мелких, нескончаемых дел. Они ждут, когда мы вернемся с колхозного поля. Мы устаем, очень устаем. Вечером нас рано одолевает сон, и мы засыпаем с книгой в руках, не дочитанные утром газеты лежат на столе. Тысяча дел в доме. Но надо хорошо работать и на колхозном поле. Мы — молодые.

Будни, наполненные трудом. Короткие дни и совсем короткие ночи. Жизнь состоит из будней, а будни не бывают без трудностей.

И в тот прохладный вечер я, как только добрался до подушки, мгновенно заснул.

— Сисо! — услышал я сквозь сон. — Сисо, родной... — Голос жены был очень взволнованным, и будто что-то билось и трепетало в ее горле.

— Что случилось, моя жизнь?

— Сисо,— шепчет Теона, и я никак не пойму, плачет она или смеется. — Сисо!..

— Ты видела плохой сон? Тебе что-то померещилось?

— Нет, Сисо, нет...

— Теона, что с тобой? Я зажгу свет.

— Не нужно, прошу тебя, не нужно. — И опять то ли смеется, то ли плачет — не понять. — Он шевельнулся, Сисо!

— Кто шевельнулся? Земля шевельнулась? Дом шевельнулся?

— Ложись, я скажу,— ласково шепчет она мне на ухо, и я догадываюсь, в чем дело.

— Тео! Почему ты до сих пор?..

— Ложись...

Но я не могу лежать! Я хочу зажечь свет, открыть окно и закричать:

— Э-эй, люди! Народ! Деревня! Соседи! В моем доме шевельнулась жизнь! Да, да, вот здесь, под моей маленькой крышей уже бьется и дышит новая жизнь!..

Сон пропал. Усталость прошла. Но я затихаю, я смиряю себя, чтобы услышать, как он шевелится, как он будет дышать. Смиряю и не могу смирить. Что-то во мне рвется наружу, не дает сидеть, не дает лежать спокойно.

— Сисо,— тихо говорит моя жена, нет, не только жена, а уже мать — носительница жизни. — Сисо, ты не волнуйся и спи. Завтра нас ждет работа.

Ночь тянется. Завтра нас ждет работа. Теона дышит спокойно и глубоко. Я слышу это дыхание. Я вижу, как вздымается и опускается ее грудь, мне кажется, я слышу дыхание двух людей. Рядом со мной спит новая женщина, незнакомая мне Теона — мать. Незнакомая и в то же время знакомая, близкая, родная.

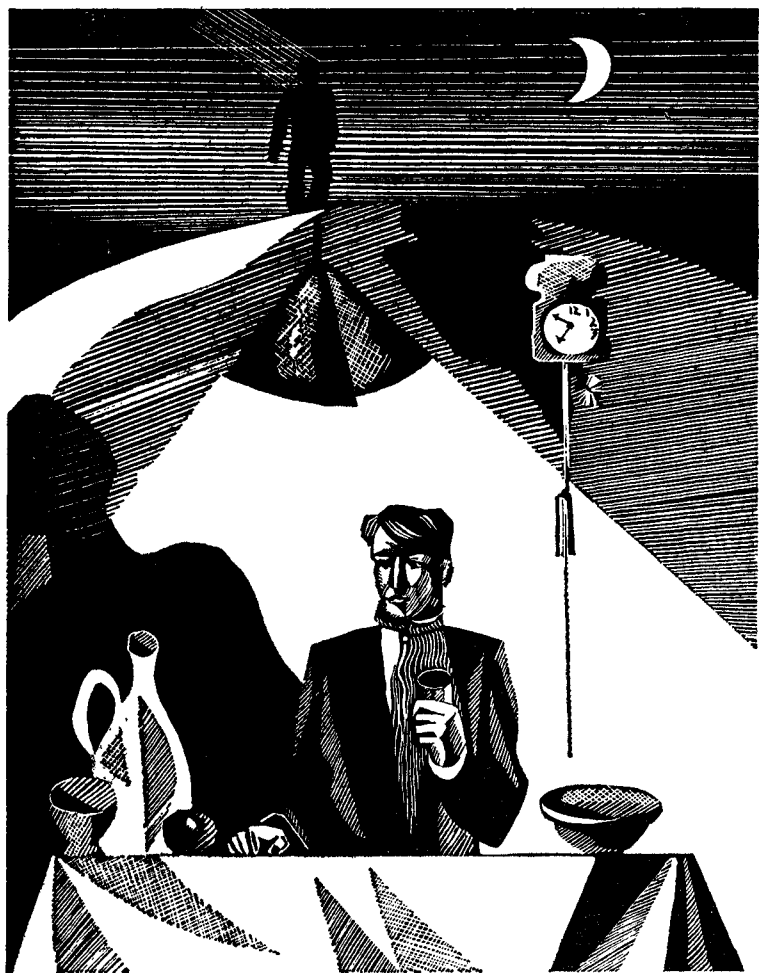
Что же это такое?!

Я не могу спать. Я осторожно встаю, на цыпочках подхожу к окну, открываю его.

На небе много звезд. Я хочу сосчитать их. Которая из них его? Может, вон та, что мерцает на краю небосклона, а может, вот эта, которая сияет над нашей крышей так, что на нее больно смотреть. Ну конечно же, эта! Она — самая яркая. А я до сих пор ее не видел!

Кошка, услышав мои шаги, скребется в дверь.

— Брысь! — сержусь я. — Брысь, негодная! Ты спугнешь их сон!



Я выхожу на балкон. Веет прохладой. Хорошо бы пройти по росистой траве. Но мне нельзя уходить из дому! Нельзя!

Кошка путается в ногах. Я беру ее на руки, глажу и говорю:

— Писо, ты умная кошка. И ты не скребись, пожалуйста, в дверь. Можешь ты одну ночь поспать где-нибудь в амбаре? Тебе холодно? Тогда забейся в копну

сена. Только тихо, Писо, пожалуйста, тихо. Скоро он будет с тобой играть. Я привяжу за веревочку бумажку, и он будет с тобой играть. Но веди себя хорошо.

Соседская собака услышала мой голос, метнулась к забору, залаяла.

— Мура, ты с ума сошла! Что ты делаешь? Там, в комнате, отдыхает человек, два человека, а ты... Нет, ты ничего не понимаешь. Тихо, говорю! Убирайся в тот конец двора и лай там сколько угодно, хоть всю ночь, а здесь не смей. Здесь растет новая жизнь. Она не любит лая. Жизни нужно спокойствие. Уходи!..

Неслышно, на цыпочках, над миром, над селом, над нашим домом проходит ночь.

ТУР-ВОЖАК

(Сванская новелла)

Семь дней тому назад белолобый тур победил в последней смертельной схватке, и турицы признали его своим повелителем.

Четыре года дрался Белолобый за первенство, четыре года ждал он этого дня.

Там, среди неприступных скал и ледников, во владениях солнца, свой закон; он суров и необорим — первенство или смерть. В пору любви, когда постепенно смолкают призывные крики, стадо туриц принадлежит одному вожаку — другого не существует. Другие либо низвергнуты в пропасть, радуя слетающихся на пир ненасытных стервятников, либо, полуживые, из последних сил держатся на отвесных кручах и уступах скал. А трусы, те, что уступили поле боя, изгоями бродят по горам, и ветер, пахнувший турицами, мутит им кровь и дурманит головы.

Четыре осени гремели на вершинах рога Белолобого, четыре осени равнодушные бездны и скалы внимали и вторили их самоотверженному грому — бою во имя жизни, во имя любви и потомства. Четыре года судьба Белолобого висела на волоске. И все для того, чтобы высоко среди орлиных гнезд множилось его племя.

Еще нет и недели, как Белолобый гордо ступил по ослепительной белизне во владения солнца. Он властвует. Природа благоволит к нему. Высоко подняв голову,

стоит он на гребне скалы, смотрит на солнце. Потом переводит взгляд вниз и выбирает турицу — ту, что примет и спасет его кровь, его род. Он оставит свое потомство неприступным вершинам. Четырьмя годами самоотверженной и честной борьбы Белолобый завоевал право на это.

Целых одиннадцать месяцев ходили туры по горам дружным стадом. Вместе паслись, вместе пили соленую воду из горных источников. Чутко оберегали друг друга от врагов. Делились соломой, припрятанной в расщелинах и нишах скал горными индейками; спали в тесноте, согревая друг друга теплом своих тел. Но вот ветер гона доносил до них одуряющий запах туриц, и туры теряли покой. Забывалось все: и еда, и дружба, и осторожность. Даже сладчайшая вода горных ключей — вода, ради которой они каждый день рисковали жизнью, не притягивала их более, ибо появлялась новая неутолимая жажда — жажда туриц.

Кричали самки и звали самцов для потомства. Кричали самки для любви и боли, для страха и муки. Не было покоя потомку в теле матери, маялся и страдал он ради рождения, дабы в муках явиться на свет и увидеть сверкающее светило.

Бродила и закипала кровь отцов. Ради создания маялся в ней потомок и не находил себе места. Одиннадцать месяцев он спал, одиннадцать месяцев дремал и ждал исхода лета, чтобы с наступлением осени взбунтоваться, восстать, возмутить отцовскую кровь, раздуть жилы, броситься в голову и потребовать рождения и жизни.

Мешалось стадо туров, и, как засуха, как удушье, наступала неутолимая жажда туриц, куда так неудержимо стремился переселиться потомок.

Но не каждый потомок был достоин рождения. Если, явившись на свет, он не сможет взбежать на высоту, недоступную матерому волку, если, уходя от преследования, он не сумеет перенестись через зияющий провал, если ему не покорится высота, какой не достичь пуле охотника, он и не должен являться. Не должен, ибо не сможет спасти род и погубит потомство. Не должен, ибо займет в лоне матери место того, кто утомит волка, перелетит через провал, оставив ни с чем преследователя, и встретит сияющий восход на утесе такой высоты, какой никогда не достичь пуле охотника.

В крови всех туров бунтовал потомок и рвался к жизни, лишая отцов сна и покоя. Тело всех туриц жаждало принять потомство, и эта сладостная и мучительная жажда заставляла их жалобно блеять.

Белолобый родился весной, в пору, когда обновляется мир и молодеет солнце. Высоко над ним, на синем сверкающем небе пылал огненный диск. Он осыпал золотом белые вершины и отражался во влажных от слез глазах матери... И, увидев все это, новорожденный туренок взбрыкнул от нахлынувшей радости, помахал коротеньким хвостиком и слабо заблеял; тем самым он благодарил отца за создание, мать — за рождение, горы — за их серебро, а солнце — за золото, которое оно пригоршнями сыпало на горы. Но только он подпрыгнул, его липкие мягкие копытца скользнули по камню, передние ноги разъехали в стороны, и он ткнулся носом в землю. Не успел он подняться, как на стадо туриц налетели стервятники, норовя сбросить в пропасть новорожденных малышей.

Спустя три дня свою царскую долю затребовал царь птиц, и опять Белолобый чуть не стал жертвой сильных мира сего, опять его жизнь висела на волоске. Долго после этого новорожденный туренок пугался даже пролетающих над стадом горных индеек. Когда горные индейки резким криком давали знать об опасности и стадо сломя голову несло по кручам в поисках укрытия, бедняге малышу казалось, что у него нет на свете друзей — только мать, горы и солнце.

Друг и недруг нередко похожи как близнецы, и не только новорожденному — даже отягощенному годами нелегко распознать их.

О том, что горные индейки подают сигнал тревоги, Белолобый догадался, когда стадо спустилось в ущелье на водопой к соленому источнику: мать показала сыночку его отражение в зеркале воды, и туренок опять взбрыкнул и подпрыгнул от радости, замахал коротеньким хвостом и заблеял; он благодарил создателя за то, что тот явил его на свет прекрасным туром, а не козавкой, ящерицей или тарантулом. И тут раздался пронзительный крик горной индейки. Турицы шарахнулись и сломя голову бросились вверх по круче. Но где-то раз за разом ударил гром, и несколько туриц валунами сорвались со скалы.

А уцелевшие долго неслись без оглядки, прыгали по

уступам, и лишь когда позади осталось девять гор, перепуганное стадо остановилось в изнеможении и кое-как отдышалось. Жалобно заблеяли осиротевшие козлята. Они кидались то к одной турице, то к другой и блеяли, блеяли до наступления сумерек, умоляя горы вернуть им матерей — раз уж вы породили нас, то не дайте погибнуть!..

Всю ночь тыкались они от турицы к турице, выпрашивая сиротскую долю.

Мать Белолобого осталась жива. Белолобый не взбрыкнул от радости, а подскочил высоко как никогда и весело проблеял свою благодарность, но рядом уже стоял тот, кому отныне полагалась половина материнского полного вымени.

Не радуйся гибели ближнего твоего, не радуйся тому, что твой черед еще не настал. В тот злосчастный день Белолобый тоже лишился матери — хотя бы на половину.

А дни бежали за днями, за опасностью следовали опасности. Следом за весной наступило лето. Потом горы переменили цвет, и пришла осень.

Белолобым овладела какая-то странная необъяснимая тоска. Он чувствовал себя в стаде одиноким, никому не нужным. Более того — его даже оскорбляла близость туриц. Он родился и подрос среди них, и все-таки ему казалось, что его место было не с ними, точно его загнали в чужое стадо, силой оторвав от родного. Чем больше проходило времени, тем настойчивее звал его кто-то очень близкий. Белолобый стал отдаляться от стада. Он избегал даже матери. Его тянуло к кому-то еще более близкому.

В конце концов (он и сам не мог понять как) Белолобому стало казаться, что он уже там, куда его все время тянет. И однажды, когда между вершинами, точно ожившие дебри, выросли рога турьего стада, Белолобый очертя голову бросился к ним; он мчался так, словно после долгой отлучки спешил «домой».

Он услышал голос матери. Замер. Мать не сердилась на него, не укоряла, не приказывала вернуться. В ее голосе звучала то ли боль неизбежности, то ли благословение.

Вожак, стоявший над всеми турами, пронзительно свистнул, но туры не бросились врассыпную, как это случалось с турицами; они подняли головы, рассмотре-

лись и, увидев бегущего к ним со всех ног, выжидающе воззрились на него.

Юный тур остановился перед самцами, отягощенными рогами.

Никто не шелохнулся. Туры повернули головы и посмотрели на вожака, как изваяние окаменевшего на гребне скалы. У вожака дрогнули ноздри. Он медленно обвел взглядом вершины гор и не скоро соизволил опустить свой взор. Белолобый хотел приблизиться к нему и попросить разрешения следовать за стадом... О нет, не рядом — сзади, по следам: только бы идти за ними, надменными, как оснеженные горы, неприступными и гордыми, как скалы. Он хотел попросить, но заробел и не смел ступить ни шагу. Теперь им распоряжалась царственная воля и мудрость вожака.

Когда вожак приблизился к нему, Белолобый попятился было назад, но и убежать оказалось непросто. Он робко взглянул на вожака и чуть не вскрикнул: над глазами вожака, над светло-серыми с рыжинкой полосками белело маленькое, со след туренка, пятнышко. Белолобый позабыл, где он и перед кем стоит, и обвел взглядом всех туров. Ни у кого не было на лбу такого пятна, ни у кого, кроме самого Белолобого. Он не смел даже мечтать о таком счастье, и сейчас больше всего хотелось ему высоко подпрыгнуть от радости... О, как ему хотелось поблагодарить того, кто устроил это чудо!

Вожак посмотрел туренку в глаза. Перевел взгляд чуть выше. Потом шагнул к Белолобому и потянул ноздрями воздух: он почуял знакомый запах, который, в сущности, не отличался от обычного турьего запаха. Вожак насторожил уши, прислушиваясь, и у Белолобого странно забилося сердце. Довольно долго вожак вслушивался в ток крови Белолобого, пока не расслышал в нем гул своей крови, в сущности, ничем не отличавшейся от крови других туров. Наконец, он взглянул на смешные, как растопыренные мизинчики, рожки туренка, отошел назад и разогнался для удара. У Белолобого от ужаса упало сердце. Вожак замер с разгону как вкопанный; его огромные рога столкнулись с рожками туренка. Белолобый пошатнулся: ему казалось, что удар таких рогов размозжит ему голову, но нет — он сгоял на ногах и померкший было свет вернулся к его глазам; вот только что-то оглушительно гремело вокруг, словно

рушились скалы и грохотали ущелья... То сшибались рогами туры.

С этого дня Белолобый уже не был туренком.

Но недолго длилось счастье Белолобого. В ту же зиму, в пору больших снегопадов вожака и нескольких старых туров снес обвал. Белолобого до того потрясла гибель вожака, что он чуть не кинулся за ним следом. Он никак не мог уйти из заваленного снегом ущелья, но туры обступили его тесной гурьбой и увели силой.

Много позже, когда после слез, голода и лютых холодов опять пришла весна и животворящее солнце обратило грозные обвалы в голубые ручейки, Белолобый нашел застрявшие в теснине рога. Их было много, но он сразу узнал те, что остались от его предка. За всю свою жизнь он никогда не забывал эту скалистую расщелину и на дне ее два могучих рога — щит и меч отца.

Наступила вторая в жизни Белолобого осень, и в крови молодого тура пробудился потомок. Пробудился и погнался к турицам. Их стадо паслось неподалеку. Турицы смотрели на него прекрасными влажными глазами и, закинув рога на спины и вытянув губы, звали.

Они были рядом, но они были недоступны.

Дорогу Белолобому преградил тот самый тур, который всю зиму делился с ним соломой из гнезд горных индеек, найденной в расщелинах скал, и уступал место у водопоя, чтобы молодой тур мог вволю напиться. Тот самый тур, который всю зиму и весну так заботился о Белолобом, со страшной силой налетел на него, шибанул рогами и, одурманенного, поверг на землю.

Этот удар не был похож на отцовский.

Когда Белолобый пришел в себя, поблизости никого не было. Туры ушли за стадом туриц, и если раньше они никогда не оставляли его одного, даже здорового и полного сил, то теперь бросили поверженного наземь и пошли своей дорогой.

Белолобый привстал, но через несколько шагов упал опять. Он никак не мог понять, что происходит. Что случилось? Почему с ним так жестоко разделились? За что?..

Ту ночь он провел на месте своей первой схватки, один-одинешенек. На следующее утро пошел по следам туров, но стада ушли высоко в горы. Его теперь не очень-то тянуло к своим: ведь они отвернулись от него. Не-

сколько раз он хотел свернуть с пути, ведущего вверх, но ноги сами несли его туда, под новые удары.

Вскарабкавшись по кручам на плоскогорье, он остановился и огляделся. Вокруг росла трава и цветы: в таком месте туры обычно отдыхают и пасутся. Но, судя по всему, прошедшее здесь стадо не щипало траву: оно ее вытоптало, вырвало с корнем, перепахало все поле. Белолобый чутьем угадывал, что природа в известном порядке громоздит скалы, наваливает валуны и камни и устраивает неверные сыпучие откосы. Здесь все правила были перепутаны, все перемешано. Здесь сражались туры.

Белолобый и на следующий день не смог догнать своих — они продолжали путь наверх, к вершинам. Неокрепший молодой тур, к тому же оглушенный мощным ударом, выдохся, силы его иссякли, и он сдался. Ему все опостылело, хотелось только одного: добраться до того места, где, застряв в трещине между скалами (он помнил это), лежали рога его предка. К вечеру он из последних сил доплелся туда и там заночевал.

На рассвете ему почудился знакомый пронзительный свист — Белолобый вскочил. Ему казалось, что наверху на гребне скалы он увидит царственно величественного вожака, но над скалой зябко голубело утреннее небо, а перед ним лежали на земле два могучих потрескавшихся рога.

На третий день Белолобый увидел разбившегося о камни хромого тура: с ним в стаде всегда обходились бережно, как с молодым, а теперь сбросили со скалы и оставили на растерзание стервятникам. К вечеру он наткнулся еще на одного хромого из их стада, этого тоже кинули на съедение стервятникам и воронью.

После этого Белолобый стал путаться и сбиваться. Он узнавал свое стадо по следам двух хромых туров: один не дотягивался задней ногой до передней, а другой слишком широко ставил задние ноги. Теперь ни того, ни другого не было в живых, и Белолобый не знал, по следам какого стада он бредет. Он совсем было решил остановиться и прекратить погоню, но тут ветерок опять донес откуда-то запах туриц, и Белолобый позабыл и усталость и боль. Он понесся, раздувая ноздри. Вот слышались усиленные гулками ущельями удары рогов, и Белолобый кинулся вверх по скале, не разбирая дороги и даже не ища тропинки.

Горам наскучила царящая вокруг тишина. Пресыщенные безмолвием, они подхватывают звуки турьей схватки, отнимают их друг у друга и разносят далеко окрест. Долго пришлось Белолобому носиться по утесам и кручам, пока его не вынесло наконец к месту схватки. Но к тому времени шум боя уже смолк — там царила тишина и не было ни души. Он хотел было опять кинуться по следу, но вдруг ноздри его уловили запах крови. Белолобый приблизился к обрыву.

Под обрывом, зацепившись толстыми рогами за выступ скалы, висел тур. Он был при последнем издыхании. Тур был не из их стада, и Белолобый больше ни разу не взглянул на него.

Ветер переменялся. Теперь он слабо порхнул с противоположной стороны и донес едва уловимый запах туриц. Белолобого кинуло на запах, но в ущелье, которое он должен был пройти, воздух не шелохнулся, и тур вдруг почувствовал голод. Только теперь он вспомнил, что после удара, сбившего его с ног, ничего не ел, и принялся щипать траву и мох.

Прошло немало дней, прежде чем он случайно набрел на свое сильно поредевшее стадо. В нем оставалось всего четыре тура, и Белолобого привели к ним звуки отчаянной схватки. В той схватке погиб тур, сбивший с ног Белолобого. Ах, какая это была схватка! Видеть такое зрелище — награда. Бывший друг Белолобого, вдруг сделавшийся его врагом, сражался так, что Белолобый простил ему обиду. А когда Большой Рог, в кровь расшибив основания рогов, все-таки одолел его, Белолобому показалось, что путь к турицам открыт. Турицы гурьбой толпились под нависающей скалой, но победитель Большой Рог не спешил к ним; он стоял, гордо подняв окровавленную голову, изредка глядя в ту сторону, где жались к скале влажноглазые турицы. Он ждал. Рядом были еще два тура; они со всех ног мчались друг на друга, вставали на дыбы и сшибались лбами, снова расходились и мчались друг на друга и снова бились — не на жизнь, а на смерть, бились до тех пор, пока один из них не разодрал себе ухо: оно как-то застряло между его рогом и рогом противника. Еще один сильный удар (горы восторженно подхватили его), и Рваное Ухо пополз вниз по скату, пополз туда, где клубилась ночь, медленно поднимавшаяся из долины. Что было с ним дальше, никто не знает.

Большой Рог спокойно дожидался окончания схватки, время от времени поглядывая на туриц, неподалеку от которых в нерешительности топтался молодой Белолобый. Но вот победитель повернулся к Большому Рогу, несколько раз прошел мимо него, остановился... Белолобый тем временем, постукивая копытцами, направился к стаду туриц. Победитель Рваного Уха не осмелился сразиться с Большим Рогом: снедаемый завистью, охваченный презрением к себе, он развернулся и со всех ног помчался на Белолобого. Удар его был страшен. После него разом пропало все: и неутолимая жажда, и белизна вершин, и багряное зарево заката...

Через несколько дней последняя тоска привела Белолобого к неприступному утесу высоко в горах, туда, куда были заказаны пути всем турам и где — величественный и надменный — стоял Большой Рог. Внизу вокруг утеса толпилось стадо туриц...

Вскоре после этого угомонился потомок в крови Белолобого. А Большой Рог сам нашел его, играя, ткнул его рогами, и с наступлением ночи они уснули рядом в одной пещере.

Утром к ним присоединились неизвестно откуда появившийся Рваное Ухо и чужой тур со сломанным копытом. Турицы были забыты. Четыре тура теперь подолгу мирно паслись и несколько раз в день спускались в ущелье пить воду соленых ключей. Потом они и сами присоединились к такому же малочисленному стаду. К исходу лета к ним пристали молодые туры, и все повторилось, как в первый год жизни Белолобого. Опять грянули жестокие холода, а вместе с ними голод. Ущелья с говорливыми ручьями занесло снегом, завалило обвалами. Опять, согревая друг друга собственным теплом, коротали туры долгие зимние ночи. Ждали, пока обновится солнце, пока пройдет год, минет лето и зашумевшая по жилам кровь бросится в голову.

И снова осень. Снова в крови Белолобого взбунтовался для рождения потомок. Снова увлажнились глаза туриц.

Белолобый окреп, возмужал за три года. На этот раз он легко разделался с двумя молодыми турами и сбросил их со скалы. Потом он поверг и третьего — этот всю зиму спал между Белолобым и Рваным Ухом: зябкий, он боялся холода. Наконец, Белолобый насмерть схватился с пришлым туром, тем самым, у которого

было сломано копыто. За год у пришлого отросло новое копыто.

Белолобый проиграл эту схватку, и если б, сползая по каменистой круче, он чудом не зацепился бы за едва заметный выступ, бунтующий в его крови потомок умолк бы навсегда.

Наутро Белолобый догнал своих, но пришлого среди них не оказалось, и ему пришлось схватиться со старым туром, тоже присоединившимся к ним прошлой осенью: старик был опытнее Белолобого, однако молодость и сила взяли верх. Белолобый многому научился у побежденного.

Рваному Уху и в тот год пришлось встретиться с Большим Рогом, но он опять не довел схватку до конца. Ушел. Ретировался. Однако на этот раз Большому Рогу не суждено было овладеть стадом туриц: вожак присоединившегося стада Быстрый Рог вспорол ему брюхо. Случилось это так: Большой Рог разбежался с пригорка и налетел на соперника. Быстрый Рог низко опустил голову. От удара он ткнулся носом в камни, и Большой Рог с разгону влетел ему на спину. Быстрый Рог не выдержал тяжести, повалился на землю, голову ему свернуло на сторону, и Большой Рог животом упал на его рога. Сумей он тут же вскочить, пожалуй, все еще обошлось бы. Но прижатый к земле противник засучил ногами, пытаясь подняться, замотал головой, и властелин стада, удачливый красавец Большой Рог остался лежать на земле выпотрошенный и истекающий кровью.

Тут неизвестно откуда опять появился Рваное Ухо — он всегда появлялся неожиданно. Большерогого уже не было в живых, но схватка с Быстрым Рогом тоже не устраивала осторожного тура, и он ринулся на Белолобого. Белолобый проиграл, и если б не урок, полученный в схватке со старым туром, не быть ему в живых.

Старый тур научил его избегать отвесных обрывов. Круча, с которой Рваное Ухо сбросил Белолобого, была не опасна, но ему не повезло: он угодил в узкую обледеневшую расщелину и на следующий день к вечеру еле выкарабкался из нее. У него дрожали и подкашивались ноги, и все-таки он шел туда, где бились туры.

Ночью в горах поднялась буря. Путь Белолобому преградил камнепад. А когда на рассвете смочк его грохот и Белолобый попробовал поздрями воздух, чтобы снова ринуться по скальным тропам, он вдруг понял,

что запах туриц не волнует его. Желание схватки погасло: только боль в голове, зуд в основании рогов и страшный голод.

Когда в третий раз возвестила о своем неумная кровь, Белолобый чувствовал такой прилив сил, что решил сначала убрать с дороги самых могучих противников, тех, кого он опасался. Он думал, что потом легко разделается с остальными, но нетерпение крови подвело его: для начала следовало набраться опыта с отчаянной молодежью и хитрыми стариками, а он — он взял и ринулся прямо на того тура, которому хватило ума, проныцательности и силы, чтобы без боя отобрать у Быстророгого предводительство над стадом. Достаточно сказать, что он дважды уберег туров от охотников, притаившихся в ущелье у родника. Полдня продержался Белолобый в схватке против вожака, полдня отвечал ударом на удар его рогов, но в конце концов все-таки ошибся: новый вожак загнал его к обрыву и сбросил. Кажется, смерть неминуема, но Белолобый изловчился, вывернулся на лету и прыгнул на противоположную скалу; там не нашлось опоры для его копыт; тогда одним прыжком он перескочил назад, и еще раз, все ниже по ступеням скал — в конце концов он все-таки грохнулся на камни, но упал он прямо с вершины, конечно, разбился бы насмерть.

Белолобый спасся, только вдребезги разбил свои копыта и так расшибся, что если бы поблизости не сочился родник и он не мог бы целую неделю слизывать соленые подтеки со скалы, потомуку в его крови не суждено было бы пробудиться на четвертое лето.

Но вот миновал еще год, и истосковавшийся по жизни потомок с новой силой взбунтовался в крови Белолобого. Взбунтовался и потребовал своего права — права переселиться в лоно матери.

Для начала Белолобый схватился со своим ровесником — крепконогим и ловким туром. В какое-то мгновение, когда, загнав соперника к отвесному обрыву, он мог одним, даже не очень сильным ударом сбросить того со скалы, вдруг возмутился потомок в крови Белолобого — потомок, жаждущий честного рождения, и заставил отца отступить. Белолобый дал Быстроногому перевести дух и разогнаться.

Схватка кончилась, а Белолобый задыхался от гнева и нетерпения: ему хотелось драться, жажда нового боя

душила его, ибо ветер все время дул оттуда, где толпились турицы. Но он помнил, он знал, что должен схватиться либо с таким же, как он, перенесшим бой, либо ждать до завтра. Теперь потомок в его крови казался предусмотрительнее.

На следующий день он дрался дважды. Первый противник сражался открыто и смело, как побежденный днем раньше Быстроногий. Он полетел с обрыва в пропасть, и камнепад засыпал его: оно и лучше — не для воронья рождаются такие. А второй был все тот же Рваное Ухо. Рваное Ухо легко одолел неопытного тура — двухлетку, сил потратил куда меньше Белолобого, но схватку перенес, так что имел право на бой с Белолобым, и он ринулся вперед. Вскрикнул потомок в крови Белолобого: «Хитростью хотят погубить нас!» Первый удар был пробой сил. Потом отступил Белолобый, разогнался, взвился на дыбы и хватил рогами по рогам противника — точно гром прогремел в горах. У Рваного Уха подкосились ноги, но он сумел подняться. Еще дважды разгонялся Белолобый, и оба раза Рваное Ухо увиливал в сторону, уходил от удара. Не будь у Белолобого опыта трехлетних боев, он мог не удержаться и с разбегу полететь в пропасть, оставив на земле влажноглазых туриц, жаждущих принять в свое лоно потомков турьего племени. Бой продолжался, и Рваное Ухо стал постепенно сдаваться, отступать и наконец, по своему обыкновению, ушел вниз по сыпучему скату — он никогда не доводил до конца проигранную схватку. Победитель хотел было погнаться за ним, чтобы раз и навсегда разделаться с этой нечистью, но нет — такой поступок мог обесценить не только нынешнюю победу, но и те, что Белолобый одержал в прошлые годы.

В ту ночь перед рассветом Белолобому опять почудился пронзительный свист царственного вожака, и он вскочил на ноги.

Решающая схватка была недолгой, но такой яростной и жаркой, что при последнем ударе, решившем все, у Белолобого треснул рог. Ему показалось, что треснул лоб. В глазах потемнело: он не видел, что с противником. Не будь Белолобый уверен, что эта схватка последняя, он не решился бы на такой удар. Но он знал, что этот удар решает все. Если бы ему предстояла еще хоть одна, пусть даже пустяковая, стычка, он не рискнул бы:

всем четырехлетним опытом боев Белолобый знал, что от такого удара страдает не только противник.

Когда слегка утихла боль под рогом и прояснилось в глазах, Белолобый смутно, точно во сне увидел вокруг стадо туриц. Четыре года в пору турьего гона, стоило ему закрыть глаза, он видел этот сон, ибо потомок в его крови ни днем ни ночью не знал покоя.

Теперь истосковавшийся по рождению потомок праздновал победу. Он ликовал, ибо близко, совсем рядом была мать — путь к солнцу!

Белолобый смотрел на ясное утреннее солнце, и его сильное тело, с которого турицы слизывали соленый пот, вздрагивало от усталости.

Отныне Белолобый вправе был поверить, что и его потомок увидит эти скалы, и горы, и могучее светило над ними и что род его не сгинет. Он чувствовал неимоверную усталость и боль в основании рога, который вдруг стал не по силам тяжел для него. Он устал не только от боев; теперь его утомляли ласки туриц. В его крови, в его мозгу и сердце ворочалось столько потомков, что налитое тело не умещало их, их обилие томило и мучило.

Белолобый лег на том самом месте, где он победил последнего противника, и осторожно положил больной рог на камень. Он прилег, и потомок в его крови притих, дожидаясь — ему не хотелось унаследовать усталость и боль отца.

Собравшись с силами, Белолобый повел своих туриц, повел по нехоженным тропам туда, где в расщелине скал — он помнил это — лежали рога его предка. А потом, покидая ущелье, чтобы уйти высоко в горы и начать совсем новую, иную, необыкновенную жизнь, он свистнул. Свистнул так пронзительно, что турицы, все как одна, восхищенно уставились на него, откинули рога на спины и вытянули к нему губы. Этот свист был необычен и для него самого, словно он в первый раз свистнул сегодня.

Отныне Белолобый стал вожаком, единственным, избранным.

Никогда он не был так осторожен и чуток, никогда так не любил жизнь и не верил в бессмертие, как в эти семь дней. Никогда снежные вершины не сверкали так своими алмазами, а украшенные цветами горы не горели

всеми красками. Никогда солнце не было таким горячим, ласковым и ярким, как в эти семь дней. Он поднимался все выше и выше и вел туриц в нехоженные высоты, дабы потомок унаследовал силу, и отвагу, и волю. Он предчувствовал, что с треснувшим рогом ему не завоевать на следующий год право продления рода и всю горную силу и солнце, что накопились в нем за четыре года, надо передать потомкам сейчас, в эти дни.

Не хотелось вожаку спускаться вниз. Высота звала его, высота распирала грудь; он не отрывал глаз от недоступной красоты вечных снегов. Но ведь этих прекрасных туриц, влажноглазых ланок хотя бы раз в день надо сводить на водопой, к соленым источникам. Особенно сейчас, в пору любви, когда их мучает жажда. Надо сводить их и самому напиться, напиться вволю, чтобы потомок унаследовал сильные ноги, крепкую кость и могучие рога. Такие рога, как те, что лежат в расщелине скал.

Осторожней, Белолобый, осторожней! Знай, чем ниже ты спустишься, тем больше будет у тебя врагов. Ни у кого на свете нет столько завистников, сколько у тех, кто чтит высоту и правду. Уж не думаешь ли ты, что всем пришлась по душе твоя победа, одержанная силой собственных ног, крепостью рогов и смелостью крови? Или тебе кажется, что никто не пожелает твоих туриц?

И не думай, что если ты сломал в бою свой боевой рог — свой щит и меч — сломал навсегда, то враг пощадит тебя. О! Горы и солнце испокон веку твердят одно своим сыновьям: «Не делайте подлости!», но большинство не слышит, чему учат их горы и солнце. Глаза их слепы, а уши глухи к урокам добра. Потомкам в их крови не важно, какой ценой они явятся на свет, им бы только явиться: все равно, ведь сорняк и роза равно освещаются лучами, и солнце светит всем.

Оправдались предчувствия Белолобого. Когда они спустились к роднику и турицы приникли к воде, а Белолобый, стоя на возвышенности, чутко прядал ушами и пробовал воздух, он вдруг почуял запах тура, запах самца. Сперва он подумал, что тот, наверное, приходил напиться и ушел недавно, а запах его еще не развеялся, ибо ветерок в котловине дремал и еле шевелился. Но Белолобому хотелось, чтобы это так было, и он пытался обмануть себя. Опасность! — раньше носа ее почуял треснувший рог Белолобого, тот самый рог, в ос-

новании которого темно-красной коркой запеклась мутная кровь.

Белолобый не подал никакого знака, дал турицам спокойно напиться. Сам он не подошел к воде — жажду как рукой сняло. Однако, когда турицы, резвясь, запрыгали у родника, Белолобый фыркнул и пронзительно свистнул. Встревоженное стадо одним махом перенеслось через ручей на противоположную сторону ущелья. Вожак решил уйти не тем путем, которым они спустились: если кто-то увязался за ними, тот собьется со следа, а крутая тропа впереди открыта: ее не преградить никому.

Благородство наивно. Выбрав труднейший путь, благородному кажется, что он избежит опасности. Но низости известны все пути и лазейки, и если ее потомству безразлично, какой ценой оно явится на свет, низость найдет и твой путь, подлостью и коварством одолеет тебя и будет спокойно пастись на жирных травах.

Но вот шелохнулся дремавший в ущелье ветерок — донес знакомый запах тура, и у Белолобого заныл сломанный рог.

Только они миновали ущелье, как на пути стада возник одинокий тур, и Белолобый сразу узнал его — это был Рваное Ухо. Отъевшийся и сильный, он стоял под скалой; он не закрывал тропинки, по которой шло стадо, но стоял так, что при желании мог дотянуться рогами до любого и его нельзя было обойти.

У Белолобого открылась рана в основании рога, и кровь струйкой потекла вдоль глаза.

Турицы устали на вожака.

Белолобый пожалел, что в последнюю свою схватку с Рваным Ухом не сбросил того в пропасть, но он помнил, что кровь не позволила ему сделать это.

«Если заметит, что мне не по себе, пожалеет, и потомки уродятся жалкими». Вожак прошел мимо Рваного Уха, даже не взглянув на него. Страха он не чувствовал, ибо не имел права на страх.

Турицы последовали за ним, и вожак услышал, что к его стаду примешался топ четырех копыт. Он не оглянулся — ему не хотелось убеждаться в этом.

Ах, Белолобый, отважное сердце! От действительности не спрячешься, даже если закроешь на нее глаза.

Когда он одолел отвесную стену и вышел на пологий склон, кровь, стекающая из основания рога, затекла

в глаз. Рваное Ухо семенил за стадом и был какого-то странного серовато-красного цвета.

Сломанный рог пытался удержать вожака, но порода и другой рог сделали свое — Белолобый вернулся назад, пропустил своих ланок и остановился перед серовато-красным туром. Рваное Ухо обнюхивал турицу, идущую в конце стада.

Кровь сильней потекла из раны Белолобого, зато боль в роге прошла совсем. Только вожак отступил для разбега, Рваное Ухо переместился и встал по другую сторону турицы. Он лизнул ее шерсть на спине, и Белолобый услышал, как потомок в материнском лоне зовет к спасению.

От одного отца родился Белолобый, от одного отца идет весь их род, и у его потомка не будет двух отцов.

Когда вожак отступил, готовясь к схватке, турица ушла с поля боя, встала неподалеку, и глаза ее увлажнились.

Белолобый не раз дрался с Рваным Ухом и помнил его; да если б и не помнил, его треснувшему рогу не выдержать долгого боя. Удар должен быть один — смертельный. Он знал, что стерпит боль, верил в свою породу, но в глазах у него потемнеет, тут уж ничего не сделать. Значит, после столкновения надо попятиться назад, и тогда, может быть, до второго удара зрение вернется к нему.

«Только если он и в этот раз увильнет от удара, я не пощажу и вспрою ему брюхо. Потомок в лоне, а я безоружен». В жилах Белолобого закипела отцовская кровь, и он ринулся на врага.

Рваное Ухо понял, что его предложение отвергнуто, теперь схватки не миновать. Потомок в его крови тоже жаждал увидеть солнце — во что бы то ни стало, любой ценой, ибо верил, что сорняк и роза равно освещаются лучами и солнце светит всем.

В горах давно затих стук рогов, гремевших в пору турьего гона. Вершинам наскучило безмолвие, они радостно подхватили гром удара и ожили.

Предчувствие Белолобого оправдалось сполна: после удара в глазах у него потемнело, и он вслепую, ничего не видя, попятился назад. Задняя нога уперлась в скалу, он остановился, дожидаясь, когда вернется зрение, но кровь из треснувшего рога текла все сильней и совсем залила один глаз.

Рваное Ухо тоже не торопился продолжать бой. Видно, он не ожидал такого удара от соперника, рог которого треснул в основании и, что самое главное, чью кровь уже покинул неугомонный потомок. Теперь Рваное Ухо выбирал место побезопаснее. Он едва не погиб после первого удара. Опытный тур не вступает в бой в таком опасном месте. Но он долго шел за турицей, у него мутилось в голове, он забыл об осторожности и, когда Белолобый ринулся на него, не успел отскочить в сторону. Первый удар отрезвил его, и его потомок пожелал во что бы то ни стало... Тут на Рваное Ухо обрушился второй удар, загоняя его к отвесному обрыву на краю площадки, именно туда, куда он ни за что не хотел ступать. Пока Белолобый собирался с силами для нового удара, Рваное Ухо торопливо оглянулся и совсем рядом, почти у своих ног увидел зев пропасти: потомок в его крови забился в ужасе — не губи! «Не бойся,— попытался успокоить его Рваное Ухо. — Пока он отойдет для разбега, я выберусь отсюда. Здесь мне таких ударов не выдержать...»

Белолобый понимал — если Рваное Ухо уйдет из ловушки и соберется с силами, он не станет лечить ему сломанный рог и благословлять его туриц: плодитесь, размножайтесь, спаситесь в синевели..

Отходить для разбега нельзя, но ведь надо же видеть, нельзя биться вслепую, особенно с противником, который в любую минуту может пойти на подлость, увильнуть от удара, вероломно уйти в сторону, и тогда ты сам с разгону полетишь в пропасть. Да, надо стоять, грозно стоять на месте, чтобы Рваное Ухо не мог выбрать места побезопаснее.

Надо ждать, пока спадет с глаз пелена и мрак, тогда этот трус не посмеет ступить ни шагу, не зная, когда вскинется противник для нового удара — ведь он стоит так близко.

Только стала спадать с глаз пелена и перед ним мутно возник красный тур, Белолобый поднялся на задние ноги и что было сил палетел на него.

Удар ошеломил противника — ведь Белолобый бил без разгона. Видно, слишком часто Рваное Ухо уходил от боя, и сейчас ему чего-то не хватало. Не хватало того, что его противник приобрел в ежедневных схватках.

Белолобый преодолел свою боль. Теперь ему надо усилием воли вырваться из мрака, сбросить темень с

глаз. На помощь, сокровенная родовая сила! Ему надо прозреть, увидеть, иначе, если этот пройдоха выберется отсюда, все придется начинать сначала, а отцовская кровь так хлещет из треснувшего рога, что скоро ее не останется и половины, и тогда все погибнет — и прошлое, и будущее.

На этот раз, когда казалось, что он ослеп от боли и никогда не прозреет, пелена вдруг спала с глаз, и он отчетливо увидел совершенно красного тура. Что это? То ли и другой глаз залило кровью, то ли треснул второй рог. Или этот бес, это исчадь ада и впрямь сделался красным от кончиков рогов до хвоста... Белолобый напрягся что было мочи и взвился вверх. Гром удара покотился по горам, а Белолобый стоял как вкопанный. Ему казалось, что, когда боль пройдет, он не увидит перед собой Рваного Уха, только звук падающего тела долетит из ущелья. Но вот мрак стал рассеиваться, и какое-то время Белолобый действительно не видел своего противника, он вообще не мог ничего разглядеть, ибо все — горы, ледники, небо, солнце — пылало зловещим багрянцем.

Он знал, он помнил, что если даже зрение подведет его, то не подведет слух: пропасть со стоном выдохнет жуткий и радостный звук низвергнутого со скалы противника.

Рваное Ухо застрял под площадкой на маленьком выступе. Он дрожал всем телом и даже не пытался вернуться наверх. Он смирился с судьбой, отказался от продолжения схватки, ибо видел, что Белолобый стоит над ним: из основания его рогов струйками бежала кровь и, протачивая желобки, стекала по скале.

Рваному Уху и раньше случалось уходить от схватки. Он всегда знал, почему уходит от схватки. Знал он это и сейчас. Раньше с рогов Белолобого слетали искры, теперь из них хлестала кровь. Немного терпения. Скоро он потеряет свою сокровенную, свою родовую мощь и твердость духа.

Совсем скоро этой низкой твари, перед лицом солнца предавшей закон гор, не придется вовсе утруждать себя, чтобы овладеть стадом туриц и высоко среди непорочной белизны приумножить свое потомство. А Белолобому с такими рогами никогда не вернуть себе первенства.

Сейчас единственный прыжок с кручи и один-единственный удар решал все, но решал для обоих.

Сейчас, когда ледники превратились в сверкающие жемчужины, когда прекрасные турицы, откинув на спины рога, смотрят на тебя влажными глазами, когда так горячо и ласково греет золотое светило, трудно сейчас еще раз встать на дыбы и броситься на врага — ведь это будет последний удар, и ты это знаешь. Трудно бросить свое сильное тело, с нежностью вылизанное влажными глазами турицами, в пропасть на растерзанье стервятникам и воронью, дабы, насытившись до отвала, они еще насытили бы и прожорливых черных своих воронят.

Спеши! — торопил потомок из лона матери.

Спеши! — торопила отцовская кровь, что хлестала из основания рогов. А рога — щит и меч отца — лежали на дне провала.

Спеши, спаси нас и себя!

Белолобый не разгонялся для удара. Он знал, что должен разом отдать все силы и жизнь...

Горы с восторгом встретили этот удар и хором восславили солнце.

ОХОТНИК

(Сванская новелла)

— Ты прекрасен, ты горд, ты величествен! — Этот монолог насторожил тура, он замер и повел ухом в сторону охотника. — Соизволь, царственный, спуститься вниз! Солнце садится, приближается ночь. Если мы застрянем на этой вершине, что подпирает собой небо, — мы пропали. Тогда чего же мы стоим: ты — тур, я — человек. Что же ты застрял между гребнями и только поводишь наостренными, словно у лошади, ушами! Спускайся же! Хотя бы настолько, чтобы тебя могла достать моя холодная пуля. Ты же знаешь, подняться выше я не могу. Наверно, и так удивляешься, как это меня угрозило вскарабкаться сюда вслед за тобой. Я не хвастаю, но только тебе ведомо, что здесь еще не ступала нога ни одного охотника. Припомни, на этой вероломной вершине еще никто не был, даже из самых отчаянных, вроде меня. Потому-то ты и спешишь сюда, словно за стены неприступной крепости. Но ведь и я понимаю, что творю. Разве я оказался здесь не из любви к тебе? Клянусь всеми святыми, ты и вправду красив! И досто-

ни того, чтобы ради тебя карабкаться по этим кручам, рискуя оставить свою голову на алтаре удачи.

Солнце садилось и покрыло ржавчиной гребни вершин. Повернув голову в сторону ветра, тур застыл словно изваяние.

— Уж не намереваешься ли ты провести здесь ночь? Смеркается. Самое время возвращаться. А ты стоишь как вкопанный, и вид у тебя такой, будто ты собираешься раз и навсегда разрешить извечный спор наших дедов и прадедов — вражды и любви. Об этом следовало подумать раньше. И сегодня тот, кто останется в живых, будет дальше ломать над этим голову. Наши жизни — словно клубок, у которого ни начала, ни конца.

Охотник прислонился к покатою каменной глыбе и одной ногой уперся в небольшой скалистый выступ, размером с кулак, чтобы не сползти вниз.

— Спускается ночь! Ты, удачливый! Оглянись вокруг, разве тебе не хочется поискать тропу, что ведет к твоему стаду? Что с того, что ты зверь? Ведь и дом и убежище пужны тебе не меньше моего, да и собратьев своих разве ты не любишь? Ведь только верность и преданность дают вам силы выжить в этом царстве льда и снегов. Что же ты застыл в такой неловкой позе? Ведь бездействие — для тебя гибель. Ты же — сама жизнь. В твоих жилах бурлит кровь, а неутомимые ноги словно приросли к скале. Если мы вот так простои́м до утра, что с нами будет? К утру мы превратимся в ледяные глыбы. Я еще как-то постараюсь укрыться, а что будет с тобой? Ветер хлещет прямо тебе в лоб. И если ты не спустишься вниз, тебе придется провести ночь еще более мучительную, чем мне. Так ты погубишь и себя и меня. Только один из нас должен остаться в живых. Дядю моего Джобе где-то в этом месте твой предок сбросил в пропасть. А не было бы его победы — не явился бы на свет ты, такой прекрасный и гордый. И эти без того холодные и безжизненные скалы оспротели бы. Вот почему мы с тобой должны расплачиваться кровью. И я не просто охотник, а еще и мститель.

Моего дядю Джобе, который не успел еще жениться и обзавестись наследником, сбросил со скалы твой предок. Я появился на свет ровно через две недели. И мой отец, тяжело переживавший гибель брата, назвал меня его именем, подвесив у моей колыбели его ружье и кинжал. Вот это ружье. Из этого ружья целился дядя в тво-

его предка. Оно верное, стреляет метко. Вот почему ни винтовка, ни берданка мне ни к чему.

Но мне кажется, что ты умнее и хитрее своего предка. Теперь трудно сказать, я ли тебя загнал на этот выступ, ты ли заманил меня сюда. Так или иначе, ни тебе, ни мне отступать некуда. Ты думаешь, у меня есть выход? Ты ошибаешься. Я охотник, к тому же ношу имя Джобе, я его кровь и его плоть. Правда, я перекрыл тебе дорогу назад, но ведь и сам не могу поступиться своим добрым именем и вернуться домой с пустыми руками.

Я ведь тебе сказал, что не знаю: я ли тебя отбил от твоего стада, как самого прекрасного, или ты сам, верный рыцарь своего рода-племени, заманил меня сюда, чтобы отвести беду от своих собратьев, и по своей же воле угодил в западню.

Гребни, еще недавно пурпурные, теперь пожухли и словно покрылись пеплом. Тур почесал задней ногой под лопаткой и снова окаменел.

Охотник поднял ружье, приклад уперся в плечо. Выстрел прогремел по ущелью, нарушив его вековую тишину. Тур даже не вздрогнул, скорее удивился, наострил уши, чуть повел головой и снова замер.

— Я ведь никак не надеялся, что пуля достанет тебя. Думаю, ты это тоже знал. Но мог ли я предположить, что ты настолько спокоен и смел, что ружейный выстрел не испугает тебя и ты не бросишься наутек. Кажется, ты гораздо старше, чем я думал,— значит, дольше боролся за свою жизнь. И ружейный выстрел тебе нипочем — так же, как и страх смерти. Ты столько раз слышал эти выстрелы, что если бы с каждым бросался в бездну, разве сумел бы обзавестись такими рогами¹ и нарастить среди этих бесплодных скал свои девять пудов плоти.

Значит, если ты уцелеешь, ты будешь шествовать в своем стаде с гордо поднятой головой, как, наверно, ступал твой предок, когда сбросил моего дядю Джобе в бездонную пропасть. А если я — мне будет чем гордиться, когда я снесу своим тушу, шкуру и огромные туры рога. Одному богу известно — кто из нас прав. Не оба ли? Ты для продолжения рода должен взлетать над провалами, выносить холод и вьюги, приучить себя к сви-

¹ По величине рогов определяют возраст тура.

сту пуль, я же, чтобы заслужить славу охотника, должен не замечать изрезанных в кровь рук и ног, терпеть невыносимый холод и вместо теплой постели засыпать на ледяных каменных глыбах. Если бы тебя легко было достать, то давным-давно уже перестал бы существовать ты и весь твой турий род, и тогда не было бы ни тебя — тура, ни меня — охотника. Умей ты подставлять горло под хорошо отточенный нож, то звался бы козой, а я — мясником. А раз это не так, кто-то один должен выйти победителем из этой схватки. И мы не обязаны щадить друг друга.

Всю прошлую ночь я стерег тропу, по которой должно было пройти твоё стадо. Сегодня весь день из-за тебя я пробираюсь среди орлиных гнезд. Кто знает, что уготовила нам эта ночь, в каких муках придется ее провести. Одно утешает: ты бы никогда не увидел этой подпирающей небо вершины, я бы не удосужился провести ночь в поднебесной колыбели. И еще: это ведь благодаря мне ты словно на крыльях переносишься с утеса на утес, а я наловчился так, что скачу по кручам, словно ты подвязал мне волчье колено. И нет врагов злее и друзей ближе, чем мы с тобой.

Бездонное ущелье потонуло во тьме, лишь вершины торчали серыми рогатыми дэвами.

На востоке, в скирдах облаков, мерцали бесцветные звезды, и по небу уже крался молодой месяц. Тур в поднебесье сделался скалистого цвета и превратился в утес, неподвижный и равнодушный. Охотник застегнул нижнюю пуговицу тулупа, надетого под войлочную кацавейку, старательно ослабил затянутые тесемки бандулий, расстегнул ремень, вытащил фляжку, заледенелой рукой снял крышку и потянул крепкий рахи¹.

— Все, конец! Теперь до утра не только я, но и ты, даже если я уступлю тебе дорогу, не сможем сдвинуться с места. Ущелья и пропасти заполнила мгла. А здесь, где отсвечивают ледники, если, конечно, не подведут тучи, разве может наступить такая темень, что и пальца собственного не увидишь? Но будет холодно, так холодно, что, если заснем, — превратимся в сосульки.

Трудно придется нам, повелитель вершин, очень трудно. Еще хорошо, что с моря не видно грозовых туч,

¹ Р а х и — самогон в Свапетни.

но кто может положиться на погоду, да еще здесь, на такой верхотуре.

Неистовый ураган помог твоему предку погубить моего дядю. Мы не часто воздаем должное собрату, но люди прозвали Джобе «железнокотенным».

Если мне удастся закрепиться на скалистой осыпи, я смогу присесть, согнуть колени и положить на них голову. Уши мои — уже словно сухие, замерзшие листья. Ведь я вырос у пылающего камина и привык к теплой постели. Если бы ты был таким изнеженным и жалким, разве бы я тебя преследовал? Чего бы тогда стоил охотник, гонящийся за тобой?

Не так давно там, у сенокосного поля, по ту сторону бревенчатого мостика, парни охотились на перепелов. Я верхом обогнул старую мельницу, надеясь в деревне встретить Пирибе. Мне повезло: она стояла на возвышении, над источником, приложив ладошку к глазам, и всматривалась в сенокосное поле. От цокота копыт она вздрогнула и обернулась. Она всегда вздрагивает, если незаметно приблизиться к ней.

— Что с тобой, девочка, чего ты испугалась?

Она отвернулась:

— Мог бы выбрать и более короткую дорогу. Нечего лошадь гонять.

— По ту сторону на перепелов охотятся, и я пошел на ружейный выстрел...

Не мог же я ей сказать, что это я из-за нее сделал крюк.

— Посмотрите на этих птицеловов! — произнесла она с такой болью, словно застав мужчину за немужским занятием. В ее словах не было ни насмешки, ни презрения. Ей искренне было жаль лихих усатых молодцов, гонящихся за полевыми птицами.

— Там и твой двоюродный брат Авто и... — Но этого я уже не посмел сказать: «и Джуаншер, пялящий на тебя глаза».

— Кто бы ни был! — Она догадалась и обиделась.

Да и я был хорош, Джуаншера подколол, да и себя вроде унизил мысленным доносом. Прежде чем что-то произнести, не мешает подумать. Других поддеть — не штука, да и к лицу ли это мужчине?

— Ты не удивляйся, что я так доверительно беседую с тобой, будто мы расположились у костра и я положил тебе руку на плечо. Что поделаешь? Ближе тебя на этой

вершине, упирающейся в небо, у меня никого нет. Мороз вот-вот проймет меня до костей, и лишь беседа с тобой поможет скоротать ночь. А утром? Утро вечера мудренее. Может, мне удастся взобраться чуть повыше, или оступишься ты. Только не подумай, что я сижу здесь и дожидаясь твоего промаха. Боже сохрани! Нет, я обязан превзойти тебя умом и ловкостью. Ты сам знаешь, что сюда ни растяпа, ни проныра охотиться не полезет.

Мир — словно жирный курдюк. Слукавишь, смошенничаешь — урвешь себе, главное — разрешить, а там... Ты это знаешь, не то я бы тебе не рассказывал. Я еще туров у соленого родника не подкарауливал. Что поделаешь... Я в жаждущего стрелять не стану, не в моих это правилах. И голодному я не подсыплю яда.

Вот на равнине рыбу травят и почему-то называют это рыболовством. Если я в источник подсыплю мышьяка, а потом на спине приволоку добычу в деревню: смотрите, мол, какого тура я на охоте подстрелил, — богиня охоты Дали должна связать меня по рукам и ногам и сбросить в первую попавшуюся пропасть.

Охотник подгрел под себя каменную крошку, устроился поудобнее, подогнул полы кацавейки, положил голову на колени и застыл под отвесной каменной глыбой.

— Похолодало внезапно. Как ты там, величественный, не пашел ли себе укрытие, чтобы ледяной ветер не хлестал тебя в лоб, отяжеленный такими рогами? Хотя о чем я? Тебе не привыкать к здешним зимам, а сейчас и вовсе лето. Что с тобой станется? Ведь в тебе бродит сила, способная исторгнуть жизнь из крутого утеса, а из ледовых белоснежных стен — тепло. Козел, твой позорящий тебя родственник, блеет в горах и долинах, и даже несмышленишу под силу привязать его к плетню. Только ты и сохранился в наших горах, взметнувшись в небо, только ты один умеешь греться холодом, быть сытым в голод и жаждой утолять жажду. Исчезли в наших лесах тигры и пантеры. Когда голод сводит желудок волку, он с риском для жизни душит все, что попадает на пути. Медведю это не к лицу, он себе этого позволить не может, но и он, когда его одолевает голод, изобрел себе берлогу и выдумал спячку. Но когда и сон не помогает заглушить бунтующий желудок, ему на помощь приходит обман: он сосет лапу. Талант насыщаться голодом ему еще не дан. Там, где разгуливает медведь, зима бывает такой, как в твоих владениях летом —

холодно и морозно. Ветер и сейчас (упаси бог, чтобы не разыгрался!) словно сквозь сито продувает войлочную кацавейку, а там, где не достает тулуп, колет словно иголками.

Вот здесь, под этой скалой, какая-то трещина и кусок камня предательски качается. Но кажется — это мое единственное спасение. Если этот кусок скалы в три пяди я чем угодно — ногтями, зубами, ножом или прикладом — сумею перекатить, то смогу укрыть голову в этой дыре и хоть немного согреться собственным дыханием... А ты стоишь на макушке горы, грубая редкая шерсть вряд ли греет тебя, и тепло твоего тела уносит ветер. Ты особенный, ты самый выносливый, тем и отличаешься от всех других зверей.

Когда осень на исходе и неистовствующие звери начинают прятаться в берлоги, у тебя наступает пора цветения, пора любви. Не весной, а именно в канун зимы. Но и тут ты не такой, как все. Даже у самых свирепых зверей существует природой данная им пара, и если тысячью способов вероломств и коварства они насытят свой желудок, чтобы насытить свою плоть, им не нужно далеко ходить. Ты же для этого должен омыть ржавые скалы кровью своих братьев. Ты, ненавидящий кровь и падаль, именно так должен множить свой род.

Прошлая ночь, что я провел на тропе, не идет ни в какое сравнение с нынешним кошмаром. Кажется, мы поднялись вдвое выше. Никто, кроме тебя, этого не ведает, и вряд ли поверят, если я кому-нибудь расскажу, еще и засмеют. Пусть зубоскалят. Мне смешны эти люди, ты бы тоже смеялся, послушав их рассказы. Это еще что. Я знаю одного — так он курицу и орла называет птицей, тебя и козла с трясущейся бородкой — козлом, меня, кто проводит адову ночь на чердаке этого купола, и того, кто выводит из хлева козла, чтобы перерезать ему глотку, охотниками. Для меня порция шашлыка из турьего мяса — что есть, что нету. Охотники не любят еды из дичи. И сейчас в моей сумке только кусок хлеба. В старину говорили, будто богиня охоты из милости к постящемуся посылает в награду дичь. Тогда сидел бы он дома и жевал свой хлеб, а она, богиня, на дом поставляла бы ему эту дичь. Тот, кто придумал такое, не сделал ли это в свое оправдание? С набитым животом и отяжелевшей сумкой кто станет гоняться за тобой, быstroногим, скачущим по вершинам над зияющими

черными пропастями. Он или, обессилев, отстанет, или же сорвется в пропасть.

Тот, у кого желудок пуст и сумка легка, кто преследует тебя не ради куска мяса и шкуры твоей, кому доброе имя охотника дороже жизни, к тому и благоволит богиня охоты и даже девушки, подобные Пирибе: «Взгляните на этих птицеловов», — в голосе ее не было насмешки, лишь боль.

Невеста моего дяди Джобе так и не вышла замуж. Сейчас другое время. Может, Пирибе и не последует ее примеру, тем более нам надлежит враждовать, чтобы Пирибе не сделалась женой птицелова, а дочь Пирибе — мясника.

Тебе же, если бы я не увлек на такую высоту и не заставил провести ночь на морозе, когда камни трещат от холода, может, тебе надлежит спуститься чуть пониже, изведать тепло, и тогда ты, возможно, обратишься в козла и дети будут висеть на твоих рогах и даже взбираться на спину. Нет, в нашей кровной вражде и есть наше спасение.

Спустись же, я же тебя просил об этом, когда только начало смеркаться, хотя бы на расстояние выстрела, но ты меня не послушал. И если честно, правильно поступил: если ты так храбр и ноги твои так резвы, поднимись, мол, сам. Ты оказался мудрее — мне нечего сказать. Если я протяну до утра и доберусь до тебя, в чем ты сможешь меня упрекнуть? Если же превращусь в ледышку и сорвусь в пропасть, в чем упрекну я тебя? Дай бог тебе тогда мою долю неба и кусочек моего солнца.

Если мне повезет, твои огромные рога послужат судом для заздравного свадебного тоста в честь меня и Пирибе, потом им будет отведено место на стене рядом с серебряным поясом и кинжалом моего деда и ружьем дяди Джобе. Твой рог — не волчий зуб и не кабаньий клык, ты не вертел им, заискивая, чтобы набить себе брюхо. И я пошу ружье моего дяди не для того, чтобы содрать с тебя кусок мяса на шашлык.

У меня совсем окоченели руки, где-то в расщелине я прищемил себе палец, и он саднит. Оказывается, луна и звезды умеют леденить душу, будет ли конец этой проклятой ночи, кажется, никогда не наступит рассвет. И не дай бог нам обоим остаться в живых. Уж лучше обоим погибнуть. Я, испустив дух, сохраняю доброе зва-

ние мужчины, а ты приобретешь славу неуловимого и недосягаемого. Я оставлю после себя достойных преемников, а ты крепконогих потомков, не боящихся ни холода, ни мороза. Но если я останусь в живых и выберусь отсюда с пустыми руками, я буду знать, что я размазня и что мне незачем тягаться с тобой. И мой удел питаться не турьим шашлыком, а куриным бульоном, и мне самое время высидывать цыплят. И сердце Пиррибе я должен покорить не трофеем — твоими рогами, а подобно лавочнику — отрезами на платьях и серьгами. И когда-нибудь наш потомок, увидев в книге твое изображение, наверно, поинтересуется твоим весом или же тем, сколько молока дает твоя турица. Вот почему один из нас должен покинуть этот мир. И если спросить меня, то я честно отвечу, что это не вражда. Скорее, какая-то непостижимая любовь. Только мы знаем ей цену, а раз так, нам понятно, ради чего мы жертвуем собой.

Жертва!

Давай, словно древние язычники, принесем жертву и будем молиться, чтобы тур не превратился в козла, а человек в ленивого дармоеда. В конце концов, не для меня ли ты появился на свет? Нет, я вовсе не хочу сказать, что раз я человек, все, что меня окружает, создано, чтобы меня ублажать. То же и с тобой. Раз так, наши пути не могут не скреститься. Тебя охалкой сена никто не соблазнит, в дом не заманит, сам ты тоже не преподнесешь мне турьи рога, наполненные вином. На этой грешной земле жить — значит бороться, и наш последний предопределен. Чтобы существовать, мы должны потягаться силами. Вынести и эту ночь, и этот ледяной ветер, пронизывающий до костей, тогда я буду именоваться истинным наследником дяди, имя которого я ношу, а ты — внуком тура, погубившего его.

Мы должны все преодолеть, чтобы наши потомки повстречались на еще большей высоте, на вовсе недосягаемой ледяной вершине.

Тот, кто проведет здесь ночь, проживи хоть сто лет, будет помнить запах теплой постели, знать цену горячих женских рук и силу вина, выпитого из твоего рога. Хороший охотник — прежде всего хороший альпинист. Это альпинисты получают звания, призы и медали. Они их заслужили. Это о них пишут в газетах, радио и кино сообщают всему миру их имена. Если мне удастся одержать над тобой победу — это и будет мне наградой, при-

зом и медалью. Обо мне только и скажут: «Хороший охотник», а птицеловы из зависти затаят злобу. Может случиться, что и Пирибе при встрече со мной не отвернется. И это тоже не так уж мало. Не знаю, стоило ли появляться на свет и принимать столько мучений, но раз уж явился и принял муки, то надо быть пусть не самым лучшим, но уж никак не худшим в затерянной в горах деревушке, чтобы соседской девчонке не зазорно было удостоить тебя взглядом.

Камень в три пяди наконец поддался, но вытащить из гнезда его никак не удавалось. Зазубрины мешали ему свалиться в пропасть и не выпускали из гнезда. Джобе хватило бы работы до утра, чтобы отогнать сон и как-то согреться.

Охотник обязан делом ли, беседой ли в выносливости превзойти тура.

— Мы близки с тобой, и не только потому, что нас разделяет лишь ружейный выстрел, и я, словно завернувшись в одеяло, беседую с тобой,— признался охотник. — Мои предки, язычники, безусловно молились на тебя. В наших церквах у икон и сейчас висят туры рога, да и в домах красуются парами, изогнутые, как луки,— добыча моего дяди. И я не из прихоти держу это ружье в руках, и ты вовсе не по недомыслию взобрался на эту вершину, смахивающую на лошадиную голову, недоступную и висящую на краю бездны.

Прежде чем я решил пойти за тобой, я прошел не одну бессонную ночь, а днем не знал ни минуты покоя.

Молитвами плавил пули и словно волшебник заговаривал порох. Я содержал себя в полной чистоте и, если только не забывал Пирибе, не помышлял о плотских вожделениях. Чтобы не опьянеть, не дотрагивался до рахи, каждые два дня менял рубашку и старался укрыться от дурного глаза. Тебя я называл величественным, прекрасным, недосыгаемым, себя — жалким, недостойным. Да разве только себя? Бушующую реку — мокрой водой, ружейный выстрел — хлопущей. На завтрак, словно постящийся монах, я ограничивался куском хлеба, а фляжку с рахи в эту адскую стужу я захватил только для того, чтобы согреть кости. Ты для меня — не мясо для шашлыка, я для тебя — не какой-то там птицелов. Когда я приближаюсь к тебе, я как жрец-язычник — очищаюсь, поднимаясь к твоей обители,— возвышаюсь.

Испокон века мы делали глиняную посуду, ковали бронзу, железо, серебро и золото, плавили стекло и из-готавливали эмалевые чаши, но самое заветное благословляли твоим рогом, наполненным до краев вином.

Чтобы тебя настигнуть, охотник должен был преодолеть столько препятствий, вынести столько мучений, что народ сложил о нем легенду: будто богиня охоты Дали согревает его в холод и хранит во мраке.

Пусть ее благословение падет и на меня, съжившегося от холода в три погибели у подножия отвесной скалы, примерзшего к каменной глыбе. Но если я продержусь до утра и не превращусь в ледышку, то поверю в ее существование. И с рассветом можно будет отметить мое второе рождение. А солнце станет мне и отцом, и матерью одновременно. И с завтрашнего дня ситцевое одеяло будет казаться мне жаркой периной, а хижина— замком. Зависть к чужому покинет меня, и малое станет для меня большим, и я стану счастливее, чем был до сих пор.

Хотел бы я знать, почему они так радуются настрелянной добыче, разве она кого-нибудь сделала богаче? Простим, прекрасный, их недомыслие.

Сверкающий месяц кинжалами с загнутыми вверх концами двинулся навстречу гребням, вонзенным в небо, заматался, не сумев пробить себе дорогу, и, словно половинка серебряного кольца, исчез. Вершины подернулись мгlistым саваном, а на ледник легла тусклая вуаль. Вознесшиеся в небо гребни, словно головы, залитые водой, побагровели, но от закатившейся луны и поблекшего ледника вроде потеплело. Охотник расшатывал камень окоченевшими пальцами, не прибегая к помощи кинжала, все еще надеясь выковырять его из гнезда и по пояс укрыться от свистящего ветра.

— Как там у тебя дела, неуловимый! Знаю, тебе не подобает дрожать и ежиться от ветра. Но ты же живое существо? Сознайся, тебе тоже холодно? Не так ли? Правда, тебе не впервой проводить без сна длинные страшные ночи. Я же сказал, что ты совсем не похож на других, ты единственный на всем белом свете не имеешь логова. И там, где тебя застигнет ночь, а за ней рассвет,— там твой дом. И ты радуешься тому дню, не заботясь о завтрашнем, стяжательство, столь присущее брeнному миру, неведомо тебе, а значит, и не отравляет тебе жизнь. Крепости ты не возводишь и для нападения

не точишь зубов, гордо ходишь по миру, надеясь лишь на свои крепкие ноги и бесстрашное сердце. В нескончаемые зимы и морозы, когда от холода трескаются камни, ты не запасешься ни клоком сена, ни сухими листьями, что могли бы служить тебе подстилкой.

Нет у тебя ни шубейки из выдры, ни медвежьей дохи, твоя жесткая шерсть не то что от урагана — от мелкой изморози не может защитить.

Бог милостив: если бы ты задрожал, съежился, спрятал голову между ног, твоя грубая шерсть сделалась бы мягче, завилась, удлинилась, и если бы ты не летал над пропастями, то барсуком рыл себе нору и твои мышцы обросли бы жиром, а вместо хвоста был бы курдюк.

Летом ты в сыпучем щебне нежно щиплешь траву, похожую на махати¹, неспелую, малопитательную. И так из года в год.

В твоих поднебесных владениях, посади другого хоть в яму с ячменем, все равно не выживет, задохнется от недостатка воздуха. Здесь нет самого необходимого для жизни и ничто не живет. Лишь изредка орлы, паря в вышине, выпускают из когтей свою добычу, и тогда на скалах алеют пятна крови, да горные индейки прошептуют за тобой, чтобы насытиться твоим навозом.

Ты же сыт тем, что возвышаешься над облаками, обласканный холодным сиянием солнца да белизной ледников.

Я где-то слышал: тура причисляют к семейству козлиных. Проклятье на голову тех, кто придумал такое, кто уподобил тебя козлу и барану! Нет, ты другой — ни породой, ни характером ты не принадлежишь к этому семейству. Тот, кто захочет о тебе поболтать, пусть сначала побегаёт по твоим тропам, поживет твоей жизнью, не зная ни крова, ни страха, а уж коль захочет задремать — проснется на дне пропасти. Ну, а если все-таки не пожелает расстаться со званием охотника, пусть попробует попасть в тебя, когда ты взмываешь над поднебесными кручами.

Спустилась ночь длиною в год. Звезды и не думали тускнеть, значит, не собирались покидать небосвод, и кажется, что рассвет никогда не наступит. Расшатанный кусок камня подозрительно раскололся, одна половина его накренилась, скосилась и застряла в углублении, дру-

¹ М а х а т и — толстая игла.

гая, вонзившаяся в основание зазубринами, тоже шаталась. Но глыба с места все равно не сдвигалась, а ему так хотелось распрямить ноги в коленях. Лежа на пока- том камне, еще как-то можно было удержаться, но стоило расслабить мышцы, как бандули начинали скользить по покрывшемуся инеем, обледенелому камню.

— Пирибе, наверно, сейчас сладко спит, и если только она вообще обо мне думает, то мы обязательно должны ей присниться. Пирибе — девочка, которая о чем-то часто задумывается. Наверно, мечтает. А как разделить мечты и сновидения? О, мне хорошо известно, что такое мечтатель. Он и здесь не споткнется. И если захочет, ночь проведет в тепле бок о бок с тобой. Женщина, которая умеет мечтать, такого мужчину сотворит, что и Адаму с нею нечего тягаться.

Именно этого я и боюсь — что птицеловы? Пирибе им не соблазнить, да она па них и не польстится. Но вот как бы не превратиться из рыцаря ее мечты в пастуха коз?

Охотник сжал челюсти, чтобы унять дрожь. Ни сено, подстеленное в бандули, ни шерстяные носки уже не защищали от холода онемевшие ноги. Не дай бог, если разгуливающий по гребням вихрь пригонит тучи или из ущелий нагонит туман. Тогда и рассвет не наступит, и солнце никогда не взойдет. Над вершиной повисло вдвое больше звезд, теперь уже сверкающих, но вдесятеро недостижимых и холодных, подобных здешнему ослепительному солнцу, которое палит, жжет, дубит кожу и равнодушно ласкает без огня.

Лишь тебе одному ведомы тайны здешней жизни. И какой ценой она достается. Я уже не говорю о зайце, бедняга вынужден спать с открытыми глазами, а сон прекрасной лани или оленя и даже их жизнь ни в грош не ставятся. При каждом шорохе они умирают от страха и, застрыв в снегу, становятся добычей собак. Свыше их сил было покинуть волчьи владения, лесные просторы и росистую траву и, не заботясь о пропитании, вознестись к небесам, к свободе, чтобы перестать платить тяжелую дань хищнику. Ведь их могила — это и есть брюхо волка.

Правда, и твой труп станет добычей орлов и грифов, когда наступит твой час. Но ты не умираешь в логове, охваченный недугом. Ты умираешь в прыжке. Когда ты разгоняешься, то не только щебенъ и камешки несут-

ся вслед за тобой, ты разверзаешь камни и глыбины и за тобой несется земля для твоей могилы. Твоим гробом служат бездонные пропасти, а сверху горстями сыплется скалистый щебень. Вершины грохочут. И это скорбным вестником несется из ущелья в ущелье, и горы, подпирающие беспредельное небо, звонят в сумеречные колокола. Голых, убогих, безжизненных гор ты единственный верный сын, их радость, их гордость. Не будь тебя — они превратились бы в безжизненную пустыню. Пока ты жив — они дышат и живут. Правда, они не балуют тебя. У них самих, нагих и суровых, нет для тебя ни корма, ни подстилки, ни покрывала. Зато они верно служат тебе — твои стражи, твоя крепость, и никто не посмеет ни поработить, ни покорить тебя. А когда тебя не станет, черные траурные скалы льют по тебе слезы и вершины перезваниваются скорбными колоколами.

О боже! Неужто тебе удалось сотворить жизнь, сокрушающую и стужу, и ураган. Или тебе понадобилось это для того, чтобы здесь властвовали туры и не резвилась такая нечисть, как козы. Чтобы тут проводили ночи избранные охотники, а птицеловы исходили завистью.

Пути господни неисповедимы, и непостижимы творенья твои. О господи, удостой меня своей милости, уступи на этой отвесной скале небольшую глыбину, чтобы я смог укрыть голову, или же усмири этот бушующий ветер. Будет ли конец этой ночи?

Со дня рождения и до самой смерти и днем и ночью человек постоянно подвергается испытанию на прочность. Его каждодневная жизнь полна риска и подобна тому, будто он постоянно спотыкается на краю пропасти. Стоит только расслабиться, закрыть глаза и пуститься по течению, как он тут же будет обрушен в пропасть.

Ты же веришь нам, созданным тобой же, и ничем не поступишься, чтобы не потребовать величайшей жертвы в ответ. Если тур желает оставаться туром, он должен проводить ночь там, где сотрясаются даже каменные глыбы, где нет ни пищи, ни воды. Иначе он должен превратиться в козла, валяться в зловонном навозе, чтобы всегда иметь в достатке воду и сено. Если же я желаю зваться охотником, я обязан коротать ночи в ледяной постели, не сомкнув глаз, иначе я должен превратиться в мясника, согреваться у горячих угольев, а в постели меня должна поджидать страстная женщина с томным взором.

А сейчас ты гонишь сюда тучи. Кто знает, может, и молнию низвергнешь на мою голову, послав мне еще одно испытание! И не наступил ли час расплаты?

Если и человек, и тур — дело твоих рук, зачем же ты требуешь от нас большего, чем нам отпущено? Если эту отвесную скалу ты взвалишь мне на плечи, разве я устою?

До рассвета было еще далеко. Вершины окутались облаками. Ветер гребнем прочесывал густой туман и набивал им ущелья для прядения, чтобы потом из этих нитей сплести для серо-пурпурных вершин белую вуаль. Поближе к утру пошел снег, и скалы облачились в тонкие, белоснежные рубашки. Все, что ветер принес, он, умчавшись, забрал с собой.

Предрассветное небо успело засиять, Млечный Путь — словно прыжок лани — растаять в небесах, а горы — улыбнуться. Очистившаяся Вселенная замерла. Холод породил тепло, тьма — свет, мучения сменила радость. К востоку в алмазных пиках солнце водрузило себе золотой трон и разослало пучки лучей в мрачные ущелья вестниками победы. Только ради того, чтобы увидеть это утро величавой красоты и неслыханного спокойствия, где можно было услышать даже песнь солнечного луча, стоило провести эту бессонную ночь.

Охотник придерживал коленом качающуюся глыбину, чтобы она своим грохотом не нарушила величественную музыку покоя и безмятежности. Тур стоял, повернувшись к солнцу, единственный властелин этой необозримой красоты. Не только эта ночь — триста шестьдесят пять ночей стоили одного этого утра. Человек был вознагражден, все оплатилось сполна. Смотря что понимать под счастьем и богатством!

— Пирибе! — блестит алмазом на сверкающем снегу солнечный луч.

— Пирибе, Пирибе! — беззвучно зывают вершины.

— Пирибе, Пирибе, Пирибе! — торжествует бесконечная белая тишина.

Охотник вбирал глазами тепло, и оно разливалось по всему телу, и к нему медленно возвращались силы.

Может, вот так увидеть прекрасное, вобрать его в себя и называется охотой? Для мудрецов — познание, а для глупцов — что с них взять?

О дедушке Пирибе бродит молва как о невезучем охотнике.

Бывало, целую неделю, угрюмый, он пропадал на охоте, возвращался с пустыми руками, с затаенной улыбкой в глазах.

Бабушка что-то подозревала, когда обессиленный, но просветленный — на него будто бы нисходило озарение, — он возвращался домой. Отец Пирибе погиб на войне. Но и ему, и самой Пирибе досталась в наследство эта улыбка. И ее отца, и саму Пирибе породили на свет закравшееся подозрение бабушки и затаенная улыбка дедушки.

«Взгляните на этих птицеловов...»

В детстве на вопрос, кого она больше всех любит, она отвечала не задумываясь: дедушку. Наверно, и сейчас, если бы кто-нибудь спросил ее об этом, она ответила бы точно так же. Только тогда с детской непосредственностью, теперь с убежденностью. Дедушка ее, может, и не таким метким был стрелком, но кто знает, так ли уж важен был ему этот ружейный выстрел и так ли уж тщательно разглядывал он туры следы. Что поделаешь, если настролянное им не всегда годилось для шашлыков. Жена и окружающие обычно видят то, что шипит на вертеле. Им можно только позавидовать. А счастье и несчастье избранных состоит в том, что они умеют насыщаться виденным. Этот дар следует беречь, большей частью он оплачен святым трудом, беспокойством и скорбью. А набивать брюхо едой — не животных ли это удел?

Солнце поднялось и отбрасывало тень на длину рукоятки копья.

Охотник ужаснулся: «Что за мысли меня одолели, видно, я и вправду забыл, зачем коротал эту ночь и для чего с таким нетерпением дожидался утра».

— Нет! Ты враг мой! — разгневался охотник на уставившегося на солнце тура. — Какие мысли ты вбиваешь мне в голову? Разве я могу позволить себе так думать? Если я спущусь в деревню с пустыми руками, соберу соседей и начну проповедовать, что можно быть сытым святым духом, могу я поручиться, что они посчитают меня в своем уме и не упекут ли куда следует, выставив стражу. Моя жизнь, мой прекрасный, намного сложнее и труднее твоей. Я бы не сказал, что она более красивая, но что другая — могу поклясться. Потому-то я и зовусь человеком, а ты — туром. И у тебя я должен учиться мужским добродетелям.

Сегодня я познал от тебя, как надо насыщаться виденным. Но до того, как усвоить эту науку, я должен сухую горбушку, что лежит у меня в сумке, запить рахи и талым снегом, чтобы суметь взобраться на и без того недосыгаемую, а сейчас обледенелую скользкую скалу, чтобы приблизиться к тебе на расстояние выстрела. Я же сказал: один из нас должен быть побежден. В поединке наших предков побежден был мой дядя. Сейчас я должен взять реванш. Если я свалюсь в пропасть, нарушится равновесие. Тогда получится, что сила на твоей стороне. Поединок между сильным и слабым — безнравствен, не говоря уж о слабом, это позорит сильного. Сейчас моя очередь, я должен преуспеть, сбросить тебя с этой скалы и восстановить справедливость.

Я не вернусь с пустыми руками, как дедушка Пирибе, и не стану птицеловом, как Джуаншер. Я — Джобе, я тезка моего дяди, я его кровь и его плоть. И если признаться честно, мне кажется, что ты мне подобен. Твой предок не пощадил моего дядю, должен ли я щадить тебя?

О, отпускать комплименты друг другу совсем несложно. И тебе, мол, хорошо, и мне. Тогда давай оглохнем и выколем себе глаза. Нет. Ничего подобного. Я вижу тебя насквозь. Вот ты надменно застыл на краю пропасти, и тебе хорошо известно, что единственную тропу на этой отвесной скале преградил тебе я. Вчера тебе удалось так меня измотать, что я не мог подняться на этот проклятый гребень. Сейчас пядь за пядью, вгрызаясь в камни, я поднимусь наверх. Вчера ты меня превзошел, сегодня — мой черед. Если мне это не удастся сделать, как же я тогда буду зваться и что за цена моей ловкости?

Если Пирибе меня спросит, где я пропадал эти три дня и три ночи, — она не спросит, но если все-таки спросит, — что я ей отвечу? Правда, какой бы неправдоподобной она ни была, остается правдой. Ты же тоже не можешь возвратиться в стадо, не пролив крови. Тебе не скажут: «Стоило ли такого недотепу заманивать на эту отвесную скалу, он и здесь, внизу, не мог причинить тебе зла».

Человек не имеет права быть эгоистом, он обязан уважать и врага. Если ты распугаешь заячью стаю, разве тебя сочтут за волка?

Дядя мой Джобе поймал туренка (может, он был твоим родственником?), привел в деревню и вырастил вместе с козами. Думаешь, он хотел обратить его в козу,— ничего подобного. Тур есть тур. Он подрос и покинул приемных родителей, овчарню и саму деревню.

Мой дядя собрал соседей и устроил пир, подняв тост за убежавшего к белым вершинам тура, словно за человека. И дедушка Пирибе был там... Разве я тебе не говорил? Недаром же у нас в доме висят туры рога между иконами. И если я сегодня вернусь с пустыми руками, что мне прикажешь повесить на ковре — козлиные рога или кабаньих клыки?

Вчера, когда ты взлетел на эту отвесную скалу, она была совсем голая. А теперь покрыта снегом. И если я поскользнусь и полечу в пропасть, тебя же совесть замучает. Солнце поднимается, снег тает. И если я дам подсохнуть каменным глыбам, этим я и тебя избавлю от оскорбления.

Я, тепличное растение, не могу позволить себе подняться на вершину по снегу, ведь ты взбирался, когда она была гладкой и сухой. Если мы перестанем уважать друг друга, кто же украсит нам головы короной?

Победа над достойным действительно победа. А чего она стоит над жалким? Даже похвастать будет совестно. Видно, солнце и рахи подстрекают меня потягаться с тобой, и еще хочу признаться, есть у меня небольшой грешок. Я же тебе рассказывал: перед Пирибе осрамился, подколот Джуаншера... Клянусь, я исправлюсь. Не будь я мужчиной, нет порока хуже, чем ставить себя выше других. Человеку нечего тягаться с тобой: он честолобив, лжив, двуличен, но у идущего вслед за тобой по твоей тропе, если вправду он не следует за тобой только ради шашлыка и харчо, есть возможность стать лучше, подняться над самим собой.

У тебя ему есть чему поучиться. Ты гордый, но не честолобивый. Если бы ты не был так великодушен, ты бы истребил весь козлий и бараний род. Ведь тебя часто причисляют к роду козлиных, как и меня к птицеловам и мясникам.

Опять я согрешил, посмеив сравниться с тобой, а ты ведь сумел вознестись к этим белым вершинам и зовешься туром. Я же рядом с ними ковыряюсь в золе и

принадлежу к их роду-племени. И если ты не поможешь мне, не удостоюсь звания хорошего охотника. Недавно я зашел в лавку за папиросами. Продавец обсчитал старуху, взял за шерстяной платок вдвое больше. Она ушла, а по дороге попросила школьников посмотреть цену на ярлыке. Она вернулась и набросилась на нас. Лучше бы мне в тот момент провалиться сквозь землю. Как мне следовало поступить? Сказать ему, что он не должен был этого делать, но разве он сам этого не знал? Стал бы он честнее, если бы я ударил его? Старуха плюнула и ушла. Продавец отер плевков, а я до сих пор не могу от него отделаться. Тебя же за бессовестность козы никто не осудит, и вместо барана у тебя никто не отрежет курдюк. Чтоб ты знал, тот продавец волочитя за Пирибе... Ведь мы живем в одном логове. Что спросишь с бессловесного глупого животного, скажут некоторые. Я только на тебя надеюсь. И если мне суждено спастись, только ты тому порукой, только ты сможешь сделать так, чтобы Пирибе полюбила меня, и только от тебя зависит задравный тост за свадебным столом, и только ты сможешь смыть с меня плевков старухи, чтобы я мог прямо смотреть солнцу в глаза.

Так что победить тебя — вовсе не значит тебя убить. Ты заживешь во мне честной и славной жизнью охотника и даже после моей смерти будешь жить в легендах.

Охотник у подножия отвесной скалы сбросил пустую сумку и патронташ. Фляжку, кинжал и войлочную кацевейку он положил рядом. Взял с собой только ружье и, помогая себе ногтями и зубами, вцепился в уже подсохшую скалу. Пока карабкался, у него отлетели все пуговицы, в грудь впивались острые зазубрины, на левом указательном пальце и по подбородку сочилась кровь, но, когда он достиг вершины, кровь свернулась и боль утихла.

Тур стоял на расстоянии ружейного выстрела у рогатообразного гребня прямо над пропастью и шумно вдыхал раздувавшимися ноздрями запах человеческого пота и крови.

— Да, мне было нелегко, текла кровь, ты не будешь этого отрицать, но я ведь поднялся сюда.— Радость переполняла охотника.— Ты не раз спасался на этой вершине, недоступной для простого смертного, но что делаешь, я ведь из породы железноколенных моего тезки Джобе. Больше того, во мне и его неистраченная

сила. И сегодня я пришел потребовать от тебя уплаты долга моему дяде.

Уже не трудно было продвигаться вперед, не было надобности прятаться и подкрадываться. На вершине хребта, подобного хребту лошади, стоял охотник, на гребне рогатообразной скалы, которая, словно голова лошади, нависла над бездонной пропастью,— тур. Теперь он уже чуял запах пороха, стоял, оборотившись к пропасти, спиной к солнцу.

— Разреши, величественный, сделать только один выстрел,— попросил охотник,— у меня всего один патрон и ружье одноствольное. И я не приближусь к тебе ни на шаг. Но и промахнуться мне нельзя. Если промахнусь — твое счастье. И пусть кровь моего дяди и все мои муки будут принадлежать тебе. Разве я не заслужил права на один-единственный выстрел? Я ведь тоже кое-чего стою, раз я здесь нахожусь. И еще, я ведь поклялся: ты не умрешь — перейдешь в меня именем и легендой. Я клянусь тебе, не дотронусь до твоего мяса, буду поститься, словно при гибели самого близкого. Куда ты смотришь? Там такая бездна, что даже твой зоркий глаз не в силах проникнуть в нее. Не грехи перед богом, не смей даже думать об этом! Что у тебя на уме? От тебя можно ожидать чего угодно, ты на все способен, на любое чудо.

Если бы тур не взметнулся, охотник, наверно, так вероломно не спустил бы курок. Все произошло одновременно: животное взвилось ввысь, и в то же мгновение грянул выстрел. Гребни осиротели. Раскаты еще неслись из ущелья в ущелье, а вершины наливались яростью.

По ту сторону рогатообразного гребня, на лбу отвесной скалы, не то что девятипудовый тур, но и камешек не удержался бы. А из пропасти не донеслось даже эха от несущейся по ухабам, разбивающейся о камни и выступы такой огромной жертвы.

Солнце уже близилось к полудню, когда охотник обогнул лошадиноголовую вершину, нависшую над пропастью, и поравнялся со лбом скалы. На дно пропасти только что заглянул солнечный луч и еще не успел расплавить вчерашний безгрешный снег. И не было видно даже просто скатившегося камня.

«Подобные чудеса и творили здешних богов и богинь», — подумал охотник, такой любитель поговорить, не имея сил промолвить хоть слово.

По левую сторону, словно лепестки красной розы, на белом снегу атели капельки крови. Прекрасные и ужасающие, как грех.

Он посмотрел в небо, скорее, со страхом и мольбой, нежели с надеждой что-нибудь там увидеть...

Могила в небе?

На опрокинутом лбу скалы, с трудом различимом, на фоне беспредельного синего неба, поднявшись на дыбы, словно в прыжке, висел на одном роге умирающий тур. Он словно взлетел из бездны и хотел вознестись к солнцу на вечные времена.

Охотник возвращался домой.

Руки его были пусты, зато ноша дум его была тяжела.

ЗВЕЗДЫ И ЖЕРНОВА ОТИА ИОСЕЛИАНИ

Хотя железные дороги постоянно сопровождают маршруты героев Иоселиани, хотя крупные железнодорожные узлы, безвестные полустанки, вокзалы больших городов, одинокая будка путевого обходчика, эшелоны, ревущие на бешеных скоростях, и запыленный почтовый ящик на степном переезде метят и олицетворяют зигзаги этих маршрутов, в многолюдье которых обретается отрешенность, а скорость уплотняет сосредоточенность, не давая рассеяться, распластаться в больших расстояниях, — художественная энергия Иоселиани устремлена в домоседство. Вынужденные или добровольные скольжения его героев на поверхности земли не столько тщетны, сколько усугубляют желание зацепиться за землю, чтобы потом продалбливаться внутрь ее. Продалбливаться — не боясь кружения вокруг одной точки, тавтологий и обманчивой малоподвижности продвижения.

Там, за горизонтом? Нет, меньше всего о горизонте, о пересечении больших пространств идет речь у Иоселиани. Меньше всего он странник, бродяга, паломник, путник. Он основателен и, кажется, что предпочитает твердь, тяжесть и клочок земли под ногами.

«В Греции,— пишет Михаил Алпатов,— глаз видит с полной отчетливостью и ясностью как передний, так и дальний планы. На первом все различимо до мельчайших подробностей, каждого серебряного листика на кудрявой маслине, каждого волоска на шерстке ослика (жалобно ревущий осел — это неперменная принадлежность греческого пейзажа). На первом плане все осязаемо, материально. Это проза, в которой пребывает человек.

При ясном сиянии дня здесь явственно звучит мерное дыхание земной коры».

Иоселиани вполне доверяет тому клочку земли, на котором стоит. Этот клочок для него представителен и надежен. Не о том, разумеется, речь, что он может прокормить его персонажей, дать кусок хлеба. Это кусок земной коры, как всякий другой. Ломоть — но не отломленный. Он способен насытить голод познания. «Могилою людей служит вся земля», — цитирует Алпатов Перикла спустя несколько строк.

У Иоселиани в романе «Черная и голубая река» Парна Амаглобели, деревенский учитель, для которого история — профессия и склад мирозерцания и которому предстоит отдать войне четырех сыновей, обращается вспять, вспоминая и собственную родословную, и колхского царя Айета, сын которого был коварно убит аргонастами. Эти ближние и дальние ассоциации трехстраничного монолога размещены в плоскости одного сознания, на платформе единого текущего времени, но в них нет прямолинейных, однозначных аналогий. Дед, сосватавший босоногую бабу на рыночной площади, где она продавала худосочную козу, тот же дед, еще до первой мировой войны вознамерившийся соорудить в горной деревушке немислимый водопровод, — и мечтатель Мамука, младший сын Парны, не привязанный к жизни ничем, кроме собственных бредней... Парна чувствует, что в этих бреднях жизнь сообщает о себе куда больше примет, чем в точном житейском расчете, в котором так искушен и победоносен средний сын Парны — Ватути. В эту критическую для себя минуту Парна слушает не «прозу, в которой пребывает человек», а «мерное дыхание земной коры», ощущаемое им в необъяснимых поступках младшего сына. Семейная традиция несуразных поведений больше всего занимает его в ту минуту, когда надо собирать сыновей в дорогу. Собственная нереализованность (а Парна мечтал быть ученым-историком) делает его слух свободным, не дает восприятию окостенеть, обостряет вкус к помыслам и поступкам, лежащим вне корысти и логики — вглядывается ли он в необозримую даль национальной истории или в пока еще доступную обозрению область семейных преданий.

Не фамильярничая с историей, не вульгаризируя ее ход сугубо житейскими мотивировками, писатель стремится услышать зарождение ее катаклизмов в первоначальной повседневности, которая сама никак не помышляет о всемирных результатах.

В рассказах пятидесятых—шестидесятых годов он как бы пробует грунт. Он выбирает героев, но каждый выбор — не окончательный и колебим недоумением. Повествуя о человеке, обнаруживая знание характеров и обстоятельств, он всякий раз как бы недоумевает по поводу того, что его герой не сводим ни к собственному характеру, ни к обстоятельствам своей вполне традиционно налаженной жизни, обстоятельства давят, а жизнь журчит. «Я знаю то, о чем рассказываю, — кажется, говорит писатель, — но мне самому больше интересно то, что лежит за порогом моего знания, оно-то и толкает меня к рассказыванию. Я хочу посмотреть, что останется у меня в руках, когда сюжет мой будет исчерпан».

Иоселиани видит человека в спектре его возможностей. То конкретное, что происходит с человеком в его жизни, для писателя

лишь одна из областей человеческого бытия. Предисловие к первой книге прозы Иоселнани, изданной в Москве («Художественная литература», 1972), называется «Сверстники, односельчане, современники». Осторожно и деликатно портретируя каждый из рассказов сборника, очерчивая его смысл и сюжет, автор предисловия Иосиф Гринберг, критик трезвых критериев, замечает: «...почти всегда он рассказывает о том, что происходит нечто — и в мире, окружающем действующих лиц, и в их собственных душах».

Чем больше герои Иоселнани введены в историческую жизнь, тем облегченней вздыхает автор и тем свободней он дышит. У него есть страх быть сведенным к зримым параметрам. Творчество Иоселнани знаменует собой уход от прозаизма. Он ощущает прозаизм как оковы, мешающие прозе жизни осуществлять себя. Плоть жизни омертвляется, когда она предоставлена самой себе.

Парна Амаглобели живет, чтобы исследовать, и исследует, чтобы жить, и не уловив, где одно переходит в другое. Сознание живет напряженно и перерабатывает поток жизни все энергичней, оттого что не умирает в близоруко сформулированных целях. Не в том дело, что жизнь четырех сыновей дает Парне предмет для размышлений, а в том, что он сам, распочковавшийся в судьбах этих четырех натур и темпераментов, несовместимо различных, обнаруживает в их разнообразии собственную непознаваемость, выявляет сам для себя глубину собственного исторического существования. У Парны есть дар ощущать свою протяженность во времени, дар рода, ему дано ощущать себя предком и потомком одновременно. Парна нужен автору не в качестве персонажа, комментирующего и осмысляющего Грузию на войне. В Парне гнездится завязка этого произведения, повествующего о войне как о событии, в котором реализовались противоречивые силы, скопившиеся в человечестве. Эти силы писатель и стремится определить.

Сюжет предчувствуемого осуществления скрыт почти в каждом, даже из ранних, рассказе Иоселнани. Он не всегда заметен и для самого автора, вероятно; он проходит наплывами попыток и приближений.

Когда начинаешь читать рассказ «Большой Парна», кажется, что попадаешь в жесткие берега современного литературного русла. Это рассказ о старом крестьянине, мельнике, по имени Парна Датвадзе, которого преуспевающий, оборотистый сын насильно перевозит к себе в город, продав в деревне усадьбу. Рассказ разворачивается как скорбный анекдот в попытках Большого Парны вернуться в деревню. Даже окно в его комнате зарешечено, чтобы старик не сиганул с третьего этажа и не убежал в одном исподнем в деревню на смех всему городку и на позор сыну. Призвание мельника,

истребляемое ближайшими родственниками, осуществляется лишь в играх с детьми, когда Парна под конвоем жены выходит на прогулку и учит дворовых ребят возводить мельницу. Его медоточивая Элпитэ, с согласия которой Парна замурован в городе, кричит, когда Парна показывает ребятам, как обмазывать глиняный желобок: «Парна, сколько раз тебе говорила, родимый, когда делаешь желобок, подложи щепку, не то вода смое глину...»

В строгом соответствии со сложившейся традицией автор полон сочувствия Парне и откровенно разоблачителен к сыну. Эта антитеза, реальная и актуальная, несмотря на исследованность, занимает основную площадь рассказа. Лишь оттесненной на периферию сюжета Элпитэ, обволакивающей существование отца и сына, приговор как будто не вынесен. Во всяком случае, прония автора не окончательна. Здесь околица традиции. Элпитэ ласкова и эластична. Она покладиста и мгновенно принимает форму предлагаемых обстоятельств. Когда родилась четвертая дочь и Парна готов был порешить себя с горя, она уговаривала его взять другую жену, которая родила б ему сына. Элпитэ заостряет крайности, чтобы их обрубать. Кажется, что она выкручивает из себя только то, что угодно любимому мужу, но когда появился пятый ребенок — выпланный у небес сын — и подросток превратился в устойчивого мерзавца, Элпитэ с той же яростной жертвенностью уступила сыну отца, невзирая на все муки последнего. Все, казалось бы, и тут ясно — остается лишь возмущаться ею, но этот ее крик о щепке, которой надо выложить желобок, чтобы вода не размыв глину, обнаруживает, что способность Элпитэ делаться необходимой не исчерпана, что инерция преданности и любви, почти уже механическая, заставляет ее выигрываться в забавы мужа, который вовсе не впал в детство, как хочется думать его единственному сыну, а лишь упорно реализует — даже в самых безысходных обстоятельствах — отпущенное ему призвание. И вот тут, изменяя теперь уже сыну в пользу отца, Элпитэ потакает призыванию старого мельника и лелеет его, хотя, казалось бы, если детские игры старика его болезнь, не надо бы эту болезнь усугублять. Хочет она или не хочет, чтобы версия сына о болезни отца была подтверждена, — это не ясно. Ее сожаление в финале рассказа, что профессор не придет, кажется столь же притворным или, во всяком случае, не вполне искренним, как и ее желание, чтобы профессор явился. Этой двойственностью рассказ и завершается. Усекается анфилада прозреваемых мотивов ее поведения. Остается лишь ощущение могучей силы истинного призвания Большого Парны. Мотив разрушаемой деревни оказывается тут лишь поводом, чтобы раскрыть, как созидательные силы жизни утверждают сами себя, пропитывая собственные противоположности даже на грани гибели, даже при гаснущих возможностях обновления.

Один из лучших рассказов Иоселнани «Леван» тоже разворачивается на краю жизни. Проза жизни и проза быта здесь совершенно вещественна и совершенно метафорична. Старый Леван весь день жучит сыновей и весь день затыкает рот жене. Что ни сыновей уже нет, ни Кесарии — автор сообщает сразу, в первом же абзаце, однако разговор Левана с семьей столь натурален и так изобилует живыми подробностями, живой логикой житейских соображений, что в эту логику невольно всасываешься и этими подробностями обрастаешь. Их невозможно стряхнуть, хотя автор напоминает, что это не явь, а морок, что «кроме своих костей, сваленных на циновке, у него ничего не осталось».

Смерть Кесарии не удивила Левана. Кесария должна была уйти туда — он это чувствовал, — ребятам нужна материнская ласка, материнская забота.

Когда опускали гроб, он крикнул:

— Присмотри за мальчиками, Кесария!

Сыновья его — сразу оба — погибли в автомобильной аварии.

Меньше всего, однако, это рассказ о безумии. Разум Левана не помрачен — он просто не желает принимать смерть в расчет. Не о безумии здесь речь, а о бессмертии. Леван возвращается к жизни именно потому, что не примирился с их смертью. Когда арба — это во сне — вернулась без Амирана, старшего сына, он бросился к быкам и заброшенной арбе — это уже в яви, чтобы утром выехать на пахоту, а то земля ссохнет, гвоздь в нее не вобьешь. Сын, исчезнув из сна, возвращает отца к жизни, к яви. Это второе исчезновение Амирана (отпустил быков, а сам где-то с девчонкой) посылно для разума и не разрушительно. Не позволяя себе верить смерти, исчезновению сына с лица земли, Леван позволяет себе верить, что сын исчез со двора. Логика у Левана совершенно художественна. Он должен существовать со своими близкими в одном измерении. Его апатия, его забытие являются на самом деле энергичнейшей деятельностью всего его любящего существа — деятельностью, направленной на то, чтобы не выпустить своих близких из своего существования. Но земля, которую надо вспахать, является членом его семьи. Вина исчезнувшего Амирана перед землей, которую он оставил, заставляет Левана взяться за плуг.

Здесь есть деталь, брошенная мимоходом, но в которой как бы овеществлено пребывание Левана в нейтральной полосе — между бытием и небытием. Перед тем, как выехать в поле, Леван идет за лопатами, но лопат не было — ни одной. «Ушел, — уже по-деловому проговорил старик». Леван думает, что Амиран ушел в поле раньше его. Однако лопат нет по другой причине. Лопата, которой вырыта могила, выбрасывается — таков грузинский обычай. Амиран, действительно, ушел.

Старик существует как бы в метафорическом мире. Образ слонится. Отшелушивается верхний слой, под ним возникает другой, который отодрать страшно. Эти метафоры и метаморфозы порождены не игрой ума, а живой жизнью сознания, пробивающегося к истине. Истина тут, однако, не в том, чтобы Леван понял, что Амиран умер, а в том, что он не должен дать погибнуть еще одному существу — земле, которую не вспаши — она и не родит, ведь и бред его связан со свадьбами сыновей. Он все время озабочен тем, чтобы жизнь продолжалась, чтобы кругооборот ее не прервался. Ссыхающаяся земля, описанная автором с таким тщанием, грозит разрушить этот кругооборот необратимо, и лишь под этой угрозой старик покидает нейтральную полосу, возвращая себя в бытие. Он жив лишь постольку, поскольку ощущает свое участие в этом кругообороте. Он мертв, пока не подключен к созиданию. Состояние отключенности, в котором пребывает Леван,— это состояние выброшенности из созидания.

Подробности бытовых житейских забот одухотворены у Иоселиани этой созидательской миссией. Вне этой миссии они разрушают сами себя. Прахом или жиром обернется это разрушение — уже не так важно.

Рассказ «Дочь мельника» совсем не сводим к нынешней расхожей ситуации — расхожей и в жизни и в литературе,— когда в деревне одиноко доживает домучиваемый жизнью отец, брошенный преуспевающими детьми. Эта ситуация скорее повод, чем существо рассказа. Монотонно льющийся дождь («Дочь мельника») и монотонно дробящееся в мельничных жерновах зерно (рассказ «Водяница») — не аккомпанемент интриги, вполне житейской, как в рассказе «Дочь мельника», или почти сказочной, как в «Водянице». Это внутреннее состояние, в котором пребывают герои, ткань и тонус его. Но оно, это состояние, хаотичное и монотонное, вдруг обнаруживает способность к остро выраженной форме, к дерзости самовыявления. Память старого Беко из долгой его жизни вырывает одно лишь событие — «кажется, что он помнит это событие со своего рождения, хотя случилось оно в пору возмужания, когда пушок у него над губой сменился усами. Пожалуй, такого и не могло случиться в другую пору, но Беко кажется, что это всегда было с ним. От первых дней жизни и до последних дней». Это событие—встреча со своей будущей женой, а вся последующая жизнь—тяжелое ярмо на шее, «всю шерсть на шее вытерло», и сперва на эту шею сел первенец Симоника, а потом Гиголика, а через три года — Коция и четвертой — Текла. Все последующее и в памяти Беко, и в рассказе идет очень редким пунктиром, а та встреча с дочерью мельника (не со своей женой, не с матерью своих четырех детей, а именно с дочерью мельника) — во всех подробностях. На-

чало так и осталось началом, хотя жизнь с этой женщиной состоялась. Это мгновение, когда он был собой. С ним и в нем что-то происходило. Это было событие. Со-бытiе. Дальнейшее — если и не молчание, то инерция.

Так же и в рассказе «Водяница» ни Сардион, ни соседи и односельчане его не знают: та, которая повстречалась ему однажды на лесной тропинке, была ли женщиной или наваждением — каджи, случилась ли близость или поблазнилось подвыпившему молодому крестьянину. После той единственной ночи Сардион, доживший до старости, все последующее время провел не в тоске даже, а в нежелании возвращаться в обыденность. Сардион был отравлен состоянием, когда «бежит под ногами земля», и не желал очнуться от этого состояния. Это была не гордыня, а неспособность жить в ином измерении. Мельник, мельница, работа мельничных жерновов — здесь все монотонно, все сыплется: люди, день и ночь несущие на мельницу зерно, дробящееся зерно, льющаяся на лопасти вода, и сама мельница, которая все мелет и мелет. Эта реальность написана вещественно, явственно, но явственность, доведенная до полной рельефности, до всевластности, одурманивает сознание Сардиона, и тогда возникает мгновение освобождения от нее — возникает каджи. Для каджи у автора то ли не нашлось легких красок, то ли они потерялись при переводе, но попытка автора схватить мгновение истинного бытия выражена в этом рассказе искренне, остро. Он не берется решать, что есть больший соблазн — жить соблазном или жить так, будто этого соблазна не было. В отличие от Беко Сардион не пожелал выполнить свой долг перед жизнью, раз она протекает не на той высоте, что ему померещилась. Кому из них больше сочувствует автор, трудно сказать, но односельчанином их он лишь прикидывается, потому что сам как будто не знает, где подобным душам надо селиться и прописываться.

Так или иначе, но в жизни своих героев Иоселиани обнаруживает шанс сказки, шанс легенды.

Его знание обыденного существования как бы хочет освободиться от себя самого, тяготится собственной добротностью.

Дело здесь, однако, не только в подробностях быто- и нраво-описания.

Томление молодой добродетельной вдовы Даро, сопротивляющейся мнимому искушению (рассказ «Вдовьи слезы»), написано со снисходительной, щемящей иронией. Немного в сторону — и эпизод этот окажется анекдотом, немного в другую — и это будет горький рассказ о женской потерянности и одиночестве. Снова мельница, дорога, арба, мешки с зерном, забота о муке, о хлебе насущном, но, отторгаясь от этой ежечасной вековой заботы, взмывает над повседневностью, рождаясь в ее глубине, чистая в своем иступлении

человеческая страсть. Взмывает и гаснет, оставаясь в плену у пленников.

Напряжение и муку чувства, бьющегося под панцирем собственной косности, собственной замороченности, собственной забитости бытом и догмой, Иоселиани пишет естественно и легко, не выбиваясь ни в насмешку, ни в излишнюю горечь.

Через десять лет Иоселиани напишет другой рассказ о женском одиночестве — «Парное молоко». Здесь совсем иной ритм и тон. Живая суета хлопот и соображений о молоке, которому нельзя дать остыть, а то сыр не заквасить, о делах детей, уже покинувших дом, и соседей, которые вот тут, за забором, мертвым щитом отгораживают Пело от беспутного мужа, который шестнадцать лет назад ее бросил, а теперь возник вдруг в ночной тьме и, кажется, ждет, чтоб его снова пустили под эту крышу. Но Пело не допускает себя до этой простой догадки. Морок естественных, законных забот, без которых, казалось бы, жизни не может быть, оказывается сущим беззаконием рядом с правдой ее неугасшего чувства к Андукпару и возможностью его возвращения. Не о торжестве обиды и мелкого самолюбия тут речь, а о чувстве, которое отваживается лишь на мерцание, но не свечение.

Отличие этого рассказа от предшествующих заключается в том, что догма быта и бытовой психологии здесь истончается, ветшает. Еще нет ни разрывов, ни дыр, ни прорех. Пело не прорвется к Анду. Но нет и глухой невероятности. Житейские аргументы, которыми Пело отплевывается от Анду, потому так и живы, что они пронизываемы. Их существенность кажется надуманной, зряшной, пустяковой. Возможность соединения Пело и Анду — куда важнее, насущнее и попросту вещественнее, чем пелена забот, которая окутывает Пело.

По мере того как робость невинных влечений наливается у героев Иоселиани мучительной волей к осуществлению, видоизменяется жанр его прозы. Кажется, что легкость первоначальных этюдов, рожденных свободным, непринужденным прикосновением к жизни, становится тягостной. Познанное требует уже других емкостей и структуры.

В повести «Солдат вернулся» лирическая стихия, которая для Иоселиани является средой обитания, в последний раз пробует обойтись без сюжета или по крайней мере пользуясь им лишь как поводом.

Глубокая и еще не исчерпанная для нашей литературы тема возвращения с войны у Иоселиани вылилась в фабулу, житейски обычную и литературой, конечно, не обойденную. Солдат, которого считали погибшим, возвращается и находит у себя в доме другого хозяина. Возвращающийся Сачино знакомится с Амберки, мужем

своей жены Дэсмы, еще по дороге, в поле, не добравшись до дома. Тракторист Амберки, чужой в этих местах человек, — тоже вернувшийся солдат. У них с Дэсмой сын. Два солдата не объявляются друг другу, но догадываются — кто они Дэсме.

Маленькая повесть, насыщенная реалиями трудной послевоенной жизни, читается, однако, не как документ, свидетельство времени, а история того, как вымывается из души и памяти одно время и намывается другое.

«Амберки назвал своего ребенка Арчилом, именем брата, погибшего во время ленинградской блокады. И не раз о том пожалел — оно больно напоминало о брате. Потом Дэсма, лаская сына, стала звать его то Ачи́ко, то Ачо, то Ачо-бачо; теперь и Амберки зовет сына Ачо и так привык к его новому имени, что, если и зовет его кто по-старому, он вспоминает не брата, а сына — маленького Ачо».

Авторское внимание сосредоточено не на Дэсме, которая лишь в самом конце повести догадывается о появлении Сачино, и не на Сачино, легко понимающем, что он теперь тут ни к чему, а на честном солдате и честном трудяге Амберки, который опять оказался под угрозой бездомности и обездоленности.

Сардион в «Водянице» чувствовал, как бежит под ногами земля. Амберки ощущает, как пустеет воздух. «Воздухом этим словно кто-то уже дышал, и в нем теперь осталось очень мало кислорода. Амберки дышал, но воздух был совсем пустой. Можно было выдерживать час, ну, самое большое, одну ночь, но жить, постоянно дыша таким воздухом, было невозможно». И немного дальше — он «ощущал только воздух, чувствовал только его тяжелую пустоту».

Амберки получил то, что для многих других героев Иоселиани — привычка, которая затеняет и деформирует их существо. Амберки еще не настолько привык к своему земному счастью, чтобы тяготиться его давлением. Для него это давление — признак и содержание жизни, в другой плоти он не нуждается — он сыт бесплотностью после окопов и блокады. Сачино — вот тот уходит в пустоту, и снежный пейзаж («Все покрыто снегом, и совершенно безразлично, куда ступить»), которым завершается повесть, кажется даже мнящим. Он сам себе фон — и сам себе действие. Мимолетная встреча Дэсмы и Сачино в этом пейзаже фабулой обусловлена, чтоб убедиться, что герои — чужие друг другу и больше уже не нужны. Фабуле нужно себя завершить, и она закольцовывается на витке, доступном обзору тогдашнего читательского восприятия. Но она же и упрощает то соприкосновение двух солдатских судеб на послевоенном перепутье, в котором писатель ощутил неординарный поэтический смысл.

Ощущением пустеющего воздуха, порожнего пространства проникнут «Звездопад», первый роман О. Иоселиани. Война вымыва-

ет достаток, проза жизни теряет вещественность, обнажается ко-
стляк, но и он теряет весомость. «Я сижу один и пишу. Пишу тебе,
пишу, что запомнилось мне со времен войны».

Художественная память автора является плотью и плодом той
жизни, которую он вспоминает. Память не может от войны отор-
ваться — как глаз собаки, устремленный на кусок кукурузной ле-
пешки.

«— Убью, Толия!..

Не успела она надкусить мчади, как Тухия подбежал к арбе,
схватил валявшийся тут же секач, с разбегу поддел собаку ногой,
и когда та с лепешкой в зубах вылезла из-под арбы, с такой силой
хватил ее по голове, что рассек череп, как головку сыра.

Мы подбежали, но было поздно. Обе половины собачьей го-
ловы, казалось, умирали по отдельности. Но обе, жмурясь в послед-
ний раз, не отрывали глаз от недоеденной лепешки».

Обращаясь в эпиграфе к своему собеседнику, Иоселиани со-
глашается, что да, Грузия войны не видела и немецкого самолета
она не видела тоже.

Грузинский критик Джансуг Гвинджалия — в предисловии к
роману — сообщает, что «трехмиллионная грузинская нация послала
на фронт семьсот тысяч человек и из этих семисот тысяч вернулась
едва ли не половина».

Сам Иоселиани этот счет не ведет, потерь не подсчитывает.
Уходит он от полемики? Нет. Но он не берется сравнивать. Он чув-
ствует, что опыт его тылового детства может открыть ему что-то
в войне, что не решается сопоставлениями.

Писатель верен возрасту своего героя. Верность детству, на-
ходящемуся на пороге повзросления, не педалируется, не эстетизи-
руется ностальгией. Он не описывает детство, он пребывает в нем,
в этом состоянии, которое прежде всего воздух повести, а уж по-
том ее сюжет. Горькие слова о том, что война лишила героя дет-
ства, что в детстве у меня не было детства, пожалуй что, тут не-
применимы. Детство тут неистребимо, несмотря на то, что мальчик
в 16 лет становится отцом.

Еще ничего не зная о том, какой положено быть природе ве-
щей, он уже ломает ее. Безотцовщина, голод, непосильный труд
приспосабливают его к себе. Они уже из него не уйдут и могут стать
мерой вещей, приучат к себе. Что бы ни происходило, ужаса нет.
Чтобы ужаснуться, надо вжиться в нормы. Но мальчик настолько
доверчив, что все, что жизнь вываливает перед ним, выговарива-
ется им как само собой разумеющееся. Он слишком благороден и
благодушен, чтобы горе, беда как следствие творимого войной зла
могли замутить или расколоть его чистоту. Он восприимчив, отзыв-
чив, необычайно деятелен, предприимчив в добре, любая прореха

и рана, которую война наносит его близким (семье и друзьям), тут же отзывается в нем поступком. Его сопротивляемость — в таланте восстановления, регенерации. Как материя не терпит пустоты, так этот мальчик не терпит урона, наносимого ближним. Он не столько страдает, сколько действует. Точнее говоря, его способность к страданию моментально оборачивается энергией, устремленной на облегчение или устранение беды, посильное для него.

Роман разворачивается как поединок между этой способностью к восстановлению и наступательностью разрушения. Мальчик все время латает — храбро и великодушно. Что бы ни происходило, он не допускает себя до омраченности: он не боится или сторонится боли, инстинктивно страшась привыкания, которое за этой болью может последовать. Он не допускает себя привыкнуть ни к злу, ни к смерти. Детство выступает в романе как невероятно животворящая сила. Но как нет в романе ужаса перед бедой, так нет и упоения этой животворностью. Ни из чего не извлекается ни тема, ни пафос — даже из стихийной рыцарственности мальчика, растаптываемой войной.

Лишь потому, что мальчик остался верен себе — своей доверчивости, своему чувству долга и мальчишеской покровительственности, которая не позволила ему в разразившейся грозе убежать от Пати к ребятам, он опутан молодой женщиной. Детство смято, истреблено в момент упоения им, на бегу, в веселой ярости начинавшейся грозы. Он связан в грех оттого, что совершенно не причастен ему. Это — внезапное нападение, хотя не фашистской пулей прекращено это детство.

Герои Иоселиани не находятся в зоне огня. Но для писателя эта зона бесконечно расширена, и дна ее тоже не видно. Из нее не выбежишь и внутри ее не укроешься. Пуля старого Эзики, порешившая овдовевшую невестку, едва она родила, — пуля этой войны. Здесь управление дистанционно.

Чем проще, естественней, постижимей события, происходящие с героями, тем явственней тот неожиданный росчерк, который они вдруг прочерчивают. И внутри каждого эпизода, и в общем рисунке сюжета происходит этот зигзаг, то более, то менее очевидный. Следствия здесь куда внезапнее своих причин. Они прорываются в иную плоскость, чем предшествующая им цепочка причин.

Лишь когда ушли на фронт хозяева, становится видно, каким множеством усилий, не заметных в своей повседневной монотонности, поддерживалось и сохранялось течение деревенской жизни. Едва только во двор — после проводов отца на войну — входит тринадцатилетний мальчик, ставший хозяином, начинается движение распада, несмотря на все усилия Гогиты сохранить все, как было при отце. И здесь бытописательский дар Иоселиани разворачивается неу-

меряемо и неспешно. Кажется, даже слишком неспешно. Как запрягаются быки, как мальчик воюет с плугом, прокладывая первую самостоятельную борозду, как подковываются быки,— все это очень подробно, изобильно; знание наслаждается возможностью себя выказывать, но что это знание может оказаться ненужным, что оно может встать вместе с обветшанием хозяйства — тоже ощутимо в этих сценах крестьянского труда, переложенного па тринадцатилетних мальчишек. Иоселлани чуток к канунам. Назревание перемен в недрах, казалось бы, неподвижных основ, освященных и цементируемых привычкою поколений,— на этом сосредоточено, этим питается его художественное сознание. Сочетание основательности и легкости в его письме выражает отягощенность традицией, вполне кровной, ценимой, бесконечно желанной, со способностью от нее оторваться, с порывом к выбросу из нее.

Детство для этого — благодатное состояние. Детство Гогиты особенно, потому что этот мальчик чистосердечно и самозабвенно взваливает на себя ярмо всех отцовских забот, но под это ярмо не загнать ликование детства, в котором беды, тяготы, голод обретают вдруг невесомость.

Догонит или не догонит его, раздавит или нет эта наливающаяся тяжесть войны? «Нет,— думаю я про себя. — Эзика что-то путает. Как может война добраться до нас, когда здесь топь и все заливают водой. Там, где война, наверное, не бывает столько воды, она не бьет из земли, как только копнешь. Нет, здесь никак нельзя воевать. Бабушка не может долго стоять, а куда ей сесть? В воду? И Заза простудится. Здесь не может быть войны. Нет. Верно, Эзика ошибается». Это ребята по наущению соседа решают рыть во дворе убежище от приближающихся немцев.

Въевшись в реальные заботы, Гогита не даст им въесться в себя. Он изгоняет из себя, вернее даже не допускает в себя, замороженность делом и дух безысходности; его собственная душа — прибежище жизни и жизнедеятельности. Рухли стены и своды этого убежища — откуда тогда брать мальчику силы всех поддерживать и все латать?

Пати входит в роман исподволь, но уже с первых его страниц. Она подкрадывается к Гогите совершенно незаметно для читателя, для Гогиты и для себя самой. Детство растоптано совсем не с той стороны, откуда это можно было ожидать. Не голодом, не подрывным трудом, не сиротством. Взрывная волна войны уходит в глубь земли и оттуда уже достает героя. С тем, что на поверхности, он — в меру сил и выпавших на его долю испытаний — справиться может. Но тут он бессилен. Кажется, что в основах самой жизни что-то сместилось, отчего Гогита оказался во власти Пати, отчего из старушечьих сосков стало сочиться молоко и глаз на разрубленной

собачьей морде, прежде чем потухнуть, зорко глядит на кусок кукурузной лепешки. Нарушение естества — это вспыхивающие кульминации в ровном и светлом, несмотря на все беды, течении романа. В самом Гогите этот свет так и не гаснет — может быть, потому, что детство в нем продолжает держать жесткую оборону.

«Звездопад» — это о состоянии жизни, замороженной постоянным и неукоснительным ощущением близящегося конца; и уже не важно, своего, личного или своих близких. Жизнь на грани смерти, жизнь на грани самоотрицания. Смерть может не быть, но длительное существование в ожидании ее неминуемости, в сфере ее влияния, в сфере ее присутствия уже есть умирание. Симптомы жизни, не находящей естественного, положенного ей выражения, оказываются симптомами истребления. Плоть жизни взывает о своем сохранении.

Но на прежнем ли витке? В пределах прежнего ли состояния? Фраза: «Я стал отцом единственного ребенка, родившегося за четыре года в нашем селе» — двоична. Все же родился, но отцу — 16 лет. Это последний шанс жизни себя сохранить. Жизнь должна пойти уже другими путями после того, как побывала на этом краю.

Кто-то из отцов, конечно, вернется. Подрастут дети убитых, у убитых появятся внуки. Селение не исчезнет и будет еще процветать. Но для писателя то, что случилось однажды с его деревенькой, останется не рубежом, который уже позади, хотя и сохранился в памяти чрезвычайно живым, — то, что он понял войну и через нее — для него лишь начало открытия мира.

В замедленности многих его сюжетов таится обостренный историзм. Кажется, что художественно выразить динамику недр, их невидимых глазу подвижек трудно, едва ли и выполнимо в средствах реалистической прозы. Но проза жизни хочет себя осознать в присущих ей представлениях, в присущем ей языке. Она достаточно представительна и полна проявлений — способно ли наше сознание напрячься достаточно, чтобы их расшифровать? А они хотят быть расшифрованными, взывают к этой работе. Наитие здесь неизбежно, необходимо и, как всегда, празднично. Но главное все же — работа. Работа мельничных жерновов, сквозной образ творчества Иоселиани — образ отчасти исповедальный и метафоричный.

...Роман «Жила-была женщина» нескрываяемо рожден под сенью толстовского романа. Полон прямых и косвенных аналогий с ним. Обнаруживать эти аналогии так же, как и отрицать их, — занятие нетрудоемкое. Игра параллелями опустошила бы живую суть авторской дерзости, ибо надо быть слишком нечестнолюбивым, чтобы так откровенно пойти на риск прямой аналогии, и слишком ну-

ждаться в ней, чтобы бестрепетно пасть в ее жернова. Здесь не наивность, здесь — нужда.

Для современной героини нарушение семейных догм — не так уж безысходно и катастрофично. Статус нынешней жизни снимает с этой коллизии часть напряжения, упрощает, облегчает ее, пусть даже речь идет о провинциальном грузинском городке на рубеже пятидесятых — шестидесятых годов, который еще не успел усвоить общих веяний. Консерватизм его быта еще счастливо прочен, не уязвлен еще, не распылен. традиция здесь не омертвела, не стала формальной — ни в бытоустройстве, ни даже в нравах.

Семью, дом, двор Иоселиани пишет свободно, в щедрых деталях, но не застя ими свой взор. То, что для него наиболее важно и ново, бросается им как бы походя. Щедрые краски жанровой живописи он оставляет тому, что уже познано им и от чего он уходит. В сознании самой Маки Лежава эти краски еще более плотны, сочны, покойны именно потому, что им больше в ней не царить. Их сладкая власть уже не вяжет ее. Как у Гогиты из «Звездопада», ее деятельная, любящая натура устремлена на то, чтобы восстанавливать на обозреваемых ею площадях тот мир, покой, достоинство и достаток, неприхотливый, но честный, устойчивый, какие царят в ее собственном доме. В первой части романа она налаживает, связывает, мирит, восстанавливает, лечит физические и душевные раны у своих ближних.

С тщательной постепенностью написаны ступени страсти, овладевающей Макой Лежава. Планомерный расчет Джумбера Тхавадзе, который положил жизнь, чтобы добиться Маки, хладнокровен лишь потому, что не знает других целей, кроме Маки. Все цели личной карьеры и преуспевания для него побочны, периферийны, продиктованы главной целью и ею оправданы. Чтобы добиться ее, он должен быть выдержан и хладнокровен. В перипетиях этой охоты на всех ступенях тщетных выжиданий и осуществленных удач есть поэзия, упоение, но и мелодрама, от которой не ускользает герой, не спасен и автор. Можно, правда, сказать, что Джумбер Тхавадзе в какой-то мере и обречен на мелодраму. В руках человека, поднявшегося со дна жизни, мелодрама даже оружие. Дистанция между автором и героем не всегда соблюдается в этой гонке. Писатель как бы забывает, что Маку Лежава преследует Джумбер Тхавадзе, а не он сам. Трещины в нравственном мироощущении героев — это и погрешности вкуса. Этот грех и эти погрешности могут казаться несопоставимыми, но все же они близкой породы — это особенно чувствуешь, когда читаешь одну из последних и одну из лучших вещей Иоселиани — новеллу «Тур-вожак», произведение высокого и свободного вкуса.

Растущее отвращение Маки к Тхавадзе, ею самой нагнетаемое,

трудно трактовать как чувство вины перед ближними, усугубленное сознанием, что она разрушает все, что до того было ею по-строено, слажено, сцементировано. И не страх огласки и рухнувшей репутации гонит ее на край обрыва, к автомобильной катастрофе, ею самой спровоцированной. Она не столько кончает самоубийством, сколько вынуждает обстоятельства с нею покончить. Чужедальнюю корысть бескорыстного служения Джумбера ей она прозревает все дальновидней, сосредоточенно фиксируя все признаки его охлаждения и небрежения ею. Но всякий раз эти придуманные признаки опровергаются им походя, ненамеренно и поэтому кажутся уже вовсе вздорными.

«...Ливень неожиданно прекратился, и в замкнутое, отгороженное от всего сознание Маки вдруг проник лопочущий, как Джумбер над ухом, говор ручья в овраге». К откосу, на дно, теперь ее и потянет. Это тяготение к гибели, когда, проникнув в задренное сознание, живое лопотание ручья не пробуждает к жизни, а ориентирует, где лучше с жизнью кончать, написано Иоселиани как сила, не подчиненная произволу его героини. «Замкнутое, отгороженное от всего» сознание Маки открыто приятию этой силы. Оно замкнулось, отгородилось от житейских забот, от чувства вины, от страха и страхов и даже от психологических доводов и мотивов, чтобы свободно покориться зову, говору и приговору своей натуры. Судьба повелевала ею через ее же натуру. Вот это состояние, когда подчинение неотлично от свободы, Иоселиани и сумел — поэтически — узнать и выразить в финале романа. Здесь он пластичен, его ощущения вещественны. Вместе со своей героиней он освобождается от невыраженности. Как Маку уносит от нелегкого, но доступного ее власти, ее любовным заботам быта и бытоустройства, так и он отодвигается от доступных соблазнов жанровой живописи. Как Мака выбирается из-под власти поработившей ее страсти, так и он, как обнаруживается, не сводит себя к остросюжетным и чувственным, при всей целомудренности письма, перипетиям их отношений. Его тянет и тянет за пределы этой гонки и этой близости, к тем силовым линиям, точнее, к тем силовым потокам, которые эту страсть вызвали и ею повелевали. Белые бетонные столбики, отгораживающие горное шоссе от откоса, сливаются при бешеной скорости, с какой мчит светло-коричневую «Победу» подгоняемый Макой Джумбер, в белую нить, в белую веревку. «Кто-то упорно раскачивал ее, кому-то очень нравилось это развлечение, и он подкладывал эту веревку к самым колесам, но не хотел, чтобы машина порвала ее, и одергивал в последнее мгновение». А Мака чувствует, что надо проехать по ней за бетонные столбики. Эти столбики и эту белую нить писатель в финале, когда «Победа» заскользила, не вспоминает, хотя, казалось бы, было кстати. Он не возводит ее в мета-

фору, не закольцовывает сюжетно. Естественная логика текущего мгновения сама наливается смыслом, который ей сейчас отпущен.

Страсть здесь, однако, не причина, а следствие. К истокам ее Мака и рвется пробиться сквозь дурман и просветления чувства. Образ чесоточного оборванца, каким был Джумбер в школе, еще в те годы любивший ее, вызывая в ней одно лишь отвращение, чем ближе к концу, тем явственней оттесняет реального Джумбера, элегантного, преуспевающего в жизни и покорного Маке. Тот, прошлый образ для нее истинней, с ним она соотносит все происшедшее. Физическая омерзительность тогдашнего Тхавадзе, его корчи слишком, пожалуй что, акцентированы. Резкость внешнего и внутреннего преобразования, которого Тхавадзе добился сам от себя и сам для себя, не нуждается в столь плоском контрасте, как ни активен этот контраст в сознании Маки и в сознании самого Джумбера.

Однако это совсем не тот случай, когда пастух завоевал принцессу.

Оба они—дети войны, младшие односельчане тринадцатилетних героев «Звездопада». Возвращение с войны Симона, отца Маки, одна из лучших сцен романа, где чистота авторской интонации и богатство ее не мешают друг другу. «Маке бросилась в глаза его теплая шапка, никогда прежде не виденная ушанка. Шинель на прищельце была такая выгоревшая, ошметанная и бесформенная, что Мака не сразу заметила на ней погоны. Моросил дождь. Намокшие уши ушанки обвисли, и тесемки на них не шелохнулись». У отца в позвоночнике застрял осколок мины, одной руки не было, пальцы ног отморожены. О войне он не рассказывал. А маленькая Мака ждала героя и повествований о подвигах. Оттого, что реальность оказалась другой, она в своих фантазиях не разочаровалась, не сочла их бреднями, не отменила их—она продолжала считать отца героем и подобно Гогите в «Звездопаде» обрекла себя на недетский труд, чтобы восстановить бабушкин дом и род. Точно так же, выйдя замуж, она будет кропотливо созидать свой собственный дом.

Джумбер, который все это разрушил, методично рассчитав свой удар, а думал—любовь, был безотцовщиной. Отец сложил голову где-то в Карпатах. Мать—дочь священника—к жизни не была ни приспособлена, ни притерта. Он был брошен голым на голую землю, чтобы подняться с нее выскочкой и босяком и остаться таковым даже тогда, когда прямые и косвенные программы были осуществлены и он готов уже был любить всех и менять средства. Жертвенная любовь к прекрасной даме этим босяцким страстям дала форму, возвысив их в собственных глазах и дав индульгенцию средствам, которыми он ее завоевывал. Ко времени их новой встречи Джумбер слишком благополучен, чтобы житейское благополу-

чие Маки могло его дразнить. Страсть к этому времени, казалось бы, очищена от всех соблазнов, кроме правды неподдельного чувства. Тем не менее Мака, а вместе с нею и автор романа, настойчиво возвращается к истокам этого чувства, к первоначальному толчку, ощущая неисчерпанность той злокачественной энергии, которой этот толчок был рожден и импульсы которой проникали даже в жертвеннические порывы Тхавадзе, всегда и во всем делая из него игрока. Он поработен собственным завоевательством, расплавлен собственной энергией и уже не может не разрушать то, что им завоевано. Белые столбики, выгораживающие в ущелье ленту шоссе, фиксируются его сознанием прежде, чем сознанием Маки. «Тхавадзе знал, что он должен ехать медленно, но медленно не получалось. Сейчас он не мог ошибиться, хотя каждую минуту ждал чего-то: то заклинит руль, сорвется колесо с оси или с придорожной скалы свалится валун... Столько нужно опасаться, когда так хочется жить. ...Во всем, даже в поворотах руля чувствовалась настоящая радость. Рука его лежала на желтоватой пластмассовой баранке так, словно он ласкал ее, сжимал бережно, почти нежно и улыбался встречным машинам, красноватым глинистым склонам разрезанной горы по обе стороны новой дороги, белым столбикам вдоль обочины».

Ощущение Маки, что она тяжела земле, в атмосфере романа присутствует вещественной, наливающейся тяжестью, сладить с которой не в силах ни героиня, ни автор. Естественность, с которой это ощущение возникает и нарастает, неподдельна, произвольна и совершенно не сводима к обозначенным истокам и следствиям. Здесь момент истины. Поэтической истины. То сбалансированное равновесие, которое было сутью натуры Маки даже в ранние детские годы и которого она неудержимо всегда добивалась, здесь ею обретается в гибели. Поэтому так легок, почти беспечален самый финал романа. Вернее, печаль здесь и вправду легка.

В драматургии Иоселиани эта независимость героя от подвернувшихся ему обстоятельств отстаивает себя всегда с усмешкой. Тут герой Иоселиани смеется, даже когда ему не до смеха, а если уж и смеяться нельзя, то он помирает, этим снова воссоздавая комедийную ситуацию, потому что когда семидесятисемилетний Агабо Богверадзе расстается с жизнью в момент рождения собственного сына, посрамляя тем самым своих бездетных старших детей, процветающих и всесильных, то эта смерть воспринимается как очередной трюк старика. Всего за несколько часов до внезапной смерти Агабо говорит: «Смеется тот, кто... остается в живых... Мертвые не смеются. Во всяком случае я что-то не слыхал». Но он посмеялся.

Все три пьесы Иоселиани (комедия «Шесть старых дев и один

мужчина» и диалогия «Пока арба не перевернулась» и «Арба перевернулась, или Спустя десять лет») — это история нашествий, победно отбиваемых героем пьесы. Мирная житейская ситуация разворачивается как агрессия. Противостоящий агрессии герой — истинный воин, и чем меньше тут воинских атрибутов, тем очевидней его работорчество. В своем крестьянском герое Иоселиани видит доблесть легендарного уровня. Когда эта доблесть выражает себя в тривиальной житейской коллизии, она выглядит комедийно. Наслаждаясь этой комедийностью, давая ей волю и произвол, писатель чувствует, что смех этот в любую минуту может оборваться и наступит похмелье. Граница смеха все время видна в его пьесах: вот здесь смешно, а здесь уже не до смеха. В этом пограничном контуре смеха, извилистом, подвижном, изменчивом, есть тревожность, если не страх.

Шесть молодых дам, свободных, ироничных, отрезвленных жизнью и находящих в этой трезвости свое достоинство, снимают на две недели в горной зимней деревушке — чтоб покататься на лыжах — у вдовца с ребенком убогую компаньенку. В комедии действующих лиц ровно столько, сколько обозначено в названии, — шесть дачниц и хозяин Митуа. В диалогии немногим больше. А кажется, что это полчища и воин — один в поле. Противоборство Митуа, ощущающего одиночество не как свободу, а как наказание и грех, против шести дачниц, которых он шокирует и раскалывает, выдрав из их обложной обороны одну себе в жены, разворачивается как напряженное сопротивление.

Так же, как Митуа, Агабо Богверадзе остро чувствует насилие там, где никто его не подозревает. В способности немелочно осознать и четко для себя сформулировать момент, когда тебя взяли за горло, — начало этой драматургии. Силы обоих — и Митуа, и Агабо — питаются предчувствием, что идет покушение на самую жизнь, что кто-то призвал их защищать основы жизни. В этой абстракции они свободно плавают, потому что слишком уж очевиден вздор, который им хотят всучить вместо жизни.

История Агабо Богверадзе поначалу разворачивается как известный сюжет посещения деревенского родителя городскими детьми. Справедливо уверенный, что детей может собрать лишь известие о несчастье, Агабо посылает им телеграмму о своей смерти. Спустя десять лет — уже во второй пьесе — сыновей с невестками загонит под отчий кров опасная новость, что овдовевший отец женился. Этот кров они хотят сохранить для себя как дачу. На сцене возникает амбар. В первой пьесе Агабо загоняет туда своего младшего сына Бухути вместе с Цаго, дочкой соседа. Для старика это последняя надежда удержать хоть хвостик рода в деревне. Но Бухути благополучно умыкает Цаго в город и спустя десять лет, она уже

врач и он — агроном, участвует в облаве на старика, предпринятой старшими братьями. Амбар снова возникает на сцене как цитадель жизни. Но теперь Агабо загоняет туда свою новую жену Тасю, которой предстоит разрешиться от бремени, а разъяренные и просвещенные невестки и сыновья хотят роды прервать, чтобы не появился на свет наследник и конкурент. В финале Цаго предстоит диагностировать — «это крик нормально развитого, здорового младенца, Бухути», а соседу Карпе — удостоверить смерть своего друга Агабо.

Воинский дух пронизывает пьесу — и это не претензия на высокую мифологию. У Агабо психология защитника — сначала земли и угодий родной деревеньки, потом жизни вообще. По мере движения драмы он все глубже и шире истолковывает свой конфликт с сыновьями, оценивая свою роль и позицию в нем как призвание. «Наши крепости,— говорит он Карпе,— всегда были неприступными, да частенько взламывались изнутри. Но от этого их не переставали строить. Положи и ты свой камень в стену».

«В Грузии было больше пятисот сортов винограда. Но, кроме кахетинского ркацитли и саперави, картлинского чинебули и западных цолнкаури и ццки, все сорта пережабыты, перевелись»,— сокращается Агабо. Упрощение жизни он ощущает как ее истечение. Так же он смотрит и на историю своей семьи, считая благополучие, которым кичатся невестки и сыновья, паденьем и прахом. Его сознание устремлено на созидание и на плодородие, на восстановление сил жизни как таковых. «Твоему отцу Иорданэ,— толкует он Цаго,— на ногах стоять трудно, так он сколотил повыше стул и сидит, холит свою аладастурскую лозу».

В голове у него своя экономика и свой баланс, а отсюда очень конкретное представление о своем месте в той иерархии ценностей, о которой у сыновей представление паразитарное. «...Государство не может создать пятьсот убыточных совхозов,— объясняет Агабо сыну.— Вот и приходится мне, Иорданэ и таким, как мы, хоть ползком, хоть на стульях спасать вымирающие сорта». Он вспоминает крестника своего отца Эзекию Каросанидзе. Когда деревня Эзекии с гор переселялась в долину, Эзекиа, проезжая мимо двора Агабо, крикнул: «Агабо Богверадзе! Заклинаю тебя памятью моего крестного, в горах возле моего дома пасека осталась — пять ульев — присмотри за ними! Ничего у тебя не прошу, только улья сбереги!»

«Грузинская пчела — чемпион мира,— самодовольно подтверждают информированные и ученые братья.— Пчела высший сорт. Прима». «Давай свезем их с гор в долину. И все дела»,— оператив-

но решает один из сыновей Агабо. Те пять ульев и меда и воска в три раза больше дают, а пчелы, которых переселили в долину, смешались с турецкими и персидскими,— объясняет отец. «Перед смертью Эзекиа письмо мне прислал: «Агабо, заклинаю тебя, склоти возле моих ульев хижину и сохрани этот дар божий! Не бери греха на душу перед детьми и потомством...» Но у Агабо уже нет сил подняться в горы, он с трудом взбирается на лестницу, чтобы повесить замок на дверь амбара, где рождает Тася.

В горах на большой высоте, где пространство обнажает свои параметры, где — сушь, стужа, обледеленные вертикали скал и выветренные стены ущелий, происходит действие сванских новелл Иоселиани. Кажется, что жанр и место тесно обусловили друг друга, вырабатывая свою топологию. Граница физического существования здесь вполне зрима, и соблазн свободного умозрения слишком доступен. Там, где пределы физической выносливости обозначены жестко, возникает потребность понять, насколько в возможностях духа сломать власть этих пределов над жизнью, насколько вообще остерегается жизнь к этим пределам приблизиться.

От притчи сванская новелла Иоселиани отличается, кажется, тем, что она хоть и скуп, но оснащена житейскими мотивировками, бытовыми и психологическими; житейский обиход, если в действие включен человек, здесь конкретен и колоритен. Но отличие это вовсе не главное. Сванская новелла Иоселиани прежде всего исторична. Я имею в виду не то, что на ней лежит печать времени и печать авторского мироощущения, очень современного и в своей традиционности, и в своей самобытности. Я хочу сказать о том, чем занят писатель, что толкает его к исследованию, заставляя все время оборачиваться к источнику этого толчка, делая самый этот источник предметом внимания.

В сванских новеллах природа — пейзаж это или животное, флора или фауна — является полномочным действующим лицом, сюжетная власть которого безраздельна и несокрушима, даже когда природа — протагонист сванской новеллы — попадает в катастрофическую для себя ситуацию. Обнаженность повеллистической интриги порождена тем, что писатель остро ощущает у природы право на историю. Природное начало для Иоселиани не статично, не косно в своей вековечности, а подвижно и поступательно. Изначальность, извечность природных страстей и мотивов в его новеллах склонна разворачиваться во времени, меняя не только костюм и грим, но свое существо. Моменты изменения этого существа и подстерегает писатель.

Сванская новелла — это жанр, к которому писатель обращает-

ся не часто, но постоянно, почти в каждое десятилетие. Освобождая от сладкой пестроты житейских подробностей, оставляя право лишь на скупые реалии, она позволяет исследовать взаимосвязь человека с природой, природу вне человека и в нем самом, в конкретности и в совокупности их движения от эпохи к эпохе. «Дыхание земной коры» — мерное, но имеет свою динамику. Писатель хочет сюжетно совместить суточный рацион со всемирным. Хочет услышать работу тех жерновов, которыми движет большое время. Много зная о том, как производится эта работа там, где течет проза жизни, уже поняв, что механизм этой работы, налаженный и утвержденный многовековым крестьянским опытом, тем не менее вполне тленен, он опасается, что и в тех недоступных деревенской практике жерновах что-то разладится. Это — говоря фигурально.

В повести казахского писателя Э. Аббасова «Засуха» есть чабан, который ранней весной — еще снег кругом — по току собственной крови чувствует приближение страшной суши. Поэтическое чувство Иоселиани устремлено к ритмам и токам, которые, пронизывая нынешнюю повседневность, уже несут ее в будущее. Безмятежная мальчишеская игра в чижа, начиная и завершая «Звездопад», кажется поначалу лишь бесхитростным контрастом к четырем военным годам. Но в самой этой игре, в состоянии маленьких игроков уже смоделировано лихолетье.

Сцена первой близости Мамуки и Теклы в романе «Черная и голубая река» с ее звоном и чувственностью вся — в бликах надвигающейся тьмы. Ее просветленность отфильтрована этой тьмой.

Что Иоселиани тянет в зону контакта, в зону смешания, в зону диффузии — в сванских новеллах особенно ощутимо.

Роман «В плену у пленников» — по внутреннему жанру, несмотря на объем, является, на мой взгляд, звоном в цикле сванских новелл. Его действие происходит среди скалистых вершин Верхней Сванетии. К немецким десантникам, разместившимся в двух небольших пещерах, защищенных отвесно вздымающимися скалами, попадают в плен две горянки, которых пытаются выволить из плена их юные односельчане. В ущелье, где «обзор был тесен и замкнут, как у брошенной в котел рыбы», разворачивается сюжет этого двоящегося и троящегося пленения. Горянки в плену у немцев, немцы в плену у горцев. Коллизия эта кажется условной, несколько самоигральной, несмотря на то, что выхвачена она из вполне реальных событий. Каждый неверный шаг, намеренно или случайно сделанный горцами или немцами, тройным рикошетом отзывается на немцах, на девушках и на ребятах, которые держат на мушке выход из

пещер. Зависимость друг от друга так уплотняется и напрягается, что почти уже любое движение оказывается гибельным для обеих сторон. Драматизм этого напряжения, тяготящегося своей неразрешимостью едва ли не больше, чем страхом смерти, рождает художественность. В художественности он разрешается раньше, чем событийно. Условность ситуации, условность предполагаемой психологии немцев и горцев взламывается, как скорлупа. Как ни внезапны и заманчивы зигзаги сюжета, как ни тщателен автор в подборе психологических мотивировок, нерв художественности существует будто сам по себе, вне этих усилий.

Позже в романе «Черная и голубая река» тема немотствования, безъязыкости, тема поиска языка самоосуществления прозвучит очень остро и актуально для самого автора, окажется коренной в трактовке событий.

Сванский цикл — это лирика Иоселиани и его полигон. Он освобождает себя от плоти той жизни, которой эта лирика порождена, уходя в горы, чтобы потом вернуться к труду большого реалистического романа. Движение мысли от новеллы «Тур-вожак» к «Охотнику» так непрерывно, что они кажутся главами одного произведения, а разделяют их семь лет.

Тур и охотник в новелле «Охотник» сведены в ситуацию, когда под ударом оказывается не только жизнь, но те представления о себе, на которых эта жизнь стоит и которые сформированы и выверены поколениями. Сосредоточенность на противостоянии друг другу настолько связывает тура и охотника, что силы притяжения поглощают силы, отпущенные на отталкивание. Стенки антитезы настолько истончаются, что уже не могут удержать антагонистов от пронизанности друг другом. В своем противостоянии тур и охотник оказываются ближе друг к другу, чем к той жизни, от которой оба они удалились, чтобы добиться последней победы одного над другим.

Лучший из туров и лучший из охотников тратят свое совершенство на то, чтобы утвердить свою несравненность. Каждая из новелл по существу — монолог. Традиционный сюжет завоевания первенства в стаде («Тур-вожак») лишь в первой половине новеллы разворачивается у Иоселиани как борьба исключительно за самого себя. Но, возмужав, Белолобый бьется уже за потомка, которого носит в своей крови. Мало того, что потомку надо появиться на свет — он должен быть так же высокороден, как сам Белолобый. Любовь, жажда первенства, инстинкт продолжения рода у Белолобого переплавлены в импульс творчества и созидания, им поглощены и не то чтобы обесценены, а поставлены на свое место и никак не замыкаются сами в себе. Пять заветных высокогорных ульев Эзике Каросанидзе

для Агабо Богверадзе остались неосуществленной программой, которая, однако, оказала влияние на его жизнь — может быть, тем больше, что он не мог ее осуществить. Исподволь этот погибший высокогорный мед питал его мысль.

«Для начала Белолобый схватился со своим ровесником — крепконогим и ловким туром. В какое-то мгновение, когда, загнав соперника к отвесному обрыву, он мог одним, даже не очень сильным ударом сбросить того со скалы, вдруг возмущился потомок в крови Белолобого — потомок, жаждущий честного рождения, и заставил отца отступить. Белолобый дал Быстроногому перевести дух и разогнаться».

«Белолобый лег на том самом месте, где он победил последнего противника, и осторожно положил больной рог на камень. Он прилег, и потомок в его крови притих, дожидаясь — ему не хотелось унаследовать усталость и боль отца».

«Никогда он не был так осторожен и чуток, никогда так не любил жизнь и не верил в бессмертие, как в эти семь дней... Он поднимался все выше и выше и вел туриц в нехоженые высоты, дабы потомок унаследовал и силу, и отвагу, и волю. Он предчувствовал, что с треснувшим рогом ему не завоевать на следующий год право продления рода, и всю горную силу и солнце, что накопились в нем за четыре года, надо передать потомкам сейчас, в эти дни».

«Если заметит, что мне не по себе, пожалест, и потомки уродятся жалкими». Вожак прошел мимо Рваного Уха, даже не взглянув на него. Страх он не чувствовал, ибо не имел права на страх».

Белолобый созидает жизнь, даже когда заливается кровью. Теряя кровь, он понимает, что с нею уходит мощь и твердость духа, унаследованные от отца и укрепленные Белолобым, — с чем же потомок останется? Он держит себя под неусыпным контролем, потому что те высокие начала, которые он носит в себе, по его представлению, есть костяк жизни — его-то и надо заслать дальше. Если у Белолобого и есть инстинкт самосохранения, то это инстинкт сохранения высоких начал, высокого качества.

Монолог Белолобого — бессловесен. Это немолчащая деятельность, ее красноречие — в тонких реакциях на опасность; в бесчестном преимуществе или победе Белолобый всякий раз чувствует угрозу для жизни. Он охраняет жизнь от соперника и зорко — от себя самого, от собственного духа, если он вдруг ослабнет. Поэзия новеллы — в тонкой и яростной живописности, в том, как эти два стиля смирят друг друга.

Монолог охотника, при том, что он — внутренний, искусно красноречив, последователен в своем прихотливом движении и прихотливой аргументации. Промерзая на склоне гребня, куда не взбирался еще ни один из охотников, охотник Джобе сурово и сухо логичен. В этой сухости и суровости Джобе только лишь мерещится обнаженная правда — истина истощается, омертвляется в его антиномиях. «Я ли тебя загнал на этот выступ, ты ли заманил меня сюда?» — вопрошает тура охотник. «Если бы тебя было легко достать, то давным-давно перестал бы существовать ты — тур и весь твой турий род, и тогда не было бы ни тебя — тура, ни меня — охотника... И нет врага злее и друга ближе — чем мы с тобой».

Они тоже друг у друга в плену. Но, как и Белолобому, охотнику нужна лишь честная победа. Так же, как и Вожак, он зорко следит за тем, чтобы в его победе не было подтасовки и неправого преимущества. «...Не подумай, что я сижу здесь и дожидаясь твоего промаха. Боже сохрани! Нет, я обязан превзойти тебя умом и ловкостью. Ты сам знаешь, что сюда ни растяпа, ни проныра охотиться не полезет». «В нашей кровной вражде и есть наше спасение». И через две строчки: «Я еще туров у соленого родника не подкарауливал. Что поделаешь... Я в жаждущего стрелять не стану, не в моих это правилах. И голодному я не подсыплю яда».

Но почему понадобилось ему оправдываться? Потому что, цепляясь за осыпающуюся вертикаль скалы, на которую он взобрался в погоне за туром, охотник телом чувствует, как в этой ситуации зарождается оползень исконного кодекса горца и рыцаря. Прежде чем спохватиться и начать оправдываться, он говорит: «Ближе тебя на этой вершине, упирающейся в небо, у меня никого нет. Мороз вот-вот приймет меня до костей, и лишь беседа с тобой поможет скоротать ночь. А утром? Утро вечера мудренее, может, мне удастся взобраться повыше или оступиться ты».

Все-таки он ждет промаха...

Без промаха, без случайности выхода нет. Ведь и прежнего Джобе, дядю охотника, сбросил в пропасть неистовый ураган, а не тур, которого Джобе загнал на вершину. Тот был, видимо, предок этого тура. Совершенство соперников уже тогда было уязвлено вмешательством случая. Их противоположность друг другу уже перестала их совершенствовать. Антитеза доведена до предела, за которым ей нечем питаться, и нужен случай — ураган, осыпь, еще что-нибудь, — чтобы ее разрешить. Или промах.

Но промах был допущен охотником, хотя тур погиб. И погиб от его пули. Тур сам бросился в пропасть, и в этом последнем смертном прыжке Джобе его и подстрелил. Тур хотел умереть, как умирают все туры, когда приходит их час. Они умирают не в логове, а в прыжке, разогнавшись, «и только щебень и камень несутся за ним, и земля для твоей могилы».

Выстрел Джобе был бесчестным. Это был смертельный для тура и роковой для Джобе нравственный промах. Он не стрелял в туров на водопое. Он брезглив к птицеловам, этим лихим уса-чам, охотящимся на перепелов, но он не побрезговал выстрелить в гибнущего.

Он зорко следил за собой, чтоб не нарушить кодекс охотничьей горской чести. Но эту зоркость и понадобилось мобилизовать потому, что нравственность была на пределе. Он успел удержать себя, чтобы не подколоть вслух соперника в любви. Но здесь не успел удержаться — и выстрелил.

Противостояние тура и Джобе перестало их совершенствовать. Оно стало их истреблять.

Крайняя ситуация оказывается истребительной именно в силу того, что она крайняя. Иоселиани не поэтизирует ее как высший критерий, последнее прибежище истины, когда каждый обнаруживает, кто он есть, и это последний ему приговор.

У Иоселиани эта ситуация исследуется в движении, в катастрофе ее истощенности. Существование «на пределе» оказывается у него истребительным если не физически, то нравственно. Сосредоточенность на противостоянии опустошительна сама по себе и потому гибельна. Противостояние истощает себя в собственной сосредоточенности. Созиданию места не остается. Не случайно тот, прежний Джобе погиб, не оставив детей. Нынешний Джобе, герой новеллы, — не сын прежнего, а племянник, боковая ветвь, искренне хочет быть наследником славы и духа старшего Джобе. Победа над туром нужна ему, чтобы эту славу и дух поддержать. Он даже уговаривает тура сдаться ради поддержания высокой легенды. «Так что победить тебя — вовсе не значит тебя убить. Ты заживешь во мне честной и славной жизнью охотника и даже после моей смерти будешь жить в легендах».

Но это уже блудливый виток мысли, петля лжи, а не путь. Иоселиани тонко исследует, как жажда первенства, уже ненужного, уже оторванного от движения и совершенствования, бесплодно сосредоточенного на себе самом, разрушает Джобе. Существование в зоне смерти уже смертоносно. Дух Джобе подернут тлением. Его выстрел в тура, который по собственной воле бросился в пропасть, — приговор Джобе себе самому. Тур, бросившись в пропасть,

покончил с собой, с Джобе и с самим их противостоянием. Инициатива осталась за туром.

В одной из ранних сванских новелл «Кони» мальчик убивает великолепного жеребца, золотистого Сокола, которого вырастил, объездил и равного которому по стати и бегу не было в их краю. В тот момент, когда Каисн узнает, что конь украден, он думает «только о том, как удалось вору сесть на Сокола. И глубоко в душе словно бы пошатнулась его любовь к коню». Когда же Атамурза, парень из соседнего села, на своем Соколе, только стальном, догоняет вора и отбивает золотистого Сокола, мальчик пускает пулю в любимца, потому что тот позволил себя догнать.

Есть в тоне повествователя жалость к мальчику, жалость к коню. Есть в этой жалости соблазн для читателя, а соблазн есть сомнение. Альтернатива — первенство или смерть — бесспорная для героя и небесспорная для автора, любовь, дрогнувшая оттого, что первенство уязвлено, — в них-то и заключено внутреннее движение новеллы, живое ее колебание. Острая, парадоксальная, но однозначная интрига в сознании рассказчика теряет свою бесспорность. И когда Ингури «вынесла золотистое тело коня, развернула, ударила о валун, закрутила и опять втянула в белые от пены волны», мы скорее ощущаем губительность гордыни мальчика, чем силу его духа. Во всяком случае, в рассказчике нет того восторга, который овладел им в начале новеллы, когда Каисн растил и объезжал жеребца. Здесь, в финале, если б автор был послушен суровому мифу, он бы склонил голову перед приговором Каисна себе и коню. Но не склонил, а проследил с печалью за прекрасным телом коня, уносимым водами Ингури, и за глазами стрелка, которые «сухо горели». В Каисне традиция только начала переосмысляться, в Джобе она обнаружила завершенность и потребность в обновлении.

«О дедушке Пирибе бродит молва как о невезучем охотнике», — вдруг под самый конец вклинивается в новеллу об охотнике Джобе новый персонаж. «Дедушка ее, может, и не таким метким был стрелком, но кто знает, так ли уж важен был ему этот ружейный выстрел и так ли уж тщательно разглядывал он туры следы. Что поделаешь, если им настроенное не всегда годилось для шашлыков. Жена и окружающие обычно видят то, что шипит на вертеле. Им можно только позавидовать». «...Счастье и несчастье избранных состоит в том, что они умеют насыщаться виденным. Этот дар следует беречь, большей частью он оплачен святым трудом, беспокойством и скорбью».

После недельной охоты дедушка возвращался домой с пусты-

ми руками, без сил, но с затаенной улыбкой в глазах. Отцу Пирибе, погнбшему на войне, и самой Пирибе досталась в наследство эта улыбка. Сам Джобе как раз любит Пирибе и эту ее улыбку. Так что улыбка дедушки проникла уже и в Джобе, хотя не успела помешать ему выстрелить в тура, бросившего себя в пропасть.

Первая фраза о дедушке Пирибе написана с той спокойной повествовательностью, которая настраивает на долгую историю, а это эпизод на одну страницу. Но, может быть, здесь, действительно, зарождается у писателя новая большая история?

Однако до этого нам предстоит прочитать последний — в несколько книг — роман «Черная и голубая река», который Иоселиани только еще завершает. Как уже говорилось, он посвящен войне.

И. БОРИСОВА

СОДЕРЖАНИЕ

ЗВЕЗДОПАД. Роман. Перевод Ф. Твалтвадзе, А. Старостина, А. Эбаноидзе	5
ЖИЛА-БЫЛА ЖЕНЩИНА. Роман. Перевод А. Эбаноидзе	143
РАССКАЗЫ	
Со скорого поезда. Перевод А. Эбаноидзе . . .	371
По дороге с мельницы. Перевод А. Эбаноидзе . . .	375
Дождь на проселках. Перевод А. Эбаноидзе . . .	383
Девушка в белом. Перевод А. Эбаноидзе . . .	387
Вдовьи слезы. Перевод А. Эбаноидзе	397
Парное молоко. Перевод А. Федорова-Циклаури	408
Игра. Перевод А. Эбаноидзе	416
Жеребенок и волк. Перевод А. Эбаноидзе . . .	425
Большой Парна. Перевод Э. Джалиашвили . . .	430
Леван. Перевод А. Эбаноидзе	442
Дочь мельника. Перевод А. Эбаноидзе	451
Водяница. Перевод Э. Джалиашвили	465
Семья. Перевод В. Астафьева	480
Тур-вожак. Перевод А. Эбаноидзе	489
Охотник. Перевод Г. Дубровской	507
ЗВЕЗДЫ И ЖЕРНОВА ОТИА ИОСЕЛИАНИ. <i>Послесловие</i> И. Борисовой	528

Отиа Шалвович ИОСЕЛИАНИ

ЗВЕЗДОПАД

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1983, 560 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» Г. Метченко

Редактор **В. Полонская**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Г. Страхова**



ИБ № 635

Сдано в набор 22.03.83. Подписано в печать 20.07.83. А 01394.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная.
Печать высокая. Печ. л. 17,5. Усл. печ. л. 29,40. Уч.-изд. л. 31,05.
Тираж 265 000 экз. Зак. 3-283.

Цена 2 руб. 20 коп.



Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано на ордена Ленина комбинате печати
издательства «Радянська Україна», Киев, Анри Барбюса, 51/2.

Отпечатано на Киевской книжной фабрике,
Киев, ул. Воровского, 24.

**В 1983 году
издается 15 книг
библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

А. Адамович. Хатынская повесть. Каратели.

А. Айвазян. Треугольник. Повести. Рассказы. Перевод с армянского.

М. Алексеев. Ивушка неплакучая. Роман.

Ф. Алиева. Корзина спелой вишни. Романы. Перевод с аварского.

Ю. Бондарев. Тишина. Выбор. Романы.

Д. Досжанов. Шелковый путь. Роман. Рассказы. Перевод с казахского.

Т. Зульфикаров. Мудрецы. Цари. Поэты...

Р. Иваницук. Манускрипт с улицы Русской. Романы. Перевод с украинского.

О. Иоселиани. Звездопад. Романы. Рассказы. Перевод с грузинского.

Ю. Казаков. Рассказы.

Л. Карелин. Ступени. Романы.

А. Ким. Собиратели трав. Повести.

Ю. Трифонов. Нетерпение. Старик. Романы.

Г. Тютюнник. Водоворот. Роман. Перевод с украинского.

Эстонские повести.

**В 1983 году
в розничной серии приложения
к журналу «ДРУЖБА НАРОДОВ»
«БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ»**

в ы й д у т:

Г. Матевосян. Деревья. Повести. Рассказы. Перевод с армянского.

В. Митрошенков. Эффект Доплера. Повести.

К. Селихов. Необъявленная война.

А. Толстой. Хожение по мукам. Роман в 2-х томах.

Scan Kreyder - 04.07.2018 - STERLITAMAK

